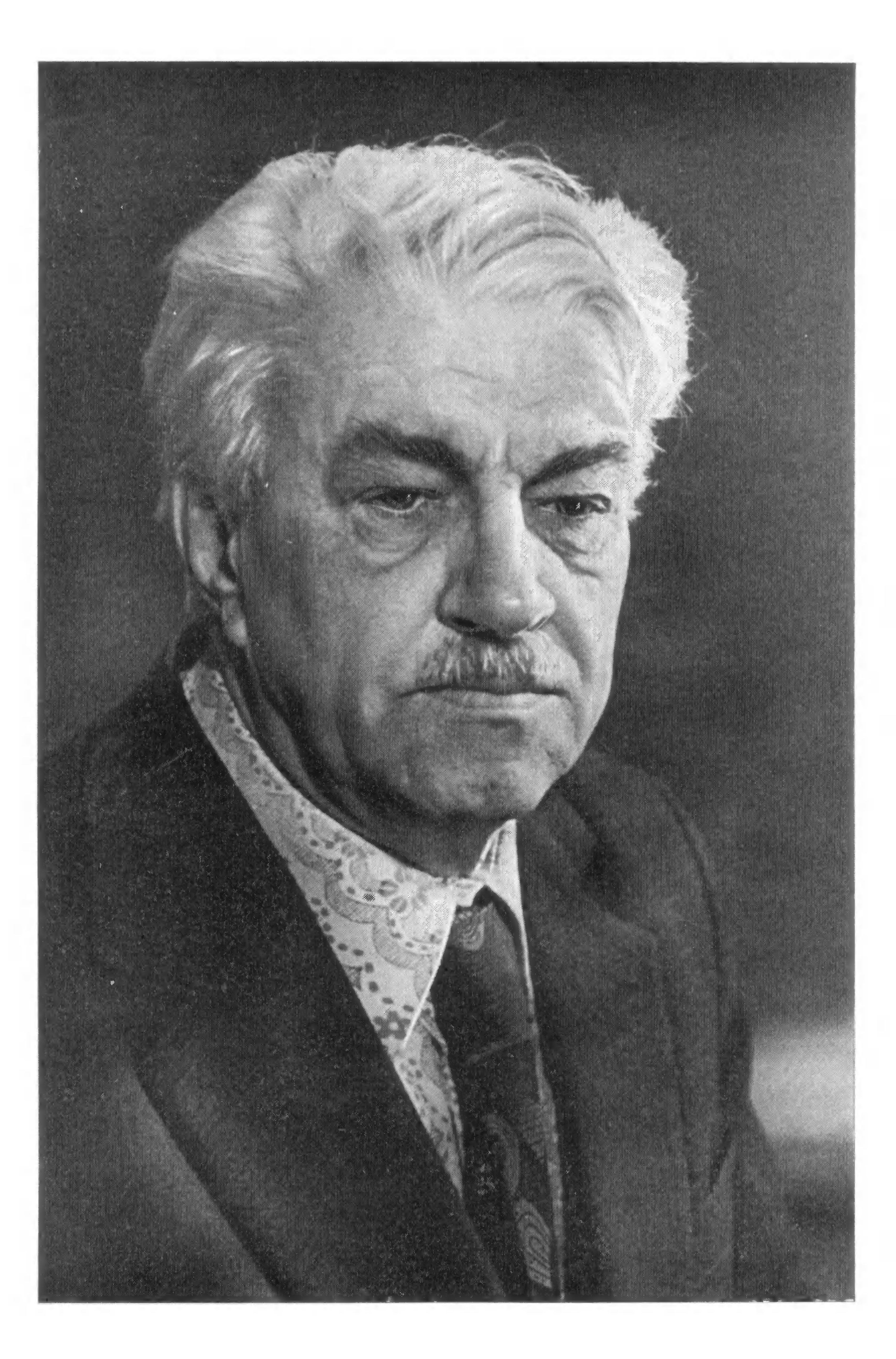
БОРИС ЗУБАВИН

Борис Зубавин

ИЗБРАННОЕ



ИЗБРАННОЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р 2
З-91

Послесловие
В. Юсовой

•

Оформление художника
М. Шевцова

З $\frac{70302-209}{028(01)-81}$ 55-81 4702010200

Повести

О

ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

...Книжку ударника
я между папок нашел.
Книжка ударника,
красный ударный билет
давнего времени,
незабываемых лет!

Я. Смеляков

ЗАВТРА В ДВЕНАДЦАТЬ

В ту пору мы жили в поселке Новое, в красивом доме с огромными венецианскими окнами и высокими потолками, принадлежавшем до революции какому-то барону. Зимой каждая семья с рассвета до полуночи калила у себя «буржуйку», и все равно к утру из комнат выдувало все тепло. Как барон, похожий почему-то в моем воображении на Дон Кихота, мог обходиться без «буржуек», казалось непостижимым. Я был уверен, что барон только и делал, что бродил по комнатам с кочергой, подбрасывая в «буржуйки» дрова, засыпая уголь, выгребая шлак, или лежал под одеялом в шубе, шапке и валенках.

В Новое из Москвы тогда можно было добраться только паровым поездом по железной дороге. Поезда ходили редко, всегда были переполнены, особенно по утрам и вечерам, когда люди ехали на работу и домой, и тогда пассажирам приходилось устраиваться в тамбурах, на подножках, буферах и на крыше. На крыше, разумеется, ездили безбилетники. Мне без билета ездить не позволяло мое общест-

венное положение: я был не только пионером, но даже кандидатом комсомола. Кроме того, я написал стихотворение о строителях, о которых, по правде сказать, имел крайне смутное представление. Стихотворение я послал в «Пионерскую правду». Там его напечатали, и все знакомые стали звать меня поэтом. А одну женщину, соседку, очень огорчало, что я разговариваю как все люди, когда мне следует говорить только стихами. «Ну скажи что-нибудь в рифму,— приставала она ко мне.— Пушкин всегда в рифму говорил».

Если посторонние люди признали меня поэтом, почему бы и мне самому не признать себя литератором? Я начал с суетливой, беспорядочной торопливостью сочинять стихи и рассылать их по разным редакциям, откуда мне возвращали их с заключением, что они безнадежно слабы. Письма иногда были вежливые, даже какие-то стыдливые, будто людям, писавшим их, неловко и стыдно возвращать автору его дрянные опусы. Иногда же ответы, словно порохом, были начинены безжалостными, злыми словами. Меня огорчали и деликатные и грубые ответы, одинаково обидные. Обижался я и на отца, считавшего мои стихотворные упражнения баловством. Он давно решил, что я должен стать инженером. Но мне-то было ясно, что инженера из меня не получится хотя бы потому, что я терпеть не мог математики и с грехом пополам вытягивал ее на «удочку»: у меня не хватало терпения на решение задач. Лишь однажды учитель — вероятнее всего, по недоразумению — написал на моей работе «весьма удовлетворительно». Это было для меня вроде новогоднего подарка, я совершенно ошалел, встал из-за парты, поклонился и сказал:

— Большое спасибо.

Шел к концу 1929 год, а мне — четырнадцатый. Пионерская организация, в которой я состоял и которая передала меня в комсомол, находилась при Усковском химическом заводе. Пионерские отряды тогда были не при школах, а при заводских и фабричных комсомольских ячейках. Усковский завод был небольшой, но с удивительно разнообразным производственным профилем: на нем из живицы вырабатывали канифоль и скипидар; из железа штамповали холодным способом какие-то зубчатые ленты; с грохотом клепали огромные котлы, сколачивали фанерные бочки для канифоли, а медницкий цех паял, лудил медные баки и гнул всевозможные змеевики. Когда мы, пионеры, участвовали в субботниках по очистке заводской территории,

огни, дым и грохот медницкого цеха пугали и гипнотизировали нас.

В комсомол меня принимали с подозрительной настороженностью: по социальному происхождению я был из служащих — отец мой служил бухгалтером.

Помнится, стоял я сам не свой в комнате, где происходило заседание бюро ячейки. За столом, покрытым кумачовой, залитой чернилами, мятой, словно ее теленок жевал, скатертью, сидели члены бюро. Заседание вел сам секретарь комсомольской ячейки Андрюша Протасов, человек строгих и непреклонных правил, ходивший с наганом в кармане, потому что богатеи огородники из соседней деревни Владыкино, которых он недавно раскулачивал, грозились расправиться с ним. В Андрюшу, чуть бледного, возбужденного, с нахмуренными черными красивыми бровями, были влюблены все заводские девушки, а мы, мальчишки, могли по первому его слову броситься в огонь и в воду.

Попросили меня рассказать биографию. Рассказал. И тут поднялся Антон Плешко, самый активный наш оратор, и, взмахивая рукой, страстно заговорил:

— Мы, товарищи, только что заслушали краткую биографию Трофимова. По этой биографии он непролетарского происхождения, отец его служащий, бухгалтер. Нам надо со всей серьезностью отнестись к этому вопросу.

Кто-то сзади равнодушно поддержал его:

— Правильно.

— Короче, Антон,— говорит Андрюша.— Что ты предлагаешь?

— Я предлагаю ввиду непролетарского происхождения Трофимова воздержаться от приема его в ряды комсомола.

Тот же сонный голос из глубины комнаты произнес:

— Правильно, голосуй.

«Вот и все,— подумал я, сразу вспотев.— Не примут меня».

— Трофимова мы принимаем не в члены, а только в кандидаты,— заговорил, помолчав, Андрюша.— Особого вреда он принести нам не может, а в пионерах он зарекомендовал себя как серьезный и вполне активный, ответственный товарищ. К тому же — поэт. Недавно стихи в «Пионерской правде» были напечатаны.

— Какого содержания? — сразу вскочил Антон. — Пусть продекламирует. Не под Есенина?

— Под кого у тебя стихи, Трофимов? — спрашивает Андрюша.

— Под Казина,— говорю я.

— Ну-ка, продекламируй,— велит Андрей.

Я откашливаюсь и, подражая настоящим поэтам, начинаю завывать:

Эх вы, стружки, золотистые витки.
Эх вы, стружки, серебристые полотна.
Поднимаясь на высокие мостки,
Песни пел веселый плотник.
Воробьем рубанок мой щебечет,
Марш играют сотни пил.
И растет, подняв нагие плечи,
Дом, раздвинув колыбель стропил.

— Все? — спрашивает Андрюша.

— Все.

— Что ж,—говорит он,—вполне удовлетворительное современное содержание. Так кто за то, чтобы принять Трофимова в кандидаты, прошу поднять руки. Кто против?

Против был один Антон.

В пионерском отряде я был действительно, как сказал Андрюша, ответственным товарищем: редактировал стенгазету, которую мы аккуратно и старательно выпускали к каждому празднику: Октябрьской годовщине, Дню Красной Армии, Парижской коммуне, Восьмого марта и Первого мая. Газеты получались торжественные: мы клялись в них красноармейцам, парижским коммунарам, матерям и рабочему классу обязательно вырасти и стойко бороться за мировую революцию.

Собирались мы в заводском клубе, состоявшем из зрительного зала и двух тесных каморок для драмкружковцев, отгороженных от сцены тесовой перегородкой. Пионеров пускали в клуб только до шести часов вечера, но мы, шестеро, принятые в комсомол, считались уже взрослыми, и нас из клуба не выгоняли, тем более что мы участвовали в самодеятельности. Володька Михайлов пристроился помощником к киномеханику, Тоня Гаврикова и Нина Тарасова играли в драмкружке, а Сашка Жигин, Мотька Власов и я записались в духовой оркестр. Сашка — малым барабанщиком, Мотька — басистом, а я — трубачом.

Самодеятельность наша процветала. Без нас не обходилось ни одно собрание, мы часто выступали в подшефной воинской части, перед крестьянами деревни Владыкино, в которой недавно был создан колхоз, обменивались программами с железнодорожниками, а в свободные вечера усиленно репетировали.

Только придешь из школы, приготовишь уроки, как уже надо бежать в клуб. Счастье мое, что мать хотя и ворчала, но отцу, который работал в Ногинске и приезжал домой только на воскресенье, на меня не жаловалась: не хотела расстраивать его. Трудно сказать, надолго ли хватило бы материнского терпения, но в тот год у нас случилось непоправимое горе: неожиданно, проболев всего две недели, скончался мой отец, добрый, насмешливый человек. Приехал в субботу вечером домой, пожаловался, что очень болит голова, слег в постель и больше уже не поднялся.

Жили мы в сравнительном достатке, а когда помер отец, мгновенно, как в темную яму, провалились в ужасающую нужду. В пенсии нам отказали — недоставало каких-то справок; профессии у матери, если не считать, что она до замужества была в ученье у меховщика и теперь умела кое-что шить и перелицовывать, не было никакой. И хотя семья осталась у нас небольшая, всего трое — мать, я да младший братишка, но все же есть-то надо было каждый день. Стало ясно, что мне надо поступать на работу.

А куда?

В стране росли стройки первой пятилетки, газеты пестрели сообщениями об успехах ростсельмашевцев, строителей Турксиба, Уралмаша, тракторного; в огнях новостроек были Магнитогорск и Запорожье, в Москве поднимались новые корпуса завода «АМО», «Шарикоподшипника», «Фрезера». Даже наш химзаводик, чтобы не отстать от других, тоже начал расширяться: сооружал новую котельную и формалиновый цех. Говорили, что еще вдвое увеличат канифольный и медницкий. Всюду требовались рабочие руки, и тем не менее устроиться на работу было не так-то просто. Еще существовала биржа труда. Правда, ряды ее безработных очень поредели, но без направления биржи труда брали не везде и не всех.

Поехал я в Москву, на Таганку, нашел дом с каменными, затертыми, зашарпанными ступеньками лестницы, с тяжелой, мрачного вида дверью с вывеской: «Биржа труда». Толкаюсь в эту массивную дверь раз, другой, она не поддается, я приналегаю на нее плечом, дверь, к удивлению моему, совершенно легко распахивается, и я лечу головой какому-то здоровенному дяде прямо в живот. Дядя дает мне подзатыльник, и при помощи этого не особенно хитрого и вежливого жеста я оказываюсь чуть не посредине довольно вместительного, заплеванного, замусоренного окурками зала биржи. Люди толпятся возле объявлений, раз-

вешанных на стенках, около столов регистратуры; в зале стоит ровный, неясный, несмолкаемый гул, как в бане, проталкиваюсь к первому попавшемуся на глаза объявлению, читаю:

в отъезд на строительство
тракторного завода

Требуются:

1. Стекольщики
2. Арматурщики
3. Бетонщики
4. Водопроводчики

Это не для меня. Иду ко второму объявлению. «Строительству завода «АМО» требуются...» Опять не для меня. Нужны люди с квалификацией, мастера, а какой из меня мастер? Побродив по залу, нахожу окошечко, где регистрируют подростков от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющих специальности. Регистраторша, типичная совбарышня, завитая, накрашенная, равнодушная, записывает мою фамилию, адрес, говорит:

— Жди повестку.

Но мне ждать некогда, мне нужна работа сейчас, немедленно. Спрашиваю:

— А когда пришлете?

— Когда потребуешься, тогда и пришлем.

Но я могу потребоваться через день, могу потребоваться через год. Могут про меня и вообще забыть. Это не ответ.

Я заглядываю в окошечко, заявляю:

— Я хочу поехать на ударную стройку.

— Сейчас везде ударные стройки,— говорит барышня.— А ты еще молод.

— Как это — молод? — говорю ей. — Я комсомолец. Кандидат, правда.

— Иди, мальчик, иди, не мешай.— Барышня вынимает из столика зеркальце, мурлыча песенку, смотрится в него, поправляет прическу.

Болезнь и смерть отца, похороны, нужда — все это словно придавило меня своей немилосердной, жестокой тяжестью, жизнь казалась мне горькой и равнодушной, как регистраторша биржи, сам я в этой жизни — маленьким, одиноким и до обидного никому не нужным.

С биржи, совсем приунывший, я побрел на вокзал. Было морозно, на Таганской площади возле костра грелись стрелочницы и милиционеры. Под горку, к землянке, обгоняя меня, скользили, ныряя в сугробах, извозчичьи сани; обдавали вонючей бензиновой гарью автомобили с цепными, как у велосипедов, передачами. Гремели промерзшие насквозь трамваи.

Уже стемнело, когда я, миновав Землянку, Яузу, Сыромятники, добрался до вокзала. Ехать домой ни с чем, чтобы встретить усталый, полный душевной муки взгляд матери, возлагавшей на меня такие надежды, было тяжело. Хотелось с кем-то поделиться, кому-то очень внимательному, доброму, чуткому рассказать о том, как трудно вдруг стало мне на белом свете, встретить чье-то сердечное участие, дружескую поддержку. Без этого я уже не мог оставаться даже часа, не в силах был носить в себе всю накопившуюся боль. И решил я тогда идти не домой, а в клуб, к ребятам. А там я не был давно, недели три. Почему я не сделал этого раньше? Почему я не пришел к своим товарищам день, два, неделю назад? Я ускорил шаги, а минуту спустя уже бежал, боясь только одного, что могу в клубе никого не застать. О, это было бы для меня ужасно! Теперь вся моя надежда была на них, на ребят, на товарищей: на Мотьку, Володьку, Сашку. У них тоже не было отцов. Они поймут меня, должны понять.

Я бегу по платформе вдоль поезда, поднимаюсь по ступенькам, проталкиваюсь в вагон. Здесь теснота, полумрак. Посреди вагона в печи, сделанной из железной бочки, потрескивают дрова, над дверьми горят тусклые свечи. Поезд, лязгая буферами, скрипя, нехотя трогается. Я пробираюсь по вагону поближе к печке.

— Виноват, простите, пожалуйста. Дайте пройти, пожалуйста.

Люди относятся к моим просьбам по-разному. Кто теснится, дает пройти, кто делает вид, что не слышит меня. Но вот я наконец все-таки возле печки, протягиваю к ее порозовевшим, жарким бокам озябшие руки. На соседней скамейке сидит злой, ехидный старичок с козлиной бородкой.

— Как нэпмана прижали, стало быть, вроде воши к ногтю, так и жрать стало нечего,— разглагольствует старичок.— Дожили. Нечего сказать. Карточки на хлеб, карточки на портки. Даже на табак и то карточки. Это дело? А работу давай, требуют.

Напротив старичка сидит котельщик с Усковского завода Коля Трошечкин, огромный рыжий парень, ударник. Пальто на нем распахнуто, шапка-финка сдвинута на затылок. Трошечкин слегка пьян.

— Пардон,— останавливает он старичка.— Это кто же требует?

— Про то мы не кажем — кто. Сам должен знать,— ехидно отвечает старичок.

— Ты куда гнешь? — хмурится Трошечкин.— Ты не из кулаков ли будешь?

— Если бы я из кулаков был, я бы не говорил так, а помалкивал,— совершенно справедливо замечает старичок.

— Стало быть, ты подкулачник,— решает Трошечкин.

— Я, милый мой, тридцать лет за токарным станком простоял,— обижается старичок.

— А почему ведешь такие несознательные разговоры? — кричит Трошечкин. — Мы Магнитогорск строим, Днепрогэс, тракторные, автомобильные заводы. Индустрию, одним словом. Ты решения съезда читал? Трудности? А ты, вместо того чтобы пузыри пускать, подтяни ремень потуже. Штаны порвались? Заплату поставь.

— А мне надоело подтягивать,— не сдается старичок.— Я в девятнадцатом подтягивал, в двадцать первом подтягивал, а теперь уж и штанам держаться не на чем стало. Дотянулся, одним словом.

Трошечкин некоторое время угрюмо глядит на него и потом, вытянув указательный палец, заявляет решительно:

— Ты вредный старик. Темный и путаный. Вот проверить твою личность...— Тут он замечает меня и с радостным удивлением произносит: — Э, стихоплет! Пардон, мерси. Куда ездил?

— Да тут... недалеко,— говорю я.

— Я спрашиваю куда, а ты, как старшему товарищу по ячейке, должен ответить прямолинейно и безоговорочно, исчерпывающе. Куда? — повторяю я свой вопрос. Отвечай!

— На биржу.

— Зачем? Опять спрашиваю я, и ты отвечай по существу вопроса.

— На работу хотел устроиться. У меня отец умер.

— Вот как! — вскрикивает старичок, прислушивавшийся к нашему разговору.— А его и не взяли.

— Не взяли? — спрашивает у меня Трошечкин.

— Не взяли,— вздыхаю я.

— А ты говоришь — индустрия,— веселится старичок, обращаясь к Трошечкину.— При такой индустрии набегаешься.

— Цыть,— прикрикивает на него Трошечкин и, обращаясь ко мне, говорит: — Черт с ним. А ты его не слушай. Это вредный старик.— Некоторое время он смотрит на меня, что-то соображая. Потом произносит убежденно: — Тебя возьмут на наш завод. Ты на завод обращался?

Я пожимаю плечами.

— Почему?

В самом деле, почему я не пошел на завод, не рассказал все товарищам по ячейке? Что я могу ответить Трошечкину?

— Ладно,— говорит он.— Сейчас мы пойдем с тобой в клуб, там должны быть люди, там сейчас репетиция драмкружка.

И вот полчаса спустя мы с ним вваливаемся в клуб, топая, чтобы отряхнуть снег возле порога. Репетиция на сцене прекращается, а режиссер, вертлявый, беспокойный, капризный человек, сидящий в первом ряду, кричит, обернувшись:

— Прошу не мешать. Вы мешаете нам работать в конце концов. Почему здесь посторонние?

— Это я посторонний? — удивляется Трошечкин.— Я Трошечкин, котельщик седьмого разряда, глухарь и тому подобное, ударник производства — посторонний? Пардон, мерси.

В полутемном зрительном зале, возле распахнутой, пышущей жаром печки, на поваленных табуретках сидели те, кого мне так хотелось видеть: Мотька, Володька и Сашка. Клубный сторож Мироныч рассказывал им удивительные, почти фантастические истории о своей службе в Первой Конной.

Мироныч, краснолицый, будто только что вышел из бани, с белыми, словно из ваты, усами, лихо закрученными кверху, был стариком бравым и энергичным. Перед начальством — председателем завкома и заведующим клубом — он с готовностью вытягивался в струнку, громко орал в ответ на их распоряжение: «Слушаюсь! Сейчас в момент исполню!» — а всем остальным, даже директору завода, которого не признавал своим начальством, любил делать ядовитые замечания, да так, чтобы их слышало как можно больше народу. На торжественных вечерах во время тан-

цев он подсаживался к духовому оркестру с бубном в руках и терпеливо ждал, когда мы заиграем краковяк или «барыню». Тут он вскакивал, вытаращенные глаза его стекленели, а кончики усов еще больше задирались кверху. Бубен летал в его руках, как у шамана, он бил по нему ладонью, кулаком, локтем, коленом, шлепал себя бубном по лбу и затылку, тряс его над головой. Пот лил с Мироныча градом.

Эти его сольные выступления всегда вызывали в зале оживление и поощрительные аплодисменты.

— ...А то стояли мы под Варшавой,— рассказывал Мироныч, поправляя в печи дрова.— И посылает меня командир эскадрона за фуражом, за овсом то есть и за сеном...

Мотька, курносый, глазастый, мой одногодок, потеснился, уступая мне место. Потом спросил:

— Ты где пропадал?

Я присел рядом с ним, протянул озябшие руки к огню и, глядя в печку, ответил:

— У меня отец помер.

Мироныч прервал свой рассказ на полуслове, все испуганно обернулись ко мне.

— У-у! — протянул Мотька, трубочкой сложив толстые губы, и долго, не мигая, смотрел на меня.

Со сцены спрыгнула Тоня Гаврикова, маленькая, подвижная, любопытная, с копной рыжеватых кудряшек: мы звали ее когда Чижиком, когда Рыжиком, и ей очень както шли эти безобидные прозвища. Сашка Жигин, высокий, неуклюжий парень, был влюблен в нее, мы все знали об этом, но из скромности и стеснительности говорили об их отношениях: Тоня встречается с Сашкой. Он каждый раз провожал ее до дому, но стоило только ему увидеть знакомых, как Сашка, словно пантера, отскакивал от Тони, делая вид, что вовсе даже и не знает ее.

Тоня строго спросила у меня:

— Ты где это задевался, а? Сознайся, что это нехорошо с твоей стороны.— Она всегда требовала, чтобы мы непременно в чем-нибудь сознавались.

— Подожди,— остановил ее Сашка.— У него отец помер.

— Ой! — воскликнула Тоня, меняясь в лице и всплеснув руками. — Как же это случилось?

— Так,— пожал я плечами.— Помер.

— Товарищи, ребята! — Тоня вихрем пролетела через зал, вспрыгнула на сцену.— У Виктора помер отец!

На сцене наступила тишина. Я пригнулся к огню, чувствуя, что в носу у меня защипало, на глаза навернулись слезы. Ни к кому не обращаясь, я сказал:

— На биржу вот ездил. Работать надо.

— Ну и что? — нетерпеливо крикнула Тоня со сцены. Я безнадежно махнул рукой:

— Ничего не известно.

Мотька подтолкнул меня локтем:

— Мы тоже на завод поступаем учениками: и я, и Сашка, и Володька, и Тоня с Ниной. И ты давай. Как раз шестого человека надо. Шесть учеников набирают. Мы уже оформляемся.

Слышу, как Андрюша Протасов спрашивает у Трошечкина:

— Ты опять выпил?

— Я не про то,— уклоняется от прямого ответа Трошечкин. Он подходит ко мне, берет за руку, выводит на середину зала.— Надо парня на работу определить.

— Товарищи, ребята! — взволнованно и растерянно кричит со сцены Тоня и, сложив руки лодочкой возле подбородка, оглядывает притихших драмкружковцев.

— Вот и я про то,— говорит Трошечкин.— Надо его к нам на завод. Учеников набирают? — спрашивает он у Протасова и тут же сам отвечает: — Набирают. Их берут? — показывает он на Сашку, Тоню, Мотьку.— Берут. Стало быть, наша задача заключается на данном этапе в том, чтобы и его вот,— он хлопает меня по плечу своей железной, широкой, как лопата, ладонью,— чтобы и его вот взяли самым решительным образом.

— Андрюша, он прав! — обрадованно кричит Тоня, подбегая к секретарю нашей ячейки, тоже заядлому драмкружковцу.— Пусть Виктора возьмут вместе с нами на завод. Сознайся, что ты обязан добиться этого во что бы то ни стало.

Андрюша, уже однажды защитивший меня от Антона, нахмурясь, говорит:

— Хорошо. Пусть приходит завтра в двенадцать часов в завком. Бюро комсомольской ячейки поддержит его кандидатуру. А с тобой,— обращается он к Трошечкину,— будем говорить на бюро ячейки.

— Мерси,— добродушно ухмыляясь, кланяется в ответ Трошечкин.

— Слышишь, Виктор? — радостно кричит мне Тоня.— Завтра в двенадцать. Слышишь?

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

И вот мы — заводские ученики. Нам выдали табельные номера, спецодежду, мы будем получать зарплату. Тоню и Нину поставили к токарному станку. Мотьку определили в водопроводчики. Сашку — слесарем-ремонтником, а мы с Володькой, застенчивым, услужливым пареньком, попали в электромастерскую.

В мастерской числилось три моториста на компрессоре, шорник, пять электромонтеров-эксплуатационников и при них мы с Володькой — ученики.

Эксплуатационники занимались ремонтом станочных и вентиляционных моторов, электропроводки, установкой нового оборудования и освещения в цехах, во дворе и в жилых заводских домах.

Заведующий мастерской Королев, красивый брюнет с несколько вытаращенными голубыми глазами и поэтому всегда словно бы удивленный чем-то, на кривых кавалерийских ногах, критически оглядел нас с Володькой, как бы прикидывая, на что мы можем ему пригодиться. Рядом с Королевым стоит Аркашка Григорянцев. Аркашка — армянин, фамилия его Григорянц, но на заводе его почему-то все зовут Григорянцевым. Это толстый, веселый малый лет двадцати. Работает Аркашка мотористом на компрессорной установке. Он удивительно ленив, неряшлив и беспечен. Эта его бесшабашно удалая беспечность нравится мне. Вероятно, потому, что я невысок, худощав и смугл, как цыган, он зовет меня Копчушкой.

Вообще он любит давать всем прозвища. Мотьку он прозвал Чимбирпинсом, а Нину — Цыпленком.

— Цып-цып-цып! — зовет он, увидев Нину на улице или в клубе.— Цыпонька-цыпонька...

Нина гордо вскидывает голову и проходит мимо, словно ничего не слышит, а Аркашке этого только и надо. Он заливается смехом.

— В ряды рабочего класса влились мощные свежие силы,— говорит Аркашка, насмешливо глядя на нас.

Королев косится на него, недовольно спрашивает:

— А тебе на водокачке делать нечего?

— Не могу долго жить без начальства,— отвечает Аркашка.— Так все время и тянет посмотреть на вас, дорогой товарищ руководитель учреждения.

Королев, очевидно, прекрасно знает, что спорить с

ним бесполезно, и, махнув в сердцах рукой, обращается к нам:

— Значит, желаете изучать электродело?

— Желаем,— говорю я.

— А если вас током, так сказать, пронзит? Тогда как? Не струсите? Грязнов,— кричит он в глубь мастерской,— принимай!

Иван Грязнов, крикливый, но безобидный человек,— самый лучший монтер. В тот день он занимался ремонтом мотора, только что снятого с вентилятора в медницком цехе. Медные кольца подшипников, шкив, щетки, ротор лежали на верстаке, а на полу стоял статор и валялись крышки станины. Грязнов, прищурясь, оглядел нас, свирепо сплюнул и сказал, показывая пальцем на мотор:

— Какой мотор?

— Электрический,— робко, заискивающе глядя ему в глаза, ответил Володька.

Грязнов нахлобучил ему кепку до самого носа:

— Дурак! Грязный мотор. Понятно?

Володька хихикнул.

Мотор был действительно очень грязен.

— Так вот,— строго продолжал Грязнов.— Вымыть его, чтобы блестел, как новенький пятиалтынный. Понятно? Вопросы есть? Живо за дело! Вот вам концы,— он кинул нам охапку ветоши,— вот бензин! — Грязнов поддал ногой по банке с бензином.— Живо за дело! — Он помолчал и уже спокойным голосом добавил: — А я пойду покурю.

Став на колени, мы моем крышки и станину мотора. Работаем, как говорится, не щадя живота, и к обеденному перерыву станина действительно блестит, как новенькая, зато мы с Володькой вымазались как черти и насквозь пропахли бензином.

Тем не менее дело сделано, первое наше самостоятельное дело. Мы заканчиваем свой четырехчасовой рабочий день с глубочайшим удовлетворением и какие есть — грязные, даже не умывшись, зато преисполненные невероятной гордости — идем по домам, и мне хочется, чтобы навстречу попалось побольше народу и чтобы все видели, что я иду не просто так, а с работы.

Дома, наскоро съев тарелку супа, хватаю книжки и бегу в школу. Все мы шестеро, принятые учениками на завод, дали Андрюше Протасову твердое обещание закончить семь классов.

Я, конечно, успел бы не только похлебать супа, но и умыться и сменить одежду: у матери к моему приходу был припасен целый чайник горячей воды, но мне хочется, чтобы и в классе знали, что я теперь не просто школьник, а рабочий.

В школьном коридоре меня окружают ребята, заботливо советуют или послюнить палец и потереть щеку, или смахнуть рукавом грязь у носа.

Я выполняю их советы с усталым и безразличным видом, ловлю на себе восхищенные, полные любопытства взгляды девчонок, и сердце мое переполняется ликованием: я чувствую себя героем дня.

Но вот звенит звонок, мы рассаживаемся за парты; входит учительница и, понятно, сразу же, как я и ожидал, обращает на меня внимание.

— Это что такое? — с удивлением спрашивает она.

— Что? — невинно отзываюсь я, притворяясь, что не понимаю, о чем она спрашивает.

— Почему ты такой грязный?

— Я с работы.

— С какой работы? — еще больше удивляется она.

— Я работаю на заводе.

— На заводе? — Она рассматривает меня с любопытством, в котором много обидного снисхождения.— Кем же ты работаешь?

— Учеником электромонтера.

— А как же теперь со школой?

— Буду до весны работать и учиться.

Она еще внимательнее смотрит на меня. Лицо ее делается серьезным, грустным.

— Но ведь тебе будет трудно.

— Ничего,— как можно беззаботнее говорю я.

Она проходит к своему столу, кладет на него тетради:

— И все-таки ступай умойся и больше не являйся в таком виде, иначе в следующий раз я не пущу тебя на урок.

Говорит она все это с укором, даже с некоторым сочувствием, и мне становится стыдно.

Я вылезаю из-за парты и красный как рак бреду к двери через притихший класс. Действительно, почему я не сходил в душ на заводе, не умылся наконец дома? И уже ничего героического, необыкновенного не вижу в том, что у меня грязные руки, измазанное копотью лицо, что от меня на всю школу разит бензином.

НИНА

Наши семейные дела пошли на поправку. Шутка ли, каждую получку я приношу домой когда шестнадцать, когда и все восемнадцать рублей! И обедаю я теперь в заводской столовой по особым обеденным талонам, а это значит, что почти все продукты, которые удается получить по моей рабочей карточке, остаются матери с братишкой. К тому же один из друзей отца обещал устроить мать к себе в учреждение не то курьером, не то лифтершей. Только надо подождать, когда освободится место, сказал он.

В столовой все было на самообслуживании, лишь в дверях стояла дежурная посудомойка, проверяла талоны и выдавала ложки. Входя, мы должны были брать ложку, а уходя — кидать ее в ящик, и чтобы дежурная это видела, а то не выпустит.

В половине восьмого утра гудит первый гудок. Он застает меня около дома Нины Тарасовой. Я боюсь признаться в том даже самому себе, но я нарочно отправляюсь на работу пораньше, чтобы, когда раздастся гудок, будто случайно очутиться около Нининой калитки. Я знаю, что она выходит на улицу по гудку: от ее дома до завода ходу всего пятнадцать минут.

Нина худенькая, хрупкая, с лукавыми серыми глазами. Отца у нее тоже нет, мать ее работает проводницей на Курской железной дороге: ездит со скорыми поездами на Кавказ.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах я обратил на нее внимание. Долгое время она была для меня не лучше и не хуже других, а тут, словно прозрев, я увидел, какая она хорошая и красивая. Вернее, я даже не увидел, а почувствовал.

С тех пор она с каждым днем кажется мне все красивее и милее, а сам я при встречах все больше робею перед ней.

Раньше все было просто, вел себя независимо и смело, хотел — смеялся, хотел — говорил ей дерзости, спорил с ней, а теперь всю мою лихость словно половодьем смыло. Я чувствовал себя бесправным и верным рабом ее и страдал оттого, что она ничего не замечает. Мне казалось, что к другим она относилась даже лучше, чем ко мне.

Позавчера в клубе отмечали Международный женский день — 8 Марта. Сначала, как водится, была торжествен-

ная часть. Председатель завкома Логинов, тощий, болезненно-нервный человек, сделал доклад, потом под восторженный рев нашего оркестра премировал ударниц, а уж после всего этого была, как у нас говорили, постановка.

Драмкружковцы показывали смешной спектакль. Нина играла роль одной из главных героинь. Она несколько раз томно, нараспев говорила Андрюше Протасову: «Котик, поцелуй свою кошечку в носик и скажи ей «мяу»!» — а я зачарованно следил за ней, ревнуя и бесясь при этом, как Отелло.

После спектакля скамейки в зале сдвинули к стенам. Мы, музыканты, взобрались со своими пюпитрами на сцену, и начались «танцы до упаду, пляски до утра».

Я играю на память, смотрю не в ноты, а в зал: там кружатся пары, но я вижу лишь одну Нину. Она легко и грациозно переступает ногами, приподнявшись на цыпочки и доверчиво положив худенькую руку на плечо своего кавалера. Моя бешеная ревность сменяется сладко терзающей сердце грустью. Как бы я хотел кружиться сейчас вместе с ней и чтобы на моем плече покоилась ее рука! Но это невозможно по двум очень существенным причинам: во-первых, когда все танцуют, я должен играть на трубе, а во-вторых, я не умею танцевать. Но почему она танцует только с Андреем? Польку, краковяк, вальс — все с ним?

Домой мы возвращаемся вместе; я молчу, хотя сказать мне хочется очень многое; чувство ревнивой нежности переполняет мою душу, и, если бы я не опасался, что Нина отхлещет меня за это по щекам, я бы подхватил ее на руки и донес до самого дома.

Я угрюмо молчу и, презирая себя за это молчание, кошусь на свою бесценную спутницу, одетую в старенькое, перелицованное пальтишко с вытертым кошачьим воротником, обутую в подшитые валенки. Голова моя полна мучительных соображений, как выразить Нине свои чувства. Я с ужасом отвергаю все возникающие в моем воспаленном мозгу варианты, боясь, что она не поймет моей отчаянной искренности и высмеет меня.

— Ты весь вечер с одним Андреем танцевала,— наконец угрюмо говорю я.

— Ну и что? — удивляется Нина.— С ним просто легко танцевать. Вот и все.

— Только танцевать?

Она некоторое время удивленно смотрит на меня, будто не понимая, о чем я толкую. Потом, усмехнувшись, дернув плечиком, произносит:

— Не говори глупостей, которые даже слушать не хочется. Вот. А вы, между прочим, все очень врать любите.

— Это тебя Тонька научила? — Я знаю, что Тоня Гаврикова любит высказываться о неверности, лживости, неискренности нас, мужчин.— Ты ее больше слушай. Она научит.

— Вот еще! Будто я сама не понимаю! — возражает Нина.

— Ага,— догадываюсь я,— значит, Андрей, пока танцевал, успел тебе всяких сказок наплести?

— При чем тут Андрей? — Нина удивленно смотрит на меня.— При чем тут Андрей, если я сама прекрасно слышу, что вы, словно кошки, мяукаете? Кто в лес, кто по дрова.

Ах, вот, оказывается, она о чем — о нашем оркестре! Это меня успокаивает и вместе с тем обижает. Я совсем другого мнения о нашей игре. Правда, оркестр у нас молодой, сыгран еще плохо: кроме нескольких более или менее опытных музыкантов-любителей, состоит из скороспелых оркестрантов, как я, Мотька и Сашка, но так обижать нас все-таки не следовало бы. Скажи мне это кто-нибудь другой, я бы стал горячо спорить и, возможно, поссорился бы, но Нине возразить я не смею. Молчит и она, пряча подбородок в воротник.

Вот и ее дом. Нина открывает калитку и, распахнув ее, задерживается на мгновение:

— До свидания.

И тут я неожиданно для себя хватаю ее за руку и, краснея и заикаясь от невысказанных чувств, бормочу первое, что приходит мне в голову:

— Нина! Тебе надо стать балериной...

— Что ты! — с изумлением и испугом говорит она.— С чего ты взял? Зачем мне быть балериной? — Она быстро, настороженно оглядывается.— Пусти же руку...

Нина бежит по снежной тропочке, на крыльце топает, стряхивая снег, и скрывается за дверью.

«Все пропало! — с ужасом, стыдом и печалью думаю я, не в силах тронуться с места.— Все пропало... Я обидел ее. Теперь она, конечно, расскажет обо всем Тоне Гавриковой, та — Сашке, и пойдет... Ребята поднимут меня на смех».

Пристыженный, бреду я домой по заснеженным, тихим в этот поздний час улицам.

На другое утро я отправляюсь на завод окольными путями, обходя стороной Нинин дом. На заводе я делаю все возможное, чтобы не встретиться с ней, хотя весь день меня неудержимо тянет заглянуть, будто по делу, в механическую мастерскую, где она работает.

Перед обеденным перерывом к нам прибегает Тоня Гаврикова. Остановившись на пороге, она озабоченно спрашивает меня:

— Ты здоров?

— Здоров,— отвечаю я.— А что?

— Так, ничего,— отвечает она, загадочно усмехнувшись, и исчезает.

Ну, ясно: Нина рассказала ей обо всем. Я и в самом деле, наверное, выгляжу настоящим дураком. Что же теперь делать?

Над этим жгучим вопросом я размышлял весь вечер, а утром, пересилив стыд и страх, был возле Нининого дома как раз в тот момент, когда загудел первый гудок.

Ночью слегка приморозило, но весна все равно чувствуется в запахе свежего воздуха, в сосульках, свисающих с крыш, в потемневшем снеге.

Я иду мимо ее дома с гулко бьющимся сердцем, иду опустив глаза, словно сосредоточенно рассматриваю обледеневшую, скользкую тропку под ногами.

Вот позади хлопнула калитка, слышатся легкие, торопливые шаги. Сердце мое замирает. Нина, догнав меня, идет рядом.

— Здравствуй, Витя,— говорит она таким тоном, будто ничего не случилось.

«Притворяется»,— проносится в голове.

— Здравствуй,— буркаю я.

— Почему ты вчера не зашел за мной? Ты обиделся?

— За что? — в замешательстве спрашиваю я.

— Обиделся, я знаю. Но ведь я же пошутила. Вы играете очень хорошо, спроси у кого хочешь — все хвалят вас. Какой ты странный! Ты совсем не понимаешь шуток. Я вчера даже подумала, что ты заболел... Почему же ты молчишь? Ты не хочешь разговаривать? — Она огорчена.— Пожалуйста, если так, можешь не разговаривать.

Она замедляет шаг, чтобы отстать от меня. Я останавливаюсь, хватаю пригоршню рассыпчатого снега. Я пере-

полнен счастьем. Сейчас я обсыплю ее снегом, она в ответ тоже — неумело, по-девичьи замахнувшись — швырнет эту снежную пыль в меня, мне в лицо; пусть непременно в лицо — я даже смахивать не стану этот снег, чтобы он таял на моих щеках. Так бывало уже не раз.

Но что это? Она не делает, как обычно в таких случаях, притворно сердитого лица, не кричит, чтобы я не смел кидаться в нее, что, если я кинусь снегом, она не будет со мной разговаривать, как мне не стыдно, а еще комсомолец!..

Она стоит, изумленно глядя на меня. Руки мои разжимаются сами собой, я вытираю ладони о пальто и, опустив глаза, смущенно и хрипло от волнения говорю:

— Снег-то совсем сухой...

И наступает неловкое счастливое молчание.

— Идем, а то мы опоздаем,— наконец говорит она и гордо, с каким-то неожиданным для нее величием идет впереди меня.

МОНТЕРЫ

Вот уже три месяца, как мы работаем на заводе. За это время Володька и я научились многому. Мы знаем разницу между переменным и постоянным током, высоким и низким напряжением, умеем переключать моторы со ста двадцати на двести двадцать вольт, ставить розетки, штепселя, выключатели, знаем, где надо работать шнуром, где проводом, можем на ощупь определить марки и сечения проводов, разбираемся, когда, где, и какое сечение применить. Грязнов, делая страшные глаза, кричит на нас за малейшую оплошность, заставляет переделывать работу по два, по три раза.

— К черту! — кричит он.— Бездельники, лоботрясы! Все переделать! Руки повыдергаю!

Однако заведующему мастерской он расхваливает нас на все лады. От этих его похвал даже нам самим становится неудобно.

Однажды мы с Володькой, осматривая в мастерской старый провод, который предполагалось пустить в дело, были свидетелями такого разговора, происшедшего за стеклянной перегородкой, в конторке заведующего мастерской. Королев сидел за столом; щелкая на счетах, готовил к сдаче в бухгалтерию наряды. Вошел Грязнов, закурил и неко-

торое время с любопытством, по-птичьи склонив набок большую, лобастую голову, следил за его работой.

— Что тебе? — не поднимая головы, спросил Королев.

— Моим ребятам надо разряд повысить,— сказал Грязнов, гася папироску в пепельнице.

— Рано больно,— бросил Королев, не отрываясь от работы.

— Мне видней.

— Мало ли что!

— А я говорю,— Грязнов повысил голос,— надо ребятам разряд. Они у меня настоящие монтеры. И вообще брось к черту свою бухгалтерию, когда с тобой о деле разговаривают.

Королев перестал щелкать на счетах, удивленно, даже с некоторой опаской посмотрел на него, примиряюще сказал:

— Ну ладно, ладно, чего ты распалился? Установим пробу, посмотрим, на что способны твои помощнички.

— Давай устанавливай.

— Так уж сейчас и давай? — спросил Королев.

— Вот именно.

— Ох, Иван, и настырный же ты человек! Тяжело с тобой, честное слово. Ну да ладно,— Королев роется в бумагах,— так уж и быть. — Он достает из папки чье-то заявление, исписанное всевозможными резолюциями. — Пусть поменяют проводку вот по этому адресу,— и протягивает заявление Грязнову.

— Так-то лучше,— примирительно говорит тот, пряча заявление в нагрудный карман спецовки.

И вот нам дают первую самостоятельную работу.

В небольшом заводском домике во Владыкине, в квартире работницы канифольного цеха, нужно сменить всю проводку. Квартира только что отремонтирована, оклеена новыми обоями, старые, грязные провода, сорванные с роликов, висят, как говорит Грязнов, на честном слове.

— Ввод не трогать,— напутствует Грязнов.— Начинать от переходной коробки. И чтобы все, как я учил. Иначе руки пообрываю!

Берем с собой шнур, провод, отвертки, молотки, ролики, шурупы, розетки, выключатели и идем на работу. Хозяйки дома нет: она на заводе. Ее мать недоверчиво косится на нас, долго расспрашивает, кто мы, откуда, кто нас послал, знаем ли мы ее дочь и как она выглядит.

Наконец после мучительных колебаний впускает нас в дом.

В квартире две комнатки, темные сени, кухня. Решаем с Володькой, что один будет работать шнуром, другой — проводом. Тянем жребий. Шнуром достается работать мне.

Прежде всего, как учил Грязнов, мою с мылом руки. Они должны быть чистыми, иначе испачкаю шнур. Ввинчиваю в углу первый ролик, в противоположном углу — второй. Между ними натягиваю бечевку, чтобы шнур был проложен ровно и промежуточные ролики стояли на одинаковом расстоянии друг от друга. Дело несложное: две лампочки, два выключателя, но потому, что я первый раз работаю самостоятельно и от этой работы зависит мое, пусть даже маленькое пока, будущее, я волнуюсь и то и дело вытираю рукавом спецовки вспотевшее от усердия лицо.

Володька тоже волнуется. Он каждую минуту заглядывает ко мне и робко что-нибудь советует. Это начинает злить меня.

— Ты что,— говорю ему,— следить за мной приставлен? Думаешь, я сам не знаю, что надо делать?

— Да нет, что ты, я так только...— смущается Володька.— Интересно же. Ты ведь и сам ко мне приходил.

Это верно. Несколько раз и я совал свой нос в кухню, не в силах сдержать любопытство.

Слышно, как гудит заводской гудок, возвещающий обеденный перерыв.

И у нас работа закончена. Ввинчиваем новые пробки в предохранительную коробку, щелкаем выключателями. В комнатах, в кухне, в сенях загораются желтые огоньки лампочек. Мы их нарочно не гасим, чтобы продлить наслаждение: собираем ролики, шурупы, инструменты, сматываем старый провод.

Приходит с завода хозяйка квартиры. Она в спецовке, от нее хорошо и резко пахнет живицей, скипидаром. Это пожилая, добрая женщина, у нее простое, открытое, немного усталое лицо. Она с удивлением и нескрываемым удовольствием оглядывается, с улыбкой щурится на лампочки, потом с той же улыбкой оглядывает нас, стоящих возле двери, и говорит:

— Очень даже хорошо. Ай да молодцы, ребята! Ну какие же вы молодцы! Настоящие мастера! Это что! Большое вам от меня спасибо.

Мать ее, сухонькая, легкая старушонка, все время, пока мы работали, мышью подозрительно метавшаяся по комнатам, стоит тут же, прислонясь спиной к комоду, сложив на груди руки, умиляется:

— Такие мастера, такие мастера! Сейчас пришли, сейчас давай делать то, давай другое, раз-два, оглянуться не успела — ан и свет уже горит!

Я чувствую, что слова ее не искренни и не сердечны. Ее подозрительность больно задевала меня, все время хотелось сказать, что она зря волнуется, ничего мы у нее не украдем, она не за тех принимает нас: мы рабочие люди, комсомольцы, это понимать надо в конце концов. Но сейчас я прощаю ей все, даже неискренняя похвала ее окрыляет меня, и я не в силах сдержать счастливую улыбку. Блаженно улыбается и Володька.

— Проверьте, пожалуйста,— прошу я хозяйку,— все ли у вас в порядке.

Та, ласково, снисходительно улыбаясь, нехотя, как бы лишь уступая моей просьбе, обходит квартиру, щелкает выключателями, гасит, зажигает, снова гасит свет.

— Все в порядке, все в порядке! — говорит она.— Спасибо вам, ребята, от души!

Мы возвращаемся на завод не спеша. Ведь мы сегодня самостоятельно работали, наша работа пришлась людям по душе, нас похвалили. Мы теперь и не сомневаемся, повысят ли нам разряд. Обязательно повысят. Грязнова мы не подвели.

И важно еще то, что теперь мы будем получать не по шестнадцати или восемнадцати рублей, а по двадцать два рубля в получку, и мать, для которой все никак не освобождается место курьерши, очень этому обрадуется. Я решаю ничего пока ей не говорить, а просто в получку положу перед ней на стол целых шесть рублей лишку. То-то удивится она!

Мартовское солнце пригревает заснеженную землю. Крыши потемнели, на дорогах снег рыхлый, сырой, на старых темных липах сада «Гай» с беспокойным криком чинят гнезда грачи. На душе у меня легко и весело, и опять, как тогда, в первый день нашей работы на заводе, мне неудержимо хочется, чтобы побольше народу увидело нас: монтеры идут! Смотрите же, это идут монтеры! Они еще такие молодые — и уже опытные мастера. Удивительно, непостижимо! Можно бы даже не поверить, но они только что выполнили сложнейшее задание и теперь, ви-

дите, возвращаются в свою мастерскую с таким видом, словно это даже и не они работали.

Ах, как это было бы славно, если бы именно такие мысли возникали у людей при встрече с нами!

ТЕМПЫ! ТЕМПЫ!

В клубе над сценой висит красное полотнище. На нем большими буквами выведено:

ОТ УДАРНЫХ БРИГАД — К УДАРНЫМ ЦЕХАМ!
ОТ УДАРНЫХ ЦЕХОВ — К УДАРНЫМ ЗАВОДАМ!

Этот лозунг выражает всю сущность времени: в стране идет грандиозная промышленная битва.

Темпы, темпы, темпы!

Все подчинено стремительной, непреклонной мысли: вперед — и как можно быстрее!

И не только как можно. Иногда даже если нельзя, невозможно, невероятно, все равно вперед, все равно быстрее.

Вся страна в лесах невиданных строек: Кузбасс, Магнитка, Турксиб, Днепрогэс!

Темпы, темпы, темпы!

Слова эти не сходят со страниц газет. Они как набат, как знамя.

Они — честь и слава страны, которая в сказочно короткие сроки, намеченные партией, должна стать передовой, мощной промышленной державой.

Все внимание только этому, все силы рабочего класса только на выполнение этих задач.

Но не все люди сознательно и честно относятся к своим обязанностям и своему труду. И поэтому бытуют среди нас и другие слова: прогульщик, рвач, пьяница, шкурник. Это несчастье времени. С рвачами и прогульщиками, как с эпидемией, как с заразной болезнью, ведут непримиримую борьбу, их клеймят позором на всех собраниях, в стенгазетах, в плакатах-«молниях», в выступлениях синеблузников.

Работа на заводе, школа, клуб — все это заполняло мою жизнь до отказа. Писать стихи и рассылать их по редакциям, чтобы получить обратно, мне стало некогда. Тем не менее на заводе меня продолжали считать поэтом.

Однажды к нам приезжал молодой московский поэт.

Походил по заводу, поговорил в завкоме, поглядел, как идут дела на строительстве котельной — высокого, неуклюжего здания, напоминающего по форме спичечную коробку, поставленную на попа,— и уехал, оставив завкомовцам сочиненные экспромтом ядовитые четверостишия про прогульщиков и лодырей.

Стихотворения эти переписали на большие листы бумаги и расклеили на стенах клуба, столовой, завкома и в цехах.

Возле проходной повесили такое стихотворение:

Выпить хоть трошечки —
 это болезнь наша.
Этого не чурается
 даже Трошечкин
Ни-ко-ла-ша.

Николай Трошечкин уже не раз в дни получки появлялся в клубе пьяный, или, как у нас говорили, «на взводе». Он изо всех сил старался быть вежливым, говорил девчатам «пардон, мерси», был, как все сильные люди, неловок и добродушен, но строгий секретарь нашей ячейки Андрюша Протасов сказал, что комсомольцу пить водку — это позор, и в конце концов вызвал Трошечкина на бюро, и ему объявили порицание с предупреждением.

А тут еще эти стихи.

Я не видел приезжавшего к нам поэта и узнал о том, что он был на заводе, лишь когда прочел на воротах проходной стихи про Трошечкина. Там же была и карикатура — человек с диким выражением лица размахивает бутылкой. Красные волосы на рисунке не оставляли сомнения в том, что изображен именно Трошечкин.

Было это утром, люди шли на работу, толпились возле ворот, вслух читали стихи, смеялись. Стоял в толпе и Трошечкин, невероятно злой. Когда я подошел, все почтительно расступились, давая мне дорогу. Я заметил на себе веселые, любопытные взгляды, но, не чувствуя за собой никакой вины, не придал этому значения, как не обратил внимания и на то, что Трошечкин готов был, судя по его взгляду, разорвать меня.

Я прочел стихи, усмехнулся, поглядел на Трошечкина, перевесил с одной доски на другую свой табель и пошел в мастерскую.

Часа два спустя заведующий послал меня в медницкий цех. Надо было включить большой вентиляцион-

ный мотор. Медники надымили своими тремя печами, маленькие вентиляторы не успевали откачивать воздух, вытягивать гарь из цеха, а большие моторы со щетками и реостатами разрешалось пускать только специалистам.

Включив мотор, я пошел обратно в свою мастерскую. И тут меня окликнули:

— Эй, стихоплет! Погоди-ка.

Я оглянулся. Возле горна, раздувая его мехами, помешивая калившиеся в нем на углях заклепки, стоял Трошечкин. Котельщики и зимой и летом работали на улице, гремели с утра до вечера на весь заводской двор.

Я подошел.

— Что же это ты вывел меня таким алкоголиком, а? — с обидой спросил Трошечкин.

— А почему ты думаешь, что это я? Совсем и не я.

— Ты мне зубы не заговаривай! «Не я»! Стихоплет несчастный! Вот врежу промеж лопаток...— Он тряхнул перед моим лицом клещами так энергично и убедительно, что я невольно дернул головой. Это показалось ему забавным, он усмехнулся: — Вот возьму врежу, так будешь знать, как позорить человека!

— Врезало какой нашелся! — Слова его разозлили меня. Как будто он ни в чем не виноват, как будто не его недавно проработали на бюро комсомольской ячейки.— Может, скажешь, что это неправда?

— «Неправда»! — передразнил он.— Правдолюб какой! Значит, признаешь, твоих рук дело?

— Ну, а если моих, тогда что?

— У, шкет! — презрительно сказал Трошечкин. И не успел я глазом моргнуть, как он шлепнул меня ладонью по затылку.

Шлепнул слегка, но я едва устоял на ногах. Шапка слетела с моей головы, упала в грязь. Побледнев от обиды, я поднял ее, вытер о спецовку, надел на голову.

Трошечкин, повернувшись ко мне спиной, яростно крутил ногой — раздувал пламя в горне. Угли вспыхивали синим огнем, из-под них летели в небо искры.

Я огляделся по сторонам. К счастью моему, никто не видел моего унижения. Но сдачи дать я не мог: не хватило духу. Я с ненавистью посмотрел на широкую, невозмутимую спину, которая была, наверное, вдвое шире моей, и, ничего не сказав, поплелся прочь, лихорадочно придумывая различные планы мести.

«Пожаловаться Андрюше Протасову»,— первым делом

проносится у меня в голове, но я сразу же отказываюсь от подобной меры. Жаловаться я не люблю. Вот если бы удалось подговорить усковских ребят, чтобы они как-нибудь вечером устроили Трошечкину «темную»... Впрочем, это тоже не подходит. Во-первых, такому трудно устроить «темную», он сам может пятерым сразу сделать такую «темную», что и про маму не вспомнишь, а во-вторых, он ведь не узнает, за что его бьют, и мое чувство мести не будет полностью удовлетворено. Если бы в это время я мог стоять перед ним и, подбоченясь, издевательски гордо хохотать — дело другое.

Но я так ничего и не придумал, хотя возвращался к этой мысли не раз и на заводе, и когда шел с работы домой, и даже в школе, сидя за партой.

В ШКОЛЕ

Первое время нас в школе окружало всеобщее внимание: учителей и наших товарищей по классу интересовало, сумеем ли мы справиться и с работой на заводе, и с занятиями в школе, выдержим ли такую нагрузку. Работали мы с восьми утра до двенадцати дня, учились во вторую смену — времени было, как говорят, в обрез, но тем не менее мы всюду успевали. Постепенно любопытство к нам улеглось. Продолжал беспокойно интересоваться нами лишь Кирилл Лихачев, лучший ученик класса, зубрила, мальчик чистенький, вежливый, с ядовитой, надменной улыбочкой, никогда не сходившей с тонких, плотно сжатых губ.

Я по его глазам видел, как ему хотелось, чтобы мы опаздывали на занятия, не успевали готовить уроки. Для чего ему все это было нужно, я не мог понять. Он приходил в класс раньше всех, садился за парту и не спускал с двери глаз, надеясь, что вдруг кто-нибудь из нас, заводских ребят, все-таки опоздает.

А мы не срывались. И это очень огорчало его. Однажды в переменку он прижал меня к печке и потребовал:

— Скажи, что вы хотите этим доказать?

— Чем? — спросил я.

— Тем, что и работаете и учитесь.

— Ничего.

— Вы хотите зарабатывать деньги? Бросьте школу!

Я удивленно поглядел на него:

— Мы что, мешаем тебе?

Он тоже удивился:

— А зачем вам учиться?

Тут в разговор вмешался Мотька Власов. Он сложил кукиш, внушительно покрутил им перед носом Кирилла и спросил:

— А вот этого ты не хочешь?

Тонкие губы Кирилла сжались еще плотнее.

— Кончается год,— зло заговорил он,— вы все равно не выдержите экзаменов, нахватаете «неудов» и весь класс вниз потянете. Вы надоели учителям. Леонид Константинович не знает, что делать с вами.

Леонид Константинович, директор школы, прозванный «Бармалеем», молчаливый, хмурый старик, которого все боялись как огня, преподавал географию.

— Врешь,— сказал Мотька.— И «неудов» не нахватаем, и учителям не надоели. И про Бармалея ты все сам выдумал. За шкуру свою трясешься.

— Нет, не выдумал! — взвизгнул Кирилл.— Вот только опоздайте к нему на урок, он вам покажет!

Леонид Константинович к опаздывающим был строг и в класс после звонка никого не впускал.

Мы передали наш разговор с Кириллом Сашке, Тоне и Нине.

— Ребята, сознайтесь, что он гадина! — воскликнула Тоня.

— Гадина не гадина,— нахмурился Сашка,— а нам надо держаться, чтобы не опозорить своего комсомольского звания.

— Да о чем разговор! — великодушно поддержал его Мотька.

И надо же было случиться, что на другой же день он опоздал именно на урок Леонида Константиновича.

Раздался звонок, все уселись за парты, в класс вошел Леонид Константинович, прикрыл за собой дверь. Кирилл, староста класса, с радостью сообщил ему, что на уроке отсутствует только Власов. Ничего не ответив, Леонид Константинович начал занятия с обычной своей фразы:

— Ну-с, на чем мы остановились в прошлый раз?

Я видел нахмуренное лицо Сашки, сидевшего в соседнем ряду, глупую улыбочку Кирилла, и мне стало не по себе. Назревало что-то нехорошее...

— Прошлый раз мы остановились на том, что...— продолжал после некоторого молчания Леонид Константино-

вич, заложив руки за спину и прохаживаясь между партами. Не докончив фразы, глядя в окно, он произнес: — А вон и Власов наш летит вприпрыжку.

По школьному двору и в самом деле летел вприпрыжку Мотька, в распахнутом пальто, в сбитой на затылок кепчонке, держа в одной руке книги, а в другой — кусок ржаного хлеба и жуя на ходу.

Леонид Константинович постоял в задумчивости, оглядел нас и, задержав на мне строгий взгляд, произнес:

— Пойди и скажи Власову, чтобы он доедал свой хлеб и шел в класс.

Никто из нас не ожидал, что для Мотьки Леонид Константинович сделает исключение из своих жестких правил.

Вылезая из-за парты, я победно посмотрел на Кирилла, который удивленно таращил глаза на Леонида Константиновича.

Когда Мотька появился в дверях, учитель сказал:

— Власов, почему ты опоздал?

— Работа была срочная, ее сегодня надо было закончить, я задержался после гудка — и вот...— Мотька растерянно развел руками.— Больше этого не будет.

— Садись... Так в прошлый раз мы остановились...

Урок продолжался.

Этот эпизод вновь поставил нас в центре всеобщего внимания. А Кирилл еще больше забеспокоился. Он возмущался, негодовал, ему хотелось, чтобы все несчастья свалились на голову Власова. Ему казалось невероятным, что именно он, Мотька Власов, вдруг очутился в таком привилегированном положении.

— Кто они такие? — шумел Кирилл, собрав во время перемены возле себя кружок единомышленников.— Вы думаете, они что-нибудь умеют делать? Как бы не так! Они там, на заводе, на побегушках: «Подай, принеси!» И за это им в школе еще устраивают всяческие поблажки!

Он лгал. Но что можно было ответить ему?

Однако ответ скоро пришел сам собой. И вот как это случилось. По вечерам в школе занимались кружки: переплетный, драматический, хоровой, вышивания, выпиливания, изо. Однажды, спеша в клуб на репетицию духового оркестра,— а путь мой лежал мимо школы — я с удивлением заметил, что там не светится ни одно окошко.

Возле дверей стояла сторожиха, напряженно вглядываясь в вечернюю мглу.

— Что так темно в школе, тетя Настя? — спросил я, поравнявшись с ней.

— Да свет погас, а монтера все нет и нет.

— Свет погас? А мы сейчас посмотрим,— сказал я.

— Погляди-ка, погляди! — обрадовалась сторожиха.— А то ребят-то уж собираются по домам отправлять.

В школьном коридоре со свечой в руке стоял Леонид Константинович. Около него вертелся Кирилл.

— Вот монтера веду,— сказала тетя Настя.

— Трофимов? — сердито проговорил Бармалей, увидев меня.— Очень кстати. Продемонстрируй-ка нам свое искусство.

— Он продемонстрирует! — засмеялся Кирилл.

Я ничего не ответил ему.

Прежде всего надо было проверить пробки. Притащили лестницу, я взобрался на нее, отвинтил пробки, проверил контакты контрольной лампочкой, которую, как самый заправский монтер, все время носил в кармане. Но контролька не загорелась. Стало быть, дело не в пробках. Я потащил лестницу во двор, приставил ее к столбу; тетя Настя зажгла фонарь «летучая мышь», я взобрался с ним по лестнице на столб. Там при ответвлении школьных проводов от основной сети был приставлен «жучок». В нем-то и крылась вся загадка: перегорел предохранитель «жучка».

Для того чтобы поставить новый, потребовалось не больше двух минут. И вот во всех окнах вспыхнул яркий электрический свет. Я отнес лестницу в коридор школы, и там Бармалей сердито сказал мне:

— Молодец.

Не знаю, слышал ли это Кирилл Лихачев, но он уже никогда больше не выступал против нас, делая вид, что мы совершенно неинтересны ему.

МЫ МОБИЛИЗОВАНЫ

Весна! Всюду вода: на Петровом поле и огородах, на дорогах и тропках. Отгороженный от завода земляной дамбой пруд, по прозвищу «керосиновый», взбух, вода подошла к кромке берегов. Канава, которая тянется от пруда вдоль завода и дальше, мимо сада «Гай», превратилась в мутную бурную речку и все же не в силах пропустить всю талую воду.

Возле проходной, там, где недавно висела карикату-

ра на Трошечкина, прибито объявление: созывается вно-очередное собрание комсомольской ячейки.

Когда я прихожу в клуб, там уже полно комсомольцев. Девушки, сбившись в кучку возле сцены, поют про Сергея-попа; Аркашка Григорянцев, сидя верхом на скамейке, играет в шашки с Трошечкиным. Играют на щелчки.

— А я вот так,— говорит Григорянцев, двигая шашку.

— А я вот так,— говорит ему Трошечкин.

— Так.

— Так, так и так.— Трошечкин «ест» сразу три шашки и, выпрямившись, победно поглядев на противника, говорит: — Давай.

Аркашка покорно подставляет ему лоб, и Трошечкин не спеша, как говорится, с толком, чувством и расстановкой, начинает отсчитывать щелчки, приговаривая:

— И-и рас-с, и-и двас-с...

Тем временем Андрюша Протасов, взобравшись на сцену, озабоченно оглядывает зал:

— Все в сборе?

Кто-то кричит:

— Антона нет!

Активист Антон Плешко до того суетлив и беспокоен, что, кажется, он даже ходить разучился и умеет только бегать, ссутулясь и по-гусиному вытянув вперед голову. Впрочем, хотя он и бегает, но всегда опаздывает: на работу, на собрания... Вот он влетает в клуб, вытаскивая из кармана часы-луковицу (мы прозвали их «перед употреблением взбалтывать»), встряхивает, прикладывает к уху, потом недоверчиво смотрит на циферблат.

— Ты их еще разок встряхни,— советует Аркашка, потирая покрасневший от щелчков лоб.

Антон, удостоив его одним лишь пренебрежительным взглядом, начинает распоряжаться.

— Мироныч! Мироныч! — властно кричит он.

Мироныч не спеша выходит из-за кулис.

— Ну здесь я. Чего так блажишь?

— Можешь погулять,— сообщает ему Антон.

— Чего? — переспрашивает Мироныч, приложив ладонь к уху.

— Иди подыши свежим воздухом, освежись,— строго говорит Антон.— У нас закрытое собрание будет.

— Поди-ка ты... вот что...— Мироныч укоризненно глядит на него.— Меня, когда партийцы собираются, и то из

клуба не удаляют, а на тебя мне все равно, что...— Он плюет под ноги, шаркает по полу подошвой и уходит за кулисы, бормоча: — У меня свои дела есть, тебя, балаболки, не касающие...

Андрюша Протасов насмешливо наблюдает за Антоном, а тот, сразу же забыв про Мироныча, приказывает мне:

— Трофимов, иди запри дверь.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Чтобы не подслушивали,— говорит Антон.

— Кто?

— Классово чуждый элемент.

— Не надо,— говорит Протасов.

— Я остаюсь при своем мнении! — вскрикивает Антон.

— Ладно, ладно,— соглашается Протасов,— оставайся.

Я слышу, как за моей спиной Трошечкин предлагает Аркашке:

— Ну-ка, заведи его.

Дело в том, что Антон Плешко любит произносить речи и поучать; как у нас говорят, заводится с пол-оборота.

— Антон,— сделав серьезное лицо, говорит Аркашка,— вот Трошечкин уверяет меня, что водка на организм не действует.

Трошечкин, не ожидавший этого вопроса, смущается:

— Ну ты уж...

— Как это — не действует? — вскрикивает, обернувшись, Антон.— Только такие несознательные личности, как Трошечкин, могут говорить подобную несусветную чепуху. Алкоголизм — бич человечества — разрушает нервную систему всего человеческого организма. Он...

— Помолчи,— останавливает его Протасов, стучит карандашом по графину, и в зале после некоторой возни (комсомольцы, перешептываясь, рассаживаются лицом к сцене. Трошечкин успевает щелкнуть Аркашку по лбу, проговорив: «Трис-с...») наступает полная тишина.

Собрание, как говорят, короче комариного носа. Никакой повестки дня, никакого президиума. Андрюша Протасов сообщает, что вода в пруду может размыть дамбу, хлынуть через край, затопить заводской двор, цеха. К тому же положение в стране напряженное, классовые враги не дремлют, стараются сорвать начавшуюся всюду генеральную перестройку страны, и на плотине может случиться вредительство. Ведь стоит на какой-нибудь час

перекрыть канаву — и медницкий цех, старая котельня, мастерские, склады окажутся под водой. Поэтому объявляется чрезвычайное положение, и комсомольская ячейка считается мобилизованной для круглосуточной охраны дамбы. Создан штаб охраны из членов бюро ячейки. Ночью на дамбе будут дежурить комсомольцы дневной смены, днем и вечером — все, кто занят в посменной работе. Освобождение получают только больные по бюллетеню. Никакие другие причины во внимание не принимаются.

— Вопросы есть? — заканчивает свою речь Андрюша.

— Лопаты дадут?

— Инструменты получит штаб. Через час лопаты, ломы, багры и кирки будут здесь, в нашей комнате. Еще вопросы есть?

— Нет.

— Собрание считаю закрытым. Членам штаба остаться для составления списка дежурств. К концу дня список вывесим в проходной.

Итак, мы мобилизованы. Неважно, что вместо винтовок у нас заступы, кирки и багры. Нам доверена охрана завода от наводнения, а может быть, и от вылазки врагов, ненавидящих Советскую власть. Днем они не решатся на вредительство и на дамбу, конечно, придут ночью. А ночью там буду дежурить я. Вполне вероятно, что мне придется вступить в смертельную схватку с врагами! Вот если бы мне поймать какого-нибудь врага! Пусть меня ранят, пусть я буду истекать кровью, но я не отступлю ни на шаг.

Картины, одна героичнее другой, рисуются в моем воображении. Я закрываю своим телом промоину на дамбе и остаюсь в ледяной воде до тех пор, пока не прибывает подмога. После этого я заболеваю крупозным воспалением легких и меня отвозят в больницу. Я лежу в палате, ко мне приходят друзья — Володька, Сашка и, конечно, Нина. Она остается дежурить около моей постели, я слабым голосом говорю ей: «Прощай, Нина!» — и умираю у нее на глазах. Нина безутешно рыдает, она только сейчас поняла, какой я хороший парень. Впрочем, нет, умирать я, пожалуй, не стану. Лучше другое.

Вот со стороны Петрова поля подбираются злобные вредители. Они тащат бревна, подвозят на лошадях щебенку, чтобы перегородить канаву. «Врешь, не бывать этому!» — кричу я, бросаюсь вперед и первому же вредителю ловко скручиваю руки веревкой, которую преду-

смотрительно захватил с собой. Враг, не ожидавший такого смелого нападения, перепугался до смерти и, дрожа всем телом, сдается мне. Его сообщники струсили и разбежались. Но нет. Лучше я сперва скручу руки одному, потом второму, потом третьему — веревок у меня достаточно — и поведу их в ячейку комсомола. Там полным-полно народу, во всех глазах восторг и изумление. Вот это да! Один поймал трех самых главных вредителей, которых давно уже ищут чекисты. Нина пожимает мою руку и со слезами на глазах произносит: «Виктор, ты герой!» Андрюша Протасов хватается за голову и не может простить себе, что меня приняли всего-навсего кандидатом, а не членом комсомола. Тут все обращают внимание, что среди вредителей, задержанных мною, стоит котельщик Трошечкин. «Ага, Ни-ко-ла-ша! — говорю я ему.— Вот, оказывается, какое твое настоящее лицо, кулацкий выкормыш!»

Как только кончаются занятия в школе, бегу домой, быстро делаю уроки, благо задано мало, сую в карманы пять картофелин, горбушку хлеба, круто посоленную и помазанную подсолнечным маслом.

— Куда это ты на ночь глядя собираешься? — спрашивает мать.

— На завод. Угрожающее положение. Мы мобилизованы. Только никому не рассказывай,— говорю я с озабоченным и таинственным видом.

— Что это? — пугается она.— Господи!

— Будем охранять завод.

— От кого?

— От вредителей.

— Батюшки! Не ходил бы ты...

— Как это я, комсомолец, могу не ходить? Ты уж не позорь меня!

— Смотри там, поскромнее держись, — напутствует она, провожая меня.— Не лезь первый.

«Не лезь! — думаю я.— Как раз и полезу, только бы подвернулся случай». Но чтобы успокоить мать, говорю:

— Хорошо. Постараюсь.

В комнате нашей ячейки свалены лопаты, топоры, ломы, кирки. За столом сидит дежурный член штаба Антон Плешко.

На подоконнике, болтая ногами, сидят Сашка Жигин и Мотька Власов. Следом за мной приходят Нина и Тоня Гаврикова.

Уже совсем стемнело. Перед Антоном Плешко на столе лежит список, по которому Антон, поглядывая на огромные часы, свою гордость, каждый раз деловито встряхивая эту гордость и прикладывая к уху, назначает дежурных.

Сашка стелет на полу пальто. Помахав руками и пошаркав ногой по полу, изображая придворного кавалера (он недавно видел спектакль «Стакан воды»), приглашает Тоню с Ниной присесть. Стулья все заняты. Их вообще-то мало в нашей комнате, а тут еще на них устроился спать, составив вместе сразу шесть штук, мой ненавистный враг Трошечкин. Похрапывает, сладко чмокает губами. Когда он чмокает, словно сосет соску, все, кроме Антона, смеются. Антон никогда ни в чем не видит смешного. Так уж он устроен. На веселых людей он смотрит с презрением и называет их пустыми.

Услышав смех, Трошечкин просыпается, добродушно говорит: «Антон, призови несознательных людей ко всей серьезности»,— и опять засыпает.

Нина с Тоней сидят на Сашкином пальто, мы пристраиваемся рядом прямо на полу. Сашка толкает меня локтем в бок, подмигивает, шепчет:

— Заводи!

— Антон,— спрашиваю я,— можно комсомольцам галстук носить?

— Галстук? — азартно вскрикивает Антон.— Как ты можешь задавать такие несознательные вопросы? — Он в нетерпении ерзает на стуле.— Проклятое капиталистическое прошлое, с которым мы окончательно и бесповоротно навсегда покончили двенадцать лет назад, оставило нам в наследие вместе с разрухой и голодом свои дикие пережитки, как-то: дурман народа — религию, бич человечества — алкоголь...— Антон при этом косится на Трошечкина,— и так далее. К этим пережиткам надо отнести и ношение галстуков. Сегодня ты надел галстук, думая, что это красиво, а завтра неизвестно куда этот галстук может тебя увести...

Антон говорит убежденно и с той легкостью, какая присуща лишь очень опытным болтунам. Кажется, стоит ему раскрыть рот, как слова, уже давно выстроившиеся в целые фразы и ожидавшие во рту, когда он разожмет губы, начинают сыпаться из него, озадачивая и изумляя людей своей пулеметной трескотней.

— А вот Владимир Ильич Ленин,— говорит, проснувшись, Трошечкин,— на всех портретах в галстуке снят. Это как же надо понимать, по-твоему?

Наступает короткое замешательство. Антон, застигнутый врасплох этим вопросом, растерянно моргает белесыми ресницами.

— Владимир Ильич Ленин — вождь международного пролетариата,— твердым голосом говорит он.— С кем это ты вздумал себя сравнивать?

— Да я не сравниваю,— говорит Трошечкин.— Это я к примеру только. Как, мол, тут быть насчет галстука?

— Между прочим, выйди курить на крыльцо,— опять изворачивается Антон.— Здесь тебе не курилка. Это еще раз подтверждает твою несознательность.

Трошечкин неловко мнет папироску здоровенными, с въевшейся в поры металлической пылью пальцами и идет к двери, безобидно бросив на ходу:

— Трепло ты гороховое!

— Стой! — приказывает Антон.

Трошечкин, уже взявшийся за ручку двери, оборачивается:

— Еще чего?

Антон вытаскивает из кармана «перед употреблением взбалтывать», встряхивает, прикладывает к уху и лишь после этого смотрит на циферблат.

— Сейчас твоя очередь заступать на дежурство. Там, на плотине, и накуришься... Матвей Власов и ты,— кивает он мне,— идите с Трошечкиным.

Трошечкин оглядывает нас, прячет папироску в карман и говорит, распахнув дверь:

— Пошли.

Ночь стоит темная, мокрая. Шумит, посвистывает ветер, порывисто налетая на голые ветки старых тополей. Кругом шелест, всплески, хлюпанье воды. Мы бредем по раскисшей грязной дороге, то и дело сбиваемся с пути, оступаемся в лужи. Трошечкин тихо, яростно ругается.

Я не ожидал, что пойду на плотину вместе с ним.

Это неловко и в то же время куда как хорошо: с таким, как Трошечкин, не страшно встретиться ни с какими вредителями. А вдруг мы и верно встретимся? А вдруг...

Тревожно, беспокойно и отчаянно на душе.

Я не сержусь на Трошечкина. Собственно, рассуждаю я, ничего страшного между нами не произошло. То, что он

шлепнул меня по затылку, можно рассматривать по-всякому. Например, это вполне может выглядеть как добродушный, дружески безобидный жест. А в том, что я едва устоял на ногах, Трошечкин не виноват. И если бы шапка была надета как следует, она бы не слетела с головы.

Интересно, что он думает обо мне? Спросить его о чем-нибудь? Он ответит, и по интонации, по голосу я пойму, как он ко мне относится. Однако я не решаюсь на этот поступок. Я боюсь, что он ответит грубо или, что будет еще обиднее, вовсе промолчит. Уж лучше сделать вид, что я нисколько не нуждаюсь в его обществе.

На гребне дамбы ветер еще сильнее: здесь ему ничто не мешает гулять над прудом.

За насыпью, в затишье тлеет небольшой костер. Тут же валяются дрова, доски, лопаты, багры. На поленьях сидят, повернувшись к огню, двое дежурных. Присаживаемся и мы, тянем к костру озябшие руки. Трошечкин, растопырив над костром пальцы, спрашивает:

— Ну, как тут дела у вас? Вода прибывает?

— Прибывает.

— Сколько до края осталось?

— Полметра.

Трошечкин тихо, но со значением присвистывает.

С насыпи, из темноты, словно с неба, спускается на свет костра третий дежурный. В руках у него длинная рейка с зарубками: ходил измерять воду.

Трошечкин вынимает папироску, сует ее в рот, выковыривает из костра красный уголек, ловко подхватывает его в пригоршню и, перекатывая с ладони на ладонь, прикуривает. Кинув уголек в костер, обращается к пришедшему:

— Ну как?

— Прибывает. За час на пять сантиметров прибавилось.

Уходя, сменщики предупреждают:

— Справа от канавы насыпь подмывает.

Мы остаемся у костра. Трошечкин, попыхивая папироской, косится на затухающие головешки; ни к кому не обращаясь, лениво говорит:

— Подбросить надо.

Я хватаю доски, щепу, несколько поленьев, кидаю их в костер. Мотька, став на четвереньки, вытаращив глаза, оттопырив губы, что есть силы дует на угли, натужно

кашляет. Щепа, потрескивая, занимается. Я ловлю на себе любопытный, смеющийся взгляд Трошечкина.

— Матвей,— говорит он,— иди-ка проверь, как там вода поживает.

Мотька вскакивает, хватает рейку и, держа ее обеими руками наперевес, словно винтовку в атаке, карабкается по скользкой насыпи и исчезает в темноте.

— Обижаешься? — спрашивает Трошечкин, проводив его взглядом.

— Нет, — качаю я головой.

— Правильно. А я думал, обижаешься.— Он смеется.— Здорово ты меня в стишках своих протащил! Вишь, как ловко: трошечки — Трошечкин. Откуда это у тебя?

— Да честное слово, это не я писал!

— Брось! — отмахивается он.— Не люблю я этого.

Обидно, что он не верит мне.

— А я ведь, знаешь, после этого зарок дал себе, чтобы не пить,— помолчав, говорит он.— Вчера Аркашка Григорянцев как уговаривал, а я не пошел.

— А куда он тебя звал? — спрашиваю я.

— Да к Харите.

Харитой все тот же неутомимый на выдумки Аркашка прозвал жившую неподалеку от завода рябую, толстую, с растрепанными мочалистыми волосами бабу, тайно торгующую водкой.

— А Аркашка ходил?

— В том-то и дело, что и он не пошел.

Аркашка водку не пьет, это я знаю точно, и звал он простодушного Трошечкина к Харите, вероятно, руководствуясь чисто провокационным любопытством.

С насыпи, скользя, съезжает на пятках Мотька.

— Вода! — с ходу, запыхавшись, кричит он.

— Что — вода? — спокойно спрашивает Трошечкин, не шевельнувшись, не изменив позы.

— Вода прибывает! Канаву льдом затерло!

— Без паники, тихо,— говорит Трошечкин, поднимаясь,— пошли.

Мы забираем лопаты, багор, лом и почти бежим с Мотькой, едва успевая за широко шагающим Трошечкиным.

Лед на пруду сдвинулся, его стянуло к канаве. Большая льдина, в которой торчит, впаявшись в нее, неизвестно откуда взявшееся на пруду бревно, застряла в самой горловине. На нее налезли другие льдины, шуга плотно

забила все лунки и полыньи. В темноте не разобрать, что делать, за что раньше браться. Трошечкин приседает, чуть не ложится на землю, вглядывается.

— Сбегать за ребятами? — спрашивает Мотька.

— Без паники,— спокойно говорит Трошечкин, поднимаясь.— Сами управимся. Надо бревно вытащить.

Трошечкин размахивается багром, вонзает его в бревно; мы дергаем раз-другой, багор срывается, и мы летим на землю.

— Как репку,— говорит Мотька, тихо смеясь.

— Какую еще репку? — сердито спрашивает Трошечкин, вставая.

— Посадил дед репку, выросла она большая-пребольшая...— начинает Мотька.

— А! — еще пуще сердится Трошечкин.— Научился у Антона трепаться! Давай еще раз.

Бревно не поддается.

— Стоп! — командует Трошечкин.— Надо льдину колоть.

Но с берега ломом до льдины не достать. Отчаяние, азарт овладевают мной. Не раздумывая, прыгаю на льдину, благо глаза уже успели привыкнуть к темноте и хорошо различают окружающие нас предметы.

— Спокойней, — советует Трошечкин. — Оглядись.

Но мне некогда оглядываться. Мне жарко. Шапка моя сдвинута на затылок, пальто распахнуто.

— А-а-ах! — колю я льдину, взмахивая ломом.— А-а-ах!

Острые, как стекло, холодные осколки летят мне в лицо; я жмурюсь, отплевываюсь.

— А-ах! А-ах!

И льдина разваливается с каким-то мягким, усталым и грустным хрустом. Я чувствую, как мои ноги разъезжаются в разные стороны. Успеваю швырнуть лом на берег, вцепиться в бревно обеими руками. Но левым сапогом я все-таки, словно ведром, черпнул воды.

— Хватай! — не кричит, а шепотом, с хрипом приказывает мне Трошечкин, протягивая багор.

Но я уже плыву на льдине по канаве, не в силах оторваться от бревна, чувствуя, как в сапог проникает стужа, охватывая всю ногу.

— Хватай, стихоплет несчастный! — шипит Трошечкин.— Ты заснул? Хватай!

Наконец, улучив момент, делаю над собой усилие, что-

бы оторваться от бревна, хватаюсь за багор; меня подтягивают к берегу; я прыгаю и опять тем же сапогом черпаю воду.

— Промок? — участливо спрашивает Трошечкин, когда я оказываюсь на берегу.

Сапог полон воды. Потопав ногой, послушав, как в сапоге хлюпает и чавкает вода, говорю не очень решительно:

— Ничего...

— Беги в ячейку сушиться, а мы с Матвеем другие льдины прогоним,— велит Трошечкин.— Да бегом беги, а то застынешь!

Но я колеблюсь. До конца дежурства остается еще не меньше часа. Как я приду один в ячейку, по какому праву брошу ребят?

— Да у меня ничего,— говорю я просительно.— Я здесь, у костра обсушусь. Я живо!

— Ну смотри...

Костер горит жарко. Я сижу на полене, вытянув мокрую ногу, растянув над огнем выжатую портянку. От штанины и портянки валит пар.

Мне стыдно. Неуклюжий я все-таки. Другой бы на моем месте, тот же Мотька, не оступился, не зачерпнул бы сапогом воды. Вот теперь, вместо того чтобы быть с ребятами, растаскивать затор, то есть делать то, зачем меня и послали сюда, я вынужден бездельничать у костра. Нет, так нельзя. Надо идти на помощь. Вон и портянка почти сухая. А на ноге она еще скорее высохнет.

Но пока я раздумываю да собираюсь, там, на канаве, все кончено. Трошечкин с Мотькой, мокрые, грязные, спускаются с насыпи, весело переговариваются.

Мотька садится рядом со мной, раздувает и вытряхивает из сапога мокрый снег.

— Тоже зачерпнул? — спрашиваю я.

— Зачерпнул,— говорит он, растягивая портянку над огнем.— Попробуй не зачерпни в темноте да в такой слякоти!

Смена приходит в полночь. Сашка Жиган что-то возбужденно рассказывает: мы его еще не видим, но далеко слышится в весеннем, чистом, чуть тронутом легким морозцем воздухе его голос.

Возвращаемся в ячейку. Там жарко, душно. От нашего топота на крыльце просыпаются дремавшие в углу Нина и Тоня. Они и еще три комсомолки — резерв. На

дежурство их не посылают. Все они в старенъких легких ботиках, в которых не то что ночью, даже днем мудрено пробираться по весенней распутице.

Присаживаюсь около Нины.

— Озяб? — заботливо спрашивает она.

Ее внимание трогает меня, и мне хочется ответить тем же.

— Будешь есть? — спрашиваю я помолчав.

— Да,— кивает она.

Поспешно вытаскиваю из кармана хлеб, картошку, разламываю краюху пополам.

— Что вы жуете? — спрашивает Тоня.— Дайте мне.

Нина делится с ней, говорит, набив картошкой полный рот:

— Вкусно!

Я протягиваю картофелину и кусок хлеба Мотьке, но тот, привалившись к стене, подняв воротник, сунув руки в рукава, уже посапывает во сне.

Антон спрашивает у Трошечкина:

— Как там — порядок?

— Для полного порядка тебя только не хватает,— говорит Трошечкин, снова укладываясь спать на своем прежнем месте.

— Между прочим, Трошечкин, ты совершенно недисциплинированный человек,— ничуть не обидясь, говорит Антон.

— А,— машет рукой Трошечкин и отворачивается к стене, натягивая на голову пальто.— Пардон, мерси, будьте здоровы, товарищ докладчик, адью.

И ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК

Целую неделю продежурили мы на дамбе, пока вода не начала спадать. Все это время в ячейке комсомола толпился народ, и дежурные по штабу, строго соблюдая очередь, назначали караульщиков возле пруда.

Весна выдалась теплая, дружная, дни стояли солнечные, на дорогах все плотнее и суше становилась земля, и глядишь — уже извивается утоптанная ногами пешеходов мягкая тропочка, извивается ручейком, то поперек, то наискосок, то обочь дороги.

Грязнову и нам с Володькой выписали наряд — оформить праздничную иллюминацию завода.

Председатель завкома вместе с заведующим нашей мастерской изготовили эскиз. Надо было украсить портретами, полотнищами кумача и электрическими гирляндами проходную, контору завода и крыши еще не достроенной котельной.

Получаем на складе оставшиеся от прошлого года гирлянды, развешиваем их в мастерской, осматриваем проводку, патроны, подкрашиваем облупившиеся лампочки. На котельной в прошлом году иллюминации не было. Здесь все надо сделать заново.

Работается с удовольствием: скоро праздник. Первое мая, торжественный вечер, на другой день — демонстрация.

Взбираемся по заляпанным цементом строительным лесам котельной все выше и выше: надо ввинчивать лампочки в гирлянды. Вот уже мы на гребне стены, на высоте пятиэтажного дома.

Котельная — самое высокое здание вокруг. Куда ни погляди — далеко видно. Как на ладони, совсем под нами, переплетения железнодорожных путей Усковской станции, вагоны, стрелки, будки, паровозы. Блестит зеркало «керосинового» пруда, темнеют прошлогодние пахоты на Петровом поле; Новое и Усково спрятали свои дома под кронами старых лип, берез и тополей. За Усковом — сад «Гай» и парк. Режет глаза яркое апрельское солнце, теплый ветерок дует в лицо, забирается под воротник спецовки, ворошит волосы...

— Э-ге-гей! — кричит нам с земли Грязнов, приложив руки трубкой ко рту.— Чего встали? Работать надо — руки оборву!

Ему не терпится: он бегом, без передышки, раскачивая мостки и жидкие перила лесов, взбегает к нам и тут же, забыв обо всем, зачарованный далью, весенним теплом, заложив руки в карманы штанов, замирает.

— Ну хватит,— самому себе строго говорит он.— Давай бери когти.— Он кивает мне.— Подключишь иллюминацию к сети.

Жалко уходить с такой радостной, захватывающей дух высоты. Но делать нечего, спускаюсь на землю, надеваю когти, пояс, привязываю к нему два провода и лезу на столб.

Мимо идет Тоня Гаврикова, в засаленной спецовке, в красной косынке, едва держащейся на ее пышных золо-

тистых волосах. Задрав голову, морща носик, обнажив белые ровные зубы, она смеется, машет мне рукой.

Я смотрю ей вслед. Неделю назад, в получку, Сашка Жигин, отозвав меня в сторону, озабоченно спросил:

— Ты чего Нине подаришь к празднику?

— А разве надо? — удивился я.

— А как же! Обязательно. Так все делают.

— А ты?

— Я буду дарить. Давай вместе, чтобы одинаковые,— ведь Тоня с Ниной подруги. Вот что: гони пять рублей! Я сестренку попрошу, она купит.

— А вдруг они обидятся, не возьмут?

— «Обидятся»! — возмутился Сашка.— Эх ты, разве на подарки обижаются?

Сестра его купила подарки — две розовые шелковые шапочки с кисточками, такие, в каких обычно рисуют гномов. Уговорились, что подарки вручим после торжественного вечера, когда пойдем провожать девушек домой.

И вот теперь, взбираясь на столб, я гляжу вслед Тоне и думаю о том, как это произойдет. Чего-то боязно, стыдно и в то же время радостно. Я первый раз преподношу подарок, и мне очень хочется, чтобы Нина взяла его. А если она обидится, не возьмет?

Размечтавшись, не глядя, хватаюсь за провод, натянутый между столбами, и тут что-то острое, колючее пронзает всего меня. В испуге я хочу крикнуть, но чувствую, что не могу издать ни звука; хочу отбросить провода, но они словно припаяны к моим ладоням. Земля, здания, небо с облаками закачались и рухнули в темноту...

Очнулся я на земле, с тяжелой, словно свинцом налитой головой. Сижу, привязанный цепью к столбу, сонно, осоловело озираюсь вокруг и долго не могу понять, что случилось. С трудом поднимаюсь на трясущиеся ноги, снова смотрю по сторонам. Никого поблизости нет — стало быть, никто не видел, как я летел со столба. Хорошо, что надел пояс. Иногда, чтобы щегольнуть храбростью, мы не привязываемся к столбу. Виноват, конечно, сам: полез без калош, без резиновых перчаток и замкнул провода.

Мимо бежит дежурный монтер.

Спрашиваю:

— Куда?

— На подстанцию. Предохранители полетели. Видать, где-то замкнули сеть.

Снова лезу на столб, но уже с осторожностью, с опаской. Мне и стыдно, и страшно, и зол я на себя. Надев перчатки, аккуратно присоединяю провода. Слышу внизу Тонин голос:

— Виктор!

Она стоит, задрав голову.

— Куда ходила? — спрашиваю у нее.

— В медницкий.

— Зачем?

— Любопытный какой! Не скажу. Признайся, что ты очень любопытный.

Руки мои все еще плохо слушаются, трясутся, я никак не могу прийти в себя и разговариваю с ней через силу.

— Заходи сегодня к нам, Нина будет! — кричит она.— Вместе пойдем в клуб.

У Гавриковых большая, веселая и приветливая семья. Отец у них портной, весь день сидит на верстаке: поджав под себя ноги, шьет. Помогает ему брат Василий, одинокий, спившийся человек, трубач нашего оркестра, и сестра жены Шура, старая дева, бойкая заика, очень любящая поговорить. Детей, кроме Тони, в семье еще пятеро: трое младше и двое старше. У каждого из Гавриковых свои друзья; друзья эти идут к ним в дом, как к себе, запросто, двери для всех в любое время открыты настежь, и поэтому в тесной квартирке всегда полно молодежи, ребятишек. Меня порой удивляет, как отец и мать Тони терпят это многолюдье.

Мы с Сашкой Жигиным тоже частые гости у Гавриковых, а Нина, случается, по нескольку дней, когда ее мать уезжает с поездами, живет у них. Отец Тони, Сергей Петрович, называет нас с Сашкой женихами.

— Ну, Виктор,— спрашивает он меня,— какую же ты из дочерей моих сватать будешь?

— Никакую,— говорю я.

— Что так? Или плохи?

— Мне они не нравятся.

— Скажите, пожалуйста, какой разборчивый! — вмешивается в разговор старшая Тонина сестра, Нюра, девушка с большими серыми глазами и чистым лбом. Она тоже работает на нашем заводе и участвует в драмкружке.— А мы сами за него не пойдем.

— Еще как пойдете! — не сдаюсь я.— На коленях просить будете.

— Т-т-т-та-ак их, т-т-т-а-ак! — поддерживает меня Шура.

— Да я и сам думаю, что они никуда у меня не годны,— перекусывая нитку и весело, ласково поглядывая на дочерей, говорит Сергей Петрович.— Что в них, в самом деле, толку: рыжие, курносые, лохматые.

Рыжие, курносые и лохматые, понимая, что это шутка, смеются вместе с ним.

Сегодня я пришел к Гавриковым, как говорят, при полном параде.

Там собралась большая компания молодежи: музыканты, драмкружковцы. Все зашли сюда по пути в клуб, все одеты празднично, в чистых рубашках, в начищенных ботинках. У Сашки Жигина так старательно отглажены его старенькие, перелицованные из братниных брюки, что складки словно топором затесаны.

— А я никогда не выйду замуж. Чтобы стирать мужу носки? Ха-ха-ха! — театрально смеется Тоня за перегородкой.— Я хочу быть свободной и независимой ни от кого.

— В-в-ври, в-в-ври! — говорит Шура.— А с-с-сама т-т-так за С-с-сашкой и б-б-бег-гаешь.

— Шура! Как тебе не стыдно! Что ты говоришь! — кричит Тоня, но таким голосом, что чувствуется: ей эти слова доставляют удовольствие.

Я сижу на табуретке возле портновского верстака, занимающего добрую треть комнаты. Ночью на нем спит дядя Вася, который сейчас бреет свое доброе, виноватое, опухшее лицо.

— Есть ли на свете любовь? — тараторит Тоня.

— А ты у Антона Плешко спроси,— отзывается Нюра.— Он тебе сразу все объяснит.

— Нина,— не слушая ее, продолжает Тоня,— по-моему, никакой любви на свете нет. Все признания в ней — ложь. Можно клясться, что любишь навеки? Это только в пьесах. А в жизни? Ха-ха-ха!

— Полюбил — загубил, значит, жизнь младую,— декламирует дядя Вася.

— Да! Вот именно загубил! Как ты, дядя, прав! Полюбить — значит загубить все, что есть у тебя самого лучшего. Разве в этом смысле жизни? — восклицает Тоня.

Эти разговоры меня злят. Я знаю, что Тоня говорит совсем не то, что думает. К тому же я сам влюблен, и — готов поклясться в этом — навеки.

За перегородкой шушукаются, смеются. Девушки переодеваются, причесываются, выбегают то за утюгом, то за булавками.

— Я верю только в дружбу,— слышу я Тонин голос.— Виктор, я права?

— Насчет дружбы права,— мрачно говорю я.

— А любовь? Неужели ты веришь в любовь? Ха-ха-ха!

— «Ха-ха-ха»! Нечего смеяться,— передразниваю я и нащупываю в кармане сверточек с шелковой шапочкой.

А вдруг ни Тоня, ни Нина в самом деле не верят в любовь? В таком случае они, конечно, откажутся от наших подарков. Это будет ужасно.

Наконец дядя Вася добривается, девушки выходят из-за перегородки, вертятся, охорашиваясь, перед зеркалом.

Толпой вываливаемся из дома. Дядя Вася несет трубу под мышкой. Он трезв и поэтому немного стеснителен и робок. К концу вечера он разойдется, не однажды сбегав в Харите. Благо, от клуба до нее рукой подать.

По дороге к нам присоединяется Аркашка Григорянцев и тут же, увидев Нину, кричит:

— Цып-цып-цып, цыпленочек!

Нина хмурится, плотно сжимает губы и не отвечает ему.

— Перестань! — говорю я Аркашке.— Что за охота тебе дразнить ее?

— Копчушка! — удивляется он.— Что я вижу! Ты — и Дон-Жуан! Это патология.

Дон-Жуан в моем представлении буржуй, развратник. Что такое патология, я не знаю и, разозлясь, говорю Аркашке, что не посмотрю, что он сильнее меня, и за Дон-Жуана и патологию дам ему в морду.

Аркашка не обижается.

— Копчушка,— ласково говорит он,— я же пошутил. Ты не Дон-Жуан, ты Отелло. Ты мавр.

В клубе для нас уже расставлены заботливым, хлопотливым Миропычем пюпитры и стулья. Наш руководитель Петрович с Моткой Власовым раскладывают ноты. Драмкружковцы уходят за сцену гримироваться.

Тем временем народ все прибывает и прибывает. И вот наконец перед закрытым еще занавесом в зале, украшенном красными полотнищами, лихо гремит «Марш Буденного»:

Братишка наш Буденный,
с нами весь народ.
Приказ голов не вешать,
а смотреть вперед...

И Миропыч, в вышитой косоворотке, с озабоченным торжественным лицом, присаживается с бубном в руках рядом с барабанщиками Сашкой Жигиным и Лешкой Носовым.

Самый знаменитый музыкант у нас в оркестре — баритонист Митрошка. Это маленький крепыш лет тридцати пяти, с пышной, давно не стриженной шевелюрой каштановых волос. Год назад его отчислили из военного оркестра за пристрастие к водке.

Даже затрудняюсь сказать почему, но он нигде не работает и с утра до вечера обитает в клубе, чтобы подработать: он пишет лозунги, плакаты и объявления. А когда нет и этой работы, самозабвенно играет на своем инструменте, впиваясь в мундштук баритона, словно клещ. Когда он играет, можно заслушаться.

Дядя Вася не такой знаменитый музыкант, как Митрошка. Ноты читает он неплохо, не очень сложные вещи может, как говорят музыканты, играть с листа, но вот со звуком у него неладно: звук хотя и сильный, но неприятный. Впрочем, соло на трубе исполняет сам Петрович, тоже в прошлом военный музыкант, настоящий трубач. Вот эти трое, а с ними тенорист Сашка Сидоров, альтист Митя Плахин, басист старик Коровин, железнодорожный стрелочник и барабанщик Лешка Носов составляют ядро оркестра. Возле них робко лепимся и мы, во всем стараясь им подражать.

Вечер кончается поздно, за полночь. Выходим из клуба. Ночь звездная, но темная. Люди сразу же за клубными дверьми теряются в темноте, лишь слышны голоса, смех. На котельной весело, трудолюбиво догоняют друг друга красные, синие, белые, зеленые огоньки.

Мы идем с Ниной, по-ребячьему держась за руки, то сходясь, касаясь плечами друг друга, то расходясь, словно пугаясь этих прикосновений. Возле Нининого дома останавливаемся и стоим так, держась за руки, друг против друга, с гулко бьющимися и замирающими от восторга и необыкновенного, непонятного счастья сердцами.

— Нина...— несмело говорю я.

— Что? — спрашивает она.

— Ты только не сердись...— Я вытаскиваю из карма-

на заветный сверточек, всовываю ей в руки.— Вот... Ты только сейчас не смотри. Потом... Хорошо?

— Что это? Я не понимаю,— с любопытством спрашивает она.

— Это так... на праздник,— заикаюсь я.

Нина, держа мой подарок в руке, скрывается за калиткой.

Я слышу, как она взбегает на крыльцо, вижу, как загорается свет в ее комнате, и душа моя наполняется нежностью. Понравится ли ей подарок? Как было бы хорошо, если бы понравился! Я не совсем уверен, что именно такие шапочки надо дарить в подобных случаях. Но, наверное, Сашкина сестра побольше меня смыслит в этих делах, можно положиться на ее опыт, тем более что ей двадцать два года, она почти на восемь лет старше нас, а это что-нибудь, да значит.

Утром Первого мая, проснувшись, первым делом смотрю в окно: какая погода, не испортит ли она нам праздник? Но небо чистое, солнце сияет вовсю.

Ах, как люблю я этот весенний праздник! Как люблю смотреть, с какой охотой и радостью люди готовятся к нему! Распахиваются окна, моются рамы, подоконники, полы, белятся и красятся стены, чистятся и утюжатся костюмы и платья, готовятся праздничные обеды.

«Да здравствует Первое мая — день международной солидарности трудящихся всего земного шара!» — кричит, ликует улица. Да, пусть здравствует наш веселый весенний праздник!

Я знаю: мать, чтобы встретить праздник как полагается, не хуже других, трое суток подряд шила соседке платье, но та сказала ей, что деньги за работу отдаст только после праздника. Мать очень расстроилась, так как уже позвала гостей — свою сестру с мужем. Они всегда Первого мая приезжают к нам.

Живут они вдвоем, в достатке, детей у них нет, но они словно не замечают нашей бедности. Впрочем, мать никогда им не жаловалась, она вообще никого ни о чем не любила просить.

Около заводской проходной уже слышатся звуки гармони: собираются демонстранты. Снуют с красными повязками на руках озабоченные распорядители демонстрации, из распахнутых окон клуба слышны нестройные, вразброд, звуки духовых инструментов. Там и Петрович, и Митрошка, и дядя Вася. У старика Коровина на лацка-

не пиджака большой красный бант. Он сидит посреди сцены, вплетает красную ленту в медный, начищенный мелом геликон. Сашка Жигин отзывает меня в сторону, спрашивает:

— Отдал?

— Отдал,— улыбаюсь я.

Он подмигивает, смеется:

— Все в порядке. Я тоже.

Наконец все наши в сборе.

— Чембирпипс! — кричит Аркашка Григорянцев, у которого на пиджаке красуется такой же, как и у Коровина, алый бант с блюдце величиной.— А ну, Мотя Чимбирпипс, дунь в свою трубу посильнее!

Колонна выстраивается вдоль дороги. Ждем усковских железнодорожников. Они должны двигаться впереди.

Вот наконец из-за поворота показывается шествие с флагами и лозунгами. Железнодорожники идут с песнями, шутками:

Нас побить, побить хотели,
нас побить пыталися-а-а!..

— Привет химикам!

Наш паровоз, вперед лети,
в коммуне остановка...

Ах, куда ты, паренек,
ах, куда ты!
Не ходил бы ты, Ванек,
во солдаты,—

несется из рядов.

В голове нашей колонны встает секретарь заводской партийной ячейки. Председатель завкома, строго оглянувшись, командует:

— Шагом марш!

Петрович взмахивает трубой, прижатой к губам, и марш, под названием «Старый друг», оглашает окрестность, рвется из наших сияющих на солнце инструментов.

Мы идем мимо пруда, по широкой и длинной Пролетарской улице, застроенной одноэтажными деревянными домиками с палисадниками, в которых робко распустили первые листочки кусты сирени, яблони, липы, вишни и тополя. Окна домиков распахнуты, ветерок надувает тюлевые занавески, на улицу высыпает народ.

Когда мы проходим мимо дома Гавриковых, Нина с Тоней в наших розовых шапочках с кисточками сбегают с крыльца, встают в колонну.

Путь наш лежит к райсовету, куда, кроме нас, подойдут петровские железнодорожники, вагоноремонтники, строители завода «Фрезер». На трибуну поднимутся руководители района, будет митинг, пламенные речи, пение «Интернационала».

А впереди огромный праздничный день. Мы будем гулять в парке, кататься на лодке, а вечером смотреть в клубе кинокартину «Броненосец «Потемкин», которую видели уже раз пять и в которой, ко всеобщему восторгу и изумлению, над легендарным броненосцем взовьется настоящий красный флаг.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Поздний вечер. Тепло и тихо. Мы сидим в тесном, густо заросшем кустами сирени садике перед домом Гавриковых и, чтобы не мешать спящим в доме, шепотом разговариваем про все, что приходит в голову.

Неделю назад мы закончили школу. Последний, седьмой класс дался нам нелегко. Мне до сих пор удивительно, как могли мы тогда успевать и на завод, и в школу, и участвовать в кружках самодеятельности. Как нам хватало на все это времени? А хватало, успевали.

Но вот трудно ли, легко ли, а школа все-таки окончена. Теперь я мечтаю попасть в военный оркестр, особенно войск ОГПУ, ходить в пограничной форме с золотыми лирами на зеленых петлицах гимнастерки и звонкими шпорами на хромовых сапогах. Но меня в такой оркестр, конечно, не примут. А музыку я уже полюбил крепко, и мне хочется стать настоящим трубачом. Митрошка советует поступить в музыкальный техникум. Прием туда начнется в августе. В июле я должен взять отпуск и подготовиться к вступительным экзаменам. Митрошка сказал, что, если я хорошо подготовлюсь по специальности, меня, возможно, даже примут сразу на второй курс.

С отпуском уже все улажено. На стене мастерской висит график отпусков, подписанный Королевым и профуполномоченным, дежурным монтером Савиным. Отпуск мне намечен с пятнадцатого июля. Все это время буду

дуть гаммы и разучивать упражнения по учебнику Брандта.

Сашка, Тоня и Нина назначены пионервожатыми и завтра уезжают в лагерь. Дело для них новое, очень ответственное; они и радуются, и беспокоятся, и о будущем им пока думать некогда. Ходят слухи, что Сашка, вернувшись из лагеря, будет работать в райкоме комсомола.

Тоня, начитавшись всякой чепухи, твердит: люди должны быть свободны от всех обязательств друг перед другом, любви никакой нет, это предрассудки, мещанство.

Я боюсь, что Нина, пока еще не высказывавшая своего мнения, попадет под ее влияние, и удивляюсь, почему Сашка соглашается с Тоней, иронически, впрочем, поглядывая на нее. Семейную жизнь я представляю как нечто единодушное, согласное и радостное. Все люди должны жить не бранясь, уважая, любя друг друга и доверяя друг другу всей душой. Это влечет за собой обязательства, определенную жертвенность, чего при свободе, про которую без умолку трещит Тоня, быть не может.

— Итак, завтра мы расстанемся с тобой, Виктор, на долгие-долгие дни,— говорит Тоня.— Сознайся, что тебе будет скучно без нас.

Я готов сознаться в этом, но тут в разговор вмешивается Нина:

— Ему некогда будет скучать. У него теперь такой хороший друг, этот Аркашка Григорянцев. Не понимаю, как можно дружить с таким хулиганом!

Аркашкой она попрекает меня чуть не каждый день, доводя до отчаяния. Никакой мне Аркашка не друг, но он и не хулиган. Жестокость Нины непонятна мне. Тем не менее возражать я не отваживаюсь, чувствуя себя всетаки виноватым. Конечно, не надо было мне ввязываться в эту глупую историю с собакой.

Случилось вот что. Вскоре после первомайских праздников мы с Володькой получили третий разряд. Как раз в это время заболел один из дежурных монтеров, и Королев велел мне выполнять его обязанности.

Дежуря однажды в выходной день, сидели мы с Аркашкой Григорянцевым и кочегаром на лавочке возле котельной. На заводе было непривычно пусто и тихо. Завод отдыхал. Заперты склады, пуста контора, пусты цехи.

Только кое-где остались дежурные. Вон вахтер сидит возле запертых ворот, сонно перебрасывается словами с дружком — дежурным пожарным.

Заводская пожарная команда славится на весь район. Шухин, начальник команды, огромный, рыжий, живет тут же, при пожарной части, во дворе завода. Этот пожилой человек одинок, мрачен и зол. Лишь маленькая пегая дворняжка, живущая при пожарной части и безнаказанно бегающая по заводскому двору, пользуется его любовью. Она-то и стала причиной нашего несчастья.

Кочегар, сутулый, длиннорукий человек, ковыряет палкой землю, чертит кружочки, ромбики, завитки. Нарисовав и с удивлением склонив голову набок, любуется своим замысловатым произведением, потом шаркает подошвой, стирает рисунок и принимается с глубокомысленным видом чертить заново.

Аркашка привалился спиной к стенке, надвинул кепку на глаза, чтобы не резало яркое солнце. Тихо. Слышно лишь, как сопит, хлюпает и чавкает вакуум-насос за нашей спиной в котельной. Скучно и сонно от безделья.

Но вот мимо нас с озабоченным видом пробегает шухинская собачонка. Аркашка оживляется, щелкает пальцами по козырьку, и кепка мгновенно перемещается на затылок.

— Цуцик, цуцик, пупсинька! — нежным голосом зовет он собачонку.— Иди сюда скорее, иди, милый друг брандмайора!

Он шлепает ладонью по коленке, причмокивает, сложив губы трубочкой, и все его круглое озорное лицо выражает сейчас умиление, нежность и еще черт знает что. Собачонка останавливается, недоверчиво смотрит в нашу сторону.

— Иди сюда, пупсинька! — зовет Аркашка.

Собачонка наконец поддается соблазну и, то виляя хвостом, то поджимая его меж ног и приседая от страха и своей собачьей нежности, подходит к нам, доверчиво кладет на колени Аркашки умную ласковую морду.

Аркашка гладит ее, все приговаривая и сюсюкая, потом вдруг говорит мне:

— Давай-ка мы ее скипидаром помажем.

Затея Аркашки кажется мне очень забавной.

— Держи, Копчушка! — говорит он, передавая мне собаку.

А сам направляется в канифольный цех и скоро воз-

вращается оттуда с банкой скипидара. Он макает в нее тряпку, шлепает ею по собачьему заду и кричит мне:

— Пускай!

Собака некоторое время стоит, удивленно глядя на нас, еще не понимая, что случилось. Но вот она, словно ужаленная, отскочив на несколько шагов, начинает крутиться волчком на одном месте, стараясь дотянуться мордой до хвоста. Это очень смешно. Аркашка падает на скамейку и хохочет так, что на глазах его выступают слезы. Хохочу и я. Лишь кочегар не смеется и смотрит на собачонку с жалостью. А она садится и, с какой-то невыразимой, не собачьей мукой оглянувшись плачущими глазами по сторонам, вдруг, быстро-быстро перебирая передними лапами, едет на заду по дороге, поднимая пыль, и это еще больше веселит нас.

Собачонка тем временем вскакивает, снова крутится на одном месте и, подскочив, стремительно пускается наутек.

— Держи ее, держи! — кричит Аркашка в веселом исступлении.

— Эх, вы! — говорит кочегар, поднявшись. Он презрительно, брезгливо оглядывает Аркашку, меня.— Совести нет у вас, безобразники! Что она вам сделала? — Он сердито плюет нам под ноги и уходит в котельную.

И тут веселье мое исчезает.

«Зачем все это? — со стыдом и недоумением думаю я.— Что здесь смешного?»

Мне становится жалко собачонку. Ведь я люблю животных. Всякий раз, когда я вижу, как ломовые извозчики бьют лошадей, мне хочется броситься на них с кулаками. Откуда у меня вдруг такая жестокость? Почему я не отговорил Аркашку от этого поступка? Бедная собака! Она так была доверчива, так ласкова с нами! За что же мы ее так?

Однако в то же время я чувствую, что с лица моего не сходит гадкая, противная улыбка безвольного, не имеющего ни своего мнения, ни твердого характера человека. Я начинаю ненавидеть себя.

— Тебя бы так! — со злостью и обидой говорю я Аркашке.— Черт мордастый!

— Копчушка! — изумленно восклицает он.— Что я слышу?

Тогда мы еще не знали всех последствий, которые повлечет за собой эта нехорошая шутка.

Шухин пожаловался на нас в завком, и несколько дней спустя я с ужасом прочел вывешенное на дверях проходной такое объявление:

В пятницу, 20 мая, в 7 часов вечера

В КЛУБЕ СОСТОИТСЯ

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

над рабочими

ГРИГОРЯНЦЕВЫМ И ТРОФИМОВЫМ

Выходка наша стала известна всему заводу, и к нам без конца приставали:

— А ну-ка расскажите, как это вы собаку скипидаром мазали?

Аркашка охотно рассказывал, ему до сих пор все это казалось очень забавным. А я, испытывая мучительные угрызения совести, отмалчивался или говорил дерзости. Меня нисколько не радовала неожиданная слава.

Судили нас, по словам неунывающего Аркашки, с большим шиком, чуть не при полном клубном зале. Мы, как и подобает подсудимым, сидели на передней скамейке.

Сперва судья, медник Новиков, зачитал заявление Шухина, в котором мы были названы хулиганами и истязателями бессловесных животных.

— Трофимов! — строго сказал мне судья.— Встань и расскажи, как было дело.

Я поднялся с пересохшим от смущения горлом, с тоской покосился на Аркашку, сидевшего заложив ногу на ногу, и тихо сказал:

— Я держал, а Аркашка мазал.

— Что? — не расслышал судья.— Говори громче. Чего ты стесняешься! Хулиганить не стеснялся, а здесь язык проглотил?

Сзади засмеялись. Всегда найдутся люди, которым бывает смешно, когда у кого-нибудь случится неприятность, ошибка, даже если кто-нибудь споткнется о камень. Очень я не люблю таких людей. Смех в зале обидел и разозлил меня.

— Нечего мне отвечать,— мрачно и громко сказал я.— Судите как хотите,— и сел, не дожидаясь разрешения.

Наступила тишина. Судья, видимо не ожидавший такого оборота, для чего-то нерешительно постучал каран-

дашом по графину с водой, стоявшему перед ним на столе, и сказал:

— Ладно... Григорянцев, давай ты рассказывай.

Я сидел, опустив руки меж ног, сосредоточенно рассматривая пол, а Аркашка беззаботно и очень весело рассказывал, как все произошло.

— Граждане судьи! Граждане заседатели! — говорил он.— Все было совершено нами по заранее обдуманному плану. Зная, что только чистосердечное признание может в какой-то мере смягчить то суровое наказание, которое влечет за собой совершенное нами злодеяние, я позволю себе обратить ваше великодушное внимание на следующие обстоятельства. Было двенадцать часов дня, сияло солнце, и тишина разливалась по всему заводскому двору, когда я и мой соучастник по преступлению, вот этот вот гражданин, который столь постыдно и трусливо свалил всю ответственность на меня, сидели возле котельной. Обратите внимание, было солнечно, тепло, и пели птички. Мы наслаждались природой, наши души были полны сиянием дня, когда мимо нас пробежала собачка. Учтите наше чистосердечное признание: мы знали, что собачки не уважают скипидар.

Новиков устало, с укором проговорил:

— Эх, Григорянцев, Григорянцев. Выпороть бы тебя, такую дылду, да некому. Садись. Все ясно.— Он поднялся, поглядел на заседателей.— Суд удаляется на совещание.

Приговор суда был таков: принимая во внимание наше чистосердечное признание, объявить нам общественное порицание. Новиков, зачитав все это, сказал в заключение:

— Вот и все. А сейчас будет кино.

Но история этим не кончилась. Мало того, что мне теперь приходилось избегать встреч с грозным брандмайором Шухиным; мало того, что я сидел на скамье подсудимых пусть даже товарищеского суда, нас еще вызвали на заседание бюро комсомольской ячейки.

— Не много ли будет? — узнав об этом, спросил Аркашка.

— Распустились, как самый последний несознательный элемент! — ответил ему Андрюша Протасов.— Привлечем к строжайшей комсомольской ответственности.

На заседании бюро в нашу защиту выступил только Трошечкин.

— Шухин живет на заводе, как частник,— сказал он.— Это что! Собаку завел. Он еще, может, козу купит да пустит по двору. Вот недавно бежала собака, а мы котел клепали, и сорвался молоток, который мог и на собаку свободно упасть. Он что, тоже на суд бы подал?..

— Ты, Николай, давай ближе к делу,— перебил его Андрюша.— Комсомольцы занимаются хулиганством, совершают поступки, недостойные комсомольского звания, а ты про Шухина. Он не комсомолец.

— Ладно, что не комсомолец,— согласился Трошечкин.— А мы вот с Витькой целую неделю на дамбе по ночам торчали... Он здоровьем рисковал, в воду провалился, а не ушел, возле костра мокрый сидел — это надо учитывать? И вообще... Люди дежурят по заводу, работы, бывает, совсем нет. Так дайте им шахматы, газеты или шашки. А это что! Со скуки самого Шухина можно намазать.

— Ты тут не остри.

— Я не острю, я дело говорю. А если люди ошиблись и уже имеют общественное взыскание, нечего их еще раз по одному и тому же месту лупить. Я по себе это знаю.

— Садись, хватит делиться опытом. И вообще ты не член бюро, чего ты тут оппозицией занимаешься, речи произносишь?

— Это я-то оппозиция? — закричал не своим голосом Трошечкин.— Ты меня, может, в правом уклоне сейчас обвинишь?

— Садись, говорю, пока без уклона... Есть предложение,— Андрюша Протасов безжалостно поглядел на нас,— объявить им выговор, без занесения в личное дело на первый раз, чтобы не позорили себя и комсомольскую ячейку. Кто против?

Против из членов бюро никто не голосовал. А Трошечкину голосовать не позволили.

Когда вопрос наш был закончен, прибежал запыхавшийся Антон Плешко. Он очень огорчился, что все решили без него. Видно, ему страшно хотелось выступить с речью и заклеймить нас позором. Но, к счастью нашему, Антон, как всегда, опоздал...

Так поплатился я за свою глупую выходку. И Нина вот каждый раз припоминает мне эту скверную историю.

— Люди должны быть добрее друг к другу,— говорю я Нине.— Добрее и внимательнее.

— Это интересно! — устраиваясь поудобнее, с любопытством вставляет Тоня.— Продолжай, Виктор.

Ей все интересно, она все любит слушать, делая при этом такое лицо, словно с напряжением вглядывается в слова, видит их в объеме, цвете, и беспрестанно удивляется.

— Надо сперва научиться самому быть хорошим,— говорит Нина.

— Ну, ты тоже заладила!— заступается за меня Сашка.

— Конечно,— говорю я,— каждый должен быть хорошим. Только ведь это нелегко. Иногда начинаешь понимать, что поступил плохо, только тогда, когда уже поздно и нельзя исправить. Тут дело даже не в том, что ты сделал плохо, а в том, что ты наконец понял это, признал, что плохо, и больше так никогда не сделаешь.

— Виктор, как ты прав!.. Нина, как он прав!— восхищается Тоня.

Но Нина ведь не из тех, что сдаются сразу.

— Ничего подобного,— возражает она.— Человек не имеет права ошибаться. Он должен знать, что хорошо, а что плохо. Виктор говорит это только для того, чтобы оправдать себя и своего друга Аркашку.

— Ох и дался же тебе Аркашка! — смеется Сашка Жигин.

— Саша, погоди. Она права... Нина, как ты права!

— Нет, не права! — сержусь я.— Нет на свете людей, которые делают только одно хорошее, чтобы это хорошее было одинаково хорошим для всех. Для кого это, может, и хорошо, а для кого и плохо. Для капиталистов было бы хорошо эксплуатировать рабочих, а для рабочих это плохо. А когда рабочие свергли царя, помещиков и капиталистов,— это что, для всех стало хорошо?

— Сашка, он прав!.. Нина, слышишь, он прав тысячу раз!

— Это стало хорошо, да не для помещиков и капиталистов,— продолжаю я, воодушевленный Тониной поддержкой.— Вот кулаков раскулачили... Для Советской власти это хорошо, а для кулаков как? Если бы для них было хорошо, не стали бы они в коммунистов стрелять, колхозные амбары жечь. Вот Андрюшка Протасов с наганом ходит. Для чего? Чтобы от хороших людей защищаться?

— Съела? — спрашивает Сашка у Нины.

— Ничего подобного! — презрительно пожимает она плечами.— Я говорю не про капиталистов, а про него с Аркашкой. Будто они не знали, что нехорошо делают.

— Так это же ошибка! — горячусь я.— Ошибка! Как ты не понимаешь!

— Виктор, сознайся, что ты любишь Нину! — вдруг говорит Тоня.

— Ого! Ты же против любви! — смеется Сашка.

— Я против. Но Виктор...

— Тоня, я не понимаю... Как не стыдно! — смущается Нина.— Какое ему до меня дело?..

— Виктор, сознайся, что ты влюблен!

Что́ мне ответить на это? Хорошо, что темно и не видно моей зардевшейся физиономии.

— Нина, неужели ты когда-нибудь выйдешь замуж? — Тоня смеется, как от щекотки.— Я не могу представить этого.

— Уже пора домой,— строго говорит Нина и поднимается.

— В самом деле, пора,— подтверждает Сашка, но продолжает сидеть.

Я встаю и робко иду следом за Ниной. Тоня с Сашкой остаются в садике, укрытые сиренью, и мы слышим, как они чему-то тихо смеются.

— Ты не сердишься на меня? — говорю я, когда мы подходим к Нининому дому.

— Зачем мне сердиться? — Она пожимает плечами.

— Никогда ничего плохого я не сделаю! — горячо обещаю я.— Веришь?

— Посмотрим, как ты будешь здесь вести себя летом.

— Вот увидишь!

— Посмотрим... До свидания.

— Ты мне напиши оттуда,— прошу я, задерживая ее руку.— Напишешь?

— А разве это обязательно?

— Обязательно. Я буду ждать. Ладно?

— Это будет зависеть от того, как ты станешь вести себя. И вообще вся наша дружба... Понимаешь?

— Понимаю.

Я беру ее за худенькие плечи; она запрокидывает голову, строго, настороженно глядит на меня; я притягиваю ее к себе, мы на мгновение касаемся друг друга щеками, я лишь успеваю вдохнуть запах ее волос, она с силой отталкивает меня и убегает, хлопнув калиткой.

Я НА РУКОВОДЯЩЕМ ПОСТУ

Пришел из конторы Володька Михайлов, менявший там выключатель, и сказал:

— Тебя вызывает председатель завкома.

— Зачем?

— А я почем знаю?

— Когда?

— Сейчас.

Я бросил возиться с мотором, вымыл бензином руки и пошел в завком.

Логинов сидел за столом, перелистывая толстую папку бумаг. Возле окна трещал на «ундервуде» руководитель драмкружка, перепечатывая какую-то роль. Логинова раздражала эта трескотня, он нетерпеливо и недобро поглядывал на режиссера.

— Здравствуй,— сказал он мне, кивнув на стул рядом с собой.

Он всегда усаживал собеседника не напротив, а рядом. Аркашка Григорянцев утверждал, что Логинов делает это для того, чтобы понюхать, не пахнет ли от собеседника водкой.

— Слушай,— словно заговорщик, приблизив ко мне лицо, сказал Логинов.— Решили выдвинуть тебя на руководящую профсоюзную работу. Не возражаешь против выдвижения?

— А куда? — робко спросил я, отодвигаясь.

Но он снова приблизил ко мне свое лицо:

— Будешь заведующим клубом.

Я уже знал, что заведующего нашим клубом выдвигают в обком профсоюза. Но разве могло прийти мне в голову, что именно на мне, мальчишке, завком остановит свой выбор? Черт возьми! Если такие серьезные люди, как Логинов, думают, что я могу быть заведующим клубом, почему бы мне и не согласиться?

Решив так, я начал бояться только одного: как бы Логинов не передумал. Мне очень захотелось стать заведующим. Вероятно, если бы Логинов был повнимательнее, поспешная радость, с какой я согласился вступить на пост руководящего профсоюзного деятеля, насторожила бы его.

Но он, как говорится, не проявил достаточной чуткости, а уже на следующий день я принимал клубное иму-

щество: скамейки, занавес, шторы на окнах, духовые инструменты, декорации — розовую комнату и березовый лес,— коробки с гримом, кумачовую скатерть для торжественных заседаний, обои для объявлений и портфель.

Я как взял в тот день портфель в руки, так и не расставался с ним, даже в парк гулять ходил с портфелем, жалея и сокрушаясь, что Сашка, Тоня и Нина не видят меня. Сторож Миропыч — вторая штатная единица — немедленно признал во мне своего начальника, стал называть меня на «вы» и Виктором Михайловичем, браво вытягивая передо мною руки по швам, отчего я сперва очень конфузился, а потом ничего, привык.

Радостным событием было мое директорство и для матери. Мало того что я буду получать полтораста рублей в месяц, на которые мы втроем свободно можем прожить, она видела в моем выдвижении на ответственный пост нечто большее, чрезвычайно важное для нее: признание в ее сыне особых, значительных способностей. Ведь не назначили кого-нибудь другого, а меня. И мать, маленькая, худенькая, усталая, но со счастливыми, помолодевшими глазами, без умолку рассказывала про мой высокий пост соседям, рассказывала несколько дней кряду, а потом поехала в Москву похвастаться перед сестрой. Она только беспокоилась, справлюсь ли я с должностью, не трудно ли будет. Ведь я еще совсем мальчик. Но я заверил ее, что дело мне знакомо и беспокоиться нечего. Понравилась моя новая должность и братишке, не без основания полагавшему, что теперь-то он будет смотреть бесплатно все кинокартины подряд. Он стал каждое утро провожать меня до завода и бывал счастлив, если я позволял ему понести мой портфель. Но портфель я все-таки давал ему неохотно, потому что мне самому было жалко расставаться с ним.

Мой рабочий день протекал так: утром захожу в завком, сажусь рядом с Логиновым. Он вручает мне тексты объявлений и лозунгов, я укладываю эти тексты, написанные на клочках бумаги, в портфель и, уступив место рядом с председателем завкома другому посетителю, иду в клуб.

Пол в клубе, политый зигзагами водой, выметен, окна распахнуты; Мироныч ходит с мокрой тряпкой, вытирает пыль с подоконников, а посреди сцены сидит Митрошка и «дует» на баритоне гаммы. Вручаю Митрошке тексты

объявлений, выдаю обои, тушь, краски, сажусь на его место и начинаю играть на трубе. «Тянуть» гаммы, чего безжалостно требует Митрошка, мне скоро надоедает, и я начинаю самозабвенно наигрывать разные мелодии. Особенно нравится мне печальная песня «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит...».

Мироныч, закончив уборку, вешает тряпку на печную дверку, приносит бубен и предлагает:

— Давайте, Виктор Михалыч, вжарим с вами «барыню».

И вот мы с ним «вжариваем» «барыню».

Митрошка, расстелив на полу обои, ползая вокруг них на четвереньках, ругается:

— Не примут тебя в техникум, так и знай! Тебе надо гаммы, дураку, дуть, ты же верхние ноты слабо берешь...

Ах, барыня, барыня,
Сударыня, барыня...—

наигрываем мы с Миронычем.

Натешившись, посылаю старика в завком за газетами, потом — развешивать объявления. Вытянувшись в струнку, словно перед командиром, он отвечает:

— Слушаюсь! Сейчас в момент все исполню.

В обеденный перерыв заходят рабочие поиграть в шашки, почитать газеты, а потом до вечера в клубе хоть шаром покати, и мы с Митрошкой «дуем» гаммы, пока не надоест.

Вечером иногда бывают собрания, а после них — обязательно бесплатное кино. В эти дни накрываем стол на сцене кумачовой скатертью, ставим графин с водой, выравниваем в зале скамейки. Но часто в клубе и вовсе ничего не бывает.

Дни проходят в удивительно однообразном безделье, и скоро у меня возникает беспокойство: я никак не могу приноровиться к своей высокоответственной должности. У Мироныча, предположим, есть прямые обязанности. Он знает, что ему нужно следить за чистотой и порядком в клубе, подметать пол, ездить за кинокартиной, вывешивать объявления. Даже Митрошка делает что-то определенное: пишет лозунги и плакаты. Один только я не знаю, что делать. Какие у меня, в самом деле, обязанности? Ходить по улицам с портфелем? Раньше мне казалось, что быть заведующим клубом — это так легко и просто, а сейчас я даже не знаю, за что взяться. А ведь мне хо-

чется делать что-то большое, настоящее. Мне работать хочется!

Однажды Логинов сказал:

— Составь план клубных мероприятий на июль и представь завкому для утверждения.

Вот что, оказывается, надо было сделать: план.

Мы с Митрошкой в два счета расписали все как по нотам: такого-то числа занятия драмкружка, такого-то кино, такого-то числа занятия духового оркестра, такого-то кино. И опять все сначала. Не оставили ни одного дня свободного. Логинов посмотрел на план, потом поглядел внимательно, с удивлением, очевидно только тут сообразив, какого дурака сваляли они, назначив меня заведующим клубом:

— План придется переделать,— сказал он, пригнувшись ко мне.— Тут совершенно не учтены заводские мероприятия. Собрания, например...

— Не я же собрания назначаю,— пожал я плечами, удивляясь, как такой безукоризненный план мог ему не понравиться.

— А ты запроси тех, кто назначает. Партячейку, комсомол, у меня спроси. Теперь — лекции. Где у тебя тут лекции? Нету лекций. Массовки будут? Будут несомненно. Ты их должен обеспечить оркестром, самодеятельностью. План должен быть настоящий, а не такая вот филькина грамота. Собирай заявки и все снова переделывай. Или вот что: приходи с заявками ко мне, вместе составим.

Я понял, что его вера в мои организаторские способности пошатнулась. План мы с ним составили новый. Потрудились на славу. Вернее, трудился он, а я сидел рядом. Чего только в этом плане не было! И лекции, и кино, и занятия кружков, и выступления самодеятельности на массовках и на стадионе, и всякие собрания. На заседании завкома план этот единодушно утвердили.

— Ай да молодец! — хвалили меня члены завкома.— Вот это план!

Однако дальше дело не двинулось. План хирел на глазах. То срывалось собрание, то не приезжал лектор, то вдруг портилась погода и отменялась массовка, то начались разброд и шатание среди драмкружковцев. Право, не я один был виной всему этому. По вечерам ходили не в клуб, как бывало зимой, а в парк, в сад «Гай», где каждый вечер играл военный оркестр, тот самый, в который

мне так хотелось поступить, и давали представление артисты московских театров. К нам собирались только на кино. Ленту мы привозили из Москвы. Мироныч, заручившись соответствующим удостоверением за моей подписью и тремя рублями на дорогу, с утра отправлялся в город и привозил в мешке коробки с кинокартиной. Митрошка писал афиши, а я, не зная, что делать, поигрывал на трубе.

Логинов присматривался ко мне все внимательнее, недружелюбнее и наконец сказал:

— Вот что... Не получилось из тебя заведующего. Крутишь одни картины, и вся работа у тебя завалилась. Давай-ка иди обратно в свою мастерскую. Там от тебя больше пользы будет.

— Мне в отпуск нужно с пятнадцатого,— обрадовавшись, сказал я.

— Это ты с заведующим мастерской договоришься.

— Мне по графику полагается.

— Если полагается — получишь.

— Кому сдавать дела? — спросил я, все-таки с сожалением посмотрев на портфель.

— Завтра придет новый заведующий.

Выйдя из завкома, я столкнулся с Тоней Гавриковой. Больше месяца не виделись мы с ней. Она загорела, окрепла, старенький, выцветший сарафанчик стал тесен и короток ей.

— Виктор! — закричала она.— Ты почему не приезжаешь к нам в лагерь? Сознайся, что, после того как тебя выдвинули в заведующие клубом, ты забурел.

— Ничего не забурел,— смущенно сказал я, помахивая портфелем. После разговора с Логиновым у меня было дурное настроение.— Некогда было.

— А у меня кое-что есть для тебя! — Она лукаво прищурилась, склонив голову набок.— Да уж не знаю, отдавать ли...

— Давай,— нетерпеливо сказал я, протянув руку.

— Какой быстрый! Спляши!

— Ну вот еще, давай!

— Нет, сперва спляши. Трам-та-ра-рам! — запела она «барыню», прихлопывая в ладоши.— Пляши!

Я зажал портфель под мышкой и затопал возле завкомовского крыльца, пытаясь выбить носками сапог чечетку. В распахнутое окно выглянул Логинов и сказал руководителю драмкружка:

— Полюбуйся на Трофимова! Я его снял с работы, а он «барыню» пляшет.

— Ладно,— сказала Тоня,— хватит. Держи,— и протянула мне конверт.— Через час я приду в клуб, и ты дашь ответ. Я уезжаю обратно.

Мироныч с Митрошкой какими-то путями уже знали о моей отставке.

— Фьють? — присвистнул Митрошка, подмигнув мне и многозначительно показав глазами на дверь.

— Фьють,— ответил я, кивнув.

— А все-таки ты долго продержался — целых полтора месяца. Я думал, что тебя раньше выгонят. Ну ничего, не горюй,— сказал Митрошка, видя мое расстроенное лицо.— Поступишь в техникум, днем будешь работать, вечером учиться — дело пойдет.

Митрошка жалел меня. Другое дело Мироныч. Он сразу изменил свое отношение ко мне и в доказательство, что больше не считает меня за начальство, сказал, развалясь на стуле и глянув на мой портфель:

— Витька, ты казенную голенищу не трепи зря, положь на место.

Я ничего не ответил этому дерзкому старику, прошел в тесную комнатку за сценой, кинул портфель на стол, разорвал конверт и с бьющимся от волнения сердцем прочел:

«Виктор! Вот уже больше месяца мы живем в лагере, а ты ни разу не приехал к нам. Я тебя ждала все выходные, нарочно ничего не писала, мы бы сходили в лес, там так красиво, но теперь я ждать не буду, так как твое поведение говорит само за себя. Ты можешь поступать как тебе хочется, я тебя не буду связывать, ты стал большим начальником, ходишь с портфелем, и тебе, конечно, теперь не до простой девчонки, какая я есть, я это понимаю, пойми и ты. *Нина»*.

Сколько же искренней горечи и обиды было в этой маленькой бесхитростной записке! Почему, почему я действительно не съездил в лагерь, не повидался с Ниной? «Мы бы сходили в лес...» И в лес бы сходили... Там и река есть, наверное. Ну, да теперь поеду непременно. Завтра сдам клуб, послезавтра возьму отпуск и сразу же поеду в лагерь. Да не на день, а дня на три сразу. Непременно. Вот будет весело нам!

Думая так, я сел писать ответ.

НЕОЖИДАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

— А-а, привет выдвиженцу! — встретил меня Королев, когда я вернулся в мастерскую.— Почему так скоро? Не понравилось? — Он бесцеремонно и насмешливо, почти не мигая, рассматривал меня своими красивыми бараньими глазами.— А я для вас и работку приготовил. Пожалуйста в медницкий цех мотор менять. Не забыли еще, как это делается?

— Забыть-то, конечно, не забыл,— сказал я, едва сдержав желание ответить грубостью на его издевательский тон,— только ведь с завтрашнего дня мне в отпуск надо идти.

— А отпуск ваш временно отменяется. Как говорится, впредь до особых распоряжений.

— Как же так?

— А очень просто: отменяется — и точка.

— Но ведь график...— Я совсем растерялся.

— И график отменяется. Все в нашей власти.

— Нет, вы, наверное, шутите. Мне очень надо в отпуск... я в техникум должен подготовиться.

— А это уж не наше дело. Наша задача — прежде всего соблюсти производственные интересы. Прежде всего! — Он поднял вверх указательный палец.— Понимаете? Вот так. А техникум — не наше дело.

— Как это — не ваше дело?

— А так — не наше, и вся недолга.

— Не ваше, так мое! — Я начал выходить из терпения.

— Согласен, не спорю. Только в отпуск вы, товарищ выдвиженец без пяти минут, не пойдете. Работать надо!— Видно было, он с удовольствием издевался надо мной.— Ну, время дорого. Получайте наряд и меньше разговаривайте. Так-то лучше будет для вас.

Я смолчал, недоумевая, почему он так зол на меня.

В медницкий цех мы пошли вместе с Володькой Михайловым.

Мотор стоял над самым потолком. У него сгорела обмотка статора, он весь был засыпан песком. От дыма, копоти и вони нечем было дышать. Мы отвинчивали мотор, по очереди взбираясь под потолок. Гайки, крепившие мотор к железным балкам, ключу не поддавались, мы их сбивали зубилом, и, пока сбили, стащили мотор на

пол и установили на его месте новый, прошло много времени.

Я все думал об отпуске, о той несправедливости, которую неизвестно по какому поводу чинит Королев.

«Не имеет он права так поступать, частник какой нашелся! Будто это его собственная мастерская: что хочет, то и делает»,— думал я в то время, как тащил с Володькой мотор в мастерскую.

Мотор был тяжелый, мы тащили его, продев лом сквозь кольцо на станине, согнувшись в три погибели и чуть ли не через каждые десять шагов останавливаясь передохнуть. Мотор уже остыл, но от него все еще резко пахло жженой резиной.

«Найдется и на него управа! — продолжал я рассуждать про себя.— Завком, комсомольская ячейка заступятся за меня».

И тут мне пришла в голову великолепная по своей смелости и справедливости мысль: а что если мне уйти в отпуск без его, Королева, разрешения? Ведь он мне ничего не сделает. А если и попытается что-либо сделать, его быстро образумят.

«Подписывал график?» — спросит у него строгий наш Логинов или Андрюша Протасов.

Что он скажет?

«Подписывал».

Чего же еще может он сказать?

«А почему сам же нарушаешь?» — спросят у него.

Вот тут-то он и прикусит язык.

«Прав Трофимов, что не вышел на работу,— скажут ему.— Таких, как вы, бюрократов, только так и надо учить. Молодец Трофимов!»

— Ты чего такой? — спросил Володька.— Все молчишь и молчишь.

— А ты слышал, что он мне сказал насчет отпуска?

— Слышал. Он вместо тебя отпустил Грязнова,— сказал Володька.— Тому надо было по графику идти в сентябре, а он отпустил сейчас.

— Ну ладно! — разозлился я.— Возьму и не выйду сам.

— Правильно! — с воодушевлением поддержал Володька. Этому стеснительному и нерешительному человеку всегда очень нравились чужие смелые поступки.— Не выходи! Ишь какой он! Тебе полагается, ты и не выходи.

— Завком его заставит.

— Факт!

— И Андрюша Протасов.

— Еще как! — Володька хихикнул от удовольствия.— Он тогда еще попрыгает!

— Вот-вот! Узнает, как издеваться над людьми.

В мастерской мы разобрали мотор, промыли его, снова собрали, прикрепили к нему фанерную бирку, указав на ней, что случилось, и отнесли на склад. Оттуда его отправят в перемотку.

Королев принял от нас накладную, наряд и сказал, обращаясь ко мне:

— Ну как, гражданин выдвиженец, работка по душе вам пришлась?

Я уже был настроен воинственно и непримиримо.

— По душе. Только зря спецовку испачкал. Завтра все равно в отпуск идти.

— Не пой-дешь! — раздельно сказал он.— Ясно?

— Нет, пойду! — упрямо ответил я.

— Нет, не пой-дешь! Хватит болтать!— Он поднялся из-за стола и пошел к выходу.— Ты мне за сегодняшний день надоел больше, чем Григорянцев за всю его работу на заводе!

— Пойду! — яростно крикнул я ему вслед.— Пойду! Завтра не выйду на работу! Так и знайте!

Королев задержался на пороге, оглянулся, прищурясь, но ничего не сказал, только побледнел от бешенства и хлопнул дверью.

В том, как он разговаривал со мной, было много грубого и обидного для меня. Хоть я и держался с ним воинственно, хоть у меня и была поддержка Володьки Михайлова, но я все же не был уверен в том, что правильно сделаю, если не выйду на работу. Хорошо, что встретился Митрошка, который рассеял мои сомнения. Внимательно выслушав меня, он сказал:

— Все права на твоей стороне. Не выходи на работу, и конец. Таких бюрократов только этим и можно проучить.

А Митрошка был для меня неоспоримым авторитетом.

Дома я ни слова не сказал о том, что у меня произошло в мастерской. Не хватало еще, чтобы мать расстраивалась из-за каждого пустяка! Мало ли с кем и по какому поводу могу я поссориться!

— В отпуску, сынок? — спросила она на другой день, увидев, что я не собираюсь на работу.

— В отпуску,— сказал я, не моргнув глазом.

— Ты бы в дом отдыха путевку попросил, поправился бы там.

— Мне некогда по домам отдыха разъезжать,— ответил я.— Ты ведь знаешь, что мне надо в техникум готовиться.

Да, она, конечно, знала, что я скоро буду учиться в техникуме. Именно этим и ничем другим объяснялся соседям мой уход с поста заведующего клубом.

— Его решили послать в учебу,— сообщала мать.

И соседи, кажется, верили ей и находили это вполне разумным, так как говорили:

— Правильно. Пусть, пока молодой, учится. А с портфелем ходить — дело нехитрое. Успеется.

— Вот получу отпускные, съезжу к ребятам в пионерский лагерь дня на три,— объяснял я матери,— и начну готовиться в техникум.

— Правильно, сынок,— поддержала она.— Учись!

Но получилось все иначе. Когда я пришел за отпускными, на стене проходной уже висел приказ о том, что на основании служебной записки Королева я уволен с завода за прогул и грубость с заведующим мастерской.

Прочтя приказ, я даже вспотел, настолько все это было неожиданно и нелепо. Меня словно обухом по голове ударили. Я долго не мог сообразить, что случилось, а когда до моего сознания наконец дошло, что меня выгнали с завода как прогульщика, я кинулся искать защиты в завкоме.

«Логинов поймет,— думал я, запыхавшись.— Он заступится. Он справедливый, умный, честный. Он потребует, чтобы приказ был немедленно отменен».

Логинов не предложил мне сесть рядом с ним. Он строго посмотрел на меня и сказал:

— Бессовестный мальчишка! Скатился черт знает до какого позора!

— Но мне же отпуск...— заикнулся я.

— Слушать не хочу! Прогулял? Прогулял. Точка. Факт налицо. Завком к прогульщикам непримирим. Ты зачем пришел сюда?.. Защиты искать? Да неужели ты думаешь, что мы станем заступаться за каждого прогульщика?

Руки мои опустились. Последняя надежда рухнула. Я вздохнул и в полной растерянности, со слезами на глазах, пошел получать расчет.

ВСЕ ПЛАНЫ ПОШЛИ НАСМАРКУ

Мне была выдана справка, в которой говорилось, что я уволен с завода как лодырь, прогульщик и дезорганизатор производства.

Все мои планы разом пошли насмарку. В лагерь ехать теперь было некогда. О техникуме тоже можно было забыть. С такой справкой дорога туда мне заказана. Кроме того, я перестану получать рабочие карточки на хлеб и продукты, промтоварные ордера. Сапоги мои прохудились, и я надеялся получить ордер на ботинки.

Но больше всего меня беспокоило, что я скажу матери. Как я покажу ей эту страшную, совершенно уничтожающую все мое человеческое достоинство справку?

— Когда же ты, сынок, в лагерь поедешь? — спросила она, ничего не подозревая.— Завтра?.. Что тебе с собой на дорогу дать?

— Не поеду я, мама, никуда,— собравшись с силами, ответил я.— Меня уволили с завода.

— Господи! — воскликнула она, изменившись в лице.— Час от часу не легче! За что же это?

— С заведующим мастерской поругался.

— А ругался-то зачем? — Она с печалью и мучительным огорчением глядела на меня.— На что же мы жить-то будем теперь?

Но я и сам не знал, на что мы теперь будем жить.

Митрошка, добрая душа, успокоил:

— Не горюй. Специальность у тебя есть — везде возьмут. И на справку не посмотрят. Теперь вон биржу ликвидировали, люди везде нужны, только давай.

Действительно, биржи труда уже не было, везде говорили о найме рабочей силы. Послушал я Митрошку, воспрянул духом и поехал устраиваться на завод «АМО». Ехал и всю дорогу думал о своей новой работе, и получалось у меня все так складно, что будто бы даже хорошо, что меня уволили. Ведь благодаря этому я теперь стану работать на строительстве крупнейшего автомобильного завода, о котором каждый день пишут в газетах. Может быть, и обо мне еще напишут. А почему бы и не написать? Буду работать по-ударному, стараться — и напишут. Вот-то обозлится Королев, когда прочтет о том, что я один из лучших амовцев! И Логинов тоже.

С такими радужными надеждами подъехал я к «АМО»

и, выйдя из трамвая, сразу же очутился в обстановке делового напряжения, охватившего все кругом.

Гром и грохот ломовых подвод и грузовых автомобилей, щебеночная, цементная пыль, запах смолистых бревен и теса, толпы людей в спецовках, спешащих в заводские ворота, за которыми виднелись поднимающиеся среди лесов коробки зданий,— все это потрясло меня своим размахом, вызвав страстное желание сейчас же, немедленно приняться за работу, да так, чтобы дух захватывало.

Возле бюро найма толпился народ. Тут и пильщики со своим «струментом» — длинными, выше человеческого роста, гибкими пилами, маляры с кистями на палках, измазанных краской, до блеска захватанных руками, токари, слесари, плотники, каменщики, водопроводчики...

Дошла и моя очередь к окошечку. Я заглянул в него, приветливо спросил:

— Монтеры третьего разряда нужны?

— Нужны,— ответила мне девушка, сидевшая там, словно в скворечнике.— Давай справку с последнего места работы.

Стараясь быть как можно спокойнее, протянул ей справку. Она прочла, глаза ее расширились от удивления и ужаса.

— Нет, таких мы не берем, что ты...— растерянно сказала она, возвращая мне справку.

— Почему же? — смутился я.

— Нет-нет, разве можно? Иди, иди, не мешай работать... Видишь, очередь.

— Эй, парнишка, чего застрял? — закричали на меня стоящие сзади.— Кончил дело — гуляй смело!

Я отступил от окошечка и поплелся к трамвайной остановке.

«Куда же мне еще поехать? — раздумывал я, понурясь, глядя на свои разбитые, готовые вот-вот развалиться сапоги.— Разве на «Серп» попробовать?»

Сел в трамвай, уплатил пятиалтынный и, уже ни о чем не мечтая, поехал на «Серп и молот», а там повторилось все точь-в-точь, как на «АМО»,— прочитали справку и прогнали.

И вернулся в тот день ни с чем.

Впрочем, так вот, ни с чем, возвращался я домой пять дней кряду.

На шестой день меня вызвали на заседание бюро ком-

сомольской ячейки. Заседание было открытым, и так как в центре внимания был вопрос о посылке комсомольской бригады в Муромские леса на сбор живицы — сырья для канифольного и скипидарного цеха,— на это заседание, кроме членов бюро, пришло много комсомольцев.

Сперва решали мое «персональное дело».

— Комсомолец Трофимов совершил самовольный прогул и уволен с завода,— сказал Андрюша Протасов, даже не взглянув на меня.— Какие примем меры?

— Пусть расскажет, почему прогулял! — крикнул Трошечкин.— Меры всегда успеем принять.

— Давай, Трофимов, рассказывай.

— Смелее, Копчушка! — шепнул мне сидевший рядом Аркашка Григорянцев.

Я поднялся, и как раз в это время сзади меня хлопнула дверь и вбежал Антон Плешко.

Предложение Трошечкина, дружеский шепот Аркашки приободрили меня, однако появление Антона не предвещало ничего хорошего.

Так оно и вышло. Только я объяснил, что отпуск мне полагался по графику, что я не просто прогулял, а ушел в отпуск в назначенный срок, потому что мне нужно готовиться в техникум, слово взял Антон.

— Перед нашим народом поставлены колоссальные задачи по реконструкции страны, по ее индустриализации,— начал он нахмурясь.— Мы должны в кратчайший срок догнать и перегнать капиталистические страны, которые кольцом окружают нас. Злобные, рычащие полчища капиталистов, вооруженные до зубов, со звериной злобой смотрят на нашу страну. Перед нами поставлен лозунг: «Техника в период реконструкции решает все»...

— Давай покороче,— попросил Протасов, постучав карандашом по графину.

Антон потоптался на месте.

— Я характеризую обстановку, в которой комсомолец Трофимов совершил прогул. Мало у нас прогульщиков среди несознательной части рабочих, так теперь это злодеяние совершил член комсомола! Это несовместимо со званием комсомольца! Теперь посмотрите на лицо прогульщика Трофимова с другой стороны. Какого он происхождения? Кто его родители? Какова социальная база, на которой он воспитывался? Происхождение его не пролетарское. Он из служащих, из рядов, так сказать, гнилой

интеллигенции, отец его был бухгалтером. И вот сейчас, после того как Трофимов сознался здесь в своих намерениях, становится ясным, почему он поступил работать на завод. Он поступил на завод, товарищи, для того, чтобы осуществить свои коварные замыслы и, став рабочим, пробраться в высшее учебное заведение.

— Ну, понесло! — сказал Аркашка.

— Теперь дальше,— покосившись на него, продолжал Антон.— Можно быть уверенным, что Трофимов и в комсомол пробрался с этой же целью. Мы ему доверились, а он подвел, обманул нас. Я и раньше голосовал против приема этого элемента в ряды комсомола, и теперь со всей ответственностью заявляю, что ему не место среди нас, в наших рядах передовой молодежи...

— Да,— сказал Андрюша Протасов,— кажется, мы действительно поторопились с его приемом.

— Что? — переспросил Антон.— Правильно.— Я предлагаю исключить Трофимова из рядов комсомола как злостного нарушителя комсомольской и трудовой дисциплины. Вспомните, что мы совсем недавно разбирали его хулиганский поступок с собакой и он имеет уже одну товарищескую судимость.

— Да вы что, в уме? — крикнул Трошечкин.— Вы понимаете, что делаете с ним?

— А ты почему, собственно, поддерживаешь прогульщиков? — спросил его Андрюша, и я понял, что он обо мне такого же мнения, как и Антон Плешко.

Впрочем, это поняли и девчата из канифольного цеха, которые все были влюблены в него и считали, что он самый умный на всем заводе.

— Исключить, исключить! — закричали некоторые из них.— Нечего церемониться с такими хулиганами и прогульщиками!

— Да ведь вы его... Вы что? — вдруг закричал молчавший до этого Мотька.— Иван Андреевич! — повернулся он с мольбою в глазах к меднику Новикову, тому самому, который недавно судил нас с Аркашкой за шухинскую собаку.— Ты-то что молчишь?

Но Новиков не ответил ему.

— Есть еще предложения? — спросил Андрюша.

Я сидел, опустив голову.

«Выгонят. Сейчас меня выгонят из комсомола,— стучало в моей голове.— Что же это такое? За что? Да почему я не вышел на работу? Наплевать бы и на техникум.

А что же теперь? Ведь меня же теперь и вовсе никуда не возьмут, а дома стало совсем плохо, мать вчера последнюю нашу драгоценность — золотые отцовские часы — на крупу и сахар сменяла...»

— Погоди-ка малость,— вдруг раздался голос Новикова, и все, умолкнув, обернулись к нему.— Я вот сидел,— заговорил он не спеша,— смотрел на вас и думал: неужели вы в самом деле выгоните человека из своих рядов? Не очень ли уж вы жестоко с ним обходитесь? Спору нет, поступил он по-дурацки и наказать его следует, но чтобы выгнать?.. Это, братцы комсомольцы, круто больно. Воспитать человека труднее, чем выгнать. А наша задача с вами, что у партии, что у комсомола,— воспитывать людей. Вы погодите-ка решать насчет этого паренька до общего собрания.

— Правильно! — радостно закричал Аркашка.

— Я записываю особое мнение! — вскочил как ужаленный Антон.— Комсомольская ячейка не детский сад. Я записываю.

— Пиши, пиши! — махнул рукой Трошечкин, а Мотька захлопал в ладоши.

Андрюша постучал костяшками пальцев по столу.

— Я думаю так,— сказал он, когда перебранка смолкла.— Хоть мы и поторопились с приемом Трофимова в комсомол, но товарищ Новиков, представитель партийной ячейки, пожалуй, прав: второй раз нам нечего торопиться. Перенесем этот вопрос на общее собрание. Кто за это предложение? Голосуют только члены бюро. Так, все, кроме Антона. Ну что же, Трофимов... Можешь идти. Ты пока больше не нужен.

Я поднялся и полез между скамейками к выходу, чувствуя, что все смотрят на меня. В комнате, пока я не прикрыл за собой дверь, царило молчание.

ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ?

Везде повторялось одно и то же. Стоило мне показать свою справку, как люди начинали разводить руками, с интересом разглядывая подростка, успевшего так ужасно себя зарекомендовать. С каждым днем я все больше падал духом, и скоро наступил момент, когда я потерял всякую надежду устроиться на работу. А тут еще и сапоги мои пришли в такую негодность, что починить их

никто уже не брался. На счастье мое, московская тетка, сестра матери, сжалилась надо мной и подарила мне свои туфли. Мы с Митрошкой сбили с них каблуки, и получилась очень приличная мужская обувь, только с пуговками.

Ежедневно по утрам я уходил из дому якобы в поисках работы, а на самом деле давно уже плюнул на все. Возле клуба мы встречались с Митрошкой и, затянувшись по очереди парой-тройкой «бычков», найденных на дороге, спалив их до «фабрики», до картона, шли на «керосиновый» пруд купаться и загорать.

У Митрошки дела тоже были плохи. Новый заведующий клубом не давал ему подрабатывать и все объявления, афиши и лозунги писал сам — писал плохо, корявыми, растопыренными буквами, беспорядочно теснившимися в кривых, загибавшихся к концу строчках. По его самодовольному лицу было видно, что он считает себя отличным художником. А у Митрошки при виде таких художеств сердце разрывалось на части. К музыке у заведующего тоже было свое определенное отношение. Он заявил нам, что любит музыку организованную, когда играют всем оркестром, а музыкантов-одиночек терпеть не может, и попросил нас не надоедать ему своими гаммами, а если мы хотим заниматься, можем брать инструменты и трубить у себя дома. Этим разрешением мы скоро воспользовались, и с превеликой для себя пользой.

Выкупавшись в теплой мутной воде пруда, лежим на берегу среди мальчишек-школьников и беседуем о музыке, особенно о военных оркестрах, маршах и увертюрах.

Митрошка говорит самозабвенно, с упоением и восторгом, а я слушаю и все больше влюбляюсь в музыку.

Однажды Митрошка с горечью сказал:

— Эх, дела наши, брат, с тобой, как у шведа под Полтавой! И выпить хочется, и не на что. Пойдем-ка к Васе Гаврикову, может, у него разживемся.

Но дядя Вася не веселее Митрошки. С похмелья у него трещала голова, работа валилась из рук. Денег у него тоже не было ни копейки.

Угостил он нас махоркой, сели мы на ступеньки крыльца.

— Продать, что ли, чего? — сказал Митрошка, критически осматривая свой неказистый наряд, состоявший из рубашки-косоворотки, молескиновых штанов и тапочек.— Так ведь даже и продать-то нечего.

— У меня тоже ничего нет,— вздохнул дядя Вася.

— Халтуру бы, что ли, какую-нибудь подцепить? — все с той же печальной безнадежностью продолжал Митрошка.— Хоть бы помер кто...

— Господи, о чем толкуют! — вмешалась в нашу беседу высунувшаяся из окошка Тонина мать.— Сходите на кладбище или где гробы заказывают — вот вам и покойник найдется.

— Во! — встрепенулся Митрошка.— Это верно! Пошли на кладбище! Может, и подрядимся. Баритон, труба, Витька возьмет альт, Коровин — на басу. Миронычу дадим барабан. Лешка — он все равно в отпуску — на тарелках... Пошли!

И действительно, в тот же день взяли подряд не только как музыканты, но и как могильщики. Получив задаток, купили водки и тут же, на кладбище, выпили. Я до этого не пил ни разу — задохнулся, закашлялся до слез. Дядя Вася с сочувствием смотрел на меня, а Митрошка сунул мне в рот перышко лука — единственную нашу закуску. Водка подействовала на меня сразу: голова моя пошла кругом, мне захотелось говорить, жаловаться, решимость и отвага наполнили все мое существо... Я извлек из кармана злополучную справку и, со смехом, со злорадством приговаривая: «Вот, вот, к черту!» — разорвал ее на мелкие клочки.

Потом мы ходили по Ускову, собирали музыкантов, а на другое утро с лопатами на плечах втроем пришли на старое, заросшее могучими липами, рябиной и крушиной кладбище. Птицы посвистывали над нами в тишине, тени от лип мягкими шевелящимися сетками лежали на могилах, надгробных плитах и заросших травой дорожках. Земля была глинистая, тяжелая, и я с непривычки так намахался руками, что они стали словно из дерева. В полдень мы уже шагали за дрогами, везущими гроб, и играли похоронный марш. Валяться на берегу пруда теперь уже не оставалось времени: мы начали рыскать в поисках халтуры.

Сперва я был любопытен, мне хотелось знать, кто помер, от чего, сколько ему было лет. Плач родственников покойника расстраивал меня, мне до слез было жаль и того, кто помер, и того, кто хоронит. Но потом чувства мои притупились, и я уже равнодушно взирал на скорбные, печальные картины, думая лишь о том, сколько мне причитается за работу, сколько из этих денег надо будет отдать матери, сколько смогу отложить на ботинки. Тетки-

ны туфли оказались прочными, но ходить в них, особенно днем, все-таки было стыдно.

Однажды плелись мы за гробом по пыльной дороге, под беспощадным летним солнцем в Москву, на Немецкое кладбище. Путь был неблизкий, ноги ныли и заплетались от усталости, а губы от долгой игры на ходу распухали и плохо слушались.

Укрывшись от посторонних глаз за могилами, разделили деньги, сложились на водку. Я выпил почти наравне со всеми и, хмелея, почувствовал, как исчезает усталость, а жизнь начинает казаться веселой и легкой, люди — добрыми и хорошими, и для них не жалко отдать последнюю рубаху. Думать ни о чем не хотелось, представлялось, что все свершится само собой.

На другой день на душе было мутно, мерзко и гадко, было стыдно людей, видевших меня, мальчишку, пьяным. Я понимал, что то, что я делаю, нехорошо и не нужно мне, но надо было зарабатывать деньги.

Как раз в этот день пришло второе письмо от Нины. Вот что она писала мне:

«Я поверила тебе, но ты и на этот раз не сдержал своего слова. Мы про тебя знаем все: и что тебя уволили и хотели исключить из комсомола. Мы все тебя жалели, но, когда узнали, что ты связался с Митрошкой и дядей Васей, никто сперва не поверил, а потом это оказалось правдой, и даже стало страшно. Какие они тебе товарищи! Они же тебе в отцы годятся, а ты с ними пьешь водку. Одним словом, ты можешь пропасть как человек. И как им не стыдно! Сами они перестали быть людьми, а теперь тебя тянут туда же...»

В письме этом, написанном с отвращением к теперешней моей жизни, было много горькой правды. Я и сам понимал, что жить так стыдно и нехорошо. Но одно дело, когда все это понимал сам, а другое — когда мне указывали на это со стороны. И письмо Нины разозлило меня. Я решил в ответ гордо промолчать. Что она знает обо мне? Да я же деньги зарабатываю себе на существование. И почему, по какому праву она так оскорбительно отзывается о моих друзьях? Наоборот, они очень хорошие, добрые, внимательные люди и относятся ко мне как к равному, словно совсем не существует никакой разницы в летах.

Однако письмо Нины, как я ни старался выбросить его из головы, не забывалось и встревожило меня.

Но как вырваться из цепких тисков вдруг захлестнувшей меня этой стыдной жизни, я не знал. Вырваться же все-таки надо было. Подумал и решил, что, как только накоплю достаточно денег, поеду на Сухаревку, куплю ботинки и все брошу. Решил и успокоился, благо копить оставалось еще много.

Изменилось все совершенно случайно и неожиданно.

Однажды, когда я, прижимая под мышкой альт, возвращался с очередных похорон, повстречался мне Трошечкин.

Было это вечером, Трошечкин, усталый, довольный собою, не спеша шел с работы. Видно, он только что помылся в душе: мокрые его волосы были старательно расчесаны на пробор. Пиджак небрежно лежал на одном плече, лежал на этом широком плече надежно и удобно.

— Здорово, стихоплет! — приветствовал он меня, поравнявшись и останавливаясь.— Как живешь?

— Ничего,— сказал я, отворачиваясь.— Живу.

Он оглядел меня с головы до ног и присвистнул:

— А обувка-то у тебя вроде бабья, насколько я понимаю! С пуговками. Гляди, как шикарно вырядился!

— Какая есть,— насупился я.

— Да ты постой...— Он положил мне на плечо свою сильную руку, укоризненно покачал головой.— Не дело ты делаешь! Ну-ка, пойдем поговорим.

И он увлек меня на берег «керосинового» пруда, на то самое место, где весной мы дежурили с ним, охраняя завод от наводнения.

— Ты давай мне все начистоту, по душам, как если бы я, предположим, твой брат,— потребовал он, опускаясь на траву.

Он шевельнул плечом, сбросил с него пиджак и, покусывая травинку, стал с участием и некоторым даже огорчением расспрашивать меня.

— Стало быть, по похоронным делам ударился?

— Да.

— Зря.

— Я сам знаю.

— Знаешь! Тебе от этой компании подальше надо держаться.

— А где я заработаю чего? На что мне жить? Меня же никуда не берут. Да и справку я порвал.

— Зачем?

— Со злости.

— Зря. Оставил бы на память.— Он опять покосился на мои туфли, подумал: — А на ботинки деньги у тебя найдутся?

— Чтоб на Сухаревке купить?

— Нет, по ордеру.

— А где я его возьму?

— Я тебя про деньги спрашиваю.

— Найдутся.

— Держи тогда ордер.— Он приподнялся и действительно вытащил из кармана пиджака ордер на обувь.— Бери, не бойся, не фальшивый. Сейчас только в завкоме выдали как ударнику. Понял?

Я недоверчиво смотрел на него.

— Да ты... к черту! — рассердился он.— Бери. У меня, видишь, ботинки еще хоть куда. И дома еще вторая пара есть. А эти,— он кивнул на мои туфли,— выкинь к черту, срамота какая!.. И теперь вот еще что,— продолжал он, когда я взял из его рук ордер,— уходи ты из этой компании подобру-поздорову.

— Почему?

— Он еще спрашивает — почему! Сам знаешь. Не место тебе среди них.

— А где мне место?

— Монтер, электрик! — не отвечая, продолжал он.— Это же какая профессия! В ней же все будущее заключается, а ты вроде попа, на поминках зарабатываешь. Ну не стыдно ли так-то жить?

— А вот на ботинки все-таки заработал,— упрямо возразил я.— И на жизнь тоже...

Он внимательно, с осуждением посмотрел на меня и, вздохнув, поднялся.

— Это, конечно, заработал. Не спорю. Только тебе должно быть не все равно, как заработал. Ну да ладно. Ботинки ты себе купи и чтобы завтра в обед был в этих новых ботинках около проходной. Понял?

— Понял.

— Обязательно приходи и покажись мне.

Трошечкин ушел, а я остался сидеть на берегу пруда. Рядом со мной валялся альт, в кулаке я сжимал ордер на обувь. Тут я вспомнил, что когда-то решил: как куплю новые ботинки, так и брошу свои похоронные дела. Только я не ожидал, что этот момент так быстро наступит. Но раз решил, надо выполнять. Смогу ли? Хватит ли у меня сил на этот шаг?

КРЕПИСЬ, МАЛЕЦ!

Рано утром следующего дня я сидел уже у Митрошки и рассказывал ему о своей встрече с Трошечкиным.

Митрошка, выслушав меня, очень обрадовался, назвал Трошечкина молодцом и тут же изъявил желание сопровождать меня в магазин, чтобы выбрать мне настоящие ботинки.

— Ботинки мы тебе купим желтые, на кожаной подошве,— говорил он.— Желтые ботинки — это, знаешь, самая красота! Разлюли-малина!

Да, желтые ботинки — это, пожалуй, действительно то, чего мне все время так не хватало. В самом деле, это же так красиво — ходить в новых желтых ботинках на кожаной подошве!

Чтобы не потерять ордер, я всю дорогу держал его в руке. Ордер на желтые ботинки! Было лишь неловко оттого, что ордер все-таки выдан не мне, а ударнику Трошечкину. А вдруг не пустят в магазин? Еще и ордер отберут. «Ну-ка, ну-ка, скажут мне,— где ты взял его? Какой такой ты ударник? Ты же нигде не работаешь. Ты только и знаешь, что на похоронах трубить. Это что же... выходит, дать тебе желтые, самые модные ботинки, чтобы ты в них по кладбищам шлялся?»

Сердце упало у меня при этой мысли. Я замедлил шаг.

— Ты чего? — спросил Митрошка.

— А вдруг нас с тобой не пустят в магазин?

— Ну, гляди! Какое это они имеют право не пускать? Ордер правильный?

— Правильный.

— Ну и все. И нечего тужить.

— Так ведь он ударнику выдан.

— А у нас что, на лбу написано, что мы с тобой не ударники?

Я приободрился и зашагал смелее.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда мы с Митрошкой, показав в дверях ордер, совершенно беспрепятственно вошли в магазин, был плакат, приветствовавший тех, для кого предназначался этот магазин.

«Привет ударникам — передовикам производства!» — было выведено белилами на красном полотнище.

И тут мне опять стало стыдно. Какой я ударник? Вот у меня в руке ордер, я сейчас куплю ботинки, желтые, на

кожаной подошве, обуюсь в них, буду щеголять по улицам, но это же обман! Ботинки предназначены совсем другому человеку, а не мне. Их делали, думая, что будет носить ударник, передовой человек, а разве я могу быть причислен к таким людям? Меня даже на работу нигде не берут...

Тем не менее мне очень хотелось обуться в новые желтые ботинки, а теткины туфли тут же вышвырнуть на помойку. Подходя к прилавку, делая вид, что я в самом деле передовой, заслуженный и всеми уважаемый, я не предполагал, какое разочарование сейчас постигнет меня.

В магазине не оказалось не только желтых, но и черных ботинок. На полках лежали одни лишь сапоги.

Мы с Митрошкой удрученно постояли возле прилавка и, посоветовавшись, пришли к заключению, что надо, на худой конец, купить хотя бы сапоги. Тем более что через два дня кончался срок ордера, а продавец сказал, что новую партию обуви завезут в магазин не раньше чем через неделю.

Что делать? В сапогах тоже неплохо, особенно осенью, по грязи. А до осени осталось совсем немного.

Но нам и тут не повезло. Сапоги были только сорок первого размера, а я носил тридцать восьмой. Дали мне примерить; обулся я и почувствовал, что ноги мои болтаются в сапогах, как щепки. И все-таки выходило, что сапоги надо брать. Митрошка стал утешать меня, что, быть может, это даже к лучшему, если сапоги такие большие: не на один же день покупаю. Ведь я расту, а осенью или зимой, если на ноги навернуть по две портянки, не проберет никакая стужа, и сапоги окажутся в самый раз.

Так в новых, хлопающих голенищами по икрам сапогах и вышел я из магазина. Следует сказать, что надежды наши не оправдались. Сколько я ни рос, сколько ни наворачивал портянок, сапоги, оказавшись к тому же исключительно крепкими, так и остались велики мне. Разносившись, они, между прочим, стали еще больше, а тяжелые были до того, что к вечеру я едва добирался в них до дому.

— Ну, а теперь пойдем спрыснем,— сказал Митрошка, когда мы очутились на улице. Он весело поглядывал на мои ноги.— Такие сапоги да не спрыснуть, верно?

Я отрицательно покачал головой:

— Не буду спрыскивать.

— Усохнут.

— Мне к Трошечкину надо идти.

— Успеется! А если и не пойдешь, не велика беда. Думаешь, ты очень уж и нужен ему? Как бы не так! А ты забыл, что у нас сегодня в час халтура?

— И на халтуру я теперь не пойду. Противно это...

— Как — не пойдешь? — Митрошка повысил голос.— Тебе что, денег не нужно?

— Таких не нужно.

— Трудной жизни захотел?

— Да, захотел.

Он с презрительной и в то же время какой-то жалкой улыбкой доброго, но непутевого человека посмотрел на меня. И по этому взгляду его я понял, что у меня есть перед ним огромное преимущество: я могу сделать то, чего он уже не в силах сделать,— порвать с той прошлой, отвратительной жизнью, которая так цепко прихватила нас.

— Да, захотел,— повторил я.

— Ну иди,— все так же презрительно и жалко кривя губы, сказал он.— Иди к своему Трошечкину!

И я пошел от него прочь, а он долго стоял и смотрел мне вслед. Это я знаю точно, потому что несколько раз оглядывался, хотя вернуться у меня не было никакого желания.

До обеденного перерыва оставалось больше часа; я сел на лавочку напротив проходной и стал ждать, рассматривая от нечего делать кирпичные стены канифольного цеха с запыленными окнами, компрессорную, из которой вдруг раздалось сперва редкое, ленивое, с перебоями, но все учащающееся и скоро слившееся в единый шум характерное чиханье: заработал компрессор. Распахнулись ворота, и на улицу выехали, гремя по булыжнику, пять подвод, груженных бочками со скипидаром, и повернули в сторону Москвы. Я успел увидеть заводской двор, так хорошо знакомый мне, заваленный строительной щебенкой, кирпичами, бочками, штабелями толстого листового железа, из которого потом котельщики склепают котлы. Вахтер равнодушно посмотрел на меня и закрыл ворота.

«Товарищи строители и монтажники! Сдадим котельную к 13-й годовщине Великого Октября!» По буквам, расползавшимся в разные стороны, я догадался, что этот лозунг, висевший на дверях проходной, писал сам заведующий клубом. Я поднял глаза на возвышавшееся над заводскими корпусами здание котельной. Стены уже были выведены под карниз, блестела выкрашенная суриком

крыша, все огромные застекленные окна тоже блестели, а с земли в стену котельной упиралась большая металлическая, в кольцах, труба.

«Товарищи рабочие! Все силы — на выполнение пятилетки в четыре года!» — хлопало на ветру растянутое над воротами красное полотнище. Компрессор перестал шуметь, чихнул раз-другой, и наступила тишина, и тогда я услышал дробный перестук молотков. Перестук был легкий, веселый, радостный, как весенняя капель, но я знал, что работа тяжелая и котельщики сейчас обливаются потом. Их и солнце печет, и палит жар горнов и раскаленных бело-розовых заклепок, легко мнущихся под ударами молотков.

Я подошел к проходной и стал читать приказы, которыми густо была заклеена вся стена.

«За выполнение программы и социалистическое отношение к труду присвоить звание ударников следующим товарищам...» — прочел я и среди перечисленных фамилий с радостью и болью нашел фамилию Мотьки Власова.

«Молодец, Мотька!» — вздохнув, подумал я.

«За третью пятидневку августа впереди идет бригада медника Новикова, выполнившего план на 185 процентов.

Все в ряды соревнующихся! Встретим годовщину Октября новыми трудовыми подвигами!»

Подошел Миропыч, стал вывешивать свежий номер «Правды».

— Здорово, Витька! — сказал он.— Ты чего тут толчешься?

— Товарища жду,— ответил я, принимаясь за газету.

— Ну жди, жди,— разрешил старик, уходя.

Газета пестрела то тревожными, то призывными, то радостными заголовками. Она звала во всеоружии встретить третий год пятилетки, говорила, что каждый рабочий, колхозник, служащий, академик, инженер, учитель должен внести свою долю в фонд этого года. Заголовки были набраны крупными жирными буквами, они сразу бросались в глаза, приковывали внимание. Газета тревожно сообщала, что кривая добычи в Донбассе поднялась, но незначительно, а московские железнодорожники не готовы к осенне-зимним перевозкам хлеба, хотя он уже у ворот Москвы, и что ни один килограмм зерна не должен попасть на частный рынок, спекулянтам.

Вся жизнь страны, напряженная, большая, трудная, но стремительно рвущаяся вперед, была отражена на пах-

нущих свежей типографской краской страницах газеты, и я, читая заметки и сообщения корреспондентов, почувствовал себя неприкаянным и обидно далеко стоящим от этой жизни.

С каким наслаждением взялся бы я сейчас за работу, за какую угодно, только бы иметь право, как прежде, вместе со всеми войти в заводскую проходную, перевесить с доски на доску свой табельный номер, только бы почувствовать, что и я вместе со всеми могу, как призывала сегодня «Правда», внести свою долю в фонд третьего года пятилетки!

— Здорово, Копченый! — кричали мне знакомые слесаря, медники, канифольщики.— Как дела?

— Ничего,— насильно улыбался я.

— Витька, как жизнь идет молодая?

— Ничего.

Именно ничего. Ничего путного не мог я сказать им о своей жизни. Нечем мне было похвастаться. Разве новыми сапогами? Да и то, если бы не Трошечкин, не видать мне этих сапог как своих ушей.

Но вот и Трошечкин показался в дверях, оживленно о чем-то переговариваясь с медником Новиковым, худощавым остроносым человеком, чуть сутулым и нетороплйвым в движениях; с тем самым Новиковым, который когда-то судил нас с Аркашкой Григорянцевым за шухинскую собаку, потом заступился за меня на комсомольском бюро. Его бригада сейчас возглавляла социалистическое соревнование на заводе. Теперь — я уже слышал об этом — Новиков был секретарем заводской партийной ячейки.

Увидев меня, Трошечкин улыбнулся, указал на меня пальцем, и они пошли ко мне через дорогу.

— А ты говорил, не придет! — сказал Трошечкин, обращаясь к Новикову.— Я знал — придет.

Поздоровавшись, он оглядел мои сапоги, засмеялся:

— Не жмут?

— Ничего,— сказал я, не поняв шутки, и потопал ногами.— Даже немного велики.

— На рост, значит, взял? — улыбнулся Новиков.

— Ага.

— Оно и видно. Хозяйственный парень.— Он пытливо посмотрел мне в глаза.— С завода, стало быть, выгнали, из комсомола тоже собираются исключить?

— Еще общего собрания не было,— ответил за меня Трошечкин.

— Эх, малец, малец! — вздохнул Новиков.— Путаная ты голова. Бить тебя, видать, некому. Ну ладно, пойдем в отдел кадров, может, и уговорим, чтобы под наше честное рабочее слово взяли тебя обратно.

Я ушам своим не верил. Сердце мое застучало часто и сильно, а к горлу подкатил комок.

— Не подведешь?

— Не подведу,— сказал я и заплакал, вытирая рукавом рубашки слезы со щек.

— Ты что? — сердито закричал на меня Трошечкин.

Новиков похлопал меня по плечу:

— Крепись, малец! Жизнь — она не у всех по маслу катится. Главное, чтобы дальше с дороги не сбиться.

ДОБРОЕ УТРО, ДРУЗЬЯ!

Домой я пришел, притопывая своими новыми сапогами.

— Завтра на работу, обратно на завод! — с порога крикнул я матери.

— Да что ты?! — радостно воскликнула она.

— А ты знаешь, кто за меня поручился? Сам Новиков.

— Кто это?

— Да как же ты не знаешь? Самый лучший ударник! Он знаешь что в отделе кадров сказал?

— Ладно,— отмахнулась она.— Ты только не ври.

— То-то...— слегка смутившись, сказал я, так как и в самом деле хотел соврать, будто Новиков в отделе кадров приказывал и стучал кулаком по столу. А он просто попросил принять меня обратно на завод, сказав, что они с Трошечкиным ручаются за меня.

И вот я снова на заводе.

Оказалось, Королев уволился, заведующим теперь был Грязнов. Встретив меня, он стал ругаться.

— Стоило мне уйти в отпуск, как ты начал дурость свою показывать! Своевольство, безотцовщина! Живо за работу! Пойдешь в бригаду Савина на монтаж освещения новой котельной. И чтоб не мудрить! Руки пообрываю!

Он кричал на меня, а мне это ужасно нравилось.

— Чего ухмыляешься? — набросился он на меня.— Живо за работу! И чтоб по-ударному, понятно?

— Понятно! — заорал я в ответ.— Будет по-ударному!

Савин поручил мне вести проводку в коридоре первого этажа, и я с наслаждением стал лупить молотком по шлямбуру, делая дырки в кирпичной стене, чтобы потом посадить на гипс шурупы для роликов.

Когда загудел гудок на обед, прибежал ко мне со второго этажа Володька Михайлов.

— Кончай! — закричал он.— Обедать! Заработался...

И мы пошли с ним в столовую; и, когда вышли из проходной, вдруг послышалась раскатистая дробь барабана и на дороге показались стройные, подтянутые ряды пионеров с развернутым знаменем. Впереди, размахивая руками, торжественно нахмурясь, вышагивал длинноногий начальник лагеря Сашка Жигин, а сзади него, на некотором расстоянии,— Тоня Гаврикова и Нина, старшие пионервожатые, в выгоревших за лето платьицах, с пионерскими галстуками на бронзово-загорелых шеях.

Заводские пионеры возвращались из лагеря.

К нам подошел Мотька Власов и закричал:

— Привет юным пионерам!

Сашка прошагал, как и подобает начальнику, даже и не покосившись в нашу сторону, а Тоня с Ниной улыбнулись нам. На груди у них алели флажки комсомольских значков.

«Ничего,— подумал я радостно.— Он у меня тоже останется, наш комсомольский значок. Добьюсь! Докажу, что и я достоин носить его. Как бы мне ни было трудно — добьюсь, докажу!»

* * *

А дни летели. Жаркие дни лета 1930 года.

По утрам я выхожу из дому, и, как всегда, первый гудок застает меня возле Нининой калитки. Она выбегает из садика, щурясь от яркого солнца, смешно сморщив курносый носик, улыбается мне:

— С добрым утром!

— Здравствуй!

И мы спешим на завод.

Чем ближе к проходной, тем больше народу.

Мотька Власов машет нам рукой, просит подождать его. Догнав, степенно здоровается за руку, степенно, с чувством достоинства шагает рядом. С тех пор как он стал ударником, степенность не покидает его.

Гурьбой, со смехом, с шутками подходят к заводским воротам Гавриковы, а с ними Аркашка Григорянцев, Коля Трошечкин, Сашка Жигин — верный Тонин телохранитель; обгоняя их, мчится рысью озабоченный Антон Плешко; окруженный стайкой девчат, появляется наш строгий комсомольский секретарь Андрюша Протасов.

Это все мои друзья, даже Антон. Я нисколько не сержусь на него.

Самое страшное — комсомольское собрание, на котором мне очень попало от ребят и за то, что я самовольно ушел в отпуск, и за то, что халтурил на похоронах,— позади.

Я получил выговор, но меня оставили в комсомоле, а это самое важное. Остальное я покажу на работе.

Как это все-таки хорошо — чувствовать себя заводским человеком, стоять вместе со всеми, плечом к плечу, и знать, что эти лозунги и плакаты, висящие на стенах цехов, призывающие с честью встретить 13-ю годовщину Великого Октября и отдать все силы на выполнение пятилетки в четыре года — первой нашей пятилетки! — относятся не только к тем, кто входит вместе с тобой в заводскую проходную, толпится возле табельных досок, не только к тем, кто встает в это солнечное доброе утро к мартенам и прессам «Серпа и молота», «Красного путиловца», взбирается на строительные площадки Магнитки, Днепростроя, но и к тебе лично!

— Доброе утро, ребята! — кричит нам Тоня Гаврикова.

Я пожимаю огромную, сильную лапу Трошечкина; Аркашка Григорянцев, сняв кепку, галантно раскланивается перед Ниной, и мы, миновав проходные ворота, расходимся по своим цехам и мастерским.

Доброе утро, доброе утро, друзья!

1957

РАДОСТЬ

Часть первая

НА РАБОЧЕЙ УЛИЦЕ

ВОСТРИКОВЫ

В одном из старых, некогда окраинных уголков Москвы есть квартал, почти сплошь состоящий из Рабочих улиц: Первой, Второй, Третьей и так далее. С одной стороны от них пролегает шоссе Энтузиастов, заполненное опрометью мчащимися автомобилями, автобусами, троллейбусами, трамваями, с другой — высится серый бетонный забор железной дороги, с грохочущими за ним вагонами электричек и дальних поездов, с третьей — широко раскинулись подъездные пути и склады товарной станции.

Все эти улицы застроены чинеными и перечиненными домами, где кирпичными, где деревянными (деревянные чинены даже по нескольку раз), иногда в три этажа, но больше двухэтажными. Во дворах домохозяйки развешивают на веревках, протянутых вдоль и поперек, белье, мальчишки играют в футбол, а их отцы не менее старательно и самозабвенно «забивают козла».

Во дворах же под общей крышей, как правило сделанной из самых различных и никуда больше не годных материалов, выстроились дощатые сарайчики, именуемые дровяными, в которых, между прочим, летом на самодельных топчанах и жестких железных койках преотлично отсыпается немало обитателей этого густонаселенного квартала.

Парадный вход на эти улицы с площади Ильича.

Живут здесь люди самых различных профессий и специальностей: металлурги, шоферы, водители тепловозов, химики, станочники, ткачихи, бухгалтеры, люди добрые и злые, веселые и хмурые, знаменитые, случается, на всю страну и совершенно безвестные. Все они, как правило, знают друг друга из поколения в поколение, и многие работают почти рядом с домом — на «Серпе и молоте», на вагоноремонтном, на «Москабеле», на железной дороге, в трамвайном депо, на Химико-фармацевтическом имени Семашко, или, как здесь говорят, «у Семашки».

Сейчас этот квартал частично подновился многоэтажными домами, однако суть дела не изменилась: уголок этот так и остался пока старым и довольно своеобразным.

На одной из таких улиц, в двухэтажном доме с толстыми, как ему и положено, стенами и маленькими окнами, в небольшой комнате жила вдова, кладовщица с «Серпа и молота», Надежда Васильевна Вострикова с сыном Гришей, только что перешедшим в девятый класс. Отец Гриши, шофер, пять лет назад весенней слякотной ночью за городом попал со своим самосвалом в кювет, полный талой воды и мокрого снега, провозился с машиной до утра, сильно промочил ноги, слег в больницу, где и скончался.

Родных у Востриковых не было во всей Москве.

Надежде Васильевне шел тридцать пятый год. Она была невысока ростом, сероглаза, здорова, энергична; вздернутый носик, чуть припухшие губы и коротко подстриженные русые волосы придавали ее лицу несколько легкомысленное выражение. Однако по характеру своему она была женщиной практичной, расчетливой, хозяйственной, видимое легкомыслие было обманчивым. Тем не менее смерть мужа не оставила у нее никакого следа: погоревала, сколько положено для приличия, и успокоилась. Мужем она была всегда недовольна. На это у нее имелись свои основательные причины. Что толку в том, рассуждала, например, она, что у него много боевых орденов? Какой от них прок? Как ей было обидно, когда он, дослужившись до чина майора, вернулся из Германии с пустым чемоданом и трофеев привез всего-навсего часы-будильник и губную гармошку. По ее глубокому убеждению выходило, что он человек бесхозяйственный, неумелый и, вместо того чтобы пользоваться привилегиями, смотрел на все сквозь пальцы, жил по-дурацки и именно поэтому, демобилизовавшись, пошел опять в шоферы, словно другой работы ему, майору, не смогли бы подобрать. Шофер из него, по ее мнению, тоже получился без царя в голове, так как домой он приносил только лишь зарплату. Ее раздражало, что он не хочет заботиться о благополучии семьи, о достатке. Ведь как, в самом деле, хорошо можно было бы жить, воспользуйся он теми возможностями, которые предоставляются ему самой судьбой как шоферу самосвала. Почему он не «калымит», не приписывает ездок, не подкручивает спидометр, не торгует лишним бензином, то есть не делает того, что делают, слышала она, некоторые другие шоферы и что все

это остается совершенно безнаказанным и в то же время приносит выгоду. Ей казалось, что муж ее живет не своим умом, а слушается во всем соседа, сталевара Прямкова, своего дружка, которому легко рассуждать о всяких моралях, зарабатывая раза в три больше шофера.

Замуж за Вострикова она не вышла, а выскочила. Встречалась, ездила в Измайлово на танцы совсем с другим парнем, Ваней Брызгаловым, но как-то поссорилась с ним из-за сущих пустяков и назло ему вышла замуж за Вострикова, с которым и танцевала-то всего раза четыре, но который вдруг признался ей в любви и сделал предложение. Конечно, сделай ей предложение Прямков, приятель Вострикова, парень насмешливый и ничего из себя не представляющий, она бы еще подумала, но Востриков ей нравился тем, что он высокий, видный из себя, застенчивый, хорошо одевается и не употребляет спиртного. Разве могла она знать, что он такой бесхозяйственный? Между прочим, с Брызгаловым, которого она по-настоящему любила, знала много лет, так как жила в одном с ним доме в Дангауэровской слободке, после замужества Надежда Васильевна не встречалась ни разу. Было слышно, Брызгалов с матерью тоже вскоре переехал куда-то.

Гриша, по школьному прозвищу Петушок, выдался ростом в отца и уже теперь был на голову выше матери. Петушком его прозвали вот по какому случаю.

Однажды на уроке русского языка разбирали предложение: «Во дворе громко кричит петух». Учительница, написав эту фразу на доске, спросила:

— Кто кричит?

— Петух,— нестройно отозвался класс.

— Значит, это будет?..

— Подлежащее,— тянул класс.

— Подлежащее, правильно,— подтверждала учительница, подчеркивая слово «петух» такой жирной чертой, что от мела даже полетели крошки.— Что делает петух?

— Кричит,— отвечали ученики.

— Кричит. Значит, это будет?..

— Сказуемое,— раздавался нестройный хор.

— Сказуемое,— подтверждала учительница, подчеркивая слово «кричит» двумя чертами.

Оставалось определить обстоятельство образа действия. Но тут, повернувшись к классу лицом, учительница заметила, что Гриша Востриков перешептывается со своим соседом.

— Востриков,—быстро сказала она,—как кричит петух?

На доске было совершенно ясно написано «громко». Но вопрос учительницы застал Гришу врасплох. Он действительно не следил за разбором предложения и, очень смущенный, поднялся, откинув крышку парты, силясь поскорее сообразить, о чем идет речь.

— Я спрашиваю, как кричит петух? — опять повторила свой вопрос учительница, не спеша прошлась между партами и остановилась возле Гриши.— Как кричит петух, ну?

Класс насторожился. Все ребята повернулись к Грише и, как это бывает в подобных случаях, уставились на него с любопытством, беспокойством, нетерпением, а некоторые (в классе всегда находятся такие) с язвительной усмешкой.

— Ку-ка-ре-ку,— сказал Гриша, нерешительно и виновато поглядев на учительницу и пожав при этом плечами.

В классе наступило такое веселье, что учительница не смогла успокоить ребят до самого звонка.

Гришу с того дня все стали звать Петушком. Первой его назвала так Лиза Прямкова, Гришина соседка, которая жила с ним в одной квартире. Будучи человеком добродушным, Гриша нисколько не обиделся на нее за это. Он был в том лучезарном и бесшабашном возрасте, когда над проявлениями жизни только-только начинают задумываться, только-только с восхищением и удивлением прислушиваться к ее шумному пульсу, принимая те огорчения и радости, что несет она, еще с легким и беспечным сердцем; когда твои обязанности в этой жизни так еще несложны и ограничиваются лишь школьными занятиями да мелкими поручениями матери: сходить в булочную на Тулинскую улицу, где всегда продают свежий хлеб, купить на Рогожском рынке картошки и моркови, иногда вымыть посуду. Последнее поручение Гриша выполнял не очень охотно и так, чтобы за этим занятием не застала его веселая пересмешница Лиза Прямкова. Он был убежден, что для уважающего себя мужчины заниматься таким делом совестно. Впрочем, Гриша в этом не был исключением, поскольку так думают если уж не все, то, по крайней мере, три четверти населяющих мир мальчишек.

Боль утраты отца давно притупилась, как и всякая другая боль, в легком мальчишеском сердце, но в памяти об отце осталось много хорошего. Гриша гордился своим отцом.

Гордился тем, что он закончил войну майором, командиром гвардейского стрелкового батальона, трижды был ранен, а среди его многочисленных наград есть даже орден Александра Невского; гордился тем, что и шофером отец был тоже, как говорил Прямков, дай бог каждому, пра́ва имел первого класса, и портрет его не сходил с доски Почета автопарка. Словом, Гриша любил своего отца и теперь старался быть похожим на него. И когда мать с огорчением и досадой говорила: «Ты, Гриша, вылитый отец» — для него это было самой большой похвалой.

Так и жили вдвоем — мать и сын. И сыну казалось, что все это будет продолжаться вечно — маленькая комнатка в старом доме на Рабочей улице, кино в клубе имени Семашко, купание в кусковском пруду, куда так хорошо проехаться на электричке.

Он, конечно, не мог предположить, что жизнь его скоро круто изменится.

СОСЕДИ

Кроме Востриковых в квартире жили еще Прямковы, Самохины и Раздоровы.

Старики Самохины просыпались раньше всех, хотя спешить им было некуда — оба давно уже коротали время на пенсии. В доме все звали их просто дедушкой и бабушкой. Так и говорили: «Дедушка Самохин, бабушка Самохина». У бабушки, женщины еще бойкой и шустрой, люди делились на плохих и хороших. Середины не было. Если она говорила о какой-нибудь соседке: «Она какая-то не такая, не люблю я таких» — значит, соседка женщина вздорная и безоговорочно должна быть отнесена к плохим людям. Впрочем, хороших, «таких» людей, по мнению бабушки, было несравнимо больше. Во всяком случае, на той улице, на которой она прожила всю свою жизнь. Попив не спеша чайку, вымыв посуду, бабушка выходила во двор посидеть на лавочке и, случалось, проводила там по нескольку часов кряду, с утра до обеда и с обеда до ужина, имея, таким образом, все условия, чтобы не спеша разобраться в проходивших мимо людях.

В это время дедушка от нечего делать сапожничал и без отдыха пел песни.

Чинить ботинки и туфли к нему шли даже с соседних улиц. Работал он грубо, но зато обувь после его ремонта по-

силась дольше, чем новая. За починку же брал сущие пустяки, много меньше, чем в мастерской по прейскуранту.

Это был веселый, старательный и еще сильный старик с пожелтевшими от табачного дыма усами. Пел он басом, от усердия таращил голубые глаза, особенно когда исполнял «Шотландскую застольную» или про Ермака. И люди, проходя мимо распахнутого окошка, из которого, словно из громкоговорителя, летело на улицу «...и беспрерывно гром гремел», сопровождаемые дробным стуком сапожного молотка, говорили обычно: «Гляди, как пенсионер дает».

К сапожному ремеслу дедушка Самохин, несколько десятков лет проработавший на шихтовом дворе завода «Серп и молот», обратился не сразу. Сперва он начал играть в карты.

За последние годы в Москве значительно возросли штаты пенсионеров. Пенсионеры в основном пишут романы о любви и мемуары или играют... Играют в шашки, в шахматы, в домино, играют на бульварах, во дворах, на крылечках, играют старательно и самозабвенно. Не отстали в этом деле и пенсионеры с Рабочих улиц. Компания, в которую включились, выйдя на пенсию, дедушка с бабушкой, играла в карты, в «козла» с шамайкой, где шестерка треф является высшим козырем, а смысл игры заключается в том, чтобы изловчиться и убить этой шестеркой даму треф, или, как ее называют, первую даму.

Стали ходить друг к другу в гости. Сегодня играют у одной четы, завтра — у второй, послезавтра — у третьей, потом все повторяется сначала. Во время игры пьют чай с конфетами и с вареньем, опоражнивают пару бутылок красненького, а иной раз и водочки, закусывают. Словом, у дедушки с бабушкой начался сплошной праздник. Поиграв так три недели без выходных, дедушка сказал: «С меня хватит» — и решил заняться делом.

Стали подыскивать для него дело. Думали, гадали и пришли к выводу, что лучше всего разводить кроликов. Занятие это оказалось очень увлекательным и таким хлопотным, что дни летели незаметно. Сперва надо было научиться, как разводить, какую породу разводить, как строить клетки, чем кормить и так далее. Купили пять книг по кролиководству, и дедушка две недели изучал их, все время удивляясь тому, какое это, оказывается, выгодное дело — кролиководство. За один лишь год от одной только пары можно было получить столько мяса, по вкусу и питательности не уступающего куриному, что его, на-

верное, хватило бы на всех соседей. Потом надо было построить клетки, для чего требовались доски, гвозди, петли, железная сетка. Одни лишь гвозди дедушка выбирал четыре дня, слоняясь по магазинам с утра до вечера. На Таганке, например, они показались ему длинноватыми; дедушка поехал в Марьину рощу, но там гвозди были толстоваты. Так он изъездил почти всю Москву, побывал даже в Перове и в Бабушкине, пока круг его странствий по столичным хозяйственным магазинам не замкнулся невдалеке от дома, на Рогожском рынке, где оказались необходимые дедушке гвозди.

Не прошло, таким образом, и месяца, как две клетки для кроликов уже были готовы и торжественно водружены в дровяном сарае, а еще неделю спустя, после того как дедушка целое воскресенье протолкался на Птичьем рынке, в клетках появились четыре лопоухих пушистых зверька.

С этого все и началось. Дедушка уже прикидывал в уме, когда должно появиться на свет первое потомство, как вдруг выяснилось, что ему продали трех самцов и одну самку. Пришлось строить третью клетку и покупать еще двух самок. Но только дедушка справился с этой задачей, как кролики ни с того ни с сего начали болеть, и их надо было везти в ветеринарную лечебницу. Пять кроликов все-таки сдохли, остался лишь один самец. К этому времени дедушка успел так разочароваться в своем новом занятии, что, сказав: «С меня хватит», подарил самца Грише Вострикову, а тот отнес его в школу юннатам.

Начались поиски новой работы, и после долгих мучительных размышлений было решено стать сапожником.

Сперва дедушка отремонтировал все свои и бабушкины старые ботинки, какие только нашлись в сарае, потом стал просить соседей, чтобы они давали ему работу, за которую он с них ничего не возьмет, кроме стоимости израсходованных гвоздей, дратвы и кожи. Скоро об этом бескорыстном надомнике узнали на многих Рабочих улицах, и с тех пор в заказах у дедушки не было нужды.

Вслед за Самохиными поднималась Матрена Осиповна Раздорова, толстая, с двойным подбородком и пухлыми щеками женщина. Она была так сварлива и вечно чем-нибудь недовольна, что, наверное, даже ее муж, Петр Петрович, не взялся бы, пожалуй, вспомнить, когда последний раз видел на ее лице улыбку. Дедушка Самохин говорил про нее: «Матрена у нас женщина серьезная».

Ей было уже за сорок, работала она машинисткой в од-

ной из контор района, говорила басом, не хуже дедушки Самохина, только с такой брезгливой поспешностью, что не всегда можно было понять, о чем она толкует. Было известно, что она староверка, ходит молиться в какую-то свою церковь. Каждую весну, в так называемое прощеное воскресенье, вернувшись от заутрени, присмиревшая от усталости, она вставала посреди кухни и, не глядя ни на кого, но всем по очереди кланяясь в пояс, просила нараспев: «Простите...»

Просила прощения даже у Гриши и у Лизы Прямковой. Грише, когда Матрена Осиповна кланялась ему, делалось стыдно за нее, человека взрослого, грамотного. Он краснел и не знал, куда деваться, а Лиза нисколько не смущалась, принимала эти поклоны как должное и снисходительно, с благосклонной улыбкой баловницы отвечала: «Пожалуйста, тетя Муся, о чем разговор».

Муж Матрены Осиповны, Петр Петрович, модельщик с вагоноремонтного (от него всегда так славно пахло стружками, скипидаром и клеем), был прямой ей противоположностью и не верил ни в бога, ни в дьявола. Дважды в месяц, в получку, он праздновал «день железнодорожника», то есть заходил с приятелями в пивные и выпивал там, как он объяснял, «свою порцию». Когда же пивные и возле рынка, и на площади, и на Тулинской улице закрыли, полагая, вероятно, что в районе вдруг не осталось ни одного «выпивохи», Петр Петрович с приятелями остались верны себе и честно продолжали справлять «день железнодорожника». Только теперь они водку покупали в магазине, а стакан брали у знакомой газировщицы. Иной раз «порция» Петра Петровича принимала несколько увеличенный размер. Это сразу всем бросалось в глаза, потому что, придя домой и став на кухне как раз там, где обычно его дородная супруга просила у соседей прощения, он предлагал «сделать ползунка».

Ползунком у веселого Петра Петровича называлась пляска, во время которой танцор должен был упереться руками в пол и выделывать ногами всевозможные кренделя.

Пляска обычно не получалась, поскольку Петру Петровичу не только на руках — на ногах было трудно стоять. Во всяком случае, Гриша так ни разу и не видел, как Петр Петрович делает своего любимого ползунка, а тот, ничуть не огорчаясь, тут же начинал хвалиться, будто знает такое слово, что может вывести из любого помещения всех крыс.

— Вот скажу слово и пойду как ни в чем не бывало,— с кичливостью объяснял он,— и они, эти самые крысы, стало быть, сейчас же побегут за мной, вроде этих самых, стало быть, дворняжек. Хоть десять, хоть сто — так сейчас же все и побегут сломя голову сзади меня по всем улицам, и никакие троллейбусы или там, к примеру скажем, грузовики им нипочем.

— Врешь ты все, несомненно,— замечал дедушка Самохин.— Хотя врешь складно.

— Это почему же я вру? — удивлялся Петр Петрович.— Вот я тебе, слушай, такую историю сейчас расскажу...— И уж в который раз принимался рассказывать про то, как на некоей базе гастронома развелось много крыс и с ними ничего не могли поделать: крысоловки ставили, специальными снадобьями травили, котов завели — ничто не помогало.— Плевали, к примеру скажем, они, крысы, стало быть, на все эти мероприятия. Смекаешь, в чем тут дело? Не смекаешь? Сейчас я тебе объясню, тогда, может, поймешь. Приходит ко мне заведующий: «Петр Петрович, Петр Петрович, сделай одолжение, отведи крыс от нашей базы куда-нибудь подальше, сил наших никаких не стало».

— Что-то ты у меня на глазах всю жизнь вроде бы мотаешься,— сомневался дедушка Самохин,— а я не помню такого случая.

— А он ко мне не домой приходил. Он меня, может, в этот самый ресторан для такой беседы приглашал. Ты слушай, не перебивай. Ты что думаешь? — вдруг обращался он к Грише.

— Ничего,— поспешно говорил тот, застигнутый врасплох этим неожиданным вопросом.

— Ничего? — переспрашивал Петр Петрович и, тыча пальцем в грудь Грише, торжествующе произносил: — В тот же день у них не осталось ни одной крысы, все как есть сломя голову убежали за мной. Я их без остановки в Реутово отвел. Ох и народу же собралось, когда я с ними по улицам шел! Тысячные толпы. Весь транспорт парализовался. Ты, наверное, на работе в это время был,— с сожалением говорил он дедушке Самохину,— а то бы и ты увидел. Тут самое главное что? — вновь вдруг обратился он к Грише.— Самое главное в этом деле — не останавливаться и чтобы никакие светофоры тебе не мешали, хоть даже, это самое, стало быть, красный свет, а ты должен идти. Остановишься — все пропало. Крысы сейчас же опом-

нятся и повернут назад, а по второму разу их никаким словом не выманишь.

— Это все сказки,— говорил Гриша, однако всегда внимательно слушал Петра Петровича. «А вдруг он все это в самом деле может?» — нет-нет да и проносилось в его голове.

— Я тебе показал бы сказки,— нисколько не обижаясь, говорил Петр Петрович.— Жалко, крыс у нас в доме нет.

— Вот и получается в вашей семье сплошное разногласие,— замечал дедушка Самохин.— Сам ты колдун, Матрена вроде бы святая, а сын комсомолец.

Сын Раздоровых, Сергей, служил на флоте, скоро должен был демобилизоваться, и это очень беспокоило Матрену Осиповну.

Причины для беспокойства были довольно значительные. Дело в том, что у Раздоровых, как, впрочем, и у всего населения Рабочих улиц, было неблагополучно с жилищной площадью. Комната, которую занимали Раздоровы, хотя и имела четыре окна (два выходили на улицу, два — во двор), но в ней даже вдвоем не очень-то можно было разгуляться. А когда вернется Сергей, да еще женится, да еще внуки пойдут, тогда как? У бедной Матрены Осиповны при одной только мысли о невестке голова шла кругом.

Третьими соседями Востриковых были Прямковы: Евгений Федорович Прямков, сталевар с «Серпа и молота», в прошлом закадычный друг Гришиного отца, человек известный, про которого не раз писали в газетах, имевший спокойный характер и несколько насмешливый склад ума; его жена Клавдия Андреевна, аппаратчица с химзавода, стройная, чуть располневшая в последние годы, черноволосая, чернобровая красавица, и их дочь Лиза, сверстница и одноклассница Гриши, красивая, как мать, и насмешливая, как отец. Это дружная, счастливая семья, и автору, поскольку они так счастливы, даже написать о них нечего. Быть может, только добавить лишь то, что слушать рассказы Петра Петровича про крыс иной раз выходил в кухню и Прямков, прислонялся широким плечом к дверному косяку, прислонялся так прочно, словно врастал в косяк, и начинал серьезно и обстоятельно узнавать о подробностях. Как, например, крысы переходят трамвайные линии, не пугаются ли минских самосвалов и так далее. Петр Петрович, чувствуя в Прямкове внимательного, заинтересованного собеседника, отвечал многословно, с радостью, и

ему никогда не могло прийти в голову, что Прямков лишь ради шутки выспрашивает у него все это.

Кончались подобные бахвальства Петра Петровича, по обыкновению, тем, что в кухню, хлопнув дверью, влетала Матрена Осиповна, хватала своего разговорчивого супруга за плечи и, сердито, торопливо бася: «Спать, спать, спать!», заталкивала его в комнату. Блаженная, беспомощная улыбка растекалась в такие минуты по лицу Петра Петровича.

— Мусёк, Мусёк, Мусёк,— лишь говорил он, безропотно подчиняясь супруге и исчезая за дверью.

БРЫЗГАЛОВ — ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

В квартире существуют свои нехитрые, но твердые, неизвестно даже когда и кем заведенные обычаи, которых, тоже неизвестно почему, все придерживаются. Звонок, например, бездействует с тех самых пор, как Гриша и Лиза помнят себя, а возможно даже, что он умолк еще и раньше, но его никто ни разу не взялся чинить, просто потому, что никто в нем не нуждался: входная дверь и зимой и летом не запирается с утра до полуночи. Летом ее и вовсе не закрывают, и она день-деньской гостеприимно распахнута настежь. Впрочем, здесь многие живут так запросто, с распахнутыми для всех дверями, как обычно живут в деревнях или далеких поселках, где знают друг друга, как говорится, со всех сторон.

По воскресеньям пекут пироги, женщины с озабоченными лицами рано утром начинают топтаться возле духовки, и по запахам, просачивающимся из кухни во все комнаты, можно, проснувшись, безошибочно определить, что наступил праздничный, нерабочий день.

Грише нравились праздники, и он просыпался в эти дни с особенным, ни с чем не сравнимым чувством легкой, светлой радости. Ему вообще нравилось жить в старом доме на Рабочей улице, где все так хорошо знают друг друга, где такие нехитрые, простые и прочные обычаи; нравились старики Самохины, Прямковы, Петр Петрович, даже Матрена Осиповна. Но в воскресенье это славное чувство любви ко всему, что окружает его, само собою, без всякого усилия с его стороны, приумножалось и крепло. В такие дни решительно все радовало Гришу. Он радовался тому, что будет есть горячий пирог, что за окном безмятежное

солнечное утро, что во дворе, возле дровяных сараев, под старым корявым тополем, скоро прочно усядутся за самодельный, врытый в землю, шаткий стол и Прямков, и Петр Петрович, и другие мужчины и до вечера будут стучать по этому зябко вздрагивающему столу костяшками домино. Все было обычным, обязательно повторялось из воскресенья в воскресенье, как хорошая добрая традиция, и бабушка Самохина обычно говорила в такие дни всем женщинам, даже на минутку вышедшим из дома:

— Иди-ка сюда, на лавочку, посиди, отдохни! Я тут каждый день сижу, вот как хорошо! Все-то я в своей жизни уже переделала, теперь только и осталось сидеть да дожидаться...

Чего дожидаться, она не досказывает, но ее все прекрасно понимают и, охотно присаживаясь рядом с ней, говорят, по обычаю здешнему, грубовато и откровенно: — Да ладно, что ты... Тебе теперь только жить да жить.

— Вот и я про то,— соглашается бабушка с улыбкой.— А все-таки и к месту пора.

В одно из таких воскресений Гриша проснулся и потянул носом воздух.

Как всегда, комната от пола до потолка была пропитана густым, теплым запахом пирогов.

В трусах, без рубашки, босой, крепкий, по-мальчишески длинноногий, с взлохмаченной спросонья головой, выбежал он в кухню. А здесь пирогами пахло уже вовсю. Пироги Самохиных, Востриковых и Прямковых, прикрытые полотняными полотенцами, стояли на кухонных столах, на плите кипели чайники, а возле духовки, дождавшись очереди, в неизменном своем байковом халате, который то и дело распахивается у нее, возилась сердитая Матрена Осиповна.

— Давно бы пора,— сказала мать, с улыбкой оглядывая стройную фигуру сына.— Уж и чайник вскипел.

— Я сейчас,— отозвался Гриша, подходя к умывальнику, около которого стояла уже умывшаяся, с полотенцем, перекинутым через плечо, Лиза.— Ну-ка,— сказал он ей и слегка, бесцеремонно (меж ними давно уже установились эти нарочито грубоватые отношения) потянул за руку в сторону.

Он уже нагнулся над раковиной, подставил ладони, сложенные лодочкой, под тяжелую, прохладную струю, когда Лиза, отойдя на несколько шагов, остановилась и, глядя на его загорелую спину, сказала:

— Подумаешь какой! Можно бы и повежливее, Петушок.

— Петушок? — весело переспросил Гриша, оборачиваясь и набирая в пригоршню воду.— Я — Петушок?

И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: Матрена Осиповна, вытащив из духовки противень с пирогом, распрямилась, и вся вода из Гришиной пригоршни, которую он предназначал для Лизы, оказалась на ее груди.

— Да что же ты делаешь? — закричала на сына Надежда Васильевна.

Лиза зажала рот руками и убежала в комнату, а Матрена Осиповна, потерявшая от неожиданности и негодования дар речи, уставилась на Гришу столь выразительным грозным взглядом, что тот, оторопев, растопырив мокрые руки, забормотал:

— Я... простите, тетя Муся... Я хотел не вас, тетя Муся...

Как ни покажется на первый взгляд странным, но именно это бессвязное бормотание и спасло Гришу. Дело в том, что Матрена Осиповна не любила своего грубого, неинтеллигентного имени и стыдилась его. Всем в квартире было известно, что ей доставляет необыкновенное удовольствие, когда ее называют Марией, а особенно Мусей. Петр Петрович часто пользовался этим обстоятельством, когда, приняв с приятелями «свою порцию», возвращался с очередного празднования «дня железнодорожника». И теперь, стоило Грише произнести это чарующее строгую Матрену Осиповну имя, как гнев, клокотавший в ее груди, так и остался невысказанным.

Наевшись пирога и напившись чая, уже давно оправившись от смущения, с легким, радостным чувством свободы и той праздничности, которое возникало в нем каждое воскресенье, Гриша вышел из дому. Возле сараев, в тени старого корявого тополя, единственного дерева, росшего во дворе, с остервенением, весельем и грохотом «забивался козел». На лавочке рядом с бабушкой Самохиной сидела Лиза. Она была в легком ситцевом сарафане, туго стягивавшем ее талию. Черная толстая коса была перекинута на грудь, и Лиза от нечего делать то заплетала, то расплетала ее конец тонкими смуглыми пальцами.

— Влетело? — с лукавой усмешкой в чуть продолговатых, влажных темных глазах дружески спросила она у Гриши.

— Нисколько,—пожал тот плечами, садясь рядом с ней.

День начинался долгий и жаркий, небо было безоблачно, тюлевые занавески на распахнутых окнах обоих этажей и даже сочные большие листья тополя висели неподвижно. Слышалось, как неутомимый дедушка Самохин стучит молотком и поет:

— «Бетси, нам грогу стакан...»

— Ишь как разоряется,— с восхищением сказала бабушка.— Даже в выходной никакого угомона нет.

На улице заиграл аккордеон, мимо ворот со смехом, говором прошли нарядно одетые парни и девушки — собрались на массовку в Царицыно.

Гриша предложил Лизе:

— Поехали купаться.

— А кто еще? — охотно спросила Лиза.

— Найдем.

— Я не против.

Гриша тут же отправился в соседний двор собирать ребят. Такой уж здесь был порядок, что купаться в Кусково ездили большими веселыми компаниями. Скоро такая компания, с озорством подталкивая друг друга, уже втискивалась на платформе «Серп и молот» в битком набитый пассажирами еще на Курском вокзале вагон электрички.

Это было в девять часов, а в половине первого, когда Гриша, ничего еще не подозревавший о том, какие изменения в его жизни произойдут именно в этот праздничный, солнечный и пыльный день, наплававшись и нанырявшись в теплом, взмученном сотнями людей пруду, лежал на траве неподалеку от берега, как раз напротив музея, размещенного в Шереметевском дворце, мать его, Надежду Васильевну, посетил незваный гость Иван Иванович Брызгалов.

Посещению его предшествовали следующие обстоятельства. Три недели назад Надежда Васильевна случайно встретилась с Брызгаловым в метро. Хотя они не виделись много лет, сразу узнали друг друга и приятно обрадовались встрече. Брызгалов был в полотняном кителе с серебряными железнодорожными пуговицами, и Надежда Васильевна решила, что он какой-нибудь начальник.

— Как ты живешь? — спрашивала она, смущенно улыбаясь и то опуская глаза, то взглядывая на своего рослого черноволосого собеседника, в его голубые насмешливые и бесцеремонно рассматривавшие ее глаза, в которые она когда-то была так влюблена.— Есть жена, дети?

— Нет, я не женат,— засмеялся он.

— А как здоровье тети Паши?

— Мать живет — хлеб жует, что ей делается!

— Ты все такой же, нисколько не изменился.

— Да и ты тоже. Только, может, немного...— Он помолчал, подбирая нужное слово, прищелкнул в нетерпении пальцами, вновь оглядел ее веселыми глазами с ног до головы.— Поправилась, может, немного.

Это польстило ей.

— Ну, а ты как? — спросил он в свою очередь.

— Что я,— безнадежно махнула она рукой.— Какая моя жизнь вдовья.

— Ну-у? — воскликнул он.— Без мужа живешь?

Вздохнув, сделав скорбное лицо, она рассказала, какой у нее был муж, как он ничуть не заботился о семье и как ей трудно сейчас растить сына. Не рассказала — пожаловалась.

— О-о, какие дела,— промолвил он, выслушав ее, и тут же, взглянув на часы, сказал, что, к сожалению, больше не может задерживаться, так как спешит по очень важному делу, но будет рад видеть ее и, как он многозначительно добавил, вспомнить прошлое.

Через несколько дней они встретились в Измайловском парке.

Это был тот самый парк, куда они в молодости чуть не каждый вечер ездили на танцы. Теперь о танцах, разумеется, и речи не могло быть, они лишь степенно прогуливались по аллеям.

Не прошло и четверти часа, а Надежда Васильевна уже знала, что он живет за городом в собственном доме, все хозяйство ведет мать Прасковья Федоровна, сам же он часто отлучается, бывает, на неделю и больше, поскольку работает проводником мягких вагонов скорых курортных поездов. Ее несколько разочаровало, что он всего лишь проводник, а не начальник, как она думала раньше, однако то, что у него свой дом, сад, хозяйство, дало ей повод взглянуть на него с уважением. После некоторых колебаний Брызгалов предложил Надежде Васильевне откушать мороженого, но, подойдя к киоску, так долго рассматривал выставленные на прилавке цены, что ей стало даже неловко перед продавщицей. Выбрав фруктовое (оно оказалось самым дешевым), Брызгалов не спеша отсчитал деньги. Сам он от мороженого отказался.

— У меня горло больное,— с той нарочитой небрежностью, в какой легко угадывается фальшь, объяснил

он.— Как поем холодного, так и начинаю хрипеть не хуже громкоговорителя.

Она вспомнила, что он и раньше был скуп и ни разу, например, не купил ей билета на танцплощадку. Впрочем, она и тогда и теперь не осуждала его, так как и сама любила говорить, что деньги любят счет, и, уж если лишняя ассигнация попадала ей в руки, можно было быть уверенным, что на пустяк эту ассигнацию она не истратит.

Несколько дней спустя они снова встретились в том же парке, потом встречи их участились, и ее уже не покидало возникшее однажды беспокойное ощущение, будто Иван Иванович все время как бы приглядывается, прицениваетcя к ней. Она догадывалась почему: его пристальное внимание смущало и волновало ее.

И вот Брызгалов, даже не спросив на то разрешения, вдруг явился к ней в дом.

Несмотря на жару, он был в темно-синем костюме и при галстуке. Встав на пороге, оглядел своим оценивающим, бесцеремонным взглядом небогатое убранство комнаты: кровать, покрытую пикейным одеялом, старенький диванчик, кустарный коврик, на котором изображены плывущие по неестественно синему озеру не то гуси, не то лебеди, стол у окна — и, задержав взгляд на портрете майора, висевшем на стене над столом, непонятно усмехнулся и спросил у Надежды Васильевны, с удивлением, радостью и растерянностью стоявшей перед ним:

— Не ждала? Я завсегда так. Люблю появляться враз, словно из-под пола.

— Проходи... почему же,— отозвалась она.— Мы гостям всегда рады.

Иван Иванович прошел к дивану, сел и опять взглянул на портрет майора.

— Много же он орденов поднабрал.

— Да толку-то было чуть,— проговорила она, тоже взглянув на портрет.

— Непрактичный, стало быть, человек.

Садясь рядом с ним и горестно, виновато усмехнувшись, она пожала плечами.

— Ну вот что,— начал он после некоторого молчания.— Я человек дела и люблю говорить напрямки: да — да, нет — нет. Выходи за меня замуж. Ну?

— Сразу нельзя, что ты...— смущенно ответила она, сияющими глазами глядя на него.— Так вот сразу и выходи!

— А что долго думать? Мы с тобой не дети, знаем друг друга давно, так что вот тебе мое предложение.

— Я прямо и не придумаю. Так все неожиданно. Ты ведь знаешь, я не одна. У меня сын.

— А что сын? Сына не обидим. Дом большой, места всем хватит: четыре комнаты, веранда, кухня, то да се.

— Я прямо и не знаю.

— Я тебе что говорю, ты слушай меня. У нас хозяйство, матери не управиться, стареть начала, и у нее эта самая... гипертония—голова болит часто, так что тебе надо все взять в свои руки. Все будет твое. Сад! Одних яблонь двадцать штук. Вишни, сливы, клубника, смородина всякая, малина, крыжовник. Словом, ягод всяких — ешь не хочу! Огурцов насолим, помидор, капусты нашинкуем—все свое. Молоко, сметана — тоже свое, пей не хочу. Яички прямо из-под курочек, свеженькие, тепленькие, не хуже диетических. Вот я тебе что предлагаю. Я тебя не на пустое место зову, только управляй всем делом, будь хозяйкой.

Он говорил с увлечением, восторгом, и, по мере того как он говорил, Надежда Васильевна, внимательно слушавшая его, сама того не замечая, все больше и больше поддавалась очарованию той картины, которую он столь щедро, не скупясь на краски, нарисовал перед ней сейчас. Как действительно все время недоставало ей всего этого! Подумать только — жила-жила, и вдруг свой собственный дом, сад, сама себе хозяйка...

— Я очень цветы люблю,— проговорила она с мечтательной улыбкой, и не столько отвечая ему, сколько тем мыслям, которые, нахлынув, охватили ее разум широкой, радостной волной.

— А о цветах и разговору быть не может. Полон сад. Шпалерами от калитки до крыльца стоят. Тут тебе и пионы, и гвоздика, и гладиолусы всех сортов — от белого до черного, и нарциссы, а к осени — астры и еще эти самые, как их, шапками такими еще... Как заморозок, так сразу чернеют, одно наказанье... Как их?

— Георгины,— подсказала она.

— Правильно, георгины,— подхватил он.— А захочешь, и другие сажай, кто возразит?

— Как еще тетя Паша посмотрит...

— Я про тебя с матерью говорил. Одобряет. Словом, заживем за милую душу. Ты слушай меня.— Брызгалов уже понял, она вот-вот готова согласиться.— Что у тебя сейчас? Какой заработок? Пустяк. А ответственность? Она,

наоборот, большая. Только и жди, как бы под статью не угодить. А ради чего? Ради каких интересов? Да и хватит работать. Посиди дома, отдохни, почувствуй себя настоящей хозяйкой, вольным человеком.

— А как же с комнатой?

— А на что она тебе, комната? — Он опять по-хозяйски, оценивающе огляделся.— Комнату сдадим, пускай другие пользуются. Да и жалеть-то тут нечего. Домишко ваш, того и гляди, завалится, зимой небось дует во все щели, как в решето.

— Так-то ничего, с полу только.

— А с полу не холод? В общем, я тебе все сказал. Меня ты знаешь, слово теперь за тобой. Как решишь, так и запишем.

— Дай хоть подумать.

— Думай, только не очень.— Он поднялся.— Я пока пошел, другие дела есть, а завтра вечером приду за ответом. Так?

— Ладно,— сказала она, снизу вверх доверчиво и радостно глядя на него.— Пускай будет так.

На пороге, уже взявшись за дверную ручку, он задержался и, обернувшись, как бы между прочим спросил, показав глазами на стену:

— За этой стеной кто проживает?

— Раздоровы.

— Капитальная стена?

— Какая там капитальная, из досок. Это ведь когда-то все одной комнатой было.

— А семья у них большая?

— Двое пока, но скоро сын вернется из армии.

— Ну, до завтра,— сказал он, кивнув на прощание, и вышел.

Она поднялась, прошлась по комнате, в возбуждении проговорила:

— Вот так дела, вот так дела!..

Потом долго рассматривала себя в зеркало, все с тем же лихорадочным возбуждением думая: «Как же быть? Как же быть?»

Предложение Брызгалова казалось заманчивым, доводы, приведенные им,— убедительными, а перспектива перемены жизни к лучшему (она не сомневалась в том, что к лучшему) — приятной. И тем не менее Надежда Васильевна, как ни было ей все это по душе, не могла решиться. Надо было посоветоваться.

И вот полчаса спустя после ухода Брызгалова в ее комнате собрались Прямковы, Самохины и Раздоровы. Это было давнишним обычаем — решать серьезные вопросы сообща, всей квартирой.

— Кто он такой? — спросил дедушка Самохин.

— Это мой старый знакомый,— вкрадчиво ответила Надежда Васильевна,— мы с ним встречались, еще до моего замужества дружили. А сейчас он работает проводником.

— Не велика шишка,— сказал дедушка.

— Ты подумай насчет сына,— вступила в разговор Клавдия Андреевна.— Идете в чужую семью, а он парень большой.

— А что о нем думать? — сердито возразила Матрена Осиповна.— О себе надо думать. Сын вырастет, ничего ему не сделается, безобразничать только будет поменьше, а у нее,— она кивнула в сторону Надежды Васильевны,— век не очень велик, да и женихов не так много теперь.

— У тебя, Матрена, всегда все наоборот,— отмахнулся от нее дедушка.

— Мусёк...— робко начал было, откашлявшись, Петр Петрович.

Но супруга его, обиженная бесцеремонным замечанием дедушки, на сей раз не поддалась этой откровенной лести и свирепо цыкнула на него:

— А ты помолчи, горе-крысолов.

— Иди, Надюша, иди,— ласково проговорила бабушка Самохина, которая всем людям желала лишь добра.— Если жизнь поворачивается к лучшему, грех отказываться. Только учти, чтобы все было законно, честь по чести, как у людей, чтоб записаться.

— Это конечно,— поспешно, с радостью подхватила Надежда Васильевна.— Комнату, он сказал, сдадим в домоуправление.

— Как же это, а? — Матрена Осиповна, раскрасневшись, возбужденным взглядом оглядела присутствующих, словно призывая их быть свидетелями бесчинства, исподволь задуманного соседкой.

Все молчали.

— Въедет неизвестно кто,— решительно продолжала Раздорова,— может, семья вдвое больше, а тут и так теснота, повернуться негде...

— Мусёк,— укоризненно проговорил смущенный Петр Петрович,— тут, это самое...

— А,— махнула она рукой,— тебе никогда ни до

чего нет дела. А тут и так чуть не друг на дружке живем.

И опять наступило неловкое молчание.

— А что же ты скажешь? — обратилась Надежда Васильевна к Прямкову, не проронившему пока ни слова, с мрачным видом стоявшему возле двери, по обычаю подперев ее плечом и скрестив на груди руки.

— Что я в таком случае могу посоветовать тебе, Надежда,—проговорил тот, оттолкнувшись от двери, и, сунув руки в карманы брюк, подошел к столу, за которым сидела, словно председатель собрания, его жена:— Ты знаешь, он ведь был моим другом.— Прямков указал глазами на портрет майора.— Но жизнь — штука сложная. Что касается тебя, то бабушка, конечно, права: выходи замуж. Может, это и верно к лучшему. Я только вот насчет Гриши. Клавдия уж говорила,— он взглянул на жену,— как бы там не затюкали парня.

— Он сам кого хочешь затюкает,— вмешалась Матрена Осиповна.

Прямков, лишь покосившись на нее, продолжал:

— Все-таки жить надо не только ради себя, о других полагается думать. И не только думать, а может, чем и поступиться ради них.

— Что ты, этого никогда не будет,— горячо и поспешно возразила Надежда Васильевна, не поняв последних его слов.— Они люди хорошие, добрые, самостоятельные, я давно знаю и его и его мамашу, сколько лет в одном доме на Дангауэровке прожили.

— А насчет комнаты,— перебил ее Прямков,— хоть Марья Осиповна вроде и не в жилу высказалась, не нам, конечно, распоряжаться, кого сюда поселить вместо вас, но, поскольку скоро вернется Сережа, а стена меж вами не капитальная, тесовая, вот вы,— кивнул он Петру Петровичу и Матрене Осиповне,— и начинайте хлопотать, чтобы комнату отдали вам.

— Значит, что же мне-то посоветуете? — спросила Надежда Васильевна, тревожно и заискивающе оглядев присутствующих.

— А что же,— сказал дедушка Самохин, поднимаясь с дивана.— Сама понимай: раз комнату твою начали делить, стало быть, выходи. Гришку только смотри не давай в обиду.

В это время широко распахнулась дверь, и на пороге с разбегу встал Гриша. На его загорелом, возбужденном,

с капельками пота над верхней губой лице при виде стольких людей, собравшихся вместе и обсуждавших что-то чрезвычайно важное, быть может, даже касавшееся его, выразилось удивление и беспокойство.

У Прямкова, взглянувшего на Гришу, защемило сердце, и, проходя мимо, он похлопал паренька по плечу тяжелой, словно литой, ладонью и сказал:

— Такие-то, брат, дела!

Когда они с матерью остались вдвоем, Гриша все с тем же беспокойством спросил:

— Что это вы тут?

Она пытливо и в то же время смущенно взглянула на него и сказала:

— Сынок, я выхожу замуж. Сядь. Я тебе все расскажу.

Не спуская с матери удивленных глаз, он машинально сел на первый попавшийся стул. «Замуж? — пронеслось в его голове.— Зачем? А как же я? Мать выходит замуж! Замуж?» Это слово, самое обычное и определенное, когда его употребляли по отношению к посторонним женщинам, сейчас, когда оно коснулось его матери, приобрело для Гриши странное, непонятное и обидное значение. Он уже чувствовал, что вслед за этим словом, вслед за тем поступком матери, который объясняет это слово, в их жизни наступят непредвиденные перемены. Он еще не знал какие, но чувствовал, что наступят и что сам он никак не сможет повлиять на них или воспротивиться им. Все это обидело и еще больше встревожило его.

— Он хороший, Иван Иваныч, вот увидишь,— говорила тем временем мать,— у них свой дом, большой-большой, и сад тоже большой, там привольно, смотри, как будешь жить — в отдельной комнате, и мне легче будет, трудно сейчас одной...— Она говорила таким тоном, словно в чем-то провинилась перед сыном и в его власти — осудить или простить ее.

— Как хочешь,— сказал он, стараясь не встречаться с матерью взглядом, чувствуя, что ни осудить, ни поддержать ее не в силах, потому что и сам не знает, как быть, как поступить в этом неожиданном случае.

— Куда же ты? — с тревогой спросила она, увидев, что Гриша направляется к двери.

— К ребятам,— сказал он первое, что пришло ему в голову, на самом деле, стоило узнать, что она выходит замуж, как ему сделалось неловко, неудобно быть с нею.

Что-то вдруг произошло меж ними — меж сыном и матерью.

Во дворе было так жарко, что под тополем вынуждены были прекратить игру. Только на лавочке, в тени соседнего дома, мужественно сидела бабушка Самохина. Гриша, не зная, куда деваться, постоял на крыльце, потом пересек двор и сел на лавочку. Он никак не мог собраться с мыслями, понять, что теперь должно случиться с ним. Казалось невероятным, что вскоре предстоит расстаться с этим вот старым домом, с Рабочей улицей, со школой, с поездками в Кусково, с кинокартинами в клубе имени Семашко; казалось невероятным, обидным и тревожным что вместо всего этого, считавшегося неотъемлемой частицей его беспечно протекавшей счастливой мальчишеской жизни, будет другое, но уже не такое, и такого уж не будет никогда. И никогда больше не будет у него тех прежних, простых и дружеских, отношений с матерью.

Он сидел, устало опустив руки между коленями, охваченный горькой обидой, смятением и тревогой. Бабушка Самохина, давно приглядывавшаяся к нему с болью в сердце, прекрасно понимавшая, что творится с ним, сказала:

— А ты не серчай на мать, не надо. Так-то, может, и тебе лучше будет. Отчимы, они, конечно, всякие бывают, а хороших все-таки больше.

— Да я не серчаю,— отозвался он.— Просто, знаете, как-то так жалко всего.

— А ты мужайся,— посоветовала бабушка.

Действительно, ничего иного ему не оставалось, как только мужаться.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

С будущим отчимом Гриша встретился на следующий день. Уже вечерело. Они с матерью, вернувшейся с работы, обедали, когда в дверь кто-то постучал и, не дожидаясь разрешения, открыл ее. На пороге стоял высокий темноволосый человек в форме железнодорожника. Из-под густых бровей смотрели зоркие и, как показалось Грише, нахальные глаза.

— Ох! — смущенно и в то же время радостно, вдруг покраснев, произнесла мать, кладя ложку и поднимаясь.

— Здравствуй,—сказал пришелец, бесцеремонно усаживаясь на диван.— Я за твоим ответом, как договорились.

— Что же,— сказала мать, теребя передник.— Я согласна, Ваня.— Она помолчала в смущении.— Вот,— кивнула в сторону тоже переставшего есть и не сводившего с пришельца строгих глаз Гриши,— это сын, Гриша.

— Хорошо,— невесть что одобрил пришелец. Оглядел Гришу, перевел взгляд на портрет майора и добавил:— На него похож.

— Может, пообедаешь с нами? — спросила мать.— Мы только сели, у нас суп с бараниной.

Она так необычно засуетилась, ставя на стол чистую тарелку, что Грише стало неловко за нее, и он опустил глаза.

Будущий отчим не отказался от обеда. Тут же пересел к столу и принялся есть, бесцеремонно, с удовольствием прихлебывая.

— Я вот насчет комнаты все думаю,— заговорила немного погодя мать.— Жалко ее все-таки. И соседям нашим тесно, скоро сын к ним вернется. Вот если бы им ее...

Брызгалов перестал есть, внимательно, с интересом поглядел на Надежду Васильевну и вдруг сказал:

— А ты молодец, честное слово. Правильно придумала.— Он перевел взгляд на Гришу.— Ну-ка, друг, выйди, нам поговорить надо, между прочим, с глазу на глаз.

Гриша совсем растерялся, заспешил, зачем-то отодвинул тарелку, где оставалось еще много супа, ложку, кусок недоеденного хлеба и неловко вышел из-за стола.

Как только дверь закрылась за ним, Брызгалов приступил к делу.

— Стена, стало быть, не капитальная? — грузно навалившись на стол грудью, заговорщицки тихо спросил он.

— Из досок.

— Ты молодец. Слушай меня. Мы с них возьмем хороший калым, а стену они пускай хоть сейчас разбирают.

— Что ты,— смутилась Надежда Васильевна.— Я и в голове не держала про это.

— А зачем даром отдавать? Тебе чего-нибудь даром дают? Шиш с маслом. Ничего тебе не дают. Все за денежки. А денежки такая штука, что всегда пригодятся. Платье, например, купить тебе, то да се. Пригодятся, слушай меня.

— Я это не могу,— растерянно проговорила Надежда Васильевна.—Деньги, конечно, нужны, это правда, только...

— Это я возьму на себя, поняла? Ты не беспокойся, я сам все сделаю. За мной, между прочим, не пропадешь.

Я это умею и все быстро обтяпаю. Как говорится, тяп-ляп — и готово.

— Мне даже не по себе,— зябко поведя плечами, проговорила Надежда Васильевна.— Сколько лет вместе жили...

— Да тебя это не будет касаться. Будто ты ничего и не знаешь. Я же говорю: все беру на себя, на свою полную ответственность. А твое дело сторона. Как говорится, моя хата с краю — ничего не знаю.

Так они, обедая, шептались еще долго, и Брызгалову удалось наконец рассеять все сомнения Надежды Васильевны. «А в самом деле,— повеселев, подумала она,— раз он все берет на себя, мне-то что? Ничего не знаю, и весь разговор».

— Там кто-нибудь есть? — спрашивал тем временем Брызгалов, кивнув на стенку.

— Сама.

— Как имя-отчество?

— Матрена Осиповна. Лучше Мария, понимаешь?

— Не будем зря терять время.— Он поднялся, одернул китель и решительным шагом вышел в кухню.

Матрена Осиповна, вернувшись с работы, только успела переодеться и застегнуть кнопки своего цветастого халата с широкими, словно раструбы геликона, рукавами, как кто-то властно постучался. «Это еще кто?» — лишь успела, по обыкновению сердито, подумать она, а дверь уже распахнулась, и со словами: «Разрешите войти?» — перед ней предстал высокий, ладный железнодорожник.

— Здравствуйте,— проговорил он, плотно прикрыв за собою дверь.

— Здравствуйте,— буркнула Матрена Осиповна.

— Моя фамилия Брызгалов. Разрешите присесть? — спросил он и тут же понял, что вопрос его неуместен.

Присаживаться было некуда. Диван и все стулья затягивали вышитые и накрахмаленные белоснежные чехлы. Ими можно было любоваться, но сидеть на них было нельзя. Матрена Осиповна любила чистоту и порядок по-своему и твердо полагала, что только в такой идеальной музейной неприкосновенности и должно содержаться жилище культурного человека. Бедный Петр Петрович, если ему вдруг приходило в голову поваляться и почитать газету, должен был устраиваться в углу на сундуке. Разговаривали стоя.

— Я человек дела и люблю напрямки: да — да, нет —

нет,— сказал Брызгалов.— Вам, наверное, известно, что ваша соседка Надежда Васильевна выходит за меня замуж и в скором времени навсегда покинет вас.

Матрена Осиповна кивнула.

— Вам же, как мне известно,— продолжал Брызгалов,— по случаю скорого возвращения сына по демобилизации из армии нужна вот по сих пор,— он чиркнул пальцем по горлу,— дополнительная площадь.

— Нужна, конечно,— подобрев, подхватила Матрена Осиповна.

— Ай-яй-яй...— Брызгалов, оглядываясь, скорбно покачал головой.— В такой небольшой комнате — три взрослых человека, а третий в любую минуту пожелает жениться, приведет, так сказать, свою супругу, к тому же появятся детки... Я глубоко сочувствую, поскольку сам когда-то жил в такой тесноте. Простите, как ваше имя-отчество?

— Матрена Осиповна.

— Так вот, Мария Осиповна, комната Надежды Васильевны может спокойно и без шума стать вашей собственностью. Она вас устраивает?

— Еще бы. Да вы присядьте,— сказала вконец польщенная хозяйка.

— Такая чистота, что я не решаюсь. В первый раз вижу такой порядок. Почище, чем в международном вагоне.

Тем не менее он тут же сел на первый попавшийся стул. Села и Матрена Осиповна, кокетливо оправив на груди халат.

— Как это сделать? — спросила она.

— Проще пареной репы,— заверил Брызгалов.— Мы пока подождем выписываться отсюда, а вы тем временем сломаете перегородочку или прорубите в ней дверь, это, так сказать, по усмотрению, и въедете. Потом соберете всякие справочки, документики, заявленьица, то да се, пойдете на прием к председателю райисполкома, хорошо бы сюда и депутата подключить, и тогда председателю ничего не останется, как предоставить вам эту комнату, так сказать, самым законным порядком.

— Хорошо бы,— подхватила Матрена Осиповна.— А то сами видите, как живем. А когда сын придет, да женится, да дети...

Будущий муж Надежды Васильевны все больше и больше нравился Матрене Осиповне. «Представительный из себя,— думала она,— хозяйственный такой, прямо молодец».

— А вы думаете, все так и будет? — спросила Матрена Осиповна.

— Как по нотам. Только...— Брызгалов ласково и бесцеремонно оглядел свою дородную собеседницу.— Вы, конечно, понимаете сами, Мария Осиповна, что это деликатное дело требует некоторого вознаграждения, отступного, так сказать.

— Сколько же? — насторожилась Матрена Осиповна, беспокойно поерзав на стуле.

— Сотенки четыре в новых исчислениях.

— Что вы! — всплеснула она руками.— И не говорите. Нет у меня таких денег.

— Я, конечно, понимаю и вхожу в ваше положение.— Брызгалов все так же ласково, с приветливой улыбкой смотрел на нее.— Но иначе... Он пожал плечами.— Сейчас, вы знаете, в Москве ломают бараки, и оттуда к вам могут вселить запросто семейку человек в пять. Детишки, крик, шум, стенка тонкая, ни отдохнуть, ни подумать над жизнью. А мы с Надеждой Васильевной посоветовались, все взвесили и пришли к единомышленному выводу, что, поскольку вы хорошая женщина и так все вы дружно жили, нам хватит и этих денег. Берут, знаете ли, больше. Бывает...— закончил он уже жестко, без улыбки.

— Нету, нету, нету,— сердито проговорила Матрена Осиповна.

Теперь практичность будущего мужа соседки разонравилась ей.

— А вы займите у знакомых, в кассе взаимопомощи, продайте что-нибудь. Вот и наберется, как говорят, с миру по нитке.

— Нету, где взять?

Она говорила неправду. Деньги у нее были. Они лежали в сберкассе. Но отдавать их ни за что ни про что было так жаль, что у нее от беспокойства даже началось сердцебиение, что с ней очень редко случалось. Тем не менее она прекрасно понимала: отказываться тоже нельзя. Этот человек, чего доброго, передаст комнату райжилуправлению, и тогда можно остаться ни с чем. А стоит прорубить в стенке дверь — кто посмеет выселить?

— Деньги найдутся,— доброжелательно говорил меж тем Брызгалов,— было бы ваше, Мария Осиповна, желание.

— Ладно,— сдалась она.— Надо посоветоваться с мужем.

— Только с мужем и больше ни с кем,— предостерегающе поднял указательный палец Брызгалов.— Дело это, Мария Осиповна, сами понимаете, деликатное. Могут притянуть к ответу и того, кто берет, и того, кто дает. У нас, в Советском Союзе, к сожалению, почему-то не любят такие обоюдные соглашения и стараются отдать за это под суд. Так что советоваться только с мужем. И ответ прошу дать лично мне, поскольку Надежда Васильевна уполномочила меня вести все эти переговоры. Завтра я к вам наведаюсь.— Он поднялся.— А теперь будьте здоровы.

На следующий день они сошлись на трехстах рублях.

Часть вторая

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

ПОСЛЕ БАЛА

Прошло две недели. Надежда Васильевна, соглашавшаяся теперь со всем, что бы ни предлагал ей Брызгалов, расписавшись с ним в загсе, настояла все-таки на том, чтобы свадьбу отпраздновать. Брызгалову очень не хотелось тратиться, или, как он сказал, пускать деньги в трубу; жалко было денег и Надежде Васильевне. Однако ничего поделать они не могли. Все должно было быть как у людей, чтобы люди не осудили, не подумали плохого. Пришлось раскошелиться. Долго, от скупости, совещались, кого позвать в гости, и наконец согласились на том, что со стороны невесты будут Прямковы, Самохины и Раздоровы, а со стороны жениха только напарник-проводник.

— Жена у него недавно родила,— сказал Брызгалов,— ребенка оставить не с кем, стало быть, он придет один, только...— Брызгалов осуждающе покачал головой, почмокал губами.

— Что?

— Пьет, зараза, больно много!

— Буянит? — испугалась Надежда Васильевна.— Я так их не люблю, буянов.

— Не в том дело. Он тихий и положительный человек, но водки, наверное, лишнюю бутылку придется покупать для него.

— Что делать,— вздохнула она.— Зато у нас дедушка совсем не пьет, а Прямков и подавно.

Но сталевар Прямков на свадьбу не пришел, сказав,

что у него партийное собрание, вопрос серьезный, а он член партбюро.

— Очень жаль,— сказала Надежда Васильевна.— Так хотелось, чтоб ты тоже был у нас в этот день.

В действительности у него никакого собрания не было. Ему просто не хотелось присутствовать на свадьбе, сидеть за столом, делать вид, что он рад этой свадьбе, пить за здоровье жениха, которого совершенно не знает, и невесты, за здоровье которой он уже пил, когда она выходила замуж за его друга Вострикова. Но Надежда Васильевна не поняла всего этого. Понял Гриша, и ему стало неловко, что мать такая недогадливая.

Купили несколько бутылок водки, портвейна «Три семерки», наварили холодца, и Надежда Васильевна была очень довольна, что все теперь как у людей. Брызгалов, оглядев накрытый стол, сказал:

— Между прочим, учти, этот бал я устраиваю исключительно из-за тебя.

— Я понимаю,— согласилась Надежда Васильевна, глядя на него влюбленными глазами.

Гость со стороны жениха, напарник-проводник, как и предполагал Брызгалов, пришел один, оказался в самом деле тихим, «положительным» человеком и напился, почти не проронив ни слова. Сел за стол с застенчивой улыбкой, с ней же вышел из-за стола и отправился на нетвердых ногах домой, забыв даже проститься.

Гриша сидел напротив матери и всякий раз, когда кто-нибудь кричал «горько» и мать, поднявшись, целовалась с Брызгаловым, смущенно опускал глаза. Это было невыносимо — смотреть, как мать целуется с чужим человеком, ставшим теперь ее мужем.

Спели под руководством дедушки Самохина про Ермака. Петр Петрович, захмелев, попробовал сплясать «ползунка», но у него и на этот раз ничего не вышло, и он, нисколько не огорчаясь, начал рассказывать жениху о том, как он расправляется с крысами, и между прочим спросил, не водятся ли крысы у того на даче.

— Водятся, паразиты,— сказал Брызгалов.— Все мешки с комбикормом прогрызли.

— А на что тебе комбикорм? — удивился Петр Петрович?

— Как — на что? — тоже удивился Брызгалов.— А корова, куры, поросенок? Их кормить надо.

— Хозяйство, значит,— не то с удивлением, не то

с разочарованием протянул, покачав головой, Петр Петрович.

— Еще какое,— вмешалась в разговор Надежда Васильевна и с гордостью оглядела присутствующих.

— Ладно, я к тебе как-нибудь приеду,— пообещал Петр Петрович Брызгалову.— Ты мне адресок оставь.— Минуту спустя он настороженно спросил:— А не много ты с меня отступного содрал?

Брызгалов метнул пытливый взгляд в сторону Надежды Васильевны, быстро обежал глазами гостей — не слыщал ли кто этого вопроса, и, успокоившись, налив себе и Петру Петровичу водки, поднял рюмку:

— Давай лучше выпьем за твое здоровье.

— Давай, раз так,— согласился Петр Петрович.

Комната Раздоровым досталась почти без хлопот и совершенно официально — по решению исполкома. Деньги же, полученные с них, Брызгалов уговорил Надежду Васильевну положить в сберкассу, а так как у нее своей сберкнижки не было, положили их на брызгаловскую.

На следующий день Востриковы переезжали на новую квартиру в подмосковный поселок Хорьково. Во двор задом вкатилось грузовое такси, и Гриша с отчимом стали выносить из дома вещи. Брызгалов был здоров, ловок и в распахнутом своем кителе, раскрасневшийся, весело покрикивал на Гришу: «Давай, давай, ходи веселей, не задерживай!», вызывая беззастенчивое восхищение Надежды Васильевны, стоявшей в машине и принимавшей от мужчин узлы и чемоданы. Она то и дело поглядывала нескромно счастливыми глазами на бабушку Самохину, сидевшую на лавочке, как бы приглашая старуху полюбоваться вместе с ней ее новым мужем и разделить ее восхищение. С работы Надежда Васильевна по совету Брызгалова уволилась и была теперь, как сама сказала, вольной птицей. Гриша, подгоняемый Брызгаловым, работал молча, изо всех сил стараясь не отставать от отчима.

Странные чувства владели сейчас им. И горечь расставания со старым домом на Рабочей улице, где он родился и вырос, где все было так близко и дорого ему, и нетерпеливое желание, возникшее у него в последние дни, поскорее встретиться с той новой, еще неведомой ему жизнью, которая ждала его в Хорькове, и стремление казаться таким же сильным и ловким в работе, как отчим,— все смешалось в его добром, отходчивом и доверчивом мальчишеском сердце.

Вспотевший, с прилипшей ко лбу прядью волос, он все делал бегом, стараясь нести побольше и потяжелее, и когда мать, возбужденная, помолодевшая, обращала на него свои веселые, счастливые глаза, ему казалось, что вся радость ее относится лишь к нему, что мать видит, какой он сильный и ловкий.

Но вот все было закончено. Стали закрывать кузов, и только теперь, отдышавшись, стоя возле машины и вытирая рукавом рубашки пот со лба, Гриша увидел Лизу Прямкову. Высунувшись в распахнутое окно, она, очевидно, давно уже наблюдала за ним и теперь, лишь он взглянул на нее, печально улыбнулась ему, помахала рукой и крикнула:

— Счастливо! Приезжай к нам!

И тревожное, виноватое чувство охватило его. Он вдруг подумал, что в сутолоке и спешке сборов забыл проститься с ней, забыл сказать ей что-то очень важное и необходимое, что можно было сказать только наедине и что теперь при матери, отчиме, шофере, бабушке Самохиной сказать уже невозможно. Но что же, что должен был он сказать Лизе, уезжая?

— Поехали, поехали,— сказал отчим, обходя машину.— Счетчик-то не семечки щелкает.

Взявшись руками за борт и поставив ногу на колесо, Гриша растерянно оглянулся, кивнул Лизе:

— Всего...

И тут, перевалившись через борт, услышал, как дедушка Самохин стучит своим молотком и поет: «Кучум, презренный царь Сибири...»

Взревел мотор, заглушив песню, машина тронулась.

Гриша, стоявший в кузове, покачнулся, и последнее, что он успел увидеть, когда выезжали со двора и поворачивали на улицу,— бабушку и Лизу, прощально махавших вслед им руками. У него больно кольнуло сердце.

Мать сидела в кабине, Гриша с отчимом — в кузове, на узлах. Молчали. Отчим, вытянув ноги, привалясь спиной к борту, отдыхал, мурлыкал что-то себе под нос, а Гриша все с тем же неунимавшимся беспокойством думал, что же он не успел и не сумел сказать Лизе... И это было мучительно для него.

Меж тем давно уже проехали площадь Ильича, миновали Тулинскую, неширокую и всегда такую шумную, бойкую улицу, на площади Прямикова свернули в Сыромятники и покатили по широкой магистрали мимо

сквера, белых стен Андроньева монастыря на горе над Яузой.

Отчим выпул из кармана пачку дешевых папирос, встряхнул ее, спросил, обращаясь к Грише:

— Не куришь?

— Нет, что вы! — смутился тот.

— Не кури.— Отчим зажег спичку, затянулся.— А то рак будет.

— Какой рак? — покосился на него Гриша.

— Какой-нибудь. Так врачи говорят. Между прочим, у некурящих тоже рак бывает. Вот жил у нас один, и не курил, и не пил, а помер. Как это объяснить?

— Даже не знаю, что вам и сказать,— пожав плечами, признался Гриша.

— Никто не знает,— сказал отчим.— Никакая медицина ничего не может толком объяснить. Но,— он предостерегающе поднял указательный палец,— остерегаться надо, учти.— Он сказал это так, словно Гриша провинился перед ним в чем-то.

— Вот был у нас такой еще случай...— продолжал рассуждать отчим.

Но Гриша не слушал его. «Что же я не успел сказать ей? — думал Гриша.— Что я должен был сказать, чтобы никто не слышал, чтобы никто не видел, как я ей говорю? Почему я раньше не подумал, чтó должен был сказать?» Ему представилась Лиза такою, какой он видел ее, садясь в машину, ее лицо, печальную улыбку на этом широкобровом, всегда подвижном лице, и беспокойство охватило его еще сильнее. «Почему она так улыбалась, словно вот-вот заплачет?» — подумал он.

Вопросы, теснясь, проносились в его голове. А ответа на них не было.

Долго еще кружили по московским улицам, стояли в толпах машин перед светофорами, пока не вырвались наконец за город. Москва здесь оборвалась сразу кварталами новых восьмиэтажных домов, и сразу же начались поля, перелески и луга. Промчались вдоль деревенской улицы с чайной, весами, на которых взвешивались грузовики, и вновь очутились в поле, потом в редком, прозрачном насквозь, весело просвеченном солнечными лучами лесу, потом опять в поле.

— Гляди,— сказал отчим,— какая перспектива.

И когда Гриша оглянулся, то даже ахнул от удивления: над пригорками, холмами, одетыми в зеленую шубу

леса, стоял университет. Он был очень далеко и в то же время как бы совсем рядом — так четки, прозрачны и ясны были все его ниши, проемы и контуры от нижнего этажа до шпиля с гербом. И больше ни одного здания — лишь университет. И потом Гриша еще долго оглядывался и видел его, пока снова не въехали в лес. Это уже был густой, прочно и надолго обступивший дорогу лес, и, когда машина вкатилась в него, стало даже прохладнее, хотя солнце пекло по-прежнему щедро.

В Хорьково приехали во второй половине дня. Возле калитки их встретила мать Брызгалова, высокая, сухая старуха с такими же, как у сына, чуть навыкате глазами, только не голубыми, а светлыми, выцветшими к старости.

— Вот и ладно. С приездом вас,— сказала она, когда все вылезли из машины.— Здравствуй, Надежда,— и трижды приложилась к Гришиной матери сухими, сморщенными губами.

— Здравствуйте, тетя Паша,— вся просияв в приятной улыбке и слегка зардевшись, ответила мать, поправляя сбившуюся на затылок ситцевую косынку.

— Я теперь мать тебе,— заметила старуха и, взглянув на сына, добавила: — Тащите вещи, не мешкайте. Нечего зря машину держать, денег стоит,— и, повернувшись, не спеша пошла к дому.

Брызгалов, хваставшийся перед Надеждой Васильевной благополучием своего хозяйства, не преувеличивал.

Дом, рубленный из толстых бревен, с горбатой шиферной крышей, с застекленной верандой, окрашенный в коричневый цвет, с желтыми резными наличниками на широких окнах, стоял посреди участка, словно прячась от постороннего взгляда в зарослях тесно обступивших его вишен, яблонь и слив. Дорожка от калитки до крыльца была выложена кирпичами и присыпана песком, а с обеих ее сторон росли цветы.

Уже отцвела тесно высаженная вдоль забора сирень, даже поздняя, отцвели маки, буйствовал яркими красками свечей люпинус, вот-вот должны были распуститься пионы и тигровые лилии. На кустах жасмина, стоявшего, как и сирень, тоже стеной, только вдоль другого забора, набухали бутоны.

А сзади дома раскинулся огород: гряды моркови, капусты, картошки-скороспелки, свеклы, редиса, огурцов, помидоров, гороха, петрушки, салата, укропа и еще цветущей, но уже набравшей много покрасневших ягод клубники.

В самом конце огорода стояли сараи. Один — битком набитый сухими, расколотыми на мелкие полешки дровами и углем, в другом жили куры, корова и поросенок.

Пока перетаскали вещи, расставили их по комнатам, наступил вечер. Гришу поселили на втором этаже в мезонине, в маленькой тесовой комнатке. Здесь стоял деревянный топчан с тощим слежалым матрацем, такой же тощей подушкой в ситцевой розовой наволочке и серым байковым одеялом. Табуретка и самодельный стол дополняли несложное убранство комнаты.

Окно выходило в сад, и когда Гриша, притащив сюда свой чемодан, высунулся из окна на улицу, вдохнул полной грудью уже охладившегося к ночи воздуха, но еще не успевшего проникнуть сквозь распахнутое окно в теплую комнату, окинул взглядом открывшийся перед ним простор, вечерние сады и чуть видневшиеся за купами деревьев соседние крыши, сердце его переполнилось радостью. Ничего лучше нельзя было придумать для его жилья, чем эта комнатка под самой крышей с выступившей кое-где на тесинах подсахарившейся смолой и еще хранившей в себе солнечное тепло, весь день наполнявшее ее.

Раскрыв посреди комнаты чемодан, впервые почувствовав себя, оттого что будет жить в такой уютной, отдельной комнате, самостоятельным человеком, он вытащил из чемодана и сложил на столе аккуратной стопкой тетради и книги, потом извлек из-под рубашек портрет отца, тщательно протер стекло рукавом и уже оглядывал стены, ища, где удобнее повесить отцовский портрет, как пришли мать с отчимом.

— Ну как,— дружелюбно и снисходительно спросил Брызгалов,— устроился?

— Не совсем,— весело сказал Гриша.— Мне бы гвоздь с молотком.

— Зачем?

— А вот...— он показал портрет отца.

— Его, между прочим, можно и не вешать,— небрежно сказал отчим.

Гриша перестал улыбаться.

— Это мой отец,— нерешительно, с обидой сказал он,— разве...

— В моем доме его присутствие не обязательно,— холодно перебил его Брызгалов.— Мне это не нравится.

Гриша вопросительно посмотрел на мать и еще нерешительнее проговорил:

— Как же...

— Раз не нравится,— поспешно сказала мать,— зачем же обижать? — и вопросительно, с любовью поглядела на нового мужа.

— Ладно.— От обиды голос Гриши стал звонким и напряженным. Он уловил этот взгляд.— Пусть. Ладно.

Гриша встал перед чемоданом на колени, и отчим, глядя, как он поспешно и суетливо прячет под рубашки портрет, с небрежной снисходительностью сказал:

— Вот так будет лучше. Я нисколько не против, что это твой отец, помни это, и не против, что ты хранишь его в чемодане. Это твое дело. А теперь пойдем ужинать.

— Я не хочу,— сказал Гриша, захлопнув чемодан и в сердцах заталкивая его под топчан.

Отчим равнодушно, сверху вниз глядел на него.

— Ты не обижайся, молод еще. И запомни это: у нас по два раза собирать на стол не заведено.

— Я сказал — не хочу.— Гриша поднялся, одернул рубашку.

Теперь уж радости, только что наполнявшей все его существо, не было и в помине.

— Ты верно не хочешь? — словно ничего не случилось, спросила мать.

— Да, верно.— Он стоял перед ними и, стиснув зубы, ждал, когда они уйдут.

— Я тебе сейчас наволочку и простыню дам,— все тем же спокойным голосом проговорила мать, уходя.

Он лег на подоконник, подпер горячую голову кулаками.

«Ладно,— думал он, безразлично глядя в сад.— Пусть. Пусть как хотят. Не нравится? Пусть. Ладно. Что же я могу сделать, что?»

Было слышно, как внизу, на веранде, двигают стульями, звенят посудой. Старуха громко спросила:

— А где же парень?

— Он не хочет,— отозвалась мать.

— Устал, небось.

— Может быть.

— Не устал, а на меня обиделся,— заметил отчим.

— Вот как! С первого же разу.

— Он не обиделся,— примиряюще сказала мать.— Он не обидчивый, вот увидите.

Потом они заговорили о чем-то другом, голоса их стали едва слышны. Гриша лежал на подоконнике и думал, обид-

чивый он или необидчивый, как сказала мать... «Конечно, когда правда, я не обижаюсь,— думал он.— Это все в нашей школе знают. Но разве это правда? Если это правда, то в чем же тогда неправда, зло?»

А вокруг разлилась чуткая вечерняя тишина. Прошумела вдалеке электричка, укатила и смолкла. Лениво и скучно залаяла где-то собака. По улице мимо дома прошли, разговаривая, двое — мужчина и женщина. Он что-то доказывал, убежденно, взволнованно, а она возражала наигранно-обиженным тоном, и было ясно, что они вот-вот помирятся и мужчина ради этого примирения уступит в чем-то. Но и эти голоса скоро исчезли, словно растаяли, поглощенные тишиной. Лишь собака вдалеке все лаяла и лаяла.

Внизу хлопнула дверь, на крыльце послышались шаги. Кто-то неспешно прошел в сумерках под окном до калитки, постоял там и так же не спеша пошел обратно.

— Как же хорошо! — услышал он голос матери. Это она там ходила по тропке.— Очень хорошо. Воздух какой, тишина какая! И цветы...

— Только наслаждайся,— отозвалась старуха, неспешно сходя с крыльца.— У нас получше курортов.

Они остановились под окном.

— Мне так здесь нравится,— говорила мать,— так все нравится, так по душе! Я ведь очень люблю копаться в земле, с цветами, со всем.

— Я сама страсть люблю,— ответила старуха.— Думается, дай мне еще два таких участка, я и их обработала бы. У других дачников все травой позаросло. Вынесут гамак, привяжут к дереву и давай, словно обезьяны, качаться. А то книги все читают. Это вместо того, чтобы овощи или еще там чего выращивать. Посмотришь на таких, аж сердце кровью зальется. Думаешь, зачем им участки дают, если они от тех участков никакой пользы не имеют? Будь у меня власть, я бы у всех у них землю поотбирала. Не хочешь заниматься хозяйством — отдай другому, он пользу извлечет. Зачем тебе земля дана?

— Правда, зачем?—согласно вторила вслед за ней мать.

Они помолчали.

— Завтра надо морковь продергать,— сказала, зевнув, старуха.— Густо больно пошла, тесно ей.

— Я сделаю,— сказала мать.

— Рано ли поднимаешься?

— Я не люблю долго спать.

— А корову доить умеешь?

— Нет.

— Научишься. Ты теперь вот что: я уж, ладно, со скотиной и курами сама управлюсь, а ты огород возьми на себя. Поначалу я тебе скажу, что делать, а потом сама поймешь.

— Конечно. Я так люблю в огороде. Бывало, поедешь к тетке в деревню и весь отпуск прокопаешься на грядах. То это, то другое...

— Вот как хорошо...

Грише надоело слушать их. Он отошел от окна, лег на топчан, свернулся по привычке калачиком, подложив под голову ладони, и скоро сладко заснул, даже не раздевшись.

Наволочку и простыню дать ему забыли.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Гриша проснулся от яркого солнечного света, тепло и резко бившего ему в лицо. Он открыл глаза, потянулся и проворно вскочил со своего жесткого, неуютного ложа.

«Ух как я выспался! — с радостным удовлетворением подумал он, сбегая вниз по узкой скрипучей лестнице и ощущая во всем своем суховатом, легком теле прилив той бодрой энергии, какую обычно ощущает хорошо отдохнувший на свежем воздухе человек.— Сколько же сейчас времени?»

Шел всего лишь восьмой час, и в саду было мокро от росы, и выпуклые зеркальные капли, отражавшие в себе, казалось, весь этот чудесный утренний мир, светясь и переливаясь то голубым, то серебряным, то розовым светом, тугими ртутными шариками удобно лежали в листьях люпинуса, в тех чашечках, какие образуют листья, сходясь к стеблю. Тени от деревьев, сараев, дома были длинны, прохладны и глубоки, хотя солнце поднялось уже довольно высоко.

Сбежав с крыльца, Гриша сразу же увидел мать и улыбнулся ей. В легком ситцевом сарафане и серенькой косынке, едва державшейся на волосах и так молодившей ее, сидела она на корточках и продергивала морковь.

— Ну, выспался? — спросила она, не переставая работать.— Правда, хорошо здесь?

— Правда.

— А я, шести часов еще не было, поднялась и прямо сюда. Вон уж сколько наработала.— И она с гордостью указала кивком головы на кучу выдернутой из грядки морковной ботвы.— А работы, работы еще непочатый край.— Лицо ее было озабоченным, хозяйственным.— Бабушке одной не управиться, она старенькая, а хозяйство большое; посмотри, сколько вокруг растет, и за всем нужно ухаживать, все ведь это теперь наше, как же не потрудиться.

Гриша был занят своими, очень для него конкретными, но совсем иными, чем у матери, мыслями. Все, о чем сейчас говорила она, имело для него довольно смутное и относительное значение: он был голоден.

— Завтракать когда будем? — присев рядом с матерью на корточки, почему-то шепотом спросил он.

Она глянула в сторону распахнутых дверей сарая, из которых доносилось ровное цырканье молока о стенку подойника, и тоже тихо сказала:

— А вот бабушка управится со скотиной, и сядем за стол. Теперь уж скоро.

Гриша покосился в сторону сарая, проглотил набежавшую в рот слюну, облизал губы.

— Клубнички можно пока немного поесть? — спросил он все так же тихо.

— А почему...— не совсем твердо ответила мать.— Поешь.

Гриша переступил через несколько гряд и очутился возле густой, сочной и глянцевито-влажной от росы клубничной зелени, в которой пятнами краснели спелые ягоды, тоже влажные и сочные на вид.

Это было необыкновенно. Он первый раз за всю свою жизнь ел клубнику прямо с гряд. Он вообще мало ел клубники, так как денег на нее у матери всегда не хватало, и теперь, присев на корточки, забыв обо всем на свете, с несказанным, ни с чем не сравнимым наслаждением ворошил листья и отправлял в рот ягоду за ягодой. Они были прохладны, мясисты и наполняли рот кисловато-сладким соком.

Однако это упоительное, самозабвенное наслаждение длилось недолго. Привела Гришу в чувство появившаяся перед ним старуха. Рукава ее кофты были закатаны по локоть, обнажая жилистые руки, в одной из которых она держала подойник, цепко сжав темными, со сморщенной кожей пальцами дужку.

— Пасешься? — спросила она, остановясь напротив Гриши и перехватывая подойник из одной руки в другую.— Хороша клубничка?

— Очень вкусная,— приветливо улыбнулся Гриша, поднимаясь.— С добрым утром!

— Мы ее завтра будем снимать,— сказала старуха,— тогда и попробуем помаленьку. Она сейчас денег стоит. На базаре по два рубля за кило люди выручают.

Гриша смущенно оглянулся на мать. Но она была занята своим делом, сидела на корточках, проворно дергая из земли морковь, и, казалось, не обращала на них никакого внимания. Он почувствовал себя так неловко, словно его уличили в чем-то предосудительном, запретном, нехорошем. Неуклюже, на непослушных, будто одеревеневших ногах перебрался через гряды на тропинку и тихо побрел к дому.

— Надежда,— как ни в чем не бывало сказала за его спиной старуха,— хватит пока с морковью заниматься, иди-ка жарь картошку, а я тем временем молоко по дачникам разнесу.

— Иду,— весело и тоже как ни в чем не бывало отозвалась мать и торопливо пошла к дому, обгоняя Гришу и вытирая на ходу руки о передник.

Завтракали жареной картошкой, присыпанной сверху свежей зеленью, а после этого пили чай с молоком. Старуха пила из большой кружки, не спеша, со вкусом прихлебывая; подобрела от чая и разговорилась.

— Приехали мы сюда, Надежда, на пустое место. Ни кустика, ни деревца — батюшки светы! — хоть в футбол играй. Я говорю ему,— кивнула она в сторону сидевшего рядом с Гришей Брызгалова,— зачем же ты такой пустырь взял? А он говорит: «Мамаша, не расстраивайся, это самое лучшее место, что хошь, то и сажай».

— А что, разве не прав был? — самодовольно спросил отчим.

— Прав,— ласково сказала старуха.— Еще как! Этот пустырь нам потихоньку-полегоньку весь дом выстроил.

— Ну уж,— с удивлением и сомнением произнесла мать.

— Вот тебе и «ну уж»...— Старуха налила себе третью кружку.— Ранняя редиска, ранняя клубника всегда в большой цене на базаре, а мы той редиской сразу чуть не получастка засадили. Вот и денежки полезли весной прямо из земли. Три года в сарае, где сейчас корова стоит, прожили,

зато сруб вон какой привезли... Он сам,— она опять с гордостью посмотрела на сына,— в Великие Луки ездил, по бревнышку выбирал.— И, помолчав, уже иным, безразличным голосом, как о чем-то второстепенном, добавила: — Ссуда, конечно, помогла, на производстве выхлопотали. Он тогда еще под землей в метро работал.

— И ушел? — удивилась мать.— Там же такие заработки!..

— Человек должен работать там, где он может больше всего проявить себя и получить пользы,— непонятно чему усмехнулся отчим.

— Ишачить каждый дурак сможет,— как бы разъясняя его слова, бойко вмешалась в разговор старуха.— Да толку что? Зарплата, говоришь? Велика радость! А проводником вот как хорошо. Привез, к примеру, весной мимозу — денежки. Лаврового листу — денежки. Слив там, черешни, абрикосов — и все это почти даром достается тебе. Опять прибыль. А туда — барахло всякое. Знай только, чего там не хватает. И опять прибыль. А времени свободного хоть отбавляй. Иной раз по неделе гуляет, хозяйством на свежем воздухе занимается. Это, милая, не под землей кости ломать.— Старуха торжествующе поглядела при этом на Надежду Васильевну и продолжала: — Иные завидуют нам, говорят, что, мол, это за жизнь такая, даже ягодки одной как следует не съедите, все на базар тащите. А спрашивается, какое им дело, едим мы их или не едим? Своим добром распоряжаемся, не чужим.

— Конечно,— сказала Надежда Васильевна.— Кому какое дело?

За всю свою жизнь на Рабочей улице Гриша не слышал столько разговоров о деньгах, сколько услышал за одно утро здесь, в брызгаловском доме. Здесь говорили о них со смаком, с жадностью, и все время рядом со словом «деньги» соседствовало слово «прибыль».

Слушать об этом было неловко. Грише казалось, что и старуха, и отчим, и мать, охотно поддакивающая им, словно бесстыдно обнажаются друг перед другом, хвастаясь этим своим бесстыдством.

— Я пойду погуляю,— поднявшись и обращаясь к матери, сказал он.

— Куда? — спросила вместо матери, насторожившись, старуха.

— Да так.— Гриша пожал плечами.— По поселку. Хоть познакомлюсь немного.

— Между прочим, вот что,— сказал отчим.— Каждый человек должен трудиться. Это, так сказать, коммунистический принцип. Человек должен приносить пользу обществу. Погулять, конечно, тоже можно, я лично не возражаю, учти это, но сперва надо что-то сделать для дома. Принести пользу, заодно и к труду привыкнешь, и физически разовьешься. Вместо утренней зарядки. Стало быть, для тебя сегодня будет такое задание...— Он строго поглядел на Гришу.— Отлить четыре яблони.

— Это как — отлить? — не понял Гриша.

— Это очень просто — отлить. Берешь в руки ведро, черпаешь в колодце воду и выливаешь ту воду под яблони. Под каждую по десять ведер. А потом в другом ведре разводишь коровяк, дерьмо то есть коровье, за сараем лежит, жижу такую делаешь и тоже по два ведерка под каждую яблоню льешь. Усвоил премудрость?

Гриша кивнул.

— Вот и действуй, развивайся, приноси пользу, вникай в дело. А с поселком, с местными лоботрясами познакомиться успеешь. Яблоням же вода позарез нужна: дождика месяц уже нет, а яблок на них много висит. И, если не отлить, не попитать яблоньки, половину урожая можно потерять. Понял?

— Понял,— сказал Гриша.

— Пойдем, я тебе ведра покажу,— поспешно поднимаясь, как бы боясь, что он может передумать, сказала старуха.

На этом завтрак закончился, и все, не мешкая ни минуты, занялись каждый своим делом. Мать снова взялась продергивать морковь, Гриша — таскать под яблони воду, а отчим отправился в Москву искать подходящий товар из лейкона, на который был сейчас спрос в Грузии: на днях отчим уезжал на Кавказ. Вскоре следом за ним подалась в Москву и старуха. Она нарвала пионов, тигровых лилий, люпинуса, гвоздики, связала их в большой букет и поехала, как потом узнал Гриша, продавать эти цветы на Комсомольской площади около вокзалов.

Гриша работал с увлечением. Вначале он опускал в глубокий, холодный цементный колодец помятое, на толстой цепи ведро, медленно раскручивая ручку барабана, но потом, увидев, как непринужденно и легко сделала это девчонка, пришедшая к колодцу с двумя ведрами, приловчился, и ведро у него тоже начало стремглав лететь вниз, увлекая за собою цепь. Грише лишь оставалось слегка

притормаживать барабан ладонью, приложив ее как раз к тому месту, где он был до глянца отполирован множеством так вот прикасавшихся к нему рук. Гриша первый раз в жизни доставал воду из колодца, и для него было необыкновенно приятно, как шлепалось ведро об воду, как оно, сперва совершенно невесомое, с плеском вырвавшись из воды, мгновенно тяжелело, и эта тяжесть тоже мгновенно передавалась по напрягшейся цепи на руку, мышцы твердели, и цепь, медленно накручивающаяся на барабан, туго подрагивала. Он сосчитал: нужно сделать двадцать два взмаха рукой. Цепь, вначале сухая и бурая от ржавчины, а к концу, возле ведра, мокрая и темная, должна двадцать два раза обвиться вокруг барабана, пока из колодца не появится ведро, до краев наполненное водой и все охваченное колодезной стужей. Когда Гриша ставил его на сруб, вода плескалась и слитками летела в колодец, ударяясь там, на дне, с металлическим стуком.

Он таскал воду двумя ведрами, и это тоже было ему в новинку и в удовольствие — чувствовать, как, стоит ему подхватить ведра, оторвать их от земли, твердеют мышцы рук и сам он вдруг становится подобранным, ловко напряженным, и это ощущение своей ловкости, упругости во всем теле было для него бесподобным, радостным и не сравнимым ни с чем.

Колодец находился за калиткой, метрах в семидесяти от дома, на перекрестке улиц, и перетаскать оттуда сорок ведер воды было нелегко. Сперва Гриша скинул рубашку, потом майку, потом разулся и закатал брюки до колен. Появляться в трусиках на улице ему казалось неудобным. Всякий раз, вылив воду под яблоню и глядя, как она впитывается землей с такой скоростью, будто ее кто-то жадно пьет, он отдыхал, вытирая тыльной стороной ладони пот со лба и переносицы.

Потом он разводил коровяк, размешивая его в ведре палкой, и то, что он все сделал именно так, как учили его отчим и старуха, тоже доставило ему удовольствие.

Мать все еще продергивала морковь, когда он закончил свою работу и крикнул ей, натягивая на голову рубашку:

— Мам! Я все сделал. Теперь пойду погуляю.

— Тут где-то речка есть,— отозвалась мать, поднявшись и упершись руками в поясницу, должно быть, ныв-шую от непривычной работы.

— Я поищу,— пообещал Гриша.

Мать с легкой улыбкой смотрела ему вслед, пока он не скрылся за калиткой. Потом, поправив косынку и все с той же улыбкой поглядев на безоблачное, бездонно-голубое небо, с которого нещадно палило июньское солнце, вновь опустилась на корточки и принялась за прерванную работу. А работы было много. Надежда Васильевна не продергала и половины, но это нисколько не смущало и не обескураживало ее.

Ей все здесь нравилось. И сам дом, такой большой, прохладный, прочный, и огород, и сад, и все хозяйство. Нравилось и то, как здесь живут,— строго, расчетливо, бережливо, учитывая каждую копейку. Она сама была расчетлива или, как говорил про нее дедушка Самохин, прижимиста, и порядки, заведенные в семье Брызгаловых, пришлись ей по душе. А работать она любила, особенно если эта работа была для дома. Для дома, чтобы все было хорошо, с пользой, надо стараться. Ей понравилось, как старался Гриша, таская под яблони воду. Она давно украдкой наблюдала за ним, осталась довольна, и у нее даже мелькнула польстившая ей мысль, что характером он все-таки вышел в нее, а не в отца.

«Пусть теперь и отдохнет,— благосклонно подумала она.— Пусть, ничего».

Поселок Хорьково ведет свое летосчисление с 1939 года и вырос на бросовой, наполовину заболоченной, заросшей ольхой, звеневшей в сумерках злым комаром, земле. Теперь эту землю не узнать. Разбитая на квадраты участков, застроенная домами, расчерченная прямыми широкими улицами, обхоженная, удобренная человеком, она покрылась рощами садов, аллеями тополей, лип, берез, рябины, клена, тесно и густо вставших вдоль уличных канав. А комары исчезли, и остались одни лишь безобидные толкачи, облачками мельтешившие на одном месте в теплые вечера.

Каждый год летом население поселка увеличивалось почти вдвое: наезжали дачники, народ шумный, бесцеремонный, требовательный, как, впрочем, все курортники и дачники, смело, по душевной простоте своей полагающие, что то, чего нельзя, неудобно делать дома, вполне возможно и прилично на курорте или на даче. Во всяком случае, в Хорькове их легко и безошибочно можно было отличить от постоянных жителей, или, как их называли, зимников, поскольку дачник, если только он не спешил в город на работу, разгуливал по улицам, стоял на станции возле газетного киоска в очереди за газетами, толкался возле овощ-

ных, хлебных и молочных ларьков сельпо обязательно в комнатных шлепанцах и полосатой пижаме, то есть в той самой одежде, в какой у себя дома, в Москве, он бы счел неприличным не только выйти во двор, но даже высунуться на лестничную площадку.

Приезжали в Хорьково пионерские лагеря, детские дома и сады. Но у них была своя жизнь, обособленная от общей жизни поселка, свои дачи, кухни, лужки, а у некоторых даже свои радиоузлы, и каждый день над поселком нет-нет да и раздавался строгий и радостный от этой строгости девичий голос: «Всем пионерам второго отряда собраться на баскетбольной площадке», или «Гриша Ласточкин и Петя Сушков, немедленно явитесь к своей пионервожатой», или «Редколлегия стенгазеты предупреждает, что сбор заметок продлен еще на два дня».

В конце августа поселок заметно пустел. Каждый год это походило на поспешную эвакуацию. Легковые и грузовые такси, автобусы уходили из поселка, переполненные людьми, узлами, чемоданами и прочим домашним скарбом. И опять до весны, до школьных каникул, до дачников, наступала тихая, размеренная жизнь. В Москву из Хорькова можно было добраться электричкой за сорок пять минут, все хорьковские зимники работали в столице, и было среди них много шоферов, строителей, текстильщиц, трикотажниц, железнодорожников вроде Брызгалова и служащих всяких учреждений. Просыпались в Хорькове рано: иные, чтобы попасть на работу в утреннюю смену, были вынуждены вставать ни свет ни заря.

Выйдя за калитку, Гриша в нерешительности остановился, не зная, в какую сторону направиться. Все здесь было пока незнакомо ему, кроме разве колодца, из которого он только что черпал воду. И Гриша свернул к колодцу, потом налево и побрел вдоль заборов по плотно утоптанной, обросшей по краям травой тропке, прочитав на одном из домов название улицы. Она называлась Партизанской. Вскоре ее пересекла другая улица, Карла Маркса, и по тому, что она была много шире, замощена булыжником с асфальтовыми дорожками для пешеходов, нетрудно было догадаться, что эта улица главная в поселке и, вне всяких сомнений, ведет к станции.

Но Гриша не стал сворачивать на нее, а пошел дальше по Партизанской и скоро очутился возле магазина сельпо. Двери были гостеприимно распахнуты, словно на Рабочей улице, и Гриша вошел.

Что же это был за магазин! Гриша ни разу не видел такого сказочного магазина. Здесь можно было купить решительно все, что угодно твоей душе: хлеб, селедку, детскую гармошку, ситец, телогрейку, папиросы, румынский ром, конфеты, крупу и даже вятский мотороллер. И всем этим богатством распоряжался один молодой, веселый, краснолицый продавец, без устали балагуривший с покупательницами и даже подмигнувший Грише, остановившемуся посреди магазина и с восхищением оглядывавшему прилавки и полки.

Сразу же за магазином начинался большой пустырь, обрамленный несколькими рядами молоденьких, хиленьких, вероятно, лишь нынешней весной высаженных деревьев. Посреди пустыря было футбольное поле, облысевшее возле ворот, в тех местах, где обычно происходят самые жаркие схватки противников. А дальше снова пошли дома и сады; только под уклон, за садами, виднелся темно-синий лес с просекой и железными решетчатыми столбами высоковольтной передачи. Только Гриша загадал, что непременно дойдет до этого леса, как улица кончилась и перед ним открылась большая речная заводь с плотиной, лодочной пристанью и неистово галдящими и плещущимися возле берега мальчишками. Он сразу позабыл о том, что собирался побывать в лесу, так велико и искушающе оказалось новое, возникшее у него при виде заводи желание сейчас же, не мешкая, искупаться. Берег был невысокий, травянистый и колючий: траву недавно скосили и увезли. Невдалеке лежала на разостланных рубашках и брюках компания подростков, при появлении Гриши прервавших разговор и с любопытством уставившихся на него.

Гриша, раздеваясь, чувствовал на себе пристальные взгляды мальчишек и едва удерживался от желания посмотреть в их сторону. Но делать этого было нельзя. Он сам не знал почему, но хорошо знал, что нельзя. Нужно было, наоборот, не придавать этому никакого значения, делать вид, что тебе совершенно безразлично, смотрят на тебя или нет. И он не спеша стянул с себя рубашку, аккуратно сложил ее, скатал брюки, подсунул под них сандалии и, не торопясь, продолжая чувствовать на себе взгляды сверстников, спрыгнул с берега и пошел в воду все глубже и глубже, пока она не достала ему до плеч. Тогда он взмахнул руками и поплыл, то отфыркиваясь и выбрасываясь над водой до пояса, то погружаясь в нее с головой.

Вода была легкая, чистая, прохладная, не то что в ку-

сковском пруду; плыть было свободно и неутомительно, и Гриша, доплыв до середины заводи, даже не отдыхая, повернул обратно, но теперь уже другим стилем — на боку. Плыл и чувствовал, что с берега продолжают следить за ним.

Ребята на самом деле все время наблюдали за Гришей, и, когда он вышел на берег, один из них крикнул:

— Эй, друг! Ты здóрово плаваешь.

— Да так,— очень польщенный, скромно сказал Гриша, нехотя пожав плечами.— Как все.

— Ты, наверное, где-нибудь занимаешься по плаванию?

— Нет.— Гриша взял брюки, рубашку, сандалии, подошел поближе к ребятам и, расстелив по их примеру одежду, чтобы не колола скошенная трава, с удовольствием развалился, подставив солнцу спину, подперев голову кулаками и задрав пятки.

— В гости к кому-нибудь приехал? — допытывался тот парень, который только что похвалил Гришу.

— Нет.

— Дачник?

— Да нет, мы вчера переехали сюда совсем из Москвы, с Рабочей улицы, может, знаешь?

— Это где?

— За Курским вокзалом.

— Я там никогда не бывал... А где ваша дача?

— Да она, собственно, не наша. Мать замуж вышла... Брызгалов его фамилия, а дача на Перевальной улице, дом такой коричневый.

— Это та, у которой забор, как в концлагере, что ли?

— Не знаю. По-моему, забор как забор. Как у всех.

— А ты вглядись.

— Ладно.

— Я их знаю,— вмешался другой парень.— Там старуха с сыном живет, правильно? — спросил он у Гриши и, когда тот кивнул головой, продолжал: — Они жадные как черти! В прошлом году нам два куста смородины продали. Отец деньги им честь по чести уплатил, а кусты оказались старые, они их все равно выбрасывать хотели.

— Я их тоже знаю,— вмешался в разговор третий.— Ихняя старуха одним дачникам курицу подыхающую всучила. Те ее ощипали, а она синяя.

— Ну и попал ты, друг, в семейку, если так,— заговорил первый.— Смотри не поддавайся, а то они быстро тебя

к рукам приберут. Оглянуться не успеешь. Ты комсомолец?

— Да.

— В какой класс перешел?

— В девятый.

— У нас будешь учиться?

— Придется, конечно.— Гриша, разговаривая с ребятами, думал: «Посмотреть забор, «как в концлагере»... Посмотреть забор. Да нет, они, наверное, путают. Забор как забор. Я ведь ничего не заметил. Надо все-таки проверить. А в общем-то наплевать. Мне-то какое дело? Но ведь я теперь тоже там живу. Надо посмотреть».

— Ты не обиделся? — спрашивали его.

— Нет, почему...

— А то другие обижаются за родственников.

— Если правда, я никогда не обижаюсь. Глупо обижаться, если правда.

Скоро ребята заговорили о каком-то Кольке, вывихнувшем во время игры в волейбол руку, как ему вправляли ее в поселковой поликлинике, а Гриша, попрощавшись с ними, поспешил домой. Ему не терпелось поскорее проверить, как выглядит забор.

А забор на первый взгляд ничем не отличался от других заборов. Только, быть может, был повыше и поплотнее, чем все.

Но потом, приглядевшись к нему, Гриша понял, в чем дело, и это поразило его: по самому верху забора были прибиты рейки в виде буквы «Г», обращенные острием внутрь участка, и по ним в три ряда натянута колючая проволока.

Эту проволоку трудно было заметить сразу: так искусно маскировали ее ветки, нависающие над забором. Да, именно так были устроены ограды в фашистских концлагерях. Гриша видел их в кинофильмах.

На крыльце его встретила старуха, уже вернувшаяся из Москвы. Вид у нее был такой приветливо-медоточивый, словно она давно уже с нетерпением поджидала Гришу.

— Нагулялся? — спросила она, растянув в улыбке тонкие, злые губы и в умилении склонив голову набок.— Вот и хорошо.— Она все улыбалась, но глаза ее, светлые и чуть выпученные, смотрели на Гришу пронзительно и недобро.— Пойди-ка принеси воды корове. Шесть ведер.— И, не дожидаясь ответа, круто повернувшись, махнув подолом широкой юбки, ушла в дом.

Так кончилась у Гриши беззаботная мальчишеская жизнь и начались, по словам старухи, обязанности по дому. Он отливал яблони, таскал корове и поросенку воду, чистил хлев, поливал овощи, цветы, и конца этим обязанностям, как он скоро понял, не предвиделось. Старуха, казалось, только и была теперь озабочена тем, как бы парень не остался без дела. А дни, словно назло, стояли сухие, жаркие, безоблачные, в огороде все горело. Гриша даже мозоли натер на ладонях ведерными дужками. Но труднее всего было чистить вонючую поросячью клеть. Его всякий раз тошнило, он никак не мог привыкнуть к удушающе едкому запаху. За коровой убирал хоть бы что, а за свиньей не мог. Каждый день говорил себе, что должен привыкнуть — люди по тысяче голов выращивают, но это не помогало. И, когда он опять скреб мокрый пол, его рвало. И он скоро люто возненавидел свинью, это жирное существо с хитрыми, все понимающими и как бы издевающимися над Гришей глазками.

Работы, впрочем, хватало всем. Сама старуха чуть не каждый день ездила в Москву то с цветами, то с редиской, то с клубникой, а хозяйством занималась мать. Кормила кур, корову, поросенка, разносила по дачникам молоко, продавала им яички, и все это было в радость ей. Она за это время загорела, окрепла, огрубела и в то же время помолодела лицом, да так, что даже Гриша заметил это и удивился. В светлом, выгоревшем сарафанчике и косынке, чудом державшейся на пышных, завитых еще к свадьбе волосах, она носилась из дома в огород, из огорода в курятник, напевая про себя всякие песенки. Это тоже было для Гриши новостью. В Москве, на Рабочей, она редко пела, особенно после того, как умер Гришин отец.

По вечерам на веранде пили чай с молоком, это у старухи называлось посидеть по-семейному, тихо-мирно отдохнуть, поговорить. Чай пили не спеша, с удовольствием, долго и много, и мать, быстро привыкшая к этому, и старуха с озабоченными лицами подсчитывали между тем, сколько выручили за продажу, обсуждали, что сейчас выгоднее возить в Москву, а что продавать в поселке дачникам. А Гриша ни к долгому чаепитию, ни к разговорам о базаре и выручке привыкнуть не мог и быстро уходил на крыльцо, где, сидя на ступеньках, привалившись плечом к перилам, слушал вечерние звуки засыпающего поселка.

С каждым днем все больше и больше поспевало клубники. Это и радовало женщин из брызгаловского дома, поскольку отвозили ее на базар целыми корзинами, и огорчало, так как клубника катастрофически дешевела.

Но вот поспели огурцы. Собирали их и подкапывали картошку, про которую старуха сказала, что «она сейчас тоже, матушка, в хорошей цене», втроем, поднявшись для этого в пять часов, чтобы пораньше поспеть на базар.

На дворе было свежо, росисто, все покрыто длинными косыми тенями, и Гриша, сперва еле передвигавший спросонья ноги, скоро почувствовал себя бодрым, сильным, ловким и счастливым.

Да, это было истинное наслаждение — сидя на корточках, разгребать руками мокрые, шершавые листья, находить прячущиеся под ними огурцы, то гладкие, то в мелких пупырышках, на ощупь схожие с рашпилем, отрывать их от плетей, укладывать в корзину!..

Корзины, наполненные огурцами и картошкой, оказались тяжелыми. Тяжелее ведер с водой. Старуха с сомнением потрогала одну, попянчила в жилистой, смуглой руке другую и вопросительно посмотрела на Гришину мать.

— Тяжело? — с сочувствием спросила та.

— И не донести, поди.

— Как же быть?

— Сама не знаю.— Старуха, как показалось Грише, очень разочаровалась.— А уж раз набрали, надо везти.— Она опять потрогала корзины, сделала с ними несколько шагов и, ставя на тропку, огорченно проговорила: — Нет, не донести.

Грише было совершенно безразлично, тяжело старухе или легко. Даже лучше, если тяжело, думал он, и все это очень просто устроить. Надо только отсыпать огурцов, картошки, и ноша сразу станет легче. Его удивляло, почему они сами не догадываются об этом. А картошку можно сварить, это такое лакомство — свежая горячая картошка, да еще с огурцами! Огурец разрезать, посолить, он тут же покроется каплями влаги, словно вспотеет, и соль мгновенно растворится в этом огуречном поту.

Но картошку, к сожалению, варили все еще прошлогоднюю, проросшую голубыми усами.

— Григорий, тебе говорят! Ты заснул, что ли? — услышал он недовольный и властный голос матери.

— А что? — встрепенулся Гриша.

— Я тебе второй раз говорю: переодень рубашку да

поезжай с бабушкой на базар, помоги ей. Видишь, как много всего.

— Поедем-ка, парень, поедем,— оживленно сказала старуха.— Привыкай деньги зашибать. Глядишь, и один когда сможешь съездить. Не все мне кожилиться. Премудрость будет не из великих.

— Ладно, что же,— охотно сказал Гриша и пошел переодеваться.

Неожиданная поездка в Москву, по которой он соскучился, обрадовала его. Всего лишь две недели прошло с тех пор, как уехали они из Москвы, но Грише казалось, что он не был там целую вечность. Он быстро переоделся, взвалил корзину с картошкой на плечи и поспешил вслед за старухой, шагавшей так деловито и скоро, что со спины можно было подумать, будто это идет не старуха, а переодетый мужчина.

Сейчас, утром, по главной поселковой улице имени Карла Маркса люди шли только в одну сторону — к станции. Они шли и по боковым асфальтированным дорожкам, и посреди улицы, по булыжной мостовой, стекаясь сюда со всех сторон. И чем ближе к станции, тем многолюднее становилось вокруг. Пешеходов обгоняли мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили. У машин были опущены боковые стекла, и их владельцы катили на работу, кто небрежно развалясь на сиденье, а кто с таким напряжением вцепившись в руль, словно боялся вывалиться из машины, которая могла укатить одна, без него, своего властелина.

Гриша уже знал, что к вечеру повторится то же самое передвижение, только в ином, обратном направлении. И машины, и мотороллеры, и мотоциклы, и пешеходы будут двигаться со стороны станции в глубь поселка, по мере удаления от железной дороги, постепенно растекаясь по боковым улицам.

Купили на станции билеты и едва втиснулись со своими корзинами в переполненный вагон электрички. Ехали в тамбуре, прижатые в угол. Поезд, к счастью, был дальний и от Хорькова до Москвы делал всего две остановки. Он летел весело, завывая сиреной, мимо дачных поселков, людных станционных платформ, переездов с опущенными полосатыми шлагбаумами, сторожихами с желтыми палочками в руках, очередями автомобилей, уткнувшимися в шлагбаум: летел, шально качаясь, подрагивая на стыках. В переполненных вагонах постепенно утряслось, и оказа-

лось еще много свободного места — и в проходе вдоль скамеек, и между скамейками, и в тамбуре.

Гриша, первое время упиравшийся руками в стену и чувствовавший, как корзина с картошкой нестерпимо режет ему ноги, отступил наконец от стены и огляделся.

Возле противоположной двери — стайка девушек: все с модными прическами, похожими на осиные гнезда, в широких и коротких, сшитых тоже по моде, не то из драпа, не то из пледов, юбках, но в прозрачных кофточках из нейлона. Обсуждали, судя по их сосредоточенным лицам, нечто очень важное. «Он подходит ко мне и берет за руку. Можете себе представить?» — говорила одна из них, а остальные смотрели на нее такими выразительными глазами, что было ясно: они ничего подобного представить себе не могут. Старичок в берете, с толстым, бог весть чем набитым портфелем в руке; трое мужчин, горячо обсуждающих последние футбольные игры; полная, нарядная женщина с девочкой; парень в клетчатой рубашке навыпуск, но не в узкой и короткой, а в широкой и длинной, похожей на колокол. Рукава закатаны по локоть, загорелые руки крепки, мускулисты. Парень вытащил из кармана пачку сигарет, тряхнул ее перед своим лицом и ловко поймал выскочившую из пачки сигарету губами. Когда он зажигал спичку, Гриша заметил, что пальцы его были в ссадинах, с въевшейся возле ногтей металлической пылью.

— А курить-то можно бы и подождать,— недовольно сказала старуха, отмахиваясь от дыма, выпущенного парнем в ее сторону.

— Почему же? — спросил парень и с любопытством оглядел старуху.

Он стоял, привалившись плечом к двери, одно из стекол которой было выбито, и дым от сигареты тянуло туда, словно в вентиляционную трубу.

— А потому, что читай вон,— старуха указала глазами на стенку,— по-русски написано: «Курить и сорить воспрещается».

— Многое чего воспрещается и не воспрещается,— невозмутимо сказал парень и посмотрел на корзину, обвязанную мешковиной и стоявшую возле старухи.— Вот ты, например, чего везешь?

— А тебе что? — огрызнулась старуха.

— Небось на рынок двинулась? Картошечки, огурчиков...

— А хоть бы и так! Свое везу, не краденое.

— Зато деньги не свои обратно повезешь. Люди их пóтом зарабатывают, а ты...

— А что я? Ты поди-ка покопайся в земле, покланяйся ей, пока вырастишь чего.

«Это верно,— подумал Гриша, прислушиваясь к перебранке.— Я могу подтвердить — накланяешься».

— Излишки никому не запрещено продавать,— продолжала меж тем старуха.

— Верно,— подтвердил парень.— Только ты их втридорога продашь. Ты бы вот, если у тебя излишки, угостила бы ими кого-нибудь бесплатно, по сознательности.

— Не доросла я еще до такой сознательности, чтобы даром на чужих людей работать! — не сдавалась старуха.

— Это и видно.

— Я говорю: для того и рынки существуют, чтобы торговать.

— Они, между прочим, называются колхозными,— сказал парень, ловко, щелчком, выстрелив окурком в окно.— Ты обратила на это внимание? Колхозные! — Он поднял вверх указательный палец.— Значит, для колхозников, а не для живодеров.

Долго бы еще, вероятно, обменивались они столь любезными репликами, но поезд наконец подошел под крытые платформы московского вокзала, двери с шипением распахнулись, старуха подхватила корзину и вышла вслед за парнем, первым легко выпрыгнувшим из вагона.

«Излишки...— думал Гриша, проталкиваясь вслед за старухой в толпе, запрудившей платформу, и стараясь не выпускать ее из виду.— Излишки,— это когда для себя много, а какие же это излишки, если мы сами еще ни одного огурца не съели?»

А Москва была по-прежнему затянута сизой дымкой, пропитанной запахом бензина, многолюдна, шумна, тороплива, бойка, какою и может быть только Москва, где все в беспрестанном движении в такой деловитой, веселой спешке, когда и тебе неудобно отставать от других, и ты невольно и совершенно незаметно для себя включаешься в ее беспокойный ритм, стоит лишь оказаться на одной из ее улиц. Так случилось и с Гришей, когда они со старухой вышли за черту вокзала. Он сразу же почувствовал себя тем самым беспечным, не связанным никакими обязанностями московским Гришей.

Спустя полчаса они уже были на рынке.

Здесь сразу же, от самых ворот, таких неимоверно ши-

роких, какими и должны быть рыночные ворота, распахнутые настежь, начиналась совсем иная, чем на улице, жизнь. Даже гул стоял свой, рыночный, особый гул потревоженного улья. Самые завзятые москвичи чувствовали себя здесь совершенно иначе и, вынужденные подчиниться ритму базара, никуда уже, казалось, не спешили. Запахи огородов, полей, садов, амбаров, молочных и животноводческих ферм были здесь настолько густы и сильны, что над базаром стоял свой, отличный от улиц, воздух.

Около ворот торговали семенами, рассадой, гладиолусами, фикусами, геранью, мочалками, вешалками, васильками, полевой ромашкой. Покупателей тут было сравнительно мало. Основная масса домохозяек, свободных от работы глав семейств, пенсионеров, оторванных хозяйственными делами от сосредоточенных игр, с кошелками, сумками, авоськами, бидонами и стеклянными банками в руках устремлялась к крытым рядам, где торговали молоком, сметаной, творогом, маслом, салом, говядиной, бараниной, свининой, дикой и домашней птицей. Но теснее, многолюднее, голосистее и ярче было все же возле тех длинных столов, на которых лежали груды картофеля, редиса, моркови, огурцов, лука, репы, чеснока, клубники и прочих, взращенных в садах и огородах даров земли. Пахло здесь сильнее всего укропом и петрушкой. За столами, около весов, стояли торговки в белых фартуках, молодые и старые, красивые и некрасивые, но все с загорелыми, огрубевшими под щедрым деревенским солнцем, обветренными лицами. Это были колхозницы, хозяйки базара. Но внимательный взгляд мог бы, не особенно утруждаясь, различить среди них женщин и другого типа. Они не так обожжены солнцем, белотелы, иные даже с накрашенными губами и все более бойки, расторопны и дерзки на язык. На слово они ответят вам целым потоком насмешек и колкостей, за ответом в карман не лезут. Это так называемые перекупщицы, то есть самые обыкновенные городские жительницы, сделавшие своим ремеслом спекуляцию перекупленными у колхозников товарами. Они-то и являются хотя и не официальными, но полновластными хозяйками рынка, так как именно они и устанавливают здесь все цены.

За одним из таких столов, занятых официальными и неофициальными хозяйками базара, нашли себе место и старуха с Гришей. Старуха, оставив корзины на попечение Гриши, тут же куда-то ушла и скоро вернулась, неся весы и два фартука, один из которых и протянула Грише.

— На-ка, облачись.

— Зачем же...— попробовал было возразить Гриша, принимая, однако, фартук из рук старухи.

— Так полагается,— сказала та.

Гриша надел фартук, завязал на спине тесемки и покраснел. Раньше он бывал на рынке лишь как покупатель, даже любил приходить сюда и толкаться в этом шумном, многоголосом и ярком обществе, теперь же, оказавшись в новой и непривычной для него роли торговца, смутился и не знал, как держать себя. Ему было так же неловко, как неловко было однажды на сцене клуба имени Семашко, где он единственный за всю свою жизнь раз выступал в школьной самодеятельности перед переполненным людьми залом — читал стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий». Однако там было только неловко, неуклюже под пристальными взглядами смотрящих на него из зала людей, здесь же, за торговым столом, к этой неловкости примешивалось еще и нечто другое, дополнявшее и усиливавшее ее. Дело в том, что Гриша стыдился быть в роли торговца. Нет, не вообще торговца, а такого торговца, каким он был сейчас. Если бы ему поручили продать что-нибудь государственное, как, например, продают в магазинах, или колхозное, он бы, пожалуй, не ощутил никакого стыда. Так делают все, так принято, так нужно, однако сейчас ему было стыдно оттого, что он продает свое, то есть то, чего не следовало бы, по его понятию, продавать. Да, он был согласен с тем парнем из вагона, и лучше было бы все это отдать кому-нибудь бесплатно или съесть самим.

— Вот смотри-ка,— говорила ему меж тем старуха,— на том конце соседнего стола, видишь? — стоит такая маленькая полненькая блондинка, видишь?

— Вижу,— сказал Гриша.

— Поди-ка сходи к ней и спроси: Наталья Викторовна, мол, хорьковская бабушка спрашивает, какая нынче цена будет на свежие огурцы и скороспелку. Поди-ка...— И с этими словами она легонько подтолкнула Гришу в спину.

— Но...

— Иди, иди,— сказала она и, еще раз, но уже сильнее подтолкнув его, принялась распаковывать корзины.

Цена на свежие огурцы и на картошку-скороспелку оказалась такой, что старуха оживилась, повеселела и, не обращая никакого внимания на неловко топтавшегося возле нее Гришу, стала покрикивать:

— Вот картошечка, свеженькая картошечка! Огурчики с грядочки, свеженькие, роса еще не высохла!

А жизнь рынка меж тем текла своим чередом. Толпа покупателей, толкаясь, двигалась вдоль рядов, люди останавливались, спрашивали, сколько стоит. Старуха бойко, наигранно-льстиво, Гриша — смущенно, чуть не шепотом, называли цену.

— Дорого,— говорили им.

Гриша с растерянной улыбкой пожимал плечами.

— Дорого да мило,— отвечала как ни в чем не бывало старуха.

Покупали понемногу, по огурчику, по два, говорили при этом, как бы извиняясь: «Ребятишкам», «Больному».

Старуха все эти слова пропускала мимо ушей, а Гриша думал, что, будь это в его власти, он бы отдал больному и ребятишкам все огурцы даром.

Как-то одна из покупательниц, услышав цену, бросила с укоризной:

— Спекулянты вы чертовы!

Старуха засмеялась вслед ей, засмеялась и ее соседка — разбитная молодая бабенка с накрашенными, но грязными ногтями, торговавшая репчатым луком, завезенным сюда, по всей видимости, издалека и перекупленным ею, а Гриша почувствовал себя от этих слов так, будто его по щекам отхлестали.

— Ведь верно дорого,— проговорил он, обращаясь к старухе.

— А ты помалкивай, помощничек,— все еще смеясь, ответила старуха,— Свое продаю, не краденое. А за свое что хочу, то и ворочу. Слышишь?

Но Гриша уже не слышал ее. В толпе вдоль соседнего ряда, так близко от него, что вдруг от холода замерло и потом заколотилось сердце, прошла Лиза Прямкова с матерью. Округлив глаза, вытянув шею, он следил за ними. Казалось, еще мгновение, и Лиза оглянется, увидит его, стоящего у всех на виду, заметного отовсюду, и тогда произойдет нечто столь позорное, от чего никогда потом за всю жизнь не избавиться ему.

Но Лиза не оглянулась, и скоро, совсем смешавшись с толпою, они с матерью исчезли из виду. Гриша уже с облегчением было вздохнул, как в его голове пронеслась ужасная догадка, что Прямковы, дойдя до конца рядов, могут повернуть обратно, пойти как раз вдоль того стола, за которым стоит Гриша, и тогда... «Они увидят меня,—

с лихорадочной поспешностью думал он,— сразу поймут, зачем я приехал сюда, почему стою здесь в этом фартуке. Что же мне делать, куда мне деваться?»

Как же случилось, что он, комсомолец, вдруг оказался в одной компании со старухой, с этой развязной бабенкой с накрашенными грязными ногтями? Бежать! Немедленно бежать отсюда, пока еще ничего не случилось, ничего не произошло, пока Прямковы не увидели его в фартуке возле этих чертовых корзин!

— Я поеду домой,— заявил он старухе, торопливо развязывая тесемки фартука.— Дайте мне мой билет.

— Рано еще,— ничего не понимая, ответила старуха.

— Дайте сюда немедленно билет,— раздельно и решительно проговорил Гриша.

Он уже перебрался на другую сторону стола и швырнул на него смятый в комок фартук. Как только он сделал это, ему стало легче, свободнее, исчезли и стыд и неловкость, стол как бы мгновенно и надежно отделил его от торговок и сделал равным с теми, что, прицениваясь, толпились возле стола. Вид у него, вероятно, был таким грозным и необычным для старухи, что она, ни слова больше не говоря, вытащила из кармана кофты билет и подала Грише. Гриша схватил его, крепко сжал в кулаке и, расталкивая людей, опрометью бросился к выходу.

Только за воротами он отдышался и вспомнил, что у него нет ни копейки денег, чтобы добраться до вокзала.

— А, наплевать,— как-то отчаянно-весело, нисколько не сожалея об этом, вслух молвил Гриша и, махнув рукою с той же лихой отчаянностью, пошел на вокзал пешком.

Он шел по шумным, залитым солнцем улицам, еще сильнее, чем утром, пахнущим бензином, к чему теперь еще примешивался запах разогретого асфальта, с тем легким, бодрым чувством, какое бывает у человека, раз и навсегда отделавшегося от большого, опутавшего было его несчастья. Шел той бодрой, радостной походкой, какая бывает у человека, сбросившего с плеч долго, нудно и неприятно давившую на них тяжесть. Шел, беспечно сунув руки в карманы брюк, уже убежденный в том, что подобного с ним никогда не случится больше. Шел и улыбался и насвистывал, ужасно довольный собою и тем, что все теперь у него будет иначе. Как иначе, он не знал, но о том, что все теперь будет иначе и хорошо, знал твердо.

Дома на веранде мать с отчимом, только что вернувшимся из поездки, перебирали абрикосы и персики. Отчим

привез с юга для продажи в Москве два больших чемодана фруктов.

— Уже расторговались! — воскликнул он, увидев вошедшего Гришу.

— А где бабушка? — спросила мать.

— На базаре,— сказал Гриша, садясь за стол и чувствуя, что вот это иное в его жизни уже начинается.

— А что же ты? Заболел? — Мать с подозрением глядела на него.

— А я торговать не буду! Я вам сейчас все скажу, что думаю.— Он был решителен и взволнован.

— Ну-ка, ну-ка, интересно послушать,— проговорил отчим.

— На базар я ездить не буду,— сказал Гриша.— Там нас спекулянтами назвали.

— А тебя убудет от этого? — спросил отчим.— Мало ли несознательных.

— Это мы несознательные, втридорога продаем,— возразил Гриша.— И вообще рынок существует для колхозников, чтобы они продавали свои излишки, а не для живодеров.

— Как, как? — сурово спросил отчим.

— Да ты что, белены объелся?— встревоженно вскрикнула мать.

Гриша сидел, напряженно выпрямившись, положив до боли в пальцах сжатые кулаки на стол, заваленный абрикосами и персиками.

— Это тоже для спекуляции? — спросил он, кивнув на груды фруктов.

— Черт знает что,— проговорил отчим.

Они с матерью стояли по другую сторону стола, словно экзаменаторы.

«Все равно!» — весело и отчаянно, как тогда, когда он шел по московским улицам, пронеслось в голове Гриши.

— И ваш свиной хлев я чистить не буду,— заявил он.— Так и знайте, я вам не батрак. И огород поливать тоже.

— Опомнись, Григорий! — вскричала мать.— Подумай, что ты говоришь!

Гриша укоризненно взглянул на нее, ничего не ответив.

— Что же ты намерен делать? — спросил отчим сурово, но пока еще сдержанно.

— Ничего.

— А у нас, знаешь ли, такое правило: кто не работает, тот и не ест. Знаешь такое правило?

— Ну и ладно,— сказал Гриша.— Знаю.

— Да нет, нет,— беспокойно и просительно глядя то на мужа, то на Гришу, проговорила мать.— Он сам не знает, что говорит. Ты понимаешь, что ты говоришь?

— У вас все только для спекуляции,— продолжал Гриша, не слушая ее.— Только чтоб денег нажить, людей околпачить. Вы даже старые кусты смородины, которые нужно выбросить, продали. Даже дохлую курицу. Вас за людей здесь не считают.

— Откуда это тебе известно? — спросил отчим, закуривая.

Он, казалось, был спокоен, однако по тому, как, прежде чем закурить, поломал несколько спичек, было видно, что едва сдерживает себя.

Но Грише теперь уже было все равно. И он сказал:

— Это не только мне, а всему поселку известно. Вы даже забор вон какой сделали...

— Какой? — Отчим с ненавистью глядел на него.

— Как в концлагере,— нерадостно усмехнулся Гриша.

— А ты бы хотел, чтобы все яблони пообломали?

— Никому не нужны ваши яблони.

— В общем, хватит, помитинговали! — оборвал его отчим.

— Хватит так хватит, я все сказал.

— Гриша, Гриша,— со слезами на глазах огорченно проговорила мать.— Ты весь в отца, непутевый.

— Отца не трогайте! — вскричал Гриша.— Он был честным человеком, он был коммунистом, он на фронте был, он...

— Цыц! — взревел окончательно взбешенный отчим и стукнул кулаком по столу.— Не забывай, в чьем доме ты находишься, чей хлеб ешь, критик несчастный! — И, помолчав, несколько успокоясь, жестко добавил: — Можешь не работать.

— Да, я не буду на вас работать.

— Но к молоку не прикасайся.

— Хорошо.— Гриша был бледен.— Вы его сами только с чаем пьете.

— И ни одной ягоды, ни одной смородины...

— Хорошо. Вы их сами не едите.

— А теперь пошел вон, не мешай нам заниматься делом.

— Ладно, занимайтесь.— Гриша поднялся из-за стола и направился к лестнице, ведущей на чердак, в свою комнату.

Он лег на топчан и, подложив руки под голову, стиснув зубы, уставился немигающими глазами в потолок.

Желтый дощатый потолок был в щелях и сучках, с золотистыми от ржавчины шляпками гвоздей. Гриша начал считать гвозди, досчитал до семнадцати, сбился, принялся считать доски и тоже сбился. Он чувствовал себя очень одиноким, и это было до слез печально. Он понимал: с ним сейчас произошло такое значительное, большое и важное, что нужно было кому-то непременно рассказать о том, почему и как все это случилось, найти себе единомышленника и услышать от него слова одобрения. Ах, если бы кто-нибудь сейчас терпеливо выслушал его и сказал, что он прав! Тут Гриша мысленно перенесся к себе на Рабочую, в свой тесно населенный, шумный старый дом. Какая все-таки была глубокая разница — тот дом и этот, те люди и эти! Он представил бабушку и дедушку Самохиных, Матрену Осиповну, Петра Петровича, Лизу Прямкову... «Видела или не видела она меня на базаре? — вдруг с беспокойством подумал он.— Они ведь прошли так близко! Неужели она лишь сделала вид, что не заметила меня, а на самом деле видела, как я стоял в фартуке возле старухи, все поняла и из-за презрения не стала разговаривать со мной? Нет, если бы она увидела, то подошла бы и заговорила или хотя бы поздоровалась на ходу. Но если она все-таки видела и прошла, отвернувшись от меня?»

Беспокойство, смешанное с нетерпением, все сильнее и сильнее охватывало его.

«А не поехать ли мне сейчас, немедленно, туда, на Рабочую? — думал он минуту спустя.— Ведь все сразу же выяснится: и про базар, и про то, прав я или не прав, что все высказал отчиму». Он подумал, что отец Лизы Прямковой может работать в ночную смену и сейчас быть дома, и, если рассказать ему обо всем, он сразу разберется, что к чему. В самом деле, не поехать ли ему сейчас, не мешкая ни минуты, туда, на Рабочую?

На лестнице послышались шаги, заскрипели ступеньки. Кто-то поднимался к нему. Он лежал не шевелясь, уставясь в потолок все тем же неподвижным, отсутствующим взглядом.

Отворилась дверь, и вошла мать, поставила на стол кружку молока, прикрытую горбушкой черного хлеба.

Гриша, скосив глаза, невольно проглотил вдруг наполнившую рот слюну, только теперь ощутив, как он голоден.

Мать села рядом с ним на топчан и устало, примирительно сказала:

— Поешь.

— Не хочу.— Гриша даже не шевельнулся.

— Ты же со вчерашнего дня ничего не ел.

— Ну и ладно,— упрямо и холодно проговорил он.

Помолчали.

— Зачем ты так, Гриша, обидел его? — заговорила мать.— Он хороший, он старается для дома, и бабушка тоже, все работают не покладая рук.

— А для чего? — горячо спросил Гриша, повернувшись на бок и опершись локтем о подушку.— Корова, свинья, куры, огород, сад, эти несчастные персики — для чего? Чтобы нажиться, продать втридорога? Как можно после этого людям в глаза смотреть? Ты понимаешь это?

— Каждый живет по-своему.

— Я не хочу так жить. Не буду, так и знай! Вон люди как говорят про них, ты послушала бы.

— Это из зависти.

— Ах, ничего ты не понимаешь! — с тоскою и огорчением проговорил Гриша, откинувшись на подушку и опять подложив под голову руки.

Разговор не клеился.

— Не обижай хоть меня,— после некоторого молчания просительно сказала мать.

— Я тебя не обижаю,— глухо отозвался Гриша, глядя в потолок.

— Можно бы хорошо жить, дружно, всем вместе, одной семьей. Смотри, сколько всего, душа радуется.

Он настойчиво повторил:

— Я не хочу так жить! Ведь все у нас было по-другому. Зачем мы уехали с Рабочей? Для чего нам все это?

Мать лишь вздохнула в ответ. Она сидела на краешке топчана, совсем рядом с ним, но что-то уже отделяло их, что-то прочно легло меж ними.

— Как же нам жить, если и дальше так будет? — заговорила она как бы сама с собой.— Не знаю, не знаю.

— Пусть он не думает, что я буду жить за его счет,— проговорил Гриша.— Я пойду работать.— Эта мысль возникла у него только что, и он обрадовался ей.— Да, работать,— оживленно повторил он, вновь поворачиваясь на бок и приподнимаясь на локте.

— Ну что же,— отозвалась мать.— Смотри. Ты уже большой.

Она поднялась, постояла среди комнаты.

— Дай мне рубль,— сказал Гриша, садясь на топчане.

— Зачем?

— Поеду в Москву.

— Хорошо.— Мать вынула из кармана платья кошелек, отсчитала деньги.

«Одна мелочь»,— подумал Гриша, глядя, как она считает их.

— Ты поешь,— проговорила мать, передавая ему деньги.

— Ладно, хлеб я съем, а молоко можешь взять. Пить я ихнее молоко не буду.

— Он же погорячился, ты пойми. Ведь у него тоже нервы.

— Все равно. Обойдусь без молока.

— Как знаешь,—вновь печально вздохнув, сказала мать и вышла тихо, как бы нехотя притворив за собою дверь.

Так же тихо и словно бы нехотя сошла она по лестнице. Гриша подождал, пока не смолкли ее шаги и скрип ступенек. Сунув деньги в карман, он взял краюху хлеба и принялся есть. Хлеб был свежий, мягкий, от него хорошо, тепло пахло печью, корка похрустывала на зубах. Гриша ел с удовольствием, болтал свешенными с топчана ногами и нет-нет да и поглядывал с вожделением на кружку с молоком. Когда же была съедена половина краюхи, он наконец не вынес искушения и, оправдывая себя, нарочито бодрым и беспечным голосом проговорил:

— А, наплевать! Последний раз. В конце концов я честно заработал молоко.— После этого, уже с облегчением взяв в руки кружку, стал с удовольствием запивать молоком остатки хлеба, который сделался вдруг еще вкуснее.

В доме на Рабочей, куда приехал некоторое время спустя Гриша, шла своя обычная, ни в чем не изменившаяся жизнь. Первое, что услышал Гриша, входя во двор, был стук сапожного молотка и бодрый голос дедушки Самохина. На этот раз дедушка исполнял «Подмосковные вечера».

— «Что ж ты, милая, смотришь искоса...» — пел он.

А на лавочке сидела бабушка, словно она и не уходила с тех самых пор, когда Гриша помогал отчиму грузить в автомашину вещи.

Увидев Гришу, бабушка заулыбалась, обрадованно за-

кивала ему головой и даже подвинулась, как бы уступая ему подле себя место, хотя места подле нее и без этого хватило бы человек на десять: скамейка была большая, а бабушка, по обыкновению, сидела на ней одна.

Во дворе было жарко и тихо. Ребятишек развезли по пионерским лагерям и детским садам, взрослые все были на работе, стол под тополем пустовал.

Гриша поздоровался с бабушкой за руку, и это вышло у них как-то неловко, оба смутились при этом, так как здоровались за руку друг с другом впервые. Посидели молча, словно привыкая один к другому.

— Сережа еще не приехал? — спросил Гриша про сына Раздоровых.

— Нет еще,— ответила бабушка.— Со дня на день ждут. А комнату вашу отделали ему так, что и не узнать. Зашел бы посмотрел. Матрена-то дома.

— Да нет, зачем,— сказал Гриша. Все это нисколько не интересовало его сейчас.— Прямковы дома?

Вот что было важно: Прямковы. Лиза и ее отец. Но Гриша не подал вида и спросил об этом тоже как бы между прочим, от нечего делать, невзначай.

— Вона! — всплеснула руками бабушка.— Хватился. Они ведь уехали отсюда, им новую квартиру дали. Две комнаты отдельные, кухня там и все такое. На днях и переехали.

«Уехали!» — чуть не вскрикнул с разочарованием Гриша и тут же вспомнил, что разговор об этом шел давно, что Прямковы давно ждали новую квартиру. Но как же случилось, что именно сейчас, когда они так нужны, необходимы ему, Прямковы покинули дом на Рабочей улице?

— Куда же они уехали? — огорченно, в смятении спросил он упавшим голосом.

— А я и не знаю,— отозвалась бабушка, не обратив никакого внимания на ту перемену, что случилась вдруг с Гришей.— Не то в Измайлово, не то в Юго-Запад, не то еще куда. Ну вот,— продолжала бабушка, очень довольная тем, что у нее нашелся собеседник.— Так мы и живем. Дед у нас, видишь ты,— кивнула она на распахнутое окошко своей комнаты,— песни все распевает день-деньской и все норовит про любовь, и жара ему нипочем.

Гриша безучастно слушал ее.

По дороге сюда, пока ехал в поезде, потом в метро, потом на троллейбусе, он многое успел передумать и непреклонно решить для себя. Теперь ему уже было совершен-

но ясно, что учиться дальше он не станет, а пойдет работать, чтобы не быть у отчима и матери обузой, чтобы его не могли упрекнуть в том, что ест чужой хлеб. Так же твердо было решено рассказать Лизе Прямковой про базар все как было. Даже если бы выяснилось, что она не видела его там. И про забор, и про то, как он поступил, и что решил делать дальше. И все это можно было высказать, как казалось ему, только Прямковым. Особенно Лизе.

Но Прямковых уже не было.

— Ну, а вы как? — спросила у него бабушка.

— Ничего,— уклончиво ответил он.

— Мать как?

— Ничего. Хозяйством занимается.

— Нравится тебе там?

— Ничего.

— Что это ты заладил: ничего да ничего, будто и слов других нет у тебя,— обиженно сказала бабушка.— Или что-нибудь не так?

— Нет, почему же,— пожал плечами Гриша и вдруг спросил:— Каждый по-своему живет, правда?

— Это верно. Значит, вы там по-своему живете?

— По-своему.

— Не так, как мы?

— Не так.

— Где же лучше?

— Здесь.

— Вот как. Не повезло, видать, тебе? — пытливо вглядываясь в него, спросила бабушка.

— Маме нравится.— Он опять уклонился от прямого ответа, хотя его так и тянуло высказать всю правду, все, что наболело на душе.

— Стало быть, комнату вы зря отдали, поторопились,— как бы отгадав все его мысли, сказала бабушка.— Вот бы она и пригодилась теперь тебе. Так я говорю?

— Так.

— Ах ты, батюшки, заболталась я совсем, старая,— спохватилась она, поднимаясь.— Время ведь кустаря моего обедом кормить. Пойдем-ка, я тебя свежими щами со свининой угощу. Такие они наваристые у меня да важные! — Она взяла Гришу за руку и, не обращая внимания на его заверение, будто он уже обедал и ничего не хочет, повела за собою в дом.

А в доме, как всегда, все двери были распахнуты настежь.

Часть третья

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

АЛЬФРЕД КОЛОТУШКИН, БРИГАДА ЛАПШИНА, ПАВЛИК КУДРЯВЦЕВ И МОРГУНОВ

И вот все свершилось: Гриша поступил работать на завод и, как ему хотелось, стал самостоятельным, ни от кого не зависимым человеком.

Жил он по-прежнему в светелке под крышей. На веранде и в нижних комнатах появлялся редко. Старуха и отчим вели себя с ним так, будто его и не существовало. Они были не только жадны, корыстолюбивы, но и жестоки. Впрочем, всякий обыватель в равной мере склонен и к стяжательству и к жестокости, тем более что старуха с отчимом не могли простить Грише того, что он отказался принять их образ жизни и, таким образом, сделаться их сообщником. Они мстили Грише, как могли. С матерью же он был в тех странных натянутых, но ласковых отношениях, когда близкие люди, ясно ощущающие, что общности их интересов пришел конец, ничего не делают для сближения взглядов и, оставаясь внешне такими, как прежде, живут и поступают уже каждый по-своему.

Так нескладно и плохо было дома. Но не лучше было и на заводе. За все два месяца, что проработал здесь Гриша, он так ни с кем и не сдружился по-настоящему. Все сложилось таким образом, что и на заводе он тоже был одинок. В тот памятный день, объяснившись с отчимом, поев у дедушки с бабушкой Самохиных действительно очень вкусных, наваристых щей, объявив им о своем намерении, заручившись их одобрением и заняв у них после некоторых колебаний пять рублей до первой получки, Гриша взял в школе документы об окончании восьми классов, характеристику, в которой было сказано, что он хороший парень и активный общественник, и, приободрившись, с чувством своей правоты, подсказывавшим ему, что и впредь у него все будет хорошо и благополучно, вернулся в Хорьково.

Но не все, однако, получалось так, как хотелось ему. Откуда, например, Гриша мог знать, что людей без профессии принимают работать охотнее всего грузчиками и разнорабочими, а к станкам на иных заводах вовсе не берут, поскольку заводы пополняются сейчас в основном за счет выпускников ремесленных училищ, всевозможных спец-

курсов и техникумов. Из-за этого он не один день потратил на разъезд по Москве, на обивание порогов различных отделов найма, пока наконец не догадался обратиться в справочное бюро, где ему дали необходимый адрес.

Это был адрес завода, делавшего товарные подъемные лифты, никелированные тележки для перевозки посуды в столовых, сатураторы для газированной воды и еще много иного, нового, красивого и удобного оборудования для магазинов, столовых, продовольственных складов и баз. Лет двадцать с лишним назад стоял этот завод за городской чертой, на краю большого совхозного поля, на котором выращивали картофель, капусту, морковь и прочие овощи, и назывался артелью. Добраться сюда можно было лишь на трамвае, с душераздирающим скрежетом завершавшем на кругу, невдалеке от артели, свой длинный, от самого Политехнического музея, путь.

Артель размещалась в неопрятном кирпичном сарае, и делали здесь железные, грубо, но прочно склепанные кровати, которые почему-то неизменно красили одной и той же мрачно-синей краской.

Незадолго до начала Отечественной войны в артели произошли очень приятные перемены, которые выразились в том, что кровати стали не клепать, а сваривать автогеном, в их спинках появились никелированные трубочки, а окраска стала более разнообразной и даже изящной. Фантазия артельных энтузиастов дошла до того, что стали было красить даже под мрамор, однако война помешала процветанию всех этих усовершенствований. В первый же день войны почти все рабочие артели ушли добровольцами в ополчение, их место заняли мальчишки и домохозяйки, и вместо кроватей в артели скоро наладили выпуск бутылок с горючей смесью, а позднее и мин для 72-миллиметровых минометов.

Людям, участвовавшим в ратных делах на поле брани, и даже тем, кто ковал, как принято говорить, победу над врагом в тылу, и теперь кажется, что война окончилась совсем недавно, как будто год или два назад: так свежи, сильны и неумирающе ярки в памяти впечатления тех незабываемых, воистину всенародно героических лет.

Но времени с тех пор прошло так много, что иные мальчишки, налаживавшие в артели выпуск бутылок с горючей смесью, успели полысеть, совхозное поле давно уже застроено шести-семиэтажными домами, засажено деревьями, заасфальтировано, вместо трамвая по улицам пущены

троллейбусы и автобусы, а артель превратилась в завод с новыми цехами и полуторатысячным коллективом рабочих, служащих и инженеров.

Вот на этот завод и приняли Гришу учеником слесаря-сборщика товарных лифтов.

Первое время Гриша был очень доволен тем, как все чудесно у него устроилось. Ему все здесь нравилось. И новые заводские здания, сложенные из белого кирпича, и серебристые елки, высаженные комсомольцами вдоль всего фасада, и сама работа, и даже тот запах железа и машинного масла, постоянно наполнявший цех, а главное то, что в цехе работало много молодых людей и даже была своя комсомольская бригада коммунистического труда, которой руководил Петр Ляпишин и которой все на заводе гордились и всегда ставили в пример. Особенно гордился ею секретарь заводской комсомольской организации Альфред Степанович Колотушкин, а попросту Алик.

Однако не прошло и двух недель, как Гриша понял, что совершил большую ошибку, устроившись работать на этот завод.

Это была беда. Поступая сюда, Гриша, по неопытности, не придал никакого значения расстоянию, отделявшему завод от Хорькова.

А расстояние было таким внушительным, что на преодоление его надо было затратить три часа: за это время пройтись пешком от дома до станции, потрястись в электричке, потом катить в тесном автобусе, пересесть в троллейбус, а потом еще идти пешком. К тому же около часа, как сразу же выяснилось, надо было прикинуть на умывание, завтрак, ожидание этих самых поездов, автобусов и троллейбусов и на другие непредвиденные обстоятельства. Таким образом, для того чтобы попасть к восьми часам на завод, Гриша был вынужден подниматься с постели ни свет ни заря — не позже четырех часов утра.

Сначала ему это даже нравилось, и он гордился в душе тем, что обязан вставать в такую рань и вместе с первыми хорьковскими жителями идти на станцию, ждать на платформе поезда именно на том месте, где остановится облюбованный тобою вагон (здесь все ездят в своих, постоянных вагонах, и Гриша избрал себе четвертый), врываться с толпой, с топотом, шутками и незлой перебранкой быстро и весело рассаживающейся на скамейках, обменивающейся на ходу приветливыми улыбками, взглядами, крепкими рукопожатиями с теми, кто уже сел на предыдущих

станциях. Садясь все время в четвертый вагон (он никогда бы не смог ответить, почему именно в четвертый), Гриша скоро тоже стал небрежно перекликаться с некоторыми парнями: «Привет», «Здорово!», «Как жизнь?». В эти часы в Москву ехал рабочий класс, шумный, здоровый, любящий громко поспорить о политике, о футболе, поиграть на пристроенном меж ногами чемодане в домино, посмеяться, позубоскалить. И как же было приятно Грише быть на одной ноге со всем этим добрым людом!

Возвращался он домой около восьми часов вечера, в девять ложился спать и к четырем утра преотлично высыпался. Одним словом, на первых порах Гриша не чувствовал никакого неудобства. Даже те взаимоотношения, которые сложились между ним, старухой и отчимом, то, что он вынужден жить в их доме, есть их хлеб, суп и иногда пить молоко,— и это не смущало и не тревожило его. С той простотой и легкостью, с какими Гриша привык и умел совершать различные поступки, он решил не обращать на все это никакого внимания. «Ну и ладно,— сказал он себе,— если они не хотят разговаривать со мной, какое мне до этого дело? А за то, что живу в их доме, ем вместе с ними, буду платить деньги». Так он сказал и матери и попросил передать отчиму, чтобы тот не беспокоился.

— Ты бы сам сказал,— предложила Надежда Васильевна.— Может, и помирились бы.

Этот разговор происходил поздно вечером, когда она принесла Грише наверх кружку молока и краюху хлеба. Она всегда теперь готовила ему завтрак с вечера, так как Гриша поднимался и уходил, когда в доме все еще спали. Даже старуха. Надежда Васильевна не понимала поступка сына, казавшегося ей странным и нелепым. Она не теряла надежды на то, что Гриша в конце концов устанет, одумается, поймет свою ошибку, помирится с отчимом и все опять пойдет своим чередом. Ее удивляло, как мог Гриша отказаться от того жизненного уклада, что царил в брызгаловском доме.

Гриша уже собирался спать и лежал на своем жестком топчане, по обыкновению, подложив под голову ладони и глядя в потолок. В комнатке был полумрак, за распахнутым окном, которое Гриша не закрывал даже на ночь, угасали редкие и отчетливые звуки тихого летнего вечера.

Мать стояла возле двери, уже взявшись за ручку, и, обернувшись, нерешительно и в то же время с надеждой глядя на Гришу.

«А она ведь красивая у меня»,— неожиданно и с нежностью подумал он, покосившись на нее.

— Пойди поговори, помирись, а? — просительно сказала она.— Сейчас бы и помирились.

— Нет,— сказал Гриша.— Я мириться с ними не буду.

— Да почему, почему? — вырвалось у нее с отчаянием.

— Если с ними мириться, значит, признать, что они правы, а ты побежден. И тогда все начнется сначала: огород, корова, поросенок, базар...

— Так что же тут плохого! — воскликнула она с убеждением.— Ведь это все для дома, чтобы лучше.

— Нет, мама, ты не понимаешь!

— Ты сам не понимаешь, что делаешь.

— Может быть,— терпеливо согласился он.— Только мириться с ними я не буду. Я не виноват ни в чем.

— Ах, Гриша, Гриша...— вздохнула мать.— Трудно тебе будет в жизни с таким характером.

Она ушла, а Гриша, усмехнувшись ее последним словам, повернулся на бок и скоро преспокойно заснул.

Итак, даже то, что он был чужим человеком в брызгаловском доме, нисколько не огорчало его. Неприятности начались после того, как Алик Колотушкин обратил на Гришу свое внимание и заинтересовался, почему новый член заводской комсомольской организации, ученик слесаря из лифтосборки, не принимает участия в общественной комсомольской работе.

Так же как бывшей Гришиной соседке Раздоровой не нравилось, что ее нарекли Матреной, Колотушкина огорчало и смущало имя Альфред. И не столько имя само по себе, сколько в сочетании с отчеством и фамилией. Сочетание это казалось ему фантастически странным — Альфред Степанович Колотушкин. И, хотя ему шел уже двадцать шестой год, ему доставляло истинное удовольствие, когда его называли Аликом, и огорчало, когда кто-нибудь из уважения называл его по имени и отчеству. Пока, по комсомольской привычке, он был еще для многих Аликом, но прекрасно понимал, что скоро, в силу возрастных обстоятельств, все это забудется. Не мог же он оставаться Аликом в тридцать лет! И он очень огорчался и осуждал своих опрометчивых родителей.

Дело в том, что в те годы, когда завод еще был артелью и клепал отвратительные синие кровати, было модно придумывать и подыскивать новорожденным новые, необыкновенные имена. Сперва это шло в ногу с духом времени,

в результате чего появились девочки и мальчики с именами Индустрия, Кооперация, Пятилетка, Коммунар, и даже Радема (рабочая демократия), и Медера (международный день работницы). К счастью, этот благой родительский порыв не нашел себе широкого распространения, однако поиски необыкновенного не затихли как раз и к тому времени, когда в семье комсомольцев Колотушкиных родился первенец. В метрических записях замелькали Альфреды, Артуры, Эдуарды, Роберты, Жанны, Эрнесты и Генрихи. Особенно много было Аликов. Благородному имени Альфред почему-то отдавалось предпочтение.

Один из этих Альфредов довольно успешно руководил теперь заводской комсомольской организацией. Это был скуластый, большеротый, русоволосый парень, с крупными рабочими руками. Нос его был весело вздернут, рот постоянно растянут в добродушной улыбке, но серые глаза смотрели на людей довольно хитровато. Словом, это был простой русский парень и, по мнению работников райкома ВЛКСМ, хороший организатор и руководитель заводской молодежи. Он и в самом деле был трудолюбив, инициативен, умел увлечься и увлечь всех ребят. Это его умение увлечь, или, как говорят, охватить на сто процентов, особенно восхищало секретарей и инструкторов райкома комсомола, которые не упускали удобного случая, чтобы не похвалить активную работу самого Альфреда Степановича и возглавляемой им комсомольской организации.

Заводские комсомольцы заслуживали и похвалы и одобрения. Самой лучшей бригадой сборщиков, которая первой удостоилась звания бригады коммунистического труда, руководил комсомолец Петр Лапшин, самые лучшие обмотчицы были комсомолки, даже в красильном и сварочном цехах, в экспериментальной мастерской и в гараже — всюду комсомольцы шли впереди.

Но главное заключалось не только в этом. За что бы ни брались комсомольцы, всюду был стопроцентный охват.

Учились все сто процентов. Учились в вечерних и заочных вузах, техникумах, в школе рабочей молодежи, на курсах повышения квалификации, овладения второй, третьей профессиями и так далее.

И все сто процентов занимались спортом: гимнастикой, боксом, фигурным катанием, плаванием, прыжками в длину и высоту... Даже трудно перечесть, какими только видами спорта не занимались заводские ребята! И уж если ехали на массовку, так опять же все, выходили на суб-

ботник по уборке заводской территории тоже все. И не было случая, чтобы кто-то саботировал, волынил, отлынивал, не являлся на собрания и иные мероприятия без уважительных причин. Вот какой дружной и активной была эта комсомольская организация. И многое из всех этих добрых дел зависело от настойчивости и способностей самого Алика Колотушкина. У него была привычка — ни от кого не отставать до тех пор, пока не будет выполнено то, что намечено в решениях бюро, общего собрания или в директивных указаниях райкома.

И вот внимание Алика привлек к себе усердный, довольно красивый, чернобровый, стройный новичок из лифтосборки, державшийся пока несколько отчужденно и обособленно. Было известно, что, лишь кончив работу, он спешил домой и старался на заводе не задерживаться. Алик решил познакомиться с ним поближе и ради этого пришел во время обеда в цех, где работал Гриша, отыскал его и, по обычаю, широко, радушно улыбаясь, пожал его руку своей здоровенной лапой.

— Не больно? — осведомился он, продолжая улыбаться и с интересом рассматривая Гришу.

— Нет, ничего,— сказал Гриша, хотя на самом деле рукопожатие секретаря комсомольской организации было довольно ощутимым.

— Ну рассказывай, как живешь,— продолжал Алик, усаживаясь на железный ящик и жестом руки предлагая Грише последовать его примеру.

— Ничего, живу,— сказал Гриша, усаживаясь напротив него.

— Где живешь?

— В Хорькове, за городом. Слышал?

— Нет. Там у вас, что же, собственный дом?

— Это не наш дом,— пустился Гриша в пространные объяснения.— Это дом моего отчима. Моя мать вышла второй раз замуж, и мы не так давно туда переехали. А до этого жили в Москве, на Рабочей улице. Слышал?

— Про Рабочую слышал. Значит, с жильем у тебя в порядке?

— Конечно,— поспешно и радостно сказал Гриша.— У них четыре комнаты, да еще застекленная веранда, да еще наверху комната. Совершенно отдельная. Там я и живу. Совершенно отдельно. Тринадцать метров.

Ах, как жалел он потом, несколько дней спустя, что так расхвастался перед комсоргом! Но сейчас он был в

ударе, и ему хотелось все представить как нельзя лучше, чтобы выглядеть перед комсоргом молодцом, а не каким-нибудь хлюпиком, который только и знает, что скулит да жалуется.

— Вот видишь,— не то осуждая, не то с огорчением сказал Алик.— Богато живешь. А у нас ребята из бригады Лапшина — самая лучшая бригада коммунистического труда! — знаешь уже, наверное? Так вот эти ребята вчетвером живут в общежитии всего на двадцати метрах. И мы никак не можем добиться улучшения их быта. Но этого, так сказать, между прочим, мы добьемся. Я сейчас с тобой хочу поговорить на другую тему: тебе надо включаться в нашу общую жизнь.

— Я готов,— охотно и радостно сказал Гриша.— Пожалуйста. Я и в школе всегда выполнял все поручения. Я был членом бюро, у нас очень хорошие были ребята...

Ему нравился этот широкоскулый здоровый парень, сразу по-дружески, откровенно и запросто разговорившийся с ним, хотя был много старше его и к тому же секретарь заводского комитета комсомола. И, для того чтобы эти дружеские отношения сохранились между ними, Гриша сейчас был готов сделать что угодно. Он из кожи лез, чтобы показать себя с самой лучшей стороны.

— Я, Альфред Степанович...— растроганно начал он.

— Ты лучше зови меня Аликом,— сказал, поморщившись, Колотушкин.— Но это между прочим. Начнем с учебы. У нас, учти, все комсомольцы учатся. Скоро первое сентября, так сказать, новый учебный год на носу. Ты как на этот счет? Учти, у нас свои традиции и отстающих в коллективе у нас нет. Тебе, на мой взгляд, лучше пойти сейчас в вечернюю школу и получить аттестат зрелости.

— Хорошо,— с еще большим восторгом сказал Гриша.— Я, конечно, буду учиться. Я понимаю, что сейчас надо учиться всем.

— Значит, с этим вопросом покончено,— заключил Колотушкин. Ему тоже понравился этот парень, так охотно, с некоторой даже поспешностью соглашающийся с его предложениями.— Теперь насчет спорта. Ты чем-нибудь увлекаешься?

— Я люблю плавание,— сказал Гриша и, подумав, добавил:— В волейбол играю.

— Очень хорошо. У нас есть секции, запишешься в любую. Значит, и с этим вопросом покончено. Теперь ты мне вот что скажи: ты с кем-нибудь здесь подружился?

— Пока, вообще-то, ни с кем,— признался Гриша.— Но вот, например, Павлик...

— Какой Павлик? — настороженно, быстро спросил Колотушкин.

— Павлик Кудрявцев. Он веселый и очень остроумный. Смелый, как мне кажется.

— Это не та смелость,—загадочно сказал Колотушкин.

— Почему же? — Гриша с удивлением поглядел на него.

— Потому же, что это не смелость, а грубость и неуважение к людям.

Гриша растерянно пожал плечами. Павлик Кудрявцев ему действительно нравился. У этого парня, как думал Гриша, можно было многому поучиться. Например, как держать себя: смело, независимо, свободно. Гриша никак не мог побороть в себе робость при встречах с мастером участка, а особенно с начальником цеха. Даже профорг казался ему лицом очень важным и значительным, а Кудрявцев вел себя с ними так легко, что, казалось, вот-вот и похлопает кого-нибудь из них снисходительно по плечу. Было странно слышать отрицательный отзыв Колотушкина о том, кто Грише так понравился.

— Тебе лучше обратить внимание на бригаду Лапшина,— говорил меж тем Колотушкин.— Это действительно отличные люди, одни из самых лучших на заводе как в работе, так и в быту.

Бригада Лапшина работала в соседнем пролете. Их было четверо. Четверо таких друзей, про которых обычно говорят, что их водой не разольешь. Внешне они совершенно ничем не отличались от других, работавших рядом с ними в цехе, от того же Павлика Кудрявцева, и тем не менее в их поведении, в работе, в обращении друг к другу, в отношении к окружающему было нечто такое, чего не было у других, в том числе и у Гриши. На первый взгляд такие же парни, как все, но стоит присмотреться — нет, не такие, как все, чуточку, но не такие. Все это было почти неуловимо и в то же время ясно отличало их от других, особенно от Павлика Кудрявцева, который так понравился Грише и почему-то получил нелестный отзыв Колотушкина.

— С них можно брать пример во всем,— продолжал Колотушкин.— Вот был недавно такой случай. Собрались они все в театр. Купили заранее билеты, приоделись, и тут один из них по дороге в театре — Лешка Берг...

— Я знаю,— торопливо перебил его Гриша.— Он вытащил из-под самой машины девочку, которую вот-вот бы задавило, оступился, упал в лужу, весь вымазался и в театр идти уже не мог, и они тогда все решили в этот день не ходить. Лапшин повез билеты в кассу, а у него не взяли, но он сказал: «Все равно купим в следующий раз другие, а сегодня в театре и без нас обойдутся». Правда? — спросил он, заглядывая Колотушкину в глаза, очень довольный тем, что знал эту историю и досказал ее за Колотушкина.

— Все точно,— сказал Колотушкин даже с некоторым разочарованием, так как очень любил лапшинских ребят и был готов рассказывать о них бесконечно и с таким удовольствием, словно сам был причастен ко всем этим историям.— Они, конечно, все разные, даже по культуре, например. Сам Лапшин учится на четвертом курсе вуза, учти, иностранных языков, изучает английский язык; Леня Берг тоже в вузе, а Андрей Полетаев еще только в седьмой класс осенью пойдет.

— А вот кто лучше, по-твоему, как производственник,— спросил Гриша,— Петя Лапшин или вот он? — и Гриша кивком головы указал на прошедшего мимо них пожилого, степенного человека.

— Моргунов? — спросил, в свою очередь, Колотушкин и, не дожидаясь ответа, продолжал:— У Моргунова только профессия. Он, конечно, прямо скажем, отличный мастер, и они друг другу не уступят, но у Лапшина, кроме профессии, знания дела, много такого, чего нет у Моргунова: культура, сознание своего долга и так далее. Ты понимаешь, новый человек, он во всем объеме должен рассматриваться, со всех сторон, а не только по одной профессии. Понимаешь?

— Понимаю,— сказал Гриша.— Комплексно.

— А у Моргунова что? — продолжал Колотушкин.— Отработал свои семь часов, надел кепочку и потопал домой, и ничего ему больше не надо в жизни. Одним словом, пассивный человек.

— Это кто же такой пассивный? — вдруг требовательно раздалось за Гришиной спиной, и Гриша, оглянувшись, увидел Павлика Кудрявцева.

Колотушкин внимательно посмотрел на Павлика и ничего не ответил.

— Товарищ секретарь ЦК заводского комсомола Альфред Степанович (Колотушкина при этом даже передерну-

ло), прошу просветить мою несознательную личность по части того, кто такой пассивный человек,— вежливо и в то же время насмешливо, с поклоном спросил Павлик.

Это был невысокий, очень подвижный и развязный парень. Кепка, по названию малокозырочка, едва держалась у него на затылке.

Колотушкин опять внимательно и, как показалось Грише, устало посмотрел на Павлика и сказал:

— Надоел ты мне со своим паясничаньем, Кудрявцев, вот так,— и чиркнул пальцем по горлу.— Ну, в общем, все,— сказал он, обращаясь уже лишь к Грише.— Общественное поручение — ты зайди как-нибудь после работы в комитет — мы тебе подберем. А теперь, как говорят, бывай здоров.— Он поднялся, протянул Грише свою широкую ладонь, тиснул ею, словно тисками, Гришины пальцы и, все с той же широкой, доброй улыбкой кивнул ему, зашагал к выходу.

Кудрявцев, глубоко сунув руки в карманы штанов, постоял рядом с Гришей, поглядел вслед Колотушкину, сказал:

— Вождь и учитель! — и, сплюнув, пошел прочь.

БОЛЬШИЕ НЕУДАЧИ

Колотушкин расстался с Гришей, очень довольный беседой, считая, что все у них решилось как нельзя лучше.

Точно так полагал и Гриша, легко нарисовав себе, как только ушел Колотушкин, очень вероятную, простую и реалистическую картину. Он включается в общественную жизнь, днем работает на заводе, а вечером, выполнив свои основные обязанности, делает все, что хочет и что требуется от активного комсомольца: учится в вечерней школе, готовит домашние задания, ходит в бассейн и, наконец, выполняет комсомольское поручение, которое ему обещал подыскать Колотушкин. Ничего необычного и несбыточного в этом не было.

Так живут сейчас многие его сверстники-комсомольцы, так предполагал жить и он, Гриша, совершенно справедливо объявив себе в тот день, что он нисколько не хуже других и что он докажет это Колотушкину. Тому самому Алику Колотушкину, который так понравился ему и которому он был благодарен за внимание.

Но Гриша, опять по неопытности, не учел того расстояния, которое отделяло завод от хорьковского дома. Оказалось, что мечты его построены на зыбком песке, стоило ему приступить к занятиям в вечерней школе, как пришлось приезжать домой не в восемь часов, как обычно, а в двенадцатом часу ночи. Ах, если бы ему можно было подниматься с постели не в четыре, а в семь или хотя бы в шесть часов! Все было бы тогда, думал он, в полном порядке. Он чувствовал: можно недоспать однажды, выдержать это в конце концов несколько раз, но спать только четыре часа все время, изо дня в день оказалось выше его сил. Гриша даже не предполагал, что так трудно бывает людям вставать с постели.

Для того чтобы подниматься вовремя, он купил себе будильник. Но его резкий, оглушительный звон страшно раздражал, в будильник хотелось запустить подушкой, разбить его об пол. Грише не раз приходила в голову дерзкая мысль, что хорошо бы завтра вовсе не заводить его, как это делалось по счастливым воскресеньям, и спать, спать, спать, пока не пробудишься сам, без этого дурацкого звона.

Но будильник звенел среди ночи тревожно и злорадно, и Гриша, поворочавшись, с трудом отрывал от подушки налитую тяжелым сном голову. Как трудно было вставать, одеваться, и все это с напряженной мыслью о том, как бы снова не закрылись глаза, не упала тяжелая голова на подушку, которая была сейчас вроде магнита. Есть вообще не хотелось, и завтрак, приготовленный матерью с вечера, теперь, как правило, оставался на столе нетронутым.

Только выйдя из дому, он окончательно приходил в себя и, приободренный свежим сентябрьским, пахнущим яблоками воздухом, уже бодро шагал к станции.

А поселок был теперь полупустой. Много окон наглухо заколочено, закрыто ставнями, забито досками. Заметно убавилось легковых машин, мотороллеров, мотоциклов. Свободнее стало в поездах; дачники покинули свои летние поселения. Особенно замечалось отсутствие их в поселке по воскресеньям. Никто уж больше не ходил по улицам, не толпился в сельпо в полосатых, как тигры, пижамах. Будто кончился летний праздник, поселок принял свой обычный, будничный, строгий и деловой вид, и от этого было даже немного грустно и жаль чего-то невозвратного, вовсе утраченного. А быть может, эта утрата ощущалась совсем не из-за того, что уехали дачники, а потому что поредели, притихли сады, посветлели и как бы раздвину-

лись вокруг поселка горизонты. Во всяком случае, Грише не раз теперь казалось, лишь выглядывал он в окно своей светелки, что поселок стал значительно больше и отчетливее просматривался.

В один из таких солнечных, уже не жарких воскресных дней Гриша, отлично проспавший до десяти часов, веселый и довольный собою, спустился в сад. Отчим, с которым они теперь встречались довольно редко, стоял возле антоновской яблони, прикидывая, заложив руки за спину и задрав голову, сколько можно будет собрать с этого дерева плодов.

— А, гражданин Востриков,— отчужденно проговорил он, увидев Гришу.— Почтение.

— Здравствуйте, Иван Иванович,— ответил Гриша.

— У меня к вам, между прочим, будет мужской разговор,— продолжал отчим.— Так сказать, с глазу на глаз.

— Пожалуйста,— благодушно произнес Гриша.

— Мерси за позволение. Я давно уже хочу поговорить, но...— отчим развел руками,— вас невозможно теперь застать.

— Я учиться поступил в вечернюю школу и приезжаю поздно.

— Знаю,— перебил отчим.— Все знаю. Вы у нас живете вроде квартиранта, так сказать, исправно платите деньги за питание и квартиру, а в нашей семейной жизни не принимаете никакого участия. Отказались решительным образом. Осуждаете, как какая-нибудь белоручка. Ты пока помолчи! — Брызгалов предостерегающе поднял палец, видя, что Гриша открыл было рот, пытаясь возразить ему.— Слово сейчас за мной. И слово последнее, я с тобой больше вообще разговаривать не буду, если и сейчас сделаешь не по-моему, как я хочу.— И отчим опять перешел на шутовской тон.— Так вот, гражданин квартирант, комнатка ваша не отапливается. А на дворе сентябрь, а скоро октябрь, грязь, слякоть и холод. Понятно?

«К чему это он все говорит мне? — подумал Гриша, меняясь, однако, в лице.— «Квартирант, холод»! Чепуха какая-то».

— Я не совсем понимаю вас,— растерянно сказал Гриша.

— А тут и понимать нечего,— возразил отчим. Он опять стал холоден и резок.— Слушай внимательно. Или ты отказываешься от тех оскорблений, которые нанес мне тогда насчет огорода, забора и вообще моих правил жиз-

ни, и будешь с нами вместе, опять за родного, сообща — все забудем, и тогда место тебе внизу найдется, или...— Он откашлялся.— Одним словом, выбирай, на носу осень, зима, холод и другие вытекающие отсюда последствия. Волку с зайцем под одной крышей не ужиться. Так и нам с тобой.

Теперь Гриша все понял. Отчим диктовал ему свои условия, совсем недвусмысленно предлагая вступить в сделку с совестью, с теми убеждениями, которые Гриша перенял от отца и которые были святы и дороги ему.

Гриша побледнел и, сделав над собой усилие, как можно сдержаннее сказал:

— Теперь я понял вас. Но поступить так я не могу.

— Как хочешь. Говорю последний раз. Я человек дела и повторяться не люблю. Да — да, нет — нет. Подумай, время у тебя еще есть. И, между прочим, мать в это дело не впутывай. Понятно?

— Хорошо,— сказал Гриша.— Это я могу вам обещать,— и, круто повернувшись, пошел к дому.

На крыльце стояла мать и с довольной, умильной улыбкой смотрела на них. Ей, случайно увидевшей их вдвоем, доставило это большое удовольствие. Она подумала, что, раз они разговорились, значит, дело у них пошло на лад.

— Поговорили? — спросила она, когда Гриша поравнялся с ней.

— Поговорили,— буркнул Гриша.

— Вот и хорошо,— одобрила она, не придав значения той интонации, с какой Гриша ответил ей.— Так и должно быть. По-хорошему, по-семейному.

Гриша, не ответив, поднялся к себе наверх, лег на топчан и, как всегда, подсунув руки под голову, принялся считать золотистые шляпки гвоздей на потолке. Это всякий раз успокаивало его, давало возможность привести в стройный порядок ералашно, сумбурно налетающие в беспокойстве одна на другую мысли.

Такого разговора с отчимом он не ожидал. И от неожиданности растерялся.

«Что же мне делать? — думал он.— Здесь оставаться мне нельзя совсем. Это ясно. Он совершенно ясно и определенно сказал мне об этом. Так ли я ответил ему? Так, так, так. Все правильно. Только что же теперь мне делать? Маму в это дело впутывать не буду. Зачем? Он прав. Надо все самому. Только самому. Ведь когда я вы-

сказал ему все, что думаю про их жизнь, я ни с кем не советовался. Значит, и сейчас тоже все надо решить самому. Но как же решить? Ясно, что здесь мне уже нет места. Место есть, но жить по-ихнему я не могу. Значит, под одной крышей с ними места нет. Хорошо. Но куда же мне деваться? А если переселиться в общежитие? Пойти завтра к Колотушкину и попросить, чтобы помогли мне переехать в заводское общежитие. Алик, конечно, поможет. У меня много очень убедительных причин».

Гриша вскочил с постели. Сердце его ликовало. Выход был найден. Очень простой, удобный, счастливый выход. Может быть, даже завтра же он уедет отсюда, поселится в общежитии, и все сразу у него изменится и станет на свое место, и хватит тогда времени и на учебу, и на общественные поручения, и на все прочее. Удивительно, как все это удачно и хорошо будет у него. И наплевать ему на отчима со всеми его огородами, коровами и выручками!

Однако ничего хорошего у Гриши, к сожалению, опять не вышло.

На следующий день он обратился к Колотушкину со своей просьбой. Широко и радушно улыбаясь, Колотушкин выслушал Гришу и сказал:

— Да зачем же тебе переезжать в общежитие из такого дома? Ты же мне сам недавно рассказывал, как у вас там хорошо.

— Понимаешь, Алик, мне так будет удобнее,— дипломатично сказал Гриша.

— Нет,— непреклонно возразил Колотушкин.— Ты не мудри. Это прихоть. Мало ли что захочется...

— Но это совсем не потому, что мне хочется,— мягко произнес Гриша, чувствуя, однако, что разговор у них никак почему-то не может наладиться и Колотушкин просто не понимает, как это все важно для него.— Это потому, Алик, что иначе уже нельзя. Я все рассчитал, понимаешь?

— Не понимаю,— стоял на своем Колотушкин.— Во-первых, никто не даст тебе места в общежитии потому, что у тебя с жильем вполне благополучно.

— Как раз и не благополучно!— воскликнул Гриша.— Неужели я стал бы просить, если бы было благополучно!

— Но ведь ты сам рассказывал, что у тебя отдельная комната.

— Это правда, отдельная, но...

Грише было стыдно и неловко рассказывать Колотушкину о тех взаимоотношениях, которые сложились у него

с отчимом. Он продолжал считать, что это его сугубо личное дело и вмешивать в это дело кого-либо, даже секретаря комсомольской организации, он не имеет права. В противном случае он будет выглядеть хлюпиком, распустившим нюни. А хлюпиков он сам не любил.

— Вот видишь,— осуждающе сказал Алик, по-своему истолковав его замешательство.— Но есть и вторая причина, по которой в общежитии поселить тебя не смогут. Просто-напросто нет места. Общежития переполнены. Я уж, кажется, однажды объяснял тебе, что даже такая бригада, как бригада Петра Лапшина, ютится в тесной комнате, хотя этим-то ребятам в первую очередь и надо бы дать самое просторное жилье.

— Но у меня очень уважительная причина,— настойчиво и в то же время просительно сказал Гриша и, поколебавшись, добавил: — Я не лажу с отчимом.

— Почему? — удивился Алик.

— Так,— замялся Гриша.— Мы не сошлись во взглядах на жизнь.

Это все, что он мог сказать о своих отношениях с Брызгаловым. Было просто невозможно рассказывать о том, что он попал в семью спекулянтов и что к таким людям принадлежит, оказывается, и его мать. Было стыдно, что его мать оказалась такой женщиной.

— Ну, это еще полбеды: во взглядах не сошлись,— заметил Колотушкин.— Это ведь совсем, собственно, и не обязательно, чтобы ваши взгляды были общими.

— Ладно,—сказал Гриша.—Пусть будет не обязательно. Только у меня есть еще причина: мне далеко ездить.

— А это не новость.— Колотушкина, казалось, ничем нельзя было удивить.— Многие с конца на конец города мотаются. Я тоже, знаешь ли, живу у черта на рогах. И ничего, справляюсь.

— Значит, никак нельзя? — спросил Гриша упавшим голосом.

— Никак.

— А я так надеялся.— И Гриша, обиженно махнув рукой, пошел от Колотушкина усталым шагом.

Все это очень расстроило и обескуражило его. Почему, думал Гриша, как только он что-нибудь задумает и решит для себя, что все задуманное сбудется, у него как раз ничего не получается? Очень ему не везло. Вот и теперь, как надеялся он на общежитие!

Надо было искать другой выход. Не получилось с об-

щежитием, он должен был найти иное решение. Только не падать духом, не поддаваться панике, а думать и искать. Пока еще есть время. Пока еще тепло и можно жить в светелке. Важно не это, другое: как быть с учебой, с общественной работой, вообще с вечерним временем. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы сохранить силы, или, как говорят спортсмены, быть все время в форме. Значит, он не может сейчас делать все, разбрасываться. Сейчас самое важное в его жизни — работа. Значит, работе должно быть подчинено все. Надо как можно скорее обучиться сборке лифтов, не числиться подсобником, получить разряд сборщика. Пока он работал на должности, которую Павлик Кудрявцев со всей присущей ему язвительностью называл «подай — прими».

Что же нужно было Грише, чтобы осуществилось это самое важное и главное в его жизни? Сперва отказаться от того, что сейчас мешало ему работать. Он должен был приезжать на завод хорошо выспавшимся, чтобы в голове не гудело от усталости, чтобы работалось легко, с радостью и не надо было всякий раз заставлять себя делать все через силу.

И Гриша, недолго думая, пошел на самое крайнее: перестал ходить в вечернюю школу, не пошел к Колотушкину за общественным поручением и, как только кончилась работа, спешил домой.

Прошло несколько дней. Грише не составляло никакого труда вскакивать с постели, одеваться, съедать приготовленный с вечера матерью завтрак, бежать на станцию, весело врываться с толпою в свой любимый четвертый вагон.

Ах, эти ранние рабочие электрички, с грохотом несущиеся к Москве по всем десяти железным дорогам, переполненные шумными, насмешливыми и прямолинейными парнями и девчатами, пожилыми мудрецами и дородными, степенными тетками, которых тоже только задень! Толпы людей то и дело высыпают на московские привокзальные площади, и не успевают трамваи, автобусы, троллейбусы и эскалаторы метро подхватить и увезти их, как новые толпы, вытолкнувшись из вагонов, опять, спеша, заполняют все привокзальные проходы, переходы и тротуары и так же скоро исчезают, разъезжаясь во все московские концы по утренним и еще довольно просторным, не заполненным автомобилями и не совсем проснувшимся улицам.

Уезжал в одном из вагонов троллейбуса и Гриша. Те-

перь лишь одно беспокоило его: по-летнему теплый, тихий, солнечный сентябрь шел к концу, и Брызгалов, готовясь к зиме, уже купил где-то, как он сказал, у левака, целую машину угля. Взглянув на этот уголь, сваленный возле калитки, который мать со старухой стали перевозить на тачке в сарай, Гриша вспомнил о том, что настоящая-то осень с дождями, ветрами, а следом за нею и зимние холода не за горами и тогда, как сказал отчим, в тесовой комнатушке под крышей ему не прожить.

Но как ему быть дальше, он не знал. О примирении с отчимом Гриша не думал. Решил раз и навсегда, что это невозможно, и не стал думать.

А жизнь шла своим чередом у всех окружавших Гришу людей. Брызгалов, старуха и Гришина мать солили к зиме огурцы и помидоры и были поглощены заботами по хозяйству; Павлик Кудрявцев, казалось, только и думал о том, как бы сцепиться и поругаться с кем-нибудь из начальства; лапшинцы, как предполагал Гриша, часто с завистью и восхищением поглядывая туда, где работали эти дружные парни, были заняты своими передовыми идеями; Моргунов, как и Гриша, все время спешил с работы домой, а Альфред Степанович кроме очередных своих комсомольских дел был озабочен предстоящей отправкой бригады заводской молодежи на одну из сибирских строек. Все были заняты, и никому из них до Гриши не было никакого дела. Во всяком случае, так могло показаться с первого взгляда.

В действительности же на Гришу давно уже обратили свое внимание, так сказать, симпатизировали ему два очень непохожих друг на друга и даже враждовавших меж собой человека. Это были Павлик Кудрявцев и Алексей Дмитриевич Моргунов.

Они ненавидели друг друга. Павлик ненавидел Моргунова за то, что он тихоня и такой во всем правильный, что к нему совершенно невозможно прицепиться, а Моргунов ненавидел Павлика за то, что тот, как было известно Моргунову, слыл человеком бесшабашным, грубым и наглым, никого не уважавшим. В оценке Павлика Кудрявцева взгляды Моргунова совпадали со взглядами Алика Колотушкина, которые он некогда высказал Грише и к которым Гриша отнесся с недоверием и удивлением, поскольку сам был о Павлике Кудрявцеве совсем другого мнения.

Колотушкин принадлежал к категории тех людей, у которых все в жизни очень просто, ясно и определенно, к

категории людей откровенных, прямолинейных, счастливых и искренних. Он высказывал людям решительно все, что думает о них, и высказывал с таким убийственным спокойствием, с такой широкой улыбкой, что на него, право, даже невозможно было обидеться.

Работал он электросварщиком, отлично знал свое дело и, как уже известно, был таким же отличным комсомольским организатором.

Алик любил всевозможные мероприятия, компании и чтобы в них участвовало непременно как можно больше народа. Например, выборы в Советы депутатов трудящихся, особенно тот торжественный день, когда вся подготовительная работа участковых избирательных комиссий и агитаторов закончена и наступает час голосования: в шесть утра распахиваются двери избирательных пунктов, торжественно и несколько застенчиво входят первые избиратели и потом идут весь день, и весь день играет музыка, и агитаторы толпятся у себя в комнатке, беспокоясь за каждого человека, и с озабоченными лицами то и дело справляются у секретаря избирательной комиссии, сколько человек уже проголосовало и ездили ли с урнами домой к больным и престарелым. Праздничная приподнятость и озабоченность в такие дни не покидают Колотушкина, так как и в избирательных комиссиях, и в бригадах агитаторов обычно участвуют почти все заводские комсомольцы.

Такая озабоченность не покидала Алика Колотушкина и теперь, когда собиралась к отъезду в Сибирь заводская молодежная бригада. Об этих сборах было объявлено во всех цехах и парням и девчатам, которые шли в комитет комсомола с заявлениями, где говорилось об их готовности с честью выполнить любое задание на новостройке. Алик строго заявлял: «Учти, что жить вам придется, быть может, на первых порах в палатках, работать на холоде, обедать, быть может, у костра на снегу и вообще переносить большие трудности. Справишься?» Он нарочно рисовал перед ребятами их будущую жизнь в мрачных тонах, предельно сгущал краски, полагая, что в подобном случае лучше перепугать, чем наобещать молочные реки, кисельные берега и пряничные хоромы. Перепуганный откажется, а смелому будет куда легче потом, когда хоть частично все окажется иначе.

На новостройку с завода уезжали отличные ребята. Алик позаботился об этом. Он считал, что на такое ответ-

ственное дело надо посылать самых лучших, надежных, чтобы потом не краснеть за них нигде. Поэтому его удивлению не было предела, когда перед ним предстал Гриша Востриков и тоже попросил направить его на новостройку Сибири.

Гриша пришел к такому решению не колеблясь, стоило ему прочесть вывешенное на стене цеха обращение бюро ВЛКСМ к комсомольцам с призывом поехать на новостройку и там проявить себя и показать, на что способны москвичи. Эта поездка была для Гриши действительно блестящим выходом из создавшегося положения. Он понимал, что рано или поздно ему придется ответить за все: и за то, что бросил учебу, и за то, что не выполняет никакого комсомольского поручения, не занимается спортом, не посещает собрания. За все. Там, в Сибири, за старое никто бы не стал спрашивать с него, а новую свою жизнь он постарался бы устроить совсем иначе. А главное — в этом случае он раз и навсегда порывал с брызгаловским домом.

Написав заявление, Гриша воспрянул духом и почувствовал себя настоящим героем. В самом деле, он едет на новостройку, добровольно и сознательно идет ради общегосударственного дела на всяческие лишения и невзгоды и при этом самым решительным образом утирает нос Брызгалову. Алик Колотушкин, этот добрый, всевидящий, внимательный Алик, как казалось Грише, сразу же возьмет его сторону и станет хвалить за решительность и смелость, говорить при всех, что только этого и ждал от товарища Вострикова, и тут же, недолго думая, внесет его фамилию в список добровольцев.

— Вот,— скромно, с достоинством, как и подобает в таком случае истинному самоотверженному герою, сказал Гриша, войдя вечером после работы в комитет комсомола и протягивая Алику свое заявление.— Я решил.

— Чего решил? — спросил Алик, принимая, однако, заявление и не спеша развертывая бумагу.

— Тут все сказано,— пояснил Гриша, указав пальцем на бумагу, которую к тому времени уже развернул Алик.

Наступило молчание. Алик прочел Гришино заявление, положил бумагу перед собой и забарабанил пальцами по столу.

— Нет,— сказал он наконец.— Нет, нет и нет.

— Почему? — упавшим голосом спросил Гриша.

Все опять складывалось совсем не так, как он ожидал.

— Потому что на новостройки Сибири,— начал пояснять Алик с невозмутимой откровенностью, откинувшись на спинку стула и внимательно глядя на Гришу,— мы посылаем лучших комсомольцев, чтобы ни заводскому коллективу, ни вообще москвичам не пришлось за них краснеть. Если образно говорить, то мы с кровью отрываем от себя, от своего коллектива этих ребят и в то же время с радостью рекомендуем их на сибирские новостройки, так как уверены, что они с честью оправдают наше доверие и не подведут ни в каких условиях.

— Я тоже не подведу,— сказал Гриша.— Я тоже в любых условиях, если хочешь знать...

— Хочу, конечно, хочу,— снисходительно сказал Алик,— но пока рекомендовать тебя, сам понимаешь, в такую ответственную бригаду я никак не могу. Ты выслушай меня и не обижайся. Когда первый раз мы с тобой беседовали — помнишь? — у нас установилось вроде бы полное взаимопонимание. Я рассказал тебе о том, как и чем живет наш комсомольский коллектив, ты, со своей стороны, дал согласие принимать самое активное участие в этой жизни: учиться, заниматься спортом, выполнять комсомольские поручения. Так? — Алик сделал паузу, вновь откинулся на спинку стула, положил свои здоровенные кулачищи на стол, склонил голову набок.— Ты что-нибудь выполнил из этих обещаний?

— Я начал учиться,— сказал Гриша,— но не смог.

— Почему?

Гриша, потупясь, почесал в затылке и не ответил. Вновь ему показалось страшно неудобным говорить Алику правду. К тому же в комитете кроме Алика был еще и знаменитый Лапшин. Он сидел за соседним столом, перелистывая подшивку газет, и, казалось, не обращал на Гришу никакого внимания. Но все равно он был здесь, его присутствие гипнотизировало Гришу, и сказать при нем, почему он перестал посещать вечернюю школу, было невозможно. В самом деле, ведь если разобраться начистоту, то что выйдет? Вероятно, сам Алик, а Лапшин и подавно, коснись их, нашли бы выход, заставили бы себя сделать так, как надо. А вот он, Гриша, не смог. У него не хватило силы воли. А если не хватило ее преодолеть, такую не очень-то уж большую трудность, то кто же, узнав об этом, возьмется, в самом деле, рекомендовать его в Сибирь, на новостройку, где эти трудности поджидают на каждом шагу и их все время надо преодолевать? Он

теперь понимал, что только слабоволием и отсутствием элементарной организованности можно объяснить то, что он сделал. Признаваться в этом было ужасно. Кому, собственно, какое дело, что он живет далеко от завода, что у него такие взаимоотношения с отчимом!

— Учиться бросил,— говорил меж тем Алик, обращаясь к Лапшину.— Слышишь, Петя? — Лапшин поднял голову и, как показалось Грише, равнодушно, даже с презрением поглядел на него.

— Спортом не занимаешься, а насколько я помню,— говорил Алик, обращаясь опять к Грише,— ты обещал записаться в секцию легкой атлетики. Так?

— Плавания,— поправил его Гриша.

— Обещал зайти, поговорить о поручении — не пришел. Так?

Гриша лишь вздохнул.

— Больше того,— продолжал Алик.— На днях было комсомольское собрание. Сказать какого числа?

— Не надо,— ответил Гриша.

Алик, казалось, решил окончательно расправиться с ним, доконать его именно в присутствии Лапшина. Безжалостность его была чудовищна, и в то же время возражать ему было невозможно. Все было правдой.

— Следовательно, ты знал,— говорил Алик.— Да и как не знать, если объявления о собрании висели по всему заводу целую неделю! Их даже слепой мог увидеть. Ты подводишь целый коллектив, всю нашу организацию. Как же мы после этого можем рекомендовать тебя на такое ответственное дело? Давай так, по-честному. Как ты сам смотришь на это?

— Никак,— признался Гриша.

— У нас такое правило,— продолжал Алик, несколько обескураженный Гришиным признанием,— вот Петя подтвердит, что надо сперва самому дать коллективу, выложиться на всю железку, а потом уже и требовать отдачи. Ты же все о себе заботишься. Только о себе. Тут тебе неловко, с тем ты ужиться не можешь.

— А что он требовал? — спросил Лапшин.

— Понимаешь,— охотно стал пояснять Алик,— живет в собственном доме, занимает отдельную комнату, так нет, видите ли, дайте ему еще общежитие.

— Зачем же? — пожал плечами Лапшин и опять углубился в чтение газет.

— А теперь вот, пожалуйста...— Алик взял со стола

Гришино заявление и потряс им в воздухе, как самой неопровержимой уликой, как самым главным вещественным доказательством.— Понимаешь, в чем дело?

— Понимаю,— сказал Гриша.— Все понимаю. Только я бы, если бы вы доверили, все сделал, чтобы оправдать...

— Вот давай пока здесь это докажи,— дружески, с доброй, широкой улыбкой сказал Алик.— А на новостройки едут не последние. Понял?

— Понял,— сказал Гриша, вздохнув.

— Ну, тогда по рукам,— сказал Алик и, поднявшись из-за стола, протянул Грише свою широкую сильную ладонь.— Бывай здоров.— И тут же, пожав Гришину руку, привычно осведомился: — Не больно?

ПРОДОЛЖЕНИЕ БОЛЬШИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

После этого поучительного и позорного для него разговора с Колотушкиным, происходившего к тому же в присутствии Лапшина, Гриша несколько дней не мог прийти в себя, с мучительной растерянностью переживал очередную свою неудачу. Этим неудачам, казалось, не будет конца, они злорадно подстерегали его на каждом шагу. Что бы он ни придумывал, все в итоге как бы выворачивалось наизнанку и решительно восставало против него же.

Состояние Гриши было отвратительным. Не только потому, что Колотушкин очень убедительно доказал ему всю несостоятельность его просьбы, а и потому, что некому было рассказать обо всем происшедшем с ним, излить, как говорят, душу. Он продолжал оставаться в полном одиночестве. И вот в то время, когда ему стало просто невмоготу переносить отсутствие внимательного и понимающего его состояние собеседника, к нему подошел один из тех двух, ненавидящих друг друга и давно уже наблюдавших за ним симпатизирующих ему людей.

Это был Павлик Кудрявцев.

Сближение с ним состоялось в обеденный перерыв, когда Гриша, меланхолично, с безразличием съев свой обед, вышел из столовой.

— Ты чего такой съеженный ходишь? — догнав его и дружески положив на его плечо руку, спросил Павлик.

Гришу тронуло внимание человека, давно уже нравившегося ему. Было приятно, что Павлик точно подметил то душевное состояние, в каком пребывал Гриша.

Они разговорились. Кудрявцев не только слушал, но и очень удачно комментировал его рассказ, и именно этими комментариями на многое, как показалось на первых порах благодарному и доверчивому Грише, открыл ему глаза.

— Понимаешь,— доверительно говорил Гриша,— хотел поехать на новостройку в Сибирь, а меня не берут.

— Кто не берет? — решительно, с гневом спросил Павлик.

— Колотушкин.

— А, вождь и учитель заводской молодежи. Ох и не люблю я этого воспитателя! Сказать тебе, что у него на уме?

Гриша кивнул.

— У него на уме, чтобы все ходили парочками, взявшись за ручки, как в детском саду, и пели хором: «Каравай, каравай, кого любишь, выбирай». Верно?

— Верно,— усмехнулся Гриша.— Он, как мне кажется, любит больно всех учить.

— Я про то и говорю. А зачем, скажи ты мне, тебя в Сибирь потянуло?

— Причин у меня много,— сказал Гриша.— Во-первых, мне нужно уехать отсюда вообще.

— Почему?

— Понимаешь, если по-честному сказать, мне негде жить.

— Что-то я ни в одной газете не читал, чтобы туда ехали из-за жилья. Туда, как пишут в газетах, едут с героизмом.

— Это само собой, конечно.

— Парень ты хороший,— помолчав, сказал Павлик,— а дурак. И поэтому все делаешь не так, как надо делать настоящему рабочему человеку. Хочешь, я тебе совет дам?

— Конечно,— сказал Гриша.— Я буду очень благодарен тебе.

— Так вот, если хочешь, чтобы все было по-твоему, как ты задумал, надо на горло наступать, на басы. Думаешь, ты кому-нибудь тут нужен? Колотушкину, например? Нужен, конечно, только ты ему нужен как процент, и не больше. А на все другое, что касается тебя, ему наплевать. Говоришь, тебе негде жить? Наплевать ему, что тебе негде жить. Понял? И если ты сам за себя не постоишь, не будешь с дракой отстаивать свои права, то пропадешь как не знаю кто.— Павлик продолжал обнимать

Гришу.— Эх ты, дурачок, ничего ты еще не знаешь в нашей сложной жизни. Они же все привыкли только требовать с тебя. У них одно: «Давай, давай!» Вот и весь их разговор. А чтоб тебе дать, так вот чего они тебе, видел? — и Павлик поднес к Гришиному носу кукиш.

Гриша поглядел на его руку и обомлел: на руке были вытатуированы гроб, крест и написано вкривь и вкось: «В память отца».

— Это зачем ты? — спросил Гриша.

Павлик тоже поглядел на татуировку, смущенно сунул руку в карман и сказал:

— Это когда у меня отец помер.

— У меня тоже помер отец, я его тоже очень любил,— растроганно сказал Гриша.— Очень! Я, знаешь, всегда следую его примеру, всегда думаю, как бы он поступил, а потом и сам так делаю.

— Ты слушай, что я тебе говорю,— оборвал его Павлик.— Заруби себе на носу, что всегда надо не просить, а требовать своего. А когда надо, и брать. Затребуешь, заорешь, они и замечутся. Тот же твой Колотушкин преподобный. Человека, который просит, а не требует, не берет что надо, никто не любит, и с ним делают что хотят.

Слушая Павлика, Гриша проникался к нему все большим доверием и уважением. При этом ему вспомнилось, как Алик сказал, что надо самому сперва дать, а потом просить отдачи, и что тогда это показалось ему очень справедливым. Но вот Павлик совершенно иначе объяснил, как надо вести себя с людьми, и Грише уже стало казаться, что объяснение его было более серьезным и глубоким. Действительно, если бы ему дали возможность жить в общежитии, разве он остался бы в долгу? Или уехать на новостройку. Разве бы он сплоховал там?

— Я просился в общежитие, мне тоже отказали.

— Вот-вот: просился, кланялся... Я говорю: надо было врезать по столу кулаком, чтобы чернильницы подскочили, тогда бы другой разговор пошел. Свое мы должны зубами выдирать, если нужно. Понял? На блюдечке тебе никто ничего не принесет. Мы должны, как в нашей столовой, заниматься самообслуживанием.

Они шли по заводскому двору, по молодой аллейке из тополей и берез, посаженных весной комсомольцами. Аллейка упиралась прямо в двери их лифтосборки. Павлик как обнял Гришу за плечи, так и не отпускал его всю дорогу, словно боялся, что Гриша сбежит от него.

А Грише он нравился все больше и больше. В кепочке, натянутой по самые уши, в распахнутой спецовке с закатанными рукавами, Павлик казался Грише изумительно милым, добрым, смелым и справедливым человеком.

— Или вот взять этого нашего преподобного Лапшина,— говорил Павлик.— Думаешь, его бригада в самом деле такая образцовая? Ничего подобного. Создай мне такие условия, какие создали им, я, может, и не то еще сделаю. Заметь, у них бывают простои?

— Не знаю,— сказал Гриша.

— То-то и оно! — Павлик торжествовал.— А приписочки? Мне или тебе не припишут, будь здоров. Только свои кровные получаем. А им выведут. Им же все делают в первую очередь. Поэтому они такие и чистенькие. Ты погляди, чего эта бригада коммунистического труда на самом деле стоит, тогда поймешь.

Около дверей они остановились. Павлик как бы даже с сожалением снял наконец руку с Гришиного плеча и между прочим спросил:

— Ты чего после работы делаешь?

— Домой поеду. Мне далеко очень.

— Домой всегда успеешь,— решительно заявил Павлик.— Подожди меня возле ворот, вместе пойдем.

— Хорошо,— охотно сказал Гриша.— Я подожду. Только знаешь, я не могу долго задерживаться.

— А зачем долго? — великодушно сказал Павлик.— Просто вместе пойдем. Я еще кое-что расскажу по дороге.

— Я тебя могу и в цехе подождать,— доверчиво сказал Гриша.

— Нет, лучше за проходной,— поспешно возразил Павлик.— Я кое-куда еще должен забежать.

Если бы Гриша знал, для чего Павлику понадобилось все это и что в результате случится с ним, Гришей, в тот вечер! Но Павлик был так великодушен к нему, так правильно рассуждал обо всем, что Гриша готов был исполнить любую просьбу своего нового друга, ничего еще не подозревая.

Ждать около ворот пришлось недолго. На этот раз на Павлике спецовка была застегнута наглухо, а кепочка, наоборот, сдвинута на затылок. Возбужденный и чем-то озабоченный, Павлик выскочил из проходной с такой стремительностью, словно его вышвырнули оттуда.

— Ну, пошли,— сказал он, налетая на Гришу и опять обнимая его за плечи.

И они зашагали так дружно и в ногу, что Гриша, улыбаясь от удовольствия, то и дело поглядывал на прохожих, приглашая их счастливыми глазами разделить его восхищение Павликом и приятно удивиться и обрадоваться тому, как они славно, в обнимку, шагают по улице.

— Ты держись за меня,— говорил Павлик.— Со мной ты никогда не пропадешь и будешь человеком. Я тебя научу, и ты добьешься, чего только захочешь. В общежитие? Добьемся общежития, будь спокоен, это у нас раз-два — и готово. Я научу, как действовать. Все будет в порядке. Но,— он заглянул Грише в глаза,— услугу за услугу, верно?

— Конечно,— поспешно, с радостью согласился Гриша,— для тебя я тоже сделаю все, что только могу. Я для друзей всегда... У нас в школе знаешь какие дружные ребята были или на Рабочей?! Ого!

— Между прочим, на-ка положи к себе в карманы, а то мне тяжело,— сказал Павлик, останавливаясь, и, оглядевшись по сторонам, извлек из-под спецовки две плоские стеклянные фляги, наполненные какой-то темно-вишневой жидкостью.

— Что это? — спросил Гриша, понизив голос и еще не понимая, в чем дело, но так же, как и Павлик, вороватo оглядываясь и поспешно, с трудом засовывая фляги в карманы брюк.

— Лачок,— небрежно сказал Павлик.— Мы сейчас его реализуем. Да ты не бойся, дурачок,— продолжал он, видя, как побледнел Гриша.— Это все мелочь, семечки, ты еще не знаешь, так все делают. Ну, пошли.— И он опять обнял Гришу за плечи, увлекая за собой.

Этот «лачок» Павлик еще вчера добыл в красильном цехе, однако сразу нести фляги за ворота побоялся. Сегодня, пересилив страх, он удачно проскочил мимо вахтеров, но с облегчением вздохнул лишь тогда, когда фляги оказались в карманах Гришиных штанов. Теперь, если бы их и задержали с этим «лачком», Павлик был бы ни при чем. Он давно мечтал о таком дурачке, как Гриша, чтобы работал у него на подхвате.

А что же Гриша?

Побледневший и притихший, сразу потерявший всю так славно переполнявшую его радость, нехотя брел он теперь рядом с повеселевшим Павликом. Он понимал, что «лачок» взят на заводе без спроса, что называется это самым настоящим воровством, что Павлик впутал его в

дрянную историю, что ему надо сейчас же отказаться, вернуть фляги как можно скорее, пока не поздно, пока ничего еще не произошло. И тем не менее, понимая все это, он покорно, молча шел, увлекаемый Павликом. «Сейчас остановлюсь, отдам, скажу, что в таких делах я участвовать никогда не буду»,— лихорадочно думал он и никак не мог остановиться. Что-то, казалось совсем незначительное, мешало ему поступить так.

Этим «чем-то незначительным» было его недавнее восхищение Павликом.

Между тем они продолжали свой путь, свернули в переулок, миновали два строящихся, обнесенных забором из горбыля дома, вышли на небольшую площадь и, перейдя ее, очутились около синего тесового домика под односкатной рубероидной крышей. Такие домики еще часто встречаются в различных московских уголках. Торгуют в них колбасой, консервами, сахаром, но в основном пивом. Для знакомых могут налить и водки.

— По кружечке,— предложил Павлик, подойдя к прилавку.

— Я не пью,— сумрачно взглянув на него, ответил Гриша.

— Сейчас, погоди, все оформим, как в отделе кадров,— не слушая его и не замечая его удрученного состояния, продолжал Павлик.

Он просунул голову в окошечко, о чем-то тихо переговорил с продавщицей и обернулся к Грише:

— Иди к двери и отдай. По-быстрому.

Гриша послушно свернул за угол и, лишь успел подойти к двери, возле которой лежала груда ящиков и стояли большие дубовые пивные бочки, как дверь распахнулась и на пороге, загородив собою весь проход, встала дородная, похожая на Матрену Осиповну Раздорову женщина в белой куртке с засученными, словно для драки, рукавами.

— Давай живее,— сердито, как Матрена Осиповна, сказала она.

Гриша, испуганно глядя на нее, поспешно вытащил из карманов фляги.

— Все,— сказала она, прижав фляги к пышной груди, и, ловко повернувшись, с треском захлопнула дверь.

Когда Гриша, с облегчением вздохнув, вернулся к Павлику, на прилавке уже стояли две кружки пива и два стакана, наполовину наполненные желтоватой жидкостью.

— Портвейн,— объяснил Павлик, кивнув на стаканы.

— Но я не пью,— сказал Гриша.

— Ха,— усмехнулся Павлик.— Для бодрости.— И поднял стакан.— Бери.

— Но...— уже не очень решительно начал Гриша, просительно глядя на Павлика.

— Давай,— подбодрил его Павлик.— А то тебе только и остается, что записаться в бригаду Лапшина. Они тоже так вот... не пьют.— Он подмигнул Грише.— При людях. А сами запрутся в своем общежитии, занавесят занавески и хлещут до потери сознания, только чтоб никто не видел. А на другой день опять святыми прикидываются.

Гриша взял стакан.

— Ты залпом, не дыша, вот так.— И Павлик, ловко опрокинув содержимое стакана в рот, стукнул им по прилавку, схватил обеими руками пивную кружку и, даже не дохнув при этом, жадными глотками стал пить пиво.

То, что Павлик назвал портвейном, оказалось водкой, чуть разбавленной пивом, или, как говорят пьяницы, ершом. У Гриши, выпившего этот ерш, противная тошнота схватила горло, но он, изо всех сил стараясь не показать этого, подражая Павлику, тоже стал пить пиво. Пил, вытаращив от усердия глаза, и думал: «Вот допью и сразу же уеду домой. За углом остановка. Сяду на автобус — и будь здоров, Павлик. И уж больше мы с тобой никогда не пойдем вместе на такие прогулочки. И вообще никуда не пойдем. Это уж точно. Только бы допить — и на автобус».

Но, по мере того как убывало пиво в кружке, тошнота проходила, а по телу разливалась блаженная слабость, которая скоро вдруг бросила его в жар, и он почувствовал себя сильным, отчаянным, точно таким же, как Павлик, и ему стало все нипочем. В голове еще плавали ускользающие и тающие клочья прежних здравых мыслей, однако любование собой, своей необыкновенной, небывало отчаянной лихостью и храбростью, на которую, конечно же, все сразу обратят внимание и восхитятся ею, не переставая при этом с восторгом говорить, что это сделал сам Востриков, знаменитый Гриша Востриков, не покидало его.

— Еще по одной,— предложил Павлик.— Ты, я вижу, настоящий парень, и я не ошибся в тебе. Я тебя, знаешь, давно приметил.— И Павлик поощрительно похлопал Гришу по спине.

— А что, я всегда...— Гриша беспричинно засмеялся. Ему показалось необыкновенно забавным, что язык его, неизвестно почему, еле ворочается во рту.

Выпили еще по полстакана ерша и по кружке пива, закусили помидорами, как попало тыкая ими в тарелку с крупной, грязной и мокрой солью, стоявшей на прилавке. Когда отошли от палатки, Павлик доверительно спросил:

— Ты думаешь, это я для себя взял, лачок этот? Эх ты! Меня же попросила вот женщина, человек же, мебель ей надо подновить. А мне жалко, что ли? Убудет его на заводе? Мы — ей, она — нам. Начальство, если хочешь знать, машинами шурует, и все нипочем. Верно?

— Верно,— сказал Гриша.— Наплевать. Я тебя тоже, ты еще не знаешь, давно заметил, и ты мне давно очень нравишься.

Теперь мысль о доме отступила на самый задний план, стала такой микроскопически ничтожной, что па нее можно было просто махнуть рукой. Самое важное сейчас заключалось в том, чтобы как можно подольше побыть вместе с этим чудесным Павликом.

Гриша уже был уверен, что он никогда еще так весело и интересно не проводил время, никогда не чувствовал себя настолько смелым, красивым и остроумным, что встречные (он прекрасно видел это), не скрывая своего восхищения, любуются им.

Что бы они в тот вечер ни делали, где бы ни были, все казалось Грише очень значительным, необыкновенным и прелестным.

Сперва они зашли в гастроном, и Павлик купил шоколадку.

— Это сестренке,— сказал он.— Держи, ты ей сам отдашь, как будто от тебя. И выпили, в случае чего, тоже за твой счет. Ты угощал, понял? А то мать начнет расспрашивать, где взял деньги, то, сё, понял? Я получку ей всю отдаю, она у меня строгая. Одним словом, ткачиха и общественница. В общем, тебе понятно.

— Конечно,— сказал Гриша, улыбаясь и преданно, с умилением глядя на своего друга.

Мать и сестренка Павлика были дома, сидели за столом, обедали. Скуластая женщина с очень красивыми большими серыми глазами и русыми волосами, расчесанными на пробор и гладко, туго стянутыми в пучок на затылке, и очень похожая на мать девочка лет шести в чистеньком ситцевом платьице.

Оглядев пришельцев, женщина спросила у Павлика:

— Обедать будешь?

— Нет,— бодро сказал Павлик. Он похлопал Гришу по плечу.— Это мой новый друг.— И подтолкнул Гришу к столу.

— Вот,— сказал Гриша все с тем же глупым умилением на лице и, положив перед девочкой шоколадку, попятился к порогу.

Девочка, даже не взглянув на него, робко поблагодарила. а женщина вновь подозрительно оглядела Гришу и Павлика, уже успевшего натянуть на плечи вместо спецовки серенький пиджачок.

— Недолго у меня,— строго сказала она.

— Ладно,— отозвался Павлик, довольно бесцеремонно выталкивая Гришу за дверь и устремляясь следом за ним с такой прытью, с какой вылетел недавно из проходных ворот завода.

Во дворе два парня в малокозырочках, какая была и на голове Павлика, забавлялись, качаясь на детских качелях. Ребятишки толпой стояли поодаль и с серьезным видом дожидались, когда натешатся эти верзилы. Увидев Павлика, парни бросили свое занятие и пошли ему навстречу.

— Мой новый друг,— сказал Павлик, указывая на Гришу.

Парни, критически оглядев незнакомца, вопросительно уставились на Павлика.

— Свой,— небрежно сказал Павлик.

Одного из этих парней, как скоро выяснилось, звали Дуремаром, и работал он слесарем в трамвайном депо, а второго — Бараном. Этот был с текстильной фабрики, на которой работала мать Павлика. У Дуремара все длинное: ноги, руки, шея, нос, а у Барана были большие, навыкате, печальные голубые глаза, и по ним сразу видно, что он глуп как пробка.

— Ну? — спросил Дуремар.

— Всё в порядке,— все с той же небрежностью ответил Павлик.— Вон он,— Павлик указал на Гришу глазами,— помог.

— Дашке? — спросил Баран.

— Ей.

Гриша, продолжавший пребывать в том блаженном, счастливом состоянии, в которое привели его выпитые пиво и водка, понял, однако, что разговор идет о тех самых флягах, которые он мужественно нес в своих карма-

пах, а Дашкой парни называют ту дородную женщину в белом пиджаке, которой он вручил фляги возле двери палатки.

— Гроши отдала? — спросил Дуремар.

— Отдала.

— И ни слова?

— Ни слова.

— Фьють,— свистнул ни с того ни с сего Баран, потирая руки.

Они снова зашли в гастроном, но теперь купили уже не шоколадку, а бутылку водки и уже усаживались в общественной столовой за столик, покрытый несвежей скатертью и с горшком цветущей герани посредине.

Официантка принесла два винегрета и четыре тарелки щей. Поскольку стаканы отдельно на стол не подавались, опытные Гришины приятели взяли бутылку лимонада.

Это было удивительно, необыкновенно. Гриша, впервые участвовавший в попойке, с восхищением наблюдал, как точно и четко Дуремар разливает по стаканам водку, пряча при этом бутылку и стаканы меж ногами, а Баран так же ловко добавляет в каждый стакан лимонада. Вся хитрость заключалась в том, чтобы разлить водку незаметно от посторонних людей, и Гриша чувствовал себя вдвойне счастливым оттого, что принимает участие в таком тайном деле.

В столовой Гриша окончательно захмелел. Не помогли даже щи, которые он съел с собачьей жадностью.

Он еще мог уехать домой. Было еще не поздно. Но куда там! Гриша еще сильнее стал ощущать себя смелым, решительным и остроумным, а безграничное восхищение его Павликом распространилось и на Дуремара с Бараном. И такие они были все хорошие, так ему самому хорошо было с ними, что Грише теперь все время хотелось поцеловать их, и он с великим трудом удерживал себя от этого великодушного и, как ему казалось, вызвавшего бы ответный восторг и у Павлика, и у Дуремара, и у Барана поступка.

Меж тем наступили сумерки и над кинотеатром, около которого полчаса спустя очутился Гриша со своими друзьями, по-праздничному засияли электрические огни. В ожидании сеанса ели возле входа эскимо, и для Гриши по-прежнему все было милым, оригинальным и необыкновенным, и он никак не мог утерпеть и все придумывал,

как бы ему отличиться, показать своим друзьям, какой он храбрый, смелый, остроумный и что он достоин их дружбы и готов совершить ради них все что угодно.

Но вот случай этот представился ему: на широкой, шершавой гранитной лестнице, тремя ярусами поднимающейся с улицы к дверям кинотеатра, появился Лапшин. Он был в белой шелковой сорочке и светлом, из дорогой тонкой материи, отлично сидящем на нем костюме. Под руку с ним легкой, танцующей походкой шла стриженная под мальчика курносая девчонка из обмоточного цеха. Лапшин шагал по лестнице медленно и церемонно. Это не понравилось Грише, и он понял, что наступил тот долгожданный момент, когда он сможет наконец показать себя. Красноречие, так долго без толку бродившее в нем, запросилось наружу. Гриша заговорщицки-весело подмигнул Павлику — дескать, полюбуйся, что я сейчас сотворю,— выступил вперед и, ухарски подбоченясь, остановился у края лестницы. Когда Лапшин поравнялся с ним, Гриша сказал:

— Одну минутку.

Лапшин посмотрел на Гришу с недоумением.

Кровь прилила к голове Гриши. Именно так, вспомнил он, Лапшин смотрел на него в комитете комсомола, когда его отчитывал Колотушкин.

— Что ты на меня так смотришь? — громко спросил Гриша, чувствуя неизъяснимое презрение к Лапшину.— Ты думаешь, нам про тебя ничего не известно? Думаешь, мы не знаем, почему у твоей бригады не бывает простоев? Думаешь, не знаем, как вам приписывают в каждом наряде для того, чтобы вы были лучше всех? Чистенькими!

— Что ты мелешь? — спросил Лапшин.

— Я мелю? — изумился Гриша.— Не нравится? Правда не нравится?

— Дай ему в лоб,— крикнул Дуремар за Гришиной спиной.

— Фьють,— свистнул Баран.

Эта поддержка друзей придала ему силы.

— Английский язык изучаете, а сами... Я тоже немножко знаю английский, будьте спокойны, мы в школе проходили...

— Да ты пьян,— удивился Лапшин.— Иди-ка лучше домой. Здесь тебе, право, не место сейчас.

— Мне не место! А ему место! — воскликнул Гриша,

сам восхищаясь тем, как остроумно парирует он все реплики Лапшина, и видя, что окружающие, как ему казалось в ту минуту, с одобрением прислушиваются к его словам.

Толпившиеся на площадке перед входом в кинотеатр люди действительно начали прислушиваться к довольно бессвязным и нелепым выкрикам пьяного Гриши. Ах, если бы знать ему, что в этой толпе находится и Лиза Прямкова! Быть может, все тогда стало бы иначе. Но он не видел Лизы, так как щурил свои пьяные глаза только на Лапшина, а Лиза, обрадовавшись было этой неожиданной встрече с Гришей, поняв, что он пьян, пришла в такой ужас, что даже схватилась ладонями за щеки.

— Я пьян? — кричал Гриша не своим голосом.— А вы не пьете? Я знаю, как вы пьете. Вы запираетесь в своем общежитии, занавешиваете окошки и напиваетесь всей бригадой так, что...— Как они напиваются, Гриша не знал и поэтому, передохнув, злорадно выкрикнул: — Не нравится? Пьете втихую, чтобы люди не видели, чтобы считали вас святыми, так?

Лапшин, нахмурясь, пристально смотрел на него.

В это время к Грише подошли два молодых человека с красными повязками на рукавах, и один из них, крепко взяв его за руку, повелительно сказал:

— Ну, хватит. Пойдем.

— Куда? — удивленно спросил Гриша, попробовав выдернуть руку и уже поняв, что за люди подошли к нему и куда они приглашают его.

— Никуда я не пойду. Пустите меня! — закричал он и опять рванулся, стараясь освободить руку от сильных пальцев, цепко ухвативших ее у запястья.

Тогда второй человек, уже молча, взял его за другую руку. Дружинники, бесцеремонно, рывком скрутили их Грише за спину, и тот, ойкнув от резкой боли, сразу както обмякнув, уже безропотно подчинился им.

— Ребята...— жалобно, умоляюще проговорил он, когда дружинники повели его, унизительно подталкивая, прочь от кинотеатра.

Он еще надеялся, что Павлик, Дуремар и Баран заступятся за него. Однако друзей его уже не было видно.

Лиза Прямкова как прижала ладони к щекам, так и не отрывала их до тех пор, пока Гриша, сопровождаемый дружинниками, не скрылся из глаз. «Гришка, Гришка!..— думала она потом, сидя в зале.— Пьян, хулига-

пит... Как это могло случиться с ним? Откуда он вдруг взялся здесь? Что с ним произошло? Что с ним будет теперь?» Тут же она решила принять все меры и разыскать его во что бы то ни стало.

Но не знала она, как это легко можно сделать.

Дом, где поселилась счастливая семья Прямковых, находился всего в трехстах метрах от завода, на котором работал Гриша.

«ДОБРЫЕ ДЕЛА» МОРГУНОВА

За дебош и сопротивление дружинникам Гриша отбыл трехсуточное наказание, и ему, таким образом, хватило времени для того, чтобы подумать над случившимся. Но, сколько Гриша ни старался, он все же не мог понять, как и почему все это произошло с ним.

Было ясно одно: в тот день Гриша, словно завороженный, совершал ошибку за ошибкой.

Почему он так легко доверился Павлику? Ведь если бы он тогда во дворе, по дороге из столовой в цех, не разоткровенничался с ним, они бы не встретились за воротами и ничего бы не было.

Почему он согласился нести фляги в своих карманах, зная, что лак ворованный? Ведь, если бы он нашел в себе силы отказаться, с ним ничего бы не было.

Почему он стал пить водку, когда отдал фляги Дашке-палаточнице? Ведь если бы он наотрез отказался...

Выпив водку, он мог и должен был уехать домой, но вместо этого пошел с Павликом шляться по улицам. Почему? Ведь если бы он нашел в себе силы и заявил о том, что уезжает, и на самом деле уехал...

И наконец — самое отвратительное и бесчестное — почему он пристал к Лапшину? Что он, собственно, знает о Лапшине и его бригаде? Только то, что рассказал Павлик. Но ведь это могло быть и неправдой. Тогда какое он имел право говорить все это Лапшину? Тому самому Лапшину, которого все на заводе уважают и ценят!

Да, все складывалось таким образом, что виноватым оставался только один Гриша, ничтожный, малодушный и безвольный человек.

Но что же теперь будет с ним дальше?

Он прекрасно понимал, что дело на этом не кончится. Трехсуточное пребывание в милиции — это всего лишь

начало, прелюдия к тому, что еще должно было разыграться над его несчастной головой.

Но думать об этом было просто-напросто невмоготу, и Гриша в конце концов решил: чему быть, того не миновать, сам натворил, сам и должен ответить. Но тем не менее, как он ни бодрился, придя к такому обнадеживающему заключению, на душе у него было тяжело.

С очень невеселыми, терзавшими его душу мыслями приехал он домой, в Хорьково.

Мать, отчим и старуха, словно поджидая его, пили на веранде при электрическом освещении чай с молоком. Они уже знали, что произошло с ним. Мать, встревоженная отсутствием Гриши, ездила на завод, виделась там с Колотушкиным, который рассказал ей о том, где находится ее чадо.

— Здравствуйте,— сказал Гриша, с виноватой, вымученной улыбкой войдя на веранду и остановясь у порога.

— Гриша, Гриша,— осуждающе качая головой, сказала мать.— До чего ты дошел, как тебе не стыдно...

— Арестант, одним словом,— с нескрываемым злорадством сказала старуха.— Никогда еще в нашем доме не было такого позора.

— Ну что же, проходи, садись, попей с нами чайку, расскажи, как тебе сиделось в камере,— сказал отчим, все это время с самодовольной усмешкой рассматривавший Гришу.— Налей ему, мать. А может, молочка парного выпьешь? От той коровки, за которой ты ухаживать отказался.

— Я ничего не хочу,— сдержанно сказал Гриша, перестав улыбаться и поняв, что отчим издевается над ним.

— Садись, садись, не стесняйся,— предлагал отчим.— Мы сразу и поговорим с тобой.

— О чем нам говорить с вами? — спросил Гриша, не трогаясь, однако, с места.

— А о том, о чем тогда, в последний раз говорили. Около яблони, помнишь? Только теперь будем говорить немного в другом плане. Ты меня пойми, я тебе плохого не желаю, но сейчас у тебя безвыходное положение. Я постарше тебя и о жизни представление имею больше. Она не таким, как ты, выскочкам, хребет ломает. Верно? — обратился он к Гришиной матери.

Надежда Васильевна утвердительно, с некоторой даже поспешностью кивнула головой.

— Я, знаешь ли, рад, что так случилось с тобой,—

продолжал отчим.— Вот мать, она горюет,— указал он глазами на Надежду Васильевну.— Но на то она и матерью зовется. Ты ее, что же, в могилу хочешь раньше времени загнать? — Брызгалов помолчал, закуривая.— А я не буду скрывать, я рад...

— Пожалуйста, радуйтесь, это ваше дело.

— Я рад потому, что ты сейчас безоговорочно должен понять, что тебе рано иметь свое мнение насчет жизни и повышать голос, а надо учиться у более опытных людей, как жить на белом свете.

— Только не у вас!

— Григорий! — прикрикнула мать.

— Как раз у меня,— сказал отчим.— И не только будешь учиться, а будешь делать так, как я скажу. Иначе,— он решительно махнул рукой,— убирайся отсюда ко всем чертям. Понял? Впрочем, убираться тебе некуда, это я к слову сказал. Из комсомола тебя сейчас вышвырнут, комсомолу такие, как ты, не нужны. Это я тебе со всей ответственностью говорю.

— Перед комсомолом я сам отвечу.

— А у тебя и не будут спрашивать никакого ответа. Дадут коленом под зад — и катись. Сейчас, знаешь ли, строго с хулиганами поступают. Нянчиться, слава всевышнему, перестали. И правильно сделали. В коммунизм с такими, как ты, не придешь. Так вот, я тебе еще раз говорю, что без нас ты не человек, а козявка. Ясно теперь тебе это или нет?

— Нет, не ясно.

— Вот и плохо. А мог бы еще стать человеком. Ты у нас в семье один, мы бы тебя все вместе, сообща, пока еще не поздно, могли бы воспитать, научить жить.

— Как на рынке людей околпачивать?

— Все! — Отчим вдруг так стукнул ладонью по столу, что подпрыгнули чашки.— Разговора меж нами больше не будет. Раз так — все!

Гриша молча прошел мимо них к лестнице, поднялся по поскрипывающим под ногами ступенькам в свою комнатку, завел будильник и лег на топчан.

Но заснуть он долго не мог. То, что передумал он за эти трое суток, вновь тревогой и безвыходным отчаянием сдавило его сердце. И тут впервые закралась было в голову мысль о том, что, быть может, отчим прав и не стоит сопротивляться той жизни, которой обещает научить его Брызгалов. Что ему останется делать, если его

действительно, как сказал отчим, вышвырнут из комсомола?

«Нет, нет, только не это»,— с отчаянием думал Гриша.

В странном, безвыходном одиночестве вновь очутился он.

Гриша, когда его выпустили из милиции, чувствовал себя очень неловко. Ему все время казалось, что решительно все встречавшиеся ему люди знают, как безобразно вел он себя возле кинотеатра, как бесцеремонно и унизительно тащили его дружинники, а он беспомощно барахтался, пытаясь вырваться, и ему за все это влепили трое суток.

Он никак не мог отделаться от этой неловкости и тогда, когда ехал домой в электричке, шел по поселку, поднимался на веранду брызгаловского дома. Не исчезло это чувство стыда и неловкости и за ночь. И пока шел утром на станцию, и потом — в электричке, в троллейбусе и автобусе — ему продолжало казаться, что на него многие обращают внимание, что это, разумеется, неспроста и что люди знают про него решительно все. Но в еще большее смятение приходил он тогда, когда думал о том, как встретят его на заводе. И чем ближе подъезжал он к заводу, тем сильнее становилось его отчаяние.

С пылающими от стыда щеками, понурив голову и не смея взглянуть на людей, миновал он проходную, пересек заводской двор и вошел в свой цех.

— Вот,— потупясь, сказал он встретившемуся ему мастеру.— Пришел...

Мастер, один из тех в прошлом пареньков, что пришел на завод в начале войны, оглядел его с ног до головы и сказал:

— Вижу. Давай к Моргунову, помогай ему. Зашивается наш единоличник.

Гриша, предполагавший, что на него будут кричать, упрекать или, что еще хуже, с ним вообще не захотят разговаривать, воспрянул духом.

— И все? — с надеждой, удивленно спросил он.

— А что еще? — в свою очередь удивился мастер.— Давай знай работай.

— Да я...— восторженно воскликнул Гриша, с благодарностью глядя на мастера.

— Ладно, давай поучись у этого единоличника уму-разуму,— нетерпеливо прервал его тот и поглядел на часы, висевшие на стене.

До начала работы оставалось десять минут. Гриша пошел в другой конец цеха, где было рабочее место Алексея Дмитриевича Моргунова, или, как его все звали, единоличника.

Моргунову шел пятый десяток. Он невысок, худощав, с бледного, с кроткими серыми глазами, всегда чисто выбритого шлепоносого лица не сходило ласковое, доброе выражение. Был он немногословен, дело свое знал хорошо, считался на заводе трезвым, исполнительным человеком, и его не раз ставили в пример другим, тому же Павлику Кудрявцеву. Не нравилось людям только то, что он живет как-то отдельно, замкнувшись в своем, никому не ведомом из заводских мирке, оберегая этот мирок от других, никого в него не допуская, не принимает участия в общественной работе, не остается даже на собрания и, как кончит работу, спешит домой. Прошел слух, что все это из-за того, что у Моргунова молодая строгая жена, которая крепко и властно держит его в ежовых рукавицах и командует им как хочет. Слух этот показался всем довольно правдоподобным, над Моргуновым посмеивались, а то, что он не отвечал на шутки, отмалчивался, уходил от зубоскалов в сторону, укрепило правдоподобие этого слуха. За все это Моргунова прозвали единоличником.

На самом же деле он был совсем не тем человеком, за которого его принимали, и об этой другой его жизни никто не догадывался.

— Ну что, брат Егорий,— сказал он, когда Гриша передал ему свой разговор с мастером.— Будем, значит, вместе работать. Чего не был долго? Болел?

— Нет,— сказал Гриша.— Я нахулиганил, и вот...— Он развел руками, тяжело вздохнув.

— Знаю,— спокойно отозвался Моргунов.— Я про тебя все знаю.

Гришу это удивило.

— Зачем же спрашиваете?

— А чтоб проверить, боишься ли ты правды. Человек с кривой душой бежит от нее, сторонится, ты же, видать, не такой. Это похвально.

Гриша был польщен. Он доверчиво и благодарно поглядел на Моргунова.

Долгое время работали молча. Железные коробки лифтов, сваренные и окрашенные в соседних цехах, поступали в сборку на маленьких вагонетках, двигавшихся по рельсам, проложенным вдоль пролетов. Бригады сбор-

щиков наполняли эти коробки электроаппаратурой, перекатывая вагонетки от бригады к бригаде, так что когда вагонетка достигала противоположной стены, то лифт уже был готов. Плотники одевали лифты в тесовые коробки и выкатывали за ворота, на склад готовой продукции.

Был конец месяца, все торопились, чтобы не осталось «незавершенки» и цех наверняка бы выполнил программу.

Торопились и Моргунов с Гришей. Хотя то, как действовал Моргунов, нельзя было назвать торопливостью. Движения его сухих, хилых на вид рук были рассчитаны, сноровисты; отвертки и ключи, которыми он работал, легко, словно без всякого усилия с его стороны, загоняли шурупы и подтягивали гайки. У Гриши так не получалось, хотя он очень старался не отставать от Моргунова.

— Я про тебя все знаю, брат Егорий,— после долгого молчания заговорил, не прерывая работы, Моргунов.— Просился ты однажды в общежитие, но тебе отказали, хотел ты поехать в Сибирь-матушку, но тебе не разрешили. Правильно говорю?

— Правильно,— сказал Гриша.

— Думал я о тебе, и стало мне за тебя обидно. Не там ты, видать, ищешь правду свою.

— Где же ее искать? — доверительно спросил Гриша.

— Да уж и не там, куда тебя Кудрявцев потащил. От него ты будь подальше — человек он грубый, странный и притом пристрастный к алкоголю. А это порок. От алкоголя все зло на земле. Пьющие да курящие — что за люди?

— Я в жизни никогда не пил,— проникновенно и доверчиво стал рассказывать Гриша.— Поверьте, даже не знаю, как это случилось тогда со мной.

— Что случилось, того уж не поправишь.— Моргунов говорил не спеша, ласковый, тихий голос его располагал к откровенности, и когда он спросил, для чего Грише понадобилось переезжать в общежитие, тот рассказал ему всю свою историю, начиная с беззаботной жизни на Рабочей улице и кончая последним разговором с отчимом.

— Вот как,— сказал Моргунов, внимательно слушавший его.— Выходит, трудно тебе без человеческой поддержки. Я давно подметил, что трудно. Я знал об этом.

— Очень трудно,— согласился Гриша.— И вообще...— Он помолчал.— А с отчимом, знаете, мы уж, наверное, не сможем поладить. Я так думаю, что пусть они живут посвоему. Я, конечно, ничего не могу с ними поделать, но

сам я там не имею права жить. Я, знаете, Алексей Дмитрич, как надо мне что-нибудь сделать, ну, в общем, на что-нибудь решиться, так я вспоминаю отца.

— Ты отца-то очень любил? — спросил Моргунов.

— Очень! — воскликнул Гриша.

— Это похвально.

— Я, знаете, конечно, может быть, неправильно скажу сейчас. Везде говорят и пишут, что мать всегда лучше отца, но для меня отец был все-таки лучше. Может так быть?

— Может,— сказал Моргунов.

— Вот если бы мне уехать от них... Я ведь понимаю — я у них лишний.

— Все это можно сделать,— несколько помедлив и, как показалось Грише, загадочно сказал Моргунов и внимательно поглядел на него.

— Правда? — воодушевился тот.

— И сделать можно тихо, мирно, без шума и обойтись без всякого ихнего общежития. Есть добрые люди, заметь — добрые люди, которые могут помочь тебе.

— Как же?

— Это уж я знаю. А от тебя потребуется одна только благодарность.— Моргунов помолчал и вновь пытливо поглядел на Гришу.— И может, еще кое-что, малость какую-нибудь.

— Я буду так вам благодарен! — воскликнул Гриша.— Я не знаю, что для вас могу сделать. Что хотите...

— Вот и хорошо. Ты запомни: люди должны помогать друг другу, потому что на земле много несправедливости.

— Я тоже так думаю.— Гриша был очень доволен тем, что нашел в Моргунове такого чудесного собеседника и единомышленника.

Как это они раньше не разговорились! И как славно совпадают их мысли!

— Для нас сейчас главное,— воодушевленно продолжал Гриша,— чтобы все люди были вместе, я так думаю, плечом к плечу, тогда нам ничто не может быть трудно, правда?

Моргунов, занятый работой, не ответил на этот его вопрос, но немного погодя сказал:

— После работы поедем ко мне, там поговорим, обмозгуем, как помочь тебе. Посоветуемся, одним словом.

— Я буду очень вам благодарен, Алексей Дмитриевич. А вы далеко живете?

— Недалеко,— сказал Моргунов.— Тут до моего дома прямое сообщение, и мы через полчаса будем на месте.

— Хорошо,— согласился Гриша,— я поеду.

Он опять — в который уж раз за сегодняшний день! — виновато, украдкой посмотрел туда, где работал со своей бригадой Лапшин, надеясь встретить его взгляд и узнать по этому взгляду, как Лапшин относится к нему. Но Лапшин, казалось, не обращал на Гришу никакого внимания.

«Конечно, он сердится на меня,— думал Гриша.— Мне надо подойти и извиниться перед ним, сказать, что для меня самого это оказалось совершенно неожиданным, что я наговорил явные глупости и очень сожалею, что так все случилось. Не со мной, конечно, со мной, скажу, все правильно, по заслугам, а по отношению к нему». Думая так, он продолжал свое дело и не заметил, что пора кончать работу.

Гриша уже умылся и, боясь упустить вышедшего из цеха Моргунова, поспешно вытирал руки, когда к нему с добрейшей улыбкой на лице подошел Павлик Кудрявцев.

— Здорово, друг! — воскликнул он, по обыкновению обняв Гришу за плечи, приблизив лицо свое к Гришиному лицу и заглядывая ему в глаза.— Ну как там, порядок? — И Павлик весело подмигнул.

Гриша ничего не ответил, лишь шевельнул плечами, стараясь скинуть с них руку Павлика.

— Ох, и здорово же ты тогда дал ему, этому знаменитому нашему Лапшину,— продолжал Павлик.— Всю правду, как есть, в глаза, да еще при всех людях. Ох, молодец! Дуремар, знаешь, даже повизгивал от удовольствия, когда ты резал этого Лапшина на чем свет стоит. Между прочим,— понизив голос и оглянувшись, чтобы узнать, нет ли около них посторонних, продолжал Павлик,— эта женщина, Дашка то есть, еще попросила принести ей того самого, чего тогда носили. Расплатится на месте, из рук в руки. Я уже приготовил. Баночку ты возьмешь, баночку — я, и порядок.

Грише наконец удалось освободиться от объятий Павлика. Попятившись и глядя на него в упор, Гриша звонким голосом сказал:

— Между прочим, вот что: ни в твоих воровских махинациях, ни в попойках я принимать участия не буду.

— Тише ты, дура,— испуганно прошептал Павлик.

— Не намерен,— все так же звонко продолжал Гриша.— Ты это запомни навсегда. Больше того, я и тебе со-

вствую прекратить воровство. Я тебе категорически предлагаю, иначе я заявлю о твоем поведении куда следует.

— А этого не хочешь? — и Павлик, зло оскалившись, поднес к Гришиному носу кулак.

— Ты этим меня не испугаешь.— Гриша отвел его руку в сторону, даже удивившись тому спокойствию, с каким он сделал это.— А тебе я говорю серьезно: если не бросишь таскать с завода, заявлю.

— Тю! — Павлик беспокойно натянул было на лоб и тут же вновь откинул на затылок свою малокозырочку.— Так ведь ты же сам и погоришь вместе со мной. Кто передавал тот раз фляги Дашке? Я передавал?

— Я передавал,— сказал Гриша.— Все равно. И готов за это ответить. Но тебя я серьезно предупреждаю: брось. А теперь до свидания, мне некогда.— И с этими словами Гриша решительным шагом, с независимым и гордым выражением на лице, очень довольный тем, как он держался с Павликом и сумел высказать ему всю правду, вышел из умывальной комнаты.

Моргунов жил на одной из тихих улиц села Богородского, давно уже слившегося с Москвой, в довольно прочном и опрятном, хотя уже достаточно старом деревянном доме с резными наличниками на окнах и даже (что очень редко можно видеть теперь в Москве) с палисадником, где густо росли кусты акации и длинноногие золотые шары.

— Входи, брат, входи, не стесняйся,— гостеприимно говорил он, стоя на крыльце перед распахнутой дверью и пропуская Гришу вперед.

Миновав полутемные прохладные сени, заставленные сундуками и кадушками, они оказались в маленькой, тесной прихожей, из которой вели три двери: одна — в кухню (Гриша сразу определил это по запаху щей, просачивавшемуся из-за этой двери в прихожую), другая — в спальню (эта дверь была полуприкрыта, и Гриша мельком успел увидеть кровать с голубым пикейным одеялом и горой подушек) и третья — в столовую. Эту дверь и распахнул Моргунов перед Гришей.

Столовая оказалась просторной, с четырьмя окошками, задернутыми тюлевыми занавесками, комнатой со множеством венских стульев вдоль стен и множеством икон в углу, что очень удивило Гришу.

Перед иконами, зажигая свечи и лампадки, стояла спиной к Грише полная, странно знакомая женщина в темном платье. Она что-то торопливо, неразборчиво ба-

ском напевала себе под нос. И голос этот тоже показался Грише очень знакомым. «Где я встречал эту женщину? — подумал он.— Ведь я знаю ее».

— Мир вам, сестра,— кротко проговорил Моргунов, тихо кашлянув в кулак.

Женщина, зажегши последнюю свечку, обернулась, и Гриша чуть не вскрикнул, вытаращив глаза от удивления.

Перед ним стояла Матрена Осиповна Раздорова. Она, в свою очередь, тоже удивилась этой неожиданной встрече, хотя и не подала вида, степенно поклонилась в пояс Моргунову, а потом, не спеша повернувшись, отвесила и Грише такой же поклон.

— Здравствуйте, тетя Муся,— сказал Гриша.

С нескрываемым любопытством оглядывался он, стоя посреди комнаты. И иконы с темными ликами святых, обрамленные в позолоченные ризы, потрескивающие, распространяющие запах воска и отражающиеся в этих ризах свечи, и Матрена Осиповна — все это явилось для него ошеломляющей неожиданностью, и он никак не мог собраться с мыслями и решить, как же ему поступить.

— Очень хорошо, сестра, что пришли вы раньше времени. Это очень кстати, сам бог вас послал,— говорил меж тем Моргунов, усаживаясь за стол, покрытый полотняной скатертью, на котором лежала толстая, вроде «Войны и мира», книга в кожаном переплете с вытисненным на этом переплете крестом, какие обычно бывают на колокольнях и на могилах и какой вытатуировал на своей руке Павлик Кудрявцев.— Будет у нас теперь время поговорить о деле не спеша, до молитвы, пока не собрались остальные братья и сестры.

Матрена Осиповна, стоя перед столом, сложив на животе руки, молча слушала его.

— Дело же будет вот такого рода, сестра,— продолжал Моргунов.— Надо помочь брату Егорию.— Он кивнул в сторону Гриши.— У вас, сестра, пустует комната, поскольку, известно мне, сын ваш остался служить в армии сверхсрочно, а вот брату Егорию жить негде. Стало быть, надо его приютить хотя бы на время, пока не придумаем другого выхода. А брат Егорий помолится с нами за это господу богу.

— Пусть живет. Он там жил. Места хватит,— быстро басом заговорила Матрена Осиповна.

— Постойте, погодите,— в замешательстве сказал Гриша, предостерегающе подняв обе руки.— Я не знал, что у

вас так.— Он указал на иконы.— Но мне такая помощь совсем не нужна. Я комсомолец, и никаких молитв я не признаю, что тете Мусе должно быть известно. И пусть это будет тоже и вам известно, Алексей Дмитрич. Вы ошиблись и совсем не за того меня приняли. Вот и все, что я могу вам сказать.— И Гриша, хлопая дверьми, поспешно вышел в прихожую, в сени, на крыльцо, сбежал с него и, облегченно вздохнув, зашагал к автобусной остановке.

И только тут ему пришло в голову, что ведь Моргунов пытался приютить его в той самой комнате, в которой он родился и в которой прожил всю свою жизнь, если не считать этих нескольких месяцев неудачной жизни в брызгаловском доме.

«Приютить»! Он впервые постиг смысл этого жалостливого, сиротского, нищенского слова и даже плечами передернул, таким нелепым показалось оно по отношению к той жизни, к которой стремился он со всей своей непосредственностью, откровением и упрямством.

«Приютить»! Да как это можно было его, Гришу Вострикова, приютить! Да еще с таким странным и нелепым условием, что он должен будет молиться за это богу. Вот чудеса!

Но как же все-таки ему быть?

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

Получалась довольно странная картина: то, к чему он стремился, о чем мечтал, чего так хотел, к чему был совершенно готов и для осуществления чего требовалось так мало — койка и тумбочка в общежитии, рекомендация комсомольской организации на новостройку,— все это оказывалось, как в сказке, за семью замками, за тридевять земель, и он, словно во сне, никак не мог к этому пробиться. А то, что предлагали ему Брызгалов, старуха, мать, Павлик Кудрявцев, Моргунов, было невозможно для него, противно его существу, его мыслям и представлениям о том, как должен вести себя современный молодой человек, он сам, Гриша Востриков, чтобы быть достойным тех высоких требований, какие предъявляют ему общество, школа, комсомольская организация, семья (пока был жив отец) и даже он сам, Гриша, пока жил на Рабочей улице и мог свободно поступать и располагать собою так, как подсказывали ему его разум и совесть.

Теперь же все изменилось до такой степени, что Гриша как бы терял над собою власть. И все это, по его мнению, происходило потому, что они с Аликом Колотушкиным никак не могли понять друг друга. Со всеми — и с отчимом, и с Павликом, и с Моргуновым,— лишь пожелай этого Гриша, можно было договориться, но только не с Аликом, таким строгим и непреклонным человеком. И главное, те доводы, которые приводил Алик всякий раз, как Гриша обращался к нему за помощью, казались даже самому Грише такими убедительными и неоспоримыми, что возразить на них было просто трудно.

Несколько иначе думал об этом Колотушкин.

Последний поступок Гриши, этот безобразный скандал около кинотеатра и пребывание его в тюремной камере, невероятно возмутили и оскорбили Колотушкина. Так хорошо продуманная, налаженная и отрегулированная им во всех ее звеньях и подробностях комсомольская работа вдруг оказалась не такой уж безгрешной.

А как отлично было все до этого! Ударники, бригада коммунистического труда, на которых держали равнение остальные комсомольцы; спортивный коллектив, состоявший в основном из комсомольцев и не однажды завоевывавший призы, вымпелы и кубки; агитбригада, работавшая среди населения не только во время выборных кампаний; учеба комсомольцев в кружках, на курсах, в вузах, техникумах, в школе рабочей молодежи! Все это и еще многое другое, чего сразу и не перечтешь, но что тоже характеризовало комсомольскую организацию завода как отличный, примерный, организованный и дружный коллектив, вдруг оказалось испорченным, запятнанным поступком одного лишь человека. Нелепость случившегося заключалась еще и в том, что поступок этот совершил член той самой комсомольской организации, у которой был отличный отряд дружинников, помогавших милиции следить за порядком в общественных местах и на улицах.

Теперь этот поступок должен стать предметом серьезного обсуждения и безжалостного порицания не только на заводе, но и в райкоме комсомола. В этом Колотушкин был убежден твердо.

Но если на заводе о поступке Вострикова можно было говорить как о случае частном, беспрецедентном, представив его изолированным от всей жизни организации, то в райкоме разговор пойдет, конечно, совершенно в другом плане, и, несомненно, возникнет вопрос не только и не

столько о самом Вострикове, сколько о том, что в заводском коллективе мало внимания уделяется работе с каждым комсомольцем. Словом, успехи и заслуги коллектива и самого Колотушкина будут взяты в райкоме под сомнение. В том, что так это и произойдет, Колотушкин был убежден.

Но, если разобраться по существу, разве мало внимания лично им, Аликом, было уделено этому злополучному Вострикову? Не с ним ли не однажды беседовал Алик с глазу на глаз, уговаривая, убеждая его, наконец, терпеливо доказывая ему всю несостоятельность его намерений и требований? А что можно было еще сделать с человеком, который считается только с собой, со своими прихотями и плевать хотел на разумные и резонные советы товарищей? И вообще на весь комсомольский коллектив завода и его славные традиции?!

Так рассуждал Алик Колотушкин, со всей своей прямотой считавший, что отлично узнал Вострикова и что лишь его нетерпимым характером и отсутствием самого элементарного уважения к коллективу можно объяснить его поведение. Однако кому-кому, а Колотушкину было достаточно ясно, что все эти его доводы могут быть свободно признаны в райкоме недостаточно обоснованными и найдутся люди, которые сумеют возразить ему.

Но как бы там ни было, а откладывать обсуждение поступка Вострикова не имело смысла. Алик не знал лишь о том, как в итоге надлежало поступить с ним, Гришей. Легче всего было бы исключить Вострикова из комсомола, как человека, поставившего себя вне коллектива. Но Алик, понимая, что тогда Востриков и вовсе выпадет из сферы какого бы то ни было, даже самого мизерного, влияния комсомольцев, колебался.

Надо было посоветоваться, и в первую очередь с Лапшиным.

«Лапшин,— думал Алик,— член бюро, сам пострадал от хулиганской выходки Вострикова. Он, конечно, будет согласен с моим мнением».

Авторитет и влияние Лапшина среди заводской молодежи были столь же велики и неоспоримы, как авторитет и влияние самого Альфреда Степановича Колотушкина. И порой Алику приходилось лишь с огорчением сожалеть, что мнения их оказывались диаметрально противоположными. Но сейчас по предложению Алика Лапшин, возмущенный выходкой Вострикова, как и всякий разумный

оскорбленный человек, должен был безоговорочно занять его сторону.

Бригада Лапшина считалась лучшей молодежной бригадой на заводе не только по работе, но и по тому, как она жила.

А жили лапшинские ребята с той сердечной простотой, пристальным вниманием и доверчивым уважением к каждому, даже незнакомому им человеку. Они, например, считали, что современному советскому человеку свойственно не только все это возвышенное, честное, чистое и благородное, что воспитывалось и передавалось людьми из поколения в поколение, но и нечто значительное и большее. Это значительное и большее, по их мнению, заключалось в том, что современный советский человек, воспитанный великими идеями партии, примером великого Ленина, мог и обязан был сделать и делал такое, что другим людям было сделать невозможно.

Людям иной формации было бы невозможно, например, совершить то, что совершили комсомольцы тридцатых годов, стекливши, обмораживая руки, при сорокаградусном морозе крышу тракторного завода; им было бы невозможно совершить то, что совершили в годы Отечественной войны молодогвардейцы, Космодемьянская, Матросов; они бы не смогли вести себя так, как вела себя на полузатопленной барже в штормовом океане потерявшая связь с Родиной четверка моряков, им оказалось бы невмоготу то, что сделали первые целинники, первые строители сибирских гидростанций. Всё это и еще многое другое, считал Лапшин, могло быть присуще лишь советскому человеку, удивлявшему и восхищавшему мир своими беспримерными героическими подвигами. Именно исходя из этих соображений и следуя святой заповеди нашей партии, что человек человеку друг и брат, они, вступая в соревнование за звание бригады коммунистического труда, написали в своем торжественном обязательстве: «Если при тебе обидели человека, значит, и ты виноват».

А Лапшин, считал Колотушкин, был сейчас тем самым человеком, которого незаслуженно оскорбили. Следовательно, резонно полагал он, и другие члены бригады будут с ним заодно.

В бригаде их было четверо: Лапшин, Берг, Басов и Полетаев, с некоторых пор прозванный Летописцем-очковтирателем; четверо совершенно различных и по характеру, и по склонностям, и даже по способностям молодых людей.

Да, они были различны и непохожи друг на друга! Сухопарый, расчетливый и рассудительный студент машиностроительного института Леша Берг и веселый, по любому поводу скаливший белые, крепкие, ровные зубы, широкоплечий, весь от шеи до пяток перетянутый тугими канатами мышц Дима Басов (он учился в Институте физкультуры); прямолинейный и откровенный в своих суждениях (прямолинейнее и откровеннее даже самого Алика Колотушкина) смуглый кареглазый красавец Петр Лапшин, заканчивавший институт Иностранных языков, и добродушный толстогубый Андрей Полетаев, который, будь его воля, вообще ничего бы не изучал и теперь учился лишь потому, что Лапшин поставил перед ним задачу во что бы то ни стало, хоть с грехом пополам, но закончить вечернюю школу рабочей молодежи.

Берг любил музыку, театр, искусство, сам музицировал на рояле; Лапшин запоем читал в подлинниках английскую литературу; Басов часами мог надоедать всем разговорами о тяжелой атлетике, а Полетаев, курносый, большеротый, веснушчатый добряк Летописец, тоже мог часами и с не меньшим увлечением говорить о хорошеньких девушках, то есть о том, что для него пока было самым недосягаемым. Хорошенькие девушки, а их было полным-полно в обмоточном цехе, почему-то дружно обращали внимание на Лапшина, были снисходительно благосклонны к Бергу и Басову, но совершенно игнорировали Летописца.

Вот как непохожи друг на друга были эти парни, составлявшие на заводе лучшую молодежную бригаду.

Алик Колотушкин, рассказывая при первой встрече с Гришей об этой бригаде, не преувеличивал. Они действительно жили хотя и в новом доме, но в очень тесной комнате, где с трудом размещались четыре кровати, диван, стол и платяной шкаф. Но Колотушкин тогда недосказал, что они продолжали жить в этой комнате, как любил говорить сам же Колотушкин, по собственному желанию. Дело в том, что они уже собрались было перебираться в другой, новый дом, в другую, чуть не вдвое большую комнату, как узнали, что из-за них лишалась жилплощади одна многодетная работница красильного цеха. И они отказались от переезда, хотя это был пока единственный и благоприятный для них случай: новый заводской дом будет теперь построен не скоро.

История с посещением театра, которую так хотел рассказать Алик Колотушкин и о которой уже знал Гриша,

не была каким-либо исключением в жизни этих молодых людей. Некоторое время спустя они все же были в театре и по настоянию Берга, считавшего своей обязанностью руководить эстетическим воспитанием бригады, слушали «Руслана и Людмилу». По дороге домой Берг с превосходством и снисхождением, какими обычно щеголяют знатоки-любители перед непросвещенной публикой, рассказывал о Глинке, о том, как была написана опера; Лапшин и Басов, вежливо поддерживая разговор, выразили свое восхищение музыкой, танцами, декорацией и пением знаменитых артистов. Но выразили все это с той неуклюжей искренностью, за какой сразу угадывалось, насколько поверхностны по сравнению с блестящими знаниями Берга их познания в области оперного искусства. Берг чувствовал себя на высоте. Летописец всю дорогу внимательно слушал их рассуждения и, лишь когда приехали домой, высказал наконец и свою точку зрения, безапелляционно заявив, что ему больше всего нравится хор имени Пятницкого и Краснознаменный ансамбль.

— Как запоют все вместе,— воодушевленно развивал он свою мысль,— красота! А тут, сколько раз было за спектакль, затянут — и не разберешь что. Трое поют, и каждый тянет свое, как в басне у дедушки Крылова, словно у них не было времени потренироваться, чтобы пропеть согласно, хором.

Басов, выслушав его признание, захохотал, а Берг, оскорбленный до глубины души, печально, с укором поглядев на Летописца, промолвил:

— Мда-а...

— А вот Людмила понравилась тебе? — спросил Лапшин, восхищенный игрою и голосом артистки, исполнявшей роль Людмилы.

— Людмила? — спросил Летописец.— Людмила — ничего девочка. Это ты верно. Симпатичная блондинка.

— Эх ты,— сказал Берг.— Только девочки у тебя на уме. Стыд и срам! Это же заслуженная артистка, у нее уже сыновья, наверное, такие, как ты.

— Тю! — разочарованно воскликнул Летописец.— У Пушкина она ведь молодая совсем, я же читал, знаю. Выходит, это очковтирательство в театре, да?

Басов опять засмеялся.

— Очковтирательством, между прочим, ты тоже умеешь неплохо заниматься,— заметил Лапшин.— И притом от имени всей бригады.

На сей раз Летописец, скромно потупясь, промолчал.

Замечание Лапшина было справедливым. Дело в том, что несколько месяцев назад Колотушкин придумал для молодежных бригад дневники. Роздал бригадирам толстые, в клеенчатых обложках тетради и в категорической форме предложил ежедневно записывать в эти тетради все, что будет случаться в бригадах по линии культурно-массовых мероприятий.

— Это зачем же? — спросил Лапшин, с детства испытывавший отвращение ко всякого рода дневникам и письмоводительству.

— Для того, чтобы мы имели возможность в любую минуту восстановить полную картину жизни наших бригад,— ответил Алик.

— Э,— разочарованно сказал Лапшин,— это уже попахивает бюрократизмом.— Но тетрадь он взял и вручил ее Андрюше Полетаеву со словами: — Будешь нашим летописцем. Вроде Пимена. Читал «Бориса Годунова»?

— Читал,— сказал Андрюша.— Будет сделано.

Однако вновь испеченный летописец по врожденной лености не прикасался к тетради около двух месяцев, и она преспокойно пролежала у него в тумбочке во всей своей первозданной чистоте.

Спохватился Летописец лишь тогда, когда Колотушкин, готовившийся к выступлению на бюро райкома ВЛКСМ о жизни и деятельности молодежных бригад, попросил у Лапшина тетрадь, как он сказал, «для фактов».

Но тетрадь была пуста. Фактов не существовало.

— Садись и вспоминай,— сказал Лапшин Летописцу.

И тот стал вспоминать. Что вспоминал, а что выдумывал.

В результате многочасового напряженного и кропотливого труда тетрадь была заполнена такими лаконичными, содержательными и мудрыми заметками (приводим здесь лишь некоторые из них):

«9 июня. Поздравили Диму с днем рождения и подарили ему коллективный подарок.

11 июня. Участвовали всей бригадой в митинге по случаю награждения завода Красным знаменем ВЦСПС.

12 июня. В обеденный перерыв читали газету «Известия».

15 июня. Вели беседу на свободную тему.

17 июня. Ездили в театр, но Леша Берг спасал ребенка и попал в лужу, и поэтому в театре не были.

19 июня. Дима Басов рассказывал о том, что лучше тяжелой атлетики нет никакого спорта.

20 июня. В обеденный перерыв говорили о дежурстве в цехе».

Лапшин прочитал все это и многое еще другое, швырнул тетрадку на стол и сказал:

— Довольно очковтирательством заниматься!

— Так это же для Колотушкина,— робко возразил Летописец.

— Вот пусть сам Колотушкин и занимается этим очковтирательством. А мы принимать участия в таком грязном деле не будем. Понял?

— Понял. Чего теперь дальше делать с тетрадью?

— Используй ее себе для арифметики.

— Будет сделано,— сказал Летописец-очковтиратель, несказанно обрадовавшись тому, что освобождался от непосильной для него обязанности.

Незадолго до того дня, когда пьяный Гриша встретил около кинотеатра Лапшина, Басов взял на неделю отпуск и вылетел в один из целинных казахстанских совхозов к сестре на свадьбу. Его собрали в дорогу, по словам Летописца-очковтирателя, честь по чести и купили молодоженам рижскую радиолу. Чтобы отсутствие Димы не сказалось на работе, распределили меж собой все его обязанности, для чего каждый день задерживались в цехе на полтора-два часа.

Так весело, дружно и согласно жила славная бригада Лапшина, та самая бригада, которую не уставал ставить всем в пример Колотушкин и про которую несколько раз писали в газетах. А рядом с этими счастливыми парнями жил, страдая, мучаясь, вконец уж растерявшийся перед возникавшими то и дело испытаниями судьбы Гриша Востриков.

В тот день, когда Алик Колотушкин решил узнать мнение Лапшина о Грише Вострикове, от Басова была получена телеграмма несколько странного, загадочного содержания: «Вторые сутки сижу аэродроме». Почему он там сидит: не может ли достать билет, не хватает ли денег на этот билет или еще по какой-либо причине, и вообще сколько он там просидит, Басов не сообщал. А еще накануне он должен был приступить к работе. Эта телеграмма обеспокоила Лапшина. Тем не менее он внимательно выслушал Колотушкина.

— Понимаешь,— рассказывал Алик, уединившись с

Лапшиным,— для меня это дело совершенно ясное и в то же время,— он пожал плечами,— черт его знает, как быть с ним. Как ты думаешь?

Лапшин, сидевший за столом, подперев голову ладонью, неопределенно пожал плечами.

— Надо учесть, что мы с ним не первый день мучаемся,— продолжал Алик.— Человек он какой-то фальшивый, несамостоятельный, бросил учиться, собрания не посещает, общественных поручений никаких не несет, а не так давно наобещал мне и то и это...

Лапшин продолжал молчать.

— Мне, говорит, спать хочется. И весь его разговор. Теперь дома. С родными не ладит, хочет уходить от них, а они создают ему все условия,— говорил меж тем Алик, поняв молчание Лапшина как согласие с его, Алика, мыслями.— Я видел его мать, очень симпатичная женщина. Говорит, что он все время был человек человеком, а за последнее время его словно подменили, стало совсем не узнать. Она сама не знает, как с ним быть, какие меры принять, чтобы опять человеком сделать.— Он помолчал.— Теперь вот эта история с тобой.

— Странная история...

— Именно странная,— воодушевленно подхватил Колотушкин.— И заметь: все время требует, чтобы мы создали ему какие-то особые условия. Ты вот требуешь? — несколько заискивая, спросил он.

— Нет. Не требую.

— Видишь! — обрадованно воскликнул Алик.— А он требует. И никакого постоянства. То ему необходимо в общежитии жить, то вдруг рекомендуй его на новостройку в Сибирь. А как мы его, такого, рекомендовать можем? Он ведь и там сумеет напиться и черт знает что натворить. Ты скажи, сколько же нам с ним нянчиться? Почему он может безнаказанно делать все, что ему вздумается?

— Поговорить бы с ним не мешало,— задумчиво произнес Лапшин.

— Вот-вот,— осуждающе покачал головой Колотушкин.— Человек ничего не хочет принимать во внимание, человеку совершенно наплевать на авторитет всего нашего коллектива, а с ним, видишь ли, надо вновь поговорить! — Он помолчал и, обиженно отвернувшись, спросил: — Каково же все-таки будет твое мнение?

— А никакого,— сказал, поднимаясь, Лапшин.— Ты

прости, мне надо работать идти, а то у нас Дима почему-то на аэродроме сидит.

— А может, ты поговоришь? — спросил Алик.

— Почему я? — удивился Лапшин, обернувшись с порога.— Ты комсорг, ты и разговаривай.

— А я не буду,— решительно заявил Колотушкин и даже пристукнул для убедительности по столу.— Он надоел мне не меньше Кудрявцева. Ставим вопрос на бюро.

— Как знаешь,— сказал Лапшин, шагнув за порог.

Но, расставшись с Колотушкиным и проходя по цеху, Лапшин думал: «А почему бы мне в самом деле не поговорить с ним? Если Колотушкин обозлен, почему бы мне? А зачем? Чтобы знать. Но он меня оскорбил. Это неважно, я ведь не знаю — почему? И все-таки это неправильно: первым заговаривать с человеком, оскорбившим тебя. Ну, а если все не так, как предполагает Алик? Что-нибудь — и не так? Если все-таки заставить себя и поговорить?»

Он остановился в нерешительности и поглядел туда, где работал его обидчик, увидел грустное, осунувшееся лицо, стариковскую сгорбленность в плечах, и что-то дрогнуло у него в сердце.

Гриша продолжал работать вместе с Моргуновым. После посещения моргуновской молельни он попросил было мастера дать ему какую-нибудь другую работу, но мастер, выслушав его, даже руками всплеснул:

— Ну ты гляди! Нигде человек не может ужиться! Не мудри ты, ради бога, работай, куда послали тебя, и учись, учись у этого единоличника.

Гриша только вздохнул в ответ. Рассказать мастеру о том, к чему этот тихоня пытался склонить его, Гриша не решился. После всего случившегося с ним, думал он, ему все равно теперь никто не поверит.

С Моргуновым они почти не разговаривали, делая вид, что между ними ничего особенного и не произошло, хотя Моргунов нет-нет да и поглядывал на Гришу своими кроткими и, как теперь казалось Грише, зоркими и беспокойными глазами. Гриша всякий раз спешил отвернуться от него.

Как он был одинок сейчас! Каким тревожным представлялось ему его будущее! Как поступят с ним комсомольцы? Как он будет жить дальше? Все это безысходной тоской давило ему на сердце. И, когда к нему вдруг подошел Лапшин, которого он теперь и стыдился и боялся, Гриша даже побледнел.

— Ну что же,— сказал Лапшин, отведя его в сторону.— Ты обидел меня, моих товарищей, а кто же извиняться будет?

Гриша стоял перед ним потупясь.

— Молчишь?

Гриша не ответил.

— Почему?

Гриша наконец собрался с силами, заставил себя взглянуть в глаза Лапшину и признался:

— Мне стыдно.

— Эх ты, друг-человек,— сказал Лапшин, дружески похлопав его по плечу.— Расскажи-ка мне, почему ты из дома решил сбежать.

Всего мог ожидать Гриша от Лапшина, только не этого.

— А зачем тебе знать? — недоверчиво спросил он.

— По-товарищески,— сказал Лапшин.— Тебя же на бюро будем обсуждать. Только ты так: все по-честному, идет?

— Хорошо,— сказал Гриша.— Я расскажу с самого начала, как все произошло.

И он в третий раз принялся рассказывать о том, что случилось с ним нынешним летом.

Лицо Лапшина, внимательно слушавшего эту печальную историю, становилось все мрачнее и мрачнее.

— Черт знает что,— наконец сказал он.— Черт знает что. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь,— и решительным шагом ушел в соседний пролет, где работали Берг и Летописец.

— Ребята,— сказал он,— надо выручать человека из беды. Пропадает человек.

— Диму? — встревожился Летописец.— Новая телеграмма?

— Вострикова! Плохо у него,— Лапшин кивнул в ту сторону, где стоял, терпеливо дожидаясь его, Гриша.— Невозможно как плохо. Попал в какой-то кулацкий дом, его даже на базаре заставляли торговать. А он не может. Не из тех. Понимаете? И на работу ему ездить далеко. Каждый день в четыре утра поднимается парнишка. Учиться из-за этого бросил. Просился в общежитие — Колотушкин не понял, отказал.

— С общежитием у нас туго, это верно,— заметил Берг.

— В таком случае, когда человеку трудно,— жестко ответил Лапшин,— место в общежитии должно найтись.

Кто нам позволил человека на произвол судьбы бросать?

— А что в данном случае от нас требуется? — спросил Берг.

— Помощь требуется,— ответил Лапшин.

— Что ты предлагаешь? — Берг, как всегда, был строг и точен. Он не любил неясностей.

— Взять его к себе.

— Это невозможно.

— Возможно.

— Нам самим тесно.

— Потеснимся еще.

— А что! — воскликнул добрый Летописец.— Место у нас найдется. Раз четверо живем, пятый тоже поместится. На диване хотя бы. Верно? Он парень ничего.

— Вот именно ничего,— заметил Берг.— Ничего — значит плохо. Он все может нам испортить.

— А в этом мы сами будем виноваты.— Лапшин давно уже отбросил все сомнения, забыл и обиду. Он видел одно: человеку плохо и его надо выручать.

— Как еще Колотушкин посмотрит на это,— продолжал не спеша рассуждать Берг.— Скажет, передовая бригада, неудобно. Потом эта самая история. Она ведь еще не окончена.

— У меня Колотушкин сегодня спрашивал, что я думаю насчет этой истории,— сказал Лапшин.— Теперь я ему скажу, что вместе с Востриковым надо было посадить на трое суток и самого Колотушкина. И других членов нашего бюро. В том числе и меня. Мы еще в этом деле разберемся и установим, кто в первую голову виноват во всем. Ну, решим?

Летописец робко сказал:

— Только ведь Димы еще нет.

— С Димой договоримся,— ответил Лапшин.

— Ты убежден, что так и надо? — спросил Берг.

— Убежден.

— Будет трудно. Стоит ли?

— Стоит.

— Ну, раз так считаешь,— ответил Берг, пожав плечами,— не буду спорить.

— Валяй, Петя, валяй,— с доброй своей улыбкой ободряюще сказал Летописец.

И Лапшин пошел к Грише, чтобы спросить его согласия.

Но согласия у Гриши можно было и не спрашивать. Для него все это явилось такой ошеломляющей неожиданностью, что он в растерянности даже забыл поблагодарить Лапшина и лишь нетерпеливо спросил:

— А когда можно переехать к вам?

— Сегодня,— ответил Лапшин.— Кончишь работать, кати домой и забирай свои вещи. Много их у тебя?

— Да откуда! — воскликнул Гриша.— Один чемодан.

— Вот и хорошо. Заберешь — и прямым ходом к нам. А мы тебе постельное белье у коменданта возьмем. Ясно?

— Ясно,— сказал Гриша.

Дома к его переезду в общежитие отнеслись по-разному. Старуха, ничего не сказав, ушла доить корову. Однако по ее лицу было видно, что она осталась очень довольна тем, что Гриша уезжает от них. Отчим был поражен. Выслушав Гришу, он сказал:

— Ничего не понимаю. Они там у вас, наверное, посбесились все на заводе. Вместо того чтобы наказать тебя как следует за твое хулиганство, они тебя в коммунистическую бригаду принимают. Хороша, наверное, бригадка.

— Хороша,— сказал Гриша.— Впрочем, вам все равно этого не понять.

— Где уж мне...— усмехнулся отчим.

А мать молчала, молчала и заплакала. Она еще до сих пор продолжала надеяться, что Гриша помирится с отчимом и они заживут одной согласной и счастливой семьей. Теперь она поняла, что надежды ее не сбылись.

Грише стало жаль мать.

— Ты, мама, не плачь,— мягко, растроганно сказал он.— Мне ведь надо учиться по вечерам, а здесь я не успеваю. А там все будет рядом.

— Я понимаю,— огорченно сказала она, вытирая ладонью слезы со щек.— Я все понимаю. Поступай как знаешь. Только мы тебе всегда добра желали, а ты все по-своему.

— Перестань причитать! — строго оказал ей отчим.— Тебе вредно сейчас.

Плакать ей было сейчас в самом деле вредно, так как она ждала ребенка.

Гриша поднялся в свою комнату, в последний раз посмотрел в окошко на пожелтевшие, тихие и грустные в этот вечерний час сады, на крыши давно уже полуопустевшего поселка, уложил в чемодан вещи и с легким сердцем покинул брызгаловский дом, нисколько не сожалея об этом.

Единственно, что он ощущал в себе сейчас, что с каждой минутой, с того самого мгновения, как Лапшин объявил ему о решении бригады, росло в нем, заполняя собою все его доверчивое и так настойчиво тянущееся к людям существо, была радость. С радостью спешил он в Хорьково, шагал по поселку; с радостью заявил о своем переезде отчиму, старухе и матери; с радостью и вновь окрепшим чувством любви и уважения к людям, к постоянно творимому ими добру и безграничной верой в это человеческое добро, погасшей было в нем из-за Алика, Павлика и Моргунова, возвращался он в Москву с чемоданом в руках. И так это чувство, эта радость были сильны, что он уж великодушно простил и Колотушкину, и Павлику, и Моргунову и готов был совершить для первого встречного человека все что угодно. Хоть выпрыгнуть на ходу из электрички. Ах, если бы случилось сейчас что-нибудь такое необыкновенное, чтобы он мог доказать людям, как он любит всех и предан им!

Но ничего особенного, выдающегося, из ряда вон выходящего не случилось ни в электричке, ни в троллейбусе, ни в автобусе. Все было обыденно и нормально, и Гриша даже разочаровался, что все так благополучно и ему не представилось никакой возможности проявить сейчас себя.

Он уже подходил к тому большому новому дому, стоявшему невдалеке от завода, в котором жила бригада Лапшина, как его окликнули:

— Гришка! Петушок!

И он сразу узнал, кто так радостно зовет его, и сердце его заколотилось сильнее и чаще. Он поставил на тротуар чемодан и с улыбкой, с той счастливой, неудержимой улыбкой, которой так не хватало сейчас его воодушевленному, разгоряченному лицу и которую он всю дорогу сдерживал, чтобы не показаться людям смешным, обернулся и увидел Лизу Прямкову.

Лиза, в форменном коричневом платье и черном переднике, подбежала к нему и, перекинув свою толстую косу на грудь, теребя пальцами ее конец, тоже не скрывая счастливого удивления, глядела на него.

— Как ты сюда попал?

— Я здесь буду жить,— сказал он.— А ты?

— А я здесь давно живу. Вон там.— Она указала глазами на самый верхний этаж.— В шестьдесят четвертой квартире.

Они неловко помолчали, с улыбкой рассматривая друг друга.

— Я, знаешь, однажды видела тебя. Совсем недавно,— сказала Лиза.

— Где? — спросил он.

— Это неважно,— несколько смутившись, пожала она плечами.— Ты меня не заметил.

— Что же ты не подошла?

— Так. Было неудобно.

— Вот еще, неудобно,— великодушно сказал он.— Если бы я увидел тебя, я бы подошел и не посчитал, удобно это или нет.

— Гришка, ты все такой же,— проговорила она, глядя на него.— А я тогда так волновалась. Впрочем, это не важно, правда? Значит, у тебя все хорошо?

— Очень хорошо. Меня в бригаду коммунистического труда приняли,— похвастался он.— Вообще-то, было неважно, а теперь очень хорошо.

— Я рада за тебя. Честное слово. И папа будет рад, когда узнает. Ты теперь будешь к нам заходить?

— Обязательно. Только ты сейчас прости, я спешу.

— Иди, иди,— разрешила она.— Я тоже спешу.

Гриша кивнул ей, подхватил чемодан и, уж не скрывая от людей своей счастливой улыбки, вошел в подъезд своего нового дома.

Дверь комнаты, в которой теперь предстояло ему жить, открыл Летописец.

— Входи давай,— сказал он, пропуская мимо себя Гришу.— Мы тебя давно ждем. Дима тоже приехал.

Лапшин, Берг и Басов сидели посреди комнаты за столом. Лапшин, кивнув в сторону дивана, сказал:

— Устраивайся и садись с нами чай пить.

— Я сейчас,— сказал Гриша и принялся суетливо застилать диван простынями.

Басов продолжал прерванный Гришиным приходом рассказ:

— Ну, приехал в область, на аэродром, а там,— он взялся руками за голову, покачался из стороны в сторону,— батюшки мои, что делается! Народу полным-полно. Самолеты принимать принимают, а на Москву не выпускают — погода нелетная. И никто не знает, когда полетим. Начальство аэродромное то прячется от нас, то велит поездом ехать. А поездом ехать четверо суток. Да еще надо сесть в него, в тот поезд...

— А ты бы сказал, что тебе надо на работу, что ты опаздываешь,— перебил его Летописец.

— Там все опаздывают,— взглянув на него, сказал Басов.— Одним словом, ералаш. И никаких перспектив, никакого порядка. Но вот появляется один из начальников, дежурный, что ли, и говорит, что через два часа полетит первый самолет. Его сейчас же окружили, галдят, толкаются, суют ему под нос всякие справки, телеграммы, удостоверения. Всем, конечно, хочется улететь. Он постоял, постоял, зажал ладонями уши, говорит: «А ну вас всех к чертовой матери!» — и ушел. Поглядел я на этот беспорядок, вижу,— толку никакого не будет, влез на лавку и говорю: «Внимание, товарищи! Будем составлять список, кому лететь в первую очередь, кому — во вторую и так далее». Взял карандаш, бумагу и давай всех переписывать.

— А как ты узнал, кому — срочно, кому — нет? — спросил любопытный Летописец.

— Ну, это нетрудно. Женщина с грудным ребенком, больная старуха, кто по срочному вызову, словом, много таких. Их в первую очередь.

— Вот бы и ты тоже,— подхватил Летописец.

Басов укоризненно посмотрел на него.

— Я, ребята, конечно, понимаю,— сказал он,— вам пришлось туго без меня, но решайте сами, правильно я поступил или нет, когда записал себя почти самым последним.

— Правильно,— сказал Лапшин. Он посмотрел на Гришу, который держал в руках портрет отца и нерешительно оглядывался по сторонам.

— Кто это? — спросил Лапшин.

— Отец,— сказал Гриша, подойдя к столу и протягивая Лапшину портрет.

Все склонились над столом, рассматривая портрет майора, на груди которого сияли боевые ордена и медали.

— Здóрово, видать, повоевал,— сказал Берг.

— Конечно,— гордо сказал Гриша.— Он целым батальоном командовал.

— Так ты давай его на стену, вот сюда, над диваном,— сказал Лапшин.— Хорошо будет ему у нас?

— Хорошо,— сказал Гриша со слезами на глазах и, прижав портрет отца к груди, с благодарностью посмотрел на своих добрых друзей.

1962

КОЛЬЦО, ИЛИ ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО НАШЕГО ДРУГА А. БЕРЕЗИНА, ЕГО ЗНАКОМЫХ И БЛИЗКИХ

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

ПОСЛЕ ЗВОНКА

Началось все это пять лет назад. Майя Васильевна, преподавательница русского языка и литературы, молодая, решительная, пришедшая в школу прямо из института, приняв класс, предложила Саше Березину стать ее помощником.

Теперь она понимала, что это был неразумный поступок, но тогда сгоряча ей хотелось поскорее познакомиться с классом, с характерами, способностями и наклонностями учеников, оперативнее руководить ими, распространять на них свои взгляды и убеждения, казавшиеся ей очень справедливыми.

Березина она выбрала потому, что, по отзыву учительницы, воспитывавшей его первые годы, он был способным и честным мальчиком, хотя и не отличался особой дисциплинированностью. Майя Васильевна полагала, что, приблизив к себе Березина, убьет сразу двух зайцев: постоянно будет знать, что творится в классе, и «подтянет» дисциплину и прилежание самого Березина.

Саша предстал перед ней со сбившимся набок пионерским галстуком, потный, растрепанный, красный: он только что играл с товарищами в чехарду.

— Саша,— сказала Майя Васильевна, как бы не замечая, в каком виде он явился к ней,— наш класс должен стать самым лучшим в школе и по успеваемости и по дисциплине. Ты, конечно, хочешь этого?

— Хочу,— сказал он, еще не успев отдышаться.

— Я так и знала. Ты мне должен помочь как пионер, как один из активных учеников. Станешь призывать товарищей к порядку, показывать им пример поведения, а после уроков будешь рассказывать мне, кто и как вел себя в классе: шалил, не занимался, шумел, говорил что-нибудь нехорошее про учителей. У тебя будут очень ответственные обязанности.

— Это чтобы я был ябедой? — с откровенным изумлением спросил Березин, исподлобья поглядев на учительницу.

— Фу, как нехорошо ты понял меня! — слегка смутившись, сказала Майя Васильевна.— По-твоему, значит, выявлять и исправлять недостатки — что-то дурное? Какой же ты тогда пионер, помощник комсомола?

— Нет, не буду,— отвечал Березин.

— Однако...— Учительница уже начала сердиться.— Я не ожидала от тебя такого ответа. Иди и подумай.

— Я про это не буду думать.— Березин упрямо нагнул голову.

— Иди подумай и завтра скажешь мне.— На щеках Майи Васильевны выступил гневный румянец. Настойчивость этого лобастого, растрепанного мальчика начинала раздражать ее.— И потом, что у тебя за вид! — сдержанно и строго продолжала она.— Поправь галстук.

Березин покорно вздохнул, выдернул из-под воротника узел галстука и вышел в коридор.

Коридор гудел, сотрясался от топота. Дежурные старшеклассники тщетно пытались навести порядок. Не успевали они в одном конце коридора унять бесшабашную энергию своих младших собратьев, засидевшихся за партами, как стихийные события в виде потасовок, «куча мала», салочек, лямочек, грозившие, казалось, мгновенно вырасти в катастрофу, расшатать, развалить все школьное здание, возникали в другом конце. Березин, прикрыв за собой дверь, сразу забыл о разговоре с учительницей.

Майя Васильевна, когда вышел Березин, долго еще находилась в расстроенных чувствах.

Антипатия и недружелюбие, которые возникли у нее в тот день, держались в душе стойко, никогда уже потом не проходили, и все, что ни делал Березин, казалось ей вызывающе грубым, и она все время стремилась сломить его характер, подчинить себе, заставить поступать так, как она этого хочет.

Однажды, уже в восьмом классе, собирали железный лом, и Березин отличился, прославился на всю школу. Он создал бригаду из восемнадцати пионеров, назвал ее «кавалерийским отрядом» и повел в рейд «по тылам врага». В результате этого рейда березинский отряд собрал больше всех лома и вышел на первое место, а потом в школу стали приходить представители различных организаций и требовать этот лом обратно, так как вместе с ржавыми

кастрюлями и ведрами была сдана, например, железная тележка, принадлежащая столовой райпищеторга, на которой возили продукты. Правда, тележка была кривобокая, ржавая, с погнутой осью, колеса виляли из стороны в сторону, возить ее было трудно, и рабочие даже обрадовались, что так удачно избавились от нее. А вот история с железными воротами оказалась сложнее. Увезли их от здания, в котором помещалось домоуправление, на подводе, находящейся в распоряжении управляющего домами, а грузить их на телегу помогал даже участковый милиционер лейтенант Кашкин.

Дело было так. Разведка донесла Березину, что во дворе дома № 17 по Свободной улице возле входа в домоуправление свалено в кучу старое кровельное железо: недавно ремонтировали крышу. Березин принял решение атаковать управдома. Атака была молниеносной. Управдом, застигнутый «кавалеристами» в конторе, сдался без боя: это железо давно уже мозолило ему глаза. Больше того, для перевозки трофеев он предоставил победителям транспортные средства, вызвал возчика, работавшего у него в тот день от конторы «Гужтранспорт», и сказал:

— Там железо старое надо будет пионерам подбросить. Они укажут.

Когда началась погрузка, разведчики, шнырявшие по двору в поисках других металлических предметов, наткнулись на старые, прогрызенные ржавчиной ворота. Вернее, это была лишь одна створка. Куда девалась другая, никто из жильцов уже не помнил. Створка эта, снятая с петель, много лет стояла возле стены, и на нее в темноте все натыкались. «Кавалеристы», разумеется, не знали такой незначительной подробности, что ворота собрались наконец ремонтировать и даже заказали вторую створку. Березин все лично осмотрел и составил такой план: они подгонят подводу к воротам, быстро погрузят их, а чтобы управдом не вышел в это время во двор, к нему в контору пробираются три лазутчика и начинают усиленно благодарить за помощь в сборе металлолома.

Ворота оказались тяжелыми, и вряд ли «кавалеристы», даже при помощи возчика, добродушного, здорового старика, сумели бы справиться с ними, но в это время по улице шел лейтенант милиции Кашкин. Увидев суетившихся возле ворот пионеров, поинтересовался, что они делают. Оказалось, делают хорошее, доброе дело: собирают металлолом.

— Решено сдать эту рухлядь в переплавку,— сказал Березин, небрежно похлопав по воротам ладонью и внимательно следя за выражением лица участкового.— По нашим подсчетам, из этого лома выйдет два новеньких мотоцикла. Знаете, таких, ижевских, для ОРУДа.

— Молодцы, ребята! — похвалил Кашкин, давно уже грозившийся оштрафовать управдома за то, что ворота мешают движению и портят вид.

— Так, значит, вы одобряете?—воодушевился Березин.

— Полностью. На эти ворота уже сколько жалоб было! Одна женщина ногу вывихнула из-за них. Давайте-ка.— И с этими словами, ухватившись за ворота, лейтенант стал командовать: — Раз, два — взяли! Еще раз, дружно!

А через три дня в школу пришел разгневанный, управдом и, стоя посреди учительской, стал спрашивать, чему здесь учат детей.

— Дал я вашим пионерам по совести, по-хорошему старое кровельное железо,— огорченно говорил он,— подводу для транспортировки дал, а они еще самостоятельно ворота прихватили. А у меня вторую половину привезут завтра с завода.

Майя Васильевна сразу догадалась, что это дело рук Березина. Только вчера выяснились обстоятельства сдачи в металлолом райпищеторговской тележки. Пионеры тут были ни при чем. Ими руководил старшеклассник, комсомолец. И то, что все эти неприятности вели в одну сторону, к дверям руководимого ею класса, бросали тень не только на учеников, но и на нее, классного руководителя, было мучительно больно.

Вызвали Березина. Он не стал оправдываться, просить прощения, то есть не поступил так, как следовало бы поступить, по мнению Майи Васильевны, хорошему, уважающему себя, педагогов и честь школы ученику.

— Да какие это ворота! — по обыкновению добродушно улыбаясь, сказал Березин.— Ворота состоят из двух створок — раз,— и он начал не спеша перечислять, загибая пальцы,— висят на петлях — два,— закрываются и открываются — три. А тут всего одна половинка, без петель, такая ржавая, что за нее даже руками браться было противно. Стояла она возле стены, мешала пешеходам. Вообще металлолом! Женщины ноги ломали. Скажете, нет? — спросил он у управдома.

— Это какой-то разбой,— оглядев притихших учителей, упавшим голосом сказал управдом и пошел прочь.

Майя Васильевна, совсем уже раскрасневшаяся от гнева и обиды, глядела на Березина долго, тяжело и наконец проговорила таким же усталым, как и управдом, голосом:

— Идите.

— Есть! — весело сказал Березин.

«Будет ли конец моим мучениям? — глядя ему вслед, думала Майя Васильевна.— Почему именно в моем классе должен был появиться этот несносный парень? Во что это выльется, кем он станет, что получится из него?»

...В девятом классе проходили пьесу Чехова «Вишневый сад». Майя Васильевна любила Чехова, который был представлен в программе для старшеклассников больше как драматург, хотя, по ее мнению, говорить о нем надо было бы прежде всего как об авторе «Невесты», «Ионыча» и других рассказов. Но Майя Васильевна привыкла к тому, что надо заниматься с детьми только по программе, ни в коем случае не выбираться за ее рамки, хотя бы из-за того, что все рассчитано по часам и на другое не хватит времени. Да и из районо требовали точного соблюдения программы, запрещали какой-либо отход от нее. Эти требования казались Майе Васильевне закономерными, дисциплинирующими учеников, приучающими их думать и развивать свои мысли в определенном направлении, видеть главное, необходимое, а не разбрасываться. Она сама любила точность, порядок, последовательность и охотно придерживалась этих правил.

Носителем передового, прогрессивного в пьесе «Вишневый сад» был студент Петя Трофимов. Так говорилось в учебнике, так считала Майя Васильевна, так должны были отвечать и ученики. Однако все тот же Березин вдруг заявил, что он не согласен с этим мнением, что Трофимов только болтает о прекрасном будущем, но ничего не делает для того, чтобы оно настало, что он вроде горьковского Луки — только мутит воду и еще неизвестно, что из него получится. Из такого болтуна, как Трофимов, скорее всего мог выйти представитель той русской интеллигенции, которая отшатнулась от революции в 1905 году.

Весь этот сумбур, запальчиво высказанный им, взбудоражил класс. Все зашумели, заспорили, а Майе Васильевне показалось, что Березин сделал это нарочно, чтобы сорвать урок, внести неразбериху, сумятицу в то стройное единомыслие, которое до этого царило в классе и было приятно ей. Майя Васильевна вспыхнула и в гневе поставила Березину тройку. Это была единственная трой-

ка. Учился он легко, свободно, как он сам говорил, запросто.

Майя Васильевна надеялась, что в перемену Березин подойдет к ней, станет просить, чтобы она исправила отметку, признает свою ошибку, то есть сделает так, как сделала бы сама она, будь на его месте. Но Березин, она увидела это по его спокойному лицу, и не думал о чем-либо просить. И неприязнь к нему стала еще ощутимее.

И вот наступили экзамены.

В девять часов солнечного, совсем уже по-летнему теплого майского утра в школе раздался последний звонок. В физкультурном зале возле настежь распахнутых окон, за которыми шумела городская улица и по-весеннему радостно слышались «и говор народа, и стук колеса», нарядной шеренгой выстроились десятиклассники, а вдоль противоположной стены стояли девчонки и мальчишки из первых классов. В дверях и за спинами первоклассников толпились учителя и родители. Все были приятно возбуждены, и директор школы, старый педагог, много лет участвовавший в таких церемониях, сам того не замечая, тоже поддался общему настроению и произнес взволнованную и прочувствованную речь о широких дорогах в мир, открывающихся перед выпускниками. Потом выступил первоклассник и торопливо, но очень складно, словно читал стихи, громко заверил выпускников, что первоклассники будут достойной сменой, а в это время учительница, стоявшая в толпе родителей, которая написала для него и вместе с ним учила эту роль, с довольным лицом отбивала ногою такт.

Все было очень хорошо, и, лишь когда первоклассники гурьбой побежали через зал вручать выпускникам букеты сирени и ландышей, произошло небольшое замешательство, которое, впрочем, никто, кроме Майи Васильевны, не заметил. Большая группа мальчишек ринулась в ту сторону, где стоял Саша Березин. Толкаясь, суетясь, наседая друг на друга, не обращая внимания на других выпускников, мальчишки изо всех сил старались вручить ему свои букетики, пока он, добродушно улыбаясь, не начал словно от комаров, отмахиваться от них веткой сирени.

Майя Васильевна полагала, что за пять лет Березин испортил ей достаточно крови, и то, что мальчишки теперь, как казалось ей, некстати, бестактно проявили к нему столько чувств, смутило и расстроило ее.

Церемония последнего звонка кончилась, выпускники

поднялись на третий этаж и быстро разошлись по классам. Коридоры опустели. В школе наступила тишина.

В десятый класс «А» вместе с Майей Васильевной вошли директор, заведующий учебной частью, представитель районо, ассистент. Пока они вскрывали конверт, с треском ломая сургучные печати, чтобы узнать и объявить ученикам темы сочинений, класс, притихший, взволнованный, следил горящими глазами за тем, что делали учителя, а девушки, не будучи в силах сдержать волнение, то и дело охали и вздыхали.

Наконец конверт был вскрыт. Темы оказались интересными, знакомыми, по классу прокатился вздох облегчения, выпускники задвигались, захлопали крышками парт.

— Ур-ра! — сказал кто-то отчетливо и громко.

Майя Васильевна нахмурилась.

«Это, конечно, Березин,— подумала она.— Но ничего. Пять лет я несла эту муку. Скоро расстанемся».

И когда шел экзамен по литературе, самый длинный — на весь день,— и ученики писали последние школьные сочинения, Майя Васильевна все думала о Березине, о том, как пять лет он терзал ее своими выходками, умышленно делая все наперекор ей. И сегодня ее удивило, что первоклассники именно к нему, а не к кому-нибудь другому проявили столько симпатии.

«Почему они так привязаны к Березину? — думала она.— Ведь от него, когда он дежурил по школе, им больше всего доставалось. Он не делал, как другие, строгих внушений, не отводил шалунов к учительнице, а растаскивал их, щелкал по лбу, давал подзатыльники; они ежились, чесались, гримасничали от боли, а результат невероятный: мальчишки не чают души в нем. Где же тут логика?»

И потом в течение дня она еще несколько раз возвращалась мысленно к Березину. Так ей вдруг пришло в голову: «А ведь он, наверное, знает о моей неприязни к нему».

От этой мысли ей стало досадно, неловко, она тревожно, пытливо посмотрела в ту сторону, где сидел, склонившись над партой и широко расставив локти, Березин.

«Конечно, знает, не может не знать, он потому и поступает всегда по-своему, что знает, как я думаю о нем. Однако что же с ним будет дальше?»

Ученики тем временем стали заканчивать свои работы. То один, то другой подходил к столу, сдавал тетрадку Майе Васильевне и покидал класс. Окончил сочинение и

Березин. Положив перед учительницей старательно исписанные листки, он замешкался около стола.

У него не было ни отца, ни матери, умерли они давно, когда он учился еще в третьем классе. Все это время он воспитывался у деда, старого рабочего. Саша считал Майю Васильевну строгой, но справедливой учительницей и очень уважал ее за то, что она уделяла ему столько внимания, сколько ему никто с тех пор, как умерла мать, не уделял. Он хотел поблагодарить Майю Васильевну за то, что она была так терпелива с ним, за то, что учила, вообще за все, но учительница строго поглядела на него, и он только улыбнулся ей. Улыбнулся с той простодушностью, с какой постоянно и упрямо жил он все эти годы, огорчая, раздражая и возмущая ее.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА

Дмитрий Дмитриевич Толоконников, начальник сортопрокатного цеха, уже в годах, грузный, с поседевшими висками, но еще сильный, здоровый человек, исподлобья посмотрел на вошедшего и ставшего по другую сторону стола Сашу Березина, которого он все еще считал подростком, и, недовольно глядя на него, спросил:

— Это твоя работенка?

— Что? — в свою очередь спросил Березин и, вытянув шею, поглядел на стол.

— Не прикидывайся.— Дмитрий Дмитриевич постучал согнутым пальцем по столу, на котором лежала заводская многотиражная газета.— Тут черным по белому написано: «Рабкор А. Березин». Ты же знаешь, у нас в цехе больше нет Березиных.

Саша откровенно и простодушно поглядел на Дмитрия Дмитриевича, пожав плечами. Улыбка чуть приметно тронула уголки его губ.

Толоконникова в цехе звали сокращенно «ДДТ». Кому впервые взбрело в голову сложить из его инициалов так привязавшееся к нему прозвище, когда это случилось — пять, десять, пятнадцать лет назад,— никто уж не помнил, в сортопрокатке же он работал так давно, что был награжден за это двумя орденами. Он пришел сюда с Сашиным отцом из ФЗУ, когда в Москве еще и метро не было, а Сашин дед был, наверное, моложе, чем сейчас Толоконников.

— На, прочти мне вслух свое художественное произведение,— сказал Толоконников, протянув газету.— А я послушаю, как ты его исполняешь.

Саша откашлялся и прочел:

— «В сортопрокатном цехе вот уже полгода стоят без дела два новых станка глубокого сверления для буровой стали. И хотя старые станки пришли в негодность, заменить их новыми почему-то не торопятся. А ведь известно, что каждый новый станок сразу повысит производительность на этом участке в два-три раза. Начальник цеха товарищ Толоконников занимает недопустимо странную позицию и никак не соберется с духом, чтобы отдать распоряжение о замене станков. Равнодушие Д. Д. Толоконникова больше чем непонятно. Рабкор А. Березин».

— Здорово написано? — спросил Толоконников, когда Саша перестал читать.

Березин, возвращая ему газету, промолчал.

— Вот я и говорю,— продолжал Толоконников.— Работаешь у нас, что говорится, без году неделю, а заметки сочинять уже наловчился.

— Но это ведь правда.— Саша теперь с удивлением посмотрел на Толоконникова.— Скажешь, нет?

— Хотя бы и так. Кем ты у нас работаешь?

— Монтером.

— Вот именно.

Толоконников считал, что у каждого человека должны быть свои прямые и непосредственные обязанности, за которые он отвечает, за которые ему платят деньги, и обязанностей этих должно хватать настолько, чтобы не было времени слоняться по цеху и совать нос в чужие дела. И еще он твердо был убежден, что все вопросы надо решать своими силами, не вынося их за ворота, и тем самым беречь репутацию, честь цеха. Он привык, что в заводской многотиражке много лет подряд печатали про сортопрокатку только положительные отзывы, и сперва, прочитав заметку, даже удивился, и лишь когда прочел вторично, то, разозлясь, подчеркнул красным карандашом слова: «занимает недопустимо странную позицию», «не соберется с духом» и «равнодушие». Потом подумал и подчеркнул еще фразу: «Рабкор А. Березин».

— Ну, ладно,— заговорил он теперь.— Предположим, тебе наплевать на меня, на этого самого, как говорится, ДДТ. Но о коллективе, который принял тебя к себе, ты подумал? Мне казалось, что ты станешь патриотом своего

цеха, каким был твой отец или, скажем, дед. Они бы не написали такого, не стали бы всякую мелочь раззванивать по всему заводу. Я говорю, про коллектив ты подумал?

Когда Саша садился писать заметку, ему даже не пришло в голову, что надо подумать о коллективе.

— Тут о коллективе разговору нет,— сказал он.— Тут только про тебя.

— Это конечно,— помолчав и как бы успокаиваясь, согласился Толоконников.

Все в этой правильной по существу заметке было для Дмитрия Дмитриевича обидным и оскорбительным. И то, что его назвали равнодушным, и то, что заметку написал Саша Березин, и то, что сам этот «рабкор А. Березин» выглядел в результате как бы и умнее, и лучше, и принципиальнее Толоконникова, человека, который намного опытнее и в делах, и в жизни, и больше чем вдвое старше автора заметки. Станки, конечно, надо было давно установить. Толоконников отлично помнит, сколько трудов и энергии пришлось затратить ему на то, чтобы выпросить их для цеха. И вот они, в самом деле, простояли полгода и даже не распакованы. До них, как говорят, все это время руки не доходили.

Теперь надо было отвечать на заметку, признавать правоту Березина и, стало быть, в некотором роде даже извиняться перед ним. И это тоже казалось обидным, оскорбительным и трудным. Как-то недели две назад Саша спрашивал у Дмитрия Дмитриевича, почему не устанавливают станки, и он, помнится, выпроводил парня, сказав, что это его не касается, пусть он лучше занимается своими непосредственными обязанностями. И вот парень добился все-таки своего. Дело было, конечно, не в том, что Саша обидел коллектив. Никого он не обидел, кроме Толоконникова, но признаться в этом даже самому себе было столь же трудно. Если бы заметку написал не Саша, а его дед, признаваться было бы несравнимо удобнее и легче: все-таки старый человек, в прошлом — учитель Толоконникова, а если бы ее написал кто-нибудь из недоброжелателей, то смысл заметки приобрел бы совершенно иное значение и, конечно, никакой обиды в душе Толоконникова она не вызвала бы.

— Ну, ступай,— проговорил он устало, с досадой махнув рукой.

— Есть,— сказал Саша и, не торопясь, как ни в чем не бывало, пошел к двери.

Жили Саша с дедом скромно, неуютно, сиротливо, но с достоинством, по-березински, никогда не жаловались, ни у кого не просили помощи, сами мыли полы, стирали белье, варили обед. Когда наступала очередь стряпать, Саша старался сварить что-нибудь по советам книги «О вкусной и здоровой пище» или по отрывному календарю, дед же никаких советов не признавал и варил один картофельный суп, который Саша называл дежурным блюдом, а дед — силой.

— Сила! — восклицал он.— Картофельный суп — сила!

Иногда он пробовал варить лапшу или щи, но они у него каждый раз получались такие густые, что можно было втыкать ложку, и, садясь за стол, их разбавляли кипятком. Дед раньше работал в сортопрокатке вальцовщиком, потом, когда совсем состарился, ДДТ перевел его в цеховую инструменталку. Когда Саша окончил школу и заводское техническое училище и ДДТ взял его в сортопрокатную дежурным электромонтером, чтобы он и тут был на глазах, дед ушел на пенсию. Теперь он сам и по магазинам бродил, и обед готовил. Делать ему больше было нечего.

Все эти годы два раза в месяц, по воскресеньям, Толоконников, доводившийся Саше крестным, навещал их. Первое время, следя за воспитанием крестника, он старательно проверял тетради и заставлял Сашу декламировать заданные наизусть стихи, а когда тот перешел в старшие классы, уже не касался тетрадей, а только просматривал отметки в табеле, делая вид, что считает крестника вполне взрослым человеком, на самом же деле потому, что многое из того, что когда-то давным-давно сам учил на рабфаке и в вузе, успел позабыть.

Ничего не могло помешать Дмитрию Дмитриевичу приходить в свой день и час к Березиным. Даже когда ему дали новую квартиру в Измайлове и он уехал с Фасонной улицы, где жил неподалеку от Березиных и от заводского забора в старом деревянном доме и где все подоконники были присыпаны черным жестким порошком, вылетавшим вместе с дымом из заводских труб; даже когда Саша окончил школу и поступил работать в цех.

Березины всякий раз готовились к приходу ДДТ: покупали колбасу, чистили селедку, варили картошку. Толоконников приносил с собою пол-литра.

Покончив с Сашиными уроками, объяснив ему, что он никогда не должен кривить душой, обязан говорить людям

правду, не отступать перед трудностями, ДДТ и дед садились за стол и после каждой рюмки крякали, гримасничали, сильно дули из себя воздух, словно стараясь показать, какое забавное занятие для них пить водку. Но водка сама по себе не имела для них особого значения, она была нужна им для разговора, и они подолгу без отдыха обсуждали всякие проблемы. Однако с чего бы они ни начинали, будь то международное положение или виды на урожай, всегда сворачивали на свое и кончали разговор тем, что завод их самый лучший в Москве, а сортопрокатка — самый лучший цех на заводе.

— Сила! — кричал захмелевший дед.— Сортопрокатка — сила!

Цех действительно был хорош. Саша понял это сразу, как только вошел в него. Цех был настолько огромен, что под погрузку в него загоняли не только МАЗы и зиловские самосвалы, а даже по десятку железнодорожных платформ и вагонов вместе с маневровым паровозом, и все это размещалось лишь в одном углу, на складе готовой продукции. Автомобили и вагоны выглядели там словно спичечные коробки на столе. Прокатные станы, особенно крупносортные, натужно лязгали, грохотали, и казалось, что от напряжения, какое они испытывают, в них может что-то лопнуть, со стоном оборваться и тогда возникнет жуткая, гнетущая, непривычная здесь тишина. Однако ничего не происходило, станы послушно мяли, таскали, переваливали на рольгангах квадратные, величиной с ящик из-под яблок или папирос, раскаленные добела чушки металла, и те, словно резиновые, послушно вытягивались, становясь то рельсом, то тавровой балкой, то принимая еще какую-нибудь форму.

А на мелкосортном стане, выпускавшем проволоку, у клетей стояли молодежные бригады, и работа здесь была такой жаркой, быстрой, утомительной, что парням то и дело приходилось меняться, и это напоминало игру в хоккей с шайбой: пока одна группа вальцовщиков с длинными клещами в руках расправлялась с метавшимися у них под ногами огненными металлическими змеями, засовывая их обратно в гнезда клети, другая тут же, сидя на скамейках, отдыхала, следя за работой товарищей и обмениваясь короткими, скупыми замечаниями. Звонил колокол, отдохнувшие парни надевали рукавицы, брались за клещи и вставали к клетям, а те, что уступали им место, вытирая рукавами и кепками пот с лица, садились

на скамейки, закуривали, жадно припадали пересохшими ртами к воде.

В цехе стоял такой грохот, что даже широкая, гулкая, натертая ногами железная лестница, ведущая на второй этаж боковой пристройки, когда по ней пробегали, стуча каблуками, казалось, никак не отзывалась на это, словно ватная. Истерически визжали, разрезая еще не остывший металл, электропилы. Они входили в сталь свободно, как нож в масло, а распилив, словно ожегшись, начинали визжать. Им вторили звонки кранов, проезжавших высоко над головой. Шумело, вырываясь из-под заслонок печей, дымное мазутное пламя, все было в деле, в азартной работе, и даже лестница мелко, нетерпеливо дрожала, как бы тоже охваченная тем напряжением, которое круглые сутки, не смолкая ни на секунду, царило в цехе.

В тот день, когда в газете была напечатана заметка про Толоконникова, Саша несколько часов провозился с вентиляционным мотором, устал и, придя домой, умывшись, с мокрыми, гладко причесанными волосами, с расстегнутым воротом рубашки сел за стол. Дед поставил перед ним тарелку дежурного блюда с большим куском мяса и, берясь за ложку, сказал:

— С чего это ты всех учить взялся?

Он каждое утро ходил к проходной и покупал там в киоске свежую заводскую газету.

— Я правду написал,— ответил Саша.

— «Правду»! — передразнил дед.— А ты с другой стороны на эту правду посмотрел? Кто учил тебя, чтобы ты человеком стал? Кто тебя за руку отвел в техническое училище? А на завод, в наш цех, привел? Крестный. Он для тебя и то, и се, и пято, и десято, а ты ему что в ответ? В заметке протащил. «Правда»! Обидел ты его? Отвечай сейчас же!

Саша лишь пожал плечами в ответ. Ему казалось, что все это в данном случае не имеет никакого значения. При чем тут личная обида, когда разговор идет про общее дело? И не Толоконников ли учил его во что бы то ни стало добиваться правды и говорить ее всем, не стесняясь? А разве то, что он написал в заметке, не правда? Разве он мог поступить иначе? Да как бы он тогда тому же ДДТ в глаза посмотрел, если бы смолчал, отступился от своего только потому, что ДДТ много сделал ему хорошего?

Некоторое время ели молча. Сидели друг против друга, оба рослые, плечистые, только у деда лицо было сплошь

в морщинах и щеки заметно обвисли, а Саша был здоров, свеж лицом и от него будто даже крепко и сладко пахло молодостью, как обычно пахнет материнским молоком от маленьких ребят.

Лишь когда доели суп и настало время выходить из-за стола, Саша спросил у деда:

— А ты как бы поступил?

— Я? — откашлялся дед.— Это совсем другой разговор. Он ко мне таким вот, как ты, мальчишкой пришел, я его работать научил, рекомендацию в партию дал.

— Это я давно знаю,— засмеялся Саша.

— Много ты знаешь! — рассердился дед.— Мальчишка. Я побольше тебя пожил на свете. Человек он или нет? Стало быть, ему обидно, как всякому, когда такие вот, как ты, замечания начнут давать. Вот погляди, не придет он больше к нам.

— Придет,— убежденно сказал Саша.— Я его тогда,— он нахмурился,— уважать перестану.

— Да человек он или нет? Ты это можешь понять?

— Человек. Поэтому и обязан прийти.

В цехе знали, что ДДТ проявляет самую большую активность тогда, когда его кто-нибудь раскритикует и, стало быть, разозлит. Чтобы исправить положение, он в ту пору не щадит ни свата, ни брата. Так случилось и на этот раз. Уже в субботу заводская газета напечатала ответ Толоконникова, в котором говорилось, что заметка А. Березина вовремя сигнализировала о недостатках, станки установлены, а на виновных, затянувших монтаж нового оборудования, наложено взыскание.

Это было в субботу, а на следующий день, поджидая его, Березины нарезали большими холостяцкими кусками колбасу, селедку и поставили варить картошку. Все было как всегда, много лет подряд, и, как всегда, Толоконников пришел к ним в обычный час, и ему было невдомек, с каким нетерпением ждали его Березины: дед с самого утра то выходил на кухню, то возвращался, в волнении потирая руки, оглядывая комнату, нигде не находил себе места, а Саша все выглядывал в распахнутое окно. Но они не подали ему виду и, как всегда, сели за стол, и Саша впервые сидел вместе со старшими, как равный. Как равный, выпил с ними за свою сортопрокатку и хотел, подражая старикам, крякнуть, точно с мороза, и дунуть из себя воздух, но закашлялся, слезы выступили у него на глазах, и он, вытирая их ладонью,

широко и смущенно улыбаясь, поглядел на Толоконникова.

— Еще молод,— снисходительно сказал тот.— Не умеешь — не берись. Учить тебя этому делу не стану. Хватит, и так выучил на свою голову.— И он вопросительно посмотрел на деда и на крестника, стараясь по выражению их глаз понять, догадывались ли они о том, что все эти дни творилось у него на душе. Обида не давала ему покоя, и стоило больших трудов заставить себя сделать так, словно ничего не случилось, и пойти к Березиным. Иначе, как он полагал, воспитание крестника не будет законченным.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

МАШЕНЬКА

Ровно половина восьмого утра. В темной — без окон — передней, заставленной сундуками, фанерными ящиками и чемоданами, горит тусклая, запыленная лампочка, освещая, кроме всего прочего, четыре корыта, висящие на стене: по корыту от каждой семьи. Пахнет жареной картошкой, мышами и плесенью. Тишина. Машенька Белогорская замирает, прислушиваясь возле двери. В замочную скважину с лестничной площадки тянет прохладный, как мята, сквознячок.

Проходит минута, другая. Машенька вся обратилась в слух. Но вот за дверью раздается мелодия веселой песенки, слышен скрип расшатанных лестничных перил, топот ног. Сердце Машеньки вздрагивает, она спешит распахнуть дверь и выскочить в коридор. Так она всякий раз встречается с Сашей Березиным, живущим с дедом-пенсионером на втором этаже. В доме все, кроме Машеньки, считают Сашу человеком беспечным и легкомысленным.

— Привет работникам общественного питания! — всегда одно и то же, словно заводной, увидев Машеньку, кричит Саша.

После десятилетки он пошел в техническое училище, а теперь уже работает на заводе электромонтером пятого разряда и второй год учится на вечернем отделении электротехнического института.

— Здравствуй, Саша,— тихо говорит девушка. Серые глаза ее при этом лучатся, сияют, в них отразились и восхищение, и обожание, и робкая надежда, и вся она, такая свежая, сладко выспавшаяся, пахнущая землянич-

ным мылом, с косою, толстым льняным канатом лежащей вдоль спины, полна счастьем от этой встречи.

Но Саша ничего не замечает. Машеньке от этого и больно и хорошо, потому что можно и дальше надеяться и мечтать, что он когда-нибудь прозреет, поймет, что она для него не просто соседка, и тогда... Ах, что тогда будет! Что будет! Подумать страшно!

Они идут по старому переулку мимо ветхих двухэтажных домиков и тесных двориков, где за заборами стоят высокие корявые ветлы. Саша и Машенька родились и выросли на этой тихой московской окраине, здесь все им знакомо, мило и дорого. И хотя рядом высятся новые дома, переулок все продолжает оставаться стареньким окраинным уголком Москвы.

Утреннее майское солнце ярко, до боли в глазах, освещает лишь одну сторону, другая погружена в росистую тень, и все люди, выходящие из ворот и подъездов, спешат перейти на залитый солнечной благодатью тротуар.

— Как дела? как дебет-кредит? — добродушно и бесцельно смеясь, спрашивает Саша.

— Ничего.— Машенька робко смотрит на него.

Каждое утро она думает, что вот случится то значительное, чего она ждет с таким трепетом. Саша взглянет на нее совсем иными, не равнодушными и не насмешливыми, как сейчас, глазами, ахнет от восторга, радости, удивления, воскликнет: «Милая Машенька, как же я раньше не замечал, что ты так меня любишь!» — или еще что-нибудь очень трогательное, и вся ее жизнь после этого засверкает, заискрится, и все перед глазами пойдет кругом, так что даже голова опьянеет от счастья.

Но дни текут, а ничего не происходит.

На углу, около серого, похожего на огромный ящик здания универмага, они расстаются. Машеньке надо налево, к троллейбусной остановке, а Саше — в другую сторону, к железнодорожному переезду, за которым сразу же начинаются закопченные заводские корпуса с разноцветно дымящими трубами над мартеновскими печами. Обернувшись, Машенька ласково смотрит ему вслед, он же, смешавшись с заводскими парнями и девчатами, еще ни разу не оглянулся, не помахал рукой. Не догадывался Саша, что даже одним этим ничего не стоящим для него жестом он мог бы сделать ее безмерно счастливой.

До столовой, где Машенька работает бухгалтером, надо проехать пять остановок на троллейбусе. На это ухо-

дит всего двадцать минут, а поскольку работа в бухгалтерии начинается лишь в девять, Машенька чуть не по целому часу просиживает в сквере и читает романы. Калькулятор Надя Потапова однажды спросила, как ухитряется Машенька читать, неужели стоя?

— Нет, зачем, сидя,— ответила Машенька.

— Не ври, пожалуйста. В троллейбусе всегда такая давка. Кто это тебе место уступит? — возразила Надя и вздохнула.— А я не умею стоя читать. Я привыкла лежа.

Надя — Машенькина ровесница, но заведующий столовой Дмитрий Мокеич зовет ее Надеждой Андреевной в насмешку за то, что она непоседлива, дерзка и до того энергична, что ей трудно даже полчаса просидеть, не выходя из-за стола. Если, например, привезут новый шкаф для бумаг, она сразу же примется командовать грузчиками и, глядишь, ухватится вместе с ними нести шкаф на второй этаж. Ее не однажды видели в кладовке, где она помогала заведующему складом и шеф-повару рубить мясо, отвешивать морковь и макароны. Она бралась за все, лишь бы вырваться из бухгалтерии. Между прочим, Ермакова Дмитрия Мокеича, тучного, пожилого, с жидкими монгольскими усами на полном, шлепоносом лице, она прозвала Ермаком Тимофеичем.

— Ловкая мадамочка,— неодобрительно говорил про нее Ермак Тимофеич.— Лезет куда просят, куда не просят, а толку от нее, что от козла.

Машенька была совсем не такая. Ее еще с детства приучили быть рассудительной и ни в коем случае не делать того, чего не следует делать. Отец говорил ей:

— Всюду в нашей жизни должна быть логичность и последовательность. Запомни, что после утра бывает полдень, потом вечер и никогда наоборот.

Отец имел диплом инженера-горняка, но работал в Москве, в министерстве, и делал все обдуманно и только так, как требует логика. Это был чистоплотный, аккуратный человек, и когда снимал с пиджака пушинки, то так осторожно прикасался к ним двумя пальцами, словно боялся причинить им вред.

Машеньке нравилось, что ее отец такой обстоятельный, рассудительный и на все вопросы, подумав, дает очень правильные, логичные ответы, словно философ. И она, подражая ему, старалась рассуждать так же обстоятельно и умно.

У нее, как у отца, все было в меру. Она в меру была

скромна, весела, почтительна, трудолюбива, приветлива, обходительна, и за это ее все звали Машенькой: и дома, и в школе, и в техникуме. И теперь на работе так зовут. Даже Ермак Тимофеич говорит ей: «Машенька».

И все ее любят. Кроме Саши Березина, в котором сама она души не чает, не может дня прожить, чтобы не повстречаться с ним, и ради этого каждый день на полтора часа раньше уходит на работу. Но иногда ей не удается увидеть его утром на лестнице. То ли он отправляется на завод раньше половины восьмого, то ли не свистит и не топает по ступенькам, но в такие дни она, опечалившись, возвращается к себе в квартиру и до половины девятого помогает матери по хозяйству и уж не берет на работу никакого романа. До следующего утра она беспокоится, что с Сашей, наверное, случилось несчастье, и, работая, делая ошибку за ошибкой и, словно маленькая, не может сообразить, сколько будет, если к девятнадцати прибавить три. В те дни работа не идет ей на ум.

Десятилетку Машенька закончила с очень скромными отметками. В ее аттестате были тройки, больше всего было четверок, а пятерок только две: по поведению и прилежанию. Но отец, поздравив ее с окончанием школы, погладил свою лысину, подумал и сказал:

— Вот ты, Машенька, закончила десять классов, получила, так сказать, аттестат зрелости и среднее образование. Что же следует дальше? А дальше по логике следует получить высшее образование, ибо за средним, как известно, следует высшее и никогда наоборот, и если бы ты не думала его получить, то не надо было бы и учиться в десятилетке, а вполне хватило бы семи классов. Какое же поприще ты изберешь себе?

Однажды школьники всем классом были на текстильной фабрике, и Машеньке очень понравилось там, особенно в прядильном цехе. Понравилось все: и кисловатый запах шерсти, и грохот станков, наполнявший весь корпус, так, что, казалось, даже стены тряслись, и сами прядильщицы, деловито сновавшие между станками. Машенька зажмурилась, представила себя среди этих станков, представила, как она каждое утро будет ездить сюда на работу, и получилось отлично. Потом она часто вспоминала этот цех, а когда видела в газетах или журналах фотографии прядильщиц, особенно если их снимали возле станков, сердце ее радостно замирало, будто она встречала своих старых знакомых.

Теперь надо было рассказать отцу о том, что она хотела бы пойти работать именно сюда, но получилась какая-то странная неувязка: ее желание не совпадало с логикой. Чтобы стать прядильщицей, в самом деле нечего учиться в десятилетке...

И решили устраиваться в институт, а так как Машеньке было все равно в какой, сошлись на том, что она пойдет в медицинский и станет врачом-терапевтом.

Но в институт ее не приняли, не прошла по конкурсу. Сдавать экзамены в другие институты было уже поздно, и Машенька, пометавшись по Москве, едва успела попасть в финансово-экономический техникум, хотя к счетной работе была так же равнодушна, как и к врачебно-терапевтической.

В техникуме она училась, как говорят, ни шатко ни валко, едва сводила концы с концами, только чтобы не отчислили за неуспеваемость. И теперь так же раводушно, хотя и прилежно, гоняла взад-вперед костяшки счетов, крутила ручку трескучего арифмометра, выписывала счета, накладные, вела книги и лишь про себя удивлялась, как это другие, та же Надя Потапова, работают с воодушевлением, словно создают материальные ценности.

Но однажды выяснилось, что Надя тоже работает без всякого воодушевления. Как-то, бросив на стол карандаш и откинувшись на спинку стула, она вызывающе сказала на всю контору:

— Чертова работа! Сидим, как жуки навозные, корпим над столами день-деньской, а никакой радости. Что толку, если я даже раньше времени скалькулирую первые блюда, вторые блюда, закуски?

Все перестали работать, подняли головы. Машенька взглянула на злое, решительное лицо Нади и испугалась за нее.

— Что ты, Надя! — рассудительно сказала Машенька.— Наша работа очень нужная, даже Ленин говорил, что без учета нельзя построить социализм и учет очень нужен для страны.

— Встретила я вчера подругу, она на фабрике работает,— продолжала Надя, заложив руки за голову и уставясь глазами в потолок.— «Я,— говорит,— к празднику обязательство взяла и даже перевыполнила его. Ты,— говорит,— разве не читала про меня в «Московском комсомольце?» — Надя разжала руки, презрительно посмотрела на Машеньку и зло спросила: — А мне можно пере-

выполнить обязательство? Про меня напишут в газету? — И, уже снова принимаясь за работу, добавила: — Нигде что-то не читала я про бухгалтеров.

Машенька в душе часто осуждала Надины поступки, осудила и сейчас, хотя та, напомнив про фабрику, сделала Машеньке так больно, что даже сердце заныло, и всю дорогу домой пришлось убеждать себя, что учет необходим, что работа бухгалтера очень нужна и не менее почетна, чем работа тех же прядильщиц.

Рассуждая так логично и обстоятельно, Машенька сошла с троллейбуса возле своего переулка, совсем не подозревая, какое страшное испытание приготовлено ей судьбою.

На углу, под часами, стоял Саша Березин. Увидев его, Машенька не сразу догадалась, почему он тут стоит такой расфранченный и озабоченно поглядывает по сторонам. Она обрадовалась ему, сразу забыла все печали и горести, щеки ее разгорелись, словно на морозе, улыбка тронула полные яркие губы, и ей уже стало казаться, что Саша пришел сюда специально для того, чтобы встретиться с нею. И, взяв его за локоть, она вкрадчиво и нежно произнесла:

— Саша.

Он рассеянно и безучастно поглядел на нее:

— А, это ты. Здоро́во!

— Да мы уже утром здоровались,— произнесла Машенька, глядя на него влюбленными глазами.

— Верно,— все тем же голосом согласился Саша.— Я забыл.

— Какой ты нарядный... Ты ждешь кого-нибудь?

О, если бы он сказал: «Тебя жду, тебя. Неужели ты не догадываешься, что я жду тебя, и волнуюсь, и все думаю, не случилось ли что с тобой?..»

Но он сказал:

— Ну наконец-то,— и с облегчением и радостью поглядел через Машенькино плечо.

Машенька оглянулась. Подле нее стояла девушка, очень нарядно одетая и подстриженная под мальчишку. Лишь взглянув на нее, Машенька поняла, что это стоит соперница, побледнела и быстро пошла прочь, чувствуя, что не в силах вынести эту обиду, это унижение, что горькие слезы вот-вот готовы брызнуть из ее глаз.

Никогда не приходило ей в голову, что Саша тоже может влюбиться в кого-нибудь.

Всю ночь она не спала и все думала о том, как ей теперь быть, если на пути встала соперница, и за что Саша полюбил эту девчонку, а не ее.

К утру Машенька сделала вывод, что надо бороться. Прежде всего остричь волосы. Саше, оказывается, нравится такая прическа, словно у мальчишки. Придя на работу, она сказал Наде Потаповой:

— Сейчас модно носить короткие волосы. Ты заметила?

— Давно заметила,— сказала Надя.— Я тоже как выберусь в парикмахерскую, так и подстригусь.— Она потрогала свои темные густые волосы, красиво спадавшие на плечи.— Обязательно подстригусь.

А Машенька вдруг задумалась. Правильно ли она поступит, если срежет косу? Не покажется ли людям странным все это? Ее привыкли видеть с косою, и логично ли нарушать то, к чему все привыкли?

Эти мысли вконец расстроили ее, и она смогла бы сообразить, как сделать ей, чтобы все было хорошо, если бы не родители.

Мать всплеснула руками и с ужасом воскликнула: «Такую-то косу!»

А отец сказал после того, как погладил лысину, основательно подумал и все взвесил:

— Дело не только в том, хороша или плоха коса, которую ты хочешь срезать. Я не вижу в этом никакой логики, вот что важно. Серьезные люди никогда не гоняются за модами, ибо кто знает, что будет завтра? Дело не в том, что у тебя на голове, а что в голове.— Он постучал пальцем по своему лбу.

После этого Машеньке стало ясно, что косу срезать неблагоразумно.

А Надя Потапова подстриглась. Ермак Тимофеич поглядел на нее поверх очков и сказал:

— Поздравляю вас, Надежда Андреевна. Вы теперь похожи на футболиста.

— Вам не нравится? — вызывающе сощурясь, спросила Надя.

— А как вы думали? — еще больше избычась на нее, поинтересовался Ермак Тимофеич.

— Можете себе представить, я никак не думала, потому что подстриглась не для вас. Захотела — и подстриглась. Захотела — и баста.

— Пожалуйста, не возражаю,— пожал плечами Ермак Тимофеич.— Можете даже наголо побриться.

— А это вы своей жене посоветуйте,— огрызнулась Надя.

Машенька смотрела на нее с испугом и осуждением. Как она могла, не подумав, не взвесив все «за» и «против», взять да и обкорнать чудесные локоны, а теперь еще дерзит человеку, который, наверное, вдвое старше ее и к тому же является непосредственным начальником?

— И тебе нисколько не жалко было обрезать волосы? — спросила она, оставшись с подругой наедине.

— Вот еще вздумала чего? — пренебрежительно сказала та.— Захотела — и подстригла. Раз мне нравится, значит, баста.

Машеньке тоже нравилось быть модно подстриженной, тем более что это, как она установила, нравилось и Саше Березину, и кто знает, как бы он повел себя в дальнейшем, срежь Машенька косу? Но в жизни ведь все должно иметь свою последовательность и логичную закономерность. Как сказал отец, старость наступает после того, когда пройдет юность, потом возмужание, и никогда наоборот.

Машеньке скоро стало известно про соперницу, что она нехорошо ведет себя с Сашей, встречается с другими парнями, совсем не заводскими, и ее несколько раз видели вместе с ними в ресторане. Все это рассказали Машеньке люди, которые жалели, что Саша связался с такой ничего не стоящей девушкой. Жалела его и Машенька и несколько раз порывалась рассказать ему все как есть, раскрыть глаза, чтобы увидел, кого он любит. Человека надо любить не за модное платье или за прическу, и есть люди, которые могут быть по-настоящему на всю жизнь ему преданными, неужели он и этого не замечает, пусть тогда оглянется повнимательнее.

Однако при встрече с ним она ничего не решалась произнести и лишь смотрела на него глазами, полными муки и слез. А он, как всегда, был беспечен и весел и, увидев Машеньку, кричал:

— Привет работникам общественного питания!

Машенька понимала, что теперь Саша потерян для нее навсегда, что даже и надеяться ей уже не на что и чем скорее она забудет про него, тем лучше. Понимала, а поделать ничего не могла и продолжала каждое утро в половине восьмого поджидать его возле двери, чтобы только увидеть, услышать насмешливое приветствие, узнать, что он жив и здоров.

Без этих встреч, приносивших ей вместе с радостью

неимоверные мучения, она по-прежнему не могла и дня прожить.

А время шло. Вот уж и лето близилось к концу. Машенька похудела, осунулась, как говорят — вся извелась. Начались головные боли, нехорошо было и на душе, а что ей делать, она не знала. Не знала и того, чем все эти напрасные встречи окончатся для нее. Вот если бы, например, завербоваться куда-нибудь на Север, в Норильск или Воркуту, сразу покончить со всем, что такой тяжестью лежит на сердце, и начать новую жизнь среди новых людей. Сколько молодежи сейчас едет осваивать Север! Ах, как это было бы хорошо — уехать и начать новую жизнь! Только вот беда, логичен ли будет такой поступок? Что дома скажут об этом?

Мать замахала на нее руками и с ужасом воскликнула:

— Тебе в Москве жить негде? Люди в Москву не знают как прорваться, а ты из Москвы бежишь!

— Да, это нелогично,— сказал отец, как всегда подумав и погладив лысину.— К тому же мы с матерью уже в годах, ты у нас старшая и должна помогать нам воспитывать твоих братьев, ибо, кроме тебя, помогать нам некому. Я не вижу никакой закономерности в том, что ты вздумала бросить все привычное и уехать туда, где тебя ждет неизвестно что.

И Машенька согласилась с ним. Ей даже сделалось неловко, что совсем не подумала о родителях и братишках, которым обязана помогать.

И все потекло, как прежде. О, какие это были жестокие, безжалостные дни, как было мучительно встречаться с любимым человеком, и скрывать от него свои чувства, и знать, что он любит другую! Как мучительно и больно! Казалось, сердце ее каждое утро готово было разорваться от тех страданий, которые причиняли ей эти встречи. И все-таки это было между тем и утешением. Она могла каждый день видеть его, жизнерадостного и беспечного, слышать его голос, отвечать кроткой всепрощающей улыбкой на его шутки насчет дебета-кредита.

Наступила осень, скамейки в скверике стали мокрыми от дождя, деревья оголились, всюду под ногами были лужи, желтые листья, и читать романы по утрам стало невозможно: зябли пальцы.

Однажды, это было уже после праздника Великого

Октября, когда землю стало прихватывать морозцем и уже несколько раз с серого однотонного неба пытался нехотя лететь задумчивый снежок, Саша пригласил Машеньку в театр. Это было так неожиданно!

— В театр?! — воскликнула она, вся зардевшись.— С тобой?

— Со мной,— сказал Саша.— А что тут такого? Свободна вечером?

— Конечно! — Она помолчала и нерешительно, недоверчиво спросила: — А как же...

— А так же,— перебил ее Саша.— Все кончено. Разные люди. У нее танцы да пирушки на уме. А это не для меня. Ну и все к черту. Разом. Отрубил. Вчера. Понятно? Ну и не пропадать же билетам, верно?

— Я так и знала! — Она не придала значения последним его словам, потому что не это было сейчас важно, приложила руку к груди и заторопилась, заспешила все высказать, объяснить ему:

— Саша! Я ведь все про нее знала: и что она недостойна тебя...

— Ну, ладно,— оборвал он ее, нахмурясь.— Хватит.

— Хорошо,— покорно вздохнув, согласилась она и, несказанно похорошев, весь день была сама не своя от такого счастья. И все смотрели на нее и тоже улыбались. Ермак Тимофеич сказал:

— Сегодня наша Машенька такая праздничная, уж не именинница ли?

А вечером она была с Сашей в театре и, уже смело взяв его под руку, прогуливалась с ним по фойе, и ей казалось, что все эти нарядные люди, идущие навстречу, стоящие возле колонн, толпящиеся в буфете, только и думают про них. А когда в зале медленно погасла огромная люстра, дирижер взмахнул руками и откуда-то из-под ног его рванулась, грянула бравурная музыка увертюры, Машенька окончательно поверила, что все теперь будет, как она хочет, и это пришло к ней в награду за то, что она так терпелива и рассудительна.

Весь вечер Машенька была во власти этого счастливого чувства, и, когда уже дома, в подъезде, они прощались, она даже не сразу поняла, что втолковывает ей Саша. Когда же до ее сознания дошло, что завтра утром он уезжает в Сибирь на строительство ГЭС, совсем уезжает из Москвы, у нее даже похолодело внутри, будто туда положили льдинку.

— Ты не думай, что я, в общем, уезжаю из-за нее,— слышала она Сашин голос.— Чепуха это. Совсем не из-за нее. Я ведь давно мечтал уехать на какую-нибудь большую стройку, чтобы, понимаешь, самому участвовать, своими руками... Ты меня понимаешь?

— А как же учеба? — тихо, умоляюще произнесла она.— Неужели ты бросаешь институт? Где же тут закономерность? Разве разумно уходить со второго курса?

— Эх, Машенька! Надо, чтобы у человека крылья были, а ты — закономерность! И я ничего не бросаю, я перейду с вечернего на заочное, вот и все. Ну, бывай здорова, Машенька, добрый ты человек.

— Погоди!.. А как же твой дедушка? Ты бросаешь его, такого старенького?

— Так я же буду ему помогать! А потом он переедет ко мне совсем. Не в одной Москве жить можно. Страна-то у нас вон какая огромная.— И Саша взмахнул руками, как бы желая показать, насколько огромна наша страна.— Ну, бывай здорова.— Он крепко пожал, тряхнув, Машенькину руку, даже не подумав, почему она так грустно смотрит на него, бледна, говорит с ним дрожащим голосом, а рука ее такая вялая и безвольная, словно неживая.

И они расстались. Теперь уже навсегда.

С отъездом Саши в Машенькиной жизни стало чего-то недоставать, и у нее появилось чувство, будто она постарела на много лет, и теперь уж ничего не могло ее удивить, обрадовать, вызвать восхищение. Все казалось давно известным, скучным, не представляющим интереса. Особенно скучно было на работе, сейчас Машенька не любила свою профессию пуще прежнего. Правда, она делала все старательно и аккуратно, и со стороны могло казаться, что все это ей очень по душе. В действительности же, как она ни убеждала себя, логично, по-отцовски рассуждая, что труд ее очень важен, ничего, кроме отвращения, он не вызывал в ней. И хорошо было бы сменить профессию, бросить все и уйти, например, на фабрику, в прядильный цех.

— Как мне скучно и противно здесь, если бы ты знала! — однажды сказала она Наде Потаповой.

Надя ответила кратко и определенно:

— Надо тикать.

— Я еще когда училась в школе, ходила на экскурсию на текстильную фабрику. Милая Надя, как там хорошо!

— Знаю, у меня мать ткачиха.

— Надя,— воскликнула Машенька,— давай пойдем туда работать!

— А мне здесь и самой все давно опостылело. Вот я узнаю насчет фабрики, и давай подадим заявления. Там хоть видно, как ты работаешь, там про тебя и в газете напишут, фото напечатают.

— Да, да,— восторженно поддержала ее Машенька,— все, все будет, и фотография, само собой.

В тот же вечер она рассказала родителям о своем намерении. Отец подумал, погладил лысину и сказал:

— Насколько я понял тебя, ты хочешь совершенно бросить свою профессию?

— Да, папа.

— Но где же тут логика? Государство несколько лет учило тебя в техникуме, тратило на тебя средства, и для чего? Для чего, спрашивается, ты училась в этом техникуме? Нет, Машенька, тебе надо думать не о том, чтобы уйти, а о повышении квалификации, о совершенствовании навыков, полученных тобою в результате учебы в техникуме и двухлетней практики в бухгалтерии. Вот в чем заключается закономерность.

Отец и на этот раз оказался прав. Ее ведь учили, тратили средства, возлагали на нее надежды. Что будет, если все начнут, как она, бросать работу?

А Надя, которая все задуманное выполняла быстро и без рассуждений, на другой же день подала Ермаку Тимофеичу заявление об уходе и очень удивилась, когда Машенька сказала ей:

— Взвесив все, я пришла к выводу, что не имею никакого права бросать работу. Милая Надя, пойми, зачем же нас учили, тратили средства? В конце концов любая работа, если ее делать старательно и добросовестно, может когда-нибудь принести удовлетворение.

— Эх ты, праведница,— сказала Надя и укоризненно, с осуждением покачала головой, будто не она, а Машенька поступила неблагоразумно и нелогично.— По течению все хочешь проплыть, барахтаться даже не умеешь. Жалко смотреть на тебя такую.

И неделю спустя Надя уже работала на фабрике, в том самом прядильном цехе, который так нравился Машеньке.

А Машенька продолжает трудиться в бухгалтерии столовой и все делает старательно и добросовестно, хотя счетная работа по-прежнему не нравится ей. Выглядит она очень хорошо, со всеми приветлива и ласкова, и

лишь ей самой иногда кажется, что она уже старенькая-престаренькая и ничего на свете не может заинтересовать ее. О Саше Березине она вспоминает часто и со слезами на глазах. Она продолжает любить его. И еще ей порою кажется, что жизнь, такая шумная, стремительная и порою такая нелогичная, что ее то и дело приходится осуждать, проносится мимо, стороною, как проносится скорый поезд мимо полустанков, мелькая светлыми зеркальными окнами вагонов и обдувая все на пути свежим, дух захватывающим ветром.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

ПИСЬМО

Вале Филипповой совсем недавно минуло восемнадцать лет. Другие девушки в бригаде были кто на два, кто на три, даже на четыре года старше ее, опытнее в жизни. Валя выглядела среди них подростком, и, как с подростком, они обращались с нею. Валя не придавала этому значения: ей было и так хорошо. Она была застенчива и еще неприметна своей чуть запоздало начавшей расцветать красотой.

Стоял ветреный, снежный, морозный февраль. В бараке, где жили девушки, с утра до вечера топили печь и было тепло, хотя и влажно пахло распаренным деревом. Барак недавно построили из свежего леса, стены не успели просохнуть, и на струганых, отмытых до желтизны бревнах всюду выступила пахучая, вязкая смола.

В один из этих вьюжных дней, когда в сугробах тяжко стонали самосвалы, Валя, придя с работы, переодевшись и умывшись, поспешно уселась возле своей тумбочки на табуретку, аккуратно и быстро по бессознательной женской привычке проведя тыльными сторонами ладоней сзади по ногам, чтобы расправилось и не замялось ситцевое платьице, раскинула его на коленях и принялась писать письмо подруге.

«Милая, дорогая,— быстро-быстро застрочила Валя.— Я прошу извинения, что так долго тебе не писала, потому что потеряла твой точный адрес, но теперь мне сообщили его из дому. Мы сейчас начали бетонировать верхний шлюз, и наша бригада вызвала на соревнование бригаду Сенченко, кто из нас получит право называться передовой. В нашей бригаде все девушки — комсомолки, и

по предложению Лены Быковой, нашего бригадира, решили очень строго вести себя в быту. Дорогая, что мне делать, я боюсь, что подведу их, так как вот уже полгода влюблена в одного здешнего парня».

Написав все это, Валя принялась сосредоточенно оттирать выпачкавшийся в чернилах палец. Потом, подперев тугие щеки ладонями, задумалась.

Она очень точно помнила, что произошло с нею в полдень четырнадцатого августа. В тот день прошел короткий сильный ливень с громом. Когда они закончили работу, небо было чисто, ясно, влажная, разморенная ливнем земля тепла и душиста. Девушки уже подходили к столовой, когда дорогу им пересек незнакомый парень в полинялой ковбойке с закатанными рукавами. На плече его лежал моток провода. Парень придерживал его левой рукой, как солдаты придерживают ремень карабина, а в правой руке нес деревянный ящик, в котором лежали ролики, шурупы, молоток, отвертка и пассатижи. Плечи и волосы парня были мокры от дождя, брюки снизу забрызганы грязью. И стоило Вале взглянуть на этого вымокшего, неприглядного парня, как сердце ее замерло, словно провалилось, даже на его месте стало холодно, а потом оно заколотилось так горячо и сильно, что девушку бросило в жар, щеки ее покраснели.

— Ой, кто это? — удивленно и испуганно сказала она, умоляюще глядя на Лену Быкову, бригадиршу, рыжую белотелую красавицу, очень скорую на слово.

Лена уже побывала замужем и, помаявшись год, одним разом порвала с супругом, оказавшимся неисправимым пьяницей.

Не заметив, что вдруг произошло с Валей, Лена равнодушно сказала:

— Монтер.

Но Валя не этого ждала от нее, а совсем иных, необыкновенных, праздничных слов и долго потом не могла успокоиться. Так к ней нежданно-негаданно пришла любовь. Она ни разу ни в кого не влюблялась, была совершенно равнодушна, если за ней ухаживали, обещала и не приходила на свидания. Когда девчата начинали рассуждать, какая должна быть современная любовь, такая ли, какой ее описывают в романах и показывают в кино, или совсем иная, и бывает ли она с первого взгляда, Валя только слушала да поглядывала на Лену, которую считала в этом деле самой авторитетной.

Лена пе то зло, не то насмешливо говорила:

— Я своей любовью с первого взгляда вот так сыта,— и проводила ребром ладони по горлу.

И Валя мысленно соглашалась с нею, что сперва надо хорошенько узнать человека и потом полюбить навек, а не бросаться на встречного-поперечного.

Но в тот день после встречи с монтером, раскрасневшаяся, напряженная, словно прислушивающаяся к чему-то, смутно забродившему у нее в душе, она сделалась как бы сама не своя. И вечером уже в одной сорочке, все еще находясь во власти охватившей всю ее ликующей радости, дрожа неизвестно отчего, она подошла к Лениной постели, осторожно присела на краешек и, замирая от смущения, робко спросила:

— Леночка, неужели так и не бывает любви с первого взгляда?

— Не мели чего не следует! — сказала Лена, не отрываясь от книжки, которую она жадно читала, лежа на боку.— Какая это может быть любовь, если ты не знаешь человека, кто он и какие у него мечты?

— Но как же так? — растерянно проговорила Валя.— А если мне от него ничего не нужно? Я просто люблю его, и все. Тогда как?

— Ты? — Лена удивленно глянула на нее.

— Я к примеру говорю,— смущенно зардевшись, прошептала Валя.

— Ну и иди спать! — Лена вновь принялась за чтение.

И Валя, присмирев и поскучнев от этих слов, тихо отошла от нее.

На следующий день монтер опять повстречался девушкам, посмотрел на них и, непонятно усмехаясь, сказал:

— Привет труженикам бетона!

И эта его усмешка повергла Валю в страшное смущение. У нее опустились руки, она не знала, куда деваться. И настолько сильно, велико и прекрасно было у нее чувство к этому монтеру, что стоило ей лишь увидеть его, как тут же сами собой начали сочиняться стихи.

Я тебя, дорогой, полюбила
И все время буду любить.
Как же мне все лицо твое мило,
Я не в силах его позабыть,—

вдруг очень отчетливо, радостно и грустно пронеслось у нее в голове. И это даже не удивило ее, хотя раньше,

до встречи с монтером, она даже не подозревала, что умеет так складно сочинять.

Теперь она писала: «Я не могу сказать, что он красавец. Он самый обыкновенный парень, как все, но я словно дурочка делаюсь, как только увижу его. И мне все в нем нравится: его глаза, улыбка. Все, все! Я долго не знала, как его зовут, но потом мне сказали, что его зовут Сашей, а фамилия — Березин, приехал на стройку тоже, как и я, из Москвы, очень гордый и ни с кем из девчат не встречается. И тогда я полюбила его за это еще больше. Работает он монтером шестого разряда, чинит, где сломается, проводит новые времянки. И вот, можешь себе представить, однажды у нас в блоке погас свет. Девчата сразу все загалдели, повылезали наружу, а Лена побежала звонить по телефону. И вот, можешь себе представить, приходит он».

Валя поглядела в потолок и тихонько засмеялась от того необъяснимого на словах счастья, которое всякий раз, как только она начинала думать о Саше, окатывало ее своей теплой волной с головы до ног.

Он тогда был все в той же милой вылинявшей ковбойке.

— Ну, где у вас тут погасло? — спросил он, поглядев на Валю, стоявшую в дверях.

А она стала вся красная от смущения и радости, сияющие глаза ее не могли оторваться от его лица, а в голове в это время сами собою уже складывались стихи:

Вот и встретились мы с тобою,
Хоть и разные наши пути.
Знать, положено так судьбою —
Друг от друга нам не уйти.

«И он обращается ко мне непосредственно с вопросом, где погасло электричество,— пишет Валя подруге,— а я ничего не могу ему ответить и только чувствую, что очень его люблю. Тут наша бригадирша Лена говорит ему: «Можно было побыстрей прийти. Ходишь, едва ногами двигаешь, словно тебя неделю не кормили». Он засмеялся ей в лицо, а я даже задрожала от обиды за него. Как она может говорить такое! И я ей сказала, что нечего задираться, он и так очень скоро пришел. Лена ответила: «Гляди, заступница выискалась!» И между нами завязалась ссора, а он сказал: «Ладно, девчата, я сейчас быстро все сделаю». И, обратившись ко мне со словами: «Посве-

ти-ка», дал мне электрический фонарик. И действительно, электричество сразу загорелось, поскольку он очень хороший специалист, а мне даже сделалось жалко, что он так скоро ушел от нас. Ведь пока он чинил, я имела все возможности стоять возле него, хотя мы с ним ни о чем и не разговаривали».

Валя была готова и смеяться и плакать от счастья и горя, которые принесла ей любовь. Засыпая, она думала о Березине и, проснувшись, первым делом вспоминала его. А как хорошо мечталось о том, что в один прекрасный день он подходит к ней и говорит: «Валя, я все знаю про вас, вы отличная бетонщица и комсомолка, и я вас люблю». И она тогда тоже говорит ему: «Саша, а я вас даже очень люблю». Ах, если бы они могли так славно поговорить! Что вслед за этим должно было следовать, она не знала. Наверное, объяснившись, они стали бы всюду ходить вместе: и в кино, и на танцы, даже в столовую, и люди, глядя на них, улыбались бы и говорили: «Смотрите, какая чудесная пара».

«Я так много думаю о нем,— писала Валя,— что у меня даже начала голова болеть. Всегда и везде, где бы я ни была, что бы ни делала, я всегда думаю о нем, и его образ стоит перед глазами. И я так часто стала задумываться во время работы, что вчера бригадирша Лена велела мне сходить к врачу и смерить температуру, не заболела ли я гриппом. Но я ей ничего на это не ответила.

Я за ним подследила и в результате узнала, что он часто бывает в библиотеке, и я тоже стала туда ходить, чтобы лишний раз поглядеть на него хотя бы издалека. И вот, можешь себе представить, я решила тоже записаться и брать книги, которые читает он, чтобы вместе с ним хотя бы тайно переживать прочитанное. Но оказалось, что он читает книги, которые мне не подходят; я одну взяла, как только он ее сдал, называется «Монтаж подстанций высокого напряжения», принесла домой и ничего в ней не поняла. Потом я узнала, что он заочно учится в институте. Это меня очень огорчило, так как я закончила семилетку, и как же после этого могу мечтать о нем! Я так мучилась несколько дней кряду. А потом решила настоять на своем, быть достойной его и уже с осени учусь в восьмом классе вечерней школы рабочей молодежи и теперь непременно закончу десятилетку».

Письмо получилось длинное и бестолковое. Выходило пока так, что самое главное все еще не высказано.

Недавно Валя решила передать Березину такую записку: «Вы меня, наверное, не замечали, а я вижу вас почти каждый день. Я вас полюбила, как увидела, с первого взгляда, хотя Лена Быкова говорит, что такой любви быть не может. Но все-таки что бы она ни говорила, а я вас очень люблю. Моим словам хотите верьте, хотите нет, но если они вам не по сердцу, я все равно буду думать о вас, этого вы мне запретить не имеете права. Незнакомая вам Валя Ф.».

Был вечер, уже взошла полная луна, всюду лежали голубые сугробы, отбрасывая черные тени, мороз поджигал щеки, снег скрипел под ногами, в темных бараках светились теплые окна, а вдалеке, в котлованах и на перемычке, горели прожекторы, и оттуда доносился бессонный гул экскаваторов, бульдозеров и самосвалов.

Валя торопливо шла в библиотеку по накатанной машинами дороге и все думала о том, почему один человек любит, а другой, тот, которого этот человек любит, холоден и равнодушен к нему и не может сам догадаться о его чувствах. Почему любовь приносит столько страданий и мучений, когда она должна приносить всем людям одну только радость.

Не успела она, стряхнув снег с валенок, подняться на крыльцо, как дверь распахнулась и Березин вышел ей навстречу. Ушанка на нем была надета набекрень, тужурка застегнута на одну пуговицу, а под мышкой торчала пачка книг и тетрадей. Валя заробела, посторонилась, а он не спеша сошел с крыльца и зашагал, посвистывая, посредине улицы. Валя смотрела ему вслед, до боли сжав в кулаке свою записку, а в ее голове рождались в это время стихи:

Ах, зачем, ах, зачем эта встреча?
Мне вовек бы тебя не видать.
Ах, зачем, ах, зачем этот вечер,
Что заставил меня так страдать?

«Милая, дорогая подружка! Я недавно хотела с ним объясниться, но как увидела его, так опять стала словно дурочка и ничего не сказала, мне только захотелось броситься ему на шею и поцеловать, но он прошел мимо, словно меня и не было.— Перечитав эти строчки, Валя судорожно вздохнула и продолжала писать: — Я вернулась домой очень расстроенная, даже ужинать не захотела, разделась и легла в постель и все думала про него

и про то, какая я несчастная, и мне так жалко стало себя, что я заплакала и стала всхлипывать. Девчата еще не ложились, стали спрашивать, что со мной, но я ничего не могла им объяснить, только сказала, что мне приснился страшный сон, на что Лена заметила: «Не имей привычки спать на левом боку».

Милая подружка! Посоветуй, что мне делать. Настоящая это любовь или нет? Сама я ни на что не могу решиться, поскольку такое чувство у меня впервые и от него у меня голова совсем закружилась. Я бы, конечно, могла все рассказать девчатам, но мы же решили строго вести себя в быту, и я боюсь, что они скажут, что я с такими отсталыми своими взглядами на любовь не имею права состоять в бригаде. Напиши мне, пожалуйста, что у вас слышно насчет того, каким должен быть член передовой бригады, какого поведения в быту, имеет ли он право бороться за личное счастье и имеет ли право девушка, которая очень любит, сама подойти к молодому человеку и сказать ему об этом или она должна ждать, пока он не подойдет. Но сколько же ждать можно? У нас насчет того, какими мы должны быть теперь, никто пока толком не знает, а у вас, наверное, уже все известно, так что напиши мне, пожалуйста, поскорее, а я буду ждать ответа с нетерпением и тогда решу, что мне делать».

Теперь письмо вполне закончено. Валя ставит жирную точку, заклеивает свое драгоценное послание в конверт, надписывает адрес и как есть — в одном платьице, с оголенными, по-девичьи тонкими руками, в легких туфельках — выбегает на улицу. Ветер кидает ей в лицо мокрый снег, обтягивает платьем всю ее ладную, крепкую фигурку. На стене соседнего барака висит почтовый ящик. Валя, раскрасневшись, совсем не чувствуя холода, добегает до него, опускает конверт в щелочку и мчится обратно, сочиняя на ходу:

Для чего нам слова с тобой, милый?
Чтоб друг друга обворожать...
У меня лишь хватило бы силы
Правду жизни своей рассказать.

В сенях, с разбегу влетев в них, она выбивает дробь каблучками, чтобы ссыпался прилипший к туфелькам снег, и врывается в тепло общежития. На душе у нее оттого, что она наконец высказала в письме все, так долго не дававшее ей покоя, оттого, что скоро будет получен

ответ и тогда все, все на свете и в ее жизни станет ясно и понятно, на душе у нее в эту минуту царит умиротворение, и Лена, лежащая с книгой в руках, удивленно глянув на ее счастливое, веселое, озорное, отразившее в себе эту душевную успокоенность и несказанно похорошевшее от этого лицо, строго спрашивает:

— Куда носилась?

— А, так,— беспечно кивает Валя на дверь,— до почтового ящика!

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

ПРОЕЗДОМ

Ровно полвека изо дня в день, если не считать выходных, Петр Иванович Березин ходил по одним и тем же улицам, к одной и той же заводской проходной, а там — в свою знаменитую сортопрокатку, и ни разу, насколько ему помнится, не задумался, так ли он живет, полна ли жизнь его смысла, значения и содержания. Были в этой жизни и радости — рождение Сашки, например, было и страшное горе — гибель при автомобильной катастрофе сына и невестки, возвращавшихся с воскресной массовки.

Но даже после несчастья ему некогда было задумываться, оно придало его жизни еще большее значение, поскольку воспитание внука полностью легло на его плечи.

Все, что ни делалось у них с внуком за те годы, делалось правильно и законно. Правильно и законно пошел Саша после десятилетки на завод, в ту самую знаменитую сортопрокатку, где работали и дед, и отец, и мать Саши и где начальником был Дмитрий Дмитриевич Толоконников по прозвищу «ДДТ», ученик Петра Ивановича, друг Сашиного отца и Сашин крестный; правильно и законно предложили уйти по старости на пенсию, и он, ничуть не горюя, деятельно и не спеша занялся домашним хозяйством: толкался по магазинам, прибирал в комнате, варил обед, в основном свой любимый картофельный суп с мясом, хотя к главной заводской проходной продолжал ходить каждый день, словно на работу. Там он обменивался мнениями со знакомыми вальцовщиками, возвращавшимися со смены, покупал в киоске заводскую многотиражку, которую потом дома не спеша и старательно прочитывал от заголовка до редакторской фамилии и в связи с этим был в курсе всех заводских новостей и событий.

Так правильно и законно жили они с внуком до тех пор, пока Саша, уже учившийся заочно в электротехническом институте, не уехал в Сибирь на строительство ГЭС.

Впрочем, и этот отъезд считался Петром Ивановичем до некоторой степени правильным и законным. Комсомольцы уезжали из Москвы полными вагонами и даже целыми составами, а Саша, дай бог, не хуже других. Однако, если говорить по совести, как на духу, сам дед, окажись он на месте внука, не сделал бы этого ни за что.

Таким образом, Петр Иванович и одобрял и осуждал Сашу. Одобрял вслух, при любом удобном случае, осуждал про себя, тайно от людей.

— Сорванец, — ворчал он, — право слово, сорванец. Бросил меня одного, куда мне теперь деваться?

Без внука ему стало скучно и нелепо жить на земле.

Деньги, которые Саша каждый месяц аккуратно присылал ему, Петр Иванович с такой же аккуратностью относил в сберкассу, где у него были оформлены на имя внука доверенность и завещание. На житье-бытье ему вполне хватало пенсии.

Беда заключалась в том, что без Саши вдруг утратился смысл жизни. Некуда было деваться с утра до вечера и, словно назло, все время хотелось с кем-нибудь поговорить. Он по-прежнему ходил к проходной, встречал там знакомых, покупал газету, но и чтения многотиражки, и разговоров со знакомыми хватало ненадолго: знакомые, в большинстве шедшие с ночной смены, выглядели усталыми и торопились домой спать, а газета была невелика.

Как и прежде, дважды в месяц, по воскресеньям, деда навещал ДДТ — Толоконников. Вот тут уж Петр Иванович наговаривался всласть, досыта. По давнишнему обычаю, ДДТ приносил пол-литра, дед варил картошку, резал большими, небрежными, холостяцкими кусками хлеб, селедку залом (эта резалась прямо со шкурой и кишками), выпивали, крякали, гримасничая, сильно дули из себя воздух и говорили решительно обо всем: об очередном Пленуме ЦК, о президенте Америки, о Кубе, только если раньше разговор их незаметно и обязательно сводился к тому, что завод их самый лучший в Москве, а сортопрокатка, в которой дед проработал ровно полвека и которой руководил по сей день Толоконников, самый лучший цех на заводе, то теперь все благополучно и радостно завершалось Сашей.

— Сашка у меня сила! — кричал захмелевший дед.—

Такого парня поискать. Энтузиаст. Деда не забывает, о здоровье справляется, каждую получку переводы высылает. Сила!

— Вырастили парня,— вторил Толоконников,— без отца, без матери поставили на ноги, будет нас с тобой благодарить.

— Сила! — ликовал дед.— Энтузиаст высшей марки. Пробу ставить негде, такой энтузиаст наш Сашка!

Петру Ивановичу вот так бы и говорить с кумом Толоконниковым хоть каждый день. Очень уж хорошими они были собеседниками. Никогда не возражали друг другу, никогда не спорили и понимали все с полуслова. Стоило, к примеру, Толоконникову сказать:

— Нет, как ты там ни говори, а наша сортопрокатка...

И уже дед, будьте здоровы, знал, что сейчас ДДТ скажет про свою любимую сортопрокатку. И он никогда не ждал, пока Толоконников выскажется до конца, и, нетерпеливо ерзая на стуле, подхватывал:

— Сила! Ни в жизнь нас никому не обогнать и не обштопать. Что они, лентопрокатчики, что?

— А листопрокатка? — воодушевленно подхватывал Толоконников, делая при этом презрительное лицо.— Что они могут? Речи на собраниях произносить?

— Это они могут, как же! — кричал дед. — У них одно тра-ла-ла, тра-ла-ла, а как до дела — слабы. А у нас в цеху, кого ни возьми,— сила! Вот, к примеру, наш Сашка, хоть он и уехал там на год, на два, это надо, пускай, ничего, а когда вернется?

— Сашка у нас молодец, орел!

— Сила!

Так согласно и интересно говорили они час, два, даже незаметно для себя заканчивая любую тему Сашей.

Совсем другое получалось при разговоре с министерским инженером Белогорским.

Петр Иванович не любил Белогорского, который каждое утро неторопливой походкой самодовольного и преуспевающего во всем человека, в безукоризненно выутюженном костюме, торжественно, как нечто драгоценное, неся в руке большой желтый портфель, выходил из дому и направлялся к себе в министерство. Петр Иванович не любил его именно за то, что сам Белогорский любил до самозабвения делать все по правилам, по законам, логически. Он был настолько правилен и свят, что к нему невозможно было придраться, упрекнуть его даже в мелком грехе, и имен-

но это его святое прозябание на земле и раздражало Петра Ивановича, хотя он, будучи человеком воспитанным, знающим, почем фунт табаку, дипломатично не показывал вида и разговаривал с Белогорским достойно, на равных.

Белогорский и жену, и старшую дочь Машеньку прочно опутал своими логическими правилами на все случаи жизни, как мух паутиной.

Захотела Машенька отрезать косу и сделать модную растрепанную прическу, как отец тут же бесстрастно и обстоятельно объяснил ей, что это нелогично; заикнулась было Машенька о том, что хочет уйти из бухгалтерии столовой, где она работала бухгалтером, на текстильную фабрику в ткачихи, как отец тут же скрипуче доказал, что в этом ее поступке не будет никакой логики: государство учило ее в техникуме, затратило средства, и она, следовательно, должна теперь работать там, где нужнее всего.

В отличие от Петра Ивановича Машенька уважала отца именно за эту его стойкую последовательность и, утешая себя тем, что даже Ленин очень высоко отзывался о счетно-финансовых работниках и говорил, что без учета нельзя построить социализм, оставалась в своей нелюбимой бухгалтерии, хотя, уйди она на фабрику, пользы и толка от нее было бы во много раз больше.

Но она не смела ослушаться. Она сама давно уже привыкла рассуждать по-отцовски, и когда Саша Березин, работавший электромонтером, учившийся в институте на вечернем отделении, тот самый Саша, в которого она была тайно влюблена и в жизни которого все было так логично и благополучно, вдруг все бросил, даже своего старенького дедушку, и уехал в Сибирь на строительство ГЭС; когда все это случилось, Машенька пришла в ужас. Впрочем, продолжая любить его, она не теряла надежды на то, что Саша все-таки одумается, поймет свою ошибку, пожалеет одинокого дедушку, вернется домой, и тогда... Тогда он увидит, прозрев, как она любит его, все время думает и вспоминает о нем и... Словом, у Машеньки всякий раз при этом приятно замирало сердце.

Каждый день, возвратясь с работы, переодевшись в полосатую пижаму и пообедав, Белогорский выходил во двор покурить и подышать свежим воздухом, несмотря на то, что от воздуха на Фасонной улице всегда отчетливо попахивало заводскими угольными дымами и лавочка, на которую усаживался Белогорский, была присыпана мелким угольным порошком, и он, прежде чем сесть, вынуж-

деп был старательно и брезгливо сдувать этот порошок на землю.

Увидев Белогорского, дующего на лавку, во двор спешил и Петр Иванович, которому все время так не терпелось поговорить, что даже Белогорский был очень приятной находкой. К тому же Петр Иванович, как и все старики, считал себя тонким человеком и давно уже прикидывал, что красивая, рассудительная, трудолюбивая, румяная Машенька могла бы стать неплохой женой его Сашки.

— Так,— говорил Белогорский присевшему рядом с ним Петру Ивановичу.— Скучаешь?

— С чего бы,— уклончиво отвечал Петр Иванович.

— Не скрывай. По логике, одинокому человеку всегда скучно и одиноко. Поэтому таких, как ты, и называют одинокими, что вам одиноко.

— Одиночество всякое бывает, а мне среди людей хорошо живется,— бодрился дед.— Да и внук не забывает меня.

— Внук позабыл тебя еще тогда, когда собрался уезжать и бросил тебя на старости лет на произвол судьбы, а теперь только делает для приличия вид, что не забывает, помнит и чтит. На самом же деле если бы он тебя чтил, уважал и любил, то он, по логике, ни за что бы не бросил тебя одного, никуда бы не уехал от тебя или же тут же вернулся бы с раскаянием в своем непродуманном поступке.

Петру Ивановичу очень хотелось поговорить о политике, об Африке или об индонезийском министре иностранных дел Субандрио, который недавно приезжал с визитом в СССР. Хотелось поговорить обстоятельно, согласно, отвести за разговором, как это бывает с ДДТ, душу. Но с Белогорским ничего согласного не получалось, поскольку он никого не хотел слушать, ничьих доводов не признавал, считая, что только он может все разумно и правильно оценить и определить и что к нему все, от мала до велика, должны относиться, как школьники к учителю.

О внуке, особенно с Белогорским, с которым, возможно, придется вступить в родственные связи, деду хотелось говорить так, чтобы собеседник, ахая, восхищенно шлепал себя по ляжкам и дружно поддакивал. Однако Белогорский, хитрая бестия, понимая и чувствуя душевное состояние Петра Ивановича, его бессмысленную без Саши, одинокую жизнь, всякий раз сводил разговор к своим логическим рассуждениям, и Петр Иванович не только не отводил душу в этом разговоре, но уставал от него, как от тяжелой работы.

Но что было делать! Он терпел и умышленно не замечал ловушек, искусно расставляемых перед ним безжалостным Белогорским, поскольку говорить хотелось так, что язык чесался.

Но вот однажды Петр Иванович получил телеграмму, в которой сообщалось, что в одно из ближайших воскресений внук явится в Москву.

Он вышел с этой телеграммой во двор и плотно уселся на лавочку. Уселся счастливый дед на лавочку и, кто бы ни проходил мимо него, всех подзывал и показывал телеграмму, и все выражали удовольствие, что Саша наконец-то возвращается домой. Потом, все больше распаляемый радостью, чувствуя, что не в силах сидеть на одном месте, Петр Иванович отправился к заводской проходной и стал показывать телеграмму всем знакомым, после чего, совсем уж распалясь, поехал в Измайлово к ДДТ, и там они на радостях «тяпнули», как говорил ДДТ, по стопке водяры.

Боже мой! Сколько надежд, волнений и желаний в связи с известием о предстоящем возвращении Саши вспыхнуло у самых различных людей.

Больше и сильнее всех обрадовало и взволновало это известие, конечно же, самого деда. Он весь преобразился. Жизнь его вновь обретала и смысл и значение. И как ему было не ликовать. Подумать только: приедет Сашка, распакует свои чемоданы, пойдет работать обратно в сортопрокатку к ДДТ, а тут Машенька...

Обрадовался приезду крестника и ДДТ — Толоконников. Он соскучился по Сашке, ему не терпелось узнать, как его подопечный выглядит теперь, после двухлетней самостоятельной жизни.

Определенное впечатление произвела телеграмма и в семье Белогорских.

Сам Белогорский, подумав, погладив ладонью бритую голову, наставительно сказал дочери:

— Вот видишь, Машенька, все происходит по законам логики. Логично ли было уезжать ему, оставляя одного престарелого, глупого деда, кое-как, но все-таки воспитавшего его? Нет, нелогично. Я всегда говорил об этом и всегда буду твердо стоять на позициях правильных, логических и обдуманных поступков. Возвращение Александра Березина я рассматриваю как признание им своей вины, своих ошибочных, торопливых взглядов на жизнь, которыми он, заметь это,— тут Белогорский многозначи-

тельно поднял торчком указательный палец с крепким желтым ногтем,— заметь это, славился во все время, сколько я его помню. И ты прекрасно знаешь, как его необдуманные, нелогичные поступки приносили людям огорчения, например, той же классной руководительнице Майе Васильевне в то время, когда он учился в школе.

— Да, да,— в смятении отозвалась Машенька, доверчиво и покорно глядя на рассудительного отца.— Я знаю.

Известие о приезде Саши взволновало ее не меньше, чем Петра Ивановича. Ведь она продолжала любить Сашу, и теперь все ее страстные и пока не сбывшиеся надежды на то, что он наконец узнает, поймет и достойно оценит ее чувства, воскресли в ней с новой силой. «Да, да,— думала Машенька,— он совершал нелогичные, необдуманные поступки, я-то знаю, эти поступки касались и меня. Папа прав, он возвращается только потому, что понял, как нехорошо поступал с дедушкой, и, конечно, поймет и то, как неправ был по отношению ко мне».

И вот наступило знаменательное воскресенье. Это был чудесный, безоблачный июльский день. Солнце вовсю жарило московские крыши и тротуары. Дед вымыл пол, накрыл стол чистой полотняной скатертью, расставил тарелки и принялся готовить закуску, когда пришел Толоконников и стукнул по столу пол-литром.

— Еще не приехал? — спросил он.

— Еще нет,—ответил Петр Иванович, нарезая колбасу.

Толоконников распахнул окно, лег животом на подоконник и стал смотреть на улицу.

— Ну и денек,— сказал он, не оборачиваясь.

— Денек что надо, — отозвался дед. — Праздничный денек.

— А ты словно на Первое мая нарядился,— продолжая следить за улицей, сказал ДДТ.

— Для Сашки.

За улицей наблюдал, поджидая Сашу, не только Толоконников. Ниже этажом, как раз под высунувшимся из окна ДДТ, сидела с книгой в руках Машенька. Однако она делала вид, что читает, а на самом деле с нетерпением, как и ДДТ, следила за улицей. Ей казалось, что время тянется нестерпимо медленно и что она сидит подле окошка много часов подряд. Ожидание так измучило ее, что, когда около дома остановилось такси, Машенька даже не сразу поняла, что это приехал Саша. И тем не менее стоило только такси остановиться напротив окна, еще

не видя Сашу, не зная, что это приехал он, Машенька почувствовала, как часто и тревожно застучало ее сердце.

Некоторое время в машине не было никаких признаков жизни. Потом передняя дверца распахнулась, и Саша вылез из автомобиля. Батюшки мои, как он возмужал, раздался в плечах, окреп и огрубел! Машенька с трудом узнала в этом красивом, широкоплечем смуглом мужчине того самого круглолицего, добродушного Сашку, вместе с которым когда-то училась в одном классе и даже однажды (тоже теперь, кажется, очень давно, помнит ли он этот случай?) ездила с ним в театр.

Машенька так обрадовалась, увидев Сашу, что, порывисто вскочив со стула, уже схватилась было рукою за тюлевую занавеску, чтобы отдернуть ее, окликнуть и первой поздравить Сашу с приездом. Но вдруг радость, охватившая ее, померкла и улыбка сбежала с лица.

То, что в эту минуту представилось ее взору, удивило, огорчило и опечалило ее: Саша, выбравшись из машины, поспешил распахнуть и заднюю дверцу. И как только он сделал это, из машины, словно чижик из клетки, выпорхнула маленькая, изящная и бойкая девчонка в модном пестреньком платьице. Она ловко оправила свой чуть примявшийся от сиденья в машине наряд и, грациозно и гордо вскинув голову (девчонка была курноса и ярко-голубоглаза), сунула худенькую руку Саше под локоть.

Тем временем машина, взревев мотором и словно с перепугу присев, прежде чем тронуться с места, укатила, а Саша с бойкой, пестренькой девчонкой, по-хозяйски уцепившейся за его руку, не спеша и торжественно направились к дому.

Откуда же взялась эта девчонка, так смело и откровенно показывающая свои неограниченные права на Сашу? Почему Саша приехал с таким видом, будто не был дома всего пару часов и вернулся из кино или с танцплощадки парка культуры и отдыха? Ведь при нем не оказалось не только чемоданов, но даже нищенского узелка!

Обидное огорчение Машеньки сменилось ревнивым любопытством. Она поспешно схватила книгу и кинулась к двери. Здесь она несколько задержалась, чтобы унять волнение, и, как это не раз делала раньше, когда она хотела нечаянно встретиться с Сашей, распахнула дверь и неторопливо вышла в коридор.

— Здравствуй, Саша,— как ни в чем не бывало, с достоинством и достаточно приветливо сказала она.

— Привет работникам питания!

— Ты давно приехал? — слукавила Машенька.

— Только сейчас. Знакомься,— кивнул он в сторону девушки, продолжавшей держаться за его локоть, и, склонив голову набок, с веселым любопытством, без какого-либо смущения рассматривавшей Машеньку.— Это Валя. Валентина Сергеевна Березина. Моя жена.

У Машеньки от этого известия на миг потемнело в глазах, а девчонка, словно издеваясь над ней, держась за Сашин локоть и не спуская с Машеньки вызывающе веселого взгляда, взялась двумя пальчиками свободной руки за подол платья и грациозно присела.

Машенька с болезненной улыбкой поклонилась ей.

— Как жизнь? — спросил Саша, не обратив внимания на эту страдальческую ее улыбку. — Все трудишься на почве общественного питания?

— Да,— как заученный урок, сказала Машенька.— Ведь я училась, государство затратило средства...

— Должна, должна,— благодушно поощрил Саша, помахал рукой, на которой блеснуло золотое кольцо, добавил: «Привет!» — и тронулся под руку с беспечной, счастливой женой вверх по лестнице.

А там, на площадке второго этажа, их уже поджидали дед и Толоконников.

— А она красивая,— сказала жена.

— Маша? — спросил муж.

— Да.

— Красивая.— Муж посмотрел вниз, не стоит ли там Машенька, и, убедившись, что ее уже нет, продолжал: — Слишком она праведная, нерешительная, ненастойчивая.

— Ты любишь настойчивых? — спросила жена, пытливо поглядев на него снизу вверх.

— А ты не знаешь,— усмехнулся муж и, осторожно, бережно отстранив спутницу, расцеловался сперва с дедом, потом с крестным, потом взял за руку Валю и сказал:

— А это Валя, моя жена.

Воцарилось молчание: такой ошеломляющей неожиданностью явилось это сообщение и для деда, и для ДДТ.

Первым пришел в себя Петр Иванович и стал неловко и поспешно, словно бедняк перед помещицей в китайском кинофильме, пятиться к двери, приговаривая:

— Милости просим, милости просим.

Валя смотрела на него во все глаза, таким забавным показался ей добрый Сашин дедушка.

— Что ты, дед? — виновато сказал Саша и, обняв его за плечи, укоризненно посмотрел на жену.

А в комнате, в той самой комнате, в которой почти всю жизнь прожил Петр Иванович, родился и вырос Саша, был накрыт знаменитый березинский стол. Валя даже всплеснула руками, так все оригинально, небрежно, по-мужски было приготовлено: большущие куски колбасы, селедки, сыра, помидоров, кастрюля с горячей картошкой.

Дед, суетясь, стукая бутылкой, разлил водку.

— Ну, молодожены,— сказал ДДТ,— ваше здоровье.

— Только я не пью, вы уж извините,— сказала Валя и, посмотрев на Сашу, добавила: — И он тоже.

— А насчет красненького мы не догадались,— с сожалением сказал ДДТ.— Кто знал, что Сашка женатый приедет. Ну, да ладно, мы с дедом хватим за ваше благополучие, а вы — горяченькой картошечки, заломчика.

— Это я очень люблю,— улыбнулась Валя.

«Ишь ты какая»,— поощрительно подумал, глядя на нее, ДДТ, и с этого момента, как принято писать в газетах, завязалась непринужденная беседа.

— Ну-ка, расскажите нам, как и где вы отыскали друг друга,— попросил Толоконников.

Саша неопределенно пожал плечами, а Валя горящими глазами уставилась на ДДТ, и в ее голове пронеслось все, все, с самой первой их встречи. И то, что она, увидев Сашу, сразу же без ума влюбилась в него, и то, как у нее от этой любви вдруг стали сочиняться стихи, и то, как она твердо решила про себя добиться Сашиного внимания и ради этого делала все, чтобы стать достойной его.

Все это и многое еще другое можно было рассказать этим чудесным, как определила она, людям, но Валя ничего не стала рассказывать, а лишь запальчиво и вызывающе-весело выкрикнула:

— Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет,— и обратилась к мужу: — Правда, Саша?

— Точно,— отозвался тот.

— Очень лаконично и вполне исчерпывающе,— похвалил молодоженов ДДТ.— А теперь расскажите, почему вы прибыли налегке, или поиздержались в дороге?

— Так мы же едем на курорт,— сказала Валя.— На Кавказ, в отпуск. У нас путевки, а вещи наши на вокзале в камере хранения.— Она сделалась очень озабоченной.— Можете себе представить, нам до отхода поезда надо еще побывать на Пресне, у моей мамы.

— С визитом, так сказать,— подхватил ДДТ, наливая себе и деду еще по рюмке.

— Вроде этого,— согласился Саша. Он опять виновато посмотрел на деда.— Мы, дед, будем ехать обратно, на несколько дней задержимся.

Дед, все это время с восторженным раболепием глядевший на внука, заспешил, заторопился:

— Делайте как лучше. Вы на нас не смотрите, мы еще тут посидим, потолкуем.

— Поехали еще раз под селедочку,— предложил ДДТ.

Они чокнулись, выпили, ошалело поглядели друг на друга, дед, сморщась, крякнул. ДДТ дунул из себя воздух, и оба разом, словно по команде, принялись закусывать.

Прошло еще полчаса. ДДТ расспрашивал о строительстве ГЭС, Саша с Валей рассказывали, и захмелевший дед несколько раз восклицал:

— Сила! Митрий, кум, это же сила!

Но вот молодожены, переглянувшись, поднялись, и Саша, вновь виновато поглядев на деда, сказал:

— Нам пора.

— Всего вам доброго, всего вам доброго,— подхватил дед,— отдыхайте и все такое, как полагается.

ДДТ, откинувшись на спинку стула, доброжелательно поглядывал на крестника и его жену. А когда они ушли, дед, выпив с ДДТ еще по рюмке, прослезился и закричал:

— Сила! Сашка-то наш! Взял и женился. Каков, а?

— Правильно. Полюбил — женись, — поддержал Толоконников.

— Правильно! — подхватил дед. — Полюбил — все побоку! Женился и — на курорт! Видал каков?

— Нашего Сашку голыми руками не возьмешь.

Тут разговор их сделал несколько произвольный, даже без всякого усилия с их стороны, зигзаг, перескочил на строительство ГЭС, про которое только что рассказывали молодожены, потом почему-то на Асуанскую плотину, коснулся международной политики, и они, по заведенному давно обычаю, дружно, в один голос стали обсуждать последнюю пресс-конференцию президента США.

Выйдя из дома, молодые Березины опять встретились с Машенькой. Она сидела на скамейке со своим отцом, министерским инженером, облаченным в полосатую пижаму, и Саше пришлось представлять Белогорскому свою жену.

Белогорский учтиво и несколько ехидно улыбнулся, а когда Березины скрылись за воротами, сказал:

— Вот, Машенька, логично ли так скороспешно жениться, не получив согласия дедушки? Пусть он недалек, в некоторой степени даже глуп, но он дедушка, и не спроситься его может только бестактный человек.

— Откуда это тебе известно, папа? — с тоской сказала Машенька, отсутствующим взглядом глядя себе под ноги.

— Если бы он спросил у деда согласия, то об этом знал весь наш дом, однако нелогичность его поступка...

Он говорил обстоятельно, словно читал лекцию, а Машенька, все глядя себе под ноги, впервые за всю жизнь не слушала отца и зло думала: «Да пусть она пропадет пропадом, твоя хваленая логика. Ненавижу! Ненавижу!»

А молодожены Березины тем временем уже были на стоянке такси, и как раз в тот момент, когда подошла их очередь, Саша увидел свою бывшую классную руководительницу Майю Васильевну, которая, по его мнению, так много сделала для него хорошего и доброго, и окликнул ее.

— Березин? — удивилась она.— Не узнать, не узнать.

— А вы все такая же.— Саша приветливо улыбался.

— Что вы, где, что делаете?

Он рассказал, где работает.

— Похвально, похвально,— сказала она, хотя ничего похвального в том, что он электромонтер, она не находила.

— И заочно институт заканчиваю,— добавил Саша.

— О! — удивилась она, теперь уже искренне.

— А это моя жена, Валя,— сказал Саша и обнял Валю за плечи.

— Поздравляю, поздравляю,— говорила учительница и подумала, что он, вероятно, по-прежнему такой же неугомонный, своеобразный и своим поведением приносит людям много хлопот и неудобств. Но подумала теперь уж не так, как думала раньше, когда была классной руководительницей, а без раздражения и обиды.

Обменявшись еще несколькими любезностями, Березины сели в такси, учительница последовала своей дорогой, и когда машина тронулась, Саше так вдруг стало жалко расставаться и с дедом, и с ДДТ, и с Машенькой, и с Майей Васильевной, и со старым своим московским домом, что он даже крикнул с досады и махнул рукой.

— Чего ты? — заботливо спросила Валя.

— Жалко с чего-то мне,— сказал он.— А с чего — и сам не пойму.

1957—1964

ОТ РАССВЕТА ДО ПОЛУДНЯ

Есть упоение в бою...
А. С. Пушкин

1

Еще только забрезжил рассвет. На передовом крае все было пока по-ночному: то тут, то там трепетало в небе холодное белое сияние ракет; лениво и бесцельно, как деревенские сторожа колотушками, постукивали пулеметы; гулко бухали редкие карабинные выстрелы. Одним словом, на передовом крае царил покой.

В это время в подвал разрушенного артиллерийскими снарядами помещичьего дома, по-хозяйски стуча по каменным ступенькам лестницы подкованными каблуками яловых сапог и шепча при этом всякие нецензурные выражения, сбежал старшина Гриценко. Это был рослый, уже в годах, человек, очень уважающий себя и свое особое, ни с чем не сравнимое должностное положение. Ротный старшина, как известно, человек всемогущий. Живот Гриценко туго перетягивал офицерский, с портупеей, ремень, на одном боку висела кирзовая сумка, а над глазами торчал длинный и толстый козырек фуражки, сшитой из старой суконной гимнастерки бог знает каким умельцем. Если ко всему этому прибавить старательно отглаженные и почти новые темно-синие диагоналевые шаровары и до блеска начищенные ладные сапожки, то станет ясно, что старшина Гриценко был к тому же самым отменным фронтовым щеголем.

Он слыл хорошим строевиком, с начальством был терпелив, с подчиненными строг, все ему в жизни, как и положено настоящему старшине, было известно, понятно и ясно. Только одного, и то лишь в последние дни, Гриценко никак не мог взять в голову и объяснить себе: почему он до такой степени невзлюбил этот подвал с обшарпанными каменными ступенями, что всякий раз, спускаясь по лестнице, вынужден был изощряться в сквернословии.

А в подвале вот уже десятый день размещался командный пункт роты.

Шла весна 1945 года. Солнечный, с теплыми европейскими ветрами, апрель будоражил солдатскую душу.

К тому же все видели и чувствовали, что войне скоро должен наступить конец, были возбуждены необыкновенно радостным ощущением приближающейся победы, и неожиданная, досадная задержка уже в самой Германии, затянувшаяся на полторы недели, очень всех огорчала: и таких опытных, прошедших огонь, воду и медные трубы военных спецов, вроде старшины Гриценко, и тех отчаянных, бесшабашно смелых, любопытных парней, что вступили в войну на полпути, а то и того позже — догнали войска уже за границей.

Все они — и старые, и молодые — были сейчас в эти погожие, стремительно набегавшие один на другой дни счастливо убеждены в том, что именно им как раз и выпала доля дожить до конца войны, до полной победы над фашистами и вернуться домой здоровыми и невредимыми.

В подвале, куда молодцевато сбежал Гриценко, стоял полумрак. На нарах, застланных помещичьими пуховыми перинами и коврами, вповалку спали офицеры, телефонисты и артиллерийские разведчики. В углу, возле рации и коммутатора, стоявших на полированных, с изогнутыми золочеными ножками столиках, не то задремав, не то задумавшись, сидел, склонив голову, дежурный телефонист. Перед самым его носом коптила смастеренная из семидесятишестимиллиметровой артиллерийской гильзы лампа.

Гриценко сразу увидел непорядок и, вплотную подкравшись к телефонисту, укоризненно, даже с некоторой радостью прошептал:

— Спишь! Все отдыхают, надеются на него как на бога, а он спит.

Телефонист поправил на голове тесемку, к которой была прилажена телефонная трубка, и снизу вверх, чуть полуобернувшись, не спеша, вопросительно поглядел на старшину.

— Спишь,— с разочарованием качая головой, прошипел старшина.

— Никак нет,— тем же зловещим шепотом ответил телефонист.— О жизни думаю.

— Ай-яй-яй,— опять покачал головой старшина.

Он уже понял, что не угадал, попал впросак, но, как всякий уважающий себя старшина, даже не подал виду. Наоборот, Гриценко глядел на телефониста снисходительно и после многозначительной паузы сказал:

— Я вот и гляжу — с чего это у тебя голова такая большая, словно у ученого. А она, стало быть, от излишних мыслей.

В это время на парах, брякнув орденами и медалями, рывком сел всклокоченный, распоясанный, с распахнутым воротом гимнастерки офицер. Он еще быстро и крепко тер лицо ладонями, а старшина Гриценко уже стоял перед ним, браво выпятив грудь и вытянув руки по швам.

— Это ты, старшина, шумишь? — спросил офицер.

— Я, товарищ капитан,— простуженно просипел старшина и уже громко, радостно, как о чем-то совершенно необыкновенном, сообщил: — Завтрак готов.

— Добре, батьку, добре,— поощрительно молвил офицер.— Чего же ты нам сегодня наварганил?

— Как было вами приказано с вечера: мясо с макаронами и чай.

— Накорми людей как следует, от пуза, не скупись.

— Да разве я, товарищ капитан...— обиженно начал было старшина Гриценко, но капитан, засмеявшись и махнув рукой, перебил его:

— Да знаю, знаю я тебя...

Старшина умолк и, тоже засмеявшись, сказал:

— По котелку на брата дам, куда больше.

— Пусть наедятся кто как горазд, еще неизвестно, когда будем обедать.

— А обед готовить прикажете как всегда?

— Как всегда и на всех.

При этих словах капитан многозначительно поглядел на старшину и, больше ничего не сказав, принялся натягивать сапоги.

— Слушаюсь,— отдал честь старшина.

За те два года, которые они провоевали вместе, бок о бок, старшина Гриценко научился понимать своего командира не только с одного слова, а с одного взгляда. Сейчас командирский взгляд выразил неизмеримо больше того, что капитан произнес вслух.

Темные, цыганские глаза командира сказали старшине Гриценко вот что: нам сегодня идти в наступление, и никто пока не знает, с каким успехом для нас будет развиваться этот бой; возможно, многие из нас будут ранены и даже убиты, стало быть, так или иначе покинут роту, но пока на все это не надо обращать внимание, и тебе, старшина, следует все делать так, как всегда, как вчера, неделю и даже месяц назад.

Вот так надо было понять взгляд командира, и именно так понял его старшина Гриценко. Ни о чем больше не расспрашивая, он повернулся к телефонисту и приказал:

— Вызывай из взводов посыльных за завтраком. Кухни будут на старом месте. Да пусть там не особенно прохлаждаются, светает.

— Светает! Подъем! — скомандовал капитан, и на нарах тут же все зашевелились, а капитан, притопывая, чтобы ноги удобнее улеглись, в сапогах, тем временем обратился к старшине:

— Как там на воле?

— Весна, товарищ командир,— радостно рявкнул Гриценко.

По всему его виду можно было сразу понять, что ему доставляет чрезвычайное удовольствие сообщить об этом капитану.

— Ну, пойдем, покажешь мне эту весну,— сказал капитан.

— Получайте завтрак,— ни к кому не обращаясь, но так, чтобы все его слышали, повелительно и деловито бросил старшина и поспешил вслед за капитаном к выходу из подвала.

2

А на дворе действительно была весна. Она сразу же дала знать о себе вышедшему из душного подвала офицеру таким свежим, ароматно ядреным, крепким запахом земли, чуть пробившейся травы, набухших почек, холодком не растаявшей, должно быть, где-то в овраге глыбы лежалого снега, что капитан невольно улыбнулся и оглядел двор.

Впрочем, никакого двора не было. Лишь кое-где оставался в сохранности кирпичный, словно крепостная стена, забор. Все постройки усадьбы: конюшня, коровник, свинарник, птичник, всевозможные склады, кладовушки и иные строения, которым не подберешь и названия, еще совсем недавно добротно прочные, аккуратные, основательно обжитые ,— превратились, как и сам помещичий дом, в развалины.

Здесь, через усадьбу, через сад, по двору рядом с домом немцами были отрыты окопы и огневые площадки, и еще две недели назад немецкие солдаты, занимавшие эти окопы, чувствовали себя в полной безопасности,

а все постройки усадьбы были целы и невредимы. Однако наши войска, отставшие на марше, догнали наконец оторвавшегося противника, с ходу завязали ожесточенный бой, предполагая с ходу же овладеть и опорным пунктом, в который была превращена усадьба. Но фашисты оказали такое яростное, неожиданное сопротивление, что наши, неся потери, вынуждены были отойти, вызвать авиацию и артиллерийский огонь, а после обработки переднего края снова идти в атаку и опять откатиться. Лишь в третий раз, ценою огромных усилий, удалось выбить немцев из опорного пункта. К тому времени от помещичьей усадьбы остались лишь развалины.

Немцы отошли на вторую линию обороны, которая пролегала по холмам западнее усадьбы и которую в те дни наши войска уже не смогли одолеть. Дивизия, троекратно штурмовавшая первую линию фашистских укреплений, утомленная длительными маршами и бросками, потерявшая в этих боях больше половины людского состава (в последнем штурме участвовали даже писари, ездовые и артисты ансамбля песни и пляски), вместо штурма второй оборонительной линии немцев была вынуждена поспешно закапываться перед этой линией в землю.

Рота капитана Терентьева подошла сюда в составе отдельного пулеметно-артиллерийского батальона позднее, когда все уже было сделано, отрыты свежие ходы сообщений и заминированы стыки.

Дивизия стояла на переднем крае двумя полками, занимая по фронту пятикилометровый участок. Этот участок и принял от нее пулеметно-артиллерийский батальон укрепрайона. Дивизия отошла в тыл для переформировки и пополнения, а батальон растянулся четырьмя ротами вдоль всего отведенного ему участка. Пристреляли пулеметы, поставили артиллерийские и минометные заградительные огни, выкатили сорокапятимиллиметровые пушки на более вероятные направления танковых атак и даже начали, не мешкая, по особой, только одним уркам (так повсюду на фронте звали укрепрайоновцев) присущей привычке, деловито и старательно, словно бобры, строить дзоты. Урки всюду любили устраиваться прочно, по-хозяйски.

Капитану Терентьеву в то время шел уже двадцать пятый год. Был он невысок, легок на ногу, худощав, в крови его бродила не то цыганская, не то татарская, не то чеченская кровь. По натуре это был ласковый, застен-

чивый парень. Но он постоянно стыдился этой своей застенчивости, считал ее большим недостатком и изо всех сил старался выглядеть грубым человеком, что, по его мнению, было больше к лицу настоящему солдату. Порою беспричинно раздражаясь, он кричал и ругался, но, как и все мягкие, добрые люди, быстро отходил и потом долго в душе мучился и каялся и готов был у всех просить прощения за свою вспыльчивость.

И еще Терентьев любил правду и считал своим святым долгом говорить людям то, что думает о них. Даже когда можно было бы и поступиться этой правдой, промолчать, чтобы пощадить человека, его самолюбие, или, как говорят, уважить его, поскольку многим от терентьевской правды бывало очень худо — так она была резка и откровенна. Но Терентьев делать этого не умел.

Посреди усадьбы стояли две походные одноконные кухни. В одной кухне было мясо с макаронами, в другой — чай. На пароконной повозке, стоявшей тут же, лежали, укрытые брезентом, буханки хлеба и стоял термос с водкой. Сытые, с толстыми ляжками и покатыми боками, лошади, понуря головы, додремывали этот ранний, чуть просветлевший на востоке час утра.

Ездовые, повара и каптенармус, сгрудившись возле повозки, курили, мелькая огоньками цигарок и о чем-то тихо, лениво переговариваясь. Увидев капитана, они спрятали цигарки в ладонях и вытянули руки по швам.

— Вольно, вольно — поспешно сказал Терентьев нарочито недовольным голосом, хотя был давно сердечно привязан к этим пожилым, старательным людям, которые все без исключения годились ему в отцы.

— Курите,— помолчав, добавил он уже мягче и прошел к лошадям, впряженным в повозку, и сейчас же одна из них, дрогнув холкой, всхрапнув, потянулась к нему мордой и коснулась подставленной ладони теплыми шершавыми губами.

Терентьев погладил ее по храпу и, ласково, виновато приговаривая: «Да нету, нету у меня ничего», поправил челку второй, стоявшей через дышло и тоже потянувшейся к нему мордой лошади.

Это была пара самых обыкновенных крестьянских неприхотливых и безотказных лошадей, гнедой масти. Одна из них вдобавок плохо видела левым глазом. И тем не менее они считались самыми знаменитыми среди всех ротных лошадей, так как прошли в обозе всю

войну. Как впрягли их во время формировки батальона в сорок первом году в одно дышло, так и не разлучались они ни разу, да так и не отходил от них ни на шаг хозяин-ездовой, услужливый, расторопный солдат Рогожин, по гражданской профессии — продавец молочных и колбасных изделий, обучавшийся учтивости еще у купца Чичкина. Иного человека, веди он себя как Рогожин, все бы в один голос презрительно назвали подхалимом или еще как-нибудь почище. Но ни у кого не поворачивался язык сказать этакое про доброго, бескорыстного Рогожина, ежеминутно готового услужить всякому, начиная от своих собратьев по службе, таких же, как он, обозных, и кончая самим командиром роты, храбрым и удачливым капитаном Терентьевым.

Вот и сейчас, поспешно отделившись от товарищей, Рогожин уже стоит, чуть наклонившись вперед, старательно и неуклюже, совсем не по-строевому, прижав руки к бедрам, и с готовностью ждет, что скажет ему командир.

— Ну как, Рогожин,— говорит Терентьев, обходя лошадь и сильно, звучно шлепая ладонью по ее крупу,— отъелись наши рысаки? Ты гляди, не зад, а настоящая печь, выспаться можно.

— Так точно,— с удовольствием спешит отозваться Рогожин.— Откормили. Теперь, только прикажите, до самой Москвы без остановки докатим.

— Хочется домой-то?

— Очень, товарищ капитан. Даже не поверите, во сне начал видеть, как вхожу я в свою квартиру, а жена, и ребятишки, и теща — все встречают меня.

— Ну, ничего, потерпи. Теперь уж скоро,— обещает капитан.— «Москва...— мечтательно произносит он,— как много в этом звуке для сердца русского слилось!» А? Разве не так?

— Так,— вздохнув, говорит Рогожин.

Капитан знает, что у Рогожина четверо детей — и все девочки. Тем не менее он спрашивает:

— Значит, одних девок народил?

— Прямо горе,— конфузливо смеется Рогожин.— Теперь, как приеду, за мальчишку примусь.

Капитан тем временем нагибается, берет лошадь за ногу, чуть повыше копыта. Лошадь дергает ногой, командир говорит:

— Стой, стой, дурачок.— И, посмотрев подкову, выпрямившись, произносит: — Перековать бы не мешало.

— Совершенно справедливо,— соглашается Рогожин.— Особенно на передние.

Этот разговор доставляет обоим истинное удовольствие. Рогожину приятно, потому что сам командир интересуется его лошадьми и, по всему видать, удовлетворен тем, как он, Рогожин, содержит их; Терентьеву же все это приходится по душе потому, что он с детства любит лошадей, знает в них толк, готов с восторгом часами говорить о них, сам учился в кавалерийском училище, накануне войны блестяще окончил его, и теперь они с ездовым как единомышленники отлично понимают друг друга.

Пока они ведут этот значительный для них разговор, лихой ординарец командира Валерка Лопатин, чертом выскочивший из подвала, получает для офицеров мясо с макаронами, хлеб и водку. Сзади него с котелками в руках выстраиваются в очередь сладко зевающие спросонья телефонисты и разведчики.

Валерке Лопатину девятнадцать лет, воевать он начал в прошлом году, придя в батальон с пополнением. Валерка удивительно красив: мягкие русые волосы, черные широкие брови и большие серые глаза. В него влюблена ротный санинструктор Надя Веткина, влюблена так сильно и так откровенно, что про эту безответную любовь знает вся рота, и все сочувствуют бедной девушке. Знает и сам Валерка, но держится с Надей деспотически дерзко и самодовольно. А Надя безропотно переносит все его выходки. Когда, случается, кто-нибудь, проникнувшись жалостью к Наденьке, говорит Валерке: «Что же ты так неуважительно к ней, глянь, она вся высохла по тебе», Валерка, сплюнув сквозь зубы и состроив на мальчишеской, с мягким желтым пушком вместо усов над губой, физиономии презрительную гримасу, отвечает: «Нужна она мне, фронтовая. Они небось думают, что война им все спишет. Ничего не спишет. С них после войны спросится».

Но все, однако, понимают, что он говорит так не потому, что убежден в правоте своих слов, а лишь подражая своему наставнику, старшине Гриценко, который уж действительно от всего сердца убежден, что все фронтовички распутные бабы.

— Сколько баб пропадает, ай-яй-яй,— искренне сокрушается Гриценко.— Ну кто их после войны замуж возьмет? Кому будут они нужны, военные эти самые? Надька, к примеру, наша?

Впрочем, ни юный Валерка, ни умудренный житейским опытом старшина Гриценко не решались высказывать подобные соображения о фронтовых женщинах вообще и о Наденьке Веткиной в частности при командире. Им обоим было хорошо известно, что капитан Терентьев нетерпим к цинизму, пошлости, к грязным недомолвкам и столь же многозначительным жеребячьим ржаньям, то есть ко всему тому, что для людей, подобных старшине Гриценко, служит откровенной мерой их отношения к военной женщине.

Все это оскорбляет и злит Терентьева. Когда кто-либо высказывается при нем так, как умеет высказываться старшина Гриценко, он морщится, словно от зубной боли, и, по обыкновению не выдержав, негодующе блестя цыганскими глазами, говорит, что только мерзавцы могут так грязно отзываться о женщине, что эти люди прежде всего сами не уважают себя, что за душой у них нет ничего святого.

К маленькой, бесстрашной Наденьке Веткиной капитан Терентьев относится по-братски, с нежной, несколько снисходительной и покровительственной заботливостью. Он всякий раз беспокоится, когда она покидает КП, отправляясь в траншеи переднего края, хотя, по обычаю, и не показывает своих чувств.

Всем, однако, хорошо известно, что обидеть Надю капитан никому не позволит.

3

Володя Терентьев был женат. А женился он за две недели до начала войны, сразу же после выпуска из кавалерийского училища. В кармане его гимнастерки хранится фотография, на которой запечатлен юный командир с двумя кубиками в петлицах гимнастерки, в лихо сдвинутой на бок кавалерийской фуражке. Он по поясу и плечам затянут ремнями, при кобуре, свистке, шашке и шпорах. Об руку с ним, победоносно вздернув остренький носик, стоит завитая барашком его жена Юля. Командир смотрит с фотографии, мужественно насупив брови, а жена его глядит на мир задорно и вызывающе, как бы говоря: полюбуйтесь, какой великий воин попал в мое полное, безоговорочное подчинение.

Впрочем, никакого подчинения, как казалось Володе,

не было. Прежде чем пойти в загс, Володя изложил будущей жене свои взгляды на семью и брак таким образом:

— В основе все нашей жизни должны лежать дружба, доверие друг к другу и уважение. У нас все должно быть общим, нашим, ничего отдельного, ни моего, ни твоего. Ну, например, денег.

— А как же быть с платьями и вообще...— глядя на Володю невинными, доверчивыми глазами, спросила Юля.

Володя откашлялся.

— В определенном смысле они твои, конечно, но вообще должны считаться нашими,— несколько обескураженный ее вопросом, принялся объяснять он.— Ты, конечно, спросишь почему. Я тебе отвечу: потому что покупать их будем на наши деньги. Ты понимаешь — на наши, а не отдельно на твои. А так платья, конечно, будут твои. Я же не стану их носить. Ты понимаешь мою мысль?

— Понимаю,— сказала Юля.

— Ты согласна со мной?

— Согласна, Вовочка, конечно, согласна. Я и сама так мечтала,— с ханжеским восторгом воскликнула Юля, которой очень хотелось выйти замуж за Володю Терентьева.

Восклицая так, Юля слукавила. Ни о чем подобном она никогда и не думала и согласилась с мнением Володи потому, что боялась упустить удобный случай (очередной выпуск кавалерийского училища). Наивно-доверчивый, бесхитростный, прямодушный, Володя Терентьев был неплохим кандидатом в женихи. Тем более что, по мнению Юли, он был очень симпатичным. «Пусть пока мечтает,— думала она.— Когда я стану его женой, все будет по-моему». Замужество и отъезд с молодым командиром в какой-нибудь военный гарнизон считалось у девчат маленького заштатного городка очень выгодным. Познакомившись с курсантом в городском парке, такая девушка терпеливо ждала его аттестации и, сыграв веселую свадьбу, без всякого сожаления покидала родные пенаты важной, счастливой командиршей. Юле тоже до смерти хотелось стать женой командира и вкусить прелести новой, неведомой жизни.

Однако ни в какой гарнизон она не попала. Чета молодых Терентьевых успела лишь добраться до Володиных родителей, где намеревалась провести положенный молодому командиру отпуск, как нагрянула война. Юля

поспешила домой, к папе и маме, а Володя укатил в Белоруссию, где квартировал кавалерийский полк, в котором ему надлежало принять пулеметный взвод.

Полк он догнал на марше, скоро стал участником сражения с немцами, был ранен, эвакуирован в госпиталь, а по выздоровлении назначен в формировавшийся невдалеке от Москвы отдельный пулеметно-артиллерийский батальон укрепрайона.

В этом батальоне его и застала весна 1945 года в должности командира роты, в чине капитана, с тремя орденами и медалью «За отвагу» на груди.

Честный, чистоплотный, искренний, он, разумеется, не мог допустить мысли, что Юля нисколько не любит его, даже больше — неверна ему. Он часто и обстоятельно описывал ей свою фронтовую жизнь и с нетерпением ждал ее редких, нисколько не обстоятельных, легкомысленно сочиненных ответов. Впрочем, он не замечал той небрежности, с какой Юля писала ему. Каждое слово, выведенное ее рукой, приобретало для слепо влюбленного Володи понятное только одному ему, очень торжественное, нежное значение.

Он был в восторге от своей жены, и все, кому в роте доводилось видеть ее фотографию, отзывались о ней тоже восторженно; даже старшина Гриценко и Валерка. А Надя Веткина сказала, что она наверняка киноартистка. По своей душевной простоте девушка полагала, что все красивые женщины гениальны и непременно должны сниматься в кино. Жена командира показалась ей удивительно красивой и умной.

Капитана Терентьева этот Наденькин отзыв до того умилил и растрогал, что ему стоило величайших усилий принудить себя сказать правду, что жена его самая обыкновенная девушка из служащих и живет в маленьком тихом городке, расположенном в такой глубине России, что туда за всю войну не осмелился залететь ни один фашистский самолет.

А как приятно было бы солгать в этом случае. Даже не солгать, а просто промолчать, сделав вид, что не расслышал Наденькиного замечания. Какое удовольствие принесла бы ему эта маленькая ложь! Если бы даже на минуту поверить самому и тем дать повод другим поверить, что его жена киноактриса. Пусть и не очень знаменитая. Но он даже в этом случае не мог отступить от правды, покривить душой.

4

Валерка Лопатин, получив завтрак и успев побраниться с каптенармусом, который, как казалось настырному и дотошному Валерке, не долил в его флягу водки, уступил наконец очередь телефонистам и разведчикам. Прицепив флягу к поясу, сунув под мышку сверток с печеньем, табаком, консервами, маслом и сахаром, взяв в руки четыре котелка, он направился к подвалу.

— Ты бы еще в зубы прихватил чего-нибудь,— сказал вслед ему подошедший в это время к кухням капитан Терентьев.

Валерка оглянулся, засмеялся, сверкнув крепкими крупными зубами, которыми и в самом деле можно было бы удержать немалую тяжесть, даже котелок с макаронами, и скрылся в подвале.

Предприимчивый, отчаянный Валерка обожал своего командира и ради него был готов совершать самые невероятные поступки. Но порою Валерку ставило в тупик отношение капитана к этим его сногсшибательным выходкам. Другие офицеры, рассуждал Валерка, знай они, что все это сделано ради них, только поощряли бы его искренние, бескорыстные порывы.

Но капитан Терентьев смотрел на все, что ни старался сделать ради него Валерка, своим, терентьевским, взглядом, и результат, стало быть, всегда получался для Валерки самым неожиданным.

Однажды, это было прошлой весной, рота совершала длительный, трудный марш. Противник, бросая технику и снаряжение, валом катил на новые, усовершенствованные рубежи, чтобы хоть там задержать наступление наших войск. На преследование его были брошены танковые, мотомеханизированные и кавалерийские соединения, и малоподвижные укрепрайоновцы безнадежно отстали.

По-бурлацки накинув лямки на плечи, одни из них тянули волокуши со станковыми пулеметами, санки с патронными цинками и ящиками; другие, подоткнув под ремень полы шинелей, то и дело хватались за постромки, чтобы помочь усталым лошадям вытаскивать орудия из снежного месива, взбитого траками прошедших танков, тягачей и бронетранспортеров; третьи гнулись под тяжестью минометных плит, стволов и противотанковых ружей.

Вдобавок ко всему, как назло, пошел дождь, сильно и вдруг потеплело, дороги всего лишь за сутки стали не-

пролазными, и старшина Гриценко где-то далеко и беспомощно увяз со своим санным обозом.

А в обозе было всего вдоволь: снарядов, мин, хлеба, сахара, мяса, крупы.

Из-за распутицы вышло так, что рота за целый день марша не получила ни крошки. Поздно вечером встали на привал в покинутой жителями деревне. Капитан Терентьев был очень огорчен, что рота не накормлена, и зол на старшину. Так страшно, жестоко зол, что, появись сейчас перед ним Гриценко, Терентьев, кажется, залепил бы ему пощечину. На КП собрались офицеры. Молча, уныло докуривали последние крохи табака, слушали попискивание рации, радист налаживал связь со штабом батальона, находившегося неведомо где. И тут Валерка, тихонько тронув капитана Терентьева за рукав, заговорщически поманил его за дверь.

— Что ты еще? — недовольно спросил Терентьев, однако нехотя вылез из-за стола, на котором была разостлана карта и коптила самодельная лампа: ее Валерка всюду таскал с собою в вещевом мешке.

Вышли в соседнюю комнату.

— Вот,— торжественным шепотом проговорил Валерка, плотно прикрыв дверь и для верности подперев ее спиною.— Поешьте, а я покараулю.

И с этими словами он извлек из противогазной сумки, висевшей на плече, флягу и три великолепных сухаря.

— Это что такое? — удивился капитан.

— Энзе,— с гордостью, самодовольно ответил ординарец.

Терентьев понянчил на ладони флягу.

— Водка?

— Она самая.— Валерка загордился пуще прежнего.

— Где взял? — Терентьев нахмурил брови.

— Моя. Я же не пью. Для вас собрал. Семьсот граммов.

— Ладно. Пускай так. А сухари?

— Старшина, как тронулись в поход, выдал на всякий случай, чтобы вас подкормить.

— Много?

— Ешьте, ешьте, вам хватит,— великодушно ответил щедрый Валерка.

— Я спрашиваю — сколько? — повысил голос капитан.

— Восемь штук. Самые отборные.

— Давай сюда все.

Валерка суетливо схватился за сумку, передернул ее с боку на живот и, еще не догадываясь, для чего понадобились командиру сухари, отдал их Терентьеву.

— Пошли,— сурово сказал командир.

Отстранив Валерку, он решительно распахнул дверь.

— Вот,— сказал он, кладя сухари и флягу на стол.— Сейчас буду всех вас кормить и поить. По манерке водки и по куску сухаря на рот. Поскольку рядовой Лопатин не пьет, а он мой ординарец, то его порция водки переходит ко мне. Не возражаешь? — спросил он у Валерки.

— Н-нет,— сказал Валерка, с ужасом думая: «Сейчас все мои сухари сожрут за милую душу. Вон как вытаращились на них. И никому ведь не придет в голову, что мне как пить дать попадет за это от старшины. «Растяпа,— скажет старшина.— Я тебя чему учил? Я тебя учил накормить командира: хоть бы к черту на рога попадете с ним, командир и там должен быть накормлен. Ай-яй-яй. Какой же ты есть ординарец?» Вот как нацелились, словно волки».

Тем временем капитан Терентьев разломил каждый сухарь на две доли и, отвинтив крышку фляги, налил в ту крышку водки.

— Подходи по очереди, не толпясь. Командир первого пулеметного взвода, получай... Командир батареи, причащайся...

Капитан Терентьев повеселел, стал дурачиться. Повеселели заодно с ним и те, что находились в этот час в комнате. Черт возьми! Дело ведь было не в глотке водки и не в куске сухаря, а в чем-то другом, более значительном и важном, чего никто из присутствовавших не мог и не стремился объяснить себе. Просто людям стало весело, мигом исчезло угнетавшее их уныние, и пусть теперь все идет прахом, можно хоть сейчас вновь подниматься в поход по весенней распутице, опять на все сорок километров, дать бы еще только солдатам по такому вот ломтю сухаря, по манерке водки, да чтоб увидели они таким вот своего командира.

Все задвигались, загомонили, перебивая и почти не слушая друг друга. В комнате стало шумно, а капитан Терентьев знай покрикивал:

— Командир взвода ПТО — получай, телефонист — получай, радист — получай, рядовой Лопатин... Ты чего не весел? — спросил он у переминавшегося с ноги на ногу рядом с ним Валерки.— Жалко сухарей?

Валерка вздохнул, потупясь.

— Ну,— настаивал командир.— Говори, жалко?

Валерка и на этот раз только вздохнул.

— Забирай свою порцию,— усмехнулся Терентьев,— а вот эту отнесешь часовому. Постой,— остановил он уже повернувшегося было Валерку.— А где твой противогаз.

— А я его, еще когда двинулись в поход, выбросил,— беспечно сказал Валерка.

— То есть как выбросил? — нахмурился капитан.— Боевое снаряжение выбросил?

— Сухари не в чем было нести.

— Та-ак,— угрожающе протянул командир.

В комнате наступила тишина.

— Ну вот,— Терентьев постучал кулаком по столу,— чтобы противогаз у тебя был. Иначе пойдешь в штрафную роту.

— Будет,— сказал Валерка дрогнувшим от обиды голосом.— В бою добуду.

— Иди,— махнул рукой Терентьев и обратился к офицерам: — Сейчас же проверить у бойцов наличие противогазов и доложить...— он посмотрел на часы, откинув обшлаг гимнастерки,— в двадцать...

Тут дверь распахнулась, и на пороге, нетерпеливо постукивая кнутом по голенищу облепленного грязью сапога, встал Гриценко, огляделся, увидел капитана, поправил на боку сумку и, приложив руку к шапке, хрипло рявкнул:

— Прибыл!

— Всем обозом? — быстро и радостно спросил Терентьев, вмиг забыв о том, что еще минуту назад был неимоверно зол на старшину.

— Никак нет. Одними санями. Четыре лошади впряг и прибыл.

— Что привез?

— Хлеб, сахар, табак, сало, консервы и гороховый концентрат,— загибая пальцы и вопросительно глядя в потолок, перечислил старшина.

— В чем же солдаты будут варить твой концентрат? — спросил капитан.

— Найдут. В котелках сварят. Нашему солдату только дай что сварить, а в чем варить, он враз сообразит.— Старшина обернулся к взводным, прохрипел: — Давайте, товарищи командиры, присылайте людей. У меня время не ждет, обратно надо торопиться.

— Где голос потерял? — спросил Терентьев, когда офицеры, толпясь и подталкивая друг друга в дверях, покинули комнату.

— Много, видно, на лошадей да на ездовых орал, вот и осип,— признался Гриценко. И тут же беспечно заверил: — Пройдет, на то я и старшина.— И пристально посмотрел на Валерку.

Тот сразу понял его взгляд и обиженно отозвался:

— Как же, накормишь его! Он все сухари и всю мою водку роздал.

— Вот растяпа! — всплеснул руками Гриценко.— Я тебя как учил? Хоть у черта на рогах...

— И еще добавь,— сказал Терентьев,— что тебе будет, если ты не найдешь противогаз.

— А, это пустое, товарищ командир,— заступился за Валерку старшина.— Осмелюсь доложить, противогаз мы найдем. В бою их до чертовой матери наберется, этих противогазов.

— Да я уж и говорил,— сказал ему Валерка.

Старшина по-отечески похлопал ординарца по спине и направился к выходу.

Валерка, воспрянув духом, с благодарностью посмотрел вслед своему наставнику.

Противогаз они, как и обещал Валерка командиру, добыли в первом же бою, через неделю.

5

— Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, — ворчит старшина Гриценко на телефонистов и разведчиков.— Никак проснуться не можете. Ползаете возле кухни, словно воши, а мне надо успеть еще целую роту накормить.

Старшина говорил неправду. Он уже накормил и артиллеристов, и минометчиков, и теперь оставалось раздать завтрак лишь четырем пулеметным взводам да петээровцам, рассредоточенным с их длинными ружьями между пулеметчиками по всему переднему краю, занимаемому ротой. К тому же, если учесть, что во взводах, стоявших отдельными гарнизонами по высоткам, насчитывалось всего по десять—двенадцать человек, то, стало быть, накормить их для старшины не стоило никакого труда.

Но вот налили последнюю кружку чаю, захлопнули, завинтили крышки кухонь, ездовые разобрали вожжи,

повара вскочили рядом с ними на облучки, старшина и каптенармус поспешно повалились животами на тронувшуюся повозку, и повозка, запряженная парой гнедых ротных ветеранов, управляемых самым вежливым в батальоне солдатом, а следом за ней обе однокопные кухни покатили со двора и скрылись в сумраке предутреннего часа.

Капитан Терентьев постоял в опустевшем дворе, послушал стук удаляющихся колес, и этот безобидно-мирный стук в тишине взволновал его, и он ясно, отчетливо вспомнил, как мальчишкой, точно в такие же свежие, предвещающие большой солнечный день, несущие для тебя предчувствие необыкновенного, светлого праздника, утра любил возить на просыхающие поля навоз, шибко катить оттуда, с полей, порожняком по мягкому проселку, подпрыгивая и сладко трясясь на дощечке, положенной поперек телеги, вымазанной и пропахшей коровьим навозом и прелой соломой.

О, какими счастливыми, ни с чем не сравнимыми были эти весенние времена с душисто и густо парящей землей, с высоким теплым небом, мягким ветерком и победным звоном жаворонка над Володиной головой. В такие дни как бы обновлялось все его существо от макушки до пяток, прибывало силы, беспредельной и беспечной веры в то, что всем его желаниям легко сбыться, что все будет хорошо, отлично, и он очень много успеет сделать столь же необыкновенного, радостного, удивительного и доброго на земле.

Так было с ним каждую весну, такое ощущение охватило его и сейчас, в это раннее утро последнего военного апреля, когда всем уже ясно, что до полного разгрома врага осталось очень немного, быть может, всего несколько дней, что победа, к которой так трудно и долго шли, совсем рядом.

Давно смолк, растаял в тумане стук колес, и как бы на смену ему, чтобы вернуть Терентьева к действительности, уже дважды, глухо, сердито, длинными очередями, простучал тяжелый немецкий пулемет, потом опять все стихло, а капитан Терентьев продолжал стоять посреди двора, улыбаясь охватившим его мыслям.

Светало. Из подвала выглянул Валерка.

— Товарищ капитан, вас к телефону, да и завтрак стынет.

Звонил командир батальона майор Неверов, очень строгий и взыскательный начальник. Он слыл педантом

и вдобавок к этому человеком, не понимающим шуток. Очевидно, поэтому он улыбался чрезвычайно редко и то так, словно всякий раз совершал болезненное усилие, с великим трудом на какую-то долю секунды растягивая в подобие улыбки тонкие, злые губы. Словом, майор Неверов был прямой противоположностью подвижному и легко поддающемуся настроению капитану Терентьеву. Неверов был невозмутимо спокоен во всех обстоятельствах и казался много старше Терентьева, хотя разница в возрасте у них была довольно невелика — всего четыре года. Одно лишь являлось для них общим, чего не надо было занимать им друг у друга: храбрость. Только капитан Терентьев был храбр лихо, с бойкой мальчишеской дерзостью, с азартом, и она, эта его храбрость, всегда была красива и всем бросалась в глаза; а майор Неверов и здесь оставался самим собой и все свершал с таким завидным равнодушием, неторопливостью и спокойствием, словно то, что происходило вокруг, не имело к нему никакого отношения, и это не он, к примеру, а кто-то другой не торопясь идет под вражеским огнем, словно на прогулке. Замечено было также, что за всю войну он ни разу ни на кого не накричал, даже объявляя строжайшие взыскания, ни разу не повысил голоса, но также никого и не похлопал дружески по плечу.

Неверова уважали, Терентьева любили.

— Ну, как там у тебя? — спросил майор, услышав голос Терентьева.

Терентьев доложил: люди накормлены, боеприпасы подвезены с вечера, сорокапятимиллиметровые пушки выдвинуты на новые позиции, дивизионки и минометы будут вести огонь со старых огневых, цели для всех уточнены и указаны.

— Сверь часы,— сказал Неверов.

Капитан Терентьев взглянул на циферблат часов, сказал, сколько они показывают.

— Правильно,— раздался бесстрастный голос Неверова.— Сигнал знаешь?

— Знаю.

— О твоем выступлении я распоряжусь особо. Без моего приказа не трогаться, ясно?

— Ясно.

— У меня все.

Капитан Терентьев облегченно вздохнул и передал трубку телефонисту. Он всегда чувствовал себя, как го-

ворят, не в своей тарелке, когда приходилось даже по телефону разговаривать с комбатом.

— Валерка,— весело и грубовато крикнул он, вновь обретая прежнее состояние.— Давай завтрак!

6

Это был отличный завтрак. Особенно после доброй стопки водки.

Неделю назад старшина Гриценко наткнулся на немецкий продовольственный склад, и, пока про этот склад пронюхали дивизионные интенданты и поставили к нему охрану, ловкий Гриценко успел нагрузить продуктами четыре повозки. С того времени обеды в роте стали вариться без нормы, как бог на душу положит, абы погуще да пожирней. Вот и сегодня: чего было больше заложено в котел ротными поварами — мяса или макарон,— не разобрать.

«А по котелку, пожалуй, никто и не одолеет,— подумал капитан, принимаясь за завтрак.— Впрочем, он никому и не даст по котелку,— мысленно усмехнулся Володя,— знаю я его, хитреца».

Не успел капитан подумать так о своем старшине, как ступеньки дробно и весело простучали — топ-топ-топ — и в подвал сбежала Надя Веткина.

— Здравствуйте, доброе утро,— звонко и весело крикнула она, стягивая через голову висевшую на плече брезентовую санитарную сумку с большим белым кругом и красным крестом на боковой крышке.

И все, кроме Валерки, при виде ее оживились и откликнулись приветливыми голосами. Обрадовался приходу Наденьки и Володя Терентьев. Однако, скрывая от людей это свое чувство, по обыкновению стыдясь его, он спросил, нахмуря брови и небрежно взглянув на Надю:

— Как там?

Надя кинула на нары сумку, пилотку, тряхнула коротко, по-мальчишески подстриженной головой и, широко, беспечно взмахнув руками, ответила:

— А чего, товарищ капитан, как всегда.— При этом она искоса, быстро и счастливо глянула на Валерку.

— Садись завтракать. Валерка, дай ложку! — Терентьев чуть отодвинул от себя котелок, приглашая Надю присесть напротив него на нары.

— У нее своя есть,— ответил ординарец.— Не барыня.

— Ну! — прикрикнул Терентьев.

— Нет, нет,— трепетно и поспешно заступилась за Валерку Надя.— Я уже поела у старшины, спасибо. А ложка у меня своя.

Но Валерка, перестав есть и обиженно насупясь, уже положил свою ложку возле командирского котелка, демонстративно вытерев ее перед этим не особенно чистым, но не так уж и грязным для постояльцев блиндажей и землянок передового края вафельным полотенцем.

— Не надо, Валерик, ешь сам,— еще поспешнее воскликнула Надя и, схватив ложку, умоляюще, со слезами на глазах, глядела то на командира, то на ординарца.

— А! — с досадою произнес Терентьев, отрешенно махнув рукой, как бы говоря: делайте что хотите, мне с этой минуты окончательно наплевать на вас.

Надя так и поняла его и, с благодарностью улыбнувшись ему, возвратила ложку Валерке, обиженно глядевшему в сторону.

После этого она села рядом с капитаном на нары и, болтая ногами в широких голенищах кирзовых сапог, стала рассказывать о том, как солдат Ефимов из первого взвода задремал на посту и спросонья, ни с того ни с сего принялся палить из винтовки по своим тылам.

Солдат Ефимов, двадцатилетний малый, прибыл в роту с пополнением год назад и за это время сумел дважды побывать на лечении в ближних полевых госпиталях и возвратиться оттуда с двумя красными ленточками на груди, выдаваемыми за легкие ранения.

Это был неповоротливый, бестолковый, всегда не выспавшийся молодой человек, от которого можно было ожидать всего, что угодно и что неугодно, кроме нехитрых, но правильных и здравых солдатских поступков.

Одному только богу было известно, как он поведет себя в ту или иную минуту, какое вдруг, даже к своему собственному удивлению, выкинет коленце. И тем не менее на груди его сияла медаль «За отвагу», которую, как известно, получали самые смелые и находчивые солдаты.

К таким солдатам Ефимов не имел никакого отношения, и командир взвода решался ставить его на ночной пост только в крайних случаях, когда иного выхода не было. В напряженнейшие для передовой часы, ночью, Ефимов обычно безмятежно похрапывал в углу землянки. Находился он в должности подносчика патронов к станковому пулемету.

Первый раз Ефимова ранило так. Был тихий солнечный полдень. Ефимов стоял на посту, наблюдая из своей траншеи за окопами противника. Рядом с ним, на открытой огневой площадке, замаскированный плащ-палаткой (чтобы не отсвечивало солнце), стоял заряженный станковый пулемет, а чуть ниже, в стенке окопа, в нише, лежали гранаты Ф-1 и РГД. Ефимова, по всей видимости, разморило на солнцепеке, и он, позевывая, скуки ради взял в руку одну из гранат, повертел-покрутил ее и услышал, как вскорости в гранате что-то щелкнуло. Теперь ее нужно было поскорее бросать подальше от себя, еще секунда-другая — и граната взорвется. Но Ефимов, не имевший понятия о том, как обращаться с такими гранатами, сделал все по-своему. Класть гранату обратно в нишу он побоялся (как-никак все-таки в ней что-то щелкнуло), а сунул ее к пулемету под плащ-палатку и как ни в чем не бывало вновь занял наблюдательный пост.

Результат этой наивной забавы был таков: изрешеченная осколками плащ-палатка, пробитый в десяти местах кожух и погнутый взрывом щиток «максима».

А сам виновник забавы оказался раненным в ягодицу всего лишь одним-разъединым,величиной в пуговицу от нательной рубахи, осколком. Героя тут же отправили в госпиталь, и все, в том числе и капитан Терентьев, облегченно вздохнули: солдаты, как правило, очень редко возвращаются из госпиталей в свои прежние части.

Но не прошло и двух недель, как однажды утром перед ошеломленным капитаном Терентьевым уже стоял отдохнувший, словно в санатории, Ефимов и, оттопырив толстую нижнюю губу, покорно ждал своей участи. На груди его выстиранной и выглаженной гимнастерки алела первая ленточка за ранение.

— Черт знает что,— брезгливо морщась, сказал Терентьев.— Идите к себе во взвод.— И стал ждать, что будет дальше с этим безалаберным солдатом.

А ждать пришлось недолго: месяц.

Опять было жарко, солнечно и тихо. И опять Ефимов наблюдал за вражескими позициями. За весь этот знойный день, как уверяют очевидцы, со стороны противника был сделан всего лишь один выстрел из ротного миномета. Но выпущенная из этого орудия мина разорвалась все-таки не где-нибудь, а невдалеке от несчастного служаки Ефимова, и еще меньший, чем в прошлый раз,

осколочек угодил многострадальному бедняге в щеку. Но опять же не просто так, как бы он угодил другому солдату, а исключительно по-ефимовски, с выкрутасом: влетел в разинутый рот, не задев при этом ни зубов, ни языка.

Надя напихала Ефимову полный рот ваты и заверила капитана Терентьева, что теперь-то уж солдата отправят в дальний госпиталь, откуда ему попасть обратно в свою роту будет немыслимо.

Но прошло еще две недели, и Ефимов как ни в чем не бывало предстал перед капитаном уже с двумя ленточками на груди. А несколько дней спустя командир дивизии, в оперативном подчинении которого находился артпульбат, прибыл, сопровождаемый адъютантом и автоматчиками, на передний край, попал в роту Терентьева, увидел лихого молодца с двумя ленточками за ранение и вскричал:

— Орел! Дважды ранен и не награжден? Поч-чему? — И строго посмотрел на Терентьева.

Капитан попытался было объяснить, в чем тут дело, но было поздно. Адъютант, по приказу комдива, уже извлек из коробки медаль «За отвагу» и протянул генералу, а тот торжественно приколол ее к груди бравого молодца Ефимова.

И вот теперь этот Ефимов ни с того ни с сего поднял стрельбу по своим тылам и, как рассказывает Надя, очень при этом испугался.

Надя рассказывает, упершись ладонями в край нар и покачиваясь из стороны в сторону. Милое лицо ее с веснушками на переносице весело и беспечно. Рассказывая, она то и дело украдкой поглядывает на Валерку, и капитану Терентьеву, да и другим людям, присутствующим в это время в подвале, совершенно ясно, что и рассказывает, и покачивается, и улыбается она исключительно ради этого невнимательного к ней парня.

Валерка, повернувшись к Наде спиной, моет посуду, демонстративно гремя ложками и котелками.

7

А время идет.

Пока в подвале завтракали и пили чай, наступило полное утро.

Как всегда в такие часы, напрочь замирает перестрелка и становится так тихо, что у людей возникает

ощущение, будто никакой войны нет и можно подняться в полный рост над окопами, траншеями, ходами сообщения, огневыми площадками, дзотами да и идти куда тебе вздумается, куда твои глаза глядят, хоть на проволочные заграждения, и никто в тебя не выстрелит, и ты не упадешь, уже ничего не понимая и никогда не узнав, что будет потом, после тебя, после того, как ты мгновенно перестанешь существовать — дышать, думать, горевать и радоваться.

А время идет.

В подвале появляется новое лицо — представитель штаба батальона, начальник химической службы, а попросту начхим, старший лейтенант Навруцкий, маленький человек с покатыми плечами, с большим печальным греческим носом и робко и доверчиво поглядывающими на людей сквозь толстые стекла очков глазами. Говорят, в институте, где он работал до мобилизации в армию, его считали очень способным, с большим будущим молодым специалистом. Однако к военной службе он совершенно неприспособлен: даже не может правильно отдать честь, заправить под ремень гимнастерку. Пилотка на его голове сидит черт знает как: натянута на самые уши.

Капитан Терентьев относился к старшему лейтенанту Навруцкому, своему ровеснику, с таким чувством, в котором смешивались и досада, и едва сдерживаемое раздражение, и жалость, и еще нечто такое, что словами и не объяснишь, но что очень точно характеризует полнейшее превосходство одного человека над другим.

Если бы, по мнению Терентьева, Навруцкого вдруг демобилизовали, то была бы совершена одна из самых величайших справедливостей на земле. Право же, думалось Володе, Навруцкий больше пользы принес бы отечеству, находясь в тылу.

Навруцкий пребывал на фронте больше года, но так и не привык ни к своим офицерским погонам, ни к самой войне. Про него среди офицеров батальона ходило много смешных и нелепых историй, и только два человека не смеялись над ним: майор Неверов и капитан Терентьев. Неверов не смеялся потому, что не умел, а Володя потому, что жалел Навруцкого. Ему всегда становилось жалко нелепых и беспомощных людей.

Только Навруцкий появился в батальоне, над ним стали потешаться, и однажды Терентьев собственными глазами видел, как среди кустов, в нахлобученной пи-

лотке, с выбившейся из-под ремня гимнастеркой, со съехавшей на живот кабурой револьвера, пробирался на четвереньках (это должно было изображать передвижение по-пластунски) начхим Навруцкий. Чуть позади него шагал ухмыляющийся во всю физиономию заместитель Терентьева, старший лейтенант, забубенная головушка Васька Симагин. Он изредка постреливал в небо из автомата. Симагин ходил в штаб, и оттуда с ним увязался начальник химслужбы. Не доходя метров сто до КП роты, Васька, потехи ради, вдруг выстрелил из автомата и дико заорал:

— Ложись!

— Что это? — спросил Навруцкий, покорно плюхнувшись рядом с ним в траву.

— Здесь все простреливается, как есть со всех сторон,— соврал Васька.— Давай теперь впереди по-пластунски, а я на всякий случай буду прикрывать твое продвижение.

И Навруцкий, доверившись ему, пополз как умел на четвереньках, а Симагин поднялся, стряхнул с колен травинки и пошел чуть сзади, постреливая из автомата.

Терентьев случайно наткнулся на них, и лицо у него стало такое, что даже забубенная головушка струсил и воровато оглянулся по сторонам. Однако прятаться было поздно и негде.

Навруцкий поднялся не сразу. Сперва он сел на пятки и тщательно, не спеша протер очки. Потом, водрузив их на нос, поглядел на Терентьева добрыми глазами и сказал:

— Ну вот, я и прибыл к вам. Здравствуй. Очень рад видеть тебя.

— Здравствуй. Проходи в блиндаж. А ты,— он ткнул пальцем в сторону Симагина,— останься. Слушай,— яростным шепотом сказал Терентьев, подойдя вплотную к своему заместителю и удостоверясь, что их никто не может услышать,— если я еще раз увижу такое унизительное издевательство над человеком, то я...

— Да ладно, ладно, чего ты. Черт с ним,— поспешил ретироваться Симагин, подняв вверх ладони и пятясь.— Я думал тебя повеселить, а ты уж вон что — издевательство...

«Зачем он сейчас-то сюда притащился,— с досадой и раздражением думал Терентьев, пожимая руку Навруцкого.— Неужели в штабе не понимают, что он мне только обуза. Ведь бой же будет. Это не симагинские штуч-

ки-шуточки. Человек ведь может погибнуть ни за что ни про что, за здорово живешь. Ну куда бы мне его деть? А ведь надо непременно определить куда-нибудь, где побезопаснее и потише. К минометчикам разве».

— Слушай, старший лейтенант,— сказал он,— ты окажешь нам неоценимую услугу, если во время наступления, как только мы тронемся вперед, понимаешь...

— Он все понимает,— сказал Симагин.

— Понимаю,— сказал Навруцкий.

— Вот в это время будешь представителем в минометном взводе, не возражаешь?

— Почему я должен возражать, если это надо для дела? — пожал плечами Навруцкий.

— Ну вот и славно,— обрадовался Терентьев.

— Его бы лучше к старшине в обоз определить,— не унимался Симагин.— Вот он бы там попредставлял.

— Ладно тебе,— отмахнулся Терентьев и поглядел на часы.

Это были великолепные спортивные часы с черным циферблатом, фосфоресцирующими стрелками и цифрами, не боящиеся ни воды, ни ударов. Володя очень гордился этими часами. Их подарил ему начальник укрепрайона, старый генерал, когда вручал первый орден.

До начала боя оставалось пять минут. Через пять минут в небе разорвется бризантный снаряд. Это послужит сигналом тридцатиминутному артиллерийскому и авиационному штурму переднего края немцев. Потом огонь орудий, минометов и авиации перенесется в глубь фашистской обороны, по переднему краю продолжат бить беглым огнем только пушки прямой наводки, а стрелковые батальоны пойдут справа и слева от роты Терентьева на штурм немецкого укрепленного узла.

Одному из батальонов надо будет преодолеть противотанковый ров, а другому — заболоченный кустарник и чистенький сосновый лесок. Потом они навалятся с двух сторон на укрепленный узел немцев, расположенный перед ротой Терентьева, и раздавят его дружно, враз.

После этого, по разработанному в штабе полка и утвержденному штабами дивизии и армии плану, батальоны вновь расходятся вправо и влево, чтобы штурмовать другие немецкие укрепленные узлы обороны. Однако делают они это лишь после того, как согласно тому же плану, разработанному полковыми штабистами, на занятый плацдарм вступит тяжелая, малопо-

движная, но обладающая большой огневой мощью рота Терентьева. По плану она должна предоставить батальонам свободу действий, прикрывая их своим огнем и отражая возможные контратаки немцев в тыл или во фланги батальонам. Одним словом, с выходом роты Терентьева батальоны получали тактический простор и неограниченную свободу действий.

Планом было предусмотрено и учтено (как это, впрочем, бывает и в иных планах) решительно все, кроме тех незначительных и мелких, на первый взгляд, подробностей и случайностей, которые при всем усердии штабных офицеров учесть совершенно невозможно, но которые неизбежно возникают в ходе боевых действий и порою ставят все с ног на голову.

Итак, до начала движения еще ночью занявших исходные рубежи батальонов оставалось тридцать пять минут.

— Пойдемте посмотрим, послушаем,— сказал Терентьев и впереди всех легкими, пружинящими шагами, чувствуя силу, молодость, свободную радость во всем теле, поднялся по обшарпанным ступеням подвала и выбежал во двор.

Следом за ним поднялись и другие офицеры.

На улице было так ясно, солнечно, тепло и тихо, как бывает только весенним погожим утром.

Навруцкий, стоя рядом с Терентьевым и стараясь казаться тоже очень отчаянным, храбрым человеком, принялся с деланной неторопливостью протирать трясущимися пальцами очки. Дело в том, что он впервые за всю свою военную деятельность принимал непосредственное участие в наступлении.

— Ну,— сказал Терентьев, посмотрев на циферблат часов,— ну,— повторил он, уже глядя в небо, и тут же, словно повинуясь его требованию, там, в лазоревой голубизне, возник фиолетовый шарф разрыва, а следом за ним и сам звук разрыва, и чуть позднее — выстрел, где-то сзади, за спинами офицеров.

И сразу по всему переднему краю загудело, засвистело, заухало, и почувствовалось, как затряслась под ногами земля, и эта тряска ощутилась еще сильнее, когда низко, тройками, прошли ревущие штурмовики и весь передний край немцев окутался пылью и дымом разрывов.

Они еще немного постояли, сгрудившись и слушая и видя, что там, у немцев, делается сейчас.

Скоро противник начал отстреливаться, торопливо и беспорядочно, и когда один из снарядов взорвался во дворе, обсыпав офицеров комьями грязи, Терентьев, отряхиваясь, сказал:

— Пошли в укрытие.— И Навруцкий очень заторопился и как-то радостно засуетился при этих словах, но никто не обратил, казалось, на его поведение никакого внимания, только один Симагин засмеялся, и все, не спеша и не толпясь, степенно последовали вслед за скатившимся по каменным ступенькам Навруцким в подвал.

8

Сидели на нарах, курили, прислушивались к гулу канонады. Иногда подвал вдруг вздрагивал, будто в ознобе, и за шиворот находившимся в нем людям сыпалась земля. Это неподалеку разрывался шальной ответный немецкий снаряд.

Но вот наконец над головой все стихло. Стало быть, артиллерийская подготовка завершена, в дело вступили стрелковые батальоны и пошли на штурм немецких позиций.

«Теперь еще немного, и наступит наш черед»,— думал Терентьев. И несмотря на то, что давно уже было предусмотрено и распределено, в каком порядке выступят пулеметные взводы, когда поднимутся минометчики и снимутся с позиций дивизионки, несмотря на то, что оставалось лишь ждать своего часа, Терентьева, как всегда с ним бывало в подобных обстоятельствах, охватило острое беспокойство. Он нахмурился. Ему вспомнилось, что накануне звонил начальник штаба батальона и между прочим сказал: «Береги людей. Это же последние дни, понимаешь?» Он это понимал. Но как можно было всех их уберечь от несчастья, увечий и, быть может, от самой смерти? Кто ему скажет — как? А он любил их всех, включая незадачливого солдата Ефимова. И как ему самому хочется, чтобы все они дожили до победы!

А время шло.

Вот уже больше часа минуло, как тронулись стрелковые батальоны, а Терентьеву никаких приказаний не поступило. Он взял у телефониста трубку и позвонил в первый взвод, стоявший в центре обороны, несколько вы-

двинутый, вроде боевого охранения, вперед. От этого взвода до немцев было ближе всего.

— Как там противник? — спросил он у командира взвода.

— Нормально. Постреливает,— ответил тот.

— А наши?

— Да их сам черт не разберет, что они там делают.

Терентьев вернул трубку солдату.

А на переднем крае тем временем происходило вот что.

Тридцатиминутный шквал артиллерийского, минометного и бомбового огня, который все по тем же, старательно, со всеми подробностями разработанным в штабах полка, дивизии и армии планам должен был подавить, уничтожить, разнести вдребезги все находившиеся в зоне этого шквала немецкие блиндажи, доты, дзоты, наблюдательные и командные пункты, огневые площадки пулеметов, минометные и артиллерийские батареи, на самом деле был очень мощным шквалом. Артиллеристы, минометчики и летчики-штурмовики сделали свое дело, привели немцев в смятение, разрушили и блиндажи и НП, разогнали или убили и ранили прислугу минометных пушечных батарей. Но всего этого казалось недостаточно. Когда орудийный гул смолк и в точно указанное время в действие вступила пехота, противник успел прийти в себя, оправиться от замешательства и паники, и многие из тех огневых точек, дотов и дзотов, которые по плану должны были быть стерты с лица земли, ожили, и противник встретил наступающих сильным огневым заслоном.

Вот почему к назначенному штабными офицерами сроку укрепленный немецкий узел не был взят и рота капитана Терентьева не вступила в него.

Батальон, шедший справа, не смог преодолеть простреливаемый немецкими пулеметами противотанковый ров. Роты вынуждены были залечь на подступах, растеряв при этом все подручные средства, изготовленные для форсирования рва, и неся большие потери убитыми и ранеными. Сам комбат, адъютант батальона и несколько других офицеров были ранены и эвакуированы в тыл. Командование батальоном принял один из командиров роты, спешно пытаясь привести в порядок расстроенные подразделения.

Тот батальон, который наступал слева и должен был, соответственно плану, легко преодолеть заболоченный

кустарник и сосновый лесок, встретил вдруг искусно заминированные завалы и протоптался возле них не положенное ему на это время.

Когда завалы были разминированы и солдаты стали выбегать из насквозь просвечиваемого утренним солнцем леска на опушку, им во фланг ударили тяжелые крупнокалиберные пулеметы, и немцы, успевшие к тому времени разгадать намерения нашего командования, бросили против этого батальона в контратаку довольно крупные силы автоматчиков. Это не было предусмотрено планом. И хотя контратакующих удалось остановить и заставить их залечь, батальон, однако, из леса к назначенному сроку так и не выбрался.

Следовательно, все пока выходило не так, как предполагалось.

Тем не менее план должен был быть выполнен во что бы то ни стало, поскольку он являлся хотя и небольшим, но все же определенным звеном в цепи общего продвижения наших войск в глубь Германии. Поэтому, когда истекли все сроки, из штаба армии — в штаб дивизии, из штаба дивизии — в штаб полка, из штаба полка — в батальоны полетел грозный запрос: почему до сих пор не занят укрепленный узел немцев, именуемый в плане площадкой Фридлянд? Почему батальоны топчутся на исходных рубежах и не атакуют?

Командующий армией во время разговора по телефону с командиром дивизии как бы между прочим заметил, что его дивизия уже несколько раз являла собой пример неуверенного поведения, если встречала даже малозначительное сопротивление немцев.

Командир дивизии, старый, с больной печенью генерал, не остался в долгу и накричал, в свою очередь, на командира полка, что тот срамит боевую славу дивизии и что, если в течение тридцати минут от него не поступит донесения о взятии площадки Фридлянд, он будет отстранен от командования полком.

Однако какими бы ироничными или грозными ни были переговоры высших начальников и запросы штабов, батальоны по-прежнему никак не могли выполнить своей задачи. Один из них безуспешно топтался возле противотанкового рва, а другой, вместо того чтобы давно уже быть на площадке Фридлянд, вынужден был отражать яростные контратаки немцев на опушке леса.

Так прошло еще около часа. И вдруг из батальона,

который никак не мог выбраться из леса, поступило донесение: батальон ворвался в траншеи площадки Фридлянд, ведет рукопашный бой, немцы бегут, захвачены пленные, трофеи.

Это донесение, вызвавшее в штабе полка всеобщее облегчение, незамедлительно было передано в дивизию, а из дивизии — в армию.

— Наконец-то,— сказал командующий армией, когда ему доложили о взятии площадки Фридлянд.— Передайте, чтобы поспешили с выполнением дальнейших задач. Скажите, чтобы впредь не задерживали общего продвижения. Укрепрайону немедленно занять площадку Фридлянд.

Вот как развивались события в то памятное солнечное апрельское утро, когда в подвале разрушенного помещичьего дома, в котором томился от безделья Терентьев со своими людьми, зазуммерил телефон и связист, подув по привычке в трубку, поспешил отозваться:

— «Скала» слушает. «Скала» слушает.

Все тотчас насторожились. Было ясно — звонили с КП батальона.

9

Терентьев взял трубку.

— Ты еще на месте? — услышал он равнодушный голос майора Неверова.

— На месте,— вздохнул Терентьев.

— Почему?

— Потому что на площадке Фридлянд все еще находятся немцы.

— Там нет уже немцев,— твердо и убежденно возразил Неверов.

— Это неправда,— горячо запротестовал Володя.— Я недавно запрашивал Краснова. Он сказал, что немец на месте, как всегда. Стреляет помаленьку.

— «Помаленьку»,— передразнил Неверов.— Ты лучше сам выберись из своей норы и посмотри, а то совсем заспался: полчаса уже прошло, как наши стоят перед тобой вместо немцев.

— Но это неверно,— волнуясь, настаивал на своем Терентьев.

Он принялся объяснять комбату, что действительно

только что в третий раз говорил по телефону с командиром первого взвода лейтенантом Красновым и тот вновь подтвердил, что враги на месте.

— Подожди, не трещи, словно сорока,— по обыкновению не спеша, нисколько не повышая голоса и в то же время властно прервал его торопливые и страстные объяснения Неверов.— О том, что площадка Фридлянд занята нашими подразделениями, я должен был в первую очередь узнать от тебя, а получается, как это ни странно, что узнаю из штаба армии. Вы там что, спите все в своем бункере или в домино режетесь, вместо того чтобы следить, как положено, за боем?

— Не спим и не режемся, а ждем вашего приказа.— Терентьев начал злиться.

— Мы потом об этом с тобой еще поговорим,— все тем же невозмутимо-ровным голосом сказал Неверов.— А теперь слушай мой приказ и выполняй: немедленно вступить всей ротой на площадку Фридлянд и занять, согласно ранее данным указаниям, круговую оборону. О выполнении задачи доложишь по рации в одиннадцать ноль-ноль.

— Но там немцы! — закричал Терентьев.— Вы понимаете — там немцы!

— Там нет немцев. Сколько раз тебе говорить? Там наши войска, не бойся. Об этом даже командующий армией знает, только ты под носом у себя ничего не видишь. Выполняй приказ. А не выполнишь — пеняй на себя.— Он помолчал.— За невыполнение знаешь что бывает?

— Знаю.

— Тогда у меня все. Бывай здоров и пошевеливайся.

Терентьев отдал трубку телефонисту, подпер разгоряченную голову кулаками и, посвистывая (он всегда это делал, если соображал что-нибудь), задумался. В голову ползли черт знает какие отвратительные мысли.

— Ну, что он наговорил? — прервал его размышления Симагин.

Терентьев глянул на него, потом на свои часы.

— Приказано вступить в Фридлянд. Через сорок минут доложить.

— Он что, очумел? — Симагин тоже задумался, сдвинул пилотку на самые глаза, всей пятерней почесал затылок и, что-то, видимо, придумав, оживился.

— Ну-ка, вызови мне Краснова,— сказал он телефонисту.

Лейтенант Краснов, круглолицый, румяный веселый малый, и кудрявый озорной старший лейтенант Васька Симагин были такими верными друзьями, про которых обычно говорят, что их водой не разольешь. Прежде всего они оба очень любили, как говорил Симагин, подзаняться прекрасным полом. Стоило роте попасть в какой-нибудь населенный пункт, не покинутый жителями, и задержаться в этом пункте хотя бы на один вечер, как дружки, в мгновение ока сориентировавшись, уже резвились на посиделках или степенно распивали чаи в гостях у стосковавшихся по мужской ласке вдовушек. Попробовали они было «подзаняться» и с Наденькой, но, сразу же получив решительный отпор, махнули на нее рукой. Симагин сказал, что она нисколько не смыслит в жизни, так как еще малолеток.

— Здорово! — кричал теперь Симагин в трубку своему закадычному дружку.— Как жизнь?

— Здорово! — обрадованно орал в ответ Краснов.— Что долго не заходил?

— Сегодня приду. Как немцы?

— Сидят на месте.

— Ты точно знаешь?

— Сейчас только обстреляли из пулемета.

— Не врешь?

— Как перед святой Марией.

Терентьев, прислушиваясь к вопросам, задаваемым Симагиным, и еще не зная, что отвечает ему Краснов, вдруг подумал: а быть может, на площадке Фридлянд в самом деле наши? Ах, если бы так оно и было! Если бы майор Неверов оказался прав, если бы Краснов сейчас подтвердил его правоту! Все бы разом встало на свое место, и ни к чему было бы так волноваться, и какая тяжесть свалилась бы с плеч долой!

— Бой был? — спрашивал меж тем Симагин.— Что значит — нормально? Говори точнее. Справа? Слева? Был давно, а сейчас никакого боя и все тихо? Ну бывай. Все тихо,— повторил он, поглядев на Терентьева.— И немцы, заразы, на месте.

Терентьев не ответил. Он глядел на часы. На дергающуюся по кругу циферблата секундную стрелку. Нахмурясь, он лихорадочно думал, как ему поступить.

Положение, в котором он вдруг очутился, было ужасным. Ему предстояло выполнить явно ошибочный приказ, повести роту на расстрел. Да, на расстрел. Только так, в

полный рост, можно было двинуться на площадку Фридлянд со станковыми пулеметами, патронными коробками и цинками, минометными плитами и стволами, ящиками с минами, с дивизионными и противотанковыми пушками.

Рота обрекалась на бессмысленную гибель. Погибнет, конечно, и он, Володя Терентьев. Но ради чего должны гибнуть люди в эти последние весенние дни войны и должен погибнуть он вместе с ними? Впрочем, будет хуже, если он останется в живых. Не кто-нибудь другой, не Симагин, не Неверов, а он, Терентьев, станет держать ответ за бессмысленную гибель роты. К нему, разумеется, отнесутся со всей строгостью военных законов. Его сразу же разжалуют в солдаты, предадут суду, а там — непременно отправят в штрафной батальон. И этот позор, этот ужас падет на его голову в то самое время, когда до окончания войны осталось всего, быть может, несколько дней, неделя! Когда еще немного, и он встретился бы с женой, которую так любит и ради которой готов сделать невесть что. Боже мой, конечно же, бессмысленную гибель людей ему никто не простит. Но это еще не все. Это не главное. Страшнее то, что он сам никогда не простит себе этого. Вот что важнее и страшнее всего: сам не простит себе.

Но как же быть? Как поступить ему сейчас?

Ясно одно: он не может, не имеет права не выполнить приказ старшего начальника. Приказы не подлежат обсуждению. Следовательно, через сорок минут, нет, уже меньше — через тридцать четыре минуты, если ему суждено остаться за это время в живых, он обязан доложить майору Неверову, своему непосредственному начальнику, о том, что рота... Что — рота? Вступит на площадку Фридлянд? Но он не имеет права делать этого: вести людей на верную, бессмысленную смерть. Не имеет права и никогда этого не сделает, и приказ начальника не будет в таком случае для него оправданием. Он не поднимет роту и не поведет ее, совершенно не приспособленную к наступальному бою, на вражеские пулеметы, чтобы немцы делали с его ротой все, что им захочется. Но, таким образом, он не выполнит приказа старшего начальника. А за это его все равно ждет военно-полевой суд, разжалование в рядовые и отправка в штрафники. Кто-кто, а он-то прекрасно знает, что майор Неверов так и поступит: с тем же завидным спокойствием и хладнокровием, с каким не однажды представлял Володю к правительственным наградам, теперь, не колеблясь ни секунды, отдаст его под трибунал.

Но как же быть ему в таком случае? Скорее надо решать, Володя, скорее. Время бежит. Гляди, осталось всего тридцать минут. Ах, если бы ему сейчас дали хотя бы взвод автоматчиков! Как бы лихо они метнулись на вражеские окопы! Но что об этом думать. Нет у него автоматчиков. И негде взять. Надо позабыть про автоматчиков, выкинуть из головы. Требуется выполнить приказ. Ты обязан его выполнить, а не можешь. Вот что сейчас главное — обязан, а не имеешь права.

В подвале было тихо. Все с тревогой и надеждой смотрели на Терентьева, который один должен был решить, как и что делать им. Ждали его последнего слова Симагин, Валерка, Надя, Навруцкий, командир батареи, командир взвода ПТР, военфельдшер, телефонисты, артиллерийские разведчики.

Но вот он наконец поднялся из-за стола. И сказал несколько устало, печально и в то же время очень решительно:

— Ладно.— И вздохнул.— Мы идем выполнять приказ,— тут помолчал, оглядел всех присутствующих,— вдвоем с Валеркой. Слушай внимательно, Симагин. Ты остаешься за меня. Если немцев там нет, если там наши, тебе об этом сообщит Валерка. Поднимай роту, как намечено. Понял?

— Есть,— сказал Симагин.— Сделаем.

— Ну, а если немцы там...— Терентьев опять помолчал, опять поглядел на всех отрешенным и усталым взглядом.— Доложишь о том, что я выполняю приказ. Одним словом, не поминайте лихом. Вот так.— Он одернул гимнастерку, расправил ее под ремнем, застегнул пуговку воротника и, уже обращаясь к ординарцу, сказал: — Забирай побольше гранат.

— Я сейчас,— засуетился побледневший ординарец.

— Не мельтеши ты,— сказал Терентьев, принимая от него автомат и засовывая в карманы брюк и вешая на поясной ремень гранаты.— Знатный будет кегельбан. Ты слышал такие стихи? Пошли.

Все поднялись следом за ними во двор, даже дежурный телефонист, и долго, в тягостном молчании смотрели вслед.

А на улице было солнечно, тихо, тепло и не слышалось никаких выстрелов — ни автоматных, ни пулеметных, ни орудийных, и стороннему человеку показалось бы, что ничего удивительного и трагичного нет в том, как скорым шагом уходят в сторону переднего края два человека с ав-

томатами на плечах: командир роты и его ординарец. Ведь, по сути говоря, вот так уходили они отсюда на передний край за эти десять дней не один раз. Уходили и возвращались. И тем не менее в том, что они уходили сейчас, был уже совсем иной, чем обычно, тревожный и значительный смысл.

— Пошли,— неопределенно сказал Симагин.

Навруцкий снял очки и начал старательно протирать их полой гимнастерки. Он был сентиментален, этот добрый, доверчиво, без разбора льнувший ко всем людям парень. А Надя, отчаянно помотав головой, жалобно вскрикнув, закусив губу, убежала в подвал.

10

Теплый весенний денек разгорался и в том русском городке, который был расположен в лесной глухомани, и до него, даже в самые ненастные для нас дни, когда немцы стояли под Москвой, не долетало ни одного фашистского самолета. В этом городке некогда узнавал кавалерийскую науку стройный, чернобровый курсантик Володя Терентьев, а сейчас жила-поживала горячо им любимая супруга Юленька — курносая, бойкая дамочка.

Городок был старинный, с собором и купеческими лабазами на главной площади, улицы имел широкие, просторные, дома — почти сплошь деревянные — утопали в садах и палисадниках. Жили здесь степенно, неторопливо, любили по вечерам пить чай с черносливом и монпасье, а по воскресеньям — сидеть возле калиток на лавочках и обсуждать всякие происшествия.

В начале войны тишина городка была встревожена мобилизацией в армию, а позднее — приездом эвакуированных. Кроме того, две городские школы заняли под госпитали, а на окраине, в наспех сооруженных корпусах, разместился, задымил железными, на растяжках, трубами механосборочный завод. Он только назывался так, для конспирации, а на самом деле в его цехах создавались батальонные и полковые минометы, мины для них, противопехотные и противотанковые гранаты и еще кое-что посложнее.

Поселились временные жильцы — ленинградка с двумя ребятишками — и в доме Володиной жены. Юля, встретив будущих жильцов возле калитки, вдруг, подбоченясь, заартачилась: дом, мол, принадлежит фронтовикам, ее муж

и отец воюют, она сама, в конце концов, сотрудник милиции, и никто не имеет права вселять в этот дом посторонних людей. Однако мать ее, тетка Дарья, так глянула на дочь, что Юля сразу прикусила язык. Ни слова ей не сказав, тетка Дарья взяла на одну руку худенькую испуганную девочку, тесно прижала ее к пышной груди, другой рукой подхватила увязанный ремнями чемодан и грузно поднялась на крыльцо, пинком распахнув дверь. Следом за ней вошла ленинградка, мальчик и после всех — злая, но молчаливая Юля.

Эвакуированные и теперь все еще жили у них, хотя блокаду с Ленинграда давно уже сняли и можно было бы свободно уезжать домой. Однако ленинградка не спешила возвращаться: ехать было некуда и не к кому. Жилище их разбомбили фашисты, а от главы семьи, фронтовика, не было ни слуху ни духу.

Жиличка, не в пример Юленьке, была сдержанна, малословна, работала на механосборочном, растила детей и терпеливо ждала вестей от мужа. Она исступленно не верила в то, что он убит, попал в плен или пропал без вести, просто думала, что никак не может их найти, и настойчиво писала запросы во все газеты, на радио, знакомым и в Бугуруслан.

У Юленьки был совсем другой — веселый характер. К тому же беспокоиться ей было нечего, Володя писал, как говорят, без устали, без передыху и все время объяснялся в любви.

Нынче было воскресенье, ни Юленька, ни ленинградка не работали и, попив чаю, вышли посидеть на лавочке. Юленька томилась и млела: весенние запахи возбуждающе действовали на нее. Глядя в голубое безоблачное небо, поправив на высокой, красивой шее газовую косынку, она задумчиво, нараспев сказала:

— Мне один майор из госпиталя предлагает с ним жить,— и смутно, загадочно улыбнулась.— Симпатичный такой дядечка, пожилой.

— Ну и что же ты? — спросила ленинградка.

— Не знаю. Еще не решила что. Как бы ты посоветовала мне?

— Я плохая тебе в этом советчица.

— Потому что бесчувственная. У тебя нет никакого чувства. Ведь весна, пойми, и проходят годы.

— У тебя муж. Он такие письма пишет тебе!

— Муж от меня никуда не уйдет. Он вот у меня где,—

с этими словами Юленька показала ленинградке энергично сжатый кулачок.— А потом, еще война идет и ничего не известно.

— Юлька, не бесись,— сказала тетка Дарья, стоявшая на крыльце и слушавшая весь этот разговор.— В кого ты такая взбалмошная да бесстыдная?

— В вас,— огрызнулась Юленька.

— Цыть! — закричала тетка Дарья.— Такого мужа, как Володя, на руках должна носить, а она вона что выдумала, бессовестница!

— Это он меня будет носить, учтите.

— Вот я напишу ему, чтоб знал, какая у него жена,— не унималась тетка Дарья.

— Не испугаете, он меня вон как любит. Вчера в письме так и выразился: слепну от любви к тебе и горю надеждой, что мы скоро увидимся.

— Вот я раскрою ему глаза!

— Не посмеете, мамочка,— засмеялась Юленька и, поднявшись, сладко потянувшись, зажмурилась: — Ах как хочется, чтобы кто-нибудь обнял покрепче, чтобы косточки хрустнули,— и пошла вдоль улицы.

11

А капитан Терентьев и рядовой Лопатин в это время пришли в первый взвод. Командир взвода лейтенант Краснов и еще четверо солдат были в траншее, остальные семеро спали в блиндаже после ночного дежурства. Об этом лейтенант Краснов с обычной своей добродушной улыбкой на таком румяном лице, что румянцу позавидовала бы любая красавица, и доложил капитану. Рядом с Красновым стоял увалень Ефимов. Он тоже приветливо ухмылялся.

— Как немец? — озабоченно спросил Терентьев, пройдя мимо них, не заметив их улыбок и выглянув из-за бруствера.

— А что ему,— пожал плечами Краснов.— Наши где-то застряли, сами видите, бой совсем захирел, а немец постреливает помаленьку. Очень редко. Как всегда. Вы все-таки поостерегайтесь,— добавил он, видя, что капитан чуть не по пояс высунулся из окопа.

Окоп был отрыт по гребню высотки. Перед яростно сощуренными глазами Терентьева открылся пологий спуск

в лощину, такой же пологий подъем на другую высотку, где четко обозначился длинный коричневый бугор немецкого бруствера.

— Вот что,— сказал Терентьев, вглядываясь в немецкий бруствер и даже не обернувшись к стоявшему за его спиной Краснову.— Мы с Валеркой поползем туда. Есть сведения, что немец ушел.

— Никуда он не ушел. Только недавно стрелял. Я же говорил. А потом...— Улыбка мгновенно исчезла с лица Краснова. Перестал ухмыляться и Ефимов.

— Вот так,— сухо прервал его Терентьев.— Приказано идти вперед. Следите за нами. В случае чего прикройте нас пулеметами. Остальное знает Симагин. Сейчас же приведи взвод в боевую готовность.

— Ясно,— озабоченно сказал Краснов, направляясь к блиндажу.

— Валерка, за мной,— скомандовал Терентьев и, перекинув автомат за спину, поплотнее надвинул на лоб каску, подтянулся на руках и перевалился через бруствер.

И вот они оказались вдвоем — командир и ординарец — на ничейной земле, между своими и немецкими окопами, и медленно, осторожно, распластавшись на влажном, отогретом солнышком суглинке, поползли, все дальше и дальше удаляясь от своих траншей.

Вдруг вдалеке, слева, возле леса послышалась частая суматошная трескотня автоматов и усталый, нестройный крик: «А-а-а-а!» «Наши пошли в атаку»,— догадался Терентьев, не переставая ползти. Там же ударили тяжелые немецкие пулеметы, захлестнувшие своим собачьим лаем и этот нестройный усталый солдатский вопль и треск автоматов. Терентьев с досады даже выругался.

Кругом опять все стихло.

А Терентьев с Валеркой, благополучно миновав лощину, тем временем стали медленно вползать на взгорок, все ближе и ближе к немецкому брустверу, из-за которого, как казалось Терентьеву, быть может, давно уже следят за ними вражеские наблюдатели и лишь выжидают, когда будет всего удобнее расстрелять отчаянных лазутчиков одним коротким лаем пулемета.

Так или примерно так подумалось Терентьеву, и он, тут же охваченный чувством мгновенно смертельного страха, ткнулся головой в землю.

Замер подле него и Валерка.

Терентьев лежал, плотно прижавшись к земле всем те-

лом от лба до ступней, умоляя себя двинуться вперед хоть на сантиметр, понимая, что если он не заставит себя сделать это сейчас, сию минуту, то все погибнут и он ничего не сможет сделать с собой и поползет обратно. «Ну же, ну, подними голову и — вперед. Еще немного вперед...»

А до траншеи осталось чуть более пятидесяти метров. Терентьев, остановясь и сделав Валерке знак, чтобы тот лег рядом с ним, опять с досадой пожалел, что нет с ним сейчас автоматчиков. Действительно, один только взвод автоматчиков, отчаянный рывок — и они в траншее. А там попробуй возьми наших. Хрен возьмешь!

Но теперь как ему быть? Не пойти ли на дерзость? Если нет автоматчиков, есть восемь ручных пулеметов. Это, конечно, не одно и то же, но когда нет автоматчиков, есть знаменитые дегтяревские «ручники». И при них шестнадцать человек. А в придачу — он с Валеркой. Если ворваться с ручными пулеметами и тут же подтянуть «максимы» от Краснова, потом из других взводов, а следом за ними — минометы, пушки на прямую наводку, на картечь!

Как же он раньше не подумал об этом! Надо было решить все это раньше, раньше!.. Но ведь еще не поздно и теперь?

И он поступил так, как подсказывали ему его совесть, честь, отчаяние и безвыходность положения.

— Слушай внимательно,— зашептал он Валерке, не отрывая лихорадочно блестевших темных глаз от немецкого бруствера.— Выкладывай все свои гранаты, ползи назад, передай приказ: все ручные пулеметы немедленно сюда, ко мне. Скажешь, как только ворвемся в траншеи, чтобы на катках, бегом, прикатили сюда «максимы» от Краснова, а следом чтобы снимали станковые пулеметы других взводов и петеэровцев, и сам Симагин чтобы тоже сюда. Ясно?

— Ясно,— прошептал Валерка, выкладывая из карманов гранаты.

— Ступай.

Валерка попятился, но Терентьев, даже не оглянувшись, понял, что он еще тут, никуда не уполз.

— Ступай, мать твою так,— зло прошептал он, не оглядываясь.— Выполняй приказ.

И только тогда Валерка исчез.

А он остался один.

«Видят они меня или не видят? — думал он о немцах, удобнее раскладывая возле себя на земле гранаты. Рас-

стегнув кобуру, вытащил пистолет и положил его тоже под руку, рядом с автоматом.— Но если они решили взять меня живым и только поэтому не стреляют в меня, то у них наверняка ничего не выйдет. У меня десять гранат, автомат с полным диском, пистолет. А это не страшно. В конце концов приказ есть приказ. Я ушел вперед, выполняя этот приказ, и им не удастся взять меня живым. Но добрался ли Валерка до Краснова? Сейчас будет восемь ручных пулеметов, рванемся и — там... А почему у них так тихо? Быть может, они все-таки ушли? Они часто так делают: вдруг снимаются и уходят». И только он так подумал, как у него возникло жгучее, нетерпеливое желание подняться в полный рост и...

Что было бы вслед за этим, он не знал. Просто хотел подняться, распрямить плечи и заорать со всей великой своей юной радостью: «О-го-го!»

Откуда ему было знать, что в траншее сейчас не было ни одного немца?

Дело в том, что противник давно уже разгадал маневр наших подразделений и, поняв, что наши хотят взять площадку Фридлянд с флангов, бросил все свои силы на оборону противотанкового рва и в контратаки против батальона, имевшего задачу ворваться на площадку со стороны леса. Ради этого немцы дерзко оголили траншею, находившуюся против роты Терентьева, оставив в ней лишь отделение пулеметчиков во главе с фельдфебелем. Эти-то пулеметчики, переходя с места на место, и постреливали изредка в сторону наших боевых порядков, создавая видимость насыщенности траншеи людьми.

В то время как Терентьев с Валеркой подбирались к траншее, ежесекундно ожидая, что немцы вот-вот расстреляют их, все отделение, возглавляемое фельдфебелем, проголодавшись, беспечно завтракало в блиндаже.

Кругом по-прежнему все было покойно — ни выстрела, ни взрыва. Радостный апрельский день разгорался во всю свою силу. Солнце так припекало, что у Терентьева вспотела голова под каской, и, сдвинув ее на затылок, он вытер рукавом гимнастерки пот со лба. Земля, в которую он давно уже ткнулся носом и к которой прижался всем телом, тепло и густо пахла настоем яростно пробивающихся на волю трав.

Но вот сзади него послышался шорох, пыхтение. И не успел он оглянуться, как рядом с ним уже лежал Валерка.

— Все в порядке,— прошептал ординарец.

Терентьев оглянулся и увидел, как лощиной, один за другим, ползут к нему пулеметчики.

Не прошло и минуты, как все они уже расположились слева и справа от него.

Среди приползших был и бравый солдат Ефимов.

12

А тем временем положение резко изменилось. Прежде всего немцы успели подтянуть резервы и к тем солдатам, которые были оставлены во главе с фельдфебелем в траншеях напротив роты Терентьева, которые беспечно завтракали в блиндаже и с которыми легко можно было бы справиться терентьевским пулеметчикам, случись это десятью — пятнадцатью минутами раньше, теперь скорым шагом спешил на помощь целый взвод автоматчиков.

Автоматчики были уже недалеко. Всего минутах в десяти ходьбы. А если бегом, то и того меньше.

Но было и другое, не менее важное обстоятельство. В тот момент, когда к Терентьеву, лежавшему невдалеке от немецких траншей, подползли вызванные им пулеметчики, на командный пункт роты позвонил майор Неверов и отменил приказ о вступлении роты на площадку Фридлянд. Симагину было сказано, что рота должна оставаться на прежних позициях и ждать дальнейших распоряжений комбата.

Причиной для этого нового распоряжения явилось вот что. Батальон, пытавшийся атаковать укрепленный узел немцев слева, вынужден был, как уже нам известно, отражать немецкие контратаки и не мог продвинуться дальше лесной опушки. А из штаба и с командного пункта полка то и дело запрашивали обстановку, требовали, умоляли, просили атаковать и атаковать и как можно скорее ворваться на площадку Фридлянд, которая к тому времени всем ужасно осточертела. Одним словом, от командования этого батальона требовали хотя бы с опозданием выполнить так отлично, казалось, с учетом самых мельчайших подробностей разработанную штабом полка задачу, оказавшуюся на деле сложной и трудной.

Все эти нетерпеливые запросы, строгие приказы, мольбы, беспрерывно летевшие по радиоволне и телефонным проводам из штаба и с КП полка в батальон, вконец из-

дергали и адъютанта батальона, и самого комбата, и других оставшихся еще в строю офицеров. Однако все отлично понимали, что для того, чтобы избавиться от этого нервозного, суматошного состояния, надо было в самом деле как можно скорее занять площадку Фридлянд. Поэтому совершенно естественно, что, когда одна из рот, отражая контратаки немцев и сама атакуя, сбилась в сторону от своего основного направления и ворвалась в находившийся неподалеку от леса и слабо обороняемый немцами небольшой хуторок, командир роты, уставший от беспрестанного многочасового боя, впопыхах принял этот хуторок за площадку Фридлянд и поспешил донести в батальон, что его рота наконец-то выполнила свою задачу.

Командир батальона, ошалевший от этого боя не меньше, чем командир роты, поспешил послать это донесение в полк, полк — в дивизию. Когда же в батальоне разобрались в обстановке и поняли совершенную ими ошибку, было уже поздно. О том, что этот батальон уже ведет бой на площадке Фридлянд, знал командующий армией.

Попробовали нажать на немцев и, как говорят, хотя бы задним числом теперь ворваться на площадку. Попробовали раз, попробовали два, но ничего не получилось. Немцы держались стойко и успешно отражали все атаки. Третья попытка была предпринята в то самое время, когда капитан Терентьев и Валерка Лопатин подбирались лощиной к немецким траншеям и до их слуха донеслась со стороны леса автоматная и пулеметная стрельба. Но и эта попытка не увенчалась успехом. Тогда-то комбат, матерясь и сгорая от стыда, приказал адъютанту батальона послать в полк донесение о том, что площадку Фридлянд занять не удалось, взят всего лишь хутор, находящийся невдалеке от площадки и принятый впопыхах за самое площадку.

Из полка эта стыдливая депеша последовала своим чередом в дивизию, из дивизии — в армию, а уж после этого из штаба армии позвонили майору Неверову и сказали, что первоначальный приказ о выступлении одной из его рот на площадку Фридлянд отменяется и надо ждать новых указаний.

Но было уже поздно. В тот самый момент, когда майор Неверов передавал этот приказ Симагину, капитан Терентьев с группой ручных пулеметчиков ворвался в немецкие траншеи.

13

Поначалу все складывалось отличнейшим образом, поскольку траншеи оказались пустыми. Терентьевские ребята ворвались в траншеи молча, без единого выстрела. Разом, по взмаху руки капитана, вскочили и не то что пробежали, а как бы на крыльях пролетели пятьдесят метров, отделявшие их от немецкого бруствера.

И только тут они дали о себе знать. Блиндаж, из которого до их слуха донесся немецкий говор, они забросали гранатами. Других немцев нигде не было видно, и победа казалась удивительно легкой. Но не успели они разбежаться по ходам сообщения, осмотреть все блиндажи, дзоты и огневые площадки, как пришлось ввязаться в бой с подоспевшим резервом немецких автоматчиков.

А этот бой уже был тяжелым. Немцы навалились, топая сапожищами, с автоматной трескотней, с отчаянным оглашенным воем, и поэтому казалось, что несть им числа. Сразу пошли в дело гранаты, и Терентьев пожалел, что немало гранат, разложенных на земле, так и осталось там, где он недавно лежал, дожидаясь возвращения Валерки с пулеметчиками.

Стреляли и кидались гранатами наугад, и поначалу разобраться, что к чему, не было никакой возможности. Для Терентьева оставалось ясным лишь одно: им удалось зацепиться за первую траншею. Немецкие автоматчики, разбежавшись по боковым ходам сообщения, рвались к этой траншее, стремясь выбить из нее терентьевских молодцов. Но боковых ходов было множество, и немцы заблудились в них, как и терентьевские пулеметчики, поскольку и те и другие оказались здесь новичками. В этих-то ходах сообщения и завязался настоящий бой.

«Ну, ввязались»,— оставшись в главной траншее один, успел с веселой злостью подумать капитан, как вдруг из-за поворота выскочил немец. Встреча для обоих оказалась настолько неожиданной, что они, отпрянув друг от друга, прижались спинами к стенкам окопа. Их разделяло всего пять-шесть шагов. Терентьев успел увидеть рыжую щетину на усталом лице тяжело дышавшего солдата, темный зрачок наведенного на него оружия и уже вскинул руку с пистолетом, подумав: «Вот оно», однако выстрелить не успел — ноги немца подкосились, он стал оседать и тяжело рухнул на дно траншеи. Капитан оглянулся. Сзади с трофейным «вальтером» в руке стояла Наденька Веткина.

— Ты откуда тут взялась? — закричал капитан.— Тебя кто звал сюда?

Рядом была дверь блиндажа. Терентьев ногой распахнул ее. Блиндаж был пуст.

— Марш в укрытие! — крикнул он.

Надя не тронулась с места.

— Я кому сказал! — Он зло схватил ее за плечо, больно толкнул к двери, но Наденька успела вцепиться пальцами в его гимнастерку и увлечь Володю за собой.

Так они очутились вдвоем в просторном немецком блиндаже.

Надя торопливо скинула через голову лямку санитарной сумки, бросила ее на нары, ловко распахнула, и не успел Терентьев моргнуть, как девушка, ни слова не сказав, уже разрезала ножницами рукав его гимнастерки.

Только тут он заметил, что рукав потемнел от крови, а лишь только заметил кровь, сразу почувствовал, как заныла рука.

— Это ты его? — хрипло спросил Володя.

— Я.— Надя туго перетянула его руку бинтом.

— Успел все-таки, зараза, выстрелить,— поморщился Володя.

— Ничего. В мякоть,— сказала Надя.

— Да это наплевать. Просто я говорю — успел.

По траншее затопали чьи-то ноги.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — услышали они встревоженный голос Валерки.

— Здесь командир,— крикнула Надя.— Валера, здесь мы!

Валерка ввалился в блиндаж, тяжело дыша, уселся на пороге, поставив автомат меж ног. Каска его съехала на левое ухо, гимнастерка выбилась из-под ремня. Он посмотрел сияющими глазами на Терентьева и от радости, что нашел наконец капитана, заухмылялся.

— Прибыли станковые пулеметы,— доложил он.— А я уж испугался, что потерял вас. Ну и заваруха была. Такая заваруха! Да вас ранило?—Только теперь он увидел и разрезанный, темный от крови рукав гимнастерки, и бинт на руке командира. Лицо его приняло озабоченное выражение.

— Зацепило малость,— небрежно сказал Терентьев.— Чепуха.

По тому, что прекратилась стрельба, по тому, как беспечно держал себя Валерка, Терентьев понял: победа пока за нами.

— Немцы побиты, — сказал Валерка, как бы угадав его мысли.— Есть пленные.

— Давай лети к Симагину. Скажешь, чтобы срочно тащили сюда рацию, телефон, катили сорокапятки. Минометы — в лощину. Дивизионкам стоять на месте, держать нас под огнем. Вызов огня на себя — три красных ракеты. Живо!

Валерка одернул гимнастерку, поправил каску на голове и выскочил из блиндажа.

Капитан Терентьев вышел следом за ним в траншею. Навстречу спешил, широко улыбаясь, лейтенант Краснов. Сзади него шагали командиры других пулеметных взводов, петеэровец и, к великому удивлению Терентьева, начхим Навруцкий.

— Я же просил тебя остаться с минометчиками, — рассерженно сказал Терентьев.— Какого черта ты не выполнил моей просьбы?

— Видишь ли,— мягко заговорил Навруцкий, доверчиво глядя снизу вверх на капитана, — я подумал, что, вероятно, смогу быть здесь более полезным. Ведь минометчики в конце концов все равно скоро прибудут сюда.

— Прибудут, прибудут,— раздраженно сказал Терентьев.— Иди в блиндаж. Там Веткина. Оба ждите меня там. В этом блиндаже будет КП роты. Если без меня явится Симагин, пусть развертывает связь и докладывает комбату, что мы приказ выполнили. Площадка Фридлянд нами занята.

— Но был уже другой приказ, — возразил Навруцкий.

— Я не знаю других приказов,— перебил его Терентьев и, взобравшись на бруствер, обратился к командирам взводов, вылезшим следом за ним из траншеи, указывая, кому, где и как лучше занять позиции, чтобы можно было отбиваться от врага с трех сторон.

Отсюда, с бруствера, была хорошо видна вся площадка с ее хитроумно придуманными и с немецкой тщательной старательностью выполненными ходами сообщения, блиндажами, перекрытиями, наблюдательными пунктами и открытыми огневыми точками.

Высота, по гребню которой дугою изгибалась главная траншея, господствовала над местностью. Хорошо и далеко было видно окрест: и бывшие терентьевские позиции с развалинами помещичьей усадьбы вдалеке, и противотанковый ров, и сосновый лес слева, а если глядеть вперед — другая лощина, куда, извиваясь по всем правилам форти-

фикационной науки, спускались четыре траншеи. Туда, к лощине, ушли два пулеметных взвода и все петеэровцы. С той стороны можно было ждать танков. Два других взвода разворачивались вправо и влево.

Это была самая настоящая площадка, почти квадратная, метров четыреста в ту и в другую стороны. Оборонять ее с таким небольшим количеством людей, каким располагал Терентьев, было трудно. Он даже не предполагал, что тут так много всего понастроено и понарыто и что она такая большая. Опять, как всегда впрочем, надо было положиться только на огневую мощь роты.

«Устоим? — спросил сам себя Терентьев, сев на бруствер. Опираясь о него здоровой рукой, бережно держа на весу раненую руку, он осторожно съехал в траншею. — Если навалятся, устоим. — И тут же добавил: — Надо. Надо устоять».

14

У старшины Гриценко, хозяйство которого расположилось табором под стеной кирпичного забора, рядом с КП роты, все шло своим обычным чередом. В землянке, очень светлой и просторной, с широкими нарами, застланными, как и на командном пункте, пуховыми перинами, пыхтел над ведомостями писарь; оружейный и артиллерийский мастера сообща чинили ротный миномет; каптенармус отвешивал продукты для обеда, а Рогожин, как раз над их головами, чистил своих гнедых коней. Повара давно уже вымыли котлы, съездили к колодцу, залили их свежей водой и уже принялись разводить в топках огонь. Сам Гриценко козырем прохаживался по двору с невозмутимым видом, хотя какое-то ноющее, навязчивое беспокойство все больше и больше охватывало его. Подчиняясь этому странному для него чувству, он все время напряженно прислушивался и отмечал про себя малейшие звуковые изменения, происходившие на переднем крае. Впрочем, положением на переднем крае были обеспокоены решительно все, хотя, как и старшина, никто не показывал виду. Всем им было известно, что сперва капитан и Валерка вдвоем уползли к немецким траншеям, потом туда же, к капитану, срочно были переброшены все ручные пулеметы. Вслед за этим с площадки Фридлянд некоторое время доносились пулеметные и автоматные очереди, взрывы гранат, и вдруг все разом стихло. Что теперь там делается и

живы ли наши — ни сам старшина, ни его подчиненные не знали. Наконец старшина не выдержал и отправился на КП за точными сведениями.

И вовремя. Оттуда за ним уже спешил посыльный.

У входа в подвал стоял старший лейтенант Симагин и покрикивал на телефонистов, навешивавших на плечи друг другу катушки с кабелем и телефонные аппараты.

— Живо, живо,— торопил Симагин.

А в это время мимо помещичьей усадьбы артиллеристы бегом, на руках, прокатили сорокапятимиллиметровые пушки, впереди них, с распахнутым воротом гимнастерки, сдвинув на затылок фуражку, бежал командир взвода.

— Вот что, старшина,— сказал Симагин, глядя вслед артиллеристам,— сейчас же подбрось им повозку снарядов. Бронебойных и на картечь. Мы все уходим туда.— Он энергично махнул рукой в сторону площадки Фридлянд.— Ты пока оставайся на месте. Держи наготове боеприпасы.

— Как с обедом? — спросил Гриценко.

— Командир сказал как,— ответил Симагин.

— Слушаюсь.

— Ну, будь здоров,— сказал Симагин и, перебравшись через груду кирпичей, скорым шагом направился в сторону передовой. Следом за ним перелезли через эту груду артиллерийские разведчики, радист с рацией за спиной, обвешанные со всех сторон катушками и аппаратами телефонисты.

Старшина глядел им вслед, и что-то вдруг больно сжало ему сердце. Уходили последние. Подвал опустел. И впервые за все эти дни он спустился в этот подвал молча, без демонстративного грохота сапог и без сквернословия. Зажег фонарик, оглядел подвал цепким хозяйским глазом, проверяя, не забыли ли чего-нибудь числящегося за ротой второпях покинувшие подвал люди. Потом он так же бесшумно, на цыпочках, выбрался наружу, на солнечное тепло, и, когда подходил к своему биваку, мимо него, сгибаясь под плитами, стволами и ящиками с минами, протрусили минометчики. Их командир, как и артиллерист, шагавший с распахнутым воротом гимнастерки, крикнул, не останавливаясь:

— Подбрось огурцов.

— Сделаем. Ни пуха вам ни пера,— крикнул в ответ Гриценко.

Повара, возившиеся возле кухонь, ездовые, чистившие лошадей, даже те, кто был занят своими делами в блинда-

же и вышел на улицу, услышав голос своего начальника, теперь вопросительно глядели на него.

— Две повозки запрягать живо! — таким же повелительным голосом, каким только что кричал на телефонистов Симагин, завопил Гриценко.— Рогожин под снаряды, Жуков под мины. Давай все на погрузку.

Табор пришел в движение.

Рогожин кинул скребницу под передок повозки и засуетился возле лошадей. Они были в хомутах, и завести их в дышло, накинуть постромки на вальки и завожжать было делом двух минут. А мастера-оружейники, писарь и каптенармус уже тащили ящики со снарядами, и Гриценко лично проверял на них маркировку, чтобы на повозку были уложены только бронебойные и картечь. Бронебойные против танков, картечь — против пехоты.

— Ну, трогай,— махнул наконец рукой Гриценко, и Рогожин, шевельнув вожжами, чмокнув губами, словно целуясь, прикрикнул:

— Но, милые! — И лошади, навалившись плечами в хомуты, дружно тронули с места и рысью покатили в сторону переднего края. Следом за Рогожиным тронулась и вторая повозка.

Гриценко глядел им вслед тем же тревожным взглядом, каким провожал Симагина. Теперь и вовсе мало людей оставалось в тылу. Только его кухни да батарея дивизионных пушек, притаившаяся за дальними, позади старшины, холмами.

Сколько времени простоял он так, охваченный тревогой и беспокойством за судьбу тех, что ушли на площадку Фридлянд, трудно сказать. Быть может, каких-нибудь две минуты, быть может, и все четверть часа. Вот уж и повозки, чуть помешкав, перекатили через наши окопы, найдя, видно, перелаз, сделанный артиллеристами, как вдруг поднялась неистовая канонада и все там, на площадке, окуталось пылью и дымом разрывов.

По площадке Фридлянд била немецкая артиллерия.

15

На переднем крае к этому времени возникла та самая странная путаница, которая всегда сопутствует непредвиденно затянувшимся боевым действиям, нарушающим предварительные расчеты. Батальоны, так долго и

безрезультатно атаковавшие площадку Фридлянд, то есть противотанковый ров и лесную опушку, как только стало известно, что одна из рот майора Неверова вступила на эту площадку, получили приказ выполнять дальнейшие свои задачи: развернувшись вправо и влево, блокировать и подавить другие опорные пункты немецкой обороны.

Немецкое же командование было взбешено, считая, что русские каким-то образом перехитрили их, обвели вокруг пальца, захватив площадку Фридлянд так неожиданно, дерзко и быстро, что никто и опомниться не успел. А тут еще подлило масла в огонь донесение о том, что подразделения русских, атаковавшие площадку Фридлянд со стороны противотанкового рва и леса и так блестяще вот уже в течение нескольких часов сдерживаемые огнем тяжелых пулеметов и контратаками егерей, вдруг развернулись чуть ли не на сто восемьдесят градусов с явным намерением блокировать и захватить опорные немецкие пункты, расположенные южнее и севернее площадки Фридлянд.

Немцы отдали приказ: после пятнадцатиминутного артиллерийского налета всем подразделениям, отражавшим фланговые атаки русских, немедля, при поддержке резервной полуроты автоматчиков и пяти танков, атаковать площадку Фридлянд и во что бы то ни стало, ценою любых потерь, выбить русских с площадки.

Капитан Терентьев тем временем принял все необходимые меры предосторожности. Пулеметные взводы заняли указанные им позиции, спешно оборудовали открытые огневые площадки (немецкие дзоты были обращены в противоположные стороны и для новой обороны не годились), пристрелялись по ориентирам, установив фланкирующие и кинжальные огни. В центре встали на прямую наводку противотанковые пушки, а в блиндаж, который Терентьев занял под КП и из которого Наденька, засучив рукава гимнастерки, уже выкинула за порог кучу мусора, тряпья и фашистских газет, ввалился, сопровождаемый телефонистами и разведчиками, забубенная головушка Симагин.

— Собственной персоной, в сопровождении верных мюридов,— доложил он, по обычаю дурачась от избытка сил и молодости.

Тут же, перейдя на серьезный тон, сообщил: минометчики снялись со старых позиций и вот-вот встанут

в лощине, старшине приказано подбросить снаряды к пушкам ПТО.

— Ранило? — заботливо спросил он, кивнув на забинтованную руку капитана.

— Чепуха,— поморщился Терентьев. Почему-то каждый, кто ни приходил на КП, считал своим долгом осведомиться о ранении, будто Володя мог так просто, за здорово живешь, забавы ради, окровавить и разорвать рукав гимнастерки и забинтовать руку.

Радист уже вывел на крышу блиндажа антенну, телефонисты установили коммутатор и побежали, разматывая провода с катушек, по взводам, как вдруг рядом с блиндажом ухнуло раз, другой, а потом пошло остервенело рвать землю, грохотать, визжать осколками, вонять фосфором.

— Началось! — сказал Терентьев и крикнул вбежавшему в блиндаж радисту, чтобы тот скорее связался с дивизионками.

— Кто у нас в центре? — спросил Симагин.

Терентьев объяснил, как расположены пулеметные взводы. В центре стоял Краснов.

— Я пойду к нему, если не возражаешь,— сказал обеспокоенно Симагин.

— Иди. Поторопи связистов. Возьми с собой разведчиков.

— Пусть они лучше останутся с тобой. В резерве. Они все равно там ни к чему.— Симагин рассовал по карманам гранаты, проверил автоматный диск.

— Ладно,— сказал Терентьев, подумав, что Симагин прав: подступы к новому переднему краю роты все равно не были пристреляны дивизионками.

Грохот разрывов усилился.

Симагин взялся за ручку двери, подмигнул сидевшему на нарах в углу блиндажа Навруцкому:

— Пойдем со мной, начхим, там будет веселее.

— Я... Пожалуйста.— Навруцкий вскочил, торопливо стал оправлять под ремнем гимнастерку.

— Да ладно, сиди, нечего тебе там делать,— сказал Терентьев.

— Ну, бывайте здоровы,— и Симагин, рывком распахнув дверь, ловко выскочил в траншею.

— Может быть, мне, как представителю штаба, следовало быть действительно там, куда ушел старший лейтенант,— рассудительно заговорил, откашлявшись, Навруцкий.

Он всеми силами старался быть спокойным. Это было невыносимо для него — очутиться в столь ужасных условиях. Он первый раз попал в такую переделку. Нервы его были напряжены до предела. Если бы не было рядом с ним этих, как казалось ему, совершенно невозмутимых людей, с ним могла бы приключиться истерика. Он едва сдерживал себя.

— Сиди ты, представитель,— насмешливо сказал Терентьев.— Отвечать мне еще за тебя. Как там, есть связь? — обратился он к телефонисту.

Тот, надувая щеки, словно разводя самовар, начал торопливо фукать в трубку и скороговоркой забормотал:

— Я «Скала», я «Скала», «Волга», «Кама», «Ока», «Дунай», отвечайте, я «Скала»...

Однако взводы пока молчали.

— Дивизионки на волне,— сказал радист.

— Отлично. Передай комбату, пусть держит площадку под прицелом. Сигналы прежние: три красные.

Прибежал командир минометного взвода, огненно-рыжий и такой же молодой, как и все офицеры роты.

— Фу, черт,— проговорил он, сняв с головы каску и вытирая ладонью потный лоб.— Бьет, зараза, по всей площадке, кажется, живого места не найти.

— А все-таки пробрался,— сказал Терентьев.

— Так ведь то кажется. Глазам страшно, а ноги свое делают. Насилу нашел вас. Хорошо еще, Симагин встретился, указал, куда топать.

Терентьев показал ему на карте, где расположены взводы.

— Я живо пристреляюсь,— пообещал минометчик.— Только бы они заткнулись.— Он кивнул в сторону двери.

— Если что, откроешь огонь по площадке. Три красные ракеты. Тут-то у тебя давно пристреляно.

— Еще чего.

— Всякое может быть,— спокойно сказал Терентьев.— Отступать мы не умеем. Так?

— Там лошадей убило,— сказал минометчик, чтобы переменить разговор.— И ездового Рогожина.

— Где? — вскричал Терентьев, и они выбежали в траншею.

— Сюда,— позвал минометчик.

Невдалеке от блиндажа валялись убитые гнедые кони, опрокинутая повозка, а возле нее, прислонившись спиной

к колесу, запрокинув голову, сидел солдат Рогожин. Тот самый Рогожин, который несколько часов назад, на рассвете, так хорошо, согласно беседовал с Володей Терентьевым и обещал без остановки докатить на своих гнедых ветеранах, если прикажет капитан, хоть до самой Москвы. А теперь вот не стало ни ветеранов, ни самого Рогожина. И случилось все это удивительно просто, походя: сгрузив снаряды, Рогожин погнал обратно, стараясь поскорее вырваться из-под артобстрела, но не успел — немецкий фугас разорвался перед самыми лошадиными мордами.

Вскоре артналет прекратился. Минометчик, сопровождаемый телефонистом, притянувшим на КП вслед за ним провода, убежал к своему взводу. Терентьев был еще в траншее, когда справа и слева застучали, захлебываясь в ярости, пулеметы.

Володя вбежал в блиндаж. Связь уже действовала со всеми взводами. Даже с артиллеристами, вставшими на прямую наводку. Отовсюду сообщили, что немцы атакуют. Повторялся маневр, не удавшийся нашим батальонам: теперь одна группа немцев пыталась ворваться на площадку Фридлянд со стороны противотанкового рва, другая — со стороны леса.

— Навруцкий,— сказал Терентьев,— останешься здесь для связи. Я буду у артиллеристов. Валерка, разведчики, за мной!

Автомат теперь был ему в обузу. Что он мог сделать с автоматом одной рукой? Володя оставил автомат начхиму.

— В случае чего будешь отстреливаться.

— Я пожалуйста, с великим удовольствием,— залепетал Навруцкий.— Но куда же вы вдруг уходите и оставляете нас втроем?

— А я?— спросила Надя.

— Прошу прощения...

— Не бойся, не бойся,— ободрил его Терентьев.— Все будет хорошо. И ребята у тебя вон какие. Да и сам ты не промах.

— Я понимаю, но...

Но Терентьев был уже за дверью.

Пробежав по траншее метров сто, они выбрались на бруствер как раз возле артиллерийских позиций. В строю осталась лишь одна пушка. Вторая, задрав колеса, валялась неподалеку.

— Ты зачем? — крикнул Терентьеву командир взвода таким резким, повелительным голосом, словно не капитан, а он был тут старшим начальником.

— Ладно,— отмахнулся Терентьев.— Отсюда виднее.

И действительно, с артиллерийских позиций было прекрасно видно все кругом. И то, что делается справа, и слева, и там, где стоял Краснов.

Подле ног командира взвода, стоявшего, сдвинув на затылок каску и с распахнутым воротом гимнастерки, как и тогда, когда он бежал впереди пушек мимо старшины, притулившись к телефонному аппарату, лежал связист.

— Передай на КП, что я здесь,— сказал ему Терентьев.

— Слушаюсь,— буркнул связист.

Пока ничего особенного будто бы не случилось. И все же в том, что происходило на переднем крае, Терентьев каким-то особым чутьем опытного воина почувствовал — случится. Он почувствовал это по тому, как стреляли наши и стреляли немцы. И в самом деле, прошло лишь несколько минут — и все разом изменилось. Вот уж телефонист протягивает трубку Терентьеву.

— Вас, товарищ капитан.

Говорил Навруцкий.

— Видите ли, капитан,— услышал Володя его взволнованный голос,— мне сейчас позвонил Краснов и попросил у меня помощи. Но он, на мой взгляд, странный человек. Где я могу ее взять? А на него, по всей видимости...

— У меня ее тоже нет,— поспешно перебил его Терентьев.— Где Симагин?

— Он уже у Краснова.

— Передай им, чтобы держались. Я буду следить за ними. Где Надя?

— Она ушла вслед за вами. Позвонили из третьего взвода о том, что у них есть раненые, и она, очевидно, отправилась туда. Во всяком случае я так полагаю, что она именно так и поступила.

— Как настроение?

— Мы очень хорошо себя чувствуем.— Он помолчал.— Честное слово.

— Верю.— Терентьев вернул трубку телефонисту.

А у Краснова и вправду дела были очень плачевны. Самого лейтенанта ранило в голову, и повязка давно уже не только намокла, но даже одеревенела от засохшей крови. Два пулемета вышли из строя, раненые солдаты укры-

лись в блиндаже, убитых оттащили в сторону. Лишь один Ефимов был здоров и невредим. Так они вдвоем и воевали тут: раненый лейтенант и неторопливый, не задетый даже маленьким осколочком солдат. И какое это было счастье, когда возле них вдруг оказался Симагин.

— Идет война народная! — заорал он, вставая рядом с Красновым.

— Ух ты, друг,— обрадовался тот.

— Я же сказал, что приду.

Немцы наседали. Стоило накрыть их пулеметным огнем, положить на землю, как они вновь вскакивали и, горланя, подбегали ближе и ближе.

Всего этого не знал Терентьев. Не знал он и того, что в других взводах было не лучше. Справа все беспокойнее и настойчивее слышался треск автоматов, длинные пулеметные очереди. Начали ухать и гранаты. Значит, немцы были от наших траншей метрах в двадцати, не больше.

И вдруг Терентьев увидел, как несколько немцев один за другим прыгнули в красновский окоп.

— Валерка, разведчики! — закричал он.— Вперед, к Краснову. Выбить немцев!

Их было не так уж много. Они просочились, когда Краснов перезаряжал пулемет. Он тут же опять начал стрелять, чтобы положить тех, которые были перед траншеей, а Симагин и Ефимов схватились врукопашную с теми, кто успел прорваться в окоп. Ефимов, озверев, действовал карабином, ухватив его за ствол. При каждом взмахе он дико, по-разбойничьи, взвизгивал:

— И-их!

— Давай, глуши! — кричал Симагин, сидя верхом на немце и лупя его по лицу гранатой.— Отрабатывай медаль!

Как раз в это время на помощь к ним прибежали Валерка с разведчиками. Разведчики были, как на подбор, рослые и все с ножами в руках.

Теперь Терентьев мог не опасаться за этот участок. Но не успел он облегченно вздохнуть, как рядом с ним закричал артиллерийский офицер:

— На картечь!

И капитан, обернувшись, увидел, что слева к ним бежит большая толпа немцев. Пушка тут же ударила, а Терентьев, упав на колени, выхватил у телефониста трубку и тоже, как и артиллерист, закричал:

— Передать дивизионкам и минометам: огонь на меня!

16

И наступил полдень. Как раз то самое время, когда на передний край обычно привозили обед. Старшина Гриценко, помня свой утренний разговор с капитаном, не осмелился и теперь изменить установленный в роте порядок. Отправив термосы с борщом и кашей на батарею дивизионок, он самолично, подгоняемый все тем же тревожным нетерпением, покатил с кухнями, распространявшими вокруг запах густого борща и дымка не потухших в топках головешек, к переднему краю.

Старшина Гриценко сидел на облучке рядом с ездовым мрачнее тучи. Не вернулся Рогожин, и старшина прекрасно понимал, что причиной этому могло послужить лишь одно и самое страшное: гибель солдата. Но старшина не знал, что случилось вообще с ротой, живы ли они там, на этой трижды проклятой площадке?

Минометчики тоже ничего толком не знали. Лишь одно объяснили они встревоженному старшине: командир вызвал огонь на себя, стреляли пятнадцать минут беспрерывно и только что прекратили стрельбу, поскольку на площадку, прямо с грузовиков, ушла целая рота автоматчиков и оттуда был подан сигнал двумя зелеными ракетами об окончании огненного налета. Связи с КП не было. То ли перебило кабель, то ли блиндаж, в котором размещался командный пункт роты, был разрушен. Кто подавал сигнал об окончании стрельбы — наши ли, автоматчики ли — тоже было неизвестно. Ракеты у всех одинаковые.

И Гриценко решил немедленно все разведать сам. Оставив поваров возле минометного взвода, он скорым шагом отправился на площадку.

Первые, кого он встретил по пути, были Валерка и Наденька. Они шли обнявшись, очень медленно, словно на прогулке, и кто кого из них поддерживал, Гриценко долго не мог понять. Лишь поравнявшись, он увидел, что Валерка вовсе ослаб, бледен, что у него пробита голова, разорвана гимнастерка, что глаза его утомленно, словно у курицы, прикрыты веками и что, если бы не крепкие, нежные руки Наденьки, обнимавшие его за талию, он бы наверняка свалился и не встал.

— Где тебя так разукрасило? — спросил Гриценко.

— В рукопашной,— ответила Наденька за Валерку.

— А командир?

Валерка с огромным усилием приподнял веки, взгля-

нул на старшину, попробовал улыбнуться, но лишь тяжко вздохнул.

— Там,— сказала Наденька.— Там.

— Дойдете? Тут минометчики недалеко.

— Дойдем. Мы дойдем.— Наденька такими умоляющими глазами посмотрела на старшину, словно боялась, что тот и в самом деле сейчас отберет у нее Валерку. Гриценко только рукой махнул и зашагал дальше.

Прогнали мимо пленных немцев. Они трусили, испуганно озираясь по сторонам. Солдат, конвоирующий их, не был знаком старшине. «Из автоматчиков, должно»,— подумал он.

Потом старшина увидел Рогожина и его гнедых коней. Гриценко стянул с головы свою щегольскую фуражку и долго стоял, потупясь, над ездовым.

— Так я и знал,— проговорил наконец Гриценко.— Что я теперь бабе его писать буду, мать твою за ногу. Эх! — И, натянув фуражку на голову, тронулся дальше.

Его окликнули:

— Старшина!

На огневой позиции сорокопяток стояли, ухмыляясь, артиллерийский офицер, Краснов, Симагин, начхим Навруцкий, бравый солдат Ефимов и разведчики. Больше всего поразил старшину вид начхима. Гимнастерка его теперь была аккуратно заправлена, ремень туго перетягивал талию, а пилотка сидела на его голове лихо, набекрень, как у Симагина.

— Не узнал, что ли?— спросил Симагин.

— Черти драповые,— проговорил старшина, и слезы навернулись на глаза ему.

— Жрать хочется, старшина,— сказал Ефимов.

— А тебе только бы пожрать,— засмеялся старшина.- Сейчас, ребята вы мои, сейчас всех накормлю. Вы мне только командира...

— А вон,— Симагин кивком головы указал в сторону блиндажа, над которым торчал штырь радиоантенны.

— ...и тогда я страшно испугался,— продолжал, очевидно прерванный приходом старшины, рассказ Навруцкий.

— Только дураку страшно не бывает,— ободрил его Симагин.

— Но я сейчас только понял, что такое настоящий бой.

— Поздновато, конечно, но ничего,— вновь одобрительно отозвался Симагин.

— И я стал как будто другим. Вам, вероятно, не понять моего чувства, но...

Старшина спрыгнул в траншею и, вытянувшись в распахнутых дверях блиндажа, радостно рявкнул во всю глотку:

— Здравия желаю, товарищ командир!

— Тьфу ты, черт,— вздрогнув, обернулся и засмеялся Терентьев.— Напугал как.

Он сидел за столом и писал жене письмо. Письмо заканчивалось так: «Милая моя! Война кончается, остался прямо пустяк, считанные дни. Немцы бегут, бросают оружие, сдаются в плен, мы едва успеваем следом за ними. Сегодня утром наши части прорвали их оборону, наверно последнюю, и теперь, когда я пишу тебе это письмо, кругом стоит такая тишина, что даже в ушах звенит от нее и голова идет кругом. Скоро увидимся, не тоскуй, не скучай...»

— Слушай,— обратился он к старшине, заклеивая конверт.— Убитых похоронить со всеми почестями в братской могиле, раненых отправить в госпиталь, здоровых накормить. Обед готов?

— Так точно, как было вами приказано еще утром. Ранило?

— Да ну вас всех к черту! Вот привязались! Пустяк это. Ты давай гляди в оба, сейчас комбат приедет разбираться, почему я его последний приказ не выполнил. Оказывается, нам совсем и не надо было врываться на эту чертову площадку. Придется теперь ответ держать.

— Ничего, авось обойдется,— обнадежил старшина.

— Я тоже так думаю. Не впервой.

А в это время майор Неверов, действительно собравшийся ехать в роту Терентьева, говорил своим ровным, бесстрастным, лишенным по обыкновению каких-либо интонаций голосом стоявшему перед ним начальнику штаба:

— Я с ним поговорю насчет этого самоуправства. Больно самостоятелен стал. А вы представьте к правительственной награде всех офицеров, сержантов и солдат, отличившихся в этом бою. Самого Терентьева — к ордену боевого Красного Знамени.

1966

ГАРНИЗОН «УГОЛКА»

1

Он еще не знал, что видит командира батальона первый и последний раз.

— Лейтенант Ревуцкий прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы в должности командира стрелкового взвода вверенного вам батальона,— доложил он очень громко, четко, одним дыхом, без запиночки, да еще лихо прищелкнул при этом каблуками кирзовых сапожищ, да еще молодецки, по-ефрейторски, вскинул к виску правую ладонь.

— Ах, какой отчаянный, бравый офицер прибыл в наше распоряжение,— сказал тот, кто сидел за столом и к кому обратился Ревуцкий, от макушки до пяток наполненный волнительной важностью торжественного, как ему казалось, момента.

Тот, перед кем, вытянувшись в струнку, так страстно прокричал слова своего рапорта юный лейтенант, в самом деле был комбатом, пожилым, усталым, лысым капитаном. Он крутил в пальцах остро отточенный карандаш, а перед ним на столе лежала большая, как скатерть, карта города, и он одновременно с жалостью и завистью, устало улыбаясь, щурясь, поглядел на незнакомого офицера, так красиво, словно на парад, одетого во все новенькое, с иголочки.

— А звать-то как вас, лейтенант Ревуцкий?

— Василием Павловичем.

— Васей-Васильком? Какое веселое имя, подумать только! — Капитан, рассматривая Ревуцкого, заулыбался еще шире и добрее.— Ах ты, Вася-Василек,— ласково проговорил он и крикнул, устремив свой взор в глубь подвала: — Старший адъютант, куда мы направим Василия Павловича Ревуцкого?

— В третью роту, товарищ капитан.

— Вот, слышали? Желаю успеха.

И только капитан проговорил эти слова, как все в подвале, душно и густо пропахшем дрянным табаком, бензиновой гарью что есть силы чадящих самодельных ламп-коптилок, мышами, кислой прелью мокрых, разве-

шанных возле горящей печки-«буржуйки» портянок,— все в этом подвале пришло в движение и разом неузнаваемо изменилось. Тревожно зазуммерили телефоны, закричали, забубнили в трубки телефонисты, вбежал встревоженного вида сержант, еще от порога протягивая капитану мелко исписанный листок бумаги, а следом за ним быстро, размашисто прошел по подвалу артиллерийский офицер, и, пока комбат читал врученную ему сержантом депешу, артиллерист стоял возле лейтенанта Ревуцкого, весь пребывая в нетерпеливом ожидании. К столу подошел старший адъютант батальона, комбат как раз в это время кончил читать, кинул депешу на стол, а старший адъютант батальона, склонясь над картой, ткнул в нее пальцем и сказал:

— Вот здесь.

— Туда две пушки на прямую наводку,— сказал капитан артиллеристу.— Да побыстрее. — Потом он поглядел на адъютанта: — Девятому скажите, чтоб он беспрерывно контратаковал и улицу к утру мне вернул. Голову сниму за ротозейство. Впрочем, я сам все это скажу ему. Пусть срочно соединят меня с девятым...

Про лейтенанта Василия Павловича Ревуцкого все позабыли. Он потоптался в смущении и одиночестве еще немного возле обеспокоенного комбата и пошел, тоже встревожась, в тот дальний угол, где разместились батальонные адъютанты и писаря и толпились связные из рот. Они уже получили пакеты и, засунув их за пазуху, подтягивали перед дорогой поясные ремни, надевали каски и поудобнее, поподручнее устраивали на себе гранаты и оружие.

— А что случилось? — спросил лейтенант, когда они вместе со связным третьей роты, таким же безусым молодым человеком, худеньким, с тонкой, мальчишеской шеей, голо и беззащитно торчавшей из ворота кургузой шинельки, и в каске, сползавшей на глаза, вышли из подвала на чистый, свежий воздух весенней ночи. Здесь, на разрушенной городской улице, были совсем другие, чем в подвале, запахи. Тут пахло битой щебенкой, головешками пожарищ, порохом и шибко таявшим за день, а теперь прихваченным легким морозцем весенним снегом.

— Вы что сказали, товарищ лейтенант? — спросил солдат, поправляя каску.

— Я спрашиваю: что случилось? Почему все вдруг всполошились?

— Немец пошел в атаку на правого соседа,— простодушно ответил солдат. — А у нас какой уж час пока тихо.— Он остановился, сделал лейтенанту знак, чтобы тот тоже стал, и, вновь поправив каску, сердито наподдав ее ладонью так, что она вмиг взлетела на самый затылок, понизив голос до шепота, сказал: — А теперь тикайте аж вон туда.

— Куда? — тоже шепотом спросил Василий Павлович.

— Аж вон до то́го угла. И за́раз сигайте в окошко. А как вы сиганете, так и я авось заско́чу.

— Стреляет?

— И не говорите как. Днем и не пройти. И не думайте,— запричитал связной.— Ночью еще кой-как, меньше, но тоже все паляет разрывными, собака такая. Слышите, товарищ лейтенант?

Они прислушались. Разрушенный немецкий город, в котором третьи сутки шли беспрерывные, отчаянно жестокие бои, кутала весенняя ночная тьма, и ее то тут, то там разрывали, вспугивали смутно-тревожные, зыбко и ярко мерцающие сполохи ракет и гулкие взрывы сразу непонятно даже и чего: то ли противотанковых мин, то ли гаубичных снарядов. И во всех концах города захлебывались, заливались пулеметы. Вокруг тем не менее было одиноко и до тоски пустынно.

— Тикайте же, товарищ лейтенант, тикайте, — уже беспокойно, нетерпеливо прошептал солдат. — Пока у нас тихо, так мы, может статься, целехонько добежим и с нами ничего такого не случится.

Василий Павлович Ревуцкий продолжал прислушиваться к незнакомым и колдовски тревожным для него, свеженького здесь человека, звукам ночной военной улицы: справа, как отметил он, и ракеты светили много чаще и ярче, и гул стрельбы там почти не стихал. Слышались даже крики: не то просили о помощи, не то отдавали команды.

— Тикать? — встрепенувшись, спросил он у солдата.

— Тикать скорейче,— прошептал тот.

Прицелившись к дому, на который указал ему связной, лейтенант вобрал в себя побольше воздуха и, сгорбатясь, быстро-быстро побежал через улицу, прямо к оконному проему, подтянулся на руках, жарко, часто дыша, перевалился через подоконник и плюхнулся, больно ушибясь локтем, на кучу кирпичей.

Не успел Ревуцкий оглядеться, а связной, тоже шибко, как и он, затравленно дыша, уже сидел подле.

— А теперь пошли скорейче далее, а то он и туточки паляет минами, когда услышит, черт паршивый,— прошептал солдат.

2

И они вышли скорым шагом из дома, но уже через дверной проем и совсем в противоположную сторону, перебежали пустынный двор, миновали еще несколько в пух и прах разрушенных домов и опять же через выбитое окошко ввалились в точно такое же, как и в начале их пути, заваленное битым кирпичом помещение. Здесь находился командный пункт роты. Солдат, быстро разобравшись в темноте, царившей тут, присел на корточки возле кого-то, сидящего на земле и боком прислонившегося к стенке, и прошептал:

— Товарищ старший лейтенант, вот вам пакет, и еще со мной товарищ лейтенант до нашей роты.

— Лейтенант Ревуцкий прибыл...— четко и громко провозгласил было, взяв под козырек, Василий Павлович, но тот, что сидел в темноте возле стены, взмахнув рукой, хрипло выдохнул:

— Садись! Заткнись!

И лейтенант, подчиняясь этому властному сиплому возгласу, быстро присел рядом с солдатом на корточки. И вовремя: сразу несколько светящихся пуль весело, пчелками вжикнуло над его головой.

— Что ты орешь? — зашипел старший лейтенант.— Тут немцы кругом чуть не на головах сидят, а ты орешь с такой радостью, словно дружка на базаре встретил.

— Виноват, не знал я, виноват,— поспешно прошептал Василий Павлович.

Помолчали.

— Курево есть? — уже совсем по-другому, мирно и доброжелательно прошептал старший лейтенант.

Лейтенант Ревуцкий еще не знал, что тоже разговаривает с ним первый и последний раз. Однако если капитана комбата он все же успел в подвале кое-как рассмотреть, то командира роты не увидел вовсе. Узнал лишь, что ротный находится в звании старшего лейте-

нанта, поскольку так назвал его связной, да еще запомнился голос его: хриплый, простуженный и жесткий.

Закурили, пряча папироски в рукава.

— Давно из училища? — спросил ротный.

— Сразу. Даже дома не успел побывать.

— А звать как?

— Василием Павловичем.

— А родом откуда?

— Из-под Москвы. Слышали город Подольск?

— Как не слыхать! Родители живы-здоровы?

— Мама на заводе работает, отец не знаю где воюет. Еще сестренка есть, она тоже на заводе вместе с мамой работает.

— Комсомолец?

— Кто, я?

— Не я же.

— Конечно.

— Ладно, чирий-Василий, слушай обстановку. Мы здесь держим улицу. И она, прямо скажем, держится на том самом взводе, который ты сейчас примешь. — Ротный помолчал, подумал, потом прибавил: — Если успеешь, конечно. Так вот, если примешь,— ни с места. Ни на шаг чтобы из того дома. А то всем нам будет труба. На фронте еще не бывал?

— Первый раз,— поспешно, с охотой отозвался Ревуцкий.

Ротный надсадно закашлялся, и над ними опять пронесся рой светящихся пчел. Потом, откашлявшись, ротный сипло сказал:

— Стало быть, принимаешь боевое крещение. Поздравляю. А теперь слушай дальше обстановку. Дом будешь держать всеми имеющимися в твоем распоряжении средствами. Патроны и еда тебе посланы, людей не проси, сам не нервничай понапрасну и других тоже не нервируй, потому что людей ни у меня, ни у комбата нет. А за тот ключевой дом мы с тобой головами отвечаем в случае чего. Понял обстановочку?

— Понял,— прошептал Василий Павлович.

— Оружие есть?

— Пистолет.

— Пистолетом тут только сахар колоть. Ну, да там оружия вдоволь и даже больше. Иди. Скляренко проводит тебя. Скляренко!

— Я здесь, товарищ старший лейтенант,— отозвался

сидящий подле Ревуцкого солдат-связной, только что прибежавший сюда вместе с Василием Павловичем с командного пункта батальона.

— Слушай, Скляренко, обстановку. Проведешь лейтенанта на «уголок», подождешь, а как он разберется, что к чему, уяснит и вникнет, вернешься, доложишь. Ну, валяйте, пока не светало.— И он опять надсадно, с болезненным стоном закашлялся.

— Вам надо лечиться немедленно, у вас бронхи простужены,— подождав, пока над ними пролетят вперегонки красные, желтые и зеленые пчелки, вмиг отозвавшиеся на кашель ротного, с сожалением и сочувствием сказал ему Василий Павлович.

Ротный сипло рассмеялся.

— Давай, давай топай. Такие довоенные болезни сейчас некогда лечить. Ты давай, советчик Василий, быстрее взвод принимай.

— Слушаюсь,— сказал Ревуцкий, попятился, приподнялся с корточек и, согнувшись в три погибели, побежал следом за связным.

3

Они выскочили на улицу, перемахнули ее скачками, словно антилопы, упали на покрытые ледком, холодные и скользкие торцовые камни тротуара, а полежав немного и отдышавшись, побежали, прижимаясь к стенам домов вдоль улицы. Откуда-то из темноты встречь им бил крупнокалиберный пулемет. Казалось, он где-то совсем недалеко и фашисты, стреляющие из него, прекрасно видят и солдата в сдвинутой на затылок каске, и лейтенанта Ревуцкого с гулко бьющимся сердцем, тяжело, загнанно дыша, мчащегося вдоль улицы, следом за солдатом; видят и сейчас же, быть может через мгновение, выпустят целый пулеметный залп прямо в них.

Но ничего страшного не случилось, и трассирующие пули, выпущенные из того пулемета, летели себе и летели как ни в чем не бывало по самой средине улицы и таяли, гасли, потухали безобидно, печально и красиво где-то в темной уличной глубине.

И вдруг офицер и провожающий его солдат в мгновение ока исчезли с улицы, беспокойно простреливаемой крупнокалиберным пулеметом. Их словно ветром сдуло, а улица вдруг ярко и мертвенно осветилась взлетевши-

ми в разных концах ее двумя белыми ракетами, и тут сразу поднялась неистовая испуганная пулеметно-винтовочно-автоматная пальба, рванулось на мостовой, ухнуло несколько крупных гранат, и так же враз, словно сконфузясь, все стихло. И уже трудно было понять, кто в кого, почему и откуда стрелял.

Но этой страшной, истерической стрельбы, длившейся ровно столько, сколько качались подвешенные над улицей ракеты, ни Ревуцкий, ни Скляренко не слышали. Они в это время, спрыгнув, сбежав по каменным ступенькам, шли гулким, длинным, темным подвалом, перебирая руками по его скользкой, мокрой и липкой стене, так что, когда настало время выбираться им наверх, никакой стрельбы уже не было.

Вылезши из подвала, они очутились в том самом доме, на котором, по словам ротного командира, «держалась вся улица». Позднее, когда достаточно рассвело и можно было оглядеться, узнать и определить, что к чему и зачем, лейтенант Ревуцкий понял: дом был действительно ключевой, заглавной позицией роты, захватившей и удерживающей в своих руках улицу, так как из окон его контролировались и просматривались все ближние и дальние подходы к этой улице. «Уголком» его назвали тоже не напрасно: он углом, как утюг, врезался в площадь с краснокаменной, голой и сумрачно строгой католической церковью на противоположной стороне.

Лейтенант взбежал следом за солдатом на второй этаж. Здесь чувствовались люди. Двери были выбиты, выломаны или распахнуты настежь, и лейтенант, еще не увидев ни одного человека, почувствовал непременное здесь присутствие людей: откуда-то в коридор тянуло табачным дымом, кто-то с кем-то по-ночному тихо, мирно переговаривался, где-то послышался сдержанный смех и очень отчетливый после этого возглас густым, дьяконским басом:

— Ну и балда же ты непоправимая, Авдеев!

Да, все говорило о том, что тут были люди, и самое отрадное — свои.

Вошедших осветили фонариком, властно сказали из темноты:

— Стой!

— «Панорама», свои, свои,— весело и торопливо сказал Скляренко.— Здорово! Кто теперь за командира у вас?

— Ты, малыш, притопал?

— Та я ж, товарищ Белоцерковский.

— Ну, здоров. Зачем тебя принесло?

— Товарища лейтенанта привел командовать вами.

— Ступайте к сержанту Егорову. Он в самом «уголке».

Сержант Егоров находился в самой что ни есть угловой комнате. Как тут можно было жить-размещаться цивильным жителям, одному богу, вероятно, известно, однако для уличного боя комната эта была доброй находкой: окна, выходившие направо и налево, а одно, широкое, с балконом-фонарем,— на самую площадь, давали возможность и глядеть и отстреливаться тоже на все три стороны, без особых хлопот держать чуть ли не круговую оборону.

4

А ночь шла на убыль. На улице уже стало сереть, и в доме можно было хотя и с трудом разглядеть лица людей.

Сержанту Егорову, скуластому, широкоплечему, по виду годов сорока человеку, и принадлежал тот дьяконский бас, коим кто-то был добросердечно назван балдой. Кто же? Лейтенант Ревуцкий пожал руку сержанту и, стоя рядом с ним в простенке меж окон, огляделся. Здесь, кроме него, Скляренко и сержанта Егорова, еще был всего лишь один, круглолицый, со смуглым, грибным, румянцем на щеках, молодой и, видать, разбитной, веселый человек. Он сидел на полу возле откупоренного цинка, заряжал патронами круглые автоматные диски и, улыбаясь во весь большой рот, скалясь, смотрел на лейтенанта.

— Ну не балда ли ты, Авдеев? — спрашивал, тоже улыбаясь, сержант Егоров.

— А в чем дело? — спросил лейтенант.

— Спрашивает у меня,— охотно, с удовольствием принялся рассказывать сержант Егоров,— где, мол, трассирующие, а где простые лежат. Я говорю: ты читать умеешь? На ящиках написано. А он говорит: во-первых, темно и надписей не видать, а во-вторых...— Тут Егоров лишь махнул рукой.— Да пусть лучше он сам вам расскажет.

— А я, товарищ лейтенант, про одну старуху ему напомнил,— подхватил разговор Авдеев.— Ее поп так-то по написанному все учил обходиться. Ты, говорит, побольше Евангелие читай, там про все печатно сказано.

А бабка ему отвечает, я, батюшка, перестала верить написанному-то. Намедни шла, гляжу: на заборе слово одно выведено, я заглянула за забор, а там только дрова лежат.

— Ну, не оболтус ли, а? — опять с удовольствием спросил Егоров.— После войны куда работать-то пойдешь?

— Я после войны, товарищ сержант, сразу женюсь. А какую вторую мирную работу подсматривать — потом разберемся.

— Вот и весь его разговор, вся его кульминация,— сказал Егоров не то с осуждением, не то одобряя этот беспечно-веселый нрав солдата.

Потом он рассказал лейтенанту о деле, что значит для уличного боя этот самый пятиэтажный «уголок» и что как бы там ни было, а они обязаны удержать его в своих руках до полного победного конца. Но об этом лейтенант знал еще от ротного командира. Он не знал лишь некоторых небольших подробностей, которых ротный не успел или не захотел сообщить и которые посоветовал уточнить на месте.

Эти небольшие подробности были вот каковы.

Командир здешнего взвода был убит в первый же день боев за город. После него взводом командовал старший сержант, пока его тоже не убило. Потом командиром был еще один сержант. Этого прошлой ночью, раненого, переправили в тыл, а потом целый день командовал тут Егоров.

Теперь у него принимал взвод лейтенант Василий Павлович Ревуцкий.

Но взвода-то, к сожалению, уже не было. От взвода оставалось всего лишь шестеро. Лейтенант был седьмым. И им семерым предстояло, чего бы то ни стоило, удержаться в этом разнесчастном «уголке».

— Вот такие дела, товарищ лейтенант,— без особой печали, однако, сказал сержант Егоров.— Подмоги нам ждать больше вроде бы неоткуда. Во всяком случае, на сегодняшний день. И патронов с гранатами нам успели поднести, и сухого пайка, и вы к нам успели, а теперь все пути заказаны. Уже рассвело.

5

Действительно, пока они знакомились, наступил быстрый весенний рассвет. Темнота исчезла даже из углов комнаты, и в окна стало далеко и ясно все ви-

дать: дома, развалины, мостовую, костел, небо. Тихо и пустынно было вокруг, как в воскресный день.

— Пока не началось, пойдемте, я вас с остальным гарнизоном познакомлю,— сказал Егоров.— Меня вы знаете, Авдеева тоже. Я коммунист, он беспартийный. — Егоров быстро прошел в соседнюю комнату.— Тут у нас (лейтенант, следуя его примеру, так же быстро проскочил мимо выбитых окон), тут у нас, — повторил Егоров, поощрительно оглянувшись на офицера, — пулеметный расчет. Это будет комсомолец сержант Зайцев, командир пулемета, а это его помощник рядовой Жигунов.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал Василий Павлович.— Я ваш новый командир. Фамилия моя Ревуцкий.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант,— просто и приветливо ответил Зайцев, белобрысый, веснушчатый молодой человек, сидевший на корточках возле пулемета и протиравший его тряпкой.— Будем рады.

Жигунов, уже в годах, стоявший возле стены и, что-то жуя, следивший за улицей, перестал молоть челюстями и, склонив голову набок, изумленно приоткрыв рот, поглядел на лейтенанта, словно на невидаль.

— Патронов хватит? — спросил лейтенант.

— Четырнадцать лент полностью снаряжено,— ответил Зайцев.

— А воду для кожуха где берете?

— А в подвале. Там полон бак. На целый полк хватит, не только что.

— Теперь пойдемте дальше,— сказал Егоров и, выйдя в коридор, миновав несколько пустых, ободранных комнат, вышел на гулкую лестничную клетку, и они очутились в очень даже странно, нелепо после всего виданного здесь лейтенантом опрятной и чистенькой кухоньке. За дверцами буфета стояли стеклянные банки с соленьями и маринадами, гора тарелок, а на гвоздике висел чистенький передничек с крахмальными кружевными рюшками. Посреди кухни, по-барски в мягком кресле развалясь, однако с автоматом на коленях, дремал пожилой солдат в сдвинутой набок каске, расторопно вскочивший и вытянувшийся, как только Ревуцкий с Егоровым показались на лестничной площадке. Второй солдат, с окровавленным, заскорузлым бинтом на голове, в распахнутой шинели с поднятым воротником, бледный, видать, от потери крови, так же, как и Жигунов, стоял в

простенке и боком, сторожко, по-птичьи глядел в окно. В опущенной руке его была противотанковая граната.

— Карнаухов,— сказал сержант, указав глазами на солдата с забинтованной головой и в распахнутой шинели. — Имеет два ордена Славы. Вчера ранен. Эвакуироваться отказался. Как, болит, товарищ Карнаухов? — заботливо и почтительно нахмурясь, спросил он у солдата.

— Терпимо, сержант,— равнодушно отозвался тот и вновь принялся глядеть в окно.

— А это,— кивнул Егоров в сторону старика, вытянувшегося словно по команде «смирно»,— рядовой Белоцерковский. Еще в империалистическую с немцами дело имел. Бил, стало быть. А это, ребята, — обратился он к солдатам,— наш новый командир лейтенант Ревуцкий.— И улыбнулся лейтенанту, разведя руками.— Вот и весь наш гарнизон.

Когда вернулись в угловую комнату, Авдеев, аппетитно чавкая, ел хлеб с салом, а солдат-связной Скляренко, прибежавший сюда впереди лейтенанта, спал в углу, по-детски свернувшись калачиком.

— Спит,— тихо сказал Егоров.— Устал.— И обратился к командиру: — Давайте и мы поедим с вами, товарищ лейтенант, а то может так случиться, что и недосуг потом будет. Вон уж и солнце всходит.

Они тоже, сидя на полу, принялись есть хлеб с салом. Егоров рассказывал:

— Город этот большой, видать. Я так думаю. Потому что трамваи ходили. Чудные и красивые трамваи.

— Чем? — спросил лейтенант.

— А белые потому что. В белую краску, словно прогулочные яхты, покрашенные. И двери много шире наших. Вот как раз такой трамвай против костела стоит. Они оттуда вчера фаустпатронами стреляли, из трамвая, а нам их достать нечем. А ты поел и поглядывай,— обратился он к Авдееву.

— Поглядываю,— ответил тот.

— Ты не на меня поглядывай, а в окошко.— Егоров вновь по-отцовски, с доброй заботой поглядел на связного.— Застрял, малец.

— Как застрял? — спросил лейтенант.

— До вечера,— ответил Егоров.— Теперь от нас уж не выбраться. Ему бы затемно уходить надо было, а он распоряжения вашего ждал. Ну да ведь и к лучшему это. Нашего полку, как говорится, прибыло. Восьмым будет.

Все нам сподручнее. А ты покормил его? — спросил он у Авдеева.

— Не то распоряжения ждать? — вопросом, благодушно ответил тот, заглядывая в окно и держа автомат наготове.

— Ну-ну, — отозвался Егоров.

Доесть хлеб с салом они не успели.

6

Сперва о стену дома с треском, грохотом и вонючим дымом ударилась мина. Егоров, берясь за автомат и поднимаясь, сказал:

— Вот и началось представление. Теперь только гляди в оба.

Они стояли с Авдеевым, прижимаясь спинами к стенам и повернув головы к окнам, сторожко следили за тем, что происходит на площади и прилегающих к ней улицах. А мины тем временем стали рваться вокруг дома одна за другой. Вдруг голосисто, яростно заработал пулемет в соседней комнате, лейтенант бросился туда, крикнул: «Где?» — но, еще не получив ответа, увидел немцев, пытавшихся перебежать площадь, и упавших на брусчатку посреди нее, и раком уползавших, а потом, вскочив, убегавших, петляя, обратно за трамвай, к костелу. На площади осталось лежать несколько неподвижных фигур в темно-зеленых мундирах. Пулемет умолк. Зайцев повернулся к лейтенанту, веснушчатое, с белесыми бровями лицо его мгновенно утратило всю сосредоточенность, какая владела им во время стрельбы, он улыбнулся и сказал:

— Во — и боле ничего! Вылазка врага отбита, противник в панике отступил, неся большие потери в живой силе и технике.

Эта фраза удивила лейтенанта Ревуцкого своей ироничностью. «Кто он такой? — подумал Василий Павлович.— Из студентов, из горожан?» Он уже намеревался расспросить сержанта о его довоенной, гражданской жизни, как в соседней комнате застрочили автоматы, и лейтенант опрометью кинулся туда. Стреляли и Егоров, и Авдеев, и мальчик Скляренко, стоя возле окон. Теперь, уже не спрашивая, лейтенант увидел из-за спины Егорова бежавших через площадь немцев. Но и здесь они были вынуждены залечь на брусчатке мостовой, хотя обратно долго не уползали, а затеяли перестрелку, довольно метко попадая в окна второго этажа. Однако люди, отстреливающиеся из этих окон, давно приноровились к такой манере

войны и, прячась в простенках, успевали короткими очередями держать немцев на расстоянии и не подпускать к дому. Эта перестрелка, то затихая, то ожесточаясь, длилась долго. Лишь когда солнце уже вовсю стало светить вдоль улицы, здесь наконец все угомонилось. Немцы, зря расстреляв патроны, ретировались, а гарнизон «уголка» перевел дух.

Минуты две спустя тишину нарушил одинокий винтовочный выстрел. Вслед за ним донесся голос Зайцева:

— Молодец, святой отец! Недолго рыпалась старушка в поповских опытных руках.

— Уложил, что ли? — крикнул Егоров.

— Так точно. Наповал.

— У нас Жигунов, кроме винтовки, никакого оружия не признает,— стал объяснять лейтенанту Егоров.— Он охотник с Алтая, белок в глаз бьет, старовер или сектант какой, точно сказать не могу, но Зайцев зовет его за это святым отцом. Ирония, насмешка вроде бы, но он нет, ничего, не обижается. Душа в душу живут, водой не разольешь. А Зайцева я люблю,— признался он.— Я всех, кто ни в каких переделках не унывает, люблю. Добрые, сердечные люди всегда заряжены бодростью и весельем. Глядишь, иного судьба и так гнет, и этак ломает, а он все равно улыбается, песни поет. Сильный, стало быть, человек. Хотя бывает, конечно, кое-что и не так.— Он помолчал, подумал.— Скучные бывают люди, хотя и правильно все у них, и герои они вроде бы по заслуге... Да вот хотя бы взять нашего Карнаухова. Вы ведь видали его?

Лейтенант живо представил себе солдата в распахнутой шинели, с забинтованной окровавленною марлей головой, как он небрежно, сердито ответил на заботливый, ласковый вопрос Егорова, и, представив все это и еще бледное лицо его, лейтенант почувствовал, как в нем поднимаются неприязнь и отчуждение к этому солдату.

7

Тишину вновь нарушили поспешные, суетливые разрывы мин. Мины часто и густо рвались на мостовой и тротуаре возле дома, стукались, взрываясь, о его стены, не причиняя, однако, гарнизону «уголка» особого беспокойства. Осколки пролетали мимо окон, иные с визгом, иные фырча, словно примус. Опять во всех комнатах кисло запахло толом и пороховой гарью.

Потом фашисты предприняли новую попытку прорвать-

ся от костела к «уголку» и по правую его сторону, где их дальше середины площади не пустили автоматчики, и по левую сторону, где Зайцев мастерски ошпарил их потоком горячих пулеметных пуль. Отстрелявшись, он сказал:

— Графиня, вы не за то схватились, вскричал граф.

Потом лейтенант услышал, как он спросил у своего напарника, охотника Жигунова:

— Молился ли ты нынче, Дездемон, а?

— Молился, молился,— благодушно ответствовал Жигунов.

В этот раз по фашистам палил из автомата сам лейтенант. Когда возобновился минометный обстрел, он приготовился было отдавать команды, но, как и в первый раз, никаких команд его не потребовалось. Все опять происходило само по себе как по маслу без его командирского вмешательства. Каждый, словно отрепетировав, знал свое место, свои обязанности, даже связной Скляренко, по недоразумению застрявший здесь, и каждый исполнял эти обязанности добросовестно, исправно и без суеты. Как раз когда надо, застрочили из автоматов Егоров с Авдеевым, к ним присоединился Скляренко, несколько раз во время стрельбы досадливо поправлявший сползавшую на лоб каску, подоспел на подмогу и сам лейтенант, пристроившись по правую руку от Авдеева. Чуть позднее, но опять же как раз вовремя, ударил и зайцевский работяга «максим». Слышны были выстрелы и из кухоньки, где хозяйничали Карнаухов с Белоцерковским.

И все-таки совсем не так представлял свое участие в боевых операциях Василий Павлович Ревуцкий. Совсем не этому учили его. Если действовать по правилам военной науки, соответственно уставам и наставлениям, то он по прибытии в подразделение, тщательно ознакомившись с личным составом и обстановкой, должен был прежде всего все взять в свои руки, правильно расставить и распределить силы, принять решение, поставить перед каждым бойцом его четкую задачу, а потом руководить боем, подавая те или иные необходимые команды и сигналы.

Все это было теоретически. На практике получалось нечто странное и нелепое. Началось с батальона. Кажется, надо ли, можно ли еще четче и красивее, чем он сделал это в подвале комбата, доложить о своем прибытии, но комбат даже изумился такому его рапорту, а когда Василий Павлович попробовал доложить о своем явлении ротному, немцы чуть не убили его, спасибо ротный вовремя одер-

нул и посадил на землю. Теперь здесь. Поскольку принимать здесь в общем нечего, то, стало быть, нечего и брать в свои руки, а остаток гарнизона обязанности знал и исполнял настолько четко и безупречно, своевременно, не дожидаясь его команд и не нуждаясь в них, что ему стало даже неловко, стеснительно от одной лишь мысли, что он здесь не очень и нужен и его присутствие тут в облике офицера вовсе не обязательно.

И в то же время он прекрасно понимал и чувствовал свое офицерское, командирское назначение. Это сказывалось и в вежливом, предупредительном и исполнительном (хотя эта исполнительность ни в чем пока еще и не проявилась) отношении к нему сержанта и солдат, и в той ответственности за «уголок», который никоим образом и никогда нельзя было сдать немцам. И это назначение было весомее и грандиознее всего, и эту значительность его понимал не только сам Ревуцкий, но и каждый из подчиненных теперь ему людей, и стоило офицеру сейчас вдруг распорядиться, приказать что-либо кому угодно из них, как приказ его был бы немедленно принят к исполнению и исполнен. Но что бы ему такое сделать, чтобы убедительно доказать, подтвердить хотя бы лишь себе правоту и достоверность всего этого своего ощущения, своих мятущихся нестройных умозаключений? Разве, быть может, вызвать сюда Белоцерковского, а на его место отправить Авдеева? Но какой в этом смысл? Логично ли, закономерно ли, справедливо ли это? Ведь с таким же успехом он сам мог бы пойти в кухоньку, отослать оттуда Белоцерковского и остаться там с Карнауховым. А почему надо отсылать именно Белоцерковского, а не Карнаухова? Но ведь надо же, черт возьми, командовать, руководить боем, солдатами, проявлять свою волю, знание, умение!..

8

— Глядите, товарищ лейтенант, танк,— прервал его тягостные размышления сержант Егоров.

Лейтенант вгляделся в вылетевшую из-за поворота стальную громадину. Сказал:

— Это самоходка, сержант.

— Еще чище. Вот она сейчас даст нам с вами хорошую взбучку. Где это они раздобыли ее, самоходку эту? Трое суток, с самого первого дня, не было видно ни танков тут, ни орудий их них самоходных.

Лейтенант Ревуцкий глядел в окно. По площади, чуть покачивая хоботом орудия, темным, зловещим зрачком его, уже нацеленным, как показалось в эту минуту лейтенанту, тютелька в тютельку на то самое окно, возле которого сейчас стоял он, лейтенант Василий Павлович Ревуцкий, нацелясь в Ревуцкого черным зрачком орудия, с ревом неслась самоходка. Но тут же Ревуцкий увидел и человека, отделившегося, оттолкнувшегося от их «уголка» и побежавшего навстречу танку, держа в опущенной руке суповую кастрюлю противотанковой гранаты. Шинель его по-прежнему была распахнута, полы раздувало на бегу, воротник словно подпирал голову, закутанную грязным, окровавленным бинтом. Он бежал, чуть наклонясь вперед, как-то боком, отведя в сторону и назад руку с гранатой.

— Ну вот дело какое...— растерянно сказал сержант Егоров.

— У него немцы сестренку изнасиловали и повесили,— сказал в задумчивости Авдеев.— Мстит.

— Откуда знаешь? — строго спросил Егоров.

— Письмо третьего дни, как раз перед наступлением, получил, убивался очень, а потом заскоруз от злости. Первое письмо за всю войну после оккупации. Он сейчас им даст прикурить, он сквитается, он такой...

Карнаухова увидели не только из «уголка». Советского солдата, выбежавшего в развевающейся шинели на пустынную площадь, увидели и немцы, засевшие повсюду вокруг, где только можно. Поднялась стрельба. Пули и справа и слева сыпались возле Карнаухова на мостовую, но не доставали его, и он все бежал навстречу танку и вдруг, падая вперед, взмахнул суповой кастрюлей и кинул, что было сил, и та, описав дугу, ударилась в бок самоходки, тяжко ухнула с дымом и вспышкой, и самоходка, круто рванувшись в сторону, размотав правый трак, замерла, встав боком к «уголку». Карнаухов лежал на скользких торцовых плитах мостовой, раскинув руки, видный со всех сторон. В «уголке» было тихо. Потом раздался голос лейтенанта:

— Авдеев, вынести Карнаухова из-под огня.

— Есть вынести,— отозвался Авдеев, спешно приладил поплотнее каску на голове и, прогремев каблуками по лестнице, выскочил на площадь.

— Сержант Зайцев,— вновь прозвучал голос лейтенанта,— прикрыть пулеметным огнем действия Авдеева.

— Есть прикрыть,— отозвался из соседней комнаты Зайцев.

Как только Авдеев выбежал на площадь, стрельба немцев разом смолкла. Авдеев бежал к Карнаухову, петляя, скачками, а навстречу ему, от костела, из-за трамвая, выскочило сразу пять немцев.

Но Авдеев был расторопнее, добежал, упал, подполз под Карнаухова, взвалил его на себя, накинул его безжизненно вялые руки на плечи себе и, вскочив, побежал с ним обратно, упал на колени, поднялся, дальше побежал, только уже не так резво, а шатаясь, и было видно, что он вот-вот опять упадет и немцы, уже миновавшие самоходку, нагонят его, возьмут вместе с Карнауховым в плен.

И тут показал свой «класс» сержант Зайцев, ударив из «максима» по-над головами приятелей, но по немецким животам. И посекло тех пять фашистов зайцевскими пулями горячими, повалило в разных неестественных позах возле самоходки.

— Меткими пулеметными очередями отважный сержант Зайцев пригвоздил фашистских выродков к мостовой,— сказал Зайцев, кончив стрелять, сняв пальцы с гашетки.— Капут, матка, сальо, курка, яйка.

После этих его слов бухнуло два винтовочных выстрела. Зайцев сказал:

— Православный христианин Дездемон Жигунов еще более меткими одиночными залпами добил пытавшуюся расползтись фашистскую нечисть.

9

А тем временем Авдеев добежал, шатаясь, до подъезда и рухнул, с Карнауховым на спине, в дверной проем. Белоцерковский втащил их в дом, ему на помощь кубарем скатился со второго этажа Скляренко, посланный лейтенантом, и они принялись ощупывать и приводить в чувство отважных смельчаков.

Но не все им удалось. Карнаухов приказал долго жить, а Авдеев, напротив того, был цел, хотя и поврежден немного: пули в двух местах пробили его правую руку, и когда лейтенант спустился к ним, Авдеев с возбужденным лицом, широко раскрытыми, огненно горящими от пережитого только что страха глазами сидел на полу без шинели, с разорванными рукавами гимнастерки и нательной рубахи, а Скляренко неумело, або как, но зато поспешно мотал ему на руку один бинт за другим.

Белоцерковский, опустив руки по швам, стоял на коле-

нях и горестно, с рассеянной улыбкой глядел на совсем теперь бледное лицо Карнаухова с полуприкрытыми глазами.

— Белоцерковский, идите на место,— сухо и требовательно сказал лейтенант.— Вы своевольно бросили пост.

— Слушаюсь,— испуганно вскочив и щелкнув каблуками, сказал Белоцерковский.— Разрешите выполнять?

— Выполняйте.

И старый солдат, как мальчишка, побежал вверх по лестнице.

— Ну что, Авдеев? — спросил лейтенант, наклоняясь к солдату и осторожно трогая кончиками пальцев его здоровое плечо.

Авдеев все так же возбужденно, должно быть еще продолжая находиться там, за дверью, на площади, широко раскрытыми блестящими глазами поглядел на лейтенанта и ответил очень громко:

— Ваше приказание выполнено в самом лучшем виде!

Да, лейтенант уже приказывал, и люди, как это и положено в армии, безоговорочно выполняли его распоряжения. И все случилось просто и само собой. Кажется, совсем недавно Василий Павлович никак не мог войти в свою командирскую роль и играть ее, а события вдруг сложились так, что мгновенно возникла необходимость в его команде, он подал ее без промедления, и все его огорчения, тревоги, сомнения рухнули. Все сразу стало ясно и понятно. У него даже не было мгновений на раздумье, стоило или не стоило посылать на площадь Авдеева, он лишь подумал, что не слишком ли жестоко обошелся со стариком Белоцерковским, отправляя его прочь от убитого. В те мгновения одно лишь он знал твердо: так сейчас надо делать, необходимо, обязательно, непременно.

Скляренко намотал на авдеевскую руку целых три бинта, помог ему встать на ноги, потом помог лейтенанту отнести Карнаухова в глубь дома, уложить, скрестив руки на груди, возле стены и укрыть плащ-палаткой. После этого все трое поднялись на второй этаж.

10

На площади и вокруг дома было тихо. Только вдалеке, на соседних улицах, слышалась то затихавшая, то разгоравшаяся вновь стрельба. Егоров, стоявший в простенке, был теперь без шинели: полуденное весеннее солнце насквозь просвечивало весь дом и нагревало его. Лейте-

нант, тоже скинув шинель и аккуратно сложив ее, как его научили старшины в военном училище, встал в соседнем простенке, спросил, кивнув в сторону площади:

— Как там?

— Молчат, товарищ лейтенант. Не нравится мне что-то, как они молчат.

— Не удалось Карнаухова спасти.

— Это я знал, еще когда вы Авдеева посылали.— И, помолчав, как бы в оправдание лейтенанту, Егоров добавил: — Но вынести его оттуда все равно надо было обязательно. Любой ценой. Чтоб не дать на поругание.— И, еще помолчав, теперь уж, должно быть, в оправдание самому себе, продолжал: — Сложен и не сразу понятен человек. Ты думаешь о нем так, и вроде бы все у тебя складывается самым лучшим образом, а он возьмет да и обернется к тебе совсем другой стороной, и увидишь ты совсем другого в нем человека. Всегда говорю себе: не делай преждевременных выводов, смотри, ошибешься впопыхах, а делаю и ошибаюсь. Обидно. Вот, выходит, опять осталось нас шестеро. Авдеев теперь не в счет. Стрелять не можешь, Авдеев? — спросил он у солдата.

— Не могу, сержант,— отозвался тот. Он уже успел успокоиться, пришел в себя, возбуждение, ужас и геройство потухли в его принявших прежние, нормальные размеры глазах.— Левой рукой кидаться буду гранатами,— пообещал он.

— Разве что,— согласился сержант Егоров.— Ах, не нравится мне это ихнее молчание. Жди беды. Смотри, Авдеев, внимательней.

— Нам приказано удержать «уголок»,— раздумчиво проговорил лейтенант.— Хоть вшестером, хоть вдвоем.— Если надо, как же не удержим, товарищ лейтенант,— убежденно сказал Егоров.— Непременно удержим. Будем живы — не помрем. Только что ж они примолкли у нас?

Но беспокоился он напрасно. Немцы следили за «уголком» и стреляли по окнам из пулеметов и винтовок то с одной, то с другой стороны площади. Крупнокалиберный пулемет бил откуда-то из-за трамвая или из-под него. Бил точно и длинными очередями. Выпустит очередь и молчит минут пять. И вновь в окошко летит ошалело целая стая пуль. И это наконец успокоило сержанта. А когда уже за полдень немцы в который раз безуспешно попробовали достать гарнизон «уголка» минами, Егоров и вовсе пришел в себя и повеселел.

Но потом пошло хуже. Целая полоса беспрерывных невезений. На гарнизон, возглавляемый лейтенантом Ревуцким Василием Павловичем, обрушился шквал несчастий. Погиб сержант Зайцев. Немцы в это время пытались мелкими группами подобраться к «уголку», и Зайцев, выкатив пулемет на подоконник, бил по ним отчаянно и весело.

— И врага ненавистного крепко бьет паренек Зайцев,— продекламировал он, стреляя, и тут же рухнул на пол. Над ним склонился Жигунов, он поглядел на солдата мутным, уже неживым почти взглядом и прошептал, усмехнувшись: — Ба-бах, и Зайцева не стало. Помолись за меня, Дездемон.— И с этими словами умолк навсегда.

А немцы начали наседать на «уголок» все чаще и яростнее. Они уже дважды подбирались под самые стены, но вовсе поредевший к тому времени гарнизон лейтенанта Ревуцкого не дрогнул, отбился гранатами.

— Убьют ведь заразы, мать их за ногу! — кричал, кидая гранаты и морщась от боли, Авдеев.— И жениться не успеешь, бабу попробовать как следует из-за них, мать-перемать...

Потом ранило Белоцерковского, и, когда лейтенант бинтовал его заросшую седым ежиком голову, старик испуганно стоял перед офицером, вытянувшись во фронт. Он же доложил потом, что своими глазами видел, как из роты в течение дня к «уголку» трижды пытались прорваться связные. Один был насмерть подстрелен немцами шагах в десяти от спасительной подвальной двери, а двое уползли обратно ни с чем. Из этого сообщения лейтенант сделал вывод, что в роте, стало быть, помнили о его гарнизоне, следили за «уголком» и что-то хотели приказать ему, передать какое-то очень важное распоряжение, иначе зачем же было посылать связных в такой трудный, опасный маршрут по улицам осажденного, с безумством отбивающегося города? Но что несли связные? Что они должны были письменно ли, устно ли передать лейтенанту Ревуцкому? Все это для личного состава гарнизона оставалось загадочной тайной. И поскольку действовал последний приказ командования, который еще ночью был дан ротным командиром Ревуцкому, о том, что он во что бы то ни стало обязан удержать «уголок» и не допустить до него немцев,— этот последний приказ и продолжал выполняться гарнизоном неукоснительно. Да и то сказать, еще неизвестно, что должны были передать связные. Возможно, конечно, отходить, а возможно, совсем наоборот — держаться до последнего. И это, вто-

рое, пожалуй, было вернее, решил лейтенант, поскольку отходить засветло все равно не имело смысла: убьют как миленьких, и до своих добежать не успеешь. Сержант Егоров поддержал такое мнение начальника гарнизона. Вообще лейтенант за день очень сдружился с этим рассудительным, уравновешенным человеком. А когда узнал вдобавок ко всему, что Егоров до войны был сельским учителем, симпатии Василия Павловича к Егорову усилились и окрепли до такой степени, что ему даже стало как-то неловко командовать столь уважаемым, почтенным человеком. А Егоров, как бы понимая эту стеснительность юного и совершенно еще неопытного офицерика, тактично, по-учительски, по-отцовски, по-фронтовому помогал ему, как мог, не терять командирского достоинства.

11

К концу дня их в строю осталось всего лишь трое: убило Жигунова. Тоже, как и Зайцева, враз и наповал, когда он отстреливался. Но к концу этого беспокойного дня кончились настырные, сумасшедшие немецкие атаки. На пустынной площади, на каменных плитах ее, неприкаянно лежали убитые да, как изба, широко, приземисто, стояла самоходка. Что стало с экипажем, никому из личного состава гарнизона Ревуцкого не было известно.

Наступал тихий мартовский вечер, солнце скатилось за крыши разрушенных, кое-где дымящихся домов, на землю стали спускаться, густеть на ней пахнущие дымом пожарищ и разрывов сумерки. А перестрелка продолжалась и в дальних и в ближних концах города, и где-то вдалеке одно время был слышен тревожный и густой гул танковых моторов. Чьи танки ввязались там в бой, наши ли, немецкие ли, куда они прошли, что с ними стало,— опять-таки никто в гарнизоне этого не знал.

Прислушались, погадали, прикинули и, не придя ни к какому выводу, решили, пока суд да дело, перекусить.

Белоцерковский расторопно вскрыл две банки консервов, нарезал хлеба и протянул свою дюралевую вилку-ложку офицеру:

— Ешьте, товарищ лейтенант, подправляйтесь.

Лейтенант высоко оценил этот щедрый, сердечный жест старого солдата, наложил на хлебную горбушку горку мяса и вернул вилку-ложку ее владельцу.

— Спасибо.

— Не на чем,— ответил Белоцерковский.

Так они, переговариваясь о том о сем, поглядывая в окна направо-налево, подкрепились и вроде бы даже отдохнули, посвежели, воспрянули духом.

— Ну, нас они покалечили, конечно, кой-кого и на тот свет хороших людей отправили, которые на земле нужны были позарез,— проговорил Авдеев, привалясь к простенку плечом и глядя в окно на площадь.— Но ведь мы их, гадов, наверно, вдесятеро больше уложили. И вот мне интересно знать, есть ли среди тех, что лежат вон на площади, такие же достойные, как, скажем, Зайцев или Карнаухов, человеки, или все они гады, пробы им ставить негде, туда им всем дорога и жалеть их не стоит?

— Да, наверное, есть,— сказал сержант Егоров.

— Ну? — удивился Авдеев.— И дети у которых остались сиротами и жены молодые, красивые?

— Нету, нету,— поспешно заговорил Белоцерковский, вскочив на ноги и одергивая гимнастерку, расправляя складки под ремнем.— Я так понимаю, товарищ лейтенант, что все они одинаковые враги наши и их надобно всех нещадно уничтожать, как все равно бешеных собак. Они нас хотели было уничтожить, теперь надо, чтобы мы их всех под корень, начисто. Всех как есть. За что они Жигунова убили? Что он им такого-сякого сделал? У него трое ребятишек осталось, опять же сестренка Карнаухова, изнасилованная и повешенная? Сколько людей наших от дела оторвали, рук-ног, а то и жизней лишили, сказать страшно. Какое у них право на все на это? Нету такого права. Стало быть, всех их вон с лица земли, чтобы и духу ихнего поганого не было.

— Вот как,— сказал сержант Егоров, выслушав торопливую, сбивчивую речь Белоцерковского и поглядев при этом на лейтенанта.

Василий Павлович Ревуцкий понял этот взгляд сержанта как приглашение вступить в завязавшуюся между бойцами гарнизона беседу.

— Сержант Егоров прав, Белоцерковский. Вы тоже, конечно, правы, но не так, как сержант. Там,— он кивнул в сторону площади,— лежат убитые нами немцы, и среди них есть или могли быть хорошие люди. И их тоже не стало. Вы меня понимаете? Запомните, Белоцерковский, наша война не просто русских с немцами, а советских людей, социалистических людей с фашистами. Это война классо-

вая, интернациональная. Но среди лежащих на площади найдутся и такие, которых затащили в войну с нами обманом, угрозами, и вот они теперь лежат здесь. Разве их не жалко, если с такой точки зрения посмотреть на дело? Жили бы, а теперь? Вы понимаете мою мысль, Белоцерковский? Фашистских бандитов не жалко, правильно сказал Авдеев, туда им дорога, но этих жалко, а убивать их приходится, потому что они идут против нас с оружием.

— Подняли бы руки,— подал робкий голос Скляренко.

— Совершенно верно,— воодушевленно подхватил Василий Павлович.—Подняли бы руки—и остались бы живы.

Он никогда еще не говорил так долго и с таким воодушевлением и убежденностью. Он даже не подозревал, что может, умеет произносить целые речи, хоть на трибуну взбирайся, и не думал сейчас, правильно или неправильно говорит, чувствуя, ощущая всем существом своим, что только так он сам понимает этот вопрос и только так надо сейчас говорить. Произнося перед солдатами свою взволнованную речь, он все это мгновенно почувствовал, пережил, и еще больше укрепился в правоте своих слов, и даже понравился самому себе.

Он не знал, конечно, не догадывался, что понравился и бывшему учителю сержанту Егорову, который, внимательно слушая его, с удовольствием отметил: «Будешь, скоро будешь, милый мальчик, настоящим коммунистом. Голова твоя светла, помыслы, убеждения твои честны и правдивы». Он знал уже, что Василий Павлович Ревуцкий пока еще только комсомолец, еще только на подходе к партии, к рядам большевиков, к посвящению в коммунисты.

12

Меж тем на улице совсем уже смерклось, и легкий морозец снова стал прихватывать ледком, подсушивать лужицы на площади и тротуарах. Скоро вызвездило высокое небо. Начали взлетать над крышами, над обглоданными огнем остовами домов осветительные ракеты, а кто их пускал, где находились наши, где немцы, установить не было никакой возможности.

— Авдеев и Белоцерковский,— сказал лейтенант.— Отправляйтесь в тыл.

— Мы, товарищ лейтенант, тут останемся,— сказал Авдеев.

— Вы свое исполнили,— возразил лейтенант.— Вам обоим нужна срочная перевязка, госпиталь. Идите без разговоров.

Тут раздался голос Белоцерковского:

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант, мы все равно не знаем, куда идти, где немцы, стало быть, где наши. Лучше здесь остаться.

— Рядовой Скляренко,— позвал лейтенант.

— Слушаю.

— Вы знаете дорогу на КП роты?

— Так точно.

— Ведите раненых.

— Но...

— Выполняйте приказание.

— Слушаюсь.

— Командиру роты доложите: мы остались вдвоем с сержантом, просим подкрепления. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант. Только как же вы вдвоем?..

— Выполняйте приказание, Скляренко, да поживее поворачивайтесь.

Лейтенант командовал гарнизоном. Он отдавал распоряжения, которые подчиненным ему людям надлежало исполнять точно и неукоснительно. И, распорядившись, проводив Скляренко, Авдеева и Белоцерковского, он опять, как и днем, оставшись в «уголке» лишь вдвоем с сержантом Егоровым, не стал рассуждать, правильно или неправильно поступил, а знал наверняка, убежденно, что только так должен был решить сию минуту, отправив раненых, запросив у командования подкрепление и установив тем самым связь с ротой.

Ночь полностью вступила в свои права. В окна, когда не светили ракеты, ни зги не было видно, только звезды на небе да трассирующие пули, пролетавшие в разных направлениях через площадь и прошивавшие иной раз «уголок» из окна в окно, насквозь.

13

Сколько времени прошло с тех пор, как Скляренко увел за собой раненых солдат? Двадцать, тридцать минут? Час?

— Продержимся, ничего,— подбадривая себя, сказал лейтенант.

— Будем живы — не помрем, товарищ лейтенант,— отозвался из соседней комнаты Егоров.

И опять они умолкли, наблюдая за улицей и площадью. Потом сержант сказал, появляясь на пороге той комнаты, где был Василий Павлович:

— Я, товарищ лейтенант, с вашего позволения схожу в подвал за водой, пока тихо. Надо долить в кожух, освежить и пополнить.

— Да, да, идите,— поспешно сказал лейтенант.— Я послежу и там и тут.

14

Он очень устал, молоденький лейтенант Ревуцкий, за этот длительный, переполненный смертельными испытаниями, неистовый день. Оставшись один, прислонясь спиной к простенку, он всего лишь, кажется, на мгновение закрыл глаза, как его вдруг, словно током, пронзило: там, внизу, на первом этаже, между ним и сержантом Егоровым, послышались немецкие голоса.

Он не знал немецкого языка, не знал, о чем там идет разговор, но понял, что немцев несколько. Они ходили, громко топая ботинками и посвечивая себе карманными фонариками.

Ах, если бы он знал немецкий язык, то, прислушавшись к разговору внизу, повел бы себя, наверное, совсем не так, как поступил спросонок, услышав приближающиеся по лестнице шаги. Подчиняясь мгновенно охватившему его безрассудному чувству, он выпрыгнул в окно, забыв, что головой отвечает за «уголок».

Ах, если бы он понимал по-немецки! Ведь вот о чем разговаривали немцы:

— Я говорил, что они сами уйдут отсюда. Они не дураки, чтобы в последние дни войны держаться за этот паршивый дом.

— И тем не менее нам три дня не удавалось вышвырнуть их отсюда.

— Тебе придется писать Марте о том, как дурацки здесь погиб ее Август. Ведь ты был его приятелем.

— Погибнуть сейчас... Не хотел бы я разделить участь бедного Августа.

— А что бы ты хотел?

— Остаться в живых, вот что... А ты бы?..

— Я верен идеалам фюрера.

— Заткнись со своим бредом, дерьмо! Услышат русские, они тебе покажут эти идеалы.

— Не рассуждать. Лучше иди и посмотри, что там наверху делается.

— Пришли бы сейчас сюда русские, так я бы без рассуждений поднял руки.

— И был бы избавлен от необходимости писать жене Августа.

— Да. И от его участи.

— Тсс... Что это там такое шлепнулось?

(Это выпрыгнул в окно лейтенант.)

— Нечему шлепаться. Вот тут лежит убитый. Неужели это он и держал нас?

— А ты лучше пойди посчитай, сколько наших ребят лежит на площади...

15

Выпрыгнув и больно ушибив колено, лейтенант быстро вскочил на ноги и скорее прижался спиною к стене. Сердце его часто билось. В голове шумело. «Зачем? — мгновенно отрезвляюще пронеслось в голове средь шума.— Где сержант? Что с ним? — вспомнил он про Егорова. И опять: — Почему я это сделал? У меня автомат, гранаты...»

Его охватил стыд за свой, казалось, непоправимый поступок. И такое омерзение к самому себе возникло в нем, что он заплакал с отчаяния и горечи. Слезы текли по его щекам, а в шумной голове суматошно проносилось одно и то же, одно и то же: «Как же быть? Что мне делать? Сержант Егоров... Где сержант Егоров? Ведь если бы он не спустился в подвал, мне никогда не пришло бы в голову прыгать в окошко. Как мне быть?»

Вдруг он насторожился. За углом послышался шепот. Говорили теперь по-русски.

— Погоди, дай отдышаться.

— Отдышись.

— В какую теперь сторону подадимся? Где наши?

— А я откуда знаю?

— Фу, черт! Давай пересидим здесь до утра.

— А ты наверняка знаешь, что в этом доме никого нет? А кто сюда утром придет, наши или немцы?

Выслушав это, Василий Павлович боком, боком, вжи-

маясь спиной, затылком в стену, шаря по ней растопыренными руками, придвинулся к углу и зашептал:

— Слушать меня внимательно. Вы кто?

Ответа не последовало. Там, за трамваем, за костелом, взлетела ракета, забормотал пулемет.

— Отвечать немедленно,— тоном приказа зашептал Василий Павлович.— Иначе открываю огонь.

— А ты кто? — отозвались осторожно за углом.

— Начальник здешнего гарнизона лейтенант Ревуцкий. А вы?

— Танкисты. Танк подбит. Пробираемся к своим.

— Сколько вас?

— Двое.

— Выходите ко мне по одному.

Из-за угла, прижимаясь к стене, скользнули две фигуры в комбинезонах.

— Тихо. Здесь немцы. Какое при вас оружие?

— Пистолеты.

— Вашими пистолетами здесь только сахар колоть. Вот вам по гранате. Сейчас будем брать этот дом. Задача ваша: когда я закричу «ура!» и начну стрелять из автомата, вам надо бросить в окна гранаты и тоже кричать «ура!» и стрелять из пистолетов. Я врываюсь в дом, вы за мной следом. Ясно?

Лейтенант, опять уже знающий, что делает именно то, что надо делать ему сейчас, сунул гранаты в протянутые руки танкистов и пробежал, согнувшись, к подъезду. Он вскинул автомат и, строча из него прямо перед собой, истошно закричав и услышав, как рванули в комнатах гранаты, ворвался в дом.

16

Вдоль стены с поднятыми руками, побросав оружие, стояли четверо немцев. Разъяренный лейтенант увидел их при свете мерцающей за окнами ракеты, мгновенно сосчитал и перестал стрелять. Потом, пока не погас бледный свет в доме, он увидел пятого, скорчившегося на полу, обнявшего руками живот, увидел вбежавших с пистолетами в руках и вставших рядом с ним танкистов и сержанта Егорова, вылезшего из подвала с ведром воды.

— Сержант Егоров,— сказал лейтенант Ревуцкий.— Обыщите пленных. Заберите их наверх.

— Шнель, шнель,— скомандовал сержант.

Вслед за немцами и сержантом ушли наверх танкисты. Замыкавшим был лейтенант. Но не успел он ступить на лестничную площадку, как сзади раздался голос:

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант...

— Кто? — обернувшись и вскинув автомат, зло и бесстрашно крикнул Василий Павлович.

— То я, Скляренко. Чи вы не узнали меня?

— Ты? — радостно вскричал лейтенант.

— Та я ж,— отвечал солдат, выбираясь из подвала.— Людей до вас привел.

17

Не прошло десяти минут, а в «уголке» все изменилось. Дом уже был полон выбравшимися вслед за неутомимым Скляренко людьми. Уже попискивала рация, с кем-то переговаривался телефонист и кто-то другой, не Ревуцкий, свежим, бодрым голосом отдавал распоряжения.

Потом этот другой подошел к Ревуцкому:

— Старший лейтенант Осипов. Трудно пришлось?

— Ничего. Живы будем — не помрем,— сдержанно ответил Василий Павлович.

— Считайте, что объект я у вас принял. А это кто?

— Танкисты из подбитого танка.

— А это?

— Пленные.

— И пленные?

— А вы как думали?

— Ну-ну! — восхищенно сказал старший лейтенант.— Но они же мне здесь обуза.

— А вы их в подвал посадите. У вас народу вон сколько. Часового — и в подвал.

— Придется. Уходишь?

— Что же мне теперь? Мы свое сделали.

— Валяй отдыхай.— И они пожали друг другу руки.

18

Скоро, миновав подвал и несколько закоулков, три пехотинца и два танкиста выбрались в безопасное место и присели передохнуть. Начинало светать.

— Ну, силен ты, лейтенант, командовать,— сказал один из танкистов, закуривая.

Василий Павлович лишь пожал плечами в ответ.

— Я бы тебе за такую отчаянную храбрость орден Отечественной войны первой степени, не меньше, выложил. Молодец дома брать.

— Наградят,— сказал Егоров.

— А так некому награждать! — ввязался в разговор всезнающий Скляренко.— Командира роты нема, и комбата тоже.

— Почему? — спросил лейтенант.

— Товарища комроты увезли с воспалением легких, а комбата убило.

Василий Павлович живо представил себе хриплый, надсадный голос ротного, усталое, озабоченное лицо комбата, как он пошутил, сказав про Василия Павловича: «Ах, какой отчаянный, бравый офицер». Представил все это, и ему до боли стало жаль чего-то утерянного, навсегда утраченного им в этот день и в то же время радостно и счастливо оттого, что остался жив-здоров и теперь вот вышел из боя и будет, наверное, несколько дней отдыхать.

— А нас сменила свежая бригада. Сейчас на последний штурм пойдут,— говорил Скляренко.

— Товарищ капитан,— сказал один танкист другому,— а ты бы реляцию на лейтенанта написал, раз такое дело, командующему бы подали.

— А что? — сказал тот, которого назвали капитаном.— Ты только напомни мне.

Василий Павлович в смущении покосился на него.

— Я одного не пойму,— сказал сержант Егоров.— Откуда у нас взялись пленные? Только, кажется, спустился в подвал, нашел воду, зачерпнул, как вдруг — стрельба. Выскакиваю, а в доме уже пленные стоят.

— Ладно, покурили — и подъем,— сказал лейтенант, оправясь от смущения.— Подъем — и в путь. Так, товарищ капитан? Вы уж меня извините, если что было не так с моей стороны. Служба.

— О чем разговор, лейтенант,— ответил танкист.— Порядочек, как в танковых войсках. Пошли.

И они, не торопясь, зашагали вдоль разрушенной и вовсе теперь посветлевшей утренней городской улицы, удивляясь, почему вдруг стало так тихо.

Немцы повсюду складывали оружие.

1970

Рассказы

В ГОСТИНИЦЕ ЛЕСНОГО ГОРОДА

По вечерам в гостинице топили печи. Старик Веревкин, истопник, с утра начинал таскать с заснеженного двора вязанки дров и с грохотом сбрасывал их около печек в коридоре. Снег падал с его полушубка и валенок на пол. Освободившись от ноши, он каждый раз снимал шапку, которую носил задом наперед, и хлопал ею о колено. Уборщицы целый день подтирали за ним и жаловались, что он нарочно отряхивается на ковровой дорожке.

Когда наступали сумерки, в длинном коридоре становилось тепло, уютно и даже нарядно. Топились печи, красноватые отблески плясали на стенах, шипели и стреляли дрова, гудело в дымоходе.

Ольга Всеволодовна выносила в коридор стул и подсаживалась к огню с книгой в руках.

Все в гостинице знали, что эта маленькая белокурая женщина приехала из Москвы, что у нее скоро должен быть ребенок, что муж ее, инженер, находится сейчас в Вязовском леспромхозе, километрах в ста пятидесяти от города, и должен уже давно вернуться, но от него нет никаких известий.

Ольга Всеволодовна беспокоилась. Соседи по гостинице сочувствовали ей и при встрече спрашивали:

— Еще не приехал?

По вечерам Ольге Всеволодовне было страшно в большой неуютной комнате. За окном стучал ставней ветер, по стеклам шуршал снег. Охваченная беспокойством, она думала, что муж из-за метели задержится в лесу еще и она будет одна, когда начнутся роды. Ольга Всеволодовна вы-

ходила в коридор и подолгу смотрела на огонь. Лицо ее становилось печальным, а иногда принимало испуганное выражение, словно она видела что-то такое, чего не замечали другие. На коленях у нее лежала книга; соседям казалось, что она еще вчера и позавчера была раскрыта на той же странице и Ольга Всеволодовна никогда не дочитает ее.

Веревкин мешал кочергой в печке, подкладывал дрова. Он был без полушубка, в синей сатиновой рубахе, но в шапке. Опираясь на кочергу, старик замирал около Ольги Всеволодовны, глядя вместе с нею на огонь. Видно, жалея ее, он каждый раз клал у этой печки самую большую вязанку.

— Метель еще не стихла? — устало спрашивала Ольга Всеволодовна.

— Где там!..— сердито махал рукой Веревкин и, как бы очнувшись, начинал рассказывать о том, что в молодости он был охотником, тогда вокруг города стояли непроходимые леса, а теперь охотиться негде: всех зверей распугали и леса вокруг свели.— Потому так и метет,— заключал он,— заслону нет от ветров.

Метель не утихала неделю. Деревянный городок завалило сугробами. По железнодорожной ветке второй день не ходили поезда. Пришлось собрать пять грузовиков, и трактор потащил их на буксире по шоссе. Они застряли в дороге, не дойдя до леса, который начинался в тридцати километрах от города. А на машинах везли продукты, инструменты и бензин для леспромхоза.

— Весной у нас, бывало, от соловьиного свиста и от черемухи голова кругом шла, а теперь не то! Скоро и дальние леса повырубят, земля наша станет голая и скучная, и человеку будет неудобно жить на ней,— сетовал Веревкин, и Ольге Всеволодовне подчас казалось, что он жалуется на ее мужа, который рубит здешние леса.

Гостиница была двухэтажная, маленькая. Она вся както странно скрипела с утра до вечера. Скрипучими голосами отзывались деревянные ступеньки и перила лестницы, двери, рассохшиеся паркетные полы. Корреспондент московской газеты Каратов, вежливый молодой человек в очках, которые он во время разговора то и дело снимал и надевал, как-то в шутку сказал Ольге Всеволодовне, что здесь ходишь по паркету, как по ксилофону.

Днем в гостинице было пусто и тихо, а к вечеру все начинали собираться.

Первым приходил Каратов.

— Пятый день в театре идет один и тот же спектакль, и пятый день дует метель... Есть от чего заскучать! — говорил он, снимая и надевая очки.

Он давно хотел уехать, но его задержали в городе снежные заносы. Однажды он попробовал выбраться на обкомовском «виллисе», но машина зарылась в огромный сугроб, как только очутились за городом, и Каратов вернулся в гостиницу пешком, замерзший и злой.

Вслед за Каратовым приходили аджарские колхозники. Аджарцы очень мерзли здесь. В городе им надо было оформить какие-то документы, и они всюду появлялись впятером, ни на шаг не отставая от бригадира Артема Челидзе, широкоплечего старика, часто теребившего пальцами свои пышные седые усы. Бригада привезла сюда из Батуми двенадцать вагонов мандаринов, и теперь все магазины городка торговали ими.

Позднее других приходили мальчики. Они долго возились в дверях, тщательно стряхивая друг с друга снег, и гуськом шли по коридору в свою комнату, опасливо косясь на уборщицу. Ольга Всеволодовна знала, что мальчики приехали издалека за бензином для МТС, метель тоже задержала их в городке, и они, как сами говорили, «все чисто проелись». Обоз их стоял во дворе. Они с утра до вечера толкались там около лошадей.

— Мальчики,— допытывалась Ольга Всеволодовна,— еще не утихло?

— Вроде затихает,— обнадеживал кто-нибудь из них.

— Ах, если бы утихло! — произносила она с надеждой в голосе, и ей начинало казаться, что, как только уляжется метель, всем станет очень хорошо: мальчики увезут свой бензин, аджарцы уедут в Батуми, Каратов умчится в район и, наконец, вернется ее муж.

Бывали в гостинице и другие люди, но они жили здесь обычно лишь одну ночь... Появлялись в дверях, все в снегу, торопливо требовали номер, а отогревшись, отдохнув, уходили утром куда-то и больше не возвращались. И только один из них был сразу всеми замечен. Он ввалился както утром в дверь и долго расстегивал окоченевшими пальцами полушубок. Каратов, вышедший из ванной с полотенцем и мыльницей в руках, остановился, пораженный его усталым видом.

— Вот это да! — сказал он, сняв и снова надев очки.

Человек взглянул на него, попытался изобразить на ли-

це что-то вроде улыбки, но не смог и, шатаясь, гремя по коридору обледеневшими валенками, ушел вслед за дежурной.

Весь день он не выходил из номера и показался только под вечер. Это был скуластый, светлобровый и по виду очень мужественный парень.

Широко расставив ноги, дымя папиросой, он стоял в дверях своей комнаты.

— Ну, как,— спросил его Каратов,— отогрелся?

— Отоспался,— хрипло ответил тот.

Подошел Веревкин в шапке задом наперед и, облокотившись на кочергу, стал слушать.

Парень был лесником и пешком пришел за сто пятьдесят километров из Вязовского леспромхоза на совещание, которое — он этого не знал — было отменено из-за метели.

— Леса-то рубят? — мрачно спросил Веревкин.

— Рубят,— ответил парень.

Веревкин вздохнул и стал говорить, что скоро «округ все леса переведутся», а раньше зайцы прямо в город приходили и он, Веревкин, бывало, от одной охоты был сыт и обут. Старик еще раз вздохнул, покачал головой и, покосившись на парня, заявил, что лесники нынче тоже пошли никудышные. Раньше за одну палку семь шкур драли, а теперь вон сколько леса валят кругом — и все сходит с рук.

— А куда этот лес идет, тебе интересно знать? — спросил лесник.— Несознательный ты человек. В Сталинград он идет, в Донбасс. Гордиться надо, что мы свой лес в такие места посылаем, а ты...— И он махнул рукой.— Ты что же думаешь, у нас валят все подряд? — помолчав, продолжал он.— Нет, брат, специальные комиссии лес отбирают. На вырубках тотчас же молодняк сажаем... в плановом порядке. А про зверей, как ондатра, скажем, енот или бобер, ты слыхал?

— Африканские звери,— с презрением сказал Веревкин.— Слыхал.

— То-то, африканские! — с упреком проговорил лесник.— А у меня на кордоне десять бобровых семейств живут. И еноты и ондатры есть. Скоро еще выдр обещали завезти. А ты по зайцам соскучился. В город, видите ли, перестали ходить. Да у вас город-то раньше был — с края на край переплюнешь.

Потом лесник стал рассказывать об электропилах, о ледовых и узкоколейных дорогах, о трелевочных тракторах и лебедках, которыми вытаскивают бревна из чащи. И тут

же с сожалением сообщил: тросы у лебедок коротки, их пытались удлинить, да пробный трос лопнул и покалечил приезжего инженера.

— Приезжего? — переспросил Веревкин и оглянулся на Ольгу Всеволодовну, задумчиво сидевшую невдалеке от них.

Каратов поймал этот взгляд.

— Его на паровозе в больницу увезли...— хотел продолжить рассказ лесник, но Веревкин уронил кочергу и, замахав на него руками, зашипел:

— Тише ты, тише! — и вместе с корреспондентом вплотную подошел к леснику.

Тот умолк, удивленно посмотрев на них.

— Идемте, идемте! — слегка подталкивая Веревкина и лесника, заговорил Каратов и, оглянувшись на Ольгу Всеволодовну, увел их в комнату аджарцев.

Там было решено не говорить Ольге Всеволодовне о случившемся, тем более что еще не уточнено, с кем произошло несчастье. Аджарцы предложили развлечь ее.

— Что значит развлечь? — спросил Каратов.

— Это сделаю я,— важно заявил Артем Челидзе, ткнув себя пальцем в грудь.— Я знаю.— И, выйдя в коридор, сказал: — Ольга Всеволодовна! Когда мне бывает очень плохо, я иду к товарищам. Когда товарищу бывает плохо, он идет ко мне, и я помогаю ему...— Он помолчал, поглаживая усы, подумал.— Мы не знаем вашего мужа,— продолжал Челидзе,— но ваш муж, наверное, хороший человек. Когда он вернется, не ругайте его, прошу вас. Только серьезное дело может задержать такого человека вдалеке от жены.— Остальные аджарцы стояли сзади него и, когда он говорил, согласно кивали головами, поддакивая: «Да, это все так, это верно».— Мы сейчас пришли к вам, чтобы сказать... э-э-э...— Челидзе поморщился, напрягая память, прищелкнул пальцами.— В общем, друзья — это самое лучшее из всего, что есть на свете,— оживился он.— Когда вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, приходите к нам.

— Спасибо, спасибо, дорогие,— сказала Ольга Всеволодовна, растроганная этой речью.

Ночью ей не спалось. Она долго лежала, укрывшись до подбородка одеялом, и смотрела в темный потолок. Было тревожно и жалко чего-то. Она вспомнила, как была пионеркой и ездила в лагерь на Клязьму, а Иван Петрович, ее муж, инженер, был тогда просто Ванюшкой, длинноногим и нескладным. Таким нескладным он оставался до самой

свадьбы. Свадьба была в мае. В мае, говорили, нельзя выходить замуж: всю жизнь будешь маяться,— а она вышла, и в июне — словно сбылась бабья примета — проводила Ивана Петровича на фронт.

Теперь она приехала в этот город потому, что больше не хотела расставаться с мужем даже на неделю.

Всем, кто пытался уговаривать ее остаться в Москве хотя бы на время родов, она упрямо твердила:

— Нет, нет, нет!..

«Почему я должна остаться из-за этого в Москве? — рассуждала она.— Разве там, куда мы едем, нет врачей, родильных домов? Какие глупости! Там живут такие же, как я, женщины, и они ведь не ездят рожать в Москву!»

К Новому году им обещали дать в этом городе комнату, и Ольга Всеволодовна уже присмотрела в мебельном магазине детскую кроватку.

«Надо же было ему в такое время уехать в лес! — думала она.— Уехал и пропал. Во всем, конечно, виновата метель. Он давно бы вернулся. Действительно, как он может приехать, если нет дороги? Но мне-то, мне-то как быть? Неужели он не понимает, что мне страшно сейчас одной?»

Вдруг она почувствовала сильную режущую боль. Ольга Всеволодовна прикусила губу и сползла с постели. У нее затряслись руки. Лоб и чуть припухшая верхняя губа покрылась капельками холодного пота.

Когда боль утихла, она зажгла электричество и стала торопливо одеваться, боясь теперь только одного — чтобы это не началось здесь, в гостинице. Кое-как закутала голову пуховым платком и вышла в коридор. И только успела прикрыть за собою дверь, как в изнеможении закрыла глаза.

С трудом овладев собою, она добралась до двери Каратова и постучала. Он еще не ложился спать и вышел с книгой в руке.

— Ах да! — сразу все поняв, воскликнул он и, бросив книгу на стол, закружился по комнате, надевая пальто и калоши. Но вдруг остановился и спросил: — А где родильный дом? Я же не знаю, куда нам идти. Впрочем, вам нельзя идти. Вы не дойдете по этим сугробам.— Он задумался, потом усадил ее в кресло и убежал.

Дверь осталась распахнутой, и Ольга Всеволодовна видела, как несколько минут спустя по коридору пробежали три мальчика, на ходу застегивая шубы, а следом за ними,

раздувая полы пальто, придерживая рукою очки, промчался Каратов. Вскоре он появился в дверях, сопровождаемый Веревкиным, который на этот раз, очевидно второпях, правильно надел шапку.

— Зачем же вы подняли на ноги всю гостиницу? — с упреком сказала Ольга Всеволодовна Каратову.

— Ничего, ничего.— Веревкин бережно взял ее под руку.— Эка беда, подумаешь, старика разбудил. Высплюсь, успею.

У подъезда виднелись сани. Один из мальчиков уже сидел в них, держа вожжи, а двое других подтягивали чересседельник. Посреди саней стояла бочка с бензином, привязанная веревкой.

Ольгу Всеволодовну посадили около бочки. Каратов примостился с краю.

Метель улеглась, было тихо, но морозно, и небо усеяли большие и маленькие, весело мерцавшие звезды.

Наконец сани остановились около деревянного дома с колоннами и ярко освещенным подъездом.

Каратов быстро выскочил из саней и смешно запрыгал на левой, затем на правой ноге, стараясь вытряхнуть снег из ботинок.

Они взошли на крыльцо и постучали. Пожилая женщина в белом халате открыла дверь, молча впустила их. Откуда-то вышли еще две женщины и, заботливо взяв Ольгу Всеволодовну под руки, повели ее по коридору, а та, что открывала дверь, сказала корреспонденту:

— Ничего, вы не волнуйтесь.

— Я не волнуюсь,— робея, проговорил Каратов.— Нам можно идти?

— Господи! — воскликнула женщина. — Сейчас вынесут ее вещи. Уж эти отцы! Сдали — и домой.

Каратов укоризненно поглядел на нее, но ничего не сказал и присел на скамейку. Веревкин уселся рядом с ним.

Они долго молчали, удрученные тишиной и покоем, царившими в доме. Где-то далеко заплакал ребенок и умолк. Вышла женщина и, протягивая корресподенту узел, промолвила:

— Берите вещи.

— А как она? Ничего? — Каратов поднялся, снял очки.

— Ждите сына.

Каратов поклонился.

— Благодарю вас.

— Слава богу! — вмешался в разговор Веревкин.— Родителям на утешение!

Когда поехали обратно, он ни с того ни с сего вспомнил лесника и сказал:

— А тот парень, поди, врал вчера про зверей-то. Как ты думаешь?

— Думаю, что нет.

И Каратов стал объяснять старику, что сейчас многие лесные районы заселяются ценным пушным зверем. Бобры, ондатры и еноты, о которых рассказывал лесник, вероятно, пущены и в здешних лесах.

Выслушав его, Веревкин сокрушенно покачал головой.

— Жалко.

— Чего же вам жалко? — не понял Каратов.

— Зайцы переведутся,— убежденно проговорил старик.— Заяц — зверь простой, но он уйдет отсюда. От обиды уйдет, помяни мое слово!

Утром корреспондент справился у дежурной по гостинице, не приехал ли кто-нибудь ночью. Каратов надеялся на то, что, пока он спал, вернулся муж Ольги Всеволодовны. Но никто не приезжал. Тогда он позвонил в родильный дом. Ему ответили, что самочувствие роженицы хорошее, и попросили не волноваться. Он поблагодарил.

В коридоре к нему подошли аджарцы.

— Как дела, слушай? — спросил бригадир.

Каратов пожал плечами.

Всем в гостинице хотелось знать, кто родился у Ольги Всеволодовны, и в течение дня Каратова несколько раз заставляли звонить в родильный дом. Оттуда отвечали, что пока ничего не известно, и снова просили не волноваться. Наконец его поздравили: родился мальчик.

Аджарцы тут же решили купить Ольге Всеволодовне подарок и, пошептавшись, ушли. Веревкин сказал, что полагается выпить за здоровье новорожденного и будь тут отец, он бы подарил ему не меньше тридцати рублей. Каратов дал ему тридцать рублей, и Веревкин тоже ушел.

Через час корреспондент с коробкой шоколадных конфет под мышкой торжественно вошел в вестибюль родильного дома. Там уже сидел подвыпивший Веревкин и, размахивая шапкой, говорил няньке, стоявшей перед ним, скрестив на груди руки:

— Он мне бобром, значит, зубы стал заговаривать. А что бобер супротив зайца? Пусть он мне ответит, что бобер супротив зайца? С него, с того паршивого бобра...

— Вы тут не выражайтесь,— строго оборвала его нянька,— и не кричите.

Веревкин некоторое время глядел на нее, обиженно моргая ресницами и склонив голову набок.

— Виноват, виноват, виноват,— сказал он и икнул, потупясь.

Помолчали.

— Я не кричу, я понимаю,— вдруг зашептал он, встрепенувшись.— Я насчет бобра. Шкурка — и все. Варить его разве можно, крысу? Тьфу! — И сплюнул.

— Плевать нельзя здесь,— сказала нянька, продолжая стоять перед ним, скрестив руки.— Это еще что! Не в пивной.

— Виноват, виноват, виноват! — Веревкин стал шаркать валенком по полу.

Каратов присел около Веревкина и написал записочку, в которой поздравлял Ольгу Всеволодовну с рождением сына и спрашивал, не нуждается ли она в чем-нибудь. Потом попросил няньку передать письмо и конфеты Ольге Всеволодовне.

— А вы кто же будете? — поинтересовалась та.

— Брат,— поспешно ответил Каратов, смутившись.

— А этот,— нянька кивнула на Веревкина,— тоже родственник?

— Все мы родственники,— вызывающе взглянув на нее, сказал Веревкин,— что он, что я.

— Как она себя чувствует? — спросил Каратов.

— Волнуется что-то.— Нянька вздохнула.

— Ясно, чего,— начал было Веревкин,— у нее муж...— но, взглянув на корреспондента, сразу умолк.

Тот так сердито посмотрел на него, что старик беспокойно заерзал на скамейке, не зная, куда деваться.

В это время дверь с улицы широко распахнулась, и в вестибюль шумно ввалились аджарцы. Впереди шагал Артем Челидзе, неся огромный пакет с мандаринами. Чтобы достать эти мандарины, аджарцам пришлось постоять в очереди.

— Зачем, слушай, без нас ушел? — обратился Челидзе к Каратову.— Передай, на,— повернулся он к няньке,— пусть пьет сок.

После этого все расселись на двух скамейках и стали ждать, когда нянька вернется от Ольги Всеволодовны. Веревкин задремал.

— Тебе пора печи топить.— Каратов толкнул его локтем.— И где ты успел нализаться?

Веревкин открыл глаза.

— Нигде.

— Сегодня мы будем спать в холодных комнатах? — Челидзе засмеялся.— Так, старик?

— Так,— подтвердил Веревкин.

Ольга Всеволодовна была очень растрогана, когда нянька, принесшая подарки, рассказала, что узнать о ее здоровье пришло много народу, и все веселые, а один родственник, старик, подвыпил и много говорит... Ольга Всеволодовна сразу догадалась, что это Веревкин.

«Дорогие друзья! — написала она.— Мы с сыном чрезвычайно благодарны вам за все, за все! Когда я выйду отсюда, от всего сердца пожму ваши руки. Передайте наш горячий привет мальчикам...»

Каратов прочел это вслух, стоя посреди вестибюля.

— А мальчиков-то уже нет.— Он улыбнулся.— Они еще утром уехали.

— Завтра и нас здесь не будет,— задумчиво проговорил Челидзе.— Завтра мы уезжаем.

— Уеду и я завтра,— сказал Каратов.— Пора.

Весело переговариваясь, они пошли к выходу. Сзади, пошатываясь, брел Веревкин. Когда они пришли в гостиницу, был уже двенадцатый час. По коридору с кочергой в руках расхаживал лесник, и всюду топились печи. Увидев их, лесник обрадовался и рассказал: на него напала тоска и он, чтобы избавиться от нее, растопил все печи.

— А у нас новость. Муж приехал! — весело заключил он.

— Приехал?! — воскликнул Челидзе, и всем стало так легко на душе, словно приехал самый дорогой их друг, хотя никто из них ни разу не видел его.

1950

НЕУМОЛИМЫЕ ЗАКОНЫ ИСКУССТВА

Сергею Михалкову

В театре готовились к новому спектаклю. Пьеса была большая, в четырех актах и восьми картинах, со множеством действующих лиц, и, когда распределяли роли, кто-то вспомнил про дядю Васю, вахтера, и сказал,

что он мог бы изобразить старого партизана: в одной из картин второго акта надо было молча постоять несколько минут с трофейным автоматом на шее возле входа в блиндаж командира партизанского соединения.

Труппа была небольшая, работы хватало всем, и Евгению Степановичу Ремизову, художественному руководителю театра, эта мысль очень понравилась.

Дядя Вася, ничего не подозревая, стоял в это время на посту возле служебного входа и читал вслух пожарному Канашкину рецензию «Комсомольской правды» на спектакль московского Малого театра «Северные зори». Это был старик с большой, как у Льва Толстого, бородой, бескорыстно, трогательно влюбленный в театр. Проработал он здесь без малого двадцать лет, любил поговорить о пьесах и считал своей обязанностью прочитывать в газетах все рецензии на спектакли. Читал он с чувством, и если хвалили какой-нибудь театр за удачную постановку, от восторга у него на глазах выступали слезы.

Пожарный Канашкин относился к рецензиям иначе. Обычно, заступив на дежурство, он подпоясывался широким брезентовым ремнем с никелированными пряжками и карабинами, надевал каску и отправлялся в обход, чтобы обнаружить нарушителя противопожарных инструкций. А когда не обнаруживал, то очень расстраивался и шел слушать рецензии. Слушал он их только потому, что надеялся узнать, кого ругают, и если, случалось, никого не ругали, то он тоже расстраивался, потому что любил всякие неприятности.

Главреж Евгений Степанович Ремизов, вызвавший к себе дядю Васю, единственный в городе заслуженный артист республики, был человеком известным и в достаточной степени избалованным всеобщим вниманием. Он постоянно носил коричневый с зелеными горошинами бант, и потому, что такого банта в городе ни у кого не было,— все пользовались обычными галстуками, — даже мальчишки узнавали, что мимо них прошел, помахивая тростью, заслуженный артист. Единственное, что иногда неприятно щекотало самолюбие главрежа, так это молчание центральной прессы: за все время существования театра о нем ни разу не написали в московских газетах. Евгений Степанович и новые пьесы охотно принимал, и к классикам за спасением обращался, и поставлены спектакли всегда были оригинально, со вкусом, с хорошей выдумкой, но столичные газеты хоть бы выругали.

Теперь Ремизов возлагал большие надежды на новую пьесу — о партизанах Великой Отечественной войны. Во-первых, пьесу написал молодой автор, во-вторых, она была недурна, а в-третьих, до Ремизова ее еще никто не ставил.

Когда Ремизов сказал старому вахтеру, что ему хотят поручить роль партизана в новом спектакле, дядя Вася живо представил себе, как он выйдет на сцену, и его увидят отовсюду, и в это время он будет не самим собой, а, как это бывает у актеров, совсем другим человеком. Все это произвело на него такое впечатление, какое он испытал лишь однажды, лет пятьдесят тому назад, когда первый раз вышел на улицу в картузе с лаковым козырьком. Дядя Вася поклонился и сказал:

— Большое вам спасибо, Евгений Степанович, уважили на старости лет,— и слезы умиления выступили у него на глазах.

Раньше от дяди Васи требовалось только соблюдать инструкцию по охране здания, он ее выучил наизусть и выполнял со всей прилежностью, присущей обычно старикам и женщинам, которым поручено что-либо охранять. Но это занятие длилось только восемь часов в сутки. Теперь же Ремизов наложил на него совершенно иную, более значительную ответственность: предстояло создать образ героя — партизана Великой Отечественной войны.

Придя домой, дядя Вася тут же решил попробовать, как у него получится, если он скажет какие-нибудь «посторонние слова». И только жена отлучилась из комнаты, он подошел к комоду, на котором стояло зеркало, и закричал:

— Стой! Кто идет? Пропуск! — И лицо у него сделалось от усердия такое, будто он сам насмерть перепугался.

С этого момента начались подлинные муки творчества. Главное было «войти» в роль.

Репетировали каждый день: Ремизов торопился выпустить спектакль к Новому году. Как только назначалась репетиция второго акта, дядя Вася являлся на сцену и добросовестно молча простаивал иногда по целому часу там, где предполагалось быть входу в блиндаж.

Зная, что актеры много времени проводят за чтением книг, изучая обстановку, среду, быт и нравы героев, он пошел в городскую библиотеку и попросил какую-нибудь книгу о партизанах. Старик даже перестал следить, напечатаны ли в газетах рецензии, и запоем читал про партизан, а те места, где описываются часовые, перечитывал по нескольку раз.

Пожарный Канашкин долго ходил вокруг, соображая, какую бы неприятность устроить ему, и наконец сказал:

— Что же ты с бородой думаешь делать, горе ты мое от ума! Артисты-то с бородами не бывают.

Дядя Вася носил бороду с незапамятных времен, и расставаться с нею было жаль. Но артисты в самом деле все были безбородые. Стало быть, огромная, роскошная борода, служившая украшением старого вахтера и долгое время никому не мешавшая, теперь, в силу неумолимо жестоких законов искусства, подлежала безжалостному уничтожению. Личное, частное, столкнувшись в этом вопросе с общественным, повергло старика в смятение — факт, с удовольствием отмеченный наблюдательным Канашкиным. Однако пожарный плохо знал своего приятеля. Ради искусства дядя Вася был готов на все.

— Как Евгений Степанович решит, так и будет,— сказал он и пошел спрашивать у Ремизова, что ему делать с бородой.

У главрежа в этот день было прекрасное настроение: из Москвы на премьеру к ним выехал известный театральный критик. Выслушав дядю Васю, Ремизов посмеялся в душе над милой, искренней наивностью старика и объяснил, что бороду сбривать нет никакого смысла, потому что тогда дяде Васе все равно придется приклеивать искусственную.

За день до премьеры Евгений Степанович собрал всю труппу и, побледневший, даже осунувшийся от возбуждения, в котором находился все эти дни, произнес перед собравшимися полную глубокого философского смысла речь о том, что в спектакле не бывает ролей маленьких и больших, все они одинаково необходимы и важны и успех зависит не от двух или трех актеров, а от всего коллектива. Он говорил очень вдохновенно, и дядя Вася глядел на главрежа с такой сосредоточенностью, с какой глядят в цирке на фокусника, который только что спрятал в рот куриное яйцо и теперь неизвестно, что вытащит оттуда.

— Я прошу вас решительнейшим образом еще раз все проверить,— призвал актеров в заключение Ремизов и остановил свой взгляд на дяде Васе. Тот беспокойно заерзал на стуле и прошептал:

— Слушаюсь, Евгений Степаныч.

Старик не спал всю ночь, снова и снова представляя себе, как он стоит на сцене, как висит у него на шее автомат... В голову лезли отрывки из когда-то прочитанных

статей и рецензий, например: «Искусству нужно отдать себя целиком. Оно не терпит ремесленничества, половинчатости. Или все — или ничего. Или ты велик — или ничтожен». И только уплывала из головы подобная цитата, как память назойливо и услужливо предлагала на ее место другую: «Иногда артисту для окончательного завершения образа не хватает одного лишь жеста, и, как чаще всего бывает, найти этот жест оказывается самым трудным...»

Дядя Вася ворочался, вздыхал, и, чем тщательнее проверял «решительнейшим образом» свое поведение на сцене, тем больше, к ужасу своему, убеждался, что именно этого «завершающего» жеста и не хватает ему для создания полнокровного образа часового. Он знал, что столичный рецензент непременно подметит этот его недостаток, и тревога за судьбу спектакля не давала ему покоя.

Завершающий жест, как это всегда бывает с великими открытиями, был, придуман неожиданно и оказался необыкновенно прост.

Невыспавшийся, но очень довольный своим открытием, дядя Вася поймал на следующий день Ремизова в полутемном зрительном зале и торопливо, как о чем-то необыкновенно важном, заговорил:

— Евгений Степанович, я вот придумал, значит, если правую руку держать на автомате, как вы показали, а левую, которая опущена «по швам», сжать в кулак...

— Какой кулак? — рассеянно спросил Ремизов: в театре шли последние приготовления. Устанавливались декорации, проверялось освещение сцены. Вокруг царило бодрое, деловое оживление, и только один Канашкин стоял посреди сцены, заложив руки за спину.

— У меня вот эта рука раньше разжатая была,— стал пояснять дядя Вася,— теперь я ее в кулак сожму.

— Да? Интересно...— Ремизов смотрел в это время на сцену.— Это в высшей степени интересно. Сделайте, голубчик, обязательно, прошу вас...— И заговорил с художником, который стоял рядом с ним и командовал рабочими, работавшими на сцене.

Премьера прошла успешно. Дядя Вася в тулупе и в заячьем треухе постоял на виду у всего зрительного зала двадцать пять минут возле входа в командирский блиндаж и, переодевшись, снова заступил на вверенный ему пост возле служебного входа в театр. Во время всего действия он так крепко сжимал в кулак левую руку, что у него онемели пальцы, но он даже шевельнуть ими не осмелился,

боясь, что это сейчас же будет замечено в зрительном зале и вызовет неблагоприятное впечатление о спектакле.

— Ты как вылитый статуй стоял,— злорадно сказал Канашкин.

Дядя Вася остался очень доволен такой характеристикой. Но тут вдруг вспомнил, что кулак он держал так, что тот, кажется, очутился прикрытым полою тулупа, и, следовательно, зрители не могли его видеть. От этой мысли на лбу у дяди Васи даже выступила испарина. «Все пропало!» — подумал он, устало стер пот ладонью, проведя ею от виска до виска, и хрипло, с беспокойством сказал:

— Ничего,— может, пройдет...

А когда спектакль был окончен, в зрительном зале послышалось что-то похожее на горный обвал или гром, который иногда, по ходу пьесы, устраивают за сценой шумовые оформители. Услышав эти бурные аплодисменты, дядя Вася почувствовал даже озноб. Он поднялся со стула и победоносно поглядел на Канашкина.

Появились в распахнутой шубе окрыленный успехом Ремизов и застегнутый на все пуговицы, благодушно настроенный столичный литератор.

— Ба, знакомое лицо! — сказал литератор, узнав дядю Васю по бороде.— Замечательно! Ну, держись, старик, держись! — И, пожав вахтеру руку, он направился, сопровождаемый Ремизовым, к выходу.

«Это почему же он мне такую загадку загадал? — забеспокоился дядя Вася.— Держись, говорит. К чему бы это?..»

— Сейчас в ресторан ужинать пойдут, наш будет угощать, — злорадно сказал Канашкин. — Меня не проведешь,— и стал объяснять дяде Васе, что про него теперь обязательно напечатают в газете.

— И еще, может, критику наведут, погоди...— многозначительно добавил он.

В театре стали ждать рецензию на спектакль. Ремизов даже не подозревал, что больше всех волнуется и ждет эту статью дядя Вася.

Появилась рецензия две недели спустя в одном из воскресных номеров. В ней подробно и обстоятельно разбирался весь спектакль, упоминались имена ведущих актеров, драматурга, режиссера, художника, но про дядю Васю не было ни слова.

— Я так и знал, что не напишет! — воскликнул Канашкин, обрадовавшись тому, что может доставить неприятность, и забыв, что в день премьеры говорил совсем другое.

— Замолчи! — прикрикнул, нахмурясь, дядя Вася.— Слушай: «Следует отметить дружную игру всего коллектива». Понял? Где тут критика на меня? Нету! Даже Ремизова критикуют, а про меня ни слова. Разумеешь?

И по сей день, глубоко убежденный, что образ часового, созданный им, у столичного рецензента не вызвал никаких сомнений и нареканий, дядя Вася, выходя на сцену, так крепко сжимает в кулак левую руку, что у него немеют пальцы. Но он мужественно переносит все это, боясь шевельнуть даже мизинцем, чтобы не повредить спектаклю, и лишь изредка косится сверху вниз: не прикрыт ли полою тулупа его кулак, его «завершающий жест».

Таковы неумолимые и безжалостные законы искусства.

1954

ЧАСЫ

Анна Сергеевна получила письмо от сына. Петя писал: «У вас, конечно, еще лежит снег, а у нас в Чрта-Гюль цветут маки, так что с высоты птичьего полета кажется, будто по всей пустыне разбросаны полотнища кумача: прямо бери кисть, белила и пиши по ним лозунги. Живем в палатках, спим на кошмах, чтобы не забирались тарантулы. Работы очень много — с утра до вечера; и я, потому что некогда, отрастил усы. Недавно делали большой переход — восемьдесят километров, и верблюд раздавил мои часы. Я в дороге не заметил, как порвался ремешок, а сзади шел верблюд Федька — высокомерное, надменное и презрительное животное, и твоим «непромокаемым» часам наступил конец. Я убежден, что Федька сделал это нарочно, он любит устраивать людям пакости. Это парадоксально: часы погибли под верблюдом!»

— Да, это парадоксально! — в волнении прошептала Анна Сергеевна, прочитав письмо.— Ах, бедный мальчик!..

Слово «парадоксально», казалось ей, означало что-то печальное. В конце письма была приписка:

«Узнай, почему молчит Вера. Скоро уже две недели, как ничего от нее не получал».

И когда она прочла эту приписку, сделанную как бы между прочим, весь добрый, веселый тон письма сразу потускнел и смысл его изменился. Письмо казалось ей нетерпеливым и тревожным.

Анна Сергеевна попыталась представить Петю с усами, но не смогла и засмеялась и заплакала оттого, что у нее такой взрослый сын.

Эта маленькая бледная женщина с большими темными глазами, в которых никогда не исчезало вопросительное, кроткое выражение, носившая старенькие, старательно перелицованные и подновленные платья и покупавшая себе, потому что дешевле, туфли для подростков, работала кассиршей в строительной конторе. За отца Пети, солдата, погибшего в 1942 году на Смоленщине, ей выплачивали пенсию. После гибели мужа она думала только о Пете.

Петя, круглолицый, стройный, русоволосый, был похож на отца. Анна Сергеевна даже находила, что у него и походка-то отцовская — такая же широкая и уверенная. А в последнее время ей стало казаться, что сын похож еще и на Олега Кошевого. Ведь не секрет, что любая мать без труда может вдруг открыть в своем ребенке те черты, каких в нем нет, но какие хочет видеть в нем она сама.

Раньше Анна Сергеевна считала, что решительно все знает о своем муже и между ними нет никаких тайн. Кажущееся отсутствие этих тайн делало ее счастливою. Теперь она думала, что между нею и Петей все хорошо и ясно, и заботилась о том, чтобы Петя никогда ей не лгал; сама же изо всех сил старалась скрывать от него и свои грустные мысли, и трудные случаи, которые иногда происходили с нею. Это она, по святой доброте матери, не считала ложью.

Жили они в длинной и узкой комнате в старом двухэтажном деревянном доме на окраине Москвы. Дом стоял в тупике, под окном росла высокая тощая акация, такая же ветхая, как и сам дом.

Как-то весною, это было уже после войны, один из сослуживцев, инженер, холостяк, неожиданно сделал Анне Сергеевне предложение. В конторе все находили, что этот инженер — очень интересный человек, прекрасный работник, много зарабатывает, и были удивлены, когда Анна Сергеевна отказала ему. Ее осуждали, говорили, что она поступила необдуманно, что выйти замуж в ее годы не так-то легко и что, если подвернулся счастливый случай, надо им воспользоваться и благодарить судьбу, а не разыгрывать из себя невесть что. К тому же у нее подрастает сын, надо подумать и о нем, существовать им на заработную плату кассирши да на пенсию нелегко, и живут-то они в очень скверных условиях, а у инженера прекрасная квар-

тира в новом доме на Ленинградском шоссе. И никто не знал, что она отказала инженеру только из-за Пети. Мальчику уже шел семнадцатый год, и она боялась, что сын осудит этот ее поступок, замкнется в себе и перестанет быть откровенным с нею.

Когда Петя получил аттестат зрелости, Анна Сергеевна подарила ему часы. Часы были очень хорошие, с черным циферблатом, светящимися стрелками и, как ей сказали в магазине, не пропускали воду. Петя принял часы с таким невозмутимым видом, с каким только человеку его возраста подобает принимать подарки, но когда мать отвернулась, он надел часы на руку и, приблизив их к глазам, долго следил, как движется по кругу, подергиваясь, секундная стрелка, а потом отстранил руку и стал любоваться часами издалека. При этом он улыбался.

Анна Сергеевна, довольная больше самого Пети, с гордостью сказала:

— К тому же они не промокают.

Петя укоризненно посмотрел на мать.

— Это, мама, часы, а не калоши.

— Так мне сказали в магазине.

— В магазине тоже иногда попадаются глупцы,— проговорил Петя и, горячась, стал объяснять, что называть часы непромокаемыми — значит быть невежественным человеком, надо говорить: водонепроницаемые. Это давно известно даже восьмилетнему мальчишке. У таких часов между крышкой и корпусом проложена резиновая прокладка, крышка навинчивается, а там, где проходит заводной маховичок, установлен масляный сальник.

Петя, разумеется, не знал о том, каких трудов стоило матери купить эти часы. Она ежемесячно откладывала от заработной платы, но часы тогда стоили очень дорого, раза в три дороже, чем сейчас, и у нее не хватило четырехсот рублей — огромной для нее суммы; пришлось обратиться в кассу взаимопомощи.

Когда в конторе узнали, для чего Анне Сергеевне потребовалось столько денег, все начали уговаривать ее не делать такого дорогого подарка, но у этой тихой, застенчивой женщины оказался вдруг настойчивый и упрямый характер.

— У мальчика огромное событие, и я должна сделать так, чтобы об этом дне у него осталась память на всю жизнь,— заявила она.

После школы Петя поступил в геологический, и ему

сшили студенческий мундир с золотыми вензелями на погонах, а Анне Сергеевне снова пришлось занимать для этого деньги и отказаться от некоторых необходимых ей вещей. Петя был очень красив в новом мундире, Анне Сергеевне казалось, что он похож на Лермонтова.

Став студентом, он держался независимо, начал курить папиросы, и вместо мальчишеской заносчивости в его характере незаметно появилось что-то насмешливое, покровительственное, и он уже часто заявлял матери: «Ты ничего не понимаешь», или: «Я уже, мама, не маленький»,— то есть говорил те самые слова, какие обычно произносят молодые люди, достигшие совершеннолетия и считающие поэтому, что только они способны дать правильную оценку всем случаям жизни.

Анна Сергеевна продолжала думать, что отсутствие тайн и секретов между женою и мужем, матерью и детьми лежит в основе благополучия каждой семьи, и считала большим своим достижением, что Петя от нее ничего не скрывает.

Но однажды мать увидела на столе, очевидно забытую Петей, фотографию незнакомой девушки и узнала, прочитав на обороте, что эта карточка еще год тому назад подарена «дорогому и навек любимому Пете от Веры».

С фотографии на Анну Сергеевну смотрело курносое и, как ей показалось, добродушное существо. Из приписки, сделанной на той же фотокарточке Петиной рукой, выяснилось, что эта незнакомая ей девушка теперь для Пети «дороже всего на свете». У Анны Сергеевны, когда она прочла все это, появилось такое чувство, будто у нее грубо отняли что-то необычайно дорогое для нее и никогда больше не вернут. И, по какой-то странной ассоциации, она подумала о том, что ей уже много лет и она вдруг оказалась непоправимо одинокой.

Она подумала о том, как трудно ей было воспитывать сына, и заплакала. Слезы подействовали на нее успокаивающе, и, наплакавшись, она, вздыхая, вложила фотографию в альбом, где хранились семейные снимки.

С Петей они не сказали о Вере ни слова, хотя сын, обнаружив карточку в альбоме, долгое время смущенно и виновато поглядывал на мать.

Ровно через год Петя сообщил матери, что они решили пожениться. И опять Анна Сергеевна побежала в кассу взаимопомощи и виновато и радостно рассказывала всем, что Петя женится. Ей советовали устроить свадьбу по-

скромнее, но она, искренне ужасаясь, всплескивала руками и, делая умоляющие глаза, говорила:

— Что вы, что вы? Как можно?! У мальчика такое огромное событие! Нужно сделать так, чтобы он помнил об этом дне всю жизнь!

После свадьбы Петя переехал жить к Вере, у родителей которой была прекрасная квартира, а мать осталась одна в своей длинной, узкой и неуютной комнате. Петя все реже и реже стал бывать у нее, потому что ездить нужно было чуть ли не через весь город, а они с Верой были очень заняты: готовили дипломные работы.

После института Верочка осталась в Москве, а Петя поехал с геологической партией в Узбекистан. Когда провожали Петю на вокзал, он казался очень расстроенным, а Анну Сергеевна обеспокоило, что Петин товарищ, тоже оставшийся в Москве, слишком предупредителен и учтив с Верой. Когда поезд ушел, он взял ее под руку и, смеясь чему-то, повел к выходу.

Три месяца она не имела от сына никаких известий. Когда ей становилось тревожно за Петю, она звонила Вере и, смущаясь, спрашивала о его здоровье. Вера отвечала односложно, и матери казалось, что невестке скучно разговаривать с нею о Пете.

Но вот наконец Анна Сергеевна получила от него письмо. Она прочла его вечером, придя со службы. На дворе стоял март, было пасмурно, сыро, с крыш капало, ноги у нее промокли, но она, даже забыв переобуться, поспешила к соседям со своей радостью.

А на следующий день, выучив письмо наизусть, говорила у себя в конторе:

— Это парадоксально — часы погибли под верблюдом! — И скоро все уже знали, что Петя живет в палатке, спит на кошме, что ему недавно пришлось срочно сделать изнурительный переход, а в пустыне Чрта-Гюль сейчас цветут маки, и если посмотреть с высоты птичьего полета, то покажется, будто по земле разбросаны полотнища кумача. Матери казалось все это необыкновенно значительным.

— Я ума не приложу, как он там будет без часов обходиться,— с беспокойством говорила Анна Сергеевна, и ей на самом деле казалось, что жить в пустыне без часов совершенно невозможно.

Она три раза звонила Вере, но не могла застать ее дома.

Застенчивая Анна Сергеевна принадлежала к натурам решительным и твердым. У нее были небольшие сбереже-

ния, которые она откладывала от заработной платы, чтобы купить себе демисезонное пальто. Теперь она пришла к выводу, к какому только и может прийти мать, что старое ее пальто не так еще плохо, и если летом вновь отдать его в чистку да сделать из старой бархатной шляпки к нему воротник, то его можно будет носить еще не один год. Эта мысль взволновала ее, и уже на следующий день в пустыню Чрта-Гюль была отправлена посылка с объявленной ценностью, а полторы недели спустя почта вручила эту посылку Пете. Он откупорил ящичек, вытряхнул из него вату и, недоумевая, извлек футляр с часами, у которых вместо ремешка была металлическая браслетка.

«Милый мальчик, я живу хорошо, ты обо мне не беспокойся. Вера тебя тоже очень любит»,— читал он, чувствуя, как этот маленький клочок бумаги, исписанный старательным почерком матери, словно раскаленный знойным пустынным солнцем, начинает жечь ему пальцы.

Он представил себе мать, маленькую, кроткую, рано состарившуюся и поседевшую, и ему стало невыносимо стыдно оттого, что так небрежен и невнимателен был к ней, думая только о себе, о Вере, и ждал письма только от Веры, и еще потому, что «непромокаемые» часы были целы. Он просто обменял их на другие и ради шутки, чтобы мать посмеялась, и еще потому, что решительно не знал, что ей написать, придумал эту забавную историю с верблюдом.

1954

ПАВЛА ПЕТРОВНА

Леониду Кудреватых

1

Агафоновский дом был деревянный, старый, но еще очень прочный и теплый, на высоком кирпичном фундаменте и с парадной дверью, которой, правда, хозяева давно уже не пользовались, а ходили двором, через калитку с тяжелым, словно колесо от тачки, кольцом щеколды.

Дом был выстроен дедом Павлом Агафоновым, ткацким мастером, и достался по наследству внучке Павле Петровне, названной Павлою в честь деда, которого все любили

и боялись и портрет которого, перерисованный художником городского кинотеатра маслом с фотографии, висел в столовой.

Теперь в доме жили только женщины: Павла Петровна, ее дочь Даша и тетка Лиза, все рослые, сильные, очень похожие друг на друга. Взглянув на порывистую восемнадцатилетнюю Дашу, можно было без ошибки сказать, что именно такою двадцать лет назад была ее мать, а глядя на тетку Лизу, особенно когда она, замахиваясь колуном за спину, колола дрова, думалось, что Павле Петровне так же, как и тетке, никогда не будет износу. Хозяйкой считалась Павла Петровна, от которой три года назад ушел муж, сотрудник городской газеты Алтухов, из-за того, как он объяснял, что жена отстала от него в развитии, а на самом деле просто нашел молоденькую и красивую. Тогда Павла Петровна еще работала прядильщицей на текстильном комбинате.

Сейчас была осень, в комнатах крепко пахло можжевельником, укропом и лавровым листом: тетка производила заготовки на зиму.

В воскресенье вечером в их дом, на огонек, забрел директор трикотажной фабрики Ломов, высокий, красивый, с пышной, уже тронутой сединою шевелюрой. Он и в гостях, и на торжественных вечерах всегда появлялся один, и в городе говорили, что с женой он живет не дружно, плохо. Ходили слухи, что жена изменяет ему, даже называли с кем. У него было два сына, старшему уже шел восемнадцатый год, он учился вместе с Дашей в текстильном техникуме.

Ломов сидел на диване и говорил слушавшей его Павле Петровне:

— Мне кажется, что я никогда еще по-настоящему не любил. То, что заставило меня жениться, была, к сожалению, лишь интересная игра в любовь.

Вошла тетка, постояла, подбоченясь, в дверях, послушала и вдруг сердито сказала:

— Своих мужиков мы, милый человек, в доме не держим и от табаку отвыкли.

Тетка прожила свой век легко, не задумываясь, от поклонников лет до сорока пяти отбоя не было, хотя замуж ее ни один из них так почему-то и не взял. Теперь старуха люто ненавидела всех мужчин без разбору.

Ломов смутился, торопливо смял папироску и, помолчав, собравшись с мыслями, продолжал:

— В молодости мы порою не столько влюбляемся, сколько внушаем себе, что влюблены, и в результате делаем глупости, которые позднее исправить уже трудно, во многих же случаях — невозможно.

Павла Петровна сидела за столом, подперев ладонью голову, и смотрела на него выразительным, жалостливым взглядом: она сочувствовала Ломову. А тетка ушла в кухню и стала громко объясняться сама с собой:

— Женатый человек, совести никакой нет, дома ребятишки подлеца ждут, а ему хоть бы что, к вдовым бабам норовит пристроиться, пиявка!

Дверь в кухню была распахнута, в столовой все это услышали, и Павле Петровне сделалось стыдно и страшно. Ломов тоже почувствовал себя неловко, умолк и, посидев с минуту, заторопился домой, говоря, что уже поздно.

Проводив его до калитки, Павла Петровна зашла в кухню и укоризненно сказала тетке:

— Ну зачем ты его так?!

— А ты меня не учи — как! Я видела, как он глазищито на тебя, словно гипнозист, таращил.

В соседней комнате засмеялась Даша, вышла из-за тесовой перегородки и спросила:

— Как кто?

— Гипнозист, который может всех подчинить себе, вот кто!

— Ну, какой же он, право, гипнотизер, странно даже,— сказала Павла Петровна.

— А в самом деле, зачем он приходил к нам? — перестав смеяться, спросила Даша.

— Приходил — значит, нужно было,— устало проговорила Павла Петровна.

— Между прочим, я сегодня опять отца видела.— Даша строго, испытующе посмотрела в глаза матери.— Просил поговорить с тобой.

Павла Петровна пошла к себе, сказав: «Давайте спать, уже поздно!» — хотя было всего лишь начало девятого.

Спать она не легла, а погасила свет, села у окна и стала смотреть на пустынную, освещенную луной улицу. Луна светила косо, из-за крыш и деревьев, и на той стороне кто-то, укрытый широкой, на пол-улицы, тенью забора, сидел на лавочке и курил; розовый огонек папиросы то затухал, то разгорался.

Павла Петровна глядела на этот огонек (она заметила его, еще когда провожала гостя) и думала о том, что гово-

рил ей Ломов. Жизнь его казалась неуютной, Ломова было жаль. Запах табака, оставшийся после него в комнате, как-то странно, непонятно волновал.

За дверью, в кухне, слышались голоса: разговаривали Даша и тетка. Тетка говорила сердито, глухо, словно в бочку: бу-бу-бу, а Даша возражала ей легко, и Павла Петровна знала, что дочь смеется над теткой. Потом хлопнула дверь на улицу. Тетка еще продолжала бубнить, а девушка уже появилась за воротами. Огонек папиросы поспешно описал в воздухе дугу, упал на дорогу, и из тени вышел к Даше юноша в кепке, сдвинутой на затылок, отчего показался Павле Петровне страшно отчаянным человеком. «Словно разбойник какой»,— подумала она, глядя, как дочь ее и юноша, взявшись за руки, медленно побрели вдоль улицы.

Павла Петровна долго сидела у окна и думала о том, что у Даши вот все просто и ясно, никому не придет в голову спрашивать ее, зачем приходит к ней молодой человек, а тетка и дочь почему-то считают своей обязанностью следить за ее, Павлы Петровны, нравственностью, и она не смеет сказать им, что это не их дело, что они не имеют права так относиться к ней и унижать ее.

2

Бывший муж Павлы Петровны, отец Даши, Алтухов, человек в прошлом не постоянный, один из тех, кого в простонародье называют волокитами, ветрогонами и юбочниками, продолжал работать в городской газете. В молодости он играл на гитаре, писал сердцещипательные стихи и посвящал их Павле Петровне.

Ты, любимая, дорогая,
встреть меня в городском саду.
Когда музыка там заиграет,
я по главной аллее пройду
и к ногам твоим упаду,—

писал он и действительно, когда делал предложение Павле Петровне, встал перед ней на колени, потому что был искренне влюблен.

Однако год спустя после женитьбы он, как говорили в городе, уже напропалую путался с другими женщинами. Павла Петровна делала вид, что ей ничего об этом не изве-

стно. Она боялась, что Алтухов бросит ее с ребенком, и плакала, когда его долго не было дома.

В начале войны он писал с фронта письма, кончавшиеся патриотическими стихами, а потом вдруг перестал высылать по аттестату, и о нем два года ничего не было слышно.

Вернувшись домой после войны, он объяснил свое молчание неисправной работой почты. Павла Петровна впервые, от радости, что Алтухов вернулся, заплакала при нем.

Война нисколько не изменила его. Он только полысел, и оказалось, что голова у Алтухова дулей.

Прошло несколько лет, и как-то однажды выяснилось, что у Алтухова давно уже есть вторая жена. Когда Павла Петровна сказала ему об этом, он признался:

— Да, скрывать уже нет смысла. Я ее люблю и ухожу от тебя. Надо полагать, что наша совместная жизнь не удалась. У нас с тобой слишком разные интересы.

Стоял май, окна были распахнуты, и в вечерней тишине, царившей на улице, было слышно, как далеко, в городском саду, играет духовой оркестр, а на той стороне улицы, на лавочке, тетка Лиза сердито говорит кому-то:

— Не люблю я этого, не люблю!..

И сердитый голос тетки, и звуки музыки, и то, что вдруг случилось сейчас с нею, слилось в ее сердце в такую невыразимую боль, что она даже не нашлась, что сказать Алтухову.

Через несколько месяцев в городском суде слушалось дело о разводе Алтухова с женой. Мотивы, которыми он объяснял расторжение брака, оскорбили Павлу Петровну, так как она заканчивала вечерний университет марксизма-ленинизма и справедливо считала, что ничуть не отстала от мужа, который все эти годы занимался в одном кружке и каждую осень начинал все сызнова.

Год спустя в жизни Павлы Петровны произошло еще одно очень важное событие: ее избрали председателем городского Совета.

Сначала ей было мучительно встречаться с Алтуховым, она терялась, не знала, куда смотреть, как держать себя. Однако годы сделали свое: обида улеглась, боль в душе притупилась, к Павле Петровне вернулось спокойствие, и то время, когда они были близки, когда она страдала, и мучилась, и любила его, стало казаться ей таким далеким, словно все это было не с нею, а с кем-то другим и ей лишь рассказали об этом.

Алтухов при встречах вел себя так, словно между ними ничего не произошло, был развязен, весел и по-прежнему говорил ей «ты». Впрочем, с недавних пор он стал смотреть на нее глазами нищего.

Скоро выяснилось, что он уже несколько раз приходил в техникум к Даше и просил ее поговорить с матерью о возможности примирения. Он задумал вернуться обратно, испытывая раскаяние и чувство вины перед женою и дочерью. Вероятно, годы давали себя знать. Алтухов, как говорят, перебесился, одумался. К тому же его вторая жена, работавшая машинисткой в местном радиовещании, хотя была и красива и молода, оказалась женщиной пустой, вздорной и бесхозяйственной.

3

Рано утром в кухне на столе стоял горячий самовар, а на нем парился чайник. Возле окна тетка шинковала капусту, хрустевшую у нее под ножом, как снег в морозный день под ногами. Светило нежаркое утреннее солнце. Увидев тетку, Павла Петровна вдруг вспомнила про Ломова. Какое-то приятное беспокойство охватило ее при этом воспоминании. Про Алтухова думать не хотелось.

И в комнатах и во дворе дышалось легко. Павла Петровна вышла за ворота и увидела: на старых, давно не стриженных липах, росших вдоль улицы, за ночь заметно прибавилось желтых листьев.

Чем ближе она подходила к главной улице, тем больше попадалось ей народу. Многих Павла Петровна знала по имени и отчеству, помнила в лицо, иных вовсе не знала, но все с нею здоровались.

— Здравствуй, Паша!

— Доброго здоровья, бабушка Степановна!

Ткачиха Аграфена Степановна Шутова, или просто бабушка Степановна, знает всех Агафоновых, начиная с деда, а про себя говорит: «Маленькая собачка до старости щенок»,— и все еще работает на комбинате.

— В отпуску, что ли?

— Какой там!..— Бабушка Степановна весело, словно от мухи, отмахивается от этого вопроса левой рукой (на правую, как на вешалку, надета корзинка с провизией).— Отгуляла уж давно. Я в вечерку нынче.

Вслед за ней Павле Петровне встречается молодая женщина. Лицо у нее свежее, здоровое, видно, только что умытое студеной водой прямо из колодца. Голубые глаза с откровенной вызывающей радостью глянули на Павлу Петровну. «Ух ты, какая счастливая!» — думает та.

— Здравствуйте! — кланяется женщина.

— Доброе утро!

Город Купавин, по которому идет сейчас Павла Петровна, не велик, но не так уж и мал. Возник он лет двести назад на большом среднерусском тракте, связывавшем Москву с Азией и Сибирью, и трудно сказать, к какому областному центру он ближе: к Ярославлю, Иванову или Владимиру. От старых времен в Купавине остались красивый белокаменный собор да торговые ряды с кирпичными столбами по фасаду, такими толстыми, что из каждого столба, наверное, можно выложить целую стену. В соборе теперь музей, в торговых рядах — гастрономы, бакалеи и промтовары, вместо тракта — широкая асфальтированная магистраль, по которой через город днем и ночью идут автомобили и автобусы.

Была раньше в городе льноткацкая фабрика. Теперь на ее месте стоят корпуса комбината. Построены еще фабрики: трикотажная и шорная.

Каждый рабочий день Павлы Петровны начинается с чтения писем от жителей города. Письма разные, непохожие одно на другое и по чернилам, и по тому, как выражена в них мысль. По тому, как оно написано, то деловито-сухо, то робко-просительно, то гневно, требовательно, из слов, которые были пущены в дело, Павла Петровна без труда получает представление о характерах своих корреспондентов.

Письма она читает не спеша и, как это свойственно всем простым добрым женщинам, тут же, как говорят, переживает их.

«У меня родился пятый ребенок,— пишет рабочий трикотажной фабрики Неверов.— Квартира, в которой я помещаюсь с семьей, стала для меня совершенно мала, я прошу срочно увеличить жилплощадь и решить этот вопрос незамедлительно на исполкоме». Павла Петровна, читая, думает, кто же у него родился — мальчик или девочка? Ей даже обидно становится, что Неверов не написал об этом.

Потом она думает, какой он строгий и категоричный мужчина, этот отец семейства Неверов: «совершенно ма-

ла», «срочно увеличить», «незамедлительно решить». Не просьбу, а приказ написал. Он, наверное, и на фабрике такой: долго разговаривать не любит, все делает с ходу, «незамедлительно».

Павла Петровна размашисто, неразборчиво пишет в углу неверовского заявления: «Нач. жилотдела. Для проверки на месте и представления материалов на комиссию».

В другом заявлении какая-то Анна Шилова, проживающая по Садовой улице, в доме девятнадцать, просит, чтобы ей разрешили опеку над десятилетним племянником-сиротой Олегом.

Садовая улица такая же окраинная, как и та, на которой живет Павла Петровна. Там стоят деревянные домики с палисадниками, по дороге, заросшей травой, бродят куры. Раньше, когда Павла Петровна была еще девчонкой. там жили кустари-сапожники, шили всей улицей сандалии и возили их продавать в областные города. Теперь сапожники объединились в артели, а иные переквалифицировались и ушли работать на комбинат и на фабрики. Шиловы, конечно, из сапожников, по фамилии видать. «Кто этому Олегу рубашки сейчас стирает, кормит его? — думает Павла Петровна, прочитав письмо Анны Шиловой.— Надо будет поскорее узнать про эту тетку Анну — где работает, как живет? А то бывает и так, что ребенка лучше устроить в детском доме, чем у родной тетки. Попадется такая, как Лиза, не обрадуешься».

А писем много. Тут и просьба родительского комитета четвертой школы о восстановлении вокруг школы чугунной ограды, и докладные записки о ходе ремонта жилищ и заготовке картофеля... В полдень, только успевает она разобрать корреспонденцию и переговорить с некоторыми работниками горсовета, раздается телефонный звонок. Зовут на текстильный комбинат, на митинг по случаю досрочного завершения комбинатом десятимесячной программы.

4

На улице встретился Алтухов. Приподняв шляпу, просительно глядя на Павлу Петровну, сказал:

— Здравствуй.

— Здравствуй,— равнодушно ответила она.

— Не на комбинат ли случаем?

Павла Петровна кивнула, проходя мимо.

Алтухов без приглашения сел вслед за ней в машину.

Павла Петровна сказала шоферу:

— Поедем по Садовой.

Когда машина тронулась, Алтухов тихо спросил:

— Тебе Даша говорила обо мне?

— С чего бы это? — грубо и громко сказала Павла Петровна и насмешливо, с отчуждением поглядела на него.

— Неужели ты не веришь, что я искренне хочу вернуться к тебе?

— Да ты у меня спроси сперва, я-то хочу, чтобы ты вернулся?

— У нас дочь, ради нее.

— Э, ты раньше бы думал об этом! Даша уже взрослая.

— Я обращаюсь к твоей человеческой и партийной совести.

— Перестань! — морщась, словно от зубной боли, сердито, почти зло сказала Павла Петровна.

Сейчас она чувствовала лишь то, что рядом с нею сидит истрепанный жизнью, изолгавшийся, пошлый человек, причинивший ей много горя. Кроме брезгливости и жалости, она ничего не испытывала к нему. «И этот человек когда-то ложился рядом со мною в постель, я сама целовала его! Боже мой!» — думала Павла Петровна, и то, что у нее своя жизнь, новые отношения к жизни, свои взгляды на жизнь, совершенно не такие, какие были раньше и теперь у него,— все это давало ей право смотреть на Алтухова с ощущением собственного превосходства, собственной нравственной чистоты.

— Только теперь я понял, насколько плохо и несправедливо относился раньше к тебе,— вновь заговорил Алтухов.— Я уже не молод, мне нужен покой, а этот покой может дать мне лишь моя семья: ты, дочь.

Павла Петровна, слушая его, смотрела в боковое стекло. У нее вдруг мелькнула мысль: «А если он говорит правду, что тогда? Он сказал «моя семья». Значит, он тоскует по дому, ему тяжело без нас. Мне ведь тоже нелегко одной, и Даша еще».

Меж тем они въехали на Садовую улицу, и Павла Петровна внимательно оглядела маленький, в три окошка, выкрашенный зеленой краской домик под номером девятнадцать. Тетка Шилова, видать, была опрятной хозяйкой.

— Ты не знаешь, кто такая Анна Шилова? — обратилась она к Алтухову.

Тот усмехнулся, укоризненно покачал головой:

— У тебя так и осталась эта скверная привычка пользоваться сплетнями.

— Да не о тебе речь,— рассмеялась она.

Больше они не сказали ни слова до самого комбината.

5

Ломову принесли повестку о том, что вечером состоится заседание исполкома, и он вспомнил о Павле Петровне. Это было как раз в тот момент, когда она и Алтухов ехали в автомобиле.

Ломов повертел повестку в руках и смущенно улыбнулся. Смущение это было вызвано тем, что он неожиданно для самого себя зашел вчера к Павле Петровне и столь же неожиданно разоткровенничался, а тетка отчитала его, как мальчишку.

Познакомились они с Павлой Петровной два года назад, когда ее избрали председателем горсовета, а его — депутатом, но в доме у нее он был вчера первый раз: гуляя по городу, случайно забрел на окраинную улицу, увидел Павлу Петровну в окне и зашел. И не мог не зайти: Павла Петровна давно уже казалась ему женщиной необыкновенной. Ему нравилось, как она ходит, как говорит, как держит себя на людях, как одевается, и даже та грубоватая фамильярность, которую она допускала в обращении с людьми, нравилась ему и, казалось, шла к ней. И в доме у нее было очень уютно, просто, располагало к откровенности, и не хотелось уходить, если бы не тетка.

И когда он шел от нее по тихим, освещенным луною улицам, то думал о том, что встреть он Павлу Петровну в молодости или будь сейчас холостяком, то непременно добился б, чтобы она стала его женой, и это увлекало его. Ему казалось, что лучше, интереснее этой женщины он никого не встречал, и было непонятно, как мог бросить ее Алтухов. «Дурак! — неприязненно думал он о муже Павлы Петровны.— Есть же дураки на свете!..»

Дома были только мальчики; старший помогал брату учить уроки. Жена, как обычно, играла где-то в преферанс. Он прошелся по комнатам, и ему стало неприятно и душно оттого, что у них в квартире даже от абажура пахло духами.

6

Люди собирались на митинг возле ткацкой фабрики, в березовой роще над оврагом, где до революции проводились маевки, а теперь была устроена летняя эстрада. Березы стояли все в желтых листьях.

Павлу Петровну окликнула бабушка Степановна:

— Иди-ка, иди к бабам, поговори с нами. Что редко бываешь у нас? Недосуг?

Павла Петровна села рядом с нею на скамейку; их сейчас же окружили работницы и заговорили с той грубоватой полушутливой иронией, с какой обычно разговаривают между собой бойкие женщины:

— Почаще бы наведывалась, председательша!

— Что вы, бабоньки! Она же у нас важная персона, только на митинги приезжает!

— Секретарша-то у нее возле дверей сидит не хуже нашего вахтера: коли пропуск не заказан, сразу от ворот поворот.

— А, батюшки! В бюрократки записалась!

— А что, бабы! Мы ее выбрали, мы ее и назад можем воротить!

— Смотри, Павлуха, не зазнавайся!..

Тут все были старые знакомые — не один год проработали вместе с ней на комбинате. Павла Петровна отшучивалась с тем же бойким озорством, но в словах работниц было немало правды, это и смущало ее, и сердило слегка, и было такое ощущение, будто ее пощипывают со всех сторон, обернуться не успеешь. Лица у всех веселые, а больновато.

— Ну хватит, бабы, клевать,— угадав ее состояние, строго сказала бабушка Степановна.— Нюша, поди-ка сюда,— ласково позвала она.— Поди, не бойся, не укусит тебя председательша.

Работницы расступились, и вперед несмело вышла та самая молодая женщина с румяным и счастливым лицом, которую встретила утром Павла Петровна.

— Видала, пава какая? — обратилась бабушка Степановна к Агафоновой.— Ты вглядись-ка в нее да поздравь: медовый месяц у бабы. Гляди-ко, от любви-то, как новенький пятиалтынный, блестит вся.

— Уж вы, бабушка Степановна...— покраснев и от это-

го став еще свежее и радостнее, смущенно прошептала Нюша, глядя под ноги.

Многие сверстницы Павлы Петровны смотрели на нее с завистью. Все молчали. Павла Петровна, поняв смысл и этого молчания, и этих взглядов, почувствовала, что у нее на душе при виде чужого счастья стало тоскливо.

Одна из женщин, вздохнув, промолвила:

— Одно слово, бабье царство у нас!

И тут опять с озорством заговорили вокруг:

— Ты бы хоть через горсовет мужиков организовала нам!

— Гляди, какие здоровые все!

Работницы засмеялись, засмеялась и Павла Петровна. Печаль и какая-то неясная обида на ту мучительную несправедливость, которая случилась в ее жизни и виною которой был Алтухов, не покинули ее. У работниц, так горько шутивших с нею, мужья были убиты на фронте. Но ее муж, Алтухов-то, жив! Он только что умолял простить его. Если она ему разрешит, он вернется, и тогда эта боль в душе исчезнет и она будет счастлива. Будет ли?..

— А нет ли, бабы, среди вас Анны Шиловой? — спрашивает она, чтобы отогнать встревожившие ее мысли.

— Господи,— говорит бабушка Степановна, с укором глядя на нее.— Так вот же она, Нюша эта... Что уж ты, право!..

«Ах, вот какая ты, тетка Шилова! — думает Павла Петровна, глядя на Нюшу и вспоминая опрятный домик на Садовой улице.— Счастливая!» И тут опять мысленно возвращается к себе и почему-то вспоминает Ломова, как он сидел вчера у нее и жаловался на судьбу.

— Ты, Нюша, зайди завтра ко мне,— говорит она, поднявшись, так как была пора идти в президиум.— О твоем племяннике разговор будет.

А когда она выходит на трибуну, никому из собравшихся невдомек, что эта властная, сильная женщина, член бюро горкома партии, хозяйка города, говорящая сейчас о непрерывном росте культуры и благосостояния советских людей, о повышенных требованиях, предъявляемых ими к текстильщикам, смелый, зычный голос которой слышен в самых задних рядах без всякого микрофона, только что с тоской, искренне завидовала чужому счастью.

7

Вечером было заседание исполкома. Депутаты Совета, члены исполкома, заведующие отделом горсовета,— их собралось человек тридцать,— сидели в кабинете Павлы Петровны. В приемной и в коридоре толпились вызванные «на исполком». Тут были и домохозяйки, и прорабы, и юристы, и управляющие домами, и работники торговли. По тому, как быстро таяло количество людей в приемной, можно было судить, что заседание идет полным ходом и Павла Петровна, как всегда, умело и быстро добирается до сути дела.

Ломов сидит невдалеке от нее, она постоянно чувствует его присутствие, и это кажется ей странным, беспокойным. «Что это со мной? — думает она.— Ведь никогда не было этого. Я никогда не думала — здесь ли он, а сейчас думаю. Почему? Неужели влюблена? Мне приятно, что он здесь, я чувствую, когда он смотрит на меня. Не хорошо это! Люди увидят, догадаются. Пусть догадываются! Разве мне запрещено любить?» И она невольно оглядывается на Ломова, встречается с ним глазами и чувствует, что его глаза — карие, умные, чуть прищуренные — что-то спрашивают у нее, выпытывают.

— Пустяки,— говорит высокий старик с бесстрастным лицом католического попа, заведующий сапожной артелью, вызванный на заседание потому, что не выровнял тротуар после прокладки канализации.

— Пустяки, говорите? — задумчиво произносит Павла Петровна.— Граждане будут ходить по вечерам, рвать обувь — это пустяки?

«Нет, это не пустяки, не строй из себя девочку, он женат».— «Но он не любит свою жену».— «У него дети».— «А у тебя Даша. Та ведь не посчиталась, взяла да и развела Алтухова с тобой».— «Пусть говорят, что хотят».— «Дура, ты же председательша, ты вся на виду, бестолковая дура!»

— Дополнительные помещения под овощи найти не удалось. Все занято,— докладывает заведующий горторготделом.— Я, как ищейка, бегаю по городу. Прошу освободить меня от занимаемой должности, вот заявление.

«А если бы ты была не на виду, можно было бы и любовника завести?» — «Не любовника, а мужа. Он стал бы мужем, моим мужем, и перестал бы жаловаться на судьбу».

— Заявление свое вы заберите,— говорит она,— и выполните решение исполкома. Вот когда вы зимой начнете продавать трудящимся мороженую картошку, мы вас и без заявления освободим.

А в кабинет, как хор на сцену, толпясь и толкаясь в дверях, входит большая группа мужчин и женщин: заведующие столовыми. Последний вопрос — о подготовке столовых к работе в зимних условиях.

— Рассаживайтесь,— приглашает Павла Петровна.— Давайте начнем с текстильного комбината.

Поднимается, как запевала, полная пожилая женщина и шипит:

— Прошу прощения за мой голос, я простудилась, мы только приступили к ремонту.

Павла Петровна строго смотрит на нее.

— Комбинат план досрочно выполнил, а вы столовую никак не подготовите к зиме. Что вы работницам скажете, когда они из-за вашей бесхозяйственности так вот, гусями шипеть начнут?

«А ты что работницам скажешь, когда они спросят, почему Ломова от жены и ребятишек хочешь отнять? Что ты скажешь Даше, тетке? Скажешь — «люблю»? Это что же — мерило всему на свете, твое «люблю»? Люблю — и горя мало? Своего мало, хочешь, чтобы и у других было?»

— Тут, кажется, пойдет разговор о руководителях,— сердито говорит она.— О руководителях, которые не хотят заботиться о людях, не думают о других.

— Партком, завком,— растерянно шипит женщина.

— Да что вы все сваливаете на партком да на завком! — повышает голос Павла Петровна.— Вы же коммунистка! Где ваша партийность, принципиальность ваша?

«А твоя где? Вот если бы ты не была коммунисткой, председательшей, а просто работницей, просто бабой, тогда как бы ты поступила?» — «А вот так! Как сейчас, так и тогда».

Алтухов сидит тут же. Он заметил, что его бывшая жена и Ломов уже несколько раз обменивались взглядами. Смысл этих взглядов ему ясен. «Теперь я знаю, почему ты не хочешь, чтобы я вернулся,— думает он, с волнением наблюдая за Ломовым и Павлой Петровной.— Тебе свобода нужна. Болтаешь о партийности, о принципиальности, а сама любовника подыскала. Хорошо, нечего сказать!»

Когда заседание исполкома было окончено и люди стали расходиться, Павла Петровна тихо сказала Ломову, сама не зная для чего:

— Останьтесь на минутку.

Они стояли возле стола и молчали, ожидая, когда Алтухов, не спеша уходивший последним, закроет дверь. Павла Петровна хмуро глядела ему в спину.

Оставшись наедине с Ломовым, не зная, о чем говорить с ним, чувствуя, что краснеет, как девочка, она спросила:

— А у вас столовую ремонтируют?

— Мы давно закончили.

Помолчали.

— Пойдемте, я провожу вас,— сказал Ломов.— Домой я не спешу.

Павла Петровна с грустью посмотрела на него и отрицательно покачала головой.

— Нет, это уж ни к чему. Я одна люблю ходить по вечерам.— Она сказала все это медленно, как бы подбирая слова, и Ломов по интонации ее голоса понял, что это неправда, но что этой неправдой уже все сказано. Он вспомнил сердитую тетку Лизу, Дашу, свою жену, сыновей, вздохнул и сказал:

— Да, это верно. Простите, пожалуйста, я совсем забыл...

На крыльце, молча пожав руки, они разошлись в разные стороны, понимая, что никогда больше ни слова не скажут друг другу о том, что неожиданно, как-то само собой, зародилось, затеплилось было в их душах и могло бы привести их к большому, настоящему счастью, к радости, но что сейчас для них это невозможно.

Дома все было по-прежнему. В комнатах царил полумрак, свет горел только в кухне, пахло можжевельником, чесноком, лесной прелью — тетка солила грибы. Даши дома не было, ушла в кино.

— Ужинать садись,— сказала тетка.

— Не хочу.

— Умаялась?

— Да.

— Вот как у нас,— начала сердито причитать тетка,— вот как живут, о себе подумать некогда, головы садовые!

Павла Петровна, чувствуя себя разбитой, измученной, прошла в свою комнату, разделась, легла в постель. «Что делать? Что делать?! — думала она.— Неужели так прой-

дет вся жизнь? Ведь я скоро состарюсь, так и не испытав радости. Вернуть мужа? Зачем? С ним радости тоже не будет. Вернуть — значит солгать самой себе, дочери, тетке, людям. Для чего же лгать?»

Подошла тетка, постояла возле постели и уже мягким, участливым голосом спросила:

— Тяжело, председательша?

Тикали часы за стенкой, луна, как и вчера, светила прямо в окна. Мимо дома кто-то не спеша прошел, и Павла Петровна, вслушиваясь в удаляющиеся шаги, подумала, что это Ломов, которому нечего торопиться домой, одиноко ходит по улицам, как ходил в воскресенье, прежде чем забрести в их дом.

— Ну, что ты стоишь? — сердито, едва сдержав себя, чтобы не закричать, сказала она тётке.— Оставь ты меня в покое!

— Жестокое у тебя сердце, Павла. Трудно тебе на свете, бог с тобой,— ответила тетка и, вздохнув, шаркая ногами, пошла в кухню, ворча: — Не так мы раньше жили, не так — проще...

«Да, у тебя все было проще, ты бы не стала размышлять,— подумала Павла Петровна, вспомнив теткину «легкую» жизнь, ее поклонников.—Пусть будет трудно, но я не хочу жить по-твоему, я не имею права жить, как ты...»

Настоящая жизнь была гораздо сложнее, мучительнее и интереснее.

1954

В ПОЛОВОДЬЕ

Нюша Полозкова, работница братцевской ситценабивной фабрики, совсем недавно и почти незаметно для знакомых ставшая из угловатой, застенчивой и неловкой девчонки-подростка грациозной, миловидной девушкой, однажды апрельским утром, идя на работу, почувствовала, что больна. Правда, болезнь уже давно подбиралась к ней то в виде головной боли и легкого жара, то в виде насморка и озноба, но Нюша была девушкой здоровой, веселой, подвижной, для которой все нипочем, любила плясать, грызть крепкими белыми зубами каленые

семечки и не поддавалась болезни. Но теперь девушка почувствовала, что больше бороться с нею не в силах, и нахохлилась. Нюшу лихорадило, щеки у нее пылали, а голова стала тяжелой, неудобной, и хотелось прислониться ею к чему-нибудь и закрыть в изнеможении глаза. Глаза у нее были синие, живые, свежие и чистые, словно после дождя, «присушившие» немало парней.

«Присушить» — значит заставить кого-либо крепко полюбить тебя, чтобы этот человек не ел, не пил, а только и знал, что думал о тебе, на других девчат и не смотрел бы совсем, будто их и на свете нет, а для тебя был бы готов, как говорят, в лепешку расшибиться или поперек канавы лечь, чтобы ты прошла и туфелек своих не замочила. Вот что значит по-нашему «присушить» парня!

Однако ни один из парней Нюше не нравился так, чтобы его можно было полюбить, пока не появился в Зареченском совхозе тихий, малоразговорчивый молодой человек по фамилии Баскаков, новый механик.

На этом-то человеке и суждено было остановиться Нюшиному выбору. Нюше нравилось, что он не пьет водки, что держится среди парней с достоинством, что любит ее, что хорошо одевается, что он очень скромный и, даже когда берет под ручку, просит разрешения. Словом, решительно все в Баскакове ей нравилось, и теперь уж она сама «присохла» и была готова хоть на небо лезть за ним следом или сапоги ему мыть при всем народе. Она гордилась своей любовью, и ей доставляло удовольствие, что все знают и видят, как она его любит. В то же время она до смерти боялась, что может надоесть ему и он ее разлюбит. Чтобы видеть доказательства его любви и чтобы показать ему, что она в нем не так уж и нуждается, и тем самым заставить его любить еще больше, Нюша прибегала к хитростям. Вдруг она ни с того ни с сего становилась печальной, на все его вопросы — «Что с тобой?» — отвечала с той многозначительной неопределенностью, за которой якобы скрывается нечто очень серьезное, вздыхала, то есть делала все, чтобы казаться несчастной, а сама зорко наблюдала за выражением его лица. В другой раз она придумывала знакомого лейтенанта, который еще с детства влюблен в нее и теперь просит выйти за него замуж, но она не знает, как ей быть, и просит Баскакова посоветовать ей. Баскаков принимал все ее выдумки всерьез: смотрел на нее ужасными глазами и, взъерошив волосы, клялся, что ему без Нюши не жить, что он убьет и себя,

и Нюшу, и лейтенанта. В те минуты ему даже не приходило в голову, что он говорит неправду,— если Нюша действительно выйдет за лейтенанта, единственное, что он сможет сделать, так это заплакать, да и то тайно от людей.

Прежде чем попасть в совхоз, Баскаков учился в техникуме, а после целый год работал в гараже большого завода и поэтому теперь считал себя опытным механиком. Ему уже шел двадцать второй год, и он тоже, как и Нюша, был влюблен первый раз, и любовь приносила ему столько же радости, сколько и мучения.

Он воспитывался в семье, где боялись смелых поступков, громких слов, резких движений, даже когда передвигали мебель, то старались сделать так, чтобы она не очень гремела, так как соседи могли подумать что-нибудь плохое. Мать то и дело восклицала: «Ах, какое беспокойство! Что теперь скажут люди!» И Виктор со временем, вместо того, чтобы уважать мнение людей, стал его бояться и уже заботился не о том, правильно или неправильно он поступает, а о том, чтобы не вызвать своим поступком чьего-нибудь осуждения. Чем больше он любил Нюшу, тем больше любовь требовала от него беспокойства, и это было мучительно.

Он думал: «Неужели нельзя любить так, чтобы это давало лишь радость и не сопрягалось с переживаниями, неудобствами, страданием?» По образу своего мышления и складу характера он был готов отказаться от такой трудной любви, но уже не мог этого сделать. Расстаться с Нюшей было выше его сил.

Несколько дней тому назад они собрались в кино. Когда Баскаков пришел на свидание, Нюша опять вздумала испытать его чувства и не вышла к нему, а, спрятавшись за занавеску, стала наблюдать в окно, как он ходит взад-вперед по той стороне улицы и то и дело поглядывает на часы, для чего всякий раз, прежде чем поднести руку к глазам, вскидывает ее над головой, чтобы рукав съехал с часов, и получается, что он беспрестанно голосует или просит слова. Потом Нюша выслала ему с младшим братишкой записку: «Виктор! У меня болит зуб, так что, пожалуйста, развлекайся один, а я буду мучиться одна». Нюша думала, что, прочтя записку, Баскаков станет добиваться, чтобы она вышла к нему хотя бы на минутку, а он, ссутулясь, пошел прочь, и, Нюша, у которой никакой зуб не болел, с разочарованием смотрела ему вслед, и до сих пор

она не знает, поверил он ей или догадался, что это неправда.

Утро было теплое, но туманное, и даже в пяти шагах и люди, и дома, и деревья, и заборы казались как бы закутанными в марлю. Туман, плотно забивший собою весь воздух, скрадывал звуки, и все в это серенькое весеннее утро казалось неслышным и притихшим. Только если остановиться и прислушаться как следует, уловишь не то в небе, не то под ногами чьи-то вздохи, шорохи, и тогда с неожиданным волнением начнет казаться, что на земле в эту минуту, должно быть, совершается нечто многозначительное, преисполненное таинственности и торжества.

Так оно и было на самом деле: возле Братцева на реке тронулся лед. Зареченский совхоз, силосные башни и ветряк которого шишаками торчали на том берегу над крышами и деревьями, но которые сейчас из-за тумана не были видны, оказался отрезанным половодьем. Моста между Братцевым и совхозом не было, и зимою зареченцы ездили в город по льду, а в другие времена года переплывали реку на лодках и на пароме.

Чтобы попасть на фабрику, Нюше надо было перейти железнодорожные линии. Сейчас, заболев, она стала такой равнодушной ко всему, ей так не хотелось и в то же время трудно было сделать лишнее движение, что она решила не подниматься на перекинутый через линию мост и потом спускаться с него, а идти прямо по путям, где между пропитанными мазутом шпалами, как в корытцах, стояла чистая талая вода, набежавшая сюда за ночь. На путях, где всегда бывает много вагонов, стоящих неподвижно или перекатываемых с места на место маневровыми паровозами, сегодня было пусто и тоже тихо, и когда мимо Нюши, вырвавшись из тумана и обдав ее жарким шипением и грохотом, промчался паровоз и за ним грузно прошли, слегка приседая на стыках рельсов, тяжелые вагоны дальнего следования, ей показалось, что и паровоз, и вагоны, и весь этот катившийся вместе с ними грохот словно вырвались из-под земли, и она не сразу поняла, что еще мгновение — и она была бы задавлена поездом.

Мысль о том, что она могла погибнуть, пришла к ней какой-то неясной, словно окутанной туманом, как и все в это утро, и нисколько не обеспокоила ее. Придя на фабрику, она устало и равнодушно сказала:

— А меня паровозом чуть не сшибло.

Вокруг все заахали, стали спрашивать, как это могло случиться, но Нюша, вместо того чтобы пуститься в объяснения, сидела на табуретке и молчала, тупо глядя на свои коленки.

Кто-то крикнул:

— Да ты больна, что ли? Что с тобой?

— Ничего,— словно во сне, сказала она и хотела подняться, но сил уже не было. Ее подхватили под руки и повели в амбулаторию.

Час спустя она уже была в больнице, и когда узнала, что у нее крупозное воспаление легких и она его две недели переносила на ногах, то спросила: «Да неужели?» — а потом долго лежала, неподвижно и строго уставясь в потолок запавшими глазами. Ей представилось, что она теперь умрет и будет лежать в гробу, а мама и подруги будут вокруг гроба плакать и Виктор Баскаков, неудобно держа в руке фуражку, понесет вместе с ее отцом гроб на кладбище. Ей стало жалко себя, она заплакала, думая, почему именно с нею должно все это случиться, если она никому ничего плохого не сделала, все время была веселая и горячо любила Виктора? После этого ей уже стало казаться, что Виктор ее не любит, что он будет даже доволен ее болезнью, так как она развяжет ему руки. Подумав так, Нюша заплакала еще сильнее, и сестра дала ей лекарство, чтобы успокоилась, и она скоро в самом деле успокоилась и заснула.

Вновь Нюша проснулась уже вечером, когда измеряли температуру. У нее было 39,6. К ужину она не притронулась, но уже больше не плакала, а молча смотрела в потолок и все думала о том, что Виктор не любит ее, потому что если бы любил, так давно пришел бы навестить. Еще будучи в фабричной амбулатории, она попросила одну из подруг позвонить в Заречье и сказать, что ее кладут в больницу. Но вот уже и сумерки закрались в палату, а Баскакова все не было.

Ночь она провела плохо. То забывалась в коротком, беспокойном сне, то вдруг чувствовала, что лежит с открытыми глазами, и эти переходы в сон из того состояния, которое нельзя даже назвать бодрствованием, а только бездумным, трудным лежанием с неподвижными мыслями и открытыми глазами, происходили мгновенно и как бы вне всякой связи с нею самой, словно то, что была она,— это одно, а то, что спит она или не спит,— это уже относится совсем к другому, а не к ней.

Утром у нее температура не только не снизилась, как того ждали врачи, а, наоборот, поднялась еще на два деления. Она, как говорят, спала с лица, нос ее заострился, и кончик его, словно залоснившись, стал матово поблескивать, а губы от прихлынувшей к ним жаркой крови были такими яркими, полными и сочными, какими даже от рождения у нее не были, и стали шелушиться. Ее состояние обеспокоило врачей и смутило их, так как весь ход болезни и те меры, которые были приняты для ее лечения, говорили, что температуры быть не должно. На все их вопросы Нюша нехотя отвечала, что у нее ничего не болит, и по ее недовольному лицу было видно, что она не хочет, чтобы ее расспрашивали, и с трудом сдерживает себя, чтобы не сказать это. Разговаривая с врачами, она даже не поворачивала в их сторону головы и не открывала глаз.

Нюша отвечала правду: у нее действительно ничего не болело, ей только хотелось быть одной и ни с кем не разговаривать, потому что как только начался день и все проснулись, она тоже сделала над собой усилие, чтобы выйти из того неопределенного состояния, в котором пребывала ночью с открытыми глазами. И как только она сделала это, мысли ее стронулись с места, и она опять с волнением и беспокойством стала думать о том, что Баскаков разлюбил ее, и ей снова стало до слез жалко себя, только уже не потому, что она может умереть, а потому, что Баскаков не любит ее. Занятая своими мыслями, она ничего не замечала вокруг. Ей было безразлично, что в палате солнечно и что больные, которых было немного и которые все выздоравливали, весело переговариваются. Ей даже пришла мысль, что лучше бы ее вчера задавило поездом,— она бы не мучилась так, потому что еще не знала, что Баскаков не любит ее.

Так она лежала и все думала, а врачи не могли понять, что происходит с нею, почему никакими лекарствами не удается «сбить» у нее температуру.

Когда Виктору Баскакову сообщили, что Нюшу отвезли в больницу, он даже побледнел от охватившего его вдруг волнения. Он бросил работу и стал собираться в Братцево. Ему казалось, что от того, как скоро он появится в больнице, зависит Нюшино выздоровление.

По реке, теснясь, толкаясь, шурша, хрустя и всплескиваясь, плыли льдины. На берегу, возле наново выкрашенных лодок, сидел перевозчик, пьяница и бездельник дядя

Степан, или, как в совхозе вслед за директором все звали его, показывая этим свое пренебрежение, товарищ Стива. У Стивы была рыженькая бороденка испанского герцога, одет он был в полушубок, рваный треух и валенки с большими, имевшими тупую форму лаптей, калошами из красной резины.

Виктор спросил, не сможет ли Стива перевезти его сейчас на другой берег. Стива почесал бороденку, поглядел, сощурясь, на реку, потом на свои калоши, будто плыть предстояло не в лодке, а в одном из этих дредноутов, и спросил:

— А зачем?

— Там, понимаешь, девушка одна тяжело больна,— смутился Виктор, подумав, что для Стивы может показаться странным, что он в половодье просит перевезти его через реку только потому, что в Братцеве больна Нюша. Ведь поездка через реку сопряжена с немалым риском, и Стива вправе не только отказать ему, но и осудить его за это.

Стива понимающе сощурился:

— Твоя?

Этот вопрос еще больше смутил Виктора. Он считал, что Нюша «его», но считал так в мыслях, боясь и не желая, чтобы кто-нибудь знал об этом, так как, по его мнению, если люди узнают о его любви, будет стыдно и неудобно.

— А чего,— сказал Стива, не дождавшись его ответа.— Я, когда молодой был, веришь, нет ли, каждый день по пятнадцати километров к своей крале пешком делал. Семь с половиной туда, семь с половиной сюда. Раза два в такой буран попадал, чуть не замерз, а она, стерва, взяла да за другого и вышла. Я с того дня пьянствовать стал наудалую, да таки остался неженатым... Я тебя понимаю, мы сейчас мигом лодку спустим и, бог даст, переплывем, а даст — и потонем. Это уж как пить дать, вон что делается!

«Потонем,— пронеслось у Виктора в голове.— А я не умею плавать. Почему Стива так спокойно говорит об этом? — Он уже со страхом и отвращением глядел па реку.— Не безрассудство ли это — рисковать своей жизнью, когда у Нюши там родные, за нею ухаживают врачи и она, конечно, вне опасности!..» А Стива тем временем поднялся, для чего-то по-солдатски подпоясал полушубок ремнем, который снял со своих штанов. Треух его был заломлен набекрень, в руках он держал багор. Он тоже глядел на

реку, только не со страхом, а с усмешкой. Вдруг он спросил:

— А ты через мост не пробовал?

В семнадцати километрах от совхоза был мост.

«Через мост! Конечно, через мост!» — подумал Виктор, обрадовавшись тому, как удачно он избежал опасности.

— В самом деле, я поеду через мост,— поспешно сказал он.— Возьму машину и поеду. Сейчас же.

Стива с разочарованием поглядел на него и стал распоясываться. Ему было досадно, что Виктор отказался от поездки на лодке. Стива любил отчаянные поступки, да и на водку можно было хорошо заработать.

Виктор выехал к мосту на директорском вездеходе. Но дорога оказалась непролазной. Еще вчера по ней прошло три бензовоза, и теперь вездеход швыряло из стороны в сторону по колдобинам, он буксовал, плелся со скоростью вола. Шоферу, обычно веселому парню, теперь с ожесточением, молча хмурившемуся, стоило больших трудов удерживать вырывающуюся из рук баранку, и он то и дело подключал вторую ведущую ось. Как только они выехали за ворота совхоза, Баскаков стал жалеть, что поехал на машине. Ему казалось, кто шофер молчит и хмурится потому, что презирает его. Из-за него он тратит столько сил и, уж конечно, думает о нем плохо... И когда шофер сказал: «Нам бы только до моста дотянуть, а там газанем не хуже реактивного самолета»,— Виктор подумал, что он сказал это лишь из вежливости, а когда на четвертом километре от совхоза машина застряла и не смогла податься ни взад, ни вперед, он даже был доволен, что дальше ехать уже не нужно, шофер кончит мучиться и перестанет думать о нем плохое.

— Вы валяйте на лошади,— сказал шофер.— На лошади наверняка доедете. Аллюр три креста. А за мной трактор пришлите.

«Вот и чудесно! — думал Виктор, возвращаясь в совхоз.— Сяду на лошадь и доеду, и никого не буду обременять, и нисколько это не опасно».

Ему оседлали гнедого губошленого мерина, у которого был по-цыгански, узлом, чуть не по самую репицу подвязан хвост, чтобы не заляпало грязью.

Солнце давно уже разогнало туман и резко блестело в разбросанных по полям голубых озерках талой воды; над озимями, боком, нехотя, летали грачи, лоснившиеся, слов-

но начищенные сапожными щетками, в воздухе слышался тонкий, легкий и непрерывный хрустальный звон жаворонков. Глубокие колеи, вырытые колесами прошедших вчера бензовозов, были полны мутной воды.

Мерин месил грязь, чавкал ногами, пока не выбрался на обдутый весенними ветерками пригорок, с которого открывался вид на реку с плывущими по ней льдинами. Виктор тронул поводья. Мерин послушно стал, понурив голову.

Дальше ехать не было смысла: мост уже развели на время большого льда.

В совхоз Виктор приехал, когда солнце светило косо, вдоль земли рядом с усталым мерином ступала на тонких и длинных ногах его тень, будто мерин шел на ходулях.

Виктор устал, за весь день у него во рту не было ни крошки, но единственное, что по-прежнему беспокоило его, так это то, как бы не показаться людям смешным и как бы они не осудили его за то, что он понапрасну прогнал лошадь.

Слезши с мерина и передав его конюху, чувствуя, что от долгой непривычной езды у него онемели ноги и будто изогнулись колесом, Виктор пошел на этих необыкновенно ощутимо изогнутых ногах к Стиве. Образ Нюши, ее восторженные синие глаза весь день не выходили у него из головы.

Стива встретил его радостными восклицаниями, тут же стал подпоясывать полушубок брючным ремнем и, уже не давая Виктору ни минуты на раздумье, увлек к лодкам.

Они столкнули одну из лодок, и сильное течение мутной воды подхватило ее. Виктор греб рывками, скривив от старания лицо, запрокидываясь при каждом взмахе, а Стива стоял на носу лодки с багром в руках, расталкивал льдины и для чего-то все время кричал: «Ого-го! Давай, давай!..»

Течение сносило лодку. Когда ее затирало льдом, Виктор со страхом слышал, как стукаются о борт, шумят, скребутся по доскам льдины. Он почему-то подумал, что они обдерут с лодки всю краску. Городской берег, крутой, обрывистый, медленно приближался.

До берега было уже совсем недалеко, когда об лодку с ходу одна за другой ударились две большие льдины. Стива закричал: «Ого-го! Давай, давай!..» — замахнулся багром, лодка накренилась, залилась и стала оседать.

«Ого-го! — завопил Стива.— Топем!» — и завалился животом на льдину, задрав свои красные калоши. Виктор скакнул следом за ним, льдина встала ребром, и он ухнул от ожегшей все его тело водяной стужи. С берега им бросили пеньковый канат, и скоро они уже сидели в жарко натопленном домике, переодетые во что попало, а их одежда сушилась, развешанная возле печки, и на чисто вымытый пол с нее натекла большая выпуклая лужа.

Виктор послал купить Стиве бутылку водки, а сам принялся пить чай с сушеной малиной. Стива, в женском халате, подпоясанном ремнем, рассказывал, как они «пробивались сквозь льды», и в его рассказе все было не так, как на самом деле, а очень красочно. Главным героем в Стивином рассказе явился Виктор. Хозяйка ахала, с любопытством, восторженно поглядывала на Баскакова, которого от чая и Стивиного вранья бросило в жар, но ему нравилось быть героем, и он с удовольствием подумал о том, как завтра будет рассказывать Нюше о своих необыкновенных приключениях. Вот она, наверное, удивится!

В тепле его разморило, все мышцы обмякли и ослабли так, что даже не хотелось шевельнуть ни рукой, ни ногой и неудержимо клонило ко сну. И он заснул прямо за столом, не успев подумать о том, что это неприлично, что может причинить людям неудобства и они могут осудить его.

Проснулся он лишь назавтра в полдень и, быстро одевшись и поблагодарив гостеприимную хозяйку, поспешил в больницу. Сердце его, хотя он и говорил себе, что волноваться не стоит, билось часто.

День был солнечный, в больничном саду на деревьях с набухшими почками свистели, трещали и щелкали скворцы. К окну палаты, в которой лежала Нюша, уже прилипло носами несколько сосредоточенных девичьих лиц: это были Нюшины подруги. Они подбирались к больничному окну, цепляясь за подоконник, и Нюша, если не была в забытьи, с тоской и равнодушием взглядывала на них. Девчата начинали кивать, смеяться, что-то говорить, словно глухонемые, одними губами, махать руками и... срывались с подоконника. И эти веселые лица в окне, свист скворцов, теплый, яркий солнечный свет, заливавший всю палату, раздражали Нюшу. Она отворачивалась и закрывала глаза.

Баскакова пропустили к ней потому, что считали ее тяжелобольной.

— Что же ты?..— с упреком, мольбою и любовью глядя на него, сказала Нюша, когда он несмело подошел к ее постели.

Увидев утомленные болезнью и в то же время полные оживления, блестящие глаза, устремленные на него, Баскаков почувствовал, что все, что с ним вчера было, ничтожно и несравнимо с тем, что выражали ее глаза, и если бы вчера он переплыл сто рек и сто раз тонул бы, все равно это было бы недостойно того, что сияло, светилось, горело в ее глазах. Он присел на краешек табуретки возле постели и нерешительно потрогал одеяло, которым Нюша была укрыта, и, виновато глядя на это одеяло, чувствовал, что она продолжает смотреть на него своими оживленными, блестящими глазами.

— Слушай, как скворцы здорово кричат,— сказала она.— На улице тепло?

— Тепло,— прошептал он в смущении.

— Солнце так и жжет, да?

— Ужас, какое горячее.

— И река тронулась?

— Тронулась.

Она ужаснулась:

— Как же ты перебрался? Зачем ты это сделал?

— Да так,— еще больше смутился он.— Успел.

Теперь ему уже не было стыдно, что она смотрит на него влюбленными глазами и это могут заметить больные. Сейчас ему хотелось, чтобы она все время смотрела на него так, и наплевать, что другие узнают об этом. А Нюше все вдруг стало казаться очень забавным и милым: свист скворцов, солнце, заливавшее палату своим теплом, говор соседей. У нее появилось неудержимое желание смеяться.

Она начинала выздоравливать.

1955

ВОРОБЫШЕК

В палате стояло пять коек. Одна из них вот уже неделю была пуста. За высоким окном холодный январский ветер качал старую липу. Небо было мутное. Если смотреть на дерево, видно, как с этого унылого неба редко, нехотя падает снег.

На койке возле окна из-под красного ворсистого одеяла торчала беспокойная, сивая, вздернутая бороденка токаря Ивана Александровича, старичка ласкового, словоохотливого и важного.

Рядом стояла койка старого профессора Приступы. Профессора целый месяц мучила гипертоническая болезнь, сдвинув ему все лицо на сторону. Теперь, почти поправившись, он с утра до вечера сидел на постели, из коротких рукавов тесной стираной больничной пижамы торчали красные, будто Приступа только что имел дело с ледяной водой, большие руки. Самый незначительный пустяк мог расстроить профессора, и он начинал плакать.

Был еще одинокий доктор Сергей Сергеич, до того худой, что, если смотреть на него сбоку, кажется — лицо его в основном состоит из длинных седых усов, длинного горбатого носа и завершается широкой костлявой лысиной. Сергей Сергеич любил читать все, что попадет под руку, и на его кровати с утра до вечера лежали газеты, журналы и книги, словно на прилавке киоска.

Четвертым больным был Дмитрий Воробьев, не курящий и не пьющий сорокалетний холостяк, очень старательно, даже в больнице, следивший за своей внешностью. На его тумбочке стоял флакон с одеколоном «Кармен», он каждое утро смачивал одеколоном волосы и, вероятно, думал, что ему еще всего лет двадцать пять, не больше. Это был странный, вызывавший у других людей удивление и любопытство человек. В палате его звали Воробышком. Он побывал во многих городах, сменил добрую дюжину профессий. И так как всюду старался получить для себя как можно больше, ничего не дав, по возможности, взамен, то на людей смотрел со снисходительной улыбкой хитреца, обманувшего самое Жизнь. До сих пор у него не было ни семьи, ни дома, ни друзей. Он везде расставался с людьми так же легко, как и они с ним, потому что ни добра, ни пользы большой не видели от него.

По утрам, включив свет, в палату входила дежурная сестра, будила больных и совала им под мышки градусники. Часа полтора спустя приносили завтрак, потом начинали колоть Сергея Сергеича. У него был атрофический цирроз печени, лекарства уже не действовали, но Сергея Сергеича все пичкали разными антибиотиками и вводили их под кожу. Старый доктор относился ко всему добродушно и чуть-чуть печально. Он-то знал, чем все это должно кончиться.

Иван Александрович, позавтракав, откидывал одеяло, задирал рубашку и принимался щупать живот. Приступа, сидя на своей койке, отупело смотрел, что он делает.

— Если хочешь знать,— важно объяснял ему Иван Александрович,— меня можно в зоологическом саду или в цирке показывать, потому что вместо желудка у меня мешок. Мне врачи так и говорят: «Э-э, да у тебя, Иван Александрыч, не желудок, а целый мешок»,— и даже студентам показывают как наглядное пособие.

Слова «студенты», «наглядное пособие» волнуют старого преподавателя, и он начинает горько всхлипывать.

У Ивана Александровича язва желудка, он лечит ее уже лет пятнадцать и во всех больницах отказывается от операции, объясняя это тем, что на операцию не дают согласия дети, которых у него двенадцать человек. У Воробышка тоже язва, но он, напротив, очень хочет избавиться от нее, однако с условием, что оперировать его будет профессор Андронов.

Воробышку приказано лежать в постели на правом боку, но стоит ему улечься, как в его голове начинает копошиться масса всевозможных вопросов, они требуют разрешения, и Воробышек, не пролежав пяти минут, выбирается из-под одеяла и спешит выяснить их то возле одной, то возле другой кровати. Вопросы и сведения сыплются из него вперемежку, без задержки и без разбора, и поэтому собеседнику его бывает долго непонятно, что к чему.

— Меня, Сергей Сергеич,— вдруг начинает приставать он к доктору,— интересует такой вопрос: что делают из женьшеня, какое его целебное свойство? Из рогов, я знаю, делают пантокрин, а вот из китов что добывают, тоже забыл. Я читал: на земле существует две тысячи пятьсот лечебных трав, а используют пока только двести пятьдесят сортов. Вот из калгана, я извиняюсь, неужели только одни настойки делают?

В десять часов приходила врач Валентина Евгеньевна, молодая невысокая брюнетка с легким свежим румянцем на щеках и красивыми пушистыми бровями и ресницами. Заслышав ее частый твердый топоток по гулкому коридору, Воробышек проворно нырял под одеяло и укладывался на правый бок. Делалось все это не из боязни, а из глубокой тайной любви, питаемой им к докторше, которая уделяет ему столько внимания, сколько может уделить его не особенно опытный врач для того, чтобы выслушать

больного и выписать ему лекарство. Докторше невдомек, почему, стоит ей сесть на постель Воробышка и взять его за руку, у него начинается учащенное сердцебиение.

В приемные дни приходят посетители. Профессора навещает сердитая морщинистая старушка в пенсне, его жена, и прочно сидит, не доставая ногами до полу, возле постели, пока не скажут, что приемное время кончилось. Профессору приносят передачи от коллег и учеников, старушка тут же хозяйственно вскрывает их, осматривает содержимое и дребезжащим голосом читает записки, а Приступа слушает ее, половины не понимает и всхлипывает.

Сергея Сергеича навещают врачи — люди почтенные, бывшие его ученики, и некоторые даже выслушивают его стетоскопом. Сергей Сергеич, втихомолку ухмыляясь в усы, охотно позволяет им это и как будто даже верит той неправде о выздоровлении, которую все они, мужественно делая веселые, беспечные лица, говорят ему. К Ивану Александровичу приходят сыновья, дочери, снохи, зятья, внуки, внучки, и так как «несть им числа», а пускают по одному, то они идут к нему, сменяя друг друга, словно на прием к начальству. Начальство, важничая, лежит на кровати, победно выторкнув из-под одеяла бороденку.

А Воробышка никто не навещал. Сперва это его мало тревожило. Он лежал, беспечно посвистывая, разглядывая забавную профессоршу или снох Ивана Александровича. Но потом, именно в эти дни, он стал чувствовать одиночество. Смутная, тоскливая обида на людей заполняла его сердце, и когда профессорша начинала дребезжать над письмами, он затыкал уши и уходил из палаты.

Все больные лежали здесь по месяцу и больше, и врачи, сестры и няни привыкали к ним, как привыкают к постоянным жильцам. Только Воробышка, потому что его должны были перевести в хирургическое отделение, все считали жителем временным, и это тоже стало злить его.

Однажды утром во время обхода впереди Валентины Евгеньевны в палату вбежал, напевая какую-то частушку, невысокий, очень подвижной, с красным веселым лицом и с гладко выбритой, сизой по бокам и розовато-лоснящейся на макушке головой человек. Это был знаменитый хирург профессор Андронов. Круто повернувшись возле окна, он быстро и громко спросил:

— Какой? — И, не дождавшись ответа, стал весело тыкать пальцем в разные стороны: — Этот, этот?

Валентина Евгеньевна указала на Воробышка. Уви-

дев его, Андронов сделал удивленно-радостные глаза, кинулся к нему, сдернув одеяло, задрал рубашку и так надавил руками на его живот, что пальцы ушли под ребра.

— Оч-чень замечательный живот,— похвалил хирург и, обратившись к Валентине Евгеньевне, поспешно и повелительно сказал: — Напишите заявку: завтра приготовить к операции, спинномозговая анестезия, операцию будет делать хирург Андронов,— и похлопал ладонью по Воробышкиному животу.

Когда врачи ушли, Воробышек, побледнев, начал суетливо собирать свои пожитки, шуршать газетой, и по тому, как у него не ладилось, газетные кульки прорывались и на пол сыпались, стуча и подскакивая, яблоки, было видно, что он встревожен и напуган.

Как раз в это время санитары ввезли на каталке и осторожно, с трудом положили на пустующую кровать рослого тяжелого человека. Был он лет сорока. Чуть тронутые сединой густые, небрежно зачесанные набок волосы спадали на широкий лоб, поверх одеяла лежали сильные рабочие руки. Помолчав, он приподнялся на локте и, оглядев серыми, хмурыми и в то же время насмешливыми глазами выжидательно следивших за ним со своих коек палатных старожилов, спросил низким, с хрипотцой голосом:

— Ну, как дела здесь идут?

Воробышек, оставив в покое свой кулек с яблоками, печально улыбнулся, подошел к его постели, облокотился на ее спинку, а Иван Александрович сказал:

— У нас, милый мой человечище, тепло, светло, и хорошим людям мы рады. Только нынче такое, значит, происшествие: вот Воробья велели на операцию класть, а ему невмоготу стало. Коснись меня, или, скажем, доктора Сергея Сергеича, или вот товарища профессора, мы бы с милым удовольствием. Мы исполнили, что нам положено, не зря почудили на земле. А у Воробья душа тоскует. Помирать, если что, каждому неохота, но страшно тому, кто мало пожил на земле, я так думаю.

Воробышек оглянулся, хотел что-то сказать, но Иван Александрович опередил его, предостерегающе помахав указательным пальцем:

— Не в годах, конечно, дело. Хотя ничего с тобой не случится. Это я так все, к слову, сказал.

— Я тоже так думаю,— заметил доктор.— Хирург замечательный, бояться тебе нечего.

После этого в палате долго было тихо. Приходила Валентина Евгеньевна, выслушала нового больного, приказала ему лежать на спине не поворачиваясь. Потом были в палате медсестры. Одна пришла с деревянным ящиком, в котором слегка позванивали стеклянные пробирки и трубки, и взяла у больного кровь из пальца, а вторая принесла ему лекарства и поставила на грудь горчичник.

Начало смеркаться, зажгли свет, новый больной лежал, нахмурив брови и закрыв глаза. Однако он не спал. Веки его вздрагивали, и когда в палату, скрипнув дверью и распространяя запах дорогих духов, вошла высокая, с гордым красивым лицом молодая женщина, он тут же открыл глаза.

Она опустилась на стул возле его постели. Лицо ее выражало тревогу и страдание. Однако в темных, сторожко, сухо блестевших глазах порой мелькало что-то обидное и равнодушное к этому хмурому, сильному и, должно быть, очень терпеливому человеку.

Он, досадливо морщась, поглаживал ладонью левую сторону груди (вероятно, у него начались приступы боли) и смотрел на нее с тем насмешливым выражением в глазах, с каким осматривал, прибыв сюда, жителей палаты.

— Как я тебя просила: пожалей себя, не работай так много, ты меня не послушался. Я обревелась вся, когда узнала, что с тобой...— Она говорила тихо, с укором, но что-то фальшивое и опять-таки равнодушное было в ее голосе, а по его хмурым и насмешливым глазам было видно, что он прекрасно все понимает.

— Ладно, ступай теперь,— устало ответил он на все ее упреки, слегка и снисходительно дотронувшись пальцами до ее колена, обтянутого шелковым чулком.— Иди, а то других, наверно, не пускают.

Она будто ждала этих слов, оживилась, мельком взглянула на часы, нагнулась к нему, чмокнула полными яркими губами в лоб, в щеку, сказала: «Завтра я приду пораньше»,— и быстро вышла из палаты. Он все так же хмуро и насмешливо, а теперь еще и грустно смотрел на дверь, закрывшуюся за скользнувшей в коридор женщиной.

— Меня вот еще интересует,— некстати нарушил тишину Воробышек,— что такое счастье? Все лежу сейчас, думаю... Например, завтра мне будет операция, и все обойдется хорошо, ведь это какое счастье?

— У каждого свое счастье,— строго отозвался доктор,—а люди не похожи друг на друга. В данном случае,—

продолжал он, помолчав,— счастье твое относительно. Ты будешь счастлив потому, что останешься жив, вот и все, но тот, кто сделает тебе операцию, будет счастлив неизмеримо больше тебя, потому что это не ты, а он совершит ее, потому что это он сделает так, что ты или другой — это не важно — какой-то человек благодаря его подвигу, да, подвигу, будет жить, ходить по земле, смеяться, видеть небо, слушать птиц, создавать добро, целовать женщин и вообще делать массу всяких других хороших дел.

— Я, милый ты мой человечище,— перебил доктора Иван Александрович,— я за своим счастьем всю жизнь гонялся, как за курицей по двору: еще бы немного, и ухватил бы, кажется, за хвост. А ты видел, как оно теперь само ко мне в очередь по приемным дням ходит?

Неловко балансируя руками и почему-то на цыпочках, вошли два человека в тесных, чуть не лопающихся на их плечах халатах. Новый больной, молчавший до этого, увидев их, оживился, и когда они сели возле его кровати, он, слегка поморщиваясь,— очевидно, боли в сердце все не проходили,— стал им с жаром что-то говорить. Один из посетителей, вынув из кармана блокнот, принялся записывать, но говоривший вдруг умолк и, закрыв глаза, нахмурясь, долго лежал, все растирая ладонью левую сторону груди. На лбу его одна за другой выступали крупные капли пота. Посетители с тревогой и испугом переглянулись. Один из них осторожно приподнялся, попятился к двери, но больной, не открывая глаза и, очевидно, сделав над собой усилие, требовательно, нетерпеливо сказал:

— Ну, хватит. Поехали дальше.

И все же «поехать» дальше ему не удалось. Вошла Валентина Евгеньевна, удивилась, что вместо женщины, которую она разрешила пропустить, возле постели больного оказались мужчины, и потребовала, чтобы они немедленно убрались из больницы.

Они покорно ушли. Больной открыл глаза, тяжело, хмуро посмотрел на докторшу и проговорил:

— Обсказать не успел.

— Вы сделаете это потом. Поправитесь и все обскажете,— мягко ответила Валентина Евгеньевна, садясь к нему на постель и беря его за руку, чтобы узнать пульс.

— Чепуха! Вы слушайте,— проговорил он, резким движением отнимая руку.— Я ведь давно чувствовал, что мое сердце начало пошаливать, но я надеялся, что оно дотянет.— Он передохнул.— Мы с этими ребятами, которых вы

прогнали отсюда, пять лет почти не выходили из бюро.— Он мечтательно улыбнулся.— Машина! Наша машина пошла на испытание. Вы понимаете?! Мне бы одну недельку еще!

— А тогда что? — с улыбкой спросила Валентина Евгеньевна, вновь, уже настойчиво, беря его за руку.

— А тогда хоть на живодерню,— резко ответил он, и по тому, как сказал, можно было легко поверить, что такой, если надо, пойдет, не моргнув глазом, и на живодерню.

«Какой он все-таки... Сильный!» — подумала она, покосившись на него, и он перехватил настороженное, любопытное выражение ее карих глаз. Это смутило ее. Воробышек, наблюдавший за ними, беспокойно завозился на своей постели. Валентина Евгеньевна сделала строгое лицо, велела больному лежать спокойно и ушла.

Ночью никому не спалось. Когда погасили свет, за окном посветлело, стало видно, как качается налево и направо, словно огромный маятник, старая липа. Свистел ветер. И лежавшим в теплой палате, под верблюжьими одеялами, казалось, что на улице сейчас уныло, холодно, нехорошо.

В полночь Сергей Сергеич, лежавший рядом с новым больным, услышал, как он вдруг завозился, трижды судорожно вздохнул и, вытянувшись, затих.

В палате зажгли свет, прибежала дежурная сестра, за нею — врач, но все уже было кончено. Его укрыли с головою простыней и вынесли из палаты.

Стало опять темно, и опять никто не спал. Профессор сидел на постели и плакал. Плакал он не оттого, что ему было жаль умершего человека, а оттого, что эта смерть напомнила ему, что сам он, Приступа, никогда больше не вернется в институт и не будет читать лекции. И эти судорожные всхлипывания старого человека, и унылый свист ветра за окном нагнали на всех тоску.

Иван Александрович, ворочаясь с боку на бок, встревоженно думал о своих детях, снохах, зятьях,— не случилось бы с ними какого несчастья, но когда решил, что не случится, то успокоился и стал думать о том, как они будут жить после него. Он быстро пришел к заключению, что жить они будут хорошо, и обрадовался.

Доктор был мрачен и все вспоминал о том, как он учился в Петербургской медицинской академии и потом долгие годы работал в госпиталях и больницах. Очевидно,

потому, что в палате только что умер человек, ему вспоминались не те многочисленные случаи, когда он помогал вылечиться, вылечивал, когда буквально вырывал людей из лап смерти, а те, которых было ничтожно мало, когда он был бессилен перед смертью, и это мучило его.

Воробышек смотрел в потолок, на который сквозь окно падал свет от уличного фонаря и где шаталась смутная тень старой липы, слушал прерывистые всхлипывания Приступы, шум ветра за окном, и перед его глазами проносились картины его веселой добольничной жизни. Он попробовал сравнить ее с той, которую прожили старики, лежавшие вместе с ним в палате, и вдруг ужаснулся, что у него было как-то все не так.

Что же было не так?

Он встречался с женщинами, но бросал их тут же, как только догадывался, что их отношения зашли так далеко, что пора идти в загс. Он не хотел брать на себя никаких обязательств. Пойдут дети, надо будет заботиться об их воспитании и содержании, а жизнь и так коротка. Займешься семьей и не заметишь, как уже стал стариком.

Он читал и слышал о заводской чести, о любви к своей профессии, но считал все это болтовней, так как его личный заводской патриотизм, его любовь к профессии проявлялись лишь там, где больше платили, и прекращались сразу же, как только пересматривались нормы и снижались расценки. Поэтому он часто не уживался на заводах и менял их, благо везде требовались рабочие руки. Его нигде не задерживали, так как считали рвачом, склочником.

Он говорил: «Наша жизнь коротка, если не пожить сейчас в свое удовольствие, когда еще?»

Теперь оказалось, что все это не так.

Тот, которого увезли под простыней, пожалуй, его ровесник, несколько часов назад насмешливо сказал Валентине Евгеньевне: «А потом хоть на живодерню». Как она посмотрела на него! При этом воспоминании Воробышка охватила зависть к умершему. «Если бы суметь сказать так беспечно и просто и увидеть в ответ восторг в женских глазах!.. Если бы!.. Если бы!..» Воробышек в смятении и тоске завозился под одеялом.

— Эх! — вдруг проговорил он, рывком сев на кровати.— Неужели завтра так всему и конец? У меня ведь руки золотые, я ведь чего ими могу натворить, если захочу, а?..

Никто в палате не понял, почему у него такой отчаянный, беспокойный голос и для чего он все это сказал сейчас, в темноте.

1955

ВЕСНОЙ

Гостиницы в городе не было, и поэтому в одном из двухэтажных деревянных заводских домов, стоявших под красными черепичными крышами в великолепном сосновом парке за рекой, держали квартиру для приезжих. При квартире жила Дуся, молодая худенькая женщина с большими, чуть навыкате, серыми глазами на бледном строгом лице, исполнявшая обязанности заведующей, кастелянши и уборщицы. Была она молчалива, казалась много старше своих лет, и, глядя на нее, почему-то думалось о цветке, который без времени и печально увял, сорванный и помятый неловкими, грубыми руками.

Дусе шел двадцать шестой год, воспитывалась она в детском доме и родителей своих не помнила. Позднее она работала на заводе и жила в общежитии, откуда три года тому назад, выйдя замуж, перебралась в домик с синими резными наличниками на окнах и сарайчиком среди заросшего травой двора. В сарайчике свекровь держала пяток белых, меченных чернильным крестом во всю спину кур и петуха, словно собака, гонявшегося за людьми по двору и норовившего в суматохе клевать их в ноги.

Дуся была без ума влюблена в своего мужа и даже при старухе висла у него на шее. Свекровь смотрела-смотрела, видит — в голове у нее одни поцелуи да ласки, а толку никакого нет, и давай учить уму-разуму. Да так круто повела, что бедной Дусе с утра до вечера никакого покоя не стало. Если она отмалчивалась, старуха свирепела пуще прежнего, даже начинала приплясывать от злости, будто не в валяных опорках по полу, а босиком по горячей сковородке ходила. Когда же Дуся, устав от ученья, со слезами на глазах спрашивала: «Ну, за что вы ко мне так? Что я вам плохого сделала?» — старуха истошным голосом кричала: «Ты что на меня свои бараньи глазищи вылупила? Думаешь, я испугаюсь тебя? Людоедка, бес-

призорница! Приехала на готовенькое в одном платьишке ситцевом, а теперь жало показываешь?! Я вижу, куда ты метишь: хочешь меня из родного угла выжить!» Накричавшись, она уходила за дощатую перегородку, ревела и трубно сморкалась в подол и, случалось, по нескольку дней не садилась за стол обедать с молодыми, а, взгромоздившись на сундук, демонстративно жевала ржаной хлеб, запивая сырой водой. Эти свекровьины представления кончались тем, что, проголодавшись, она неделями была тиха, миролюбива и угодлива, а потом начинала все сызнова. Но Дуся не помнила зла. Ради любви к мужу и к ребенку, которого она уже носила под сердцем, добрая женщина была готова перенести любые унижения, которыми щедро осыпала ее эта сварливая, забывшая о своей молодости старуха.

Быть может, они так бы и жили еще не один год, но в тот самый день, когда Дуся получила декретный отпуск, в реке, купаясь, утонул ее муж. Узнав о случившемся, несчастная женщина рухнула без чувств на пол. Ее отвезли в больницу, где она родила мертвую девочку.

Только через месяц, измученная и постаревшая на много лет, выписалась она из больницы. В домике с синими наличниками на окнах жили уже незнакомые люди: свекровь продала его и уехала в другой город к дочери, даже не простясь со своей невесткой.

Дусе дали должность и комнату при квартире для приезжих.

С тех пор прошло около двух лет. За все это время соседи по дому ни разу не слышали, как она смеется. Не было от нее и жалоб. Сердце ее словно окаменело. Она ходила, ела, пила, мыла полы, стирала белье, кипятила самовар для постояльцев, получала с них за жилье деньги, но все это делала в каком-то полусознательном, бесчувственном состоянии. Если с женщинами она при встречах и перекидывалась порою двумя-тремя ничего не значащими фразами, то мужчин, казалось, совсем не замечала.

Приезжих в нынешнем году было немного, жили они всего по нескольку дней, и их можно было перечесть по тем вещам, которые они то ли в спешке, то ли по рассеянности забыли. Угрюмый, лысый, с неприятными беспокойными глазами следователь забыл книгу под названием «Уголовно-процессуальный кодекс», а щуплый дедушка с седой, аккуратно, словно клумбочка, подстриженной бородкой, бухгалтер-ревизор, который регулярно утром и ве-

чером чистил свой старенький костюмчик,— одежную щетку. Были еще двое: важный молодой человек в пенсне на задранном хрящеватом носу, инженер по технике безопасности, и огромный косолапый дядька с бычьей красной зашеиной — представитель из ЦК профсоюза. Эти словно сговорились и забыли по мыльнице. Инженер — серую в полоску, будто из мрамора, а профдеятель — зеленую и с дыркой на крышке: наверно, папиросой, нескладный, прожег.

В середине марта в квартире для приезжих поселился Петр Петрович Мамин, высокий, шумный, размашистый человек, художник из Москвы. Волосы его, длинные, гладкие, вечно спадали на лицо, и он то и дело тщательно пытался привести их в порядок растопыренными пальцами и от этого с утра до вечера казался немного пьяным. У него все было большое: нос, лоб, уши, руки; он даже хлеб резал себе большими ломтями, а колбасу и вовсе не резал, а кусал прямо от целого куска и чаю выпивал стаканов по шесть кряду.

Назвавшись заскорузлым холостяком, он громко захохотал, и Дуся не поняла, всерьез он это сказал или в шутку. Потом, когда он отдал паспорт на прописку, она поглядела: пометки о браке там не значилось.

Лишь начинало светать, Петр Петрович уходил на завод со своим ящиком и был там до самых потемок. Возвращался он усталый и голодный. Не стесняясь Дуси, стаскивал с себя рубашку и долго плескался на кухне, брызжась вокруг рукомойника и по-лошадиному фыркая, а потом присаживался к самовару.

— Сам-то я, Дуся, тоже металлург,— рассказывал он, аппетитно уминая колбасу с хлебом и прихлебывая чай из блюдечка.— Семь лет в листопрокатке отбухал. Как начнут меня уж очень непочтительно ругать товарищи наши искусствоведы,— а они, Дуся, злые, придирчивые,— я рассержусь да и уйду обратно на завод, схоронюсь от них: попробуй-ка, выкуси тогда меня из цеха!

Дуся стояла, прислонясь плечом к печке, и, сложив на груди руки, молча, недоверчиво слушала.

Недели полторы спустя он однажды не пошел на завод и чуть не до обеда просидел, запершись в своей комнате, а потом появился, пропахший дымом, на кухне, где Дуся стирала, сердито сказал: «А ну-ка, идемте со мной»,— и, пропустив ее, пошел сзади, нетерпеливо и больно тыча пальцем в спину.

Войдя в его комнату, Дуся даже закашлялась — так там было накурено, а вытерев слезы, увидела в углу, на стуле, неоконченную картину, на которой было изображено, как разливают сталь по изложницам.

Сталь лилась из ковша такой ослепительно яркой струей, что Дуся невольно приложила ко лбу ладонь щитком, как она делала это, когда работала в мартеновском цехе. Она глядела на картину и чувствовала, что там нестерпимая жара, пыльно, шумно, что люди устали и их потные, чумазые лица, озаренные отблеском льющегося металла, напряжены до предела. По этому напряжению нетрудно было угадать, что сейчас там совершается огромный, чрезвычайно важный, захвативший всех процесс: люди разливали сталь. За какую-то минуту Дуся мысленно сумела побывать среди этих людей, ощутить и почувствовать то, что ощущали и чувствовали там в эти минуты они.

— Наш цех,— уважительным шепотом с невольным восхищением проговорила она, стараясь узнать на картине своих знакомых.— Все как есть похоже.

— Труд — дело чести, славы, доблести и геройства! — вдруг заорал за ее спиной художник.— Труд — от слова трудиться — почетный и радостный! Это я сумел передать?

Дуся молчала, не отрываясь от картины.

Прошло несколько дней. Художник засунул картину за кровать и, забыв про нее, увлекся пейзажами. «Глумной какой-то, блаженненький,— сердясь, думала про него Дуся.— Не дорисовал целых полцеха и забросил. То не вылезал из завода, а то носа туда не показывает». Недорисованным оставался тот самый пролет, в котором раньше работала Дуся, и ее с каждым днем все больше и больше подмывало спросить у художника, когда же он закончит картину.

А Петр Петрович, на которого словно нашло настоящее умопомрачение, рисовал одни окрестности, так что по его этюдам, даже не выходя на улицу, можно было узнать, какие в природе происходят изменения.

Сперва он изобразил капель с крыш, сосульки, синие тени на сугробах, почерневшие, подтаявшие тропки. Потом появилось половодье на реке, льдины, плывущие под заводской мост, мутная вода, затопившая деревья и прибрежные баньки. На третьей картине были изображены сосны, освещенные солнцем, а под ними кое-где глыбы задубевшего снега.

И все это было до грусти, до слез, до боли знакомо и в то же время полно какой-то свежей, простой, ласковой радости. Сколько раз проходила она и по этому мосту, под который сейчас уплывают льдины, и мимо этих затопленных половодьем банек, и мимо сосен, залитых солнцем!

Когда художника не было дома, Дуся, убирая его комнату, подолгу рассматривала картины и все чаще стала задумываться над своей жизнью.

А время шло. Появился новый рисунок: возле дома с распахнутыми окнами босоногие девчонки, раскрасневшись, прыгали через веревочки. Дуся поглядела на эту картину и вдруг почувствовала, что уже весна и сама она стоит возле распахнутого окна и легкий теплый ветер заносит в комнату с улицы звонкие детские голоса, пение скворца, густой запах сосновой смолы. Что-то непередаваемое, весеннее охватило ее, отуманило, и она с рассеянной улыбкой на лице долго смотрела то на окно, то на картину, как бы сравнивая, что лучше.

Художник по вечерам выходил пить чай на кухню, с треском грыз крепкими зубами сахар, дул на блюдце, поднимая его ко рту на растопыренных пальцах.

Однажды он стал расспрашивать Дусю о ее жизни. Дуся сидела за другим концом стола, вязала из бумажных ниток узорчатый накомодник и, низко опустив голову, так, что Петру Петровичу был виден пробор в ее волосах, рассказывала художнику о том, как жила в детдоме, как вышла замуж и как у нее одновременно умерли муж и ребеночек. Только про свекровь ничего не рассказала. К чему?..

Заходящее солнце, большое, красное, опускалось где-то невдалеке от дома за соснами, золотя их вершины. Художник смотрел в окно и думал о том, что его пейзажи, над которыми он с таким увлечением и усердием работал, вероятно, сейчас совсем ничего не значат для этой одинокой, молчаливой женщины. «Ах,— думал он,— если бы понять, что нужно людям, у которых так вот пасмурно на душе!» Многое бы отдал он за то, чтобы научиться согревать теплом своего вдохновения их жизнь!..

— Все хочу у вас спросить, Петр Петрович,— проговорила Дуся, закончив свой рассказ и подняв на него глаза.— Когда вы дорисуете картину про наш цех?

— Вот уеду на днях в Москву и буду там все дорисовывать,— мягко, так как чувствовал жалость к ней и не знал, как выразить эту жалость, чтобы не обидеть Дусю,

ответил художник. Добро, сделанное для людей, хорошо тогда, когда оно существует не в форме милостыни, что унижает и оскорбляет человеческое достоинство, а в форме подарка, что приносит с собою праздничную радость и истинное наслаждение.

— Послушайте, Дуся,— помолчав, продолжал художник; ему показалось, что он нашел разумное предложение,— вам надо выйти замуж, право. Вы молоды, впереди у вас еще вся жизнь, и горе ваше постепенно забудется, пройдет.

— Еще не родился тот жених, Петр Петрович,— с печалью ответила Дуся.

«В самом деле, зачем я об этом?» — подумал он и, чтобы сгладить нечаянную неловкость, учтиво спросил:

— А вот за меня, например, вы пошли бы? Чем не жених? Правда, мои друзья говорят, что я уже трохи молью трачен, но это ли причина?

Дуся ничего не ответила и вновь наклонилась над рукоделием. Петр Петрович поглядел на нее и смутился. «Обиделась»,— подумал он и налил себе чаю. Но пить ему уже не хотелось, он подпер голову кулаком и стал глядеть в окно на сгущающиеся во дворе синие весенние сумерки и скоро мысленно был уже далеко отсюда.

Вспомнились ему друзья, которых он давно не видел, вспомнилась шумная улица Горького, полная нарядной толпы, не спеша прогуливающейся в эти теплые весенние часы между Охотным рядом и площадью Пушкина, и он почувствовал, что соскучился по московской жизни, по друзьям. Петру Петровичу стало радостно, что еще день-другой, и он уедет отсюда, увезет с собой интересно найденные по композиции, по свету весенние пейзажи и жанровую картину, которую назовет как-нибудь коротко, например «Сталь пошла».

— Да, теперь уж решено,— сказал он, с удовольствием потирая руки.— Послезавтра я еду домой.

О Дусе он уже не думал.

Однако все, что он говорил, она приняла всерьез, слова его повлекли за собой целую гамму самых разнообразных, казалось, навечно заснувших в ней чувств, ощущений, робких, несмелых, не кружащих голову планов, предположений. В эту ночь она до рассвета не могла заснуть, с волнением, с сильно бьющимся сердцем думая о художнике, веря и не веря в то, что он сказал, безвольно, с радостью отдаваясь мечтам. Под утро ей так захотелось счастья, так

захотелось поверить в то хорошее, что может быть с нею. Она приложила руки к маленьким, почти еще девичьим грудям, сжала их и заплакала.

Проснулась она, когда художника уже не было дома. Подойдя к окну и распахнув его, она улыбнулась весеннему солнечному теплу, свежей зелени деревьев и, высунувшись по пояс наружу, крикнула шагавшей вдалеке знакомой женщине, что даже вчера не сделала бы: «С добрым утром!» — и помахала рукой.

— Ах, как хорошо! — проговорила она потом, стоя среди комнаты, подбоченясь и чувствуя, что сегодня с нею случилось что-то непонятное и хорошее, и от этого все сейчас для нее уже казалось необыкновенно милым.

— Ах, как хорошо! — повторила она и вспомнила о том, что завтра Петр Петрович уезжает. Но не может же он уехать так, не сказав ей больше ничего обнадеживающего.

Да, сегодня что-то должно было решиться. Она принесла из парка целую охапку цветов, пряча в них смущенное, смеющееся лицо. Цветы она поставила в комнате художника. Потом надела крепдешиновое бордовое платье, которое даже и не помнит, когда надевала последний раз, сходила в парикмахерскую, где ей завили волосы, а брови и ресницы сделали аспидно-черного цвета.

Вечером они с Петром Петровичем сидели в кухне. Художник опять дул на блюдце, держа его возле рта на растопыренных пальцах, а Дуся сидела напротив него, боком к столу, вязала накомодник и с трепетом ждала, когда он напьется чаю и начнет разговор.

Художник встал в тот день рано, на самой заре. Ему хотелось последний раз увидеть восход солнца, краски неба, цвет заводских дымов, туман над рекой, мокрые от росы крыши, ветки распускающейся сирени, сизыми облаками нависающей над покосившимися трухлявыми изгородями. Он захватил с собой мольберт, увлекся и проработал до полудня. После этого он долго пробыл на заводе, где простился со всеми знакомыми, побывал на станции, заказал себе билет в проходящий завтра утром скорый поезд и теперь, чувствуя усталость во всем теле, отдыхал за самоваром.

Пил он молча и долго. После того как он простился со всеми и заказал билет на поезд, ему, как это бывает с людьми, собравшимися в дорогу, все стало казаться здесь неинтересным, как бы отодвинувшимся в прошлое, о чем

позднее когда-нибудь можно будет с удовольствием вспомнить, но что уже перестало быть для него близким, сегодняшним. И думалось теперь только о том, как он сядет в поезд, как будет ехать и как приедет в Москву. Мысли о дороге вызвали в нем приятное нетерпение, он улыбнулся и, барабаня пальцами по столу, проговорил:

— Ах, черт возьми! — И, проведя по волосам пальцами, как граблями, еще раз сказал: — Ах, черт возьми!

Теперь, развалившись на стуле, ковыряя в зубах спичкой, он благодушествовал и стал расспрашивать Дусю, для кого она так нарядилась, не на свидание ли собралась, не задерживает ли он ее?

Дуся, покраснев, едва слышно отвечала ему и все ниже склонялась над своей работой. Потом, не выдержав этой невинной пытки, вскочила со стула и с глазами, полными обидных, горьких слез, убежала к себе в комнату и упала пылающим лицом в подушку.

Художник удивленно поглядел ей вслед, пожал плечами, потянулся, зевнул и решил, что ему пора спать.

Дуся лежала с заплаканным лицом и прислушивалась к тому, что делает художник, и когда он прошел к себе мимо ее двери, она вытерла ладонями слезы и, вскочив, заперла дверь на ключ.

— У-у!..— сердито прошептала она и погрозила кулаком стене, за которой возился, укладываясь спать, благодушно настроенный Петр Петрович.

На другое утро Дуся уже снова была в своем стареньком ситцевом платьице. Косынка, повязанная на голове фунтиком, скрывала завитые волосы, а ресницы и брови уже не казались, как вчера, такими черными: Дуся, проснувшись, долго и не без успеха оттирала их горячей мыльной водой. Однако в настроении ее ничто не изменилось. Оно было таким же радостным, как и вчера; и оттого, что она чувствовала прочность этого, вновь после долгого перерыва явившегося к ней настроения,— как больной, однажды проснувшись, вдруг чувствует, что он выздоровел,— она была весела, подвижна, и решительно все, как и вчера, радовало ее. И к художнику она чувствовала только то, что чувствует уже здоровый человек к вылечившему его врачу: боли не стало, не стало и мысли о ней, а только благодарность к доктору да желание скорее выйти из-под опеки и заняться собою, устройством своих дел.

— До свиданья, до свиданья,— смело и бойко говорила она, прощаясь с Петром Петровичем.— Счастливо вам

доехать! Не забывайте нас, приезжайте еще. Я, наверное, скоро в цех перейду работать, здесь мне неинтересно совсем.— А в глазах ее, устремленных на художника, была откровенная усмешка, и она как бы с вызовом и пренебрежением говорила: «Эх, вы!..»

Когда он садился в поджидавший его на дороге автомобиль, Дуся стояла на крыльце и, уже не глядя в его сторону, переговаривалась с соседкой, развешивавшей на веревке, меж сосен, белье.

Прощаясь, художник уловил в ее глазах смелую усмешку, почувствовал себя неловко и, уже сидя в автомобиле, приоткрыв дверцу, крикнул:

— Я непременно вам напишу, как только закончу картину! — словно именно это было самым важным сейчас для него и для нее.

Дуся обернулась и, равнодушно взглянув на Петра Петровича, ничего не сказала, и чувство неловкости у него еще больше усилилось. Оно не покинуло его, даже когда он сел в вагон и поезд тронулся и мимо поплыла платформа со стоящими на ней и смотрящими на вагоны людьми, высокие старые березы с грачиными гнездами над пакгаузом, а потом одетые яркой зеленью перелески и поля, подернутые вдали весенней утренней благодатью.

Он смотрел в окно, а перед ним было счастливое, смеющееся, бойкое лицо Дуси. У него беспокойно заныло на сердце, стало жаль чего-то, и он с растерянностью и удивлением проговорил, проведя по волосам растопыренными пальцами:

— Ах, черт возьми!..

И ему еще долго после этого казалось, что он что-то забыл или сделал не так, и он все поровил вспомнить, что именно, да так и не смог.

1955

ДОЛГИЕ ГОДЫ

Еще утром Василиса Петровна почувствовала себя слабой и разбитой. Ноги сделались будто чужие, в ушах стоял тупой шум, ломило виски, затылок и неудержимо тянуло полежать, отдохнуть. Но она весь день

ходила пошатываясь, маленькая, сухая, сутулая, приготовила обед, перемыла всю посуду, вытерла пыль с подоконников, этажерки, буфета, полила цветы и все ворчала, подбадривая себя: «Ну-ка, ну-ка, старая кочерыжка, придет срок — належишься».

К вечеру ей стало хуже, но она еще выстирала Ленины рубашки, развесила их во дворе и уже только после этого, чувствуя, что нет больше у нее никаких сил, прилегла. Сделалось вроде бы легче.

В комнате был полумрак, за окном, гоняя по двору мяч, отчаянно, будто случилось невесть что, кричали мальчишки, и Василиса Петровна беспокойно подумала: «Как бы они на рубашки мячом своим печатей не налепили. Надо бы сходить снять, дома досохнут»,— но не только подняться, даже пошевельнуться уже не хватило ни сил, ни желания. «Помирать, видно, пора»,— добродушно подумала она, и стало жалко Леню: как это он один останется, кто присмотрит за ним? Говорила ведь: женись, пока мать жива, сколько раз говорила, а он лишь засмеется, тряхнет кудрями: «Мне и так пока хорошо, мама», а самому двадцать третий год пошел. И хоть бы на братьев да на сестер посмотрел, с них взял пример. Николай двадцати лет женился, сам теперь скоро сыновей женить станет. Ольга тоже. Две дочки через год, через два школу заканчивают. Хорошая семья у Ольги. И муж хороший, сталевар Василий Живков. Или Сашу взять. Впрочем, нет, с этого пример брать опасно: второй раз женился и вообще живет шумно и, будто чтобы позлить или обидеть людей, любит делать не так, как все, а, наоборот, по-своему. А вот Аленка, эта молодец. Полюбила раз — и все тут. Три года с войны от жениха никакой весточки не получала. Придет, бывало, домой, заплачет, а сама: «Не верю я, мама, что он погиб, вернется он, сердцем чувствую, вернется».— «Ну и хорошо,— скажет мать,— и верь и чувствуй, если так. Сердце, оно не обманет». И гляди — вернулся! Где только не был, бедовая голова! Из плена, из концлагеря бежал, в итальянских партизанах с фашистами сражался. А Илья не вернулся. Перед самым концом войны, как написано в похоронной, которую прислали из военкомата, «погиб смертью храбрых в боях за город Будапешт».

Портрет Ильи, майора-летчика с Золотой Звездой Героя и тремя орденами Ленина на груди, висел над диваном, на котором сейчас лежала усталая, непривычно тихая Василиса Петровна.

Вспомнив Илью, она стала думать, какие хорошие дети выросли у нее, все коммунисты: даже Леня, несмотря что еще молодой, и тот принят в партию. А как им не быть коммунистами? Если бы не Советская власть, не партия, которые помогли ей воспитать, обучить, вывести ребят в люди, даже незнамо, кем они и были бы. А Илюша вот стал кадровым командиром — Герой Советского Союза; Ольга — крановщица, член заводского парткома; Саша — директор завода на Волге; Николай — инженер, со всей семьей уехал на целину хлеб государству выращивать, теперь на Алтае живет, механиком в совхозе работает; Аленушка студентам в институте преподает — вон куда махнула! — а Леня художник, такой портрет с матери нарисовал, что на Кузнецком мосту выставляли, будто она знаменитый человек.

А чем она знаменита? Ничем. Самая обыкновенная, безвестная, каких в стране сотни тысяч, а может, даже миллионы. Другие, вроде Ольги, на работе прославились, или артистками в Большом театре стали, или, как Аленушка, учеными, а она за семьдесят-то лет чего такого выдающегося сделала? Ничего, хоть и прожила вон как долго. Ладно, хоть ребята постараются сделать, оправдаются за нее перед партией, у которой она так и останется, видно, в неоплатном долгу.

В комнате уже совсем смерклось, когда в наружной двери завозились ключом, щелкнул замок и вошел, посвистывая, Леня, высокий, стройный, молодой. Леня включил было электричество, но, увидев мать лежащей на диване, перестал свистеть и торопливо погасил свет.

Василиса Петровна, собрав остатки сил, приподнялась на локте, чтобы встать и разогреть ему обед, но Леня замахал на нее руками:

— Лежи, лежи, отдыхай, я сам все сделаю,— и пошел на цыпочках в кухню.

Она снова в изнеможении опустила голову на подушку, тихо, виновато проговорила:

— Ты уж не обессудь, ноги что-то не ходят.

Но Леня, загремев в кухне кастрюлями, не услышал ее слов или не придал им особого значения.

А Василиса Петровна тем временем продолжала размышлять над своей и детей своих жизнью. И жизнь эта, не очень богатая событиями, когда трудная, когда веселая, проходила перед ней складною чередой, без путаницы, во всей своей неповторимой простоте, будто она чи-

тала про эту жизнь в книжке, так что даже было удивительно.

Вот представилась ей морозная октябрьская ночь в Москве, баррикады на улицах, тревожные окрики патрулей в холодной тьме переулков, рабочие-дружинники с Рогожской, поспешающие скорым шагом к Кремлю, а среди них, с винтовкой на плече, с лимонками на поясе, ее муж Иван Иваныч, модельщик с «Гужона», серьезный, решительный, и она — в ногу с ним. Как давно это было, и как все памятно! Сорок лет прошло уж, как шагала она к Кремлю в рядах дружинников, с санитарной сумкой, больно хлопавшей по боку, а потом перевязывала дрожащими с непривычки да от поспешности пальцами раны товарищей.

А в восемнадцатом году их с Иваном Ивановичем записали в продотряд, и они поехали в теплушках за хлебом для голодной Москвы. Там, в донских степях, в перестрелке с белыми сложил свою голову ее строгий, рассудительный Иван Иванович, с которым, думалось, не расстанутся они весь век. И это тоже было давным-давно, как вернулась домой одна,— тоже почти сорок лет назад.

А года два спустя после возвращения (Василиса Петровна тогда работала в фасонке, набивала землей опоки) шла она как-то зимним вечером домой с жаркого партийного собрания и встретила двух детишек: мальчика и девочку. Худенькие, испуганные, озябшие, брели они, взявшись за руки, по пустынной улице.

— Куда вы, милые? — удивилась она.— Замерзнете.

— Мы к тете идем,— сказал мальчик.

— Вот мамка задаст вам! — сердито припугнула она.— В такой мороз по гостям ходить вздумали.

Ей самой было зябко. Как все делегатки, она носила мужские ботинки, кожаную тужурку и красную ситцевую косынку. А эта бойкая одежонка грела плохо.

Мальчик внимательно, кротко и в то же время с каким-то грустным осуждением посмотрел на нее.

— У нас нету мамы,— сказал он.— Она вчера умерла в больнице.— Он помолчал и, еще печальнее глядя на Василису Петровну, добавил: — И папы нет. Его белые на фронте убили.

— Батюшки! — ужаснулась она.— Да что же это такое! Как тебя звать-то? — Растерявшись, она даже не нашлась сразу, о чем спросить мальчика.

— Саша,— равнодушно сказал он.

— А тебя? — Василиса Петровна присела на корточки

перед девочкой. Та заморгала часто-часто, нагнула голову и заплакала тоненьким, слабым голоском, словно комар:

— И-и-и-и...

— Ольгунькой ее зовут,— тяжело вздохнув, сказал Саша.

На Ольгунькиной голове неумело, кое-как был намотан большой, сильно изношенный, оставшийся, видать, после матери шерстяной платок, а из коротких рукавов залатанного пальтишка далеко высовывались голые, покрасневшие от холода ручонки.

У Василисы Петровны дрогнуло сердце. Она распахнула свою тужурку, подхватила Ольгуньку на руки, прижала к себе, чтобы хоть немного согреть ее, и дальше узнала от Саши толком лишь одно: ребятишки заблудились, так что уже не помнили ни того, где живет их тетя, ни того, с какой улицы они сами пришли.

— Бедные вы мои! Что же мне делать с вами? — проговорила она, оглядываясь в полном замешательстве.

Но на улице, заваленной сугробами, было пусто. В студеном зеленоватом небе скупо догорала желтая зимняя заря, кричали голодные галки, густо вихрясь вокруг церковного купола: наверно, никак не могли согреться.

— Ну-ка, — решительно сказала Василиса Петровна, обращаясь к Саше, — поспевай за мной!

Четверть часа спустя ребятишки уже сидели в ее комнате возле жарко накалившейся «буржуйки» и, старательно облизывая ложки, боясь уронить с них хоть крупинку, бережно и в то же время жадно ели горячую ячневую кашу, скромно сдобренную подсолнечным маслом.

Соседи пытались было советовать, учили, чтобы Василиса Петровна отдала ребятишек в приют, потому что сама еще молодая, выйдет замуж, своих детей народит, а так, с ребятами, кто ее возьмет?

Но она только хмурилась в ответ на эти бесполезные советы. Замуж Василиса Петровна не собиралась: не из тех она была, чтобы так легко забыть мужа, выбросить любовь к нему из сердца своего, да и Ольгунька уже стала звать ее мамой. Могла ли она хотя бы после этого в приют ее отдать?

Жить с ребятами стало беспокойнее, но теплей, уютней, отрадней. После гудка Василиса Петровна забежит на часок-другой в завком, в ячейку, к женоргу — и скорее домой. Постучится в дверь и спросит:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

А за дверью сейчас же раздаются два веселых ребячьих голоса:

— Мама Василиса да Оля с Сашей.

Скоро в этом небогатом тереме появились и еще два жителя: Колька с Илюшей.

Однажды теплым весенним днем Василиса Петровна нечаянно явилась свидетельницей отвратительной, ужасной сцены: остервенелые беспризорники толпой жестоко, нещадно били такого же, как и они, оборванного мальчика, молча лежащего, охватив руками голову, на булыжниках мостовой.

— Да вы что, стервецы, делаете! — закричала она в гневе.— Стыда на вас нет!

Она разогнала толпу, подняла судорожно всхлипывающего, с разбитой губой, с фиолетовым отеком возле глаза мальчика и увела его с собой.

А сзади, как ей показалось, подосланный беспризорниками, крался за ними другой парнишка.

— Да ты что, мазурик, шпионишь за мной! — рассердилась она.— Вот надеру тебе уши!

Мальчуган лишь настороженно смотрел на нее издали большими красивыми глазами и не отставал до самого дома, хотя она еще не раз обещала расправиться с ним.

— Они меня, если попадусь, все равно убьют,— перестав всхлипывать и размазав по грязным щекам слезы, просто, как-то очень обыденно сказал тот, которого она привела с собой. Это был Колька.

И опять, как тогда зимой, дрогнуло доброе сердце Василисы Петровны.

— Не бойся, не убьют,— грозно сказала она.— За что они тебя?

— За пятак. Я нашел пятак и не отдал.— Он говорил пришепетывая, так, будто сосал леденец, и произносил: «Жа пятак».

Василиса Петровна подстригла его ножницами, такими тупыми, что Колькина голова стала похожа на вспаханное поле, после чего, вымыв мальчика в корыте, переодела в чистые, хотя и поношенные рубашку и штаны, тотчас выменяв их у соседки на шаль, которой когда-то покрывалась по воскресеньям, выходя гулять с Иваном Иванычем.

У Кольки была веселая, лукавая физиономия, и даже синяк под глазом не портил ее милого очарования. Убедившись в том, что остается жить у Василисы Петровны,

Колька вытащил изо рта пятикопеечную монету и, уже не пришепетывая, деловито, с достоинством произнес:

— На, возьми. Мне он не нужен теперь, пятак этот.

— Ну что же, давай,— согласилась Василиса Петровна, принимая от него монету,— если вправду нашел. Нам в хозяйстве сгодится. Так, стало быть, родных у тебя никого не осталось?

— Никого,— охотно отозвался Колька.— Все от тифу, как мухи, померли. Один братишка еще остался, Илья.

— Где же он?

Колька небрежно мотнул головой:

— А вон на улице стоит. Второй день.

Василиса Петровна поглядела в окно, и ей стало до того стыдно, что она не знала, куда девать свое покрасневшее лицо. На той стороне улицы стоял и с тоской, со слезами на глазах смотрел в сторону ее дома тот самый большеглазый парнишка, который преследовал их вчера всю дорогу и которому она грозилась надрать уши, чтобы не шпионил.

— Ну-ка, давай его сюда! — решительно сказала она.— Давай.

А пять лет спустя Василиса Петровна принесла на руках четырехлетнюю Аленку, мать которой, товарку Василисы Петровны по заводу, насмерть сшибло трамваем. К тому времени все мальчики уже ходили в школу, дома сидела одна Ольгунька.

Как-то в канун всенародного праздника Великого Октября, не то в седьмую, не то в девятую годовщину, Василису Петровну вызвали в завком.

— Ну-ка, Василиса,— запросто, грубовато, как это и принято было меж ними, потребовал от нее председатель, литейщик, приятель Ивана Иваныча, вместе с ними ходивший выбивать из Кремля юнкеров, ездивший с продотрядом за хлебом,— расскажи, как ты живешь, детей растишь?

— Ничего, Петрович, живу,— смутившись, сказала она.

— Трудности бывают, преодолеваешь?

— Преодолеваю, ничего.

— Так вот. От имени нашей партийной ячейки и нашего заводского профсоюзного комитета решено оказать тебе помощь, поскольку дело воспитания — наше всеобщее дело.— При этих словах Петрович, насколько хватало

рук, сделал большую окружность, а подумав, добавил: — И так далее.

И принесла она в тот день такие подарки ребятишкам, что, пока шла до дома, слезы сами катились из глаз: всем по новым ботинкам, девочкам — нарядные платья, мальчикам вельветовые костюмчики. Оделись в них ребята на праздник, и стало совсем их не узнать, до чего похорошели.

Так с того раза и пошло: в каждую годовщину от заводского комитета и партячейки подарки ребятам, пока не подросли, не встали на ноги.

Сперва Николай, потом Илья с Сашей окончили школу, начали работать на заводе учениками, подручными, потом на самостоятельную работу перешли, а там, глядь, Илья уже уехал в военное училище по комсомольскому набору, а Николай с Сашей — в вузе на красных инженеров учатся.

Хорошие выросли ребята, хотя и разные все. Николай так и остался веселым хитрецом, подвижным, очень чувствительным; Илья был строг, спокоен, рассудителен, а Саша из тихого, застенчивого мальчика вырос таким своенравным и резким, что все время беспокоил Василису Петровну, так как по характеру оказался сильнее всех других ребят и даже Николая, который был старше его на четыре года, сумел подчинить себе. Ольга тоже вышла крута нравом, но у нее это выражалось не так сильно, как у Саши.

Когда началась война, Николай с Сашей, уезжая на фронт, пришли проститься. А Илья вступил в бой в самый первый час.

— Идите, ребята,— сказала Василиса Петровна,— и победите. Это мой вам материнский партийный наказ.

— Твой наказ будет выполнен, мама,— весело и трогательно, со слезами на глазах ответил Николай, а Саша спокойно сказал:

— Ну, об этом ты могла бы и не говорить. Сами знаем.— У него была такая привычка — подчеркивать, что он все давно знает сам.

Николай после этих слов виновато улыбнулся матери, как бы извиняясь за бестактность брата. Но она сделала вид, что ничего не заметила: не тот был час, чтобы прикрикнуть, как, бывало, на Сашу.

Ах, Саша, Саша! Он и теперь, уже с седыми висками, продолжал тревожить мать своим поведением: взял да и женился недавно второй раз, бросив первую жену с ребен-

ком. Василиса Петровна послала ему два больших сердитых письма, но они нисколько не образумили его.

За всех она была покойна, только Саша со своим трудным характером да Леня, самый младший, все заставляли волноваться.

Леня появился в ее доме осенью 1941 года. Она нашла его на вокзале. Родители Лени погибли в Калинине при бомбежке, а сам он отстал от эвакопоезда.

Не думалось ей тогда, что не успеет она поставить Леню на ноги. «Как он теперь один останется? Рубашки вот надо бы снять»,— с обычной своей заботой подумала она.

Скрипнула дверь, вошел Леня и так осторожно и тихо нагнулся над ней, что она почувствовала это лишь по его близкому дыханию и открыла глаза.

— Что ты?

— Не заболела ли ты, мама? — спросил он.

— Худо мне,— призналась она вновь, смежив веки.— Помру, видно, Леня.

— Ну что ты говоришь такое! — с тревогой и досадой воскликнул он.

— Я вот про тебя, как ты один останешься.

— Сейчас я «неотложку» вызову,— нахмурился Леня, не на шутку встревоженный.

— Не надо, милый.— И она слабым, вялым движением сухой морщинистой руки дотронулась до его плеча.— Лучше Ольгу позови.

Леня схватил плащ, шляпу и выбежал из дому, одеваясь на ходу.

Живковы жили на соседней улице. Леня ворвался к ним в квартиру, крикнул отворившей ему высокой полногрудой женщине, у которой все было строгое — и гладкая, на пробор, прическа, и выражение карих глаз, и манера держать себя (это и была Ольга Ивановна):

— Маме плохо! — и опрометью кинулся обратно.

Ольга Ивановна с мужем прибежали следом за ним.

— Что с тобою, мама? — крикнула она, лишь появившись в комнате.

— Плохо, Ольгунька, помру, видно,— тихо отозвалась Василиса Петровна.— Ты за Леней присмотри, не бросай его. Рубашки там...

— Леня! — решительно распорядилась Ольга Ивановна, привыкшая к тому, что ее беспрекословно все слушаются.— Вызови «неотложку».

Леня метнулся на улицу.

Однако все уже было напрасно, и пять минут спустя Василисы Петровны не стало.

Маленькая усталая старушка с простым, морщинистым, добрым лицом и тем живым, еще не успевшим отойти от нее выражением всепрощающей и всеобъемлющей любви и нежности к людям; какое встретишь у сотен тысяч, а может, у миллионов наших русских старух, словно заснув, лежала на диване, а со стены, с портрета в черной рамке, внимательно, чуть грустно смотрел на нее большеглазый майор с Золотой Звездой Героя и тремя орденами Ленина на груди.

Василий Живков и Ольга Ивановна стояли подле дивана и не оглянулись, когда вбежал врач.

— Поздно,— сердито сказала Ольга Ивановна, глотая слезы.— Нет уж больше нашей матери.

Хлопоты по похоронам Василисы Петровны взял на себя Василий Живков, человек толковый, расторопный, деятельный, безумно влюбленный в свою красивую строгую жену, любое слово которой — это всем было известно — выполнял в одну секунду.

Он все сделал быстро и аккуратно и так точно, будто только и занимался тем, что хоронил людей: выправил необходимые документы, известил Алену Ивановну, послал телеграммы Николаю Ивановичу и Александру Ивановичу, заказал гроб, автобус, оркестр, и уже день спустя останки Василисы Петровны повезли хоронить.

Утром, чуть свет, прилетел на самолете Николай Иванович с женой и тремя сыновьями-трактористами — здоровыми, как и отец, обветренными парнями. На глазах у Николая Ивановича блестели слезы.

Не было только Александра Ивановича, которому и ехать-то до Москвы меньше трехсот километров.

На улице было по-сентябрьски тихо, солнечно, но не жарко, и, когда выносили из дома гроб и ставили его в автобус, во дворе провожать Василису Петровну собралась большая притихшая толпа, а в углу двора, возле дровяных сараев, все еще висели на веревке выстиранные морщинистыми, весь век не знавшими устали руками Василисы Петровны Лениной рубашки.

«Почему нет Александра?» — думали и Николай, и Ольга, и Алена, и Леня, и всем им было стыдно перед людьми, что он не приехал проститься с матерью.

А Александр Иванович, получив телеграмму, сперва не придал ей никакого значения, так как в ней было написано следующее: «Умерла Петровна. Похороны завтра час дня на Калитниковском кладбище. Жуков».

«Чепуха какая-то,— подумал он, прочтя текст телеграммы,— я не знаю никакой Петровны, у меня нет в Москве никакого Жукова. Это, вероятно, не мне».

Весь день он был занят заводскими делами, вечером заседал на бюро райкома, поругался там со вторым секретарем, назвавшим его бюрократом, домой вернулся поздно, сразу лег спать и лишь на другое утро, проснувшись, вспомнил эту странную телеграмму.

«Что за чепуха? — думал он, в благодушном настроении принимая ванну, бреясь, надевая свежую, пахнущую крахмалом и утюгом белоснежную сорочку.— Какой-то Жуков, Петровна... Кто такие?»

«Кто такие? — продолжал он думать, сидя за завтраком, и уже с некоторым раздражением, так как мысль о телеграмме, неотвязная, как зубная боль, все сильнее беспокоила его.— Петровна, Петровна...— И вдруг, побледнев, вскочил из-за стола, чуть не опрокинув недопитый стакан чаю.— Да ведь это моя мать — Петровна! А Жуков — Это Живков! Это телеграф перепутал! Как же я сразу не догадался! Дурак,— уже ругал он Живкова, так неуклюже составившего телеграмму.— Теленок, бабий приказчик!»

Еще было время — четыре часа с лишним. Он еще мог успеть проститься с матерью. Но самолет на Москву улетал только вечером, поезд отправлялся в двенадцать часов дня. Можно было успеть только на автомобиле.

Он позвонил главному инженеру, парторгу, главному диспетчеру и всем сказал своим командирским голосом:

— Уезжаю в Москву.

Так же, без лишних объяснений, он сказал и своей жене, молодой, изящной женщине, которую, ни разу не увидев, так невзлюбила его мать, а садясь в машину, бросил шоферу:

— Сейчас половина девятого. Через четыре часа мы должны быть в Москве.

— Постараюсь, Александр Иваныч, — ответил тот.

— Не постараюсь,— нахмурился Александр Иванович,— а хоть кровь из носа.

Но, выезжая из города, задержались на переезде. Старый маневровый паровоз, лениво пыхтя, толкал вагоны,

перегородил ими шоссе, остановился и стоял, казалось, вечность, пока не потянул их, все усиливая ход, к железнодорожным пакгаузам.

Потом пришлось свернуть с главной магистрали и сделать большой крюк по разбитой проселочной дороге, объезжая ремонтировавшийся мост.

Александр Иванович, стиснув зубы, нахмурясь, сидел рядом с шофером, и вспоминалась ему вся его жизнь с того самого момента, когда холодным вечером Василиса Петровна подобрала его с Ольгунькой на улице. Как много лет прошло с тех пор! И как много огорчений и обид принес он за эти долгие годы матери!

И потому, что он впервые подумал о себе так, ему стало невыносимо жаль, что уже ничего нельзя поправить, изменить, что теперь уже все поздно.

К Москве подъехали все-таки в половине первого. Но надо было еще долго кружить по городу, по его улицам, то широким, то, как рукав, узким, но всюду шумным, беспокойным, сутолочным, полным пешеходов, автомобилей, троллейбусов, автобусов, грузовиков; приходилось простаивать чуть не на каждом перекрестке возле светофоров. Александр Иванович приказал ехать прямо на кладбище.

А похоронная процессия тем временем двигалась по Москве, миновала Сыромятники, Землянку, поднялась в гору на тесную, беспорядочную Таганскую площадь и, обогнув ее, устремилась по прямой к Абельмановской заставе. Но вот и застава позади. Несколько минут езды по тряской булыжной дороге, мимо старых деревянных домиков, и уже показались высокие деревья за кладбищенской оградой.

Никто не обратил внимания на стоявшую возле ворот запыленную машину, и лишь когда кладбищенские рабочие, суетясь и толкаясь, кинулись к гробу с венками и огромными букетами живых цветов, лишь тогда Ольга, а за ней Живков, Николай, Леня и ребята-трактористы, несшие гроб, увидели стоявшего в стороне бледного, нахмуренного, с плотно сжатыми губами Александра Ивановича.

Он стоял, по-военному вытянув руки по швам, своевольный, решительный человек, и, когда раздались печальные звуки оркестра, скупые слезы побежали по его щекам.

1955

ТРУДНЫЙ СТАРИК

Профессора Лебедева, заведующего хирургическим отделением Красновской больницы, уже старика, жившего одиноко и замкнуто, считали человеком трудным, вздорным.

Больница стояла на окраине города, недалеко от Красновского парка, где по вечерам играла военная музыка, которую, если распахнуть окна, особенно после дождя, слышали на верхних этажах.

Отделение считалось полостным, привозили сюда больше всего с аппендицитами, щитовидками, грыжами, и редко кто из больных задерживался больше месяца. Исключение составляли страдавшие язвой желудка или кишечника, их здесь называли «язвенниками». Но таких было мало.

Не проходило дня, чтобы Лебедев не накричал на кого-нибудь из персонала. Стоило ему увидеть даже небольшую оплошность, как он, не уважая и не щадя ничьего самолюбия, тут же начинал, как говорили няни, разоряться почем зря. В отделении, включая врачей, работали одни женщины, и редкий день обходился без слез.

Считали, что, если бы Лебедев был тактичным и воспитанным человеком, он бы мог высказывать свои замечания более сдержанно и не при всех или мог делать вид, что ничего не заметил.

Но ничего подобного он не хотел признавать, и, когда «разорялся», у него краснела даже лысина, покрытая редким сивым пушком, и всем становилось неудобно и неловко за его грубость.

Не любила его и Лариса Федоровна Горячева — дежурный хирург отделения, красивая, с пышными черными волосами, очень жизнерадостная и, несмотря на молодость, уже имевшая право самостоятельно вести самые сложные операции. Даже неизвестно почему, всем очень нравилось называть ее Ларочкой, и на верхних этажах больницы, где помещалось хирургическое отделение, в приемном покое часто слышалось: «Наша Ларочка», «У нашей Ларочки».

Когда Лебедев кричал на кого-нибудь, Лариса Федоровна с брезгливым огорчением смотрела на него, а если он повышал голос на нее, она гордо вскидывала голову и

ничего не отвечала. Так длилось пять лет, которые Горячева проработала в Красновской больнице, придя к Лебедеву прямо из института.

Если не было серьезных очередных операций, которые Лебедев делал сам, то он уезжал обычно на три-четыре часа в городские поликлиники, где консультировал. Без него все держались свободнее, проще, и казалось, если бы он уехал совсем, никто об этом не стал бы жалеть. Так думала и Лариса Федоровна и всякий раз, принимая дежурство, молила бога, чтобы Лебедев уехал куда-нибудь на консультацию и можно было бы держаться свободнее, веселее.

Подумала она об этом и сегодня.

Накануне она была в театре с Володей Корневым, майором, слушателем военной академии, который давно ухаживал за ней, был влюблен, смотрел на нее преданными, добрыми и как бы истомленными глазами. В этот вечер, провожая ее после театра, он наконец объяснился, сделал ей предложение, которого она уже давно ждала, но, услышав, уклончиво ответила, что должна подумать, хотя наперед знала, как будет вести себя и что скажет ему через день, при следующей встрече.

Теперь, после того как она хорошо выспалась, приняла ванну, у нее было бодрое чувство необыкновенной легкости во всем теле, и это светлое, солнечное утро с длинными тенями, прохладным еще небом, росою и тихо, в задумчивости стоящими старыми деревьями в Красновском парке придавало всему, что она чувствовала, особенную, значительную, радостно-праздничную прелесть.

В девять часов она заступила на дежурство, а в половине одиннадцатого ее вызвали в приемный покой, куда машина «скорой помощи» только что доставила прямо из школы молоденькую девушку-десятиклассницу, почти совсем ребенка, с длинными косами, в коричневом платьице и черном сатиновом фартучке. У нее был приступ аппендицита, она умоляюще, испуганно и доверчиво поглядела на Ларису Федоровну, и когда Ларочка оперировала ее, то все время чувствовала эти прекрасные, влажные от слез, встревоженные глаза, и синее чистое небо за огромным, чуть не во всю стену окном операционной, и то, как хорошо, легко она работает, и что у нее не проходит это удивительное, приподнятое, летящее ощущение бодрости, молодости и свежести и она, как яблоко, налита этой сладкой и тугой силой.

Через сорок пять минут все было закончено, а когда Лариса Федоровна записала в историю болезни, как проходила операция, сколько наложено швов, какие даны лекарства, как себя чувствует больная — пульс, температура, давление, когда она умышленно не спеша, наслаждаясь отдыхом после операции, сделала все это, выяснилось, что Лебедев уже уехал на консультацию.

— Ну и славно! — сказала Лариса Федоровна и засмеялась все от того же переполнявшего ее счастливого чувства.— Ах, как хорошо!

В этот день операций не было, а «скорая помощь» после школьницы никого не привозила до трех часов дня.

А в три часа Ларису Федоровну опять вызвали в приемный покой: привезли с сильным язвенным кровотечением рабочего завода «Провметалл» старика Мусина. Он был мертвенно бледен, худ, на ввалившихся щеках топорщилась седая щетина.

Когда Мусина перекладывали в палате с каталки на кровать, у него опять, как на заводе, хлынула ртом кровь. После этого он так ослаб, что даже не мог говорить и лежал, стиснув зубы и закрыв глаза.

Лариса Федоровна Горячева и два ординатора поспешно занялись им. Бесшумно и быстро передвигались озабоченные и встревоженные сестры, выполняя тихие и отрывистые распоряжения Ларисы Федоровны.

Но все, казалось, было напрасно: давление крови катастрофически упало, пульс перестал прощупываться. Даже оперировать старика было уже поздно. Скоро Мусина стал трясти озноб, появилась зевота: старик умирал.

Всю палату заливало солнцем, и то ли от крови, которую не успели убрать с полу, то ли оттого, что, казалось, уже невозможно было предотвратить неизбежное, Ларисе Федоровне Горячевой стало душно. У нее уже не было того счастливого ощущения солнца, неба, своей молодости, той долгой-долгой, красивой, шумной жизни, которая у нее еще вся впереди. И нетерпеливо хотелось теперь только одного — чтобы профессор Лебедев был сейчас здесь. Ах, как необходимо было присутствие этого грубого, вздорного, нетерпимого к людям старика.

Ему уже звонили в поликлинику, он знал, что умирает человек, и наконец приехал.

Не успел он выйти из лифта, а ему навстречу по коридору спешили встревоженные, озабоченные врачи, окружили его, рассказывая о состоянии больного и о том, какие

меры приняты. Изменив на этот раз обыкновению, он даже не зашел к себе в кабинет, чтобы надеть халат, и, как был, в сером мешковатом костюме, сутулый, неловкий, потирая большие красные руки, неторопливо пошел к палате, где лежал Мусин. Врачей, мешавших ему идти, теснившихся возле него, он слушал невнимательно и, глядя под ноги, неопределенно, отрывисто бросал:

— Да. Так. Хорошо. Ну, что же, правильно. Этого следовало ожидать. Ничего.

И, глядя на его невозмутимое лицо, казалось, что и в самом деле ничего особенного не происходит.

В палате он не задержался, быстро осмотрел Мусина, слегка поморщился и, словно тут же потеряв к нему интерес, пошел к двери, бросив:

— На стол!

Но сказал уже твердо, повелительно, властно.

Когда Мусина везли в операционную, все, кто был в коридоре, знали, что он при смерти, и с тревогой и жалостью смотрели ему вслед.

Через три часа двери операционной, все это время закрытые наглухо, распахнулись, и Мусина повезли обратно в палату.

А внизу, в коридорчике регистратуры, на жестком диванчике с сиденьем, вытертым местами до восковой желтизны, сидела худая, темная старуха, жена Мусина, и слезы текли по ее дряблым щекам не отвесно, а по морщинам, и от этого все лицо ее, даже подбородок, было мокрым.

Мусин был человеком мрачным, склочным, еще лет десять назад в каждую получку обязательно справлял «день металлурга», «зашибал», и тогда ему нельзя было слова сказать, потому что он, чуть что, дико свирепствовал — начинал кидаться в стены тарелками и стаканами и кричал: «Я здесь хозяин!»

Состарился он как-то сразу, в один день, и тоже сразу, как отрубил, бросил пить водку, но после этого сделался до того жадным, что считал каждый гривенник, и когда однажды ходил со старухой в заводской клуб на бесплатное кино и там старухе, словно на грех, захотелось попить лимонаду, он купил ей за пятачок лишь газированной воды без сиропа.

Дети — их было трое — давно разъехались из дому кто куда.

Раньше старухе казалось, что, если он умрет, будет для всех облегчение, но, когда узнала, что старик ее при смер-

ти, ей так сделалось жалко его, что у нее от горя подкосились ноги и она едва дотащилась до больницы.

Теперь, сидя на жестком диванчике, она вспомнила все годы, прожитые в замужестве, все сорок шесть лет. И вспомнилось только хорошее: старик казался добрым, ласковым, веселым, щедрым, каким никогда его и не видали, и старухе даже стало удивительно, как это она раньше ничего такого не замечала за ним.

Лариса Федоровна ассистировала профессору, очень устала, но, как только операция закончилась и стало ясно, что Мусин спасен от смерти, усталость словно рукой сняло и вновь вернулось то чудесное ощущение, какое с утра волновало ее.

Ей сказали, что внизу уже давно сидит и плачет жена Мусина, она сейчас же сбежала к ней по лестнице, скользя одной рукой по перилам, легко и весело перескакивая через ступеньку, села, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, рядом со старухой, вполоборота к ней, на диване, касаясь твердой, сухой старушечьей ноги упругим, полным коленом, и, заглядывая в глаза, убежденно и радостно сказала:

— Зачем же плакать! Теперь все хорошо, профессор у нас замечательный, он все сделал как нельзя лучше! — И, говоря так, сама вдруг впервые подумала, что профессор у них действительно замечательный и больница у них тоже замечательная, операционная оборудована самой новейшей аппаратурой, а какие хорошие, внимательные, заботливые врачи, сестры, няни!

— Господи! Пошли ты ему долгих лет самой хорошей, самой беспечальной и бесслезной жизни за доброту его сердечную, за руки его золотые,— вытирая ладонями мокрые щеки и подбородок, запричитала старуха.— Не оставил меня сиротой, старую.

— Ну, вот и хорошо,—растроганно сказала Лариса Федоровна, обняв ее за плечи и помогая встать с диванчика.— А теперь идите домой, отдохните и приходите к нам завтра. И, пожалуйста, не беспокойтесь.

Поднимаясь в лифте к себе на пятый этаж, Лариса Федоровна вспомнила все старушечьи слова,— как хорошо, складно сказала она: «За доброту сердечную, за руки золотые»,— хотя никто еще не видел лебедевской доброты, а руки у него были красные, большие, рабочие.

И все-таки как же была права старуха! Только даже за то, что Лебедев сделал сейчас своими руками для Му-

сына, хотелось простить ему всю его грубость и бестактность. И Лариса Федоровна, чувствуя себя от этого еще лучше, решила пойти к нему и рассказать, с каким восторгом благодарила его старуха Мусина и как приятно было слышать это.

Профессор, собравшийся ехать домой, стоял на лестничной площадке, красный до макушки, уже кричал за что-то на дежурную сестру. У Ларисы Федоровны вдруг пропала вся охота разговаривать с ним, и она с обычной своей брезгливостью поспешно прошла мимо.

Лебедев не помнил зла, быстро отходил, но это никто не ставил ему в заслугу, так же как никто не замечал, что он одинок, что жизнь его на исходе, что роднее, дороже Красновской больницы для него давно уже ничего нет и он до обожания любит всех, кто работает с ним, а кричит потому, что стесняется показаться смешным в этой своей сердечной привязанности к врачам, сестрам и няням.

По дороге домой и дома, сидя за стаканом крепкого чая, который принесла ему старуха, жившая у него очень давно, которую он по привычке называл няней, воспитавшая обоих его сыновей, погибших на фронте, похоронившая с ним его жену, он все думал о больнице, как, впрочем, думал о ней каждый день, и думал не о том, что отлично сделал операцию,— это давно стало для него привычным и будничным,— а о том, что Ларочка Горячева прекрасно ему ассистировала и, конечно же, скоро сама будет делать такие операции. Это было очень приятно ему.

Вечером в открытое окно ординаторской было слышно, как в Красновском парке играет военная музыка, и, слушая ее, Лариса Федоровна, счастливая, возбужденная, думала о том, как много еще ей жить на свете, что вот пройдет эта короткая летняя ночь и утром, сдав дежурство, она встретит Володю Корнева и скажет ему о своем согласии. Ночью, все думая о Володе, о том, что очень любит его, она несколько раз приходила к Мусину. Во сне он дышал свободно, легко и утром, открыв глаза, пощупав слабой, неверной, костлявой рукой щетину на подбородке, спросил у соседа, когда придет парикмахер и даром бреет он или за деньги.

Потом он долго лежал неподвижно, уставясь в одну точку на потолке, и прикидывал, во сколько ему обойдется больница: по бюллетеню он будет получать восемьдесят

процентов заработной платы, по рублю через день придется платить за бритье, да старуха разгуляется теперь не в меру, станет носить ему гостинцы, курицу, наверно, сварит, яблок купит...

Выходило, что долго лежать здесь невыгодно. И больше всего старика беспокоило, что надо платить парикмахеру, когда, говорят, в других больницах бреют задаром.

1957

ДВА НОВЫХ СЧАСТЛИВЫХ ЧЕЛОВЕКА

Жил-был писатель, у которого была длинная благозвучная фамилия и большие серо-бурые усы, которые он отрастил для важности. Когда писатель сердился, он фыркал в усы и ворчал: «Фу, нехорошо. Мерзость, гадость». Но надо сказать, что фыркал он редко. Это был добрый и веселый писатель.

Однако лучше я начну с самого начала.

Было около десяти часов утра, когда на маленькой, затерявшейся в лесу дачной станции остановился электропоезд и из вагона вышли двое молодых людей. И он и она были одеты в спортивные брюки и ковбойки из простого, грубого материала.

Электропоезд мягко, почти с места разогнавшись, ушел, а они остались вдвоем на пустынной платформе. Коричневый станционный домик, недавно покрашенный, с желтыми плинтусами и наличниками, с ярко-красной, как у мухомора, высокой крышей, сиял на фоне зеленой стены леса, подступившего к самому железнодорожному полотну. Солнце было уже высоко, хотя прохладные тени лежали на земле еще длинные и роса не высохла даже на припеке.

Когда замер покатившийся вслед за поездом вдоль лесной просеки шум колес, в тишине стал слышен бумажный шелест листьев осины. Молодые люди посмотрели друг на друга, улыбнулись, взялись за руки, сбежали по скрипучим ступеням с платформы и углубились в лес, начинавшийся сразу за станцией зарослями лещины.

Лес был старый, чистый, насквозь пронизанный солнцем, и в нем стоял тот густой, теплый парной запах гри-

бов, прелых листьев, смолы и земляники, какой бывает в лесу только по утрам в середине лета.

Войдя в лес, молодые люди остановились и, убедившись, что поблизости никого нет, стали целоваться, а потом вновь взялись за руки и, шаловливо отталкиваясь плечами, делая вид, что это нечаянно, стараясь не смотреть друг на друга от возникшего вдруг смущения, пошли дальше по мягкой, с глубокими колеями, лесной дороге.

Скоро средь деревьев показались дачи с раскрытыми окнами, запахло дымом, кухнями, послышались голоса играющих в футбол детей. Молодые люди свернули с дороги на узкую тропинку и вдоль старого, покосившегося тына, задевая мокрые от росы заросли малинника, сбежали в глубокий овраг. Солнце сюда еще не доставало, в овраге все было как ночью — сыро, зябко, глухо, пахло туманом. Молодые люди, перейдя по шаткому, прогибавшемуся под ногами жердевому мостику через чистый, с песчаным дном, ручеек, поспешили наверх и скоро вновь очутились в душистом лесном тепле.

— Подожди, Митя,— сказала девушка, слегка запыхавшись от быстрого подъема.— Такая крутая гора, правда?

Отдышавшись, она приблизилась к нему, с терпеливой, доброй улыбкой смотревшему на нее, положила ему на плечи тонкие загорелые руки, сомкнула их у него на затылке и, чуть касаясь губами его рта, осторожно, целомудренно, со строгим лицом, поцеловала его несколько раз, а отстранясь, но не снимая рук с его плеч, склонив голову, внимательно, серьезно глядя ему в глаза, спросила:

— Это знаешь что?

— Что, Надюша? — все продолжая улыбаться, спросил он.

— Это я так люблю тебя.

Это сказано было столь откровенно, беззастенчиво и трогательно, что Митя, удивясь и обрадовавшись, не нашелся, как ответить, и лишь крепко обнял.

Митя был единственным сыном у матери, красивой, такой же, как он теперь, смуглой, с прямым и открытым взглядом карих глаз, рано овдовевшей. Отец Мити, летчик-испытатель, погиб при катастрофе несколько лет тому назад, весной, когда Митя заканчивал седьмой класс и именно в этот день написал записку Надьке Востряковой из седьмого «Б» класса соседней школы.

Чтобы помочь матери, машинистке, Митя не стал дальше учиться, а пошел работать на завод. С тех пор минуло пять лет. Митя вырос, считался уже хорошим вальцовщиком, был членом цехового комсомольского бюро и учился в девятом классе вечерней школы рабочей молодежи.

Надя как начала с первого класса учиться на одни пятерки, так с этими пятерками и десятилетку закончила. Теперь она уже была студенткой университета и перешла на третий курс. Семья, в которой она выросла, шумно и дружно жила в старом доме на Курской канаве. Отец и два старших брата Нади работали на «Серпе и молоте», дымившем разноцветными дымами метрах в пятидесяти от их дома, за высоким забором.

Митя последние годы бывал в этом доме частым гостем, чувствовал себя свободно, запросто, даже когда мальчишки, увидев его, кричали: «Надькин жених идет!» Ему здесь все нравилось. Нравилось, что по вечерам все обитатели дома выбираются во двор: женщины чинно сидят на длинной лавочке, мужчины возле забора, под старой ветлой стучат костяшками домино по столу, девочки без устали скачут через веревку, а мальчишки гоняют посреди двора мяч. Нравилось Мите и то, что квартиры тут с утра до позднего вечера не запираются, двери распахнуты настежь — входи, кто хочет. Его здесь все знали и относились к нему приветливо, с уважением.

— Ну, пойдем же дальше, глупый,— сказала Надя, высвобождаясь из его объятий.

Скоро лес начал редеть, появилось больше солнечного, уже не прерываемого тенями, света, стало теплее, ярче, и они вышли на луг, уже скошенный, с разворошенной, посеревшей в увядании, с сильным сенным запахом и нескончаемым звоном кузнечиков травой.

На той стороне луга снова начинался лес, где среди деревьев снежно белели стены и колонны загородного музея.

На всех музейных дверях висели амбарные замки: здесь был выходной день. Но они нисколько не расстроились, что приехали так неудачно, и стали бродить по широким, пустынным, почти укрытым от солнца кронами старых лип аллеям, где меж деревьев то тут, то там стояли на пьедесталах, задумавшись, мраморные скульптуры, большей частью безрукие.

Заглянули в пыльные, забранные частой толстой решеткой оконца старенькой церквушки, стены которой расписаны Васнецовым, посмотрели в окошко итальянского

домика, который, к удивлению, оказался совершенно пуст, даже гнилой табуретки не было.

Вокруг стояла тишина, какая и должна окружать музей, только легко, радостно и тонко пели птицы. Не встретилось ни одного человека. Митя с Надей делали вид, будто поражены всем, что попадается на глаза: и изяществом «храма Цереры», построенного в строго классическом стиле более полутораста лет назад Баженовым, и фигурным мостиком с зубчатыми башенками, перекинутыми через сухую, поросшую кустарником и крапивой канаву.

Прижимаясь друг к другу, они с почтительной сосредоточенностью читали надписи, делая при этом многозначительные лица. Но все это было наивной хитростью, шитым белыми нитками лицемерием. Эти мостики, портики, беседки, бельведеры и башенки в готическом, «нарышкинском», классическом стилях не могли ни интересовать, ни волновать их только лишь потому, что они были заняты собою, друг другом, своей близостью, своим счастьем.

Они бы еще долго так притворялись, но Надя, остановившись возле скульптуры, изображавшей схватившихся Антея и Геракла, воскликнула, смеясь:

— Митька, отгадай, что мне сейчас вдруг, сию минуту, пришло в голову!

Митя, простодушно улыбнувшись, пожал плечами.

— Ну, я прошу тебя, отгадай, — капризно попросила Надя.— Ну, прошу тебя.

Глубокомысленно хмурясь, Митя поглядел в небо, где застыли легкие, похожие на пену облака.

Но он не замечал сейчас этих красивых облаков, не слышал свиста малиновки, шелеста листьев, гудения пчел, далекого, как гром прокатившегося по железнодорожной просеке бега электропоезда. Притворяясь, что задумался, он лишь понимал и чувствовал, что Надя рядом с ним и что он очень любит ее.

И Надя следила за выражением его лица.

— Нет, тебе, видно, и вправду не отгадать,— наконец вздохнула она.— Я лучше сама скажу. Видишь,— она кивнула в сторону Антея и Геракла,— у этих дяденек сегодня выходной день, как и у тебя, и они вышли сюда, чтобы немного поразмяться. Это тяжелоатлеты. Один из нашего «Металлурга». Ты за кого болеешь? Я, например, за того, который вот-вот задохнется. Мне всегда жалко тех, которые проигрывают.

Он засмеялся, привлек ее к себе и хотел поцеловать, но Надя, изогнувшись, запрокинула голову и погрозила пальцем.

— Тсс...— сказала она.— Нельзя. Эти дяденьки за нами подсматривают. Они только делают вид, что борются, а на самом деле они неприлично любопытные и подсматривают за всеми, кто целуется.

Ему и это показалось смешным и милым, а она, выскользнув из его объятий, оттолкнувшись от него, крикнула: «Догоняй!» — и побежала под горку в сторону по боковой дорожке. Но, сорвав с головы косынку, с развевающимися волосами, она бежала все дальше и глубже в парк, и лишь когда свернула в чащу, с ходу врезавшись в кустарник и проскочив на залитую солнцем и пахнущую медом полянку, ему удалось догнать и схватить ее. Она обернулась, жарко и часто дыша, увидела близко его настойчивые, настороженные глаза, каких не видела еще ни разу, и ужас и радость, гнев и изумление, восторг и мольба — все, вдруг смешавшись, мгновенно отразилось в ее ответном взгляде...

Встретившись с ней глазами, он почувствовал в себе новый прилив освежающей радости человека, которого любят, и тут же ощутил, как сам необыкновенно любит ее, что ее изумленное и радостное лицо до боли дорого ему, что прекраснее этого лица ничего нет на свете, привлек ее к себе грубым, сильным движением и стал целовать ее счастливое лицо, ее припухшие от поцелуев губы.

Возвращаясь на станцию, они еще несколько раз целовались, а потом сидели близко друг к другу за маленьким столиком в пустынном пристанционном буфете и, проголодавшись, с наслаждением ели черствые бутерброды с твердой, покоробившейся и покрывшейся слезинками выступившего жира колбасой, запивая теплым яблочным напитком, и не замечали ни того, что бутерброды такие невкусные, ни того, что за ними с завистью следит из-за прилавка пожилая женщина, у которой никогда не было такого счастья, потому что она все делала из корыстолюбия и жадности, а почти вся жизнь теперь уже позади.

Войдя в вагон, они примостились рядом. Надя обхватила обеими руками его руку и прижалась к нему. Митя, думая, что она задремала, боялся пошевельнуться.

Но Надя не спала, то и дело открывала глаза, приподнимала голову и взглядывала на него влюбленным взглядом, то молча, то о чем-нибудь спрашивая, и, будто убе-

дившись в том, что он цел, невредим и даже произносит в ответ ей слова, опять на мгновение успокаивалась.

Подремав, Надя подняла голову и, смутно улыбнувшись, взглянула на Митю.

— Мне сейчас показалось знаешь что? Будто мы едем далеко-далеко.

— А что,— отозвался он,— можем спокойно уехать.

Надя опять улыбнулась, положила голову ему на плечо и, повозившись, устроившись, поудобнее, закрыла глаза.

А вагон жил своей, совсем далекой от них жизнью. Сосед Мити, не очень уже молодой, но и не так чтобы старый, усатый человек, обстоятельно обсуждал со своим другом начавшуюся войну в Омане, о которой сегодня сообщалось в печати. «Ну, не хорошо, не хорошо. Ну!» — осуждающе говорил усатый человек. Парни, толпой ввалившиеся в вагон, остановившись в проходе меж скамеек, громко спорили о футболе, с соседней скамейки слышался злой, обиженный голос: «Ну, ничего, взял я и этот наряд. Ладно. А расценки? Я у него спрашиваю: а расценки? Молчит: ладно, мол. Не-ет, меня не проведешь, не на такого напал...» А за Митиной спиной рассказывала женщина, неторопливо, позевывая: «И родился у них мальчик. Такой-то хороший, такой-то веселый. А он сейчас взял да и ушел к другой, к разведенке. И осталась она с мальчиком...»

Надя тем временем вновь подняла голову.

— И, знаешь, давай уедем совсем далеко. В Заполярье или на целину. Нам дадут домик, и мы будем там жить. Всю жизнь. А в Москву будем приезжать в гости.

— Только подождем, когда ты кончишь учиться. Ладно?

— Ладно,— охотно согласилась она.

Усатый человек, обсуждавший войну в Омане, был не кем иным, как писателем, о котором упомянуто в начале рассказа. Напомним, что это был писатель рассудительный, добрый и очень проницательный, вероятно, потому, что с некоторых пор пил только сухое вино. Он давно обратил внимание на их счастливые усталые лица, на то, что для них не существует ни вагона электропоезда, в котором они находятся, ни людей, которых по мере приближения поезда к городу становится вокруг все больше и больше.

И, увидев это, он понял, почему они находятся в таком трогательном одиночестве и не замечают ни радостей, ни

печали, ни веселья, ни горя, царящих вокруг. А когда он понял это, лицо его стало еще добрее и приветливее, как у милого андерсеновского Оле-Лукойе, потому что счастливых людей на земле теперь, стало быть, прибавилось ровно на два человека.

И он решил непременно написать про это рассказ. Вот только жаль, что он до сих пор никак не соберется и не напишет. А рассказ может получиться очень интересным, и все с удовольствием прочтут о том, как на свете появилось два новых счастливых человека, которые будут долго-долго, до глубокой старости, жить в мире и согласии и преданно любить друг друга.

1958

СОСЕД

Весной Анна Петровна с пятилетним сыном Андрюшей и матерью мужа Клавдией Федоровной, которую все звали бабой Клавой, выехали на дачу. Легкий засыпной домик под сереньким платочком шиферной крыши, в котором поселились Никаноровы, так им понравился, что решено было прожить в нем до глубокой осени, пока не вернется глава семьи, отец Андрюши, инженер-электрик, уехавший в Сибирь на все лето.

В саду, как это бывает на учрежденческих дачах, сдаваемых каждую весну новым жильцам, разрослась самая настоящая дикая тесная роща: березы, липы, осинник, лещина, бузина. Было много птиц, и Никаноровым это тоже понравилось.

Каждое утро Анна Петровна уезжала в Москву, где служила в научно-исследовательском институте, и когда шла на станцию по тихим прохладным утренним улицам, по мокрым от росы дорожкам, особенно остро чувствовала себя молодой, счастливой, хорошо отдохнувшей. Хотелось много работать, чтобы к вечеру утомиться, снова безмятежно заснуть, а наутро, умывшись возле крыльца из рукомойника студеной колодезной водой, причесав пышные русые волосы, с удовольствием оглядев себя в зеркале, вновь ощутить себя свежей, бодрой, здоровой. И так верилось во все хорошее, что должно еще случиться с тобой и

что ты еще непременно сделаешь для людей. Она ждала от жизни необыкновенного, любила людей необыкновенных, героических, совершающих подвиги, делающих открытия, про которых можно говорить с восторгом, восхищаться их поступками.

Дни стояли большие, от зари до зари напоенные солнцем, душным запахом трав, шелестом рощи. Баба Клава, проработавшая на текстильной фабрике тридцать с лишним лет, только в прошлом году ушедшая на пенсию, считавшая себя женщиной прямой, рассудительной, и Андрюша, с переездом за город быстро загоревший, исцарапавшийся о деревья, скоро познакомились со всеми соседями, кроме Кирюхина, человека неопределенных лет, одиноко жившего в собственном доме. С Кирюхиным их разделял невысокий, посеревший от солнца и дождей, кое-где покосившийся шершавый забор. Было хорошо видно, что в кирюхинском саду растут не березы и осины, а яблони, вишни, смородина, малина, крыжовник. Сам Кирюхин, длиннорукий, тощий, с седой, стриженной под машинку головой, все дни напролет возится около деревьев и, казалось, никогда не отдыхает, не ест, не пьет, как ни поглядишь через забор, все ходит по саду то с лопатой, то с лейкой, то с граблями.

Баба Клава любила заводить знакомства, обстоятельно беседовать с людьми, узнавать о их жизни, давать советы. И как было бы хорошо, если бы она могла и соседу что-нибудь посоветовать. Но знакомство с ним не ладилось. Кирюхин жил так замкнуто, словно никого не существовало вокруг. Однажды баба Клава подошла к забору и сказала:

— Здравствуйте, сосед.

Кирюхин ползал меж грядами на четвереньках и, подняв голову, неохотно сказал:

— Здравствуйте.

— Какой у вас сад обихоженный,— сказала баба Клава, уже предчувствуя долгий, неторопливый разговор о жизни, о международном положении, о погоде.— Чего только в нем нет!

Кирюхин отозвался неопределенно:

— Как сказать.

— Я вот смотрю и думаю: сколько же килограммов уродится у вас ягод всяких!

— Много,— сказал Кирюхин, принялся за свое дело и уж больше не обращал на женщину никакого внимания.

Баба Клава постояла немного и, огорченная, как она говорила потом, словно оплеванная, отошла от забора. У нее сложилось убеждение, что человек он грубый, жестокий, людей не любит и, очевидно, жадный.

Когда поспела клубника, баба Клава, подавив в себе неприязнь к Кирюхину, попросила его продать для Андрюши свежих ягод.

— Заходите и рвите сколько надо,— сказал Кирюхин.

— А что вы возьмете с нас? — осторожно спросила баба Клава.

— Ничего. Чего же с вас брать?

Баба Клава знала, что ранние ягоды стоят на базаре дорого, и, когда шла к Кирюхину, дала себе слово держаться с достоинством, не торговаться, уплатить, сколько запросит, и тем самым показать свое превосходство над ним. Ответ Кирюхина даже обидел ее.

— Нет,— сказала она,— даром я не возьму. Каждый человек должен получать за свой труд сколько полагается, а потом у нас есть средства, чтобы расплачиваться за покупки.

— Ну, как знаете. А я, между прочим, тоже не беден,— ответил Кирюхин.

Вечером, когда уложили Андрюшку, после захода солнца пили чай на веранде с распахнутыми окнами, баба Клава говорила Анне Петровне:

— Это какой-то чудак, право слово. За деньги продать отказался, а даром, говорит, бери сколько хочешь. Ты встречала где-нибудь таких? — и она осуждающе посмотрела в ту сторону, где жил Кирюхин. Было видно, что он ходит вдоль дорожек и поливает цветы.

— В жизни должен быть смысл,— разливая чай, продолжала баба Клава.— А где смысл в том, как он живет? Можно ли так не уважать себя, свой труд, бессмысленно работать с утра до вечера и ничего не получать за это? Я сама всю жизнь трудилась и знаю, что, только когда твой труд ценят и расплачиваются за него, ты можешь считать свою жизнь осмысленной и быть довольной ею.

Анна Петровна, слушая свекровь, думала: а какое им, собственно, дело до этого странного, скучного и совершенно чужого для них человека?

Она выросла в семье, где внимание к людям, порядочность, честность, бескорыстие считали естественным, обязательным, само собою полагающимся, как, например,

естественно и необходимо умываться по утрам, трудиться, обедать, спать. Однако в бескорыстии Кирюхина было уже нечто иное, не похожее ни на что, и, хорошо это было или плохо, она никак не могла понять.

Полуостывший чай был крепок и ароматен, и вечерняя тишина, и настоянный тонкими запахами растущих в кирюхинском саду цветов посвежевший к ночи воздух — все было очаровательно, мило. Хотелось думать не о Кирюхине, его странностях, а о своей молодости, о том, что вот она всего четыре года назад окончила университет, а уже считается в институте опытным сотрудником, ее ценят, скоро она защитит кандидатскую диссертацию и сколько еще хорошего, полезного сделает за свою жизнь!

В августе над поселком чуть не каждый день проползали тяжелые, набухшие сизые тучи, сияли молнии, гремели раскаты грома, а когда прояснялo, мокро пахло распаренной землей, тополями и флоксами.

В один из таких дней случилось несчастье: Андрюша, спрыгнув с дерева, повредил ногу. Сперва этому не придали большого значения, уложили его в постель, полагая, что к утру все заживет. Но в полночь у него поднялась температура, ступня ноги покраснела, распухла и так болела, что Андрюша не переставал плакать.

Еще с вечера наползала туча, не спеша и плотно закрывая собою синеву неба, а когда смерклось, начали вспыхивать далекие молнии. Грома пока не было, одни лишь голубые и резкие, так что вдруг освещался весь дом и деревья, вспышки в темном небе. Надо было срочно найти врача, оказать Андрюше помощь, но они не знали, где он живет и есть ли вообще в поселке врач. Все соседи давно уже спали, только в кирюхинском доме горел свет, и Анна Петровна, не колеблясь, постучала в калитку.

— Послушайте! — поспешно и тревожно заговорила она, когда Кирюхин вышел из дому и остановился по ту сторону калитки.— У Андрюши страшно болит нога, нужен врач.

— Здесь нет врача,— глухо из темноты отозвался Кирюхин. — Надо ждать до утра, когда откроется амбулатория.

— Но это невозможно. Он не дотерпит до утра! — воскликнула Анна Петровна.

Помолчав, Кирюхин сказал:

— На соседней станции есть больница, там и врачи дежурят.

В это время проворчал первый гром, так неясно и глухо, словно в оркестре попробовали настройку литавр.

— Но, может быть, можно найти машину?

— Какие теперь машины. Поезжайте поездом. Электрички еще должны ходить.

И будто в подтверждение его слов вдалеке прогудела сирена электропоезда и послышался перестук колес. Опять сверкнула молния, осветив и Анну Петровну, и Кирюхина, и калитку. Совсем близко, заглушив шум поезда, гулко, словно железная бочка по камням, по небу прокатился гром.

— Очень болит? — спросил Кирюхин.

— Очень. Я боюсь, не перелом ли это.

— Ну уж перелом,— сказал Кирюхин, выходя за калитку.— Пойдемте, я погляжу.

Откинув с Андрюши одеяло, Кирюхин поглядел на его распухшую ногу и, ничего не сказав, стал снова кутать Андрюшу, потом поднял его на руки и понес к двери, бросив на ходу Анне Петровне:

— Деньги на проезд не забудьте.

И вновь, как только спустились с крыльца, душная, тяжелая темнота окружила их. В природе, казалось, все притихло и успокоилось, когда над самой их головой страшно ударило и пошло гулять по небу, раскатываясь, треща, грохоча и ухая, что-то тяжелое, огромное, ощутимо круглое. Сверкнула молния, раз, другой, и за первым треском последовал второй, но совсем иной, уже не круглый, а длинный, словно разорвали полотнище коленкора. И после этого в том месте, где разорвали, хлынул отвесный, сильный ливень.

На станции, куда они пришли, плохо освещенной фонарями, залитой дождем, было неуютно и пустынно. Здесь они узнали, что последний поезд в ту сторону, куда им надо было ехать, отправился полчаса назад, а движение других электричек приостановлено до утра из-за ремонта путей.

Анна Петровна в изнеможении присела на скамейку.

— Боже мой, какая тяжелая, трудная ночь! — в отчаянии проговорила она и заплакала.

— Ничего,— виновато сказал Кирюхин.— Можно пешком. Вы пешком идти сможете? Тут всего четыре километра.

Он положил рядом с ней Андрюшу, поправил на нем сбившееся одеяло и, приговаривая: «Вот сейчас все будет

хорошо, сейчас мы и дальше пойдем», снял с себя пиджак, обернул им Андрюшу поверх одеяла, поднял мальчика на руки и пошел к краю платформы.

Дождь все лил, и было слышно, как он шумит по придорожным кустам и деревьям. Идти по шпалам было очень трудно, Анна Петровна то и дело оступалась, но не замечала ни дождя, ни вымокшей одежды, ни плохой дороги. Мысли ее были заняты Андрюшей, тем несчастьем, которое случилось с ним, его болью. Не обратила она внимания и на то, как тяжело, сипло, с натугой дышит Кирюхин. Ее только раздражало, что он все чаще начал останавливаться. Сделает сотню шагов, остановится, словно для того, чтобы послушать, как шумит дождь, и опять не спеша тронется в путь. А ведь надо было как можно скорее попасть в больницу, помочь Андрюше, облегчить его страдания. И не знала она, что Кирюхин едва идет, что его мучает астма, что в груди его беспрерывно жжет, словно там ворочают раскаленной кочергой. Не знала она и того, как трудно живется ему. Оба сына Кирюхина, офицеры, погибли, как было сказано в извещении из райвоенкомата, «при исполнении служебных обязанностей», а несколько месяцев спустя после того, как пришла похоронная, померла жена. Кирюхин был убежден, что померла она не от рака легких, как утверждали врачи, а с горя.

С горя, считал он, и астма завелась у него, из-за которой пришлось бросить работу на заводе, где он почти тридцать лет простоял возле мартеновских печей, где теперь сталеварами и мастерами — сплошь его ученики. В огороде он копался с утра до вечера потому, что был убежден: если ничего не станет делать сегодня, не станет делать завтра, то послезавтра тоже помрет. Помирать же ему не хотелось.

Ничего этого Анна Петровна не знала.

Наконец впереди показались тусклые огни станции, Кирюхин стал спускаться с насыпи.

— Давайте за мной, тут ближе,— сказал он.

Они свернули вправо и по тропке, по лужам, по мокрой траве, миновав канаву, под дождем, который, казалось, и не думал униматься, вышли на булыжную мостовую. Скоро Анна Петровна стала различать силуэты деревьев, заборов, домов. Значит, начался поселок.

Но и здесь они шли долго, скользя и оступаясь в лужи, и Кирюхин к тому же раз пять останавливался, так что Анна Петровна, однажды не вытерпев, сказала с досадой:

— Да идемте же поскорее!

А вот и больница. Заспанная санитарка провела их в приемный покой, Андрюшу раскутали и положили на стол. Кирюхин стоял у порога, держа в руках мокрый пиджак, и не знал, что ему делать дальше: уходить или остаться. Хирург, занявшийся с Андрюшей, вскинул на Кирюхина глаза и отрывисто, словно допрашивая, спросил:

— Вы кто?

— Сосед,— ответил Кирюхин и прокашлялся.

— Я мать,— сказала Анна Петровна.

Она стояла среди комнаты в мокром платье с мокрыми волосами, на пол с нее натекла лужа, но она, как и на улице, ничего не видела и не чувствовала, кроме Андрюши, лежавшего на столе. Хирург, даже не взглянув на нее, ответил:

— Вы можете остаться.

Кирюхин после этого еще больше смутился и на цыпочках попятился за дверь.

Посидев в коридоре, отдышавшись, он отправился в обратный путь. Дождь перестал, в воздухе было влажно, по дороге он несколько раз останавливался, чтобы унять боль в груди, и, когда она отступала, трогался вновь. Уже брезжил рассвет, придорожная трава была унизана каплями дождя. Очистившееся от туч небо было светло-голубого цвета, постепенно зеленея к востоку, к тому месту над землей, где скоро должно было взойти солнце. Покой и умиротворение царили вокруг. Все в природе отдыхало, и хотелось думать о чем-нибудь хорошем, например, о том, что хирург, наверное, уже принял меры и нога у Андрюши перестала болеть.

Дома, чувствуя легкий озноб, он переоделся в сухое белье, лег в постель и, чтобы поскорее согреться, укрылся одеялом с головою.

Проснулся Кирюхин поздно, в одиннадцатом часу, на улице ярко светило солнце, и о вчерашнем ненастье не было помину. Полежав, поглядев в потолок, он сказал себе со вздохом:

— Ну, хватит, понежился, пора и за работу приниматься,— и несколько минут спустя был уже в саду с корзиной в руках. Потом с этой же корзиной, полной яблок, то и дело останавливаясь — астма и сейчас не давала ему покоя,— он уже шел по поселку, направляясь в детский дом, куда имел обыкновение отдавать все, что произрастало у него в саду.

С Андрюшей, к счастью, действительно ничего не случилось, обыкновенное растяжение связок, все можно было сделать дома: холодный компресс, грелку со льдом, тугую повязку. Андрюшу и Анну Петровну оставили до утра в больнице, дали переодеться, постелили в дежурке на большом кожаном диване. И лишь тогда, приткнувшись в ногах Андрюши, Анна Петровна вспомнила про Кирюхина и подумала, какой это все-таки странный, непонятный человек: взял и ушел, никому не сказавшись, хотя мог бы остаться вместе с нею, просушить одежду, переждать непогоду. Ей не нравились такие люди. Она любила людей откровенных, общительных, компанейских, живущих открыто, так, как живет она сама, ее муж. Тут она стала думать о том, что муж скоро вернется и пора, пожалуй, перебираться в Москву: жить на даче наскучило, ездить в переполненных поездах надоело, тем более что уже конец августа, скоро осень, а то весеннее прекрасное чувство давно прошло, не оставив следа.

С этими мыслями она и заснула.

Вернувшись утром домой, Анна Петровна поехала в Москву, отпросилась с работы, наняла такси, потом вместе с бабой Клавой упаковывала и грузила вещи. С дачной жизнью она расставалась без сожалений, без грусти, легко, все здесь после пережитой ночи было немило и недорого, и ее даже удивляло, как она, словно девчонка, могла весною восхищаться этой жизнью.

Уже садясь в машину, вспомнили про Кирюхина и пошли проститься с ним, поблагодарить его, но кирюхинский дом оказался на запоре, и это огорчило их, словно сосед и тут поступил соответственно своим странным обычаям и привычкам и как раз тогда, когда им надо было проститься с ним, взял да и ушел из дома неизвестно куда.

Баба Клава сказала с легким вздохом:

— Взбалмошный человек, бог с ним. Все лето наблюдала, а так и не поняла.

— Да, странный человек,— согласилась с ней Анна Петровна. Подумав и засмеявшись, она добавила: — Бирюк.

— Вот уж верно — бирюк, — засмеялась и баба Клава.

И они уехали, довольные собою и тем, что так согласны по отношению к Кирюхину, которого больше никогда не видели и скоро забыли про него.

1959

КАРПОВ И ЖЕНЬКА

Наступал морозный вечер. Было зеленое небо, негреющее солнце за соснами и голубые, холодные тени по снегу, растянувшиеся поперек главной улицы, ведущей от железнодорожного переезда к поселковому Совету и почте. Даже по этой улице давно уже ходили не по тротуарам, заметенным сугробами, а посреди дороги, укатанной колесами автомобилей и утоптанной пешеходами так, что она жирно лоснилась в этот предвечерний час.

Над домами стояли сизые, чуть розовеющие с запада неподвижные дымы. Всюду топили печи, мороз все крепчал, и ночь в такой безветренной тишине должна была быть яростно-звездной, с черным бархатным небом, какой обычно бывает в канун Нового года.

Капитан милиции, или, как его все звали в поселке, участковый Карпов, легко, не торопясь, шагал, поскрипывая снегом, посреди улицы, чуть отстав от толпы, высыпавшей вместе с паром из теплых вагонов электрички и с топотом скатившейся по заледенелым ступенькам платформы.

Карпов ездил в соседний городок, его вызывал начальник районного отделения. Разговаривали откровенно, доброжелательно, и тем не менее у Карпова было очень смутно на душе. Начальник клонил все к тому, что в милиции растет талантливая молодежь, многие уже окончили юридические, автодорожные, филологические факультеты и им надо давать дорогу, простор.

Капитан Карпов за всю свою жизнь ничего такого не успел окончить. Он все служил, стараясь как можно лучше,— в погранвойсках, в милиции,— думал, и дальше долго еще будет так служить, а тут вдруг понял, что после Нового года надо подавать на пенсию. Это огорчило его.

«Ну и ладно,— думал он теперь, успокаивая себя.— Уйду. Может, я в самом деле устал. Стану ходить по улицам, как посторонний, и до всего не будет мне никакого дела».

А он был кряжист, широкоплеч, круглолиц, нахлобученная на уши шапка делала его лицо еще круглее, скуластее и добрее, чем на самом деле.

В поселке он обосновался давно — как демобилизовался

из армии, семнадцать лет назад: все эти годы служил участковым и про тех, кто жил на его участке, особенно про мужчин, знал, где и кем они работают, какая у них семья, какой заработок и так далее. Его тоже все знали — от старух до первоклассников.

Иные дома зимой стояли заколоченными, хозяева их, дачники, приезжали в поселок только на лето, но и об их жизни он тоже многое знал, хотя и не так подробно, как о жизни тех, которые были на его глазах круглый год.

На участке Карпова давно уже не случалось ни краж, ни драк, ни иных нарушений общественного порядка, он простосердечно гордился этим перед другими офицерами, хотя те были много грамотнее его. Карпов, к примеру, всех продавцов почему-то называл «продавщиками». Знал, как надо говорить правильно, вообще старался не произносить этого слова, чтобы не конфузиться, но оно, черт бы его побрал, так и просилось на язык.

Сегодня по пути в районное отделение нелегкая занесла его в магазин сельпо. Он даже и не собирался заходить в этот магазин, но нелегкая вдруг завладела его ногами, и те, подчиняясь ей, затащили туда Карпова. Так, вероятно, злодейка нелегкая затаскивает мужчину в такие места, куда он даже и не собирался заглядывать. В закусочную, например. А ведь туда, известно, только ногой ступи.

Предпраздничная торговля в магазине шла бойко, весело, можно бы и поворачивать назад, но коварная нелегкая уже успела завладеть не только ногами участкового, а всем его существом. Он уже, помимо своей воли, козырем прошелся вдоль прилавков и, поманив заведующую, таинственно спросил у нее, почему не все «продавщики» на месте.

Заведующая засмеялась и сказала, что недостающий «продавщик» расфасовывает в подсобке товар, а Карпов, которого в этот момент покинуло наваждение, понял свой промах и смутился.

Теперь, поскрипывая хромовыми сапожками по морозному снегу, он вспомнил этот случай, но даже не рассердился на себя за оплошность, как это бывало раньше, а очень спокойно, расчетливо опять представил разговор с начальником и печально хмыкнул.

Тем временем по давней привычке, выработанной еще на границе, он быстро и незаметно оглядывал редких прохожих. Но все это были знакомые, и он раскланивался с ними.

Вдруг Карпов насторожился: встречь ему неторопливо скользил на лыжах чужой человек с охотничьим ружьем на плече. Был он в валенках, галифе, стеганой куртке, пыжиковой шапке и так же, как и Карпов, круглолиц и шлепонос.

— Здравствуйте. На охоту ходили? — с приветливой улыбкой осведомился Карпов.

Они остановились друг против друга. Карпов как бы ненароком преградил дорогу незнакомцу.

— «Тулочка»? — восхищенно продолжал Карпов.— Не откажите в любезности, поскольку сам люблю поохотиться, особенно по водоплавающей,— и, не дожидаясь разрешения, протянул руку к ружью, властно снял его с плеча незнакомца.

Тот не проронил пока ни одного слова и иронически рассматривал Карпова темными умными глазами. А капитан, делая вид, что не замечает этого проницательного, насмешливого взгляда, повертел ружье в руках, любуясь им, и откинул ствол. Ружье оказалось незаряженным.

— Хорошо, хорошо,— восхищенно приговаривал Карпов, вскинув ружье и глядя в него через червонно-зеркальные, стремительно сужающиеся к небу ствольные отверстия.— Так ни разу и не стрельнули? — умильно удивился он, успев тем временем на всякий случай прочесть и запомнить своей острой памятью номер ружья.

Незнакомец продолжал снисходительно усмехаться. Он прекрасно понимал, для чего этому хитрому милиционеру понадобилось восхищаться самым обыкновенным ружьем, и терпеливо ждал, что будет дальше.

— А я, простите, вроде бы не видел вас в нашем поселке,— великодушно протягивая ему ружье, молвил Карпов.— Или вы нездешний?

— Нездешний,— сдержанно сказал незнакомец.— Что еще интересует вас?

— Совсем ничего.— Карпов козырнул.— Будьте здоровы. Желаю хорошо встретить Новый год!

— И вам тоже,— церемонно, насмешливо поклонился незнакомец и, вскинув ружье на плечо, не спеша и старательно заскользил, разъезжаясь, по глянцевитой дороге.

Карпов поглядел ему вслед и отметил, что на лыжах он стоит не очень уверенно.

Человеку на лыжах эта встреча испортила настроение. Он приехал сюда утром из города, чтобы перед встречей Нового года походить на лыжах. Позавтракав, он вышел

из дому, вскинул на плечо ружье и долго бродил по лесу, то целиной, то выходя на укатанные полозья лыжни, намахался руками и ногами, приятно устал, уже остро предчувствовал радость отдыха, домашнего тепла, как повстречался этот не в меру старательный капитан.

А капитан Карпов, опять думая о разговоре с начальником райотдела, шагал своей дорогой.

На перекрестке Почтовой и Коминтерновской, самых многолюдных в поселке улиц, он увидел паренька, читавшего, задрав голову, наклеенные на телеграфный столб объявления. Паренек был одет совсем не по-морозному, легко, будто на скорую руку. На нем было коротенькое продувное пальтишко, модные узенькие порточки и столь же модные башмачки на подошве толщиной с кленовый листок. На голове его торчала не менее легкомысленная кепочка. Мороз прохватывал паренька насквозь, и он пританцовывал, словно бегун перед стартом.

— О, кого я вижу! — радостно закричал Карпов.— Здравствуй, Женька!

Паренек, однако, не выказал такой радости, когда оглянулся и увидел, кто стоит перед ним.

— Здравствуйте, товарищ начальник,— сдержанно сказал он.

— Прибыл?

— Как видите.

— Давно?

— Две недели назад.

— И не зашел! Как же это мне расценивать?

— Как хотите.

Помолчали. Женька стоял насупясь, глубоко сунув руки в карманы пальтишка. Карпов, по-прежнему улыбаясь, рассматривал его.

— Где же ты работаешь?

— Нигде.

— Почему?

— А потому, что не берут,— жестко и зло сказал Женька.— Вам понятно? Покрутят в руках документики и культурно показывают на дверь.

— Ай-яй-яй, вот и надо было ко мне идти, чудак! — с сожалением покачал головой Карпов и похлопал по Женькиному плечу своей огромной, как лопата, ладонью. Он сделал это доброжелательно, легонько, но Женька зашатался.— Ну, не горюй,— продолжал Карпов,— отгуляем Новый год, и я мигом схлопочу тебе место.

— Это известно,— криво усмехнулся Женька, чуть отступив, чтобы Карпов не вздумал опять хлопнуть его по плечу.— Вы один раз уже схлопотали.

— Ты же меня благодарить должен, человек! — Карпов был великодушен.— Сколько твои дружки получили?

Женька поплясал на холоде, словно весенний журавль, и сказал:

— От четырех до шести.

— О! — воскликнул Карпов.— А тебе даже года не дали, отпустили до срока. Так? — Он приподнял вверх указательный палец.— А это потому, что я вовремя схватил тебя за руку. Помог опомниться. Понял? — Он доброжелательно, склонив голову набок, глядел на Женьку.— Дома у тебя в порядке?

— В порядке,— неохотно сказал Женька.

— Ну и хорошо. А чего ты здесь пляшешь?

Женька кивнул на столб:

— Думал, кто на работу приглашает, а тут все кровати продают, детские коляски, еще чего... А то вот щенка ищут. Интересное, между прочим, объявление.

Карпов прочел:

«Дорогие граждане!

Кто нашел черненького щенка с белыми лапками, просим вернуть по адресу Каменная улица, дом пять. А то мальчик очень плачет».

Карпов огорченно крякнул. Каменная улица была на его участке. Пятый дом много зим пустовал, обитали тут лишь сезонные дачники, но нынче в нем осталась старушка с мальчиком, который серьезно болен и которому врачи прописали жить за городом. Родители, научные работники, жили в Москве и навещали мальчика каждое воскресенье.

А еще Карпову известно, что Женькины дружки пытались очистить именно этот дом и именно здесь Карпов арестовал их.

В компанию заезжих воров Женька попал случайно, стоял на стреме у калитки и был приговорен всего к семи месяцам заключения. Тем не менее вся эта история тогда очень огорчила Карпова, который считал своей прямой обязанностью наблюдать за тем, что делают и чем интересуются проживающие на его участке молодые люди. Выходило, что Женьку он тогда проворонил. Но вот все позади, малый на свободе, и надо будет ему всячески помочь.

— Объявление занятное,—сказал Карпов и внимательно поглядел на посиневшего от холода Женьку.

— Щенок-то — черт с ним, мальчика жалко! — отозвался Женька, поеживаясь от холода.

— Будем искать,— мгновенно решил Карпов.— Такая сейчас наша с тобой задача — найти этого дурного щенка, чтобы на нашем участке не было ни одного огорченного человека. Даже мальчишки. Ты иди к станции, а я по участку.— Карпов ударил кулаком по столбу.— Встретимся здесь. Понял?

— Понял,— сказал Женька.

Еще глубже сунув руки в карманы и так вздернув плечи, словно пытаясь, вроде улитки, влезть в свое пальтишко вместе с головой и кепочкой, он резво зашагал к железнодорожному переезду.

А Карпов не спеша тронулся в обход, намереваясь обойти участок таким манером, чтобы прилегающие к Каменной улице заснеженные переулки и тупички все время были в центре его внимания. Щенку, как рассудил Карпов, деваться было некуда. Он давно должен был скулить возле чьей-нибудь калитки. Тут-то Карпов и намеревался взять его.

Однако вот и квартал, определенный им в уме, замыкался, а щенка все не было видно.

Мороз тем временем крепчал. У Карпова вовсе зашлись ноги в легких его сапожках, покраснел нос, и он уже дважды тер варежкой то одну, то другую щеку.

Солнце только закатилось, а небо из зеленого вдруг легко превратилось в синее, быстро загустело, и на нем замигали, проявляясь то тут то там, звезды. На земле после этого враз потемнело. Еще сильнее и яростнее заскрипел под ногами снег.

Но все это капитан Карпов перестал замечать. Дело в том, что впереди него с некоторых пор замаячила чья-то фигура в теплой ватной куртке... «Кто бы это мог быть?» — подумал любопытный Карпов и догнал незнакомца. Тот резко обернулся. Карпов, изумясь, приложил руку к шапке и сконфуженно сказал:

— Прошу прощения.

Перед ним был тот самый человек, у которого он недавно и, как ему казалось, очень невинно проверял ружье.

— Вы что же?..— сказал незнакомец, теперь уже откровенно зло глядя на капитана из-под насупленных бровей.— Вы что же,— повторил он, передохнув,— в самом

деле решили преследовать меня? Я понимаю, что вы исполняете свою службу, но есть же меры приличия, такта... Я, в конце концов, не позволю!.. По поселку, оказывается, нельзя гулять без особого внимания милиции!

Капитана Карпова эта встреча тоже взбесила не на шутку.

«Идите вы к чертовой матери! — зло подумал он.— Мне нет до вас никакого дела, я занят своими заботами, мне совершенно наплевать, ради чего вы тут бродите».

Но не таков был капитан Карпов. Больше всего на свете он уважал ту должность, которую исполнял, те погоны, которые носил, те до блеска начищенные сапожки, что так обжигали сейчас его ноги, что никак не смел уронить достоинство и ответить на грубость незнакомца тоже обидными и резкими словами.

Усмирив гнев, он сдержанно ответил:

— Извиняюсь. Прошу прощения.

Незнакомец угрюмо оглядел Карпова и шагнул в сугроб, уступая ему дорогу.

— Всего хорошего,— сказал Карпов и пошел, поскрипывая по морозному снегу совсем уже, казалось ему, голыми ногами.

И тут получилась удивительная история: вслед за Карповым стал пробираться и незнакомец. Карпов повернул направо и опять, даже не оглядываясь, узнал своим особым, присущим только ему чутьем, что незнакомец и здесь идет следом.

Нет, он не боялся преследователя! Было только неприятно, что тот отвлекает его, мешает ему сосредоточиться и внимательно глядеть по сторонам.

В одном из переулков незнакомец отстал.

Но вот и перекресток, и столб, и уже желтеющий фонарь над ним, и танцующий в свете этого фонаря весь иззябший Женька.

— Что же вы пропали, товарищ капитан? Так я могу и концы отдать,— плачущим голосом проговорил Женька, увидев входящего в свет фонаря бодро размахивающего своей офицерской сумкой Карпова.

— Нашел? — деловито осведомился Карпов.

Женька оттопырил воротник пальто, и на Карпова уставилась добродушная вислоухая собачья морда.

— Где?

— В забегаловке на станции, как вы сказали. Сидит под столиком и вообще...

— Понесешь за мной,— распорядился Карпов.— Шагом марш!

Шли недолго. Каменная улица была рядом. Карпов смело, по-хозяйски толкнул ногой калитку и, прошагав по разметенной тропке к ярко освещенному дому, постучал вконец захолодевшими ногами по порожку крыльца.

Женька приплясывал сзади него.

Дверь открыл тот самый опостылевший Карпову незнакомец.

— Так,— зловеще сказал незнакомец, увидев добродушную замерзшую физиономию участкового.— Даже в моем доме вы не можете оставить меня в покое.— Он с отчаянием всплеснул руками.— Это невыносимо!

Это было выше его сил. Казалось, он все блестяще продумал: взял на работе свободный день, приехал на дачу загодя, вдоволь набродился. Пока не повстречался с этим дотошным милиционером. И с этой встречи все полетело вверх тормашками. Придя домой, он узнал, что пропал щенок, забава его больного мальчика, тут же пошел искать щенка, заблудился на незнакомых улицах, а милиционер вновь настиг его, очень уже уставшего, рассерженного и огорченного.

Теперь капитан вновь стоял перед ним.

— Извиняюсь,— охрипшим голосом сказал Карпов и обернулся к Женьке.

Малый, пританцовывая, продвинулся к крыльцу и поспешно вытащил из-под пальто теплого вислоухого щенка.

— Этого не может быть! — вскричал незнакомец.— Нашли! — заорал он в дом.— Проходите, проходите,— уже дружески приглашал он Карпова и Женьку и сам, счастливый, пошел впереди, бережно неся щенка, уверенный, что и они разделят его радость и последуют за ним.

Карпов и Женька в самом деле вошли в жаркие, сильно освещенные комнаты. Там уже стояла большая, увешанная игрушками елка и только что накрытый хрустящей накрахмаленной скатертью стол.

Бледный, печальный мальчик, сидевший в углу дивана, спрыгнул на пол и просиял от радости.

— Ну и хорошо,— просипел Карпов.— Все, значит, в порядке. Будьте здоровы.

— Кому я обязан? — растерянно спросил незнакомец.— Это так необыкновенно...

Но Карпов с Женькой уже спустились с крыльца, про-

шли по тропке и хлопнули калиткой. Тут они, правда, постояли, и Карпов спросил;

— Ты куда же теперь?

— Домой,— бодро сказал Женька.— Меня давно дома ждут, сами понимаете, Новый год.

А дома его никто не ждал. Мать, повариха, всю ночь будет работать в ресторане, старшая сестра — танцевать на своем фабричном новогоднем балу.

— Ну, бывай,— сказал Карпов, пожав ему руку.

И уже дома, сняв мундир и согревшись, разговаривая с женой, накрывавшей новогодний стол, Карпов все беспокойно думал, а о чем, и сам не мог понять. Он перебирал в памяти и разговор с начальником, и историю со щенком, и нелепые встречи с незнакомцем — это было просто и понятно, и что-то тем не менее не давало ему покоя. Что-то он упустил, не довел до конца, что-то надо было выполнить завтра же утром, не откладывая. Дел у него, оказывается, было еще много, и ему до жути стало жаль так вот, не закончив, расставаться с ними. Хотя бы с этим неустроенным Женькой.

1965

ПОЧТАЛЬОН И КОРОЛЬ

1

Обычно с конца августа, когда в Москву укатят грузовики и фургоны с багажом пионерских лагерей, дачников и детских садов, обычно с этого времени по самое начало другого лета, по суетливо-радостный разгул школьных каникул, в поселке остается чуть ли не вдвое меньше народу и пустуют целые кварталы дач. Они принадлежат не только частным владельцам, но и Дачтресту, который сдает их москвичам на два-три летних месяца.

Есть такие дачи и в квартале, который вот уже двадцать с лишним лет подряд каждый день обходит почтальон Мигунов Андрей Захарович. Его черная кирзовая сумка из-за этих пустующих домов долгое время в году бывает не так-то уж и полна. Однако, когда наезжают дачники, сумка чуть не лопается от газет, журналов и прочих кор-

респонденций, бог весь с какими усилиями засунутых в нее.

Вообще с приездом дачников жизнь в поселке приободряется и, словно подхлестнутая допингом, становится безалаберно шумной, суетливой, праздно веселой. Теперь уж всюду хозяйничают приезжие. Бойкие, требовательные, они направо-налево командуют и распоряжаются робеющими перед ними аборигенами.

Андрею Захаровичу все это не нравится.

2

В поселке живут такие же, как дачники, рабочие и служащие, и жизнь здесь начинается даже раньше, чем в Москве. Водители автобусов и троллейбусов, повара, фабричные девчонки, да мало ли еще кто поднимаются и бегут на станцию ни свет ни заря, к первым электричкам, чтобы вовремя попасть на работу.

Андрей Захарович, особенно в последнее время, все старается думать по-государственному, и когда идет с сумкой на плече — зимой или поздней осенью — по тропочкам мимо заколоченных казенных дач, то всегда с жалостью смотрит на них, убежденный, что они зря пусты, не обжиты, студены и печально одиноки без человека, печного тепла, света ламп в вечерних окошках и веселого дыма столбом из труб.

И не лучше ли отдать эти пустующие чуть не по десять месяцев в году казенные дачи под постоянное жилье? В поселке таких четыреста дач, некоторые из них на две-три квартиры. Как было бы хорошо, чтоб в стужу над всеми этими дачами стояли султаны дыма, в заиндевелых окнах по вечерам горели огни, а от калиток до крылец были протоптаны и расчищены лопатами в снегу дорожки и Андрей Захарович приносил бы людям всякие корреспонденции.

В Москве, как ее ни строят, не хватает жилой площади, и многие, как ему кажется, с восторгом, только сделай им такое предложение, не успеешь глазом моргнуть, переселятся в эти пустующие дачи. И сколько народа зажило бы тогда как следует. В одном поселке чуть не восемьсот, а может, даже больше семей.

Плотники, маляры и сантехники со стройдвора, да и возчик дачной конторы Сашка Королев, по прозвищу Король,

рассказывали Андрею Захаровичу, будто такие государственные дачные колонии есть вокруг всей Москвы, может, еще в двадцати — тридцати поселках. Стало быть, не восемьсот, а даже все десять тысяч семей можно расселить в тех квартирах. И сколько было бы сэкономлено государственных средств. Сотни тысяч рублей. Огромные, по мнению почтальона, деньги.

Но в Моссовете по этому поводу, как видно, думают иначе и освобождают для дачников даже те казенные дома, в которых постоянно живет обслуживающий персонал: плотники, дворники, жестянщики, десятники, кладовщики, и переселяют их в Люберцы, в новые многоэтажные здания. Одним это нравится, и они весело покидают поселок, но другие чуть не ревут. Вот грозятся выселить Сашку Короля со всеми его детьми, белобрысого, расторопного, старательного голубоглазого мужика. Жить ему в люберецких домах будет труднее, поскольку ни поросенка, ни коровы, ни кур держать там негде. Да и яблок, картошки, огурцов, помидоров не соберешь. Король бегает, суетится и, растерянный, встрепанный, просит всех, кого надо, кого не надо, вступиться и оставить его в поселке.

Прибежал он наконец и к Андрею Захаровичу.

— Куда мне теперь? — беспокойно уставясь на почтальона ошалелыми и еще больше поголубевшими от горя глазами, спросил.— Ну, ты скажи, Андрей Захарыч, куда все хозяйство девать? Я ведь здесь восемнадцать лет прожил, сад вырастил на голом месте, все своими руками. И теперь за здорово живешь отдать дачникам, которым, может, наплевать, что яблоня, что тополь. Им тополь еще лучше: не требует никакого уходу, а сучьями обрастает на полтора метра в сезон.

— Не знаю, друг, как тебе быть,— огорченный не менее возчика, признался Андрей Захарович.— Но, может, тебе там хорошо будет? Подумай: ни о чем не надо заботиться, ни о дровах, ни о воде, даже в баню не надо ходить. Напустил воды в ванну — мойся сколько влезет.

— Эх! — отчаянно сморщась и шлепнув ладонями себя по ляжкам, вскрикнул Король.— У меня же четверо ребят. Их кормить-обувать надо. Сейчас молоко свое, картошка, огурцы, всякий овощ — каждый год до весны навалом, а ты про ванну толкуешь.— И он огорченно и осуждающе поглядел на Андрея Захаровича.— А разве против нашей бани она устоит, эта самая ванна? — вдруг вкрадчиво спросил он после некоторого молчания. Склонив голову набок

и состроив на лице хитрую мину, он уставился на Андрея Захаровича. Почтальон сразу же ощутил всю силу коварства Короля и тоже склонил голову набок, только к другому плечу, прищуря при этом другой, левый глаз.

И как только они все это проделали, пред их блаженными взорами сейчас же предстала, ухнув и обдав их щеки, носы и лбы горячим сухим паром, поселковая баня. Это всем баням баня. Даже с Сандуновскими свободно поспорит: каменная, чистая, жаркая, она стоит под мачтовыми соснами на самом краю поселка, на берегу речки, а за речкой начинается грибной да брусничный лес. Выйди распаренный на улицу, и враз остолбенеешь, когда опахнет ветром твое раскрасневшееся лицо, а в том ветре бог знает что намешано: и хвоя, и смола, и талый снег, и горечь осины — и все это сдобрено тенькапьем синички или гулким стуком дятла по сосновой коре.

— Мда-а,— в одно мгновение пережив все это, протянул Андрей Захарович и искренне пожалел, что Королю скоро уж никогда не придется испытать такое чудо — войти в горячую парную этой знатной бани, до одури нахлестаться веником, потом нырнуть под холодный душ, потом опять в парную, а после всего, выпив кружку пива, в блаженстве постоять под соснами, на берегу речки... И будет теперь Король, неловко скрючась, купаться в своей ванне.

— Вот то-то и оно! — победно проговорил возчик, правильно поняв восклицание почтальона.— А они мне и это, и то, и жилплощади всякой будет больше, а на хрена она мне, эта площадь! Я ведь корову на нее не поставлю. Верно я говорю?

— Что же ты от меня хочешь? — спросил Андрей Захарович.

— Бумагу пиши, заступайся.

— Не одного тебя переселяют.

Андрей Захарович стал перечислять, загибая пальцы, кого уже успели переселить в те благоустроенные дома и кому еще предстоит перебраться туда: трем плотникам, кладовщику, малярам. Не оставили в покое даже самого прораба, начальника стройдвора.

— А ты им писал? — спросил Король.

Андрей Захарович отрицательно мотнул головой:

— Они ко мне не обращались.

— А мне пиши. Я обращаюсь. Мы же с тобой фронтовики, у меня плечо раздроблено.

— Ну что же,— согласился Андрей Захарович,— давай напишем.

Они долго сидели за столом друг против друга и сочиняли «бумагу».

«Бумага» получилась длинная, очень строгая и в то же время жалостливая. Кто прочтет ее в Москве, тут же расстроится и ни за что не станет переселять королевскую семью из поселка в новый дом.

Когда почтальон принялся начисто переписывать свое сочинение, возчик, уважительно глядя, как ловко он выводит на бумаге строчку за строчкой, держа самописку в левой руке, задумчиво рассуждал вслух:

— И зачем, кому нужно? Восемнадцать лет жили тихо-мирно, а теперь — здорово живешь — освобождай помещение. Почему такое?

Почтальон, не поднимая глаз, прислушиваясь, не однажды одобрительно крякал: Король высказывал как раз те самые мысли, которые и почтальону давно не давали покоя — все зудели и зудели в голове.

«Бумага» в тот же день ушла куда следует. Стали ждать ответа. А уже начиналась летняя, дачная пора.

3

Раньше, каких-нибудь лет пять назад, почту в поселок доставляли на электричке и Андрей Захарович каждое утро ходил вместе с заведующей на станцию встречать поезд с почтовым вагоном. Электричка, бывало, только успеет остановиться, а к ногам встречающих уже летят из вагона на платформу бумажные кули с письмами, бандеролями, журналами и газетами. Электричка мчалась дальше, Андрей Захарович собирал мешки. Зимой на салазках, летом на самодельной тележке с колесами из шарикоподшипников он отвозил их на почту. Там начиналась разборка-сортировка корреспонденции. Почтальоны каждый день расходились по своим улицам только после обеда.

Теперь стало много лучше. Почту привозят рано утром в автофургонах, и доставка газет и журналов на квартиры подписчиков производится почти в то же самое время, как в Москве. Вообще за последнее время в поселке очень многое изменилось в лучшую сторону: почтовое отделение переселили в новый дом, просторнее, светлее и теплее

прежнего, увеличился штат почтальонов, некоторые из старослужащих выросли — переведены начальниками в другие отделения, на всех улицах заасфальтировали тротуары, замостили щебенкой дороги, так что и весной и осенью, даже в самую слякоть, ходить почтальонам стало легко и очень удобно.

Однако в жизни самого Мигунова изменений никаких не было и все оставалось, как много лет назад: поступил работать рядовым почтальоном и остался им; поселился в рубленом двухкомнатном домике, принадлежащем поселковому Совету, и до сих пор живет в нем; пошел двадцать три года назад со своей толстой кирзовой сумкой по Садовой и Коминтерновской улицам, так и сейчас ходит по ним. Разве вот дочери совсем как-то незаметно выросли за это время, и только младшая еще учится в школе, а обе старшие давно приобрели специальность. И все было бы ладно, хорошо, но пятерым Мигуновым давно уже стали тесны две маленькие комнатки. Особенно зимой, когда по вечерам все собираются дома. Летом младшая дочь уходит спать на застекленную веранду, а сам Андрей Захарович перебирается в сарай. Там ему спится особенно сладко и покойно, он часто видит во сне боевые эпизоды, и все это потому, как убежден Андрей Захарович, что за стенкой, в соседнем сарае, стоит мерин дачной конторы, иногда стучит подковами по настилу, вздыхает, мерно хрустит кормом. Из конюшни сквозь щели пахнет свежей травой, навозом, лошадью, и для почтальона ничего отраднее не придумаешь, поскольку он был кавалеристом, отчаянным рубакой, лошадником, чуть не всю войну проскакал в составе кавбригады, пока ему не оторвало осколком правую руку.

Выписавшись из госпиталя, он приехал в поселок и определился почтальоном, так как делать ничего другого не мог, даже расписываться в зарплатной ведомости. А до войны был краснодеревщиком, работал на деревообделочном комбинате, ладил дорогую мебель из бука и других благородных дерев.

И вот, чуть не четверть века спустя, Мигуновы вдруг почувствовали, что им тесно в домике, и, прикинув так и этак, решили расширять его за счет веранды. Если обшить веранду тесом и утеплить шлаком с опилками, дом увеличится на целую комнату и станет для семьи в самый раз. Новую веранду можно будет пристроить сбоку, даже не подводя под общую крышу.

Купили тесу, скоб, лафетип, за шлак знакомые шоферы недорого взяли, а опилки и вовсе достались па стройдворе даром, и привез их Король на том самом мерипе, который вздыхает и возится ночами в своем деннике по соседству со старым кавалеристом. С плотниками тоже срядились педорого: мужики были знакомые, со стройдвора.

Теперь, как пишут в газетных статьях, создав необходимую материальную базу, обеспечив строительство рабочей силой, Андрей Захарович с легкой душой обратился в поселковый Совет за разрешением.

В поселковом Совете никто и не заикнулся, надо или не надо Мигуновым утеплять веранду, но потребовалась виза районного архитектора. Там не сказали ни да, ни нет и переслали заявление Андрея Захаровича на решение в райисполком, куда он и был вызван три недели спустя к девяти часам утра.

4

Он приехал в районный городок загодя, чтобы попасть на прием, как ему назначили, ровно в девять часов, тут же вернуться в поселок и разнести почту.

Но в длинном коридоре, возле кабинета, в котором должен был принимать посетителей заместитель председателя исполкома, и справа и слева от двери, к изумлению почтальона, сидело на деревянных вокзальных скамейках уже порядочное число всяких людей. Все они, к еще большему изумлению Андрея Захаровича, тоже были вызваны к девяти часам утра.

— Я третий раз отгул за свой счет беру,— почему-то с радостью объяснял в толпе возле двери веселый рыжий малый.— А всего-то сарай дровяной построить. Копеечное дело, а гляди ты! Каждый раз являюсь, как на призывной пункт, к девяти ноль-ноль и даже раньше. Видал, как пишут: явка обязательна.— Он потряс повесткой перед носами слушателей.— Являюсь. В первый день часа полтора все было честь по чести, а потом закрылись на совещание, и заколодило. Во второй день всю очередь не успели пропустить, рабочее время кончилось. Вот теперь, интересно, чего со мной случится.

Андрей Захарович прислушался к разговору. У всех оказались такие же, как у рыжего малого, копеечные дела:

кому забор отодвинуть, кому сарай сколотить, кому поделить с соседом земельный участок.

Но вот по коридору засновали взад-вперед озабоченные служащие исполкома. Начался рабочий день. Однако прошло еще не меньше часа, пока не распахнулась обитая черной клеенкой дверь и не кликнули первого посетителя. Им оказался рыжий малый. Пробыл он за той клеенчатой дверью всего несколько минут и вылетел в коридор с сияющей физиономией.

В очереди, узнав, что рыжему малому «разрешили безо всякого», с облегчением вздохнули, заулыбались и оживленно, громко заговорили кто о чем.

Но ненадолго. Скоро за клеенчатой дверью начало твориться что-то неладное. Вот уже третий посетитель подряд выбирался из-за нее в расстроенных чувствах и с опечаленным лицом. В очереди возникло беспокойство. А дальше пошло словно назло почтальону.

Сперва в кабинет, как будто к себе домой, прошла очень серьезная, властно потеснившая толпившихся возле двери посетителей женщина. За ней по пятам проследовали два многозначительно нахмуренных молодца. Андрею Захаровичу сказали, что это директорша текстильного комбината. Один из сопровождавших ее молодцов оказался юрисконсультом, второй — не то начальником ЖЭКа, не то прорабом.

Тут же было объявлено, что прием посетителей временно прекращается, а вместо этого будет совещание.

После совещания за клеенчатой дверью успел побывать лишь один посетитель. Начался обеденный перерыв. Андрей Захарович, томясь от безделья, передумал за это время очень о многом. И о том, что сегодня ему, наверное, не удастся разнести корреспонденцию, что, знай он, какие порядки в исполкоме, сперва справил бы всю свою работу, а потом не спеша подался бы в район. И почему это так делается, что всех вызывают на одно и то же время, заставляют ждать часами или даже приходить по нескольку раз, как того рыжего малого? О многом еще думал он: сразу ли начинать перестройку веранды или повременить до сентября, когда плотники будут посвободнее и артельно за неделю все перевернут вверх ногами?

Но вот наконец прием посетителей возобновился.

Когда вызвали Андрея Захаровича, шел уже третий час.

В кабинете сидело много людей, и все, как показалось оробевшему почтальону, с любопытством уставились на него, будто он сейчас выкинет какой-нибудь смешной фортель. К примеру, вытащит из кармана штанов конверт величиной с письменный стол.

Хозяином кабинета был еще довольно молодой человек, хотя чуть уже и полысевший. В исполкоме он работал первый год, очень гордился своей должностью, старался быть строгим, справедливым, беспристрастным и, прежде чем решить какой-нибудь вопрос, прислушивался к мнению аппарата. Иные товарищи из этого аппарата сидели на своих стульях по два десятка лет и, как говорят, успели собаку съесть. Больше всего молодой районный руководитель боялся подвоха со стороны просителей или, как называли их в аппарате, избирателей. Ему все мерещилось, будто они идут со своими просьбами именно к нему оттого, что знают, как он еще неопытен в своем деле, и его, стало быть, можно без труда обвести вокруг пальца.

Андрей Захарович робко присел на краешек стула возле двери и стал ждать вопросов. Он полагал, что ему сейчас устроят что-нибудь вроде экзаменов, при каких обстоятельствах он лишился руки, и даже, быть может, посоветуют вместо утепления веранды сделать к дому капитальную пристройку.

Но заместитель председателя исполкома, вертя в руке карандаш, вдруг строго спросил:

— Кто докладывает по заявлению товарища Мигунова?

Андрей Захарович, не ожидавший такого вопроса, еще пуще разволновался и уж никак не мог понять, что говорят по поводу его заявления. А говорили, что архитектурный надзор утепление веранды считает нецелесообразным, так как это-де портит фасад дома и прилегающих к нему иных строений...

— Вам ясно? — спросил зампред.

— Не совсем,— смущенно проговорил Андрей Захарович.— Нам тесно в двух комнатах, вот в чем дело.

Но заключение работников аппарата казалось зампреду очень убедительным, а робкое поведение избирателя вселило в него недоверие к почтальону, и он строже прежнего сказал:

— А у нас, между прочим, есть случаи, когда подобные пристройки и перестройки делаются в корыстных це-

лях обогащения, для того, чтобы сдавать эту лишнюю дополнительную жилплощадь внаем.

— Да как же можно! — вдруг в гневе вскричал Андрей Захарович, поняв наконец, что ему отказывают и к тому же еще обвиняют в жульничестве.

— Вот так. Все.— Зампред положил на стол карандаш.— Исполком решил отказать.

Андрей Захарович поднялся и, ничего не сказав, понурясь, вышел.

5

Корреспонденцию пришлось разносить вечером, когда многие адресаты уже вернулись с работы.

Он шел от дома к дому, от калитки к калитке и все пытался успокоиться и толком объяснить себе, что же все-таки произошло с ним в исполкоме. И уже не сам отказ беспокоил, злил и обескураживал его. Какое он имел право, этот лысый сопляк, не поверить ему, той его единственной правде, которую Мигунов выразил в своем немудрящем заявлении? Какое он имел право заподозрить его во лжи, в корысти?

Он пробовал успокоить себя всякими степенными рассуждениями. «Погоди,— говорил он себе.— А что ты за персона, кто ты таков, чтобы верить тебе на слово? Почему столько народу и этот строгий начальник обязаны верить каждому, кто бы к ним ни пришел? Что же ты хочешь?» Но, спрашивая так, он с еще большим гневом отвергал эти успокоительные рассуждения, восклицая: «Обязаны верить! Человеку надо верить. Иначе, без веры в честное человеческое слово, не может быть никакой жизни. Правда и честность и вера в них — вот всему основа основ!» И когда он начинал так возражать самому себе, то главным во всем этом происшествии с ним опять же было не то, что отказали ему в строительстве, а то, что ему не поверили и его честность, его правду взяли под сомнение. Это вызывало в нем такое страшное чувство обиды, что он от беспомощности лишь постанывал.

Если бы ему *просто* отказали: нельзя, никаких разговоров быть не может,— он бы совсем иначе вел себя и ему не так было бы обидно. Но ему не поверили! Вот в чем дело! Не поверили там, где обязаны верить.

На Коминтерновской улице каждое лето жила сама

председательша Марья Васильевна Локтева с матерью и двумя дочерьми. Зимняя квартира у них была в Москве, в многоэтажном доме.

Чуть не каждый день старуха Локтева, завидя Андрея Захаровича, кричала с террасы:

— Иди-ка зайди, отдохни, посиди!

Это была бойкая старуха, невеликая ростом, но веселая и легкая на ногу. Почтальон не отказывался от приглашения, заходил, и когда он закуривал, старуха говорила:

— Вот как хорошо. Сразу мужиком в доме запахло. А то живут три дуры, и хоть бы одна по-человечески замужем была. Все бы по-другому: мужик в доме. Он и крякнет, и стопку хватит, и слово какое скажет, от которого сердце может зайтись, а у нас одними духами пахнет. Подыми-ка посильней.

Сейчас он мог бы зайти к Локтевым и попросить председательшу пересмотреть решение исполкома.

Но он не сделал этого, подумав по простоте душевной, что так, стало быть, решила и сама председательша, что и она взяла под сомнение его честность. И уж не она ли первая сказала, мелькнуло у него в голове: «А не думает ли этот товарищ торговать жилплощадью, а?» Откуда ему было знать, что Марья Васильевна Локтева и слыхом не слыхивала о его просьбе и что, расскажи он сейчас ей о том, как поступили с ним, делу был бы дан совершенно иной ход.

Но он был, если надо, человеком железной воли и теперь, стиснув зубы, собрав все это железное в себе в один ком, с гордо поднятой головой прошел мимо локтевской дачи.

6

Строительные работы в доме поселкового почтальона Андрея Захаровича Мигунова, не начавшись, были приостановлены.

С тех пор минул ровно год. За это время в жизни Андрея Захаровича опять почти ничего не изменилось. Разве что старшая дочь вышла замуж и тес, купленный для утепления веранды, пришлось продать ради свадьбы. Вот и все. Хотя, впрочем, это только сам Андрей Захарович думал, будто в его жизни ничего особенного не произошло.

На самом деле все обстояло не так. Его избрали депутатом районного Совета, и, когда к нему приходил со своей мольбой голубоглазый возчик дачной конторы Сашка Король, почтальон уже был облечен властью.

В июле, что в праздники, что в будни, на улицах, в лавках сельпо бывает много праздничного народа. Особенно, конечно, в воскресные дни.

А сегодня как раз воскресенье. День длинный, ясный, тихий, и особенно длинным он кажется потому, что Андрей Захарович поднялся рано, чуть попозже солнышка, когда на земле только что появились темные тени и всюду хрустально засияли капли росы.

Андрей Захарович, превосходно выспавшийся, улыбаясь невесть чему, чуть не четверть часа простоял в дверях своего сарайчика, оглядывая доброжелательным своим взглядом буйные июльские заросли окрестных садов. В соседнем сарае глухо простучал копытами по настилу, переступая с ноги на ногу, мерин Короля. И, вспомнив о возчике, Андрей Захарович засиял еще благостнее. Вчера он получил ответ на ту самую «бумагу», которую они сочиняли вместе с Сашкой. В ответе было сказано, что по ходатайству Андрея Захаровича переселение королевского семейства в благоустроенную квартиру откладывается. Предстояло сообщить эту радостную весть Королю, увидеть его распахнутые, благодарно засиявшие глаза и испытать трогательную неловкость от содеянного тобою добра человеку. Ему всегда становилось неловко, когда его благодарили за помощь.

А день все разгорался, и, пока Андрей Захарович, ловко махая тяпкой, рыхлил землю в огороде, с десяток раз ходил с ведрами на колодец через улицу и потом, припотевший, скинув рубашку, плескался возле рукомойника во дворе, набирая в левую ладонь, сложенную ковшиком, студеную воду, пришло время отправляться на службу.

Скоро, повесив через плечо битком набитую газетами, журналами и письмами кирзовую сумку, он уже шагал по своим улицам, так исхоженным его ногами, что, кажется, завяжи ему глаза, он все равно не пропустит ни одну почтовую щелку в калитке.

Вот с метлой в руках стоит возле ворот метростроевец дядя Федя. Он только что размел перед своим домом улицу. Это он проделывает каждое воскресное утро.

— Здорово, Кострома,— кричит, он, завидя Андрея Захаровича и ласково щуря чуть раскосые глаза.

— Здорово, Князь,— так же весело орет почтальон.

Пожалуй, даже и не вспомнить, с каких пор они так приветствуют друг друга. Андрей Захарович в самом деле родом из Костромы, а дядя Федя — татарин. Два его сына-близнеца, спокойные, серьезные, здоровые ребята, выросшие на глазах Андрея Захаровича, служат в армии, и иногда почтальон-Кострома приносит своему приятелю-Князю письма от них.

— Пи́сьма-та нет? — спрашивает дядя Федя, принимая газету.

— Нет пока.

— Что, Кострома, нарошна не носишь письма-та? — с притворным негодованием восклицает дядя Федя.— Татарин-та щеснай, каждый воскресенье тебя на дороге-та ждет, дорогу тебе метлом метет, а ты что делаешь-та?

Они еще перебрасываются несколькими грубоватыми, обычными и безобидными для них фразами, и Андрей Захарович трогается дальше.

Вот дача, в которой живет профессор, преподаватель общественных наук, высокий, седой и совсем еще не старый, веселый человек. Он любит цветы, и, кроме флоксов, георгин, люпинуса, ромашек, гладиолусов, гвоздик, у него в саду ничего не произрастает. Самое высшее удовольствие для него — дарить цветы встречному и поперечному. Профессор стоит в дверях террасы, стройный, изящный, в спортивном костюме, и, завидя почтальона, с достоинством кланяясь, не спеша, с удовольствием говорит:

— Здравствуйте, дорогой Андрей Захарович. Как ваше здоровье?

— Здравствуйте, Алексей Петрович,— тоже с некоторой торжественностью и слегка нараспев отвечает почтальон.— Спасибо, все пока идет хорошо. А как вы поживаете?

— У меня тоже полнейшее благополучие. Прекрасный день. Сегодня, представьте себе, наконец-то расцвел черный гладиолус.

— Это очень здорово,— вежливо говорит почтальон.

— Я непременно подарю вам его луковицу.

— Спасибо,— улыбается Андрей Захарович, хотя к цветам он совершенно равнодушен и ему все равно, что одуванчик, что знаменитый черный гладиолус.

Так он идет зигзагами от калитки к калитке.

— Захарыч! Стой, Захарыч! Подожди, мил человек! — вдруг слышит он.

Запыхавшийся, потный от усердия возчик Король догоняет его.

— А! — ликуя, кричит он.— Гляди, чего прислали! — Он сует к глазам почтальона копию ответа на их совместную «бумагу».— А? Это же сила! — Король вытирает рукавом рубашки потный лоб и, уже успокоясь, умоляюще, благостно глядя на Андрея Захаровича, шепотом, заговорщицки произносит: — Такое дело надо обязательно обмыть. Как полагается по закону. У меня уж все готово, а?

— Ладно,— с серьезным видом отвечает Андрей Захарович.— Раз такое дело, я приду. Жди.

Куда он придет, Королю и почтальону известно.

Они расстаются.

А почтальон вскоре появляется возле дачи Марьи Васильевны Локтевой, и все случается так, как заведено издавна. Не успевает он вытащить из сумки корреспонденцию, а его уже зовут:

— Иди-ка зайди, отдохни, покури!

И он не отказывается, распахивает калитку, идет по тропочке к веранде и, усевшись на ступеньку крыльца, вытянув уставшие ноги, закуривает.

Сегодня локтевские женщины дома, и Марья Васильевна, и дочери-учительницы, все очень похожие на старуху, ладные, бойкие, пьют чай, предлагают разделить с ними компанию и Андрею Захаровичу, но тот вежливо отказывается.

— Послушайте,— говорит Марья Васильевна,— вчера председатель вашего поссовета сказал мне, что в прошлом году вам было отказано в утеплении веранды. Это верно?

— Верно,— подтверждает Андрей Захарович.

— Почему же вы до сих пор не обратились ко мне?

Пожав плечами, он отвечает:

— Теперь об этом говорить уж не время.

— Почему?

— Так.

— А по-моему, как раз время, и вам, депутату райсовета...

— Вот поэтому и не время.

— Я не понимаю вас.— Марья Васильевна с любопытством смотрит на почтальона.

— А тут проще простого,— отвечает Андрей Захарович.— В поселке знают, что мне было отказано. Многие

знают. А теперь я — Советская власть. Что же люди про меня скажут? Как попал, скажут, Мигунов в депутаты, так сразу все и объегорил. А как я буду после этого людям в глаза смотреть?

Она прекрасно знает, каким уважением пользуется он у жителей поселка, и никто из них, конечно, не скажет, даже не подумает так об Андрее Захаровиче.

— Прошлогодний отказ надо считать ошибкой,— говорит она.

— Когда дело касается человека, ошибаться нельзя. Человеку верить надо, его честному слову верить, тогда и ошибок будет меньше. Ну, да про меня какой разговор, Марья Васильевна. Вот я хожу, думаю: у нас в поселке три барака. Все они погнили, прохудились, их латают, штопают, а толку нет. А ведь в тех решетах живет по восемь-девять семей, и у них, бывает, зимой матрацы к стенкам примерзают.

— Но их скоро переселят в Люберцы.

— Э, нет. Переселят, кто дачи занимает. А они — в бараках. Разница. Стало быть, нужно им помочь.

Марья Васильевна смотрит на него со все разгорающимся любопытством.

— А как вы думаете им помочь? — спрашивает она, делая ударение на слове «вы».

— Пока только думаю, не придумал,— простосердечно вздыхает почтальон.— Но можно бы несколько дач отвоевать для них. Все равно чуть не по году пустуют. А бараки сломать к чертям.

— Ладно,— помолчав, говорит Марья Васильевна,— приезжайте ко мне в исполком во вторник. Сможете часам к трем?

— Смогу.

— И о своей веранде подумайте.

— И думать не стану,— почтальон поднимается.— Не могу я Советскую власть дискредитировать таким действием и себя в глазах людей унижать.

Теперь, накурившись и заручившись поддержкой районной председательницы, Андрей Захарович отправляется разносить остатки корреспонденции, и не проходит получаса, как сумка его совершенно пустеет.

А еще через некоторое время они с Королем стоят в конюшне, и рядом с ними, оттопыря нижнюю губу, дремлет мерин. Конюшню наполняют чудные, любезные сердцу старого кавалериста запахи конского навоза и свежего се-

на. На овсяном ларе расстелена газета, а на ней лежат толстые куски ржаного хлеба и копченой селедки. Король разливает по стаканам водку. Андрей Захарович озабоченно спрашивает:

— Александровская или с быком?

— С быком,— торжественно провозглашает Король.— Московская.

Они церемонно чокаются, и Король говорит:

— Будь здоров, спасибо тебе.

— Будь здоров, ваше величество,— отвечает ему почтальон.

1967

МАЛЬЧИШКА С ДОБРОЛЮБОВСКОЙ, 4

МИШКА

Мишка, трехлетний мальчик, живет вместе с дедом и бабушкой в подмосковном поселке Заветы, а его папа и мама живут в Москве. У них свои дела, свои заботы, приезжают к Мишке только с субботы на воскресенье, и этот счастливый для Мишки день называется командирским: папа и мама все время командуют Мишкой, или, как они говорят, воспитывают его.

Мишка курнос, подвижен, любопытен и смешлив. Глаза у него карие, внимательные, продолговатые, но, когда он пытается что-то сообразить, становятся круглыми, как смородина. Стоит ему выйти на улицу, вдохнуть раза два свежего воздуха, и щеки его сразу жарко вспыхивают. Командирский день он нетерпеливо ждет всю неделю и еще со вторника начинает спрашивать:

— А сегодня не суббота? Суббота завтра будет, да?

Однажды, это было еще осенью, когда бабушка солила огурцы, дед и Мишка поехали в зоопарк. Прежде всего Мишку сфотографировали верхом на белом пони, потом катали в тележке на ослике, потом они с дедом часа полтора ходили от вольера к вольеру и рассматривали животных. Видели слонов, тигров, обезьян, павлинов, кормили сахаром верблюда, искрошили пять баранок белым медведям, и дед то и дело спрашивал у Мишки:

— Понравилось?

— Понравилось,— серьезно отвечал Мишка.— Пошли дальше.

Дед был доволен. Он сам не видел диких зверей с того дня, как, вернувшись с фронта, водил сюда Мишкиного папу, и теперь пребывал в несколько торжественном, праздничном настроении. Присели передохнуть на скамейку под старой корявой ивой. День был солнечный, тихий, на пруду кричали, хлопали крыльями утки и лебеди, вдалеке, должно быть, там, где катают ребятишек, вдруг заикал осел, на него рявкнул глухо и грозно лев, от вольера пахло звериным потом, и казалось, нет ни высокого забора, отгораживающего парк от шумных и суетных московских улиц, ни самих этих улиц с их запахом бензина, асфальта и автомобильных покрышек.

— Что же тебе еще хочется? — спросил дед, думая о том, что перед Мишкой сегодня открылся новый, неведомый и прекрасный мир и что этот день он запомнит на всю жизнь.

— Эскимо,— сказал Мишка.

— Та-ак,— разочарованно протянул дед.

Купили мороженое, съели и, взявшись за руки, не спеша пошли дальше.

— Нравится ли? — спрашивал несколько обеспокоенный дед.

— Нравится,— сдержанно и односложно отвечал Мишка.

Когда обошли весь зоопарк, опять присели на скамейку.

— Что же тебе больше всего понравилось?

Мишка внимательно посмотрел на деда и сказал:

— Ворона.

Помолчали.

— Дед,— сказал Мишка,— а сегодня не суббота?

— Сегодня среда, брат ты мой.

— Завтра будет суббота?

Мишка думал о чем-то своем, очень далеком от зоопарка.

А в субботу вечером приехали, как всегда, папа и мама, и Мишка, с таким нетерпением ждавший их и не проронивший за эти дни ни словечка про зверинец, быстро размахивая руками, рассказал вдруг обо всем: и о том, как катался на ослике, как качались на палке, подвешенной к потолку, обезьяны, как кормил медведей, и про черепах, и про слона.

Сегодня тоже суббота, а потом — Новый год. Еще неделю назад мама привезла Мишке новые елочные игрушки: коробку разноцветных стеклянных колокольчиков. Если взять такой колокольчик за проволочку и потрясти, он тихо, грустно зазвенит. Мишка попробовал — все звенят: и розовый, и синий, и желтый, один только зеленый не издает ни звука. Дед сказал:

— Брак.

Мишка припес молоток, но чинить ему колокольчик не дали и долго рассказывали, почему нельзя этого делать.

Вечером к Мишке пришел в гости Сережа, соседский мальчик, первоклассник — «первак», как звали его старшие ребята, и Мишка стал ему рассказывать:

— Сережа! Мне купили колокольчики, все они звенят, один зеленый не звенит, но его нельзя чинить молотком, потому что он сделан из окна.

— Не из окна, а из стекла,— поправил Сережа.

— Все равно,— согласился Мишка.— Давай позвоним!

И они стали звонить. Мишка вынимал колокольчики из коробки и давал их Сереже, а тот звонил до тех пор, пока не умолкли еще два колокольчика. Тогда ребята поскорее спрятали колокольчики обратно в коробку и принялись играть в поликлинику. Сережа сказал:

— Вот этот медведь заболел воспалением легких, и его надо лечить. Где градусник? Давай скорее градусник, мы его сейчас вылечим.

Мишка, округлив глаза, спросил:

— Чем заболел?

— Воспалением легких.

— Легких?

— Да.

Мишка схватил первую попавшуюся под руку игрушку и закричал:

— А вот этот синьор Помидор заболел воспалением тяжелых! — И, помолчав, как бы удивившись тому, что выпалил впопыхах, тихо добавил: — Потому что у него была тяжелая работа.

А на другой день привезли елку. Ее еще две недели назад заказали дяде Саше, возчику дачной конторы, но он все не вез и не вез, и дед с бабушкой даже начали беспокоиться, как бы им на Новый год вообще не остаться без елки. Мишка, прислушиваясь к их разговорам, насторожился и серьезно, озабоченно сказал:

— Дед, а зачем нам ждать, когда дядя Саша привезет елку?

— Что же нам делать, брат ты мой? — спросил дед.

— А давай купим такую, как у него, лошадь и сами поедем в лес.

Но дядя Саша не обманул и в пятницу привез большую елку.

— Как в московском «Детском мире»,— сказал Мишка, когда елку сняли с саней и она оказалась даже выше деда.

— Красавица! — похвалила бабушка.

— Хороша,— сказал дед, уколовшись об еловые ветки, а дядя Саша так радостно улыбался, будто он сам смастерил эту елку.

Мишка стоял возле калитки и внимательно смотрел, что делает лошадь и как потом дядя Саша, взобравшись в сани, шибко покатил вдоль улицы. На дороге остались только след от полозьев да куча лошадиного помета.

— Дед,— сказал Мишка, когда дядя Саша скрылся из виду,— а зачем из лошадей сыплется такой мусор?

— Пойдем-ка, брат, домой,— ответил дед, беря елку на плечо,— много больно рассуждаешь.

Целый вечер они наряжали елку, и Мишка, глядя на нее, то и дело с беспокойством спрашивал:

— А завтра будет суббота? Правда, завтра суббота?

Ему не терпелось поскорее показать свою елку папе и маме.

И наступила суббота. Длинный это был день. Утром Мишка сидел за столом, завтракал и в ожидании больших событий возбужденно рассказывал:

— Дед, знаешь чего, знаешь чего... Самосвал как поедет задом, как поднимет кузов, как оттуда посыплется песок...— размахался руками, опрокинул чашку, пролил молоко.

— Что же ты наделал,— с досадой сказал дед.— Ведь нам от бабушки сейчас попадет!

Мишка, мгновенно посерьезнев, поглядел на деда честными круглыми глазами и сказал:

— А ты почему не следил за мной?

Дед только развел руками и едва скрыл улыбку.

— Размахался, как Хлестаков.

Мишкины глаза округлились еще больше. И вдруг его охватил неудержимый хохот.

— Как кто, дед?

— Как Хлестаков.
— Какой Хлестаков?
— Иван Александрович.
— Хлестаков?
— Да.
И опять хохот.
— Я как кто, дед?
— Как Хлестаков.
— Какой Хлестаков? — А сам так хохочет, что слезы текут из глаз.— Хлестаков?
И так он целый час не мог успокоиться, очень уж показалось ему удивительным и смешным все это.
А когда стало вечереть, они пошли с дедом на станцию встречать родителей. Сперва шли по Добролюбовской, потом — по Кооперативной, потом свернули на Почтовую.
А вот и станция: две высокие платформы с перилами, переезд, будка сторожа. Встали возле будки, ждут. Пришел из Москвы один поезд, второй, люди выталкиваются из вагонов, спешат к своим домам, расходятся в разные стороны, а родителей все нет. Потянул холодный ветер, подняли Мишке воротник. Стоит, с надеждой всматривается в каждого прохожего.
Мимо, взвихрив снежную пыль, грохоча, проходит большой товарный состав. Мелькают платформы, высоко нагруженные бревнами, тесом, рудничной стойкой, горбылем. Дед видит, что Мишка, провожая их глазами, что-то говорит, но что — не расслышать из-за грохота вагонных колес. Когда за поездом улеглась снежная пороша и смолк вдали его грохот, дед спросил:
— Что ты там все пытался сказать?
Мишка поднял голову, серьезно поглядел на него:
— Нам бы дровишек подбросили.
Вскоре пришел и третий московский поезд. И когда люди разошлись по своим дорогам и тропкам, дед сказал:
— Ну что же, пойдем домой.
И Мишка пошел рядом с ним, как-то не по-детски сутулясь, и за всю дорогу не сказал ни слова. Только дома, раздеваясь, спросил:
— А может, еще приедут?
Попили чаю, стали смотреть телевизор. Показывали встречу боксеров. Мишка сидел на диване, прямой, собранный, отрешенный от всего, но вдруг, после долгого молчания, спросил:

— Дед! А зачем у них на руках футбольные мячики?

— Это, брат, перчатки такие.

— У меня тоже такие?

— У тебя вязаные.

— А зачем им не дают вязаные? У них нет родителей? — И, вздохнув, с явным сожалением добавил: — А они все в трусиках. Значит, в телевизоре еще лето.

— Пойдем-ка спать,— сказал дед.— Утро вечера мудренее.

— Пойдем. Только елку зажги.

Он был согласен на все, покорно разделся и лег в постель. Зажгли елочные фонарики, замерцали, засияли игрушки. Мишка лежал, укрытый одеялом до подбородка, и не мигая, грустно смотрел на них и так и уснул со своей, быть может, впервые не высказанной, погасшей в груди радостью.

А в это время в Москве Мишкины родители собирались на новогодний бал. Папа был в белой сорочке с крахмальным воротником и в черном костюме, а мама надела черное платье с серебряными искорками и, стоя перед зеркалом, с беспокойством спрашивала, хорошо ли ей уложили в парикмахерской волосы.

Они были молоды, красивы, довольны и очень в тот вечер заняты собою.

ДВАЖДЫ ПО ДВЕ КОПЕЙКИ

И вот Мишке исполнилось шесть лет. Стало быть, с тех пор, как знакомый писатель написал про него смешной рассказ и напечатал в газете, прошло ровно три года. Этот рассказ прочли многие жители поселка, и некоторые из них даже догадались, про кого он написан, и, увидев Мишку на улице, говорили: «А это наш Мишка». Так Мишка на некоторое время стал тогда достопримечательностью большого рабочего поселка. Но скоро все это кончилось из-за собаки и школьников. Дело в том, что вместе с Мишкой выходил гулять за калитку черный пудель Джим. Пудель был лохмат, бесхвост и за кусок сахара мог служить, лежать на спине и показывать другие собачьи фокусы, и школьники, проходя толпой, тормоша доброго пса, восторженно кричали: «Мишка, Мишка!», думая, что это и есть поселковая знаменитость. Настоящий Мишка

стоял в стороне и, склонив набок голову, ухмылялся во весь рот.

За эти три года Мишка вырос, научился драться «на бокс», играть в футбол, хотя лицом по-прежнему оставался наивно-добродушен и щеки его на морозе вспыхивали так, словно их кто зажигал, а когда Мишка что-нибудь обдумывал, карие глаза его, как и раньше, сосредоточенно округлялись.

А обдумывать теперь приходилось многое. Почему, например, ящик у грузового автомобиля называется кузовом, а не грузовом? Ведь всем же ясно, что в этих ящиках перевозят грузы, а не кузы. И вообще, что это такое — кузы? И почему людей, ездящих с товарами в этих автомобильных ящиках, называют все-таки грузчиками, а не кузчиками, хотя называют тоже неправильно. Если уж по-настоящему, то их надо было бы называть погрузчиками.

Или взять такой случай. Когда дед за обедом выпивает рюмку водки, крякает, дует и морщится, ему никто ничего не говорит, а стоит Мишке выпить лимонаду и тоже, как дед, крякнуть, дунуть и сморщиться, так на него все — и родители и бабушка — набрасываются с замечаниями, что делать это нехорошо, что он невоспитанный, не умеет держать себя за столом и что при посторонних может всех их запросто сконфузить. Но почему же дед никого при посторонних не конфузит? Справедливы ли люди?

Таким образом, теперь, что ни день, перед Мишкой открывался мир мучительных и счастливых загадок, и Мишкина голова с утра до ночи была напичкана самыми необыкновенными и восхитительными соображениями.

Вот и сегодня. Только успел он проснуться, как в голове его что-то даже вроде зашевелилось и потом — щелк! — и уже торчит, скрючившись, вопрос: почему говорят тысяча девятьсот шестьдесят третий год, тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год? Откуда они начались, эти годы? С каких пор?

С этим вопросом он промучился до самого завтрака, а потом его словно осенило, и он заерзал от нетерпения и радости. Так ерзают, наверное, изобретатели, познавшие наконец долго и мучительно терзавшую их истину. Приходит такой беспокойный изобретатель с работы, жена ставит на стол перед ним тарелку щей, а он вдруг начинает ерзать на стуле, сомнамбулически оглядываясь по сторонам, потому что вдруг понял, как сделать тележку на двух ко-

лесах, чтобы можно было ездить на этой тележке верхом, как на лошади, только крутить при этом ногами.

Так и Мишка неожиданно догадался, после чего началось летосчисление, и не мог уже спокойно сидеть за столом. Его распирало от удивления перед тем, что он вдруг познал, и от нетерпения поскорее проверить на ком-нибудь свое очередное открытие мира.

Торопливо сунув ноги в валенки, кое-как застегнув шубенку, нахлобучив на голову шапку с оттопыренными ушами, он вылетел за калитку и остановился посреди улицы, ослепленный великолепием морозного, солнечного, искрящегося со всех сторон, куда ни погляди, дня.

Улица была пустынна. Над заснеженными крышами домов то тут, то там стояли высокие, неподвижные воронки сизого дыма. Из калитки выбежал Джим и сел возле Мишкиных ног. А Мишкины ноги суетливо топтались. Снег нетерпеливо скулил под Мишкиными валенками. И вдруг — о радость! — из калитки противоположного дома, помахивая авоськой, вышел Сережа Бузунов, ученик третьего класса. По правилам он должен был бы учиться уже в четвертом, но, как он сам объяснил Мишке, ему не захотелось сразу переходить из класса в класс, и он два года пробыл в перваках.

— Сереня! — радостно кинулся к нему Мишка.— Правда, что годы начали считать после того, как человек перестал быть в шерсти?

— Еще чего,— сказал Сережа, снисходительно скривив губы и сплюнув.— А сейчас, скажешь, нету шерсти? — И с этими словами Сережа проворно сдернул с Мишкиной головы шапку и всей пятерней вцепился в его густые каштановые волосы, стегнув при этом авоськой по щеке.

Слезы горошинами выкатились из Мишкиных глаз. От боли он даже приподнялся на цыпочки вслед за Сережиной рукой.

— Это, скажешь, не шерсть? — победно спрашивал безжалостный Сережа.— Скажешь, теперь нету шерсти?

Мишка, гримасничая, мужественно твердил:

— Это не та шерсть, это не та шерсть!

— А какая же? — снисходительно и насмешливо спросил Сережа, отпустив наконец свою жертву и нахлобучив ей на голову шапку по самые брови.

— Та везде... Та на лице и везде...— стоял на своем Мишка, поправляя шапку.

— На лице! — Сережиному сарказму не было преде-

ла.— А у твоего деда, скажешь, не растут на лице усы, это не шерсть?

Мишка, пораженный открытием, сделанным Сережей, вытаращил глаза.

— Эх ты,— презрительно проговорил Сережи и, крутя авоську, словно пропеллер, пошел вразвалку посреди улицы.

— Ты куда, Сереня? — крикнул Мишка.

— В магазин за хлебом,— отозвался Сережа.— Если хочешь, пойдем.

В магазин за хлебом! Мишка еще ни разу не ходил так далеко один, без взрослых.

— Я сейчас! — закричал он не своим голосом от испуга и героизма, вдруг охвативших его.— Я только у бабушки спрошу! — И опрометью кинулся по тропке, пересекавшей сад, или, как говорят в поселке, приусадебный участок.

Бабушка у Миши была не то чтобы старая, но и не молодая. Сама она так туманно определяла свой возраст: средняя женщина. Взгляды на воспитание детей у нее были самые прогрессивные. Поэтому она, выслушав внука, тут же и отпустила его.

— Хорошо. Ты и верно уже большой. Иди,— сказала она, вытерла руки о фартук, отсчитала Мишке двадцать восемь копеек и, сунув в руку авоську, добавила: — Принесешь две буханки черного хлеба.

День был необычен. Мишке даже во сне не снился такой счастливый самостоятельный день. Право, нынче ему невероятно везло. Не успел сообразить, откуда начались годы, как уже один, с авоськой в руке, с медяками в кармане штанов шествует по улицам поселка в магазин и скоро встанет там вместе со всеми взрослыми в очередь, подаст продавщице деньги и скажет: «Дайте мне, пожалуйста, две буханки черного хлеба».

Это будет необыкновенно, поразительно. Это же надо только подумать: сам подаст тете деньги, сам ей все скажет, сам уложит буханки в авоську и отнесет домой. Бог знает, что только творится на свете!

Мишка не шел, а летел на крыльях. Но вот они и в магазине. Магазин необыкновенный — сельпо. Тут и игрушки, и телогрейки, и селедки, и конфитюр, и хлеб. И всем этим торгует одна лишь тетя, не как в городе.

Вот ребята подходят к прилавку. Впереди — Сережа, за ним — Мишка, у которого от переживаний даже дух перехватывает.

Он не помнил, что сказал тете, как она подала ему хлеб. Очнулся он от того, что сзади кто-то нетерпеливо сказал:

— Господи! Долго он будет копаться в кармане? Людей ведь задерживает.

После этого Мишка очнулся. Все приобрело реальные очертания, встало на свое место. На прилавке лежали две буханки хлеба, за прилавком стояла тетя в белой куртке, рядом с Мишкой стоял Сережа, а Мишка, оттопырив полу шубенки, безуспешно рылся в кармане штанов, торопливо, виновато приговаривая:

— Я сейчас, я сейчас...

У него не хватало двух копеек.

— Это черт знает что,— уже другим голосом сказал кто-то сзади Мишки.

— Ладно,— великодушно сказал Сережа, протянув продавщице монету.— Нате вам! Я плачу за него.

Сережа помог ошалевшему Мишке уложить буханки в авоську и потянул за рукав:

— Пойдем.

Они пробирались к двери, а Мишка все шарил в кармане, искал пропавшую монету: он не мог уйти из магазина, не отдав эти две копейки тете. Он даже вспотел, ища их. Все там было, в этом кармане: стиральная резинка, гайка, оловянный солдатик, гвоздь, фантик, а монета никак не попадалась.

И вдруг! О, что не случается в такой счастливый день! Ему нынче поистине везло. Вот он уж зажал злополучную монету между большим и указательным пальцами и, выдернув ее из-под шубенки, как из костра, ринулся обратно к прилавку. Монета, словно раскаленная, даже жгла ему пальцы. Да, он был честным человеком. Его всегда учили быть честным и справедливым.

Он решительно протолкался к прилавку и гордо, уже нисколько не волнуясь, сказал:

— Тетя, вот мои две копейки, а которые дал вам за меня Сереня, верните мне, я отдам их Серене обратно.

Все было честно и благородно, и он вновь сегодня открыл для себя что-то очень важное, необычайно значительное и даже не обратил внимания на то, что кругом, в том числе и тетя, вернувшая ему Сережины две копейки, засмеялись.

Он пришел домой победителем, словно одолел кого-то

очень сильного, и даже бабушка, принимая от него хлеб, заметила, что он как-то даже приосанился.

А ему с этих пор все время хотелось совершить что-нибудь самостоятельное. Чтобы он что-нибудь сделал сам, один. Без помощи, без вмешательства взрослых. Это желание мучило его, не давало ему покоя. Просыпаясь, он первым делом начинал думать о том, как бы совершить самостоятельный поступок.

Наконец он придумал.

— Баба,— сказал он несколько дней спустя,— давай я схожу за хлебом.

— С кем?

— С Саней.

Это уже было новостью.

Сане, розовому, курносому увальню, Сережиному брату, шел всего четвертый год.

— Ну иди,— сказала бабушка, поняв состояние внука, и вновь отсчитала ему ровно двадцать восемь копеек.

И они пошли. Только теперь уже Мишка был за старшего и первым подошел к прилавку и ждал, пока Саше дадут хлеб, как прошлый раз ждал Сережа, пока дадут хлеб ему, Мишке.

Вот они уложили буханки в авоськи, но с места не тронулись. Стоял Мишка, словно прилипнув грудью к прилавку, удивленно, с огорчением глядя на тетю широко распахнутыми карими глазами, стоял рядом с ним, водя по прилавку теплыми толстыми руками, безразличный ко всему Саша.

Жизнь снова открыла Мишке в эту минуту еще одну свою тайну.

Тайна заключалась опять в двухкопеечной монете. Дело в том, что продавщица дала Саше две копейки сдачи, а Мишке не дала ничего. Это невероятно его огорчило. И он стоял у прилавка, пораженный случившимся, оскорбленно глядя на продавщицу.

— Что же вы стоите? — спросила она.

— А сдачу? — спросил Мишка.

— Я же ему сдала.

— А мне?

— А тебе не полагается.

Как это не полагается? Саше полагается, а Мишке не полагается? Вот еще новость!

Мишка был предельно вежлив и терпелив.

— Может быть, вы думаете,— не спеша стал он объ-

яснять, по обыкновению растягивая, напевая слова,— может быть, вы думаете, что мы с ним из одной семьи? Так, пожалуйста, мы с Саней совсем из разных домов.

— Иди, не мешай работать,— сердито сказала продавщица.— Ишь какой!

— Но мне тоже нужна сдача,— настаивал Мишка.— Как же так?

Однако скоро их оттерли от прилавка, и они побрели друг за дружкой к выходу. Саша сжимал в кулаке маленькую монетку, а Мишка судорожно глотал большие обидные слезы.

И не понимал он, что это жизнь, катящая па всех парах, вновь показала ему одну из своих загадок, дала возможность сделать еще одно очень важное открытие. А сколько их, этих открытий, впереди? Пусть только будет в них больше радости, чем огорчений. Или поровну. Поровну тоже неплохо, когда познается жизнь, ее великая правда.

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Хлопнула кухонная дверь, Мишкины ноги спешно протопали по веранде, и вот он уже возбужденно заходил, заколесил по столовой и самозабвенно, однако не спеша, словно сказитель, запел свой рассказ:

— Ба-ба! То-олько я-а воше-ол в ку-ухню, только взя-ал зубную ще-отку, то-олько окуну-ул ее в во-оду-у...

Мишкина бабушка пришла из кухни в столовую, как она полагала, всего на секунду, чтобы взять солонку, но тут же забыла, зачем пришла, увидев Мишкиного деда, и завязала с ним оживленную беседу по поводу вчерашнего посещения Мишкиным дедом своего профессионального клуба, или, как говорила бабушка, родного дома, что в сокращенном ее изложении именовалось роддомом. Бабушке очень хотелось выведать, почему дед так долго пробыл в своем родном доме, а дед все увиливал от прямого ответа.

Теперь бабушка, уже забыв и про беседу с дедом, подбоченясь, внимательно, с любопытством слушала Мишкино песнопенье.

— То-олько окуну-ул ее в во-оду-у, то-олько взя-ал зубной порошо-ок,— в беспокойстве суетясь по комнате, пел малыш,— то-олько...

— Вот гляди,— восхищенно сказала бабушка, обращаясь к деду,— пока от него добьешься, в чем дело, весь дом может сгореть.

— Да,— сказал дед, даже с бóльшим, чем бабушка, удовольствием глядя на внука, самого своего лучшего, как он говорил, друга и приятеля.— Так сказать, взволнованно ходили вы по комнате...

— То-олько я-а хоте-ел су-унуть ще-отку в ро-от, ка-ак зашипи-ит,— продолжал меж тем свой рассказ-песню явно обеспокоенный чем-то малыш.

— Ну что, что там? — не вытерпела бабушка, которой, видно, тоже передалось его беспокойство.— Скажешь ты наконец, что там с тобой стряслось?

Мишка вдруг остановился как вкопанный, вытаращил на бабушку карие глазищи и выпалил одним духом:

— У тебя там все молоко выкипело!

— Ах ты батюшки, совсем забыла про это молоко! — вскричала бабушка и, насколько позволяли ей возраст, полнота и достоинство, ринулась на кухню.

— Молодец,— сказал дед после ее исчезновения.— Очень правильно действуешь. Всегда и обо всем надо рассказывать с толком, с чувством, с расстановкой. Молодец!

Это было рано утром, накануне завтрака, в самом начале морозного солнечного зимнего дня.

Ночью выпал небольшой сухой снежок, припорошил дорожку, что вела от крыльца к калитке, и Мишка, вышедший после завтрака на крыльцо в подпоясанной, как у извозчика, чтобы теплее, меховой шубенке, сейчас же взялся за метлу.

Искрящийся под солнцем снег был легкий, Мишка шустро махал метлой направо-налево, снежная пыль летела из-под метлы тоже туда-сюда, и Мишка, раскрасневшийся от работы и ядреного морозца, подвигаясь следом за метлой, приговаривал:

— Ух ты, матушка-метла, рукодельница, пошла! Ух ты, матушка-метла, рукодельница, пошла! Ух! Ух!..

Дойдя до калитки, он обернулся, оглядел труды рук своих, взвалил метлу на плечо и деловито затопал тяжелыми галошами, с трудом натянутыми бабушкой на валенки, чтобы не простыли ноги. Потом мужичком зашагал к сараю: там тоже надо было навести порядок.

И опять он яростно замахал метлой, подвигаясь вслед за ней и приговаривая:

— Ух! Ух! Ух ты, матушка-метла, рукодельница, пошла! Ух! Ух!..— Только снег запылил из-под метлы, так он старательно расчищал путь к сараю.

И тут, вроде бы совсем некстати, вышла на крыльцо бабушка и крикнула:

— Мишенька! Сходи к калиточке, посмотри, не принесли ли почту!

Мишка обернулся, строго и весело поглядел на нее, подумал, помешкал, что-то соображая, крикнул:

— Я не слышал, сходи сама! — и опять принялся с молодецкой удалью махать по снегу метлой.

Право же, отрывать человека от такой серьезной работы не стоило. И совсем, конечно, не стоило обращать внимание на то, что половина снега после трудовых усилий этого человека оставалась нетронутой и лежал тот снег на дорожке полосами и по правую руку, и по левую руку. Потом выйдет бабушка в подшитых валенках, в ватнике, в пуховом платке на голове и исправит все эти человеческие огрехи. И за почтой человек тоже сходит. Не сейчас, немного погодя, когда управится со снегом. Это же сейчас самая главная работа — размести дорожки.

— Ух! Ух! Матушка-метла, рукодельница, пошла! Ух!..

Но вот он замедлил свое продвижение, остановился, округлил глаза, уставился ими в одну точку и вдруг крепко задумался про зиму и про людей. Почему, когда приходит зима с морозами, снегом и льдом, люди сейчас же надевают теплые пальто, шапки, ватники, валенки, кутают головы пуховыми платками, а когда наступает весна, сейчас же скидывают всю эту одежду и потихоньку-потихоньку начинают раздеваться даже до трусиков?

Почему так получается? Зимой людям становится холодно? А если им все время махать метлами, будет жарко? А если им будет жарко, тогда сразу же снег начнет таять и лед на реках и наступит весна?

«Пришла зима, застыли реки, на́дели шубы человеки»,— пронеслось у него в голове.

Он еще постоял, прислушиваясь к этим словам, а в голове в это время уже пронеслось:

«Пришла весна, открылись реки и сняли шубы человеки».

Где и когда он это слышал? Кто это сказал? Кто говорил такие слова? Сейчас это кто-то сказал ему на ухо или давно, но вчера или позавчера? Но надо совсем не так! Надо, чтобы сперва человеки сняли шубы, а потом чтобы на-

ступила весна. Если человеки наденут шубы, наступит зима, если человеки снимут шубы, наступит весна. Бабушка надела ватник, и сразу наступила зима. Он это сам видел. Пришла бабушка утром, одетая в ватник, закутанная пуховым платком, и сказала:

— Ну, Мишенька, вставай, просыпайся, посмотри, сколько снегу во дворе.

Он подбежал к окну и даже онемел от изумления, столько в самом деле было понасыпано всюду снега: и на земле, и на крыше сарая, и на яблоневых ветках, и на кустах. И везде он был мохнатый, пушистый и такой белоснежный, что даже внутри дома от его ровного тихого холодного сияния все как есть посветлело и словно бы обновилось.

Вот так и пришла зима: сперва Мишкина бабушка надела ватник, валенки, покрыла голову теплым платком, походила в этом одеянии по мерзлой земле, а после этого и зима со своим снегом пожаловала.

Но, быть может, все-таки наоборот? Сперва пришла зима, застыли реки, а уж потом, как следует озябнув, надели шубы человеки?

Мишка думал-думал, где тут правда, как тут быть, так крепко, сильно думал, что даже в голове что-то начало потрескивать. Так, ничего и не придумав, он пошел к деду, чтобы сообща с ним разобраться, что к чему и как тут поправдашнему должно быть. Кто на самом деле пришел первый, а кто потом.

Он ввалился в дом, пропахший морозом, в сдвинутой на затылок ушанке, в запыленной снегом шубенке, шлепнул по столу перед дедовым носом пачкой свежих газет и заспешил, заторопился:

— Дед, дед, дед! Пришла зима, застыли реки, надели шубы человеки...

— Что, что? — не понял дед.

— Пришла весна, открылись реки, и сняли шубы человеки,— продолжал Мишка.

— Человеки? — спросил дед.

— Да, человеки,— подтвердил Мишка.

— Кто же это сочинил?

— Само. Я мел-мел, а потом — раз! — и что-то такое само заговорило во мне, как патефон.

— В поэзию, значит, занесло тебя, сердешного, с трудов-то праведных?

— Ага,— согласился Мишка.— Ты, дед, скажи: пришла зима и человеки надели шубы или как?

— Правильно, солидно. Озябли — и сейчас же шубы на себя. Потеплело — шубы-шапки долой. Все правильно.

— А не наоборот?

— Ни в коем случае. Зачем же. Зачем же, сам посуди, человекам зря париться? Ты видал кого-нибудь посреди лета в меховой шубе?

— Видал,— сказал Мишка.

— Кого?

— Серенину да Санину бабушку. Ты сам ее тоже видел.

— Это верно,— согласился дед, вспомнив, как восьмидесятисемилетняя, совсем потерявшая разум старуха, в валенках, в меховой дохе, обмотав шалью голову, стояла июльским жарким днем посреди улицы и по дряблым щекам ее текли горькие слезы. Напротив старухи стояли Мишка с Саней, почти совсем голые, в одних трусиках, загорелые, крепкие, и с любопытством смотрели на нее.

«Кто тебя, бабка, обидел? — спросил Мишкин дед, выйдя за калитку.— Что ты ревешь?»

«Как жа-а...— захныкала бабка.— Дашка с девчонками в кино ушли, а меня не взяли».

«Безобразие! — гневно вскричал Мишкин дед.— Да как они посмели! Да пусть они только появятся, мы их живо призовем к порядку, узнают они, как без бабки в кино ходить! Да мы их...»

«Вот-вот, давно бы их так-то попужать,— сказала Санина бабушка, по-детски, ладонями, смахивая с морщинистых щек слезы.— А то говорят, куда ты в валенках попрешься?»

«Не реви, сделай милость,— попросил Мишкин дед.— Ребятишек даже напугала. Страх какой».

Санина бабушка постояла, всхлипнула разок и пошла домой восвояси.

Теперь, вспомнив эту историю, дед сказал:

— Так ведь Санина бабушка совсем старенькая, долгую жизнь прожила, все позабыла. Понял?

— Понял,— сказал Мишка.

— А теперь иди, не мешай мне. А то вы со своей бабушкой что-то сегодня с самого утра всякие беседы заводите со мной, делом заниматься мешаете.

— Понял,— очень серьезно сказал Мишка, а на самом деле еще больше запутался в этой сложной истории с шубами, человеками, с соседской зареванной старушкой в валенках на жаркой пыльной улице. Так запутался, что в

голове его опять начало что-то вроде бы потрескивать, и он скорее пошел во двор.

И только он вышел на крыльцо, только поглядел, сощурясь, на засыпанную снегом крышу соседнего дома, над которой почти недвижимо стоял, прилепясь к трубе, сизо-лиловый султан печного дыма, только хотел перевести глаза еще и на солнце, на синее небо, как почувствовал, что во дворе вроде бы чего-то не хватает. Он сперва никак не мог понять чего. Все вроде было на месте: сарай, метла, забор, дорожка, но чего-то все-таки не хватало. Чего же?

Не хватало Джима. Черного фокусника — пуделя Джима, верного, бескорыстного Мишкиного друга. Он еще недавно сидел на разметенной Мишкою дорожке и, должно быть, восхищался Мишкиной работой, как тот ловко расправляется со снежным заносом.

— Ух! Ух!

А матушка-метла так и летает направо-налево.

Очень, должно быть, нравилось Джиму глядеть, как славно и самозабвенно работает его друг, потому что, любуясь Мишкиными делами, пес как знаток склонял голову и направо и налево и даже несколько раз весело поощряюще тявкнул.

Теперь его во дворе не было. Мишку охватило беспокойство. Мишка засуетился. Заглянул за сарай, за угол дома, за гараж, но Джима нигде не нашел. Его словно вороны утащили. И Мишка кинулся за калитку, выбежал на пустынную, сияющую, искрящуюся под солнцем свежими снегами улицу, а навстречу ему бежал Саня.

— Джим! — закричал краснощекий, неизвестно где успевший уже вываляться в снегу Саня.

— Джим? — закричал Мишка.

— Джим!

— Где?

— Там!

И они, сразу так славно, с трех слов поняв друг друга, помчались вдоль по улице, свернули за угол и вдалеке увидели Джима. Он не спеша, озабоченно трусил куда-то по своим собачьим делам.

Мишка с Саней молча кинулись за ним следом. Саня упал, но тут же вскочил и, сопя, не сказав ни слова, пристроился рядом с Мишкой. А Джим между тем повстречался с какой-то чужой собакой, о чем-то с ней пошептался и побежал дальше. И Мишка поспешил за ним, боясь потерять из виду, а Саня опять упал. Вообще, пока они гоня-

лись за Джимом, увалень Саня падал раз пять. Он падал из-за излишнего усердия и даже не считал нужным отряхиваться. Велика важность — весь в снегу. Куда как проще и удобнее отряхнуться всего один раз, когда пойдешь домой. Тогда можно будет попросить кого-нибудь, чтобы снег с тебя метлой соскребли. А это еще даже удобнее и проще, чем самому сбивать с себя снег рукавицей или шапкой.

Так вслед за Джимом, уморившись и разгорячившись, прибежали они к клубу, а там, на спортивной площадке,— хоккей. Вихри снежные из-под коньков, клюшки мелькают и под ногами и над головами, шайба с таким треском врезается в деревянные бортики, словно кто-то все время почем зря палит из охотничьего ружья.

Мишка с Саней прилипли к бортику, изумленно глядя, как школьники, выпущенные на каникулы, сломя голову носятся с клюшками в руках по льду.

Тут, на льду, разыгрывалось такое отчаянное сражение, что ребятишки даже про Джима позабыли. Спасибо, что Джим сам не забыл про них и, очевидно успев обежать всех своих знакомых собак, потолковать с ними о том о сем, разыскал ребят и уселся возле Мишкиных валенок, так славно пахнущих на морозе новыми галошами.

— Саня,— таинственно и восторженно, как клятву, произнес Мишка.— Только я поступлю в школу, так запишусь в хоккейную команду.

— И я,— сказал Саня.

— И буду гонять шайбу.

— И я.

— И у меня будут настоящие коньки и самая настоящая клюшка.

— И у меня.

— Дед купит.

Вспомнив про деда, Мишка округлил свои смородинные глаза, уставился ими на Саню и закричал:

— Скорее, дед заругается!

И они все втроем помчались домой.

Саня от усердия тут же упал, ткнулся лбом в снег, а вскочив, так припустил, что обогнал даже Мишку. Джима только не сумел обогнать.

Джим, как и Саня, должно быть, понял Мишку с одного слова и бежал домой с такой озабоченностью, что даже не остановился ни разу, хотя и видел по дороге знакомых собак, и те даже обиженно гавкали ему вслед.

В это время Мишкина бабушка, еще раз попробовав побеседовать с дедом и узнать, почему он вчера все-таки задержался в своем родном доме, спросила:

— А где наш Михаил?

— Во дворе, наверно,— сказал дед.

— Там его нет,— сказала бабушка.

— Вот еще номер! — сказал дед и поскорее, чтобы отделаться от собеседования с бабушкой, надел шапку, полушубок и поспешил за калитку.

Вот тут-то из-за угла и выкатилась гуськом вся троица.

Джим прибыл первым. Он уселся возле дедовых ног и, жарко дыша, поводя боками, весело, озорно поглядывал в ту сторону, откуда должен был появиться его благодетель, друг и повелитель.

Но раньше повелителя из-за угла вылетел на манер футбольного вратаря заснеженный человек и тут же, даже не охнув, вскочил на ноги. Мишкин дед с трудом узнал в том человеке Саню. Потом появился Мишка. Он бежал несколько странно. Его словно бы чья-то невидимая рука тянула за шапчонку, а ноги в тяжелых галошах не успевали за этой невидимой, увлекающей Мишку вперед силой и все время отставали от туловища.

— Где ты пропадал? — спросил дед.

— Джима ловил,— сказал Мишка, останавливаясь и переводя дух.— Его чужая собака до самого хоккея утащила.— Он опять передохнул, поглядел на деда строгими огорченными глазами.— Дед, ты не будешь ругаться?

— Не буду.

— Что ль раздумал? — спросил Мишка.

— Раздумал,— сказал дед.— Пойдем домой, бабушка обедать зовет.

Когда Мишка раздевался, бабушка спросила:

— Ну, Мишенька, замерз, наверное?

— Вспотел,— сказал Мишка.

— И верно,— сказала бабушка, потрогав Мишкину голову.— У тебя же волосы мокрые...

— Ничего,— сказал дед.— На морозе это бывает. А вот если ему вдобавок к этим твоим галошам еще по гире к ногам привязать, нашего малого можно будет даже выжимать, как банную мочалку.

— Между прочим, эти мои галоши,— язвительно сказала бабушка,— спасают ребенка от простуды. Валенки у него всегда сухие.

— Теоретически. Предположительно и снаружи. А внутри? — спросил дед.

— Что — внутри? — испуганно вскричала бабушка.— Миша, сколько раз я тебе буду говорить, чтобы ты не лазил по сугробам! — Она схватила валенок, сунула в него руку, схватила другой...

Валенки были сухие.

Она подозрительно поглядела на Мишкиного деда:

— Ты не смеешься ли надо мной?

— Зачем, бабуля,— миролюбиво сказал дед.— Просто сегодня у него были пока что иные пути-дороги. Так? — обратился он к Мишке.

— Так,— сказал тот.

Мишка уже сидел за столом и смотрел в окно.

А за окном висела птичья клетка с распахнутой дверцей. Два раза на день в клетку сыпали, высунув руку в форточку, семена подсолнуха. А потом одна за другой, словно бомбардировщики, в клетку влетали веселые, бойкие синицы, хватали семечки и, выпорхнув, усаживались на ветки ближней яблони, на кусты бузины, прижимали семечки к веткам лапками и ловко, быстро лущили их клювами, выклевывали сердцевину и опять летели бомбить клетку. Синиц было много, и так это у них отлично получалось — одна за одной,— что можно было без устали глядеть на них.

За кормежкой синиц, кроме Мишки, наблюдали еще и воробьи. Их тоже немало слеталось сюда в обед. Они рассаживались на яблоне, но влетать в клетку не решались, хотя и голодны были, наверное, как звери. Воробьи были осторожны, хитры, недоверчивы и благоразумны. Они были, как говорят, себе на уме.

Сперва Мишке было очень жалко их, но дед сказал:

— Если мы будем кормить семечками всех поселковых воробьев, то вылетим вместе с тобой и твоей бабушкой в трубу. Они и так пшеницы у наших голубей поедают незнамо сколько. Ты вот заметь: в голубиный нагул они залетают, а в клетку возле окошка не летят. Почему, думаешь, такой камуфлет получается?

«Почему?» — стал думать Мишка, вытаращив от усердия глаза и уставясь ими, по обыкновению, в одну точку.

Думал-думал, три часа, наверное, думал, ничего не придумал и пошел к деду за разъяснениями.

— А вот почему,— сказал дед.— Сейчас я тебе на первый раз расскажу, так тому и быть, а потом уж ты, брат,

сам, будь любезен, понаблюдай за птицами и пораскинь мозгами, смекни, что к чему. Понял?

— Понял,— сказал Мишка, усердно глядя на деда.— Давай дальше.

— Так вот слушай: в голубиный нагул они залетают и пасутся там, хозяйничают на голубиной пшенице потому, что догадались, хитрецы, о том, что в нагуле, кроме главного входа с приполка, есть еще несколько дырок, через которые они сумеют всегда, если захлопнуть их в нагуле, выскочить наружу. А из клетки не выскочишь. Дырок-то нет. Нету ведь? — спросил он у Мишки.

— Нету,— подтвердил тот.

— Вот какие, брат, они хитрые да разумные, эти самые наши развеселые воробушки. И они, видишь ты, не доверяют человеку при всем при том. Никак и ни за что. А синица доверяет, верит нам с тобой, что мы ничего ей плохого не сделаем, никакого зла не причиним и сотворим добро. А теперь ты сам понаблюдай потихоньку за ними. Воробьи ведь не зря все-таки слетаются сюда, как только у нас с тобой наступает черед синиц кормить. Наблюдай, разведчик. Потом доложишь мне.

И Мишка стал наблюдать. Он наблюдал каждый день немножко до обеда, во время обеда, а потом немножко после обеда. Сперва все синицы и по облику и по манерам походили друг на дружку как капли воды. Но потом выяснилось, что не тут-то было. Одна синица толстушка и кругла, как мячик, другая, наоборот, стройна и изящна, словно оловянный солдат, у третьей на голове хохолок на манер модной прически, у четвертой словно бы косыночка. И манеры у них были совсем разные: одна скромна и застенчива, другая ужасная скандалистка и, словно у воробьев научилась, норовит со всеми поссориться; одна влетает в клетку с ходу, схватит семечко и ходом же обратно, только ее и видели, а другая не спешит, посидит вниз головой на клетке, посидит бочком на дверке, потом впорхнет внутрь, не торопясь прихватит клювом подсолнушек, посидит на порожке, оглядится и лишь после этого перемахнет на яблоню.

На яблоне сидят воробьи и делают вид, будто им совершенно наплевать, что синицы тащат и тащат из клетки такие вкусные подсолнушки, что слюнки текут. А синицы и верят, что воробьям дела до них нет, беспечно сидят на ветках, легонько прижимают к ним лапками семечки. Но вот один из этих хитрых разбойников подсаживается к си-

ничке и начинает этак боком, боком толкать ее. Синичка, конечно, удивлена, возмущена, наконец.

«Хулиган, как не стыдно!» — пищит она и, подхватив клювом семечко, перепархивает на другую ветку. Но хулиган летит следом за ней и опять начинает толкаться. Таким манером он гоняется за возмущенной синичкой до тех пор, пока та — ах! — не роняет семечко в снег. Хулиган-воробей камнем валится вслед за ним в сугроб и мигом подхватывает добычу.

И чем больше Мишка наблюдал за доверчивыми синицами и хитрющими, озорными воробьями, тем разнообразнее оказывались их повадки. Одна синица до того поверила в доброту окружающего ее мира, что, влетев поутру в клетку и наевшись, иной раз до обеда дремала там, сидя на жердочке. А один воробей вот как приспособился отнимать у синичек подсолнушки: сидит, проказник, в сторонке, на верхнем сучке и всем своим существом выражает полнейшее ко всему пренебрежение. Он даже смотрит совсем в другую от клетки сторону. И вдруг — бац! — грохается прямо на зазевавшуюся синичку. Та, и пискнуть не успев, срывается с места и с перепугу роняет подсолнушек.

А воробьишке только этого и надо.

Вот и сегодня он опять выкинул свой любимый номер и насмерть перепугал синичку.

— Дед! — закричал Мишка.— Смотри, какой нахал!

— Наблюдаешь? — спрашивает дед.

— Наблюдаю,— говорит Мишка.— Как будто ничего не думает, а сам — дзинь, трах, бум! И все. Вот какой нахал!

— Но ты не только за синицами да воробьями наблюдай.

— За голубями еще?

— И за воронами, за сороками.

— На помойке которые?

— Вот я вчера, Мишенька, видела такую историю,— говорит бабушка, разливая суп.— Выхожу я на улицу. Что такое, думаю, почему воробьи и синички так забеспокоились и тревожно раскричались? А потом вдруг сразу все умолкли. Гляжу, а над нашим садом ястребок летит. Вот какая, оказывается, беда над ними нависла.

— Какая? — спрашивает Мишка.

— Да ястребок. Он же за ними охотится. А они, бедненькие, прижались к веткам, забились под застреху, за карнизы, кто куда — и ни гугу. Он так и улетел ни с чем.

— Опять прилетит? — озабоченно спрашивает Мишка.

— Наверно, прилетит.

Мишкино воображение сейчас же рисует такую картину: кормятся возле клетки синицы, а на них, откуда ни возьмись, нападает жестокий ястреб-бармалей, хватает кого попало и уносит в когтях неизвестно куда. Это уже было нечто иное и более страшное, чем обычные воробьиные ссоры, драки и безобидные, в общем-то, хулиганства. Ну, подумаешь, схитрил, отнял у синички семечко. Она ведь и другое очень даже просто может достать. А тут совсем иное что-то. Мишка еще не знает что, но убежден: теперь синиц и воробьев надо охранять от злодея ястреба. И, пообедав, сурово нахмурясь, он стал собираться на охрану.

Опять на нем очутились валенки с этими тяжелыми галошами, подпоясанная для тепла ремнем шубенка, шапка, под названием «козел», потому что сделана из козлиной шкуры, и рукавички.

Но это уже был совсем другой Мишка, никак не похожий на того, который разметал дорожки, бегал за Джимом, смотрел, как играют в хоккей выпущенные на каникулы школьники.

Теперь на улицу вышел Мишка-воин и мужественно встал на охрану беззащитных синиц и воробьев.

Он был при оружии. Руки сжимали автомат, на боку висела шашка, а за поясом торчал наган. Возле калитки его поджидал тоже отобедавший и еще не успевший поваляться в снегу Саня.

— Саня! — встревоженно закричал Мишка.— Скорее бери свой автомат. Сейчас прилетит ястреб, он будет ловить воробьев и синичек, а мы их будем защищать.

Саня, не сказав ни слова, развернулся на сто восемьдесят градусов, кинулся к своему дому за боевым оружием, шлепнулся посреди дороги, перевалился с боку на бок, вскочил и, больше уже ни разу не упав, благополучно скрылся за калиткой.

Не прошло и двух-трех минут, а они уже вдвоем с оружием в руках стояли посреди пустынной заснеженной улицы и зорко, настороженно всматривались в морозное безоблачное небо.

Вся сложность наблюдения за небом заключалась в том, что они не знали, с какой стороны надо ожидать нападения коварного ястреба. Можно было, конечно, сходить домой и спросить у бабушки, откуда он прилетел

вчера, но ведь, пока ходишь туда да обратно, можно и прозевать его.

И они стояли, задрав головы и вперив очи в поднебесье.

Сколько они так простояли, рассматривая небо, сказать трудно, однако солнце уже стало светить косо и мороз покрепчал, когда из-за Саниного дома вылетел ястреб.

— Саня, бей! — закричал Мишка.— Ура!

— Трррр... Тррррррр...— затрещали они, задрав к небу автоматные дула.

Ястребок летел не спеша, лениво пошевеливая крыльями, внимательно рассматривая землю и не обращая никакого внимания на отчаянную автоматную пальбу и на двух сорок, летевших следом за ним и беспрестанно оравших что есть мо́чи.

Но вот автоматная трескотня прекратилась. Ястреб скрылся из поля зрения отважных воинов. Но еще до того, как ему скрыться, одна из сорок, Мишка очень даже хорошо заметил, как одна из сорок, продолжая истошно орать, повернула и быстро-быстро, что было сил, помчалась обратно. Вторая сорока отважно и упорно сопровождала ястреба. Так они и улетели вдвоем за крыши домов и купы деревьев.

Мишка насторожился. Почему одна сорока осталась с ястребом, а вторая сломя голову помчалась куда-то назад? Зачем? Почему? Но он даже не успел прийти к какой-нибудь догадке, как горластая сорока, летавшая невесть куда и зачем, показалась снова в поле зрения отважных автоматчиков. Она спешила пуще прежнего, а за ней в суровом яростном молчании как-то боком спешили две огромные вороны. Они скрылись (это Мишка опять же хорошо заметил) точно в том направлении, куда проследовал в поисках жертвы величественно жестокий ястреб с сорокой позади.

— Сорока, что ль, за воронами летела? — таинственным шепотом спросил Мишка.

— Ага,— сказал Саня.

— Зачем?

— Я не знаю.

Мишка тоже не знал.

Они продолжали, задрав головы, рассматривать небо.

Некоторое время небо оставалось пустынным. А потом появился ястреб. Теперь он летел на весь размах сильных крыльев, безуспешно, однако, пытаясь увильнуть от напа-

давших на него то сбоку, то сверху добрых могучих ворон.

— Ура! — закричал Мишка.— Наши бьют!

И они с Саней принялись строчить из автоматов по ястребу, помогая добрым воронам.

И добрые вороны прогнали ястреба, наподдали ему как следует, чтобы в другой раз неповадно ему было нападать на синиц и воробьев. И уже пролетели, еле махая крыльями, сделавшие свое доброе дело, теперь молчаливые от усталости сороки, как солнце село на край земли, а вскоре и вовсе скатилось за землю. Наступили ранние зимние сумерки.

— Миша! — послышался от крыльца голос бабушки.— Пора домой, уже вечер.

И они разошлись по домам. До завтра. До нового, что-то новое несущего им дня.

Дома Мишка сказал:

— Баба, у меня руки-ноги так устали, что я сейчас на голове стану ходить.

— Этого еще только не хватало,— ответила бабушка.— Ложись-ка лучше спать. Целый день с утра до вечера, и все на ногах да на ногах. Такого и взрослый человек не выдержит.

— Завтра ворон надо будет покормить,— сказал Мишка, раздеваясь.

— Пришлось понаблюдать за ними? — спросил дед.

— Еще как! — сказал Мишка.— Дед, отгадай загадку: жилет на букву «Л» — что такое?

— Не знаю,— признался дед.

— Сдаешься?

— Сдаюсь.

— Эх, ты! Лифчик!

Мишка засмеялся и нырнул под одеяло.

НАРУШИТЕЛЬ ТИШИНЫ И ПОКОЯ

Без Мишки скучно. Ах, как скучно! Сказать невозможно. Вот уехал утром с бабушкой в Москву, и дом вроде бы сразу наполовину опустел и в саду все притихло, опечалилось, осиротело. Даже велик, впопыхах притуленный Мишкой к кусту расцветшей сирени, и он не то задремал, оставшись без Мишки, не то вовсе пал духом.

А про Мишкиного деда и говорить нечего. Восседает

на ступеньке крыльца, ворон подсчитывает, фордыбачится, делать ничего не желает, расхандрился так, что лучше не подходи!

Благо подходить особо некому. Только мудрый, рассудительный пудель Джим. Сидит черный Джим на плотной песчаной дорожке в некотором почтительном отдалении от деда на крыльце и, склонив голову набок, внимательно слушает, что говорит ему Мишкин дед.

— Уехать, бросить на произвол судьбы человека! Это ли не измена? Небось гуляет, счастливец, мороженое ест, ботинки новые примеряет, и хоть бы хны ему. Ты слышишь меня, несчастный пес?

При слове «несчастный» Джим горестно сглатывает слюну, переваливает голову на другой бок и прислушивается.

— Мне ведь работать надо, а у меня все из рук валится, понимаешь ты или нет? Три раза брался, но голова, как назло, пуста, словно пионерский барабан. Ничего не могу сообразить в окружении этой идеальной, первозданной тишины. Ты можешь сказать мне русским языком, в чем тут дело?..

Творилось что-то невероятное. Еще вчера деду так славно работалось, срочный заказ так стремительно продвигался вперед, что дед, казалось, на радостях позабыл обо всем на свете и знай себе строчил на бумаге, пока Мишка, заявившийся к нему в кабинет с чрезвычайно важным экстренным сообщением, не привел его в чувство.

— Дед,— сказал Мишка торжественно и взволнованно,— у Серени с Саней такой острый топорик, так он здорово колет дрова, что с одного кола полено раскалывается.

— Что? — спросил дед, отрываясь от своей упоительной работы и рассеянно поглядев на Мишку.

— С одного кола... топорик такой есть у Сани с Сереней...

— Вот что, друг. Если ты будешь мешать мне работать, я буду вынужден уехать от вас в Малеевку.

— Зачем?

— Там буду работать в тишине.

Мишка оторопело поглядел на деда широко распахнутыми глазищами, конфузливо, виновато улыбнулся и, попятясь, осторожно прикрыл за собою дверь.

А дед опять принялся за работу, и никто уж больше не мешал ему до самого позднего вечера, пока не позвали на веранду пить чай с баранками.

Вот тут-то и было решено, что поскольку дед, как он сам говорил, значится кустарем-одиночкой, надомником без мотора, то завтра утром бабушка с Мишкой поедут в город, будут там подстригаться, навещать родителей, покупать Мишке новые башмаки, приобретать еще и того и сего, а дед-надомник за это время поторопится закончить в тишине срочную работу.

Очень даже все на словах за вечерним чаепитием получалось просто, ясно и привлекательно. И вот наступило новое утро, Мишка еще по росе уехал в город, а вокруг надомника образовалась и воцарилась эта самая идеальная, первозданная, будь она трижды неладной, тишина. И дед потерял в ней покой. Он сидел на крыльце и уныло брюзжал. Ему чего-то очень не хватало. Весь день. А ведь еще вчера так все было отлично, так превосходно работалось; ведь еще вчера, за вечерним чаем, спланировали, что в тишине, когда никто не мешает, должно работаться еще лучше.

А получилось очень даже совсем не то.

Лишь когда было далеко за полдень, Джим, лениво слонявшийся по тихому саду, вздыхая от безделья, вдруг навострил уши, прислушался и, радостно взвизгнув, помчался к калитке.

— Ага! — оживившись, воскликнул дед. Он сразу все понял и оценил.— Это неспроста. Стало быть, где-то недалеко шествует мой самый главный друг — Мишка.

А Джим уже сидел возле калитки, поскуливая и ерзая от нетерпения.

— Все в порядке,— продолжал дед, весело потирая руки и следя за повадками Джима.— Никакой ошибки быть не может, мой главный друг на подходе. Он совсем уже близко.

И действительно, не прошло минуты, как после непродолжительного, но ужасного грохота щеколды калитка широко, шумно распахнулась и в пределы приусадебного участка твердым солдатским шагом ступил Мишка. Следом за ним двигалась баба, тащившая всяческие сумки и авоськи с провизией разве что не в зубах. За спиной у Мишки висел туристский рюкзак. Щедрое предвечернее июньское солнце розовым светом сияло в оттопыренных Мишкиных ушах. Старик Джим радостно суетился возле его ног, а дед-надомник, позабыв про всю свою мерихлюндию, растопырив руки, шел, улыбаясь, навстречу своему самому лучшему другу.

— Приехал!
— Приехал, дед!
— Ну, здравствуй!
— Здравствуй, дед!
— Хорошо ли ехалось?
— Хорошо, дед!

И Мишка принялся поспешно объяснять, как ему ехалось.

— Сперва мы пошли в метро и поехали вниз по лестнице — эскалатору, которая сделана из половика и гармони. Потом ехали под землей в вагончике, потом опять на лестнице, только вверх, потом пошли на вокзал, зашли в билетницу, купили билет, сели в электричку и поехали задом наперед.

— Вона что,— изумленно вскричал дед.— Как же это все произошло с вами, сердечные?

— Правильные места все были заняты.

— Скажи на милость! Сплошное беспокойство! Стало быть, ты в электричке ехал вроде кота?

— Какого кота, дед? — Мишка даже остановился посреди дорожки, глаза его враз округлились и потемнели в изумлении.— А за ними кот, что ль, задом наперед? — засмеявшись, догадался он, трогаясь дальше.

Они шумной гурьбой ввалились на веранду: Мишка, следом за ним дед, потом веселый, приплясывающий Джим, потом усталая бабушка. Дед стянул с Мишкиной спины рюкзак и, взвешивая его на руке, спросил:

— Не утомился?

— Бабе надо было помогать,— уклончиво, с достоинством ответил Мишка.— А ты успел закончить срочную работу?

— Да нет, не совсем,— соврал дед.— Но я сейчас, теперь скоро...

И он ринулся к себе в кабинет. Стоило появиться Мишке в саду, как все опять встало на свое место, даже велик как-то приободрился и пчелы над ним загудели в сирени веселее и громче.

А деду опять захотелось работать, как вчера, всласть, чтобы позабыть обо всем на свете, чтобы хвост трубой!

Ах, как славно ему теперь вновь работалось. Вот, оказывается, почему его весь день тоска съедала: не было рядом лучшего друга, нарушителя тишины и покоя. И дед работал засучив рукава, дым коромыслом валил от его сигарет, а под распахнутым окном, возле летнего тесового

столика, совершенно не мешая ему, переговаривались Мишка с бабушкой:

— Ты, что ль, селедку делаешь?

— Селедку, Мишенька.

— А это что ты вытащила из нее?

— Это икра.

— Она ее с чем ела, с белым хлебом или с черным?

А дед слышал и не слышал эту их обстоятельную беседу и работал с восторгом, с упоением. Потом, может, час, а может, всего пять минут спустя, он словно сквозь сон услышал бабушкин гневный возглас:

— Миша!

Дед глянул в окошко. Бабушка, подбоченясь, с печалью и огорчением взирала на Мишку. Тот стоял чуть в сторонке, под грибом, возле песочницы и с готовностью, примерным послушанием, очень внимательно ждал, что она еще скажет ему.

И руки, и коленки, и живот, даже новые башмаки — все сплошь у него было вымазано мокрым песком.

— Когда же ты успел? — вопрошала бабушка.

— Только сейчас,— охотно и невозмутимо отвечал Мишка.

— Бог мой! На кого же ты похож! — всплеснула руками бабушка.

Мишка с любопытством и неослабевающим вниманием таращил на нее темные, беспредельно честные глаза. Возле Мишки сидел Джим и, склонив голову набок, вывалив изо рта длинный розовый язык, смеялся что было сил.

— Я спрашиваю, на кого ты похож? Отвечай же мне!

— На папу,— кротко сказал Мишка.— А глаза мамины.

После этого диалога работа у деда пошла еще веселее. Все встало по местам. Жизнь текла своим прежним руслом, своими прежними перекатами, отмелями и плесами, в своих прежних уютных, цветущих берегах.

Но вот под окном, еще всего, быть может, минуты, а быть может, и целых полчаса спустя, что-то заскреблось, зашуршало, и за подоконник уцепились докрасна отмытые влажные Мишкины руки, а потом показалась его стриженная под машинку круглая голова.

— Дед,— таинственно прошептал Мишка и вороватo оглянулся:— Можно я в окно к тебе перелезу?

— Лезь скорее,— радостно сказал дед.— Пока от бабы нам не попало.

— Дед,— сказал Мишка, ввалившись в комнату.— Ты, что ль, еще не закончил свою надомную работу?

— Да нет, не успел. Но я скоро закончу.

Мишка пытливо и обеспокоенно глядел на него. А дед был благодушен. Дед не знал, что Мишка целый день не переставая думал про деда, очень за него волновался и переживал. И когда примерял новые башмаки, и когда ехал задом наперед в электричке, все думал и думал: как-то там у деда с этой срочной работой, успеет ли он до Мишкиного возвращения закончить ее в тишине?

Теперь он печально спросил:

— Ты в какой же день уедешь от нас в Бармалеевку?

— Ни в какой.

— Не поедешь?

— Ни за что.

Мишка вздохнул с облегчением и признался:

— Мне бы очень скучно было без тебя.

«...ПО МОЕМУ ПРОШЕНИЮ»

Они давно собирались на озеро с ночевкой, да все никак не выходило: то Мишкин дед был занят, то дядя Леня уезжал в командировку, то Иванов начинал ремонтировать машину, то погода портилась.

Но вот Мишка всех перехитрил. Как-то вспомнилась ему сказка про Емелю, он забрался в малинник, чтобы таинственнее, зажмурился и прошептал:

— По щучьему веленью, по моему прошенью скоро поедем на озеро.

И не успел он произнести эти слова, как сейчас же вернулся из Москвы дед и сказал:

— В субботу едем на озеро.

Автомобиль они загрузили еще в пятницу вечером: палатку, удочки, банки с мотылем, червяками, корзину с провизией, канистры с запасным бензином, кастрюли, ведерки и бадейки — все это заняло не только багажник, но перебралось и в кузов, на заднее сиденье. Мишка даже забеспокоился, хватит ли им всем места. Однако устроились. Иванов — за рулем, сзади него, вместе с вещами, дядя Леня и сын его Андрей, который нынче перешел из

пионеров в комсомольцы, а рядом с Ивановым — Мишка с дедом.

Сперва ехали по Ярославскому шоссе, полному автомобилей, словно городская улица, потом свернули на одичало пустынную, летящую среди лесов с холма на холм бетонку, выехали на Дмитровское шоссе, опять на бетонку, и тут Иванов сказал:

— Ну, Миньчик, теперь до нашего озера рукой подать.

И верно, после этих слов прошло не больше чем полчаса, а под колесами автомобиля уже не было не только асфальта или бетонных плит, но даже булыжника, по которому они проскакали несколько километров, свернув с Рогачевского шоссе. Теперь они ехали, переваливаясь с боку на бок, по мягкому проселку среди спеющей ржи, а сзади них все было окутано встревоженной автомобильными колесами теплой пылью.

— Гляди! — сказал дед, толкнув Мишку в бок.

Автомобиль в это время осторожно скатывался с пригорка к лесу, густо синевшему по ту сторону высохшей протоки, и Мишка, глянув правее, куда указывал дед, увидел что-то большое, спокойное и светлое, как небо, мелькнувшее меж деревьями.

Это было озеро.

Они благополучно миновали протоку, выкатились на другой ее берег, по чуть приметной среди некошеных трав тележной колее пробрались в лес и, лавируя меж деревьями, стали углубляться в него вдоль озера все дальше и дальше. И пока они ехали по берегу, Мишка все время чувствовал, что оно совсем рядом, стоит только раздвинуть кусты, осоку, и ты увидишь его, невольно зажмурясь от радости и открывшейся твоему взору неожиданной красоты лесного озера.

У большинства из них было по удочке: у Иванова, у Андрея и у Мишки. Дед вообще не знал, взяли для него удочку или нет. Он больше любил астраханских или клайпедских промысловиков, в крайнем случае подмосковных браконьеров, и в теперешнюю экскурсию ввязался лишь ради того, чтобы пожить с Мишкой в палатке, посидеть возле лесного костра, похлебать, если будет, ухи, а не будет — венгерского супа. Так же беспечно и безответственно относились к этой поездке и Андрей с Ивановым. Мишка, разумеется, не в счет. Человек впервые отправлялся на такое серьезное и ответственное дело, каким для на-

стоящего рыболова является ужение плотвичек и окуньков.

Настоящим рыболовом был дядя Леня. Он готовился к этой поездке даже с большим, чем Мишка, усердием, трепетом и священным энтузиазмом. Дядя Леня полста лет прожил человек человеком, да вдруг ему втемяшилось, что он превосходный рыболов, и с того момента в его жизни все пошло вверх ногами. Появились удочки, спиннинги, донки, блесны, крючки всех сортов и размеров, спутанные и еще не успевшие запутаться лески, поплавки круглые с перышком и продолговатые без перышка, круглые без перышка и продолговатые с перышком, мормышки и еще бог знает что. И конечно, одежда. Та самая специальная одежда, по которой враз можно отличить настоящего рыболова от нормального человека, ибо она подобрана по принципу — чем страшнее, тем лучше.

Кто из них больше переживал, готовясь к этой великой экспедиции, Мишка или дядя Леня, сказать трудно. Последний, более умудренный житейским опытом, в отличие от Мишки, искусно скрывал свои нетерпеливые душевные терзания и лишь иногда, забывшись, беспричинно похохатывал, потирая при этом руки, или вдруг запевал довольно двусмысленные вологодские частушки. Жена уже не однажды говорила ему, еле сдерживая раздражение:

— Леня, ну перестань. В конце концов надо понимать, что и где.— При этом она многозначительно косилась на Андрея.

Итак, если у большинства экспедиционеров имелось по удочке, а у деда вроде бы и того не было, то у дяди Лени их было шесть. Шесть превосходно снаряженных и оснащенных по всем современным правилам рыболовства удочек: дядя Леня, как и Мишка, ехал на озеро с самыми серьезными намерениями. Разница меж ними была лишь в том, что Мишка, как уже известно, отправлялся на такое дело впервые, а дядя Леня, если верить ему, участвовал в подобных экспедициях не счесть даже сколько раз. Между прочим, дяде Лене шел пятьдесят шестой год, а Мишке кончался шестой, и осенью он собирался в школу...

Вот они достигли своей цели. Иванов выключил мотор, и машина стала. Дядя Леня с Андреем и Мишкой сейчас же отправились в охотничье хозяйство за лодкой. По дороге Андрей с беспокойством сказал: «А что, если не дадут?» — «Возможно, что и не дадут»,— философски согла-

сился дядя Леня, а Мишка ничего не сказал, только усмехнулся.

Лодку им дали без всяких разговоров, но ни Андрею, ни дяде Лене и в голову не пришло, что это благодаря Мишке. Они ведь не слышали, как он шептал свое прошенье.

Когда они причалили к берегу, возле машины уже стояла палатка, горел костер, над огнем висела на палке бадья с водой, а палка покоилась на двух рогатинах, вбитых в землю по одну и другую сторону костра. Все это было сооружено руками Иванова. Недаром во время войны он служил разведчиком, а потом всласть наработался шофером — где только не побывал! — и мог сделать все на свете. Например, запаять чайник, починить радиолу или покрыть крышу железом. К тому же он был отличным спортсменом и иногда по нескольку часов кряду без отдыха играл с мальчишками в футбол. Одно лето он состоял даже тренером поселковой футбольной команды, которая под его руководством выиграла районное первенство.

Иванов, подбоченясь, заглядывал в бадью, из которой уже поднимался парок, а дед сидел на чурбане и шевелил палкой в костре.

— Я сейчас сварю кондеру,— сказал Иванов.

— А на ужин сварим уху,— бодро сказал подошедший к ним дядя Леня и величественно ткнул себя пальцем в грудь.— Я наловлю.

Ему не стали перечить. Только Мишкин дед покосился на него и неопределенно хмыкнул. У деда было много всяких причин для того, чтобы сомневаться в рыболовецких способностях своего друга, особенно когда тот начинал похваляться своими успехами на рыбных промыслах.

— Андрей и Миньчик,— сказал Иванов,— надо заготовить дровишек. Дуйте собирать валежник.

— Пошли скорее, Андрей! — закричал Мишка, мгновенно охваченный исполнительским зудом и вытаращивший при этом карие глазищи.

— Ты мне еще,— пренебрежительно процедил сквозь зубы Андрей.— Много ты насобираешь. Да ты знаешь ли еще, что такое валежник?

— Знаю, Андрей,— заспешил Мишка.— Это палки, которые валяются под деревьями.

— Ну, ладно, ладно, палки,— снисходительно, как и подобает старшему, сказал Андрей.— Пошли.

И вот они очутились в лесной чаще. Скоро не стало видно ни озера, ни машины, ни палатки, ни дыма над костром. Как будто всего этого здесь вовсе никогда не было. И дед, и Иванов, и дядя Леня тоже исчезли, словно провалившись сквозь землю.

Лес был дремучий. Тесно стояли ели, березы, осины, кусты орешника. А папоротник был высотой по самые Мишкины оттопыренные уши.

Мишка заробел. Особенно когда исчез с его глаз даже Андрей. Мальчику представилось, что он остался один во всем этом сказочном царстве и из-за кустов за ним следят всякие злые медведи, волки, лисицы и рыси. Мишка зажмурился и быстро-быстро прошептал: «По щучьему веленью, по моему прошенью, чтобы не было никаких здесь злых зверей».

И страх с него как рукой сняло. Он сразу же так расхрабрился, что стал изображать, будто он Иванов и пошел в разведку. Сухая сосновая палка, оказавшаяся в Мишкиных руках, сейчас же превратилась, по его желанию, в автомат.

Пригнувшись, осторожно пробирался Мишка меж деревьями в фашистский лагерь. Ему оставалось только обогнуть куст лещины, и там...

Нет, это было невероятно. Выходя из-за куста, он прошептал: «По щучьему веленью, по моему прошенью, пусть сделается чудо» — и, не веря своим глазам, выпрямившись, разинул рот от удивления.

В нескольких шагах от него стоял лось. Мишка сперва подумал — корова. Но это был самый настоящий лось, высокий, на длинных тонких ногах, губошлепый. Вместо рогов на его голове торчал в разные стороны валежник.

Лось нисколько не удивился появлению Мишки. Он словно ждал мальчика, чтобы покрасоваться перед ним, и не спеша, величественно повернув в его сторону голову, глядел на очарованного и обалдевшего Мишку снисходительно, как Андрей, только очень дружелюбно. Потом он почесался шеей об осину, зашатавшуюся так, словно над ней пронесся ураган, опять доброжелательно поглядел на Мишку выпуклым лиловым глазом, даже весело, как показалось мальчику, подмигнул ему при этом, словно говоря: «Ничего, не робей, не такое еще бывает», и, всхрапнув, легко, не спеша пошел и тут же скрылся за прошумевшими вслед за ним деревьями.

Мишка стоял как вкопанный, уставясь широко рас-

пахнутыми глазами в то место, где только что был лось.

Сколько бы он так простоял, забыв обо всем на свете, кто знает!

— Чего ты так вытаращился? — спросил Андрей, появляясь из-за кустов с охапкой сучьев.

— Тсс...— сказал Мишка.

— Что — тсс?..— набросился на него Андрей.— Тебе что поручили делать? А ты целый час с одной палкой ходишь. А как к костру, так на самое лучшее место усядешься. Знаю я таких.

— Андрей,— восторженным шепотом сказал Мишка.— Сейчас здесь стоял лось.

— Чего, чего? Лось? Ха-ха-ха! — как артист в театре, захохотал Андрей.— Ври больше!

— Нет, Андрей, я его сам видел.

— Ври больше. Так тебе и поверят, как же, держи карман шире! Корову, наверно, видел.

— У коров не бывает таких рогов.— Мишка подбежал к осине, о которую чесался лось.— Вот здесь, Андрей, вот здесь, и еще чесался, я видел... Вот! — И Мишка торжествующе указал на клок шерсти, зацепившийся за обломанный сучок осины.

Андрей нехотя, словно он делал одолжение, с презрительной гримасой подошел к Мишке, помял в пальцах сизую шерсть и, сказав, что шерсть, конечно, коровья, кинул ее на землю.

— Ты лучше давай собирай валежник, чем выдумывать невесть что.

— Нет, это был лось,— убежденно и гордо сказал Мишка.— Я сам видел.

Они еще немного походили по лесу и потащили валежник к костру.

Все, оказывается, было рядом, шагах в тридцати: и озеро, и машина, и палатка, и Мишкин дед, сидящий возле костра все на том же чурбане, и дядя Леня, озабоченно проверяющий снаряжение своих удочек, и Иванов, который, отвернув лицо от огня, помешивал деревянной ложкой в бадье. Из бадьи широко и густо валил дух кондера.

Мишка не любил ни пшена, ни сала, но Иванов сварганил из них в бадье над костром такую прелесть, какая Мишке никогда бы и во сне не приснилась, какая была даже вкуснее сосисок, самой лучшей его еды.

Они расположились возле костра кто как умел — по-

турецки, на коленях, лежа на боку — и никак не могли наесться этой пахнущей дымом прелестной жижи. Мишка даже попросил добавку, и Иванов с поварским изяществом шлепнул в его миску полный черпак еще очень горячего кондера.

Разговор шел о лосе, и все верили Мишке, кроме Андрея, который, нарочно громко и обидно для Мишки смеясь, упрямо твердил, что это была корова.

У Мишки на глазах уже навернулись слезы. Тут Иванов строго спросил у Андрея:

— Ну, а ты видел ту корову?

Андрей растерялся, приуныл и после некоторого замешательства, не так уж громко, но честно, по-комсомольски, признался:

— Не видел.

— Значит, это был лось, Андрей,— миролюбиво сказал дядя Леня.

— И шерсть была,— обрадовался Мишка.— Я видел, как он чесался.

— Ну, ладно, пусть будет лось. Ладно,— обиженно заговорил Андрей.— Ну и что из этого? — Он поднял глаза и вызывающе посмотрел на отца и на Иванова.

И по тому выражению, какое было сейчас на его огорченном лице, все сразу поняли, что Андрей и сам безоговорочно верит в лося, но гордыня его никак не может смириться с тем, что встретиться с лосем довелось не ему, старшекласснику, комсомольцу, а маленькому Мишке, который даже в школу-то еще не ходит.

— Да ты, Андрюха, не горюй,— сказал Мишкин дед.

— Я не горюю, пусть,— загорячился Андрей и презрительно поглядел на Мишку.— Мы еще увидим, кто рыбы больше наловит.

И они стали собираться на рыбную ловлю.

Для Мишкиного деда, конечно, удочку не взяли. Забыли впопыхах. Дед обрадовался и сказал:

— Идите, идите, а я посуду буду мыть. Кто-то и судомойкой должен работать.

— Так нет,— сказал дядя Леня. Он, в свою очередь, тоже очень обрадовался, что Мишкин дед согласился быть судомойкой и не станет, значит, клянчить у него удочку. Для такого опытного рыболова, как дядя Леня, было бы ужасно остаться лишь с пятью удочками. По его глубочайшему убеждению, с пятью удочками у него ничего бы не получилось. Шесть удочек — это уже другой коленкор.—

Так нет,— счастливо и сладко улыбаясь, повторил дядя Леня,— ты тогда заодно и воды приготовь для ухи. Я наловлю.

— Валяй, валяй,— благосклонно сказал дед.

И рыболовы, посоветовавшись, кому ловить с лодки, кому с берега, все четверо в резиновых сапогах, потопали к озеру.

Время уже клонилось к вечеру, тень от леса протянулась чуть не к самой воде, возле берега затолклась беспокойная мошкара, обещая назавтра опять солнце и ясное теплое небо, когда дед, справив свои черпорабочие дела, навестил рыболовов.

Возле каждого из них стояло по банке с водой. В Мишкиной банке ничего не было. Он держал удочку в вытянутых руках и как зачарованный смотрел на неподвижный поплавок. Он был так увлечен этим занятием, что даже не оглянулся, когда к нему подошел дед. Мишка впервые удил рыбу, впервые сам насадил на крючок мотыля, закинул леску и теперь, уже захваченный рыболовной страстью, терпеливо ждал, что будет дальше.

У Андрея дела шли отлично. Он уже выдернул трех ершей, двух плотвичек и нескольких окуньков.

Дядя Леня священнодействовал. Мишкин дед долго простоял позади него, с восхищением глядя, как он ловит рыбу.

Полюбоваться было на что. Ловил ведь опытный мастер.

Концы всех шести удочек покоились на земле, а сам дядя Леня стоял над ними, лихо подбоченясь. Вот дернулся поплавок удочки № 6. Рыболов мгновенно кидается к ней, сшибая при этом в воду удочки № 5 и № 4. Бормоча что-то под нос, оставив на произвол судьбы удочку № 6, он поспешает на спасательные работы. Одну из удочек удается поймать рукой, замочив при этом лишь по локоть рукав рубашки, но с другой приходится повозиться. Эта каналья успела отплыть слишком далеко. Дядя Леня умело, как пишут в таких случаях, подгоняет ее к берегу длинным ивовым прутом, который предусмотрительно заготовлен им для подобных спасательных работ.

Но вот все удочки восстановлены в первоначальном положении. Что же там, на шестой?

Ничего. Обглоданный крючок. Дядя Леня достает из банки мотыля, ловко, словно носок на ногу, натягивает на крючок, очень искусно (так могут лишь настоящие рыбо-

ловы) плюет на него и с милой, довольной улыбкой закидывает леску в воду.

Пока он все это проделывал, у него клевало на удочках № 2 и № 1. Дядя Леня насаживает на их крючки новую приманку, забрасывает одну леску, размахивается второй, и та прочно цепляется за кусты, что растут шагах в трех за спиной рыболова. Долго и терпеливо распутывает он злополучную леску. Но когда наконец освобождает ее от веток и листьев, то оказывается, что она успела завязаться в несколько узлов. И дядя Леня так же долго и терпеливо разбирается в этих узлах. Но пока он прилежно занимается этим трудным делом, рыба склевывает мотылей со всех других крючков. Начинается все сначала.

В банке этого мастера, как и у Мишки, тоже ничего не было. Мишка чувствовал, что справа от него происходит нечто невероятное, но не смел оторвать взгляд от поплавка, чтобы хоть искоса полюбоваться искусством дяди Лени.

Тут случилось самое непредвиденное: щука-чародейка, очевидно, сжалилась над прилежным терпением мальчика, и у Мишки клюнуло. Он даже засеменил на месте от нетерпения и, собрав все силенки, рванул удилище к небу.

На крючке трепетал серебряный окунек.

Мишка был поражен. Он не мог поверить, что это его собственный окунек, что это он сам добыл рыбу. От изумления карие продолговатые глаза Мишки округлились до невероятных размеров, готовые вот-вот вылезти на лоб. Окунек шлепнулся к Мишкиным ногам, а мальчик все еще никак не мог прийти в себя и ошалело глядел на подпрыгивающую в траве рыбешку, начисто позабыв, что надо делать с ней дальше.

Но вот взгляд его падает на банку, и прозрение, наконец, нисходит на него. Он кидается на колени, ловит в трясущуюся пригоршню окунька и поспешно сует его вместе с крючком и леской в банку.

Только после этого Мишка переводит дух. Все ведь получилось как нельзя лучше, как у настоящего рыболова, так бы сделал сам дядя Леня. Мальчик гордо, победоносно оглядывается, видит ухмыляющегося деда и уже не в силах сдержать счастливой улыбки.

Все довольны его успехом. Даже Андрей, любящий покуражиться над ним, тоже чувствует важность и торжественность случившегося. Он не спеша, вразвалку, как равный к равному, подходит к Мишке, вытаскивает из банки окунька и на сей раз уже без тени присущего ему дьяволь-

ского сарказма, сказав: «Ого! Будь здоров!» — тактично снимает рыбешку с крючка.

А Мишка сияет вовсю. Теперь ловить рыбу ему невмоготу. После того, что случилось, ему не устоять на месте. Это же надо, как ловко все вышло у него! Он чувствует сейчас себя ладно подобранным, изворотливым, сильным, смелым. Ему хочется кричать благим матом, топотать ногами, ходить на руках, лезть на дерево. Великое чувство собственного достоинства, сознание, что и он может делать такое же, что делают дядя Леня, Андрей, Иванов, дед, хлещет сейчас из него через край.

— Я стоял, смотрел, я все стоял, смотрел,— жарко запевает он, пытаясь объяснить окружающим это свое новое, неведомое ему доселе чувство,— а вдруг как дернет, ка-ак клюнет...

— Ну, ладно уж,— снисходительно охлаждает его Андрей,— видели, видели.

— Дед,— не может остановиться Мишка,— ты ведь не видел?

— Да нет, брат, не видел,— слукавил тот.— Как это у тебя получилось?

— Да так. Я стоял, смотрел, а он вдруг как дернет, даже удочку чуть-чуть у меня из рук не выдернул.

— Что ты говоришь! — патетически восклицает дед.

— Правда. А какой он здоровый, видел?

— Вот это видел. Здоровенный. Как только ты вытащил его?

— Жалко, Иванов не видел,— сокрушается Мишка.

— Увидит,— успокаивает дед.

— Интересно, чего он поймает.

— Поймает не поймает,— говорит дед, покосившись на дядю Леню,— а ухой вы с Андреем нас теперь обеспечили.

— Ага,— соглашается довольный Мишка.

А солнце тем временем почти совсем скатывается за лес, золотятся макушки деревьев, лесная тень уже плотно легла на прибрежную воду, и вокруг воцаряется такая тишина, что очень отчетливо слышно, как где-то мерно, будто совсем рядом, поскрипывают уключины и изредка всплескивает весло, хотя плывущая лодка чуть только отдалилась от противоположного берега.

И вдруг весь покой летит в тартарары. Невдалеке раздается душераздирающий победный рев. Так ревут тигры в ночных джунглях, зубры в Беловежской пуще, турбин-

ные двигатели воздушных лайнеров перед взлетом на Внуковском аэродроме. Если не так, то, во всяком случае, очень похоже.

Вслед за этим ревом страшный грохот потрясает задремавший было лес. Все живое, конечно, должно спрятаться по норам и замереть. Рыболовы вздрагивают. Мишке становится страшно. Он уже приготовился зажмуриться и прошептать, чтобы всей этой кутерьмы по его прошенью не было, как слышит спокойный саркастический голос Андрея:

— Пионеры.

И в самом деле, вдоль да по бережку мужественно марширует отряд пионеров. На спинах сгорбившихся юных туристов обвисают мощные рюкзаки, руки усердно размахивают посохами пилигримов и герлыгами чабанов. Впереди отряда, тоже размахивая герлыгой, шагает самый главный вожатый. Ему в уши ревет-надрывается горнист, а рядом что есть мочи самозабвенно бьют палками по несчастным барабанам сразу два барабанщика.

— Это еще ничего. А вот если бы десять барабанщиков, тогда мы почесались бы,— задумчиво говорит Мишкин дед, глядя на марширующую колонну. Позади нее, как в настоящем армейском подразделении на марше, движутся тылы: два рослых малых с пионерскими галстуками на шеях, вероятно младшие вожатые, тащат большой цыганский котел.

— Теперь унывать не придется,— с огорчением продолжает Мишкин дед.— Всю ночь будут гореть костры и раздаваться дружные песни.— Потом он обращается к главному рыболову:— Что же ты, брат, ничего не поймал? Из чего же мы будем варить уху?

— Так нет,— возражает дядя Леня.— Не то место. Я заметил: Андрюша и Миша попали на стаю, а у меня вся рыба куда-то ушла.— Он обладает особым даром никогда не унывать и мгновенно находить всему самые счастливые, решительно оправдывающие его объяснения.

Они идут по тропочке гуськом. Мишка не спешит. Он нарочно замедляет шаг, чтобы несколько поотстать от других, и проходит мимо горланящего пионерского табора, торжественно задрав нос. Ему кажется, что пионеры уже знают, какого окуня он сейчас поймал своими собственными руками, и все с завистью и восхищением смотрят на болтающуюся в его руке банку. Сладкая электрическая дрожь пробегает по всему его телу от макушки до пяток.

Приплывает Иванов. В его банке, как и у Андрея, полно рыбешек.

— А у меня-то! — радостно кричит навстречу ему Мишка.— Смотрите, какого я окуня поймал!

— Правда? — удивляется Иванов.— Сам?

— Сам! — ликует Мишка.

Уху они едят уже в потемках, при свете костра. За деревьями жарко трещит другой костер, пионерский, и оттуда, как и предсказывал Мишкин дед, одна за другой доносятся неугомонные пионерские песни.

После ухи пьют чай из самовара и рассказывают любопытные истории. Дядя Леня, например, поведал о том, как он на Тишковском водохранилище однажды поймал сразу сорок окуней и каждый из них был в полтора раза крупнее ладони. Во время этого страстного, обстоятельного бахвальства ухмыляется не только Мишкин дед, но даже Андрей. Кому-кому, а ему-то хорошо было известно, каких окуньков и сколько принес тогда из Тишкова его папаша.

Мишке тоже хотелось рассказать что-нибудь очень удивительное, например, как лось взял да и подмигнул ему или как неожиданно и сильно дернул первый его окунь и чуть было не утащил Мишку за собой в озеро. Но сон начинает клонить его лобастую, переполненную невероятными, так и не высказанными впечатлениями голову. Он еще слышит, как Иванов и дядя Леня сговариваются чуть свет плыть на тот берег, как Иванов сетует, что у него плохой поплавок, и просит Мишку одолжить ему свой.

— Ты же все равно будешь спать,— слышит Мишка.

— Берите,— бормочет он, не в силах приподнять отяжелевшие веки.

— А я тебе свой привяжу на всякий случай,— обещает Иванов.

Мишка силится еще что-то вымолвить, но тут дед обнимает его за плечи и ведет, спотыкающегося, в палатку.

После этого Мишка ничего больше не помнит. Он спит долго и сладко, и когда утром просыпается, вся палатка золотится от солнечных лучей, насквозь просвечивающих ее. Рядом спят дед с Андреем. Мишка некоторое время лежит, уставясь глазами в потолок, и вспоминает, что с ним вчера было. Прошедший день кажется ему невероятно длинным, и на ум ему приходит все: как они ехали по разным дорогам, пробираясь к озеру, как это озеро неожиданно глянуло на него сквозь заросли, как он встре-

тился с лосем, поймал окунька, ел кондер, хлебал уху, слушал возле костра всякие небылицы.

Сон окончательно покидает Мишкину голову. Жажда подвига вновь охватывает мальчика. Он потихоньку выбирается из палатки, обувает сапоги, захватывает свою удочку, банку с мотылями, другую банку под рыбу и отправляется к озеру.

Вот он отыскивает свое прежнее место — то самое, где вчера, по словам Иванова, ему так пофартило, забрасывает удочку и замирает, настороженно уставясь на поплавок.

Но поплавок уже не тот, что был раньше. Это Мишка понимает несколько минут спустя, когда, выдернув из воды леску, обнаруживает пустой крючок. Рыба склевала мотыль так, что поплавок даже не шелохнулся. Мальчик насаживает новую приманку и опять закидывает удочку. За его спиной собираются позевывающие и поеживающиеся спросонья пионеры и пионерки.

— Не клюет?

Мишка, не оборачиваясь, лишь пожимает плечами.

— Ты ее не так держишь,— говорит один из пионеров.— Дай-ка я подержу.

— Поплавок чужой,— говорит Мишка.— Мой поплавок знаешь какой? Как рыба клюнет, так он сразу дергается. Вчера вот такого окуня поймал.— И, положив удилище на землю, он показывает, разведя руками, какого поймал вчера окуня.

— А твой поплавок где?

— У Иванова.— Мишка кивает в сторону противоположного берега.

— А ты забери его обратно.

Этот совет кажется Мишке дельным. Не мешкая, он прикладывает ладони ко рту и кричит:

— Ивано-о-ов! Отдай попла-во-ок!

Вокруг разлита тишина и покой. Озеро кажется выпуклым, густым, синим, обступивший его лес замер, купаясь в утренней воскресной, празднично-солнечной благодати. Мишкина мольба, отраженная водной гладью, летит над всем озером.

В ответ ни звука.

— Надо громче,— сочувственно говорят пионеры.— Давайте хором. Дружно. Раз, два, три!

— И-ва-нов! От-дай маль-чи-ку по-пла-вок! — очень дружно орут они что есть силы. К этому времени их собралось человек тридцать.

— Давай и ты с нами,— говорят они Мишке, и тот тоже самозабвенно орет:

— И-ва-нов! От-дай маль-чи-ку по-пла-вок!

Они надрываются до тех пор, пока от противоположного берега не отчаливает лодка.

— Плывет,— говорит Мишка.— Сейчас будет ругаться.

Рядом, на берегу, уже стоят дед с Андреем.

Иванов в самом деле ужасно зол.

— Что ты орешь! — набрасывается он на Мишку.— Ты же сам его дал.

— А вы мне плохой привязали,— со слезами на глазах отвечает Мишка.

— Ишь какой! — галдят пионеры.— Маленьких обижает! Так, дяденька, нельзя.

— Наловили? — спрашивает дед у Иванова.

— Разве с ним наловишь,— раздраженно отвечает тот, кивая в сторону лодки, где дядя Леня собирает свои снасти.— Понатыкал их со всех сторон, то одна свалится, то другая, он чуть лодку не перевернул.

— Там нет,— отзывается дядя Леня.— Не то место.

— Ладно,— говорит дед.— У нас есть еще селедка и венгерский суп. Самая воскресная еда.

— Лучше кондеру бы,— говорит Мишка.

— Будет и кондер, день еще велик.

День действительно еще велик.

Этот длинный, необыкновенный для Мишки, как и вчерашний, день только начинается. Будет и кондер, и катанье с Ивановым на лодке, и пионерская самодеятельность, и купание в озере, и даже белка. Маленькая, шустрая, рыжая белка, которую опять-таки увидит один лишь Мишка. Словно она придет к нему, как и лось, по его прошению.

1960—1969

ЖИЛИ МАСЛОВЫ НА КАНАВЕ

Раз в месяц, в воскресенье или в субботу, после того как Масловы Петр Кузьмич и Васена Ильинична, попросту баба Вася, получат пенсию, вся родня приезжает к ним в гости.

Это законно, как дважды два — четыре, и никто не смеет нарушить такой строгий и веселый закон. Бывали, конечно, иной раз ЧП, кто-нибудь вдруг заболеет или срочно улетит-укатит в далекую и долгую командировку, но подобное беззаконие случалось не часто: здоровье у всех было, как говорится, слава тебе господи — хворали редко, а в командировки ездили, пожалуй, и того реже. Лгать же, изворачиваться никто не умел и не любил, у всех от мала до велика, при каких бы то ни было обстоятельствах, дважды два всегда было четыре. Хоть кол на голове теши.

Сперва съезжались в старом доме, что стоял на Курской канаве, а теперь, после того, как дед с бабой переехали на другой конец Москвы, в новый район, в новый дом, километров за двадцать от славной той канавы, строжайший семейный закон все равно считался в силе. Стали собираться на новом месте.

Народу к деду с бабой в такой день съезжается целый табор, толпа: сын с женой, две дочери с мужьями и внуки. Черт-те как шумно, бестолково и весело становится в тихой стариковской квартирке. Поначалу, пока суд да дело, все сейчас же разбиваются на самостоятельные группы. Пятеро внуков — сами по себе, баба Вася с дочерьми и невесткой — сами по себе. И обе эти группы сами по себе гомонят, суетятся, у всех взвинченно-праздничное настроение. Что касается Петра Кузьмича с сыном да зятьями — то особая компания. Эти пока не гомонят и, покуривая, ведут многозначительные рассуждения о всяких более или менее интересных событиях, происшедших за ближайший период как во всем мире, где-нибудь в далекой Венесуэле, или в Конго, или в Париже, а также поблизости от Кузьмичевых собеседников или даже в их присутствии. Но придет срок, загомонят и они: сядут за стол, хватят пару-тройку граненых стопок, и — пожалуйста!

Все здесь у бабы с дедом в такое воскресенье бывает не как у людей, а так, как не бывает, наверное, нигде и никогда. Ребятишки, что первоклассники, что пятиклассники, чуть на головах не ходят, кричат, резвятся и потеют от радости, поскольку дома на головах ходить не разрешают, а здесь все позволено. Молодые женщины, сгруппировавшись на кухне будто бы для того, чтобы помогать бабе Васе, а на самом деле не оказывая ей никакой физической помощи, из кожи лезут вон, чтобы выглядеть друг перед другом как можно изящнее и осве-

домленнее в модах, кулинарии и в том, как, когда и что случилось с кем-нибудь из общих знакомых. Нет, они не сплетничают, боже упаси! Они просто задушевно рассказывают друг другу все, что видели или слышали за прошедшее время. Только и всего. Например, какое на ком видели платье, кто с кем поссорился и уже успел помириться, какие довелось попробовать приятные на вкус, простые в приготовлении и совершенно недорогие кушанья. Однако, в силу своей женской натуры, они не могут говорить тихо-мирно, терпеливо выслушивать друг друга до конца не могут и, спеша показать свои познания, галдят почем зря. А если кому-нибудь из них все же случается оказать бабе Васе помощь и отнести в соседнюю комнату какую ни то тарелку, делается это с таким изящным кошачьим проворством, что, промелькнув туда-обратно, можно всегда успеть услышать, чем началась и чем кончилась не то что история, но даже фраза где-нибудь в середине этой истории, будь эта фраза хотя бы всего из трех-четырех слов.

Да и то сказать: квартирка у стариков Масловых маленькая, однокомнатная, хотя и входит в состав огромного двенадцатиэтажного дома, очень похожего по своей конфигурации на коробку из-под сигарет с фильтром, если поставить ее на попа. Таких домов много нынче понатыкали в разных концах столицы как в одиночку, так и целыми колониями.

Петр Кузьмич долго ерепенился и не хотел сюда переезжать, потому что, мол, такой скороспелый дом свободно может так же поспешно треснуть-скособочиться или еще черт знает что выкинуть, но вся родня стала смеяться над ним, обвинять его в консерватизме, отсталости взглядов, в потере ощущения нового, даже называть его чуть ли не трусом, и он, еще немного покуражась для приличия, сдался, в конце концов дал на переезд свое согласие.

А ерепенился он не потому, что боялся жить в тех неустойчивых и недолговечных с виду современных постройках, и не потому, что больно уж далеко из старой Москвы выперли его вместе с бабой, чуть не к черту на кулички, куда лет семь назад один лишь Макар телят гонял, а потому, что до слез, до боли в сердце было жаль расставаться со своей Курской канавой, на которой он родился и прожил так много лет и домики которой, так тесно толпясь и приветливо поглядывая окошками, расположились, прижатые шоссе Энтузиастов к самому забору, к дымным и гро-

хочущим прокатным и сталепроволочным цехам вот уж воистину родного Петру Кузьмичу «Серпа и молота».

Долго по соседству с ним прожил Петр Кузьмич. Так долго, что не только сам вырос-повзрослел, но и детей вырастил, у всех трех на свадьбах отгулял и, состарившись, на пенсию подался. И вот что еще интересно: до самой пенсии каждый божий день, не считая выходных и отпускных, стоял он когда в дневную, когда в ночную возле своего жаркого, огнедышащего, словно Змей Горыныч, мартена, и сквозняком несло на него, потного, в разбитые окна, а хоть бы тебе хны, никакая хворь к нему не приставала. Но как только получил пенсионную книжку, так — здравствуйте, пожалуйста,— сразу, откуда ни возьмись, стенокардия появилась. Будто ее собес вместе с пенсионной книжкой незаметно подсунул. Да такая она яростная, эта стенокардия, стерва, получилась у Кузьмича, так она, иной раз почище бабки Васи, цепко и горько хватала старого сталевара за грудки, что только держись!

Ах ты Курская канава, родные кузьмичевские места! Все-то здесь было сердечно, без ехидства, запросто. Идешь, бывало, со смены, а со всех сторон:

— Привет Кузьмичу!

— Как смена прошла?

— Как жизнь, Кузьмич?

Только успевай раскланиваться, отвечать на сердечные приветствия.

Идет Кузьмич и видит: чувствуют люди, не какая-нибудь шушера, а сталевар, знаменитый бригадир Петр Кузьмич Маслов со смены устало топает домой. Идет со смены рабочий класс, и рабочий класс, повстречавшись, приветствует его. Куда, бывало, глазом ни кинь, везде знакомые все лица. Батюшки мои! Которые вместе с тобой выросли, которые на твоих глазах родились, на твоих глазах первую получку все на том же знаменитом «Серпе» получили, да женились, да... Ах ты, мать честная, нечистая сила. И почему это он, старый дурак, поддался на уговоры, спасовал перед насмешками и съехал с этой благодатной канавы? Надо было заартачиться, упереться ногами в родной порог и дожить век там, где родился, откуда в школу пошел, куда первый свой заработок принес.

Ребятам — сыну, невестке, зятьям, дочерям — что! Им и горя мало. Разъехались, расселились по Москве, благо она, матушка, велика и огромна до того, что сказать невозможно. К примеру, от самого конца Ленинского

проспекта, от бывшего Вострякова до бывшего Новогиреева сколько километров будет? Километров двадцать пять, не меньше, вот сколько.

Однако старого Кузьмича эти грандиозные масштабы не особенно восхищают. В переселении москвичей с места на место он находит одну лишь бессмыслицу. Сейчас москвичей почем зря и не задумываясь тасуют словно карты в колоде. Кузьмич полагает, что это нехорошо. При такой размашистой перетасовке, думает он, даже неизвестно, с кем по соседству можешь ты очутиться завтра. Еще нынче, например, справа у тебя была дама бубей, слева — валет крестовый. А завтра? Ребята смеются. Ты, говорят, батя, совсем уж загибать начал. Колода-то ведь одна. Не все ли равно, кто рядом с тобой завтра окажется? Но нет, полагает Кузьмич, не все равно. Вот, к примеру, уговорили его перетасоваться, а что получилось? Он, например, полвека рядом с крестовым валетом да с бубновой дамой прожил, всю эту жизнь двери в квартирах не имели привычки запирать, друг про друга все знали и все готовы были сделать друг для друга. А здесь — что? Поддался уговорам, старый дурак, бросил родной дом, канаву свою разлюбезную, и нет тебе теперь никакого снисхождения...

А здесь один срам, считает Кузьмич. Дом большой, но бестолковый. Люди съехались в него со всех московских концов, никто друг друга не знает и не желает вроде бы знать.

Вот так думал и полагал о своем новом месте пребывания Петр Кузьмич Маслов, хотя это место пребывания его было хорошее: чуть не от окон нового дома начинался большой старый парк с кафе-морожеными и шашлычными, с чистым прудом, пляжем — дыши, ешь шашлык, наслаждайся природой, дорогой ты мой Петр Кузьмич, сталевар Маслов, не все тебе заводские дымы вдыхать.

Но вот не лежала у него душа ко всему этому райскому благополучию, не нравилось ему все это, страсть как не нравилось, ни на какие стеклянные кафе-молочные не променял бы он тесный, прокуренный закуток «Пиво — воды» на Проломной улице, где чуть не со времен царя Додона торговал за прилавком известный друг всей округи буфетчик дядя Костя.

И Кузьмичу хотелось съездить на Рогожскую и поглядеть, как там теперь идет жизнь. Сперва ему казалось, будто без него все там безнадежно и сразу же замрет, засохнет, а потом стало казаться, что хоть и не замрет, но

все, наверное, делается не так, как следует, а вот если бы он там жил — шло бы куда как правильнее, умнее, лучше.

Сегодня он уже твердо решил поехать на Рогожскую. Стаська, сын, сказал, что будто бы на Тулинской хотят ломать старые дома. Это Петра Кузьмича встревожило.

А пока, в ожидании застолья, мужчины скромно сидели в сторонке от трапезного стола, кто на диване, кто в кресле, и рассуждали:

— Вышли мы на вечерний субботник. Странно все-таки: стоят с лопатами, с граблями, с вилами лаборантки, инженеры, техники, все домой хотят поскорей попасть, а надо мусор в кучу собирать, и работы этой нам часа на три, если даже не разгибая спины.

Это рассказывал старший зять Семен, кандидат технических наук, человек рослый, крупный, большерукий, про которого с первого взгляда никак невозможно было сказать, что он ученый, руководитель научно-исследовательской лаборатории.

— Ну и что?

А это уже спросил второй зять, Сергей, с круглого доброго лица которого никогда не сходила ироническая снисходительная усмешка, означавшая, по его глубокому убеждению, что провести его никому не удастся.

Зять Сергей служит в авиации, носит фуражку с огромной кокардой, пиджак с золотыми шевронами на рукавах, летает на вертолете и в действительности человек застенчивый, мягкий, добродушный. Про таких людей говорят, что из них хорошо вить веревки. Жена его, младшая дочь Кузьмича, энергичная Татьяна, так и поступает. А эта дьявольская улыбка нужна Сергею, как колючки для ежа: чтобы думали, будто он страшно коварен и силен. Усмехаясь, он даже фыркал при этом, как ежик, предостерегающе.

— Ничего, конечно, особенного,— продолжал Семен, покосившись на него.— Однако, только мы принялись ковыряться в этом вонючем мусоре,— а никому не хочется туфельки на шпильках, модельные ботинки марать,— начали, значит, ковыряться, кто как может и хочет, и вижу я, что нам и до утра труд свой, ниспосланный месткомом, не закончить. Вдруг слышу — где-то трактор урчит. Бросил я свою лопату, пошел на поиски и нашел. За соседним корпусом бульдозер работал. Говорю бульдозеристу: «Огреби нам мусор». — «А что мне за это будет?» — «Стакан спирту». Он как подхватится, чуть

меня не сшиб и через двадцать минут весь мусор сгреб, выпил спирт, жует яблоко и спрашивает: «А еще ничего не надо сгребать? Я за полстакана согласен. Мне как раз надо в баню отправляться».

— Это называется умышленной дискредитацией общественного мероприятия в глазах общественности и спаиванием трудящегося человека за счет государства,— сказал сидящий на подоконнике сын Кузьмича Станислав, а попросту Стаська.

— Ого! — изумился Семен.— Здорово сказано. Ну-ка, повтори.

— Не выйдет.— Станислав развел руками.— Я уж и сам позабыл. Такое можно произнести только раз в жизни, экспромтом.

Отслужив действительную на Черноморском флоте, получив звание специалиста первого класса связи и радиотехнических средств, Станислав, однако, не пошел по этой специальности, а вернулся на «Серп» опять в подручные сталевара и теперь, закончив заочно Институт стали, работал бригадиром на той самой печи, возле которой чуть ли не всю свою трудовую жизнь простоял Кузьмич. Эта печь, следовательно, досталась Станиславу как бы по наследству, хотя такому подарку он был не особенно рад: мог бы получить печь и более совершенную, поновее отцовской. Однако в цеху так всем хотелось, чтобы он работал именно на том мартене, в котором варил сталь его отец, что отказываться было бы грешно и кощунственно. Тем более самому Петру Кузьмичу тоже очень хотелось передать вахту сыну, и теперь, встречаясь с ним, старик дотошно расспрашивал Стаську про все заводские дела и про то, как вела себя за последние смены печь, какой марки варят сейчас в ней сталь и за сколько часов удается сварить ее.

Станислав по обыкновению отвечал:

— Да стоит, батя, стоит твой «Гужон», стоит, ничего ему не делается, и печь ведет себя нормально, так что не волнуйся, на «Гужоне» полный порядок.

— Жизнь есть жизнь,— продолжал меж тем беседу уже Сергей и, фыркнув, демонически усмехнулся. — Ни одна человеческая судьба не похожа на другую. У нас в доме живет интересная тетка, маляром в каком-то СМУ работает. Такая разбитная, веселая тетка, прямо страх даже при виде ее берет. Она ни разу замужем не побывала, у нее уже пять деточек, мальчиков и девочек...

— Говорят, наша сборная опять где-то там в Южной Америке проиграла, — перебил его Станислав. — Кто, братцы, читал?

— А ты «Футбол» выписывай, тогда будешь в курсе,— ответил Семен.

— Я «Советский спорт» выписываю.

— В твоем «Спорте» про футбол два раза в году печатают: на открытие и на закрытие.

— Не ври, ну не ври, — засмеялся Станислав. — Да и откуда тебе знать, что два раза в году?

— Так я оба издания регулярно читаю. Но ты не горюй, наши не проиграли, а выиграли, и не футболисты, а баскетболисты.

— А у нас здесь вот что недавно было, — заговорил Петр Кузьмич, легонько постукивая короткими сильными пальцами по деревянному подлокотнику низкого модного кресла, в котором он сидел возле такого же модного треугольного столика на трех ножках. Этот столик с двумя креслами подарил родителям на новоселье озорник Станислав, чтобы дед с бабкой, как строго наказал он, непременно по вечерам пили тут коктейли и черный кофе по-турецки.

— Вот что недавно случилось,— говорил Петр Кузьмич.— Прислал мне с Урала, с Магнитки, сталевар Коробейкин телеграмму. Мы с ним много лет соревновались. Знаешь такого? — спросил он у сына.

— Знаю,— сказал Станислав.

— Прибежал с этой телеграммой паренек с почты, а нас с бабкой как назло дома не было.

— Куда же вы девались, интересно знать? — спросил Станислав.

— Бабка, известно, по магазинам шастала...

— А ты?

— А я, дорогое чадо мое неразумное, в баню ездил. Отсюда до бани теперь километров пятнадцать, не меньше, понял? Это тебе не на Рогожской. Там, бывало, хоть в одну, хоть в другую, хоть в третью. Пять бань, и все под боком.

— Ну ладно. Ты, батя, о деле давай, не отвлекайся,— сказал Станислав.

— Это, если хочешь знать, как раз к делу и относится. Я тебе не балалайка, чтобы по каждому пустяку языком трепать.— Кузьмич намекал на невестку, жену Станислава, Шурочку, которую прозвал балалайкой, за то, что она

мгновенно встревала в любой разговор, высказывалась по всякому поводу, хотя иногда и не знала, о чем шла речь.

Сергей при этих словах по-ежиному фыркнул, кандидат наук громко заржал, а Станислав, добродушно улыбаясь, проговорил:

— Валяй, батя, валяй.

— Вот я и валяю по силе возможности. — Петр Кузьмич, лукаво прищурясь, оглядел по очереди собеседников, которых любил, гордился ими и при всяком случае, хвалясь своими ребятами, добавлял: «И все они у меня называются на Сы, вот какая штука».

Досказывать историю с телеграммой пришлось уже за столом.

— Так вот я и говорю,— продолжал Кузьмич. — Потолкался тот паренек на лестничной клетке да и постучал в дверь к соседу. Слышит — радио гудит, а люди не отзываются. Он тогда к другому соседу. У обоих, между прочим, в дверях эти самые глазки торчат. И вот из-за второй закрытой двери женский голос спрашивает: «Кого надо?» Паренек говорит, что, мол, соседу ихнему телеграмму принес, а его, меня то есть, дома нет, так не откроют ли они дверь, чтобы расписаться в книге, принять телеграмму и потом вручить мне. А ему из-за двери ответ: «Не знаем такого». Меня то есть не знают. Видали? И все. Постоял паренек, чувствует, что за обеими дверями тоже стоят, притаились, рассматривают его в глазок всякие там тетки и бабки, постоял, стало быть, и подался обратно на почту, не выполнивши в срок важного задания.

— Откуда же тебе такие подробности известны? — спросил Станислав.

— А парнишка, когда второй раз телеграмму принес, рассказывал. Ну, говорит, и люди у вас в доме живут. А я ничего ему возразить не могу, поскольку мне невыразимо стыдно за тех людей, к которым и я вроде бы теперь причислен по штату.

— Давай мы и в твою дверь глазок ввинтим,— предложил Станислав. — Будешь от нечего делать подглядывать, кто куда пошел, кто к кому пришел. Тебе все видно как на ладони, а тебя никто не видит. Отличное занятие для пенсионера. Ввинтить?

— Я тебе ввинчу,— сказал Петр Кузьмич.

А на столе было то, что и должно было стоять на столе у таких хлебосольных хозяев, как Петр Кузьмич и Васена Ильинична. Чего же на том столе только не было! И холо-

дец, и мерлуза заливная, и щука фаршированная, и колбасы трех сортов, и сыр, и брынза, и — ах ты, господи боже мой! — даже икра. И не кетовая, не зернистая какая-нибудь, а настоящая грибная. Васена Ильинична делала такую икру из сушеной пробели с репчатым луком, уксусом и перцем, и та икра была столь вкусна, что сама таяла во рту. Ну и, конечно, возвышалась на столе гора жарких пирогов с зеленым луком и яйцами. Такие пышные румяные пироги опять же могла печь только Васена Ильинична.

Нынче Петр Кузьмич выпил только одну рюмку. Больше пить не стал, отодвинул рюмку, категорически сказал: «Все. Пока больше не могу. Дела». И ему не стали возражать, и когда выпили по третьей — никто не заметил, что языки у всех сами собой развязались, на ум начали поспешно приходить, толпясь и мешая друг другу, всяческие идеи, и за столом завязался такой разговор, что сразу нельзя было и понять, кто с кем и кто о чем толкует.

— Вы, батя, не горюйте, здесь тоже со временем сложатся свои традиции,— утешал Петра Кузьмича благодушный Семен, — и все придет в свою норму: добрососедство, почтение, все-все...

— А кто им дал право нарушать к чертовой матери давным-давно сложившиеся традиции? Зачем людей перегонять с одного городского конца на другой? — воскликнул Петр Кузьмич. — Ты так сделай, чтобы я продолжал традиции, заложенные в нашей Рогожской, еще, может, прадедом моим. И чтобы внуки мои дальше их продолжали. Вот какие мои претензии. А нас, Масловых, к примеру говорю, расселили по всей Москве-матушке, где уж нам теперь...

— А ты здесь, батя, и продолжай свои традиции,— сказал Станислав.

— Нету их больше, в Рогожской оставил, на Курской канаве.

— Ну, там и без нас хватит, кому традиции хранить,— по-ежиному фыркнул Сергей.

— А если и тех хранителей не окажется? — спросил Петр Кузьмич. — Их ведь тоже за милую душу, не спросясь, перетасуют. Вон по Рабочей улице что творится: всю сплошь заново застроили одинаковыми домами.

— А ты что хотел, отец, чтобы весь век там деревянные развалюхи торчали? — вмешалась в разговор Васена Ильинична.— Чай, всем хочется пожить в хороших квар-

тирах, чтобы с удобствами. Нашлендалась я за свою жизнь на колонку за водой в Рогожской нашей разлюбезной, знаю, почем фунт изюму, особенно если зимой.

— Памятники старины восстанавливают, церкви, соборы, часовенки. Это хорошо,— продолжал Петр Кузьмич, как бы не расслышав замечания жены. Вот, мол, глядите, мы тоже не лаптем щи хлебали. История! А кто будет в ответе за нашу революционную историю?

— Ну, ты уж опять, батя, опять тебя занесло,— заметил Станислав.

— Нет, подождите, он прав, как никто,— закричала раскрасневшаяся, возбужденная Шурочка.— Папа, мы выпьем за ваше здоровье. Стаська, он прав. Столько ценных памятников старины восстановлено, сколько прекрасного сохранится теперь на долгие-долгие годы! Сказать страшно. Вот поглядите на церковки около гостиницы «Россия». Как это трогательно, и великолепно, и красиво, мы даже не предполагали.

— Сундук,— сказал Станислав.

— Что — сундук? — удивилась Шурочка.

— Гостиница твоя — сундук с окнами.

— Но это все равно прекрасно, Станислав, ты не спорь.— У Шурочки даже слезы выступили на глазах от огорчения.— Маленькие такие исторические церковки на фоне огромного современного стеклянного здания.

— А Зарядья-то уж нет,— печально проговорил Семен.— Зарядья нет, вот что. Целой страницы московской истории.

— Я говорю не про то, — сердито глянув на невестку, сказал Петр Кузьмич. — Вот когда перетрясут всю Москву, будет поздно. Как тогда?

— Но ведь мама тоже права,— мягко, с укором глядя на отца, проговорила старшая дочь. Ее звали Надеждой. Она и теперь продолжала работать в лентопрокатке «Серпа» травильщицей, хотя и являлась супругой кандидата наук. Когда она выходила замуж, Семен еще разъезжал по шихтовому двору завода в кабине мостового крана, и никому в те времена не приходило в голову, что над грудами металлического лома катается взад-вперед будущий ученый.— Ну, кто согласится жить в таких развалюхах, пойми,— продолжала Надежда.

— Мы тут немного в сторону ушли,— прервал ее супруг.— Дело не в развалюхах. Я так думаю: если мы имеем возможность восстанавливать деревянные церкви, почему

бы на месте старого деревянного дома не построить точно такой же деревянный дом, чтобы сохранить улицу в неприкосновенности? Конечно, исторически важную и ценную улицу. Ту улицу, где в девятьсот пятом году, например, были баррикады, или ту, по которой рабочие дружины с «Гужона» и Курских мастерских шли вышибать из Кремля юнкеров.

— Во! — восхищенно воскликнул Петр Кузьмич.— Голова! И я про то же. И дай ты мне в этаком доме не каморку, а квартиру, все удобства чтобы.

— Погоди, батя, дай досказать,— продолжал Семен.— Во всех городах есть старинные уголки. В Праге, в Париже, в Вильнюсе, в Варшаве, в Таллине. А в Москве такие уголки найдутся? Ведь все старое интенсивно идет под бульдозер, под чугунную колотушку, на развал, на снос. И вот пройдет какое-то время, и у нас могут спросить: а не сохранилось ли у вас где-нибудь на Пресне или в Рогожской такой улицы, квартала такого, где рабочий класс даже при царском режиме был хозяином положения, формировал свои рабочие боевые отряды, откуда пошел на штурм Кремля? Не сохранилось? Почему же?

— По-чему?! — вскричал Петр Кузьмич.

— Вот именно, вот именно! — вслед за ним закричала Шурочка.— Зачем? Почему?

— И ты, девка, молодец у меня,— восхитился Петр Кузьмич.— Хороша на подхвате.

...А время шло. За столом становилось все шумнее, гомонливее, и разговор про традиции и жилища, начатый Петром Кузьмичом, сперва почему-то перекинулся на события в Северной Ирландии, а потом никто не успел даже глазом моргнуть, никто даже не заметил, как это так случилось, что разговор закрутился уже вокруг да около легкоатлетических соревнований.

Станислав, слушавший, пригорюнясь, иронические и безапелляционные разглагольствования пофыркивающего вертолетчика, тихонько и чуть фальшиво, как бы нащупывая верную тональность, запел:

Когда весна придет, не знаю,
Пройдут дожди, сойдут снега,
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога...

И сестры с Шурочкой, и даже баба Вася, словно только и поджидали с тайным нетерпением, когда он запоет, тут

же не крикливо, а легонько, с чувством, подстраиваясь к нему, негромко подхватили песню, и голос Станислава, как только женские голоса присоединились к нему, окреп, осмелел и уже звучал обрадованно, сильно и точно. Тогда и женщины усилили голоса, поддали.

А Сергей с Семеном все спорили о бегунах, прыгунах, стайерах, спринтерах, пятиборцах, метательницах дисков и ядер, и Петр Кузьмич очень внимательно глядел то на одного, то на другого, ничего в этом споре не смысля, но когда зачалась и окрепла песня, он слушал уже не их, а как ладно, стройно и хорошо поют эту песню Стаська с женщинами, и что-то такое необъяснимое все сильнее с беспокойством и радостью стало как бы подмывать его изнутри, приподнимать со стула, окрылять, расправлять плечи; он почувствовал себя молодым, сильным, ловким, когда все нипочем, все у тебя впереди, горы можно свернуть и в огонь готов и в воду...

Вот в каком вдруг состоянии почувствовал себя Петр Кузьмич, слушая песню, а когда Стаська с женщинами особенно стройно, неторопливо и красиво, как показалось старшему Маслову, запели:

Я не хочу судьбу иную,
Мне ни за что не поменять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня,—

спазмы сдавили старшему Маслову горло.

Тут уж Петр Кузьмич вознесся вовсе. Ему мгновенно вспомнилась «серповская» проходная номер один, что на Золоторожском валу, напротив Таможенного проезда, та самая заводская проходная, которая вывела его в люди, и он ни за что и ни на что не променяет ее, и другой судьбы ему не надо, он горд своей судьбой, он варил сталь для родной Советской России и в первые пятилетки, и когда фашисты стояли под Москвой, и даже ту сталь варил, что пошла на постройку космических кораблей. Теперь сын Стаська стоит на его месте, возле его печи; Стаська каждый день проходит на завод как раз через ту проходную, которая и его вывела в люди,— все это мгновенно и так ярко и радостно представилось Кузьмичу, что он уже не в силах был дальше молчать, чинно сидеть за столом, вскочил и крикнул:

— Вот! Правильно! Главная основа жизни, суть всего на земле — заводская проходная номер один!

Тут песня кончилась, все засмеялись, заговорили:

— Гляди, какие фортели наш батя выкидывает!

— Папа, вы даже помолодели!

— Совсем ошалел, старый,— это уже, с укором и восхищением глядя на разошедшегося супруга, произнесла баба Вася.

А Петр Кузьмич стал собираться в дорогу.

— Ну, мне пора по делам,— сказал он.— Вы тут сами догуливайте.

С этими словами он вышел из-за стола, приладил к шее галстук-самовязку и надел пиджак.

Баба Вася, суетливо поднявшись, толстенькая, маленькая, захлопотала возле мужа, одергивая пиджак, проводя ладонями по плечам и спине его, не то смахивая пушинки, не то разглаживая складки, не то подбадривая мужа.

— Хорош, хорош,— сказала Надежда и поглядела на сестру и золовку.— Хорош, а?

Шурочка сейчас же подхватила:

— Лучше нашего папаши и нет никого во всей, может, Москве.

— На Пресне есть,— возразил Сергей.— А вот в Рогожской теперь, верно, такого не осталось. Переселили, обштопали патриота.

— Ладно трепаться,— миролюбиво проворчал Петр Кузьмич.

Тут поднялся Станислав, приложил ладонь к виску, будто взял под козырек, и торжественно произнес:

— Товарищ начальник! Во время вашего отсутствия по случаю экстренно-важной инспекционной поездки во вверенном вам подразделении будут мир и благодать. Сейчас же допьем-доедим и четким строевым шагом отправимся на пруд. Какие будут ваши указания насчет обеда?

— Дылда ты, Стаська,— сказал Петр Кузьмич, ласково поглядев на сына, и, уже направляясь к выходу, сказал жене: — Насчет обеда, если чего такого не хватит, ты, Вася, скинешься с ними. Уразумела?

— Ладно, ладно, иди уж,— сказала баба Вася, закрывая дверь.— Скинусь. Поезжай, наведи порядок, как же...

И Петр Кузьмич поехал.

В долгом времени аль вскоре, сделав две пересадки, без особых трудов и волнений, лишь немного помяв бока при посадке и высадке, он прибыл в родные, любезные сердцу его места.

Территория, находившаяся под его пристальным и рев-

ностным присмотром, была не так уж велика, но не так и мала. Начиналась она от Астахова моста, и главное ее направление шло напрямик по Ульяновской, потом по Тулинской улицам, через площадь Ильича и потом, опять же никуда не сворачивая, вдоль по шоссе Энтузиастов под железнодорожный мост Курской и Горьковской дорог, вдоль Курской канавы, мимо завода имени Войтовича и кончалась на стыке Старообрядческой и Проломной улиц. Если по этому главному направлению пройтись пешком, потратишь не так много времени. Но это-то направление, особенно участок его от Астахова моста до площади Ильича да прилегающие к нему улицы, и хотелось Петру Кузьмичу сохранить для потомства в полной неприкосновенности. Даже одни лишь названия давали ему право утвердиться в этой идее: Волочаевская, Самокатная, Коммунистическая, Школьная, Библиотечная и — рабочие переулки. Рабочие переулки! Но центральными все-таки были Тулинская и Ульяновская. Именно по этим улицам двигались некогда к центру Первопрестольной сомкнутые грозные колонны рабочих демонстрантов с красными знаменами, а потом, с оружием в руках, подпоясавшись ремнями да пулеметными лентами, поспешали к Кремлю боевые рабочие дружины. По этим улицам проезжал к рабочим курских железнодорожных мастерских Владимир Ильич Ленин.

Площадь Ильича, Тулинская, Ульяновская...

Теперь Петру Кузьмичу Маслову надо было установить, какой урон и в каких размерах может быть нанесен этим достопримечательным историческим улицам строительством нового, как сообщил Стаська, дома.

Еще подъезжая к Астахову мосту, он начал волноваться, а когда троллейбус свернул на Ульяновскую, Петр Кузьмич и вовсе потерял покой, заерзал на сиденье, закрутил головой из стороны в сторону. Однако, если не считать нового здания иностранной библиотеки, выросшего с угла на Яузской набережной, Ульяновская улица до самой Землянки была пока в полной неприкосновенности, что очень обрадовало товарища Маслова. А вот когда троллейбус вынырнул из-под моста на Садовом кольце, Петр Кузьмич насторожился, но — напрасно: слева промелькнули только те новые строения, про которые Петр Кузьмич знал давно и которые, так же, как и библиотеку возле Астахова моста, воспринимал с огорчением и неудовольствием, но как неизбежности, с коими приходилось мириться. Дальше

опять все было хорошо, по-старому. Показались побеленные, словно сахарные стены Андроньевского монастыря, и от площади Прямикова, первого председателя Рогожско-Симоновского райсовета, началась Тулинская улица. Двух-да трехэтажные дома ее, много повидавшие на своем веку, но еще очень прочные и с виду удобные, стояли весело, тесно, и неширокая улица была празднично, по-полуденному, по-воскресному пустынной, насквозь пронизанной солнцем до самой площади Ильича, куда и пришагал ни шатко ни валко Петр Кузьмич Маслов, выбравшийся из троллейбуса у площади Прямикова.

Шел Кузьмич по Тулинской, улыбался бог знает чему, и все-то тут было ему знакомо с детства: аптека, гастроном, парикмахерская, мануфактурный магазин...

— Ба! Сколько лет! Петр Кузьмич, дорогой.— На него, растопырив руки, шел здоровенный малый.— Как здоровье, как жизнь молодая? — спрашивал малый, облапив Кузьмича, который от неожиданности никак не мог вспомнить, кто этот малый и откуда.

Малый был очень рад встрече и не выпускал Кузьмича из объятий до тех пор, пока тот не объяснил, как обстоит дело со здоровьем и молодой жизнью.

После этого шагов через пятьдесят Кузьмичу повстречалась знакомая бухгалтерша из сталепроволочного и тоже стала расспрашивать о здоровье и о том, хорошо ли ему живется на новом месте. Кузьмич отвечал: со здоровьем бывает всяко, а жить на новом месте, как говорится, и скучно, и грустно, и некому руку пожать.

— А мы пока в старом доме так и живем,— с недоверчивой улыбкой выслушав его, сказала бухгалтерша.— И когда нам дадут, неизвестно. А как хочется пожить в новой квартире, знали бы вы! Ах, как хочется!

После этих ее слов Петру Кузьмичу стало несколько не по себе, неловко, будто он виноват перед знакомой бухгалтершей, которой надоело жить в старенькой квартирке и которая никак не может понять, отчего ему невесело в новом, современном доме. Ей все это было так же непонятно, как было непонятно дочерям, сыну, зятьям, невестке, даже долголетней спутнице жизни его бабе Васе.

А ведь стоило ему лишь приехать сюда, как он и чувствовать себя стал иначе. Все здесь было иначе, проще, домашнее: и люди, и воздух, чуть припахивающий какой-то химией, втихую, должно быть, выпущенный на волю фармацевтическим заводом.

После бухгалтерши Петру Кузьмичу повстречались еще пять знакомых рогожских старожилов. С иными он останавливался потолковать, с иными лишь радушно раскланивался, и, когда пришел на Курскую канаву, конечный пункт своей инспекции, даже ноги отяжелели от ходьбы, и он подсел к первой же компании, восседавшей в одном из дворов за шатким самодельным столиком, яростно заколачивая козла.

Тут уж сплошь все были свои. Степенный, с животиком, Алексей Петрович с «Войтовича», Генка с Валеркой из сортопрокатки, водитель троллейбуса Прянишников, тощий длинноногий старик электромонтер-пенсионер Антипкин. Пенсионера, должно быть, недавно вышибли из игры, и теперь он находится в роли зрителя.

— А вот и Петр Кузьмич пришел,— сказал Генка из сортопрокатки.— Я же говорил, что он обещал зайти.

Только тут Петр Кузьмич вспомнил, что тот здоровый малый, радостно тискавший его в своих объятиях на Тулинской улице, был Генка. Как же это он не узнал сразу Генку из сортопрокатки, жителя Курской канавы?

Начались расспросы, разговоры: кто да где, что да как.

— Я вашего Стаську частенько встречаю, а вот Надю с Таней не видал. Они еще не уволились с завода? — спрашивал Генка.

— Работают, куда им,— отвечал Петр Кузьмич.

— А Колька-то Лукашин, слышь, Колька-то,— нетерпеливо дергал Кузьмича за рукав монтер-пенсионер,— Колька-то, года не прошло, как жену похоронил, глядим, недавно новую привел. Я ему, Кузьмич, говорю — зачем? А он мне говорит...

Монтер Антипкин дергался и кривлялся. Он еще не оправился как следует от паралича, и из правого глаза его, с красного века, стекали и капали слезинки. А он все торопился, обрадованно увидев Кузьмича, рассказать ему не то смешное, не то трагическое про Кольку Лукашина, второй раз женившегося, хотя и года не прошло после смерти первой жены.

— Да ладно тебе,— с досадной, несколько презрительной жалостью сказал ему Алексей Петрович, смешивая на столе костяшки домино.— Не суетись. Кузьмич у нас теперь гость, и надо его принять по-нашему, как положено.

— Так о чем речь?! — воскликнул Генка.

— Я сейчас, я сейчас,— засуетился монтер Антипкин, хлопая ладонями по карманам пиджака и брюк,— я сейчас... кошелек вот где запропастился...

— Так о чем речь?! — снова закричал Генка.— У нас же с Валерой и то и се! Я, когда вас встретил, Петр Кузьмич, я ведь в магазин летел. Гляжу — Петр Кузьмич! Своих не забывает. Как поется — не забывай свою заставу. Ее не забудешь вовек. Прощенья нет, если забудешь. Так, Алексей Петрович?

Меж тем Валерка, такой же, как и Генка, здоровый, красивый и сильный молодой человек, тоже в белоснежной рубашке с закатанными по локоть рукавами, в темных, дорогого трико, заботливо отутюженных брюках и легких, тоже, видать, дорогих ботинках, уже поставил на стол бутылку водки, пару бутылок пива, положил пару скрюченных воблин, ломти ржаного хлеба, вытащил из кармана граненый стаканчик, дунул в него, протер носовым платком, и Генка, оглядев стол, сказал:

— Можно приступить. По рюмочке, Петр Кузьмич!

— Ладно, уж так и быть. Разве ради встречи.

И приступили.

— Ты, Алексей Петров, объясни мне,— говорил Петр Кузьмич, нюхая хлеб,— что значит наша Рогожская. Взять меня: уехал, совсем рассчитался, квиты, значит, вроде бы, а вот не могу. Что значит?

— Я тут, Кузьмич, слышь, всю жизнь, поверишь,— спешно задергал Петра Кузьмича за рукав монтер Антипкин. Правый глаз его все плакал и плакал.

— Без Рогожской мне не жить,— убежденно сказал водитель Прянишников, а Генка продекламировал:

— «На свете много улиц разных, но не сменяю адрес я...» — И сказал он эти слова так влюбленно, что Петра Кузьмича вновь стало было возносить. Он опять представил себе проходную номер один, что вывела его в люди, свой мартеновский цех и опять было собрался взвиться, опять его начало подмывать, да в это время заговорил Алексей Петрович.

Он был старше и Кузьмича, и монтера Антипкина, не говоря про водителя и про Генку с Валеркой, но крепок был этот маленький усатый да пузатый краснодеревщик. Крепок и памятлив. Ему давно было пора на пенсию, но он работал как молодой, без устали, хоть бы что ему. Память у него тоже была молодая, яркая. Ему, предположим, было пятнадцать лет, когда Владимир Ильич Ленин при-

езжал к ним в Курские железнодорожные мастерские, но он помнил об этом приезде вождя так свежо, будто Владимир Ильич побывал здесь совсем недавно.

— Родные места, Петр Кузьмич, трудно позабыть,— заговорил старый краснодеревщик.— Все тут тебе дорого, все знакомо, потому и тянет, зовет — родина.

— И хочется, чтобы она процветала,— подхватил Петр Кузьмич.

— Правильные слова.

— И чтобы хранила революционную историю.

— Тоже правильно.

— Стаська сказывал, на Тулинской дома собираются ломать, так ты ведь районный депутат, смотри.

— Вот этого не слыхал.

— Нельзя такую историческую улицу рушить.

— Согласен целиком и полностью.

— Это же наша рабочая история.

— Тоже правильно.

Так согласно и дружно поговорили они еще с полчаса, а потом всей компанией пошли провожать Петра Кузьмича на троллейбусную остановку.

— Ты приезжай еще, Кузьмич, приезжай,— говорил, стоя возле стола, монтер, горестно глядя вслед Кузьмичу.

— Это нас с тобой так на фронт провожали, помнишь? — сказал Пряничников, обращаясь к Алексею Петровичу.

— А как не помнить. Помню. Я все помню.

— Сколько нас в тот день с улицы на фронт ушло?

— Восемь человек.

— А вернулись мы с тобой,— вздохнул водитель.

Когда вышли за ворота, во втором этаже распахнулась рама, приподнялась тюлевая занавеска, высунулась в окошко русая головка и вкрадчивый голосок пропел:

— Валера, ты куда?

Валера поднял голову, засмеялся:

— Кузьмича провожаем, Лялечка.

— Петр Кузьмич, здравствуйте,— весело защебетала Лялечка.— Что же вы так быстро уезжаете? Мама,— это уже в глубь комнаты,— Петр Кузьмич Маслов приехал.

И вот уж рядом с русой головкой в окне появилась седая старушечья голова, и женщины стали кричать:

— Как Наденька, Таня?

— Внучата как, Кузьмич? Васена здорова ли?

— Заехала бы как-нибудь Васена-то. Или вы с ней забыли Рогожскую свою?

— Да как можно! — в сердцах вскричал Кузьмич.

Даже слезы навернулись ему на глаза. И черт его дернул уехать отсюда. Ах ты, Курская канава, родные кузьмичевские места! А тут еще Генка, дьявол, напевает:

Не забывай, не забывай своей заставы,
Своей судьбы, своей любви не забывай...

«Да как же можно забыть,— растроганно думает Кузьмич, шагая с друзьями к троллейбусной остановке.— Родину свою можно ли забыть!»

Никто из рогожских друзей, конечно, не догадывался, что приезжал он сюда недаром, неспроста, а корысти ради: узнать, разведать, все ли тут цело, сохранно, нет ли каких-либо резких, ощутимых уронов, основательно изменивших бы в худшую сторону приметы родных его мест.

Однако все пока шло, как он мог убедиться, нормально, ничто особых беспокойств не вызывало, а те исключения, которые давно им воспринимались как неизбежное зло, были, конечно, не в счет.

Долго ли, скоро ли, потолкавшись и вновь намяв бока при пересадках, Петр Кузьмич вернулся восвояси, пребывая, однако, в бодром и покойном состоянии.

Все уже были дома, ждали его обедать, и он, как вошел, стал раздавать всем приветы, пожелания и наказы, а когда Станислав спросил: удачно ли прошла поездка, он весело поглядел на сына и ответил:

— Порядок. На родине нашей — порядок! Теперь пока могу быть спокоен. Все пока хорошо. Меня так просто, как тебя, из родных мест не выселишь.

1969

ОДИНОЧЕСТВО

В Апрелевке, при заводе, обитали ее сестры, тетки, дяди, а она жила совсем по другую сторону Москвы, на северо-востоке, где даже снег таял недели на две позже, чем в Апрелевке, и выпадал соответственно тоже много раньше, так что зима в том дачном поселке

на северо-востоке от Москвы, невдалеке от Учинского водохранилища, была длиннее, свежее, ядренее.

В поселке, кроме трех сельповских магазинов, керосиновой лавки, библиотеки, почты и столовой с распродажей пива и вина из бочек, был еще клуб машиностроителей, проживавших в пятиэтажных домах вдоль железной дороги и работавших в Москве. Клуб большой, с комнатами для кружковой работы, артистическими уборными, с колоннами при входе и широкоэкранным стереофоническим кинозалом. Она заведовала этим клубом, была уже в годах, но стройна, весела, свежа, своенравна, а когда волнами укладывала русые волосы в парикмахерской — даже очень красива. Звали ее Валентиной Прокофьевной, а за глаза Валюшей.

Клуб посещали не только машиностроители, а и жители всего поселка, и Валюша была известна всем малым и каждому старому наравне с такими выдающимися личностями, как, например, председатель поселкового Совета, старый большевик, полковник в отставке Бирюков, или возчик дачной конторы Сашка Король, с утра до вечера разъезжавший по поселку на гнедом мерине, запряженном в телегу с автомобильными колесами, или участковый капитан милиции Карпов.

По вечерам в клубе показывали новейшие отечественные и заграничные кинобоевики, спевался хор, наяривал на домрах и балалайках струнный оркестр, колесили по ковру акробаты, шила и тачала, кому что по душе, школа кройки и шитья, и всюду был полный, строгий порядок, такой чинный, как в Большом театре или в Колонном зале Дома Союзов. И вовсе не потому, что возле клуба каждый вечер дежурили дружинники и раза два-три в неделю, как бы мимоходом, к Валентине Прокофьевне заглядывал, помахивая офицерской сумкой, туго набитой всякой важной документацией, капитан милиции Карпов, а потому, что с нарушителями клубной дисциплины круче дружинников и участкового расправлялась сама Валюша.

Она была откровенна, груба, но тактична, гуманна и знала судьбы всех клубных завсегдатаев, как историю жизни избалованного всеобщим вниманием капризного слесаря-наладчика, тенора — солиста клубного хора Котика Фролова, так и какого-нибудь безусого подростка вроде Женьки Свиблова, у которого и судьбы-то еще никакой не было, а так просто, лишь самое обыкновенное маленькое начало жизненного пути.

Если вспомнить — трудный парнишка был этот Женька Свиблов. Сколько огорчений, слез, стыда и покорной муки приносил он в дом и матери, и старшей сестре, которые считали, что холят и лелеют его, но он, паршивец, не поддается никакому воспитанию! В действительности же мальчишка только и воспитывался, когда был в детском садике, а как выписался оттуда, так с самого первого класса был предоставлен самому себе и поэтому учился с пня на колоду, гулял сколько вздумается, словно какой-нибудь ухарь купец — удалой молодец, и к концу восьмого класса доухарствовал до того, что угодил на семь месяцев в исправительно-трудовую колонию строгого режима. Не без помощи капитана милиции Карпова, который взял заезжих воров на месте преступления при попытке ограбить дачу и вместе с ними прихватил и Женьку Свиблова, связавшегося с теми разбойниками и во время грабежа стоявшего на стреме.

Вернулся Женька из колонии в середине декабря, ближе к Новому году, в веселые, суетные, хлопотные дни, когда над поселком, над заснеженными крышами стояли подсвеченные солнцем лохматые сизо-лиловые султаны дыма, под ногами прохожих скрипела укатанная колесами автомобилей морозная дорога, а в окнах сквозь узоры инея то тут, то там уже угадывалось сияние елочных гирлянд, фонариков и шаров.

В доме Свибловых тоже была наряжена елка. Маленькая, синтетическая. Она стояла на серванте, аккуратно растопырив увешанные игрушечками полиэтиленовые ветки с неживыми мнущимися иголками.

Увидев Женьку, мать заплакала и сказала:

— Горе мое! Каторжник ты мой несчастный! Отпустили?

— Сбежал,— насмешливо сказал Женька.

— Что же теперь будет? — В глазах матери отразился ужас.

Женька снисходительно, с горечью сказал:

— Не бойся, мама. Никакого пятна на вас с Тонькой не ляжет. Меня в данном случае отпустили досрочно за прилежное поведение и самоотверженный труд.

— Еще чище: мы уж по горло сыты твоей прилежностью,— вздохнула мать и поцеловала парнишку в щеку, сухо и равнодушно, словно дальнего родственника.— Раздевайся, обедом накормлю.

Вечером вернулась с работы старшая сестра Антони-

на, комсомолка, ударница швея. Увидев Женьку, неопределенно гмыкнув, сказала таким тоном, будто он отсутствовал в родительском доме не полгода, а всего каких-нибудь пару дней:

— А, из дальних странствий возвратясь. Здравствуй.

Женька понимал, что мать с сестрой давно уже страдают из-за него, глубоко переживают всяческие невзгоды, которые он приносит им, даже любят его, хотя и несколько своеобразно, словно палку собака.

Он все понимал. Понимал, что в школе среди учителей и общественности класса из-за его различных фортелей были тоже сильные страдания, так что, когда его отправили в колонию, никто этому не удивился, не ахнул, не пожалел о случившемся, не погоревал о нем, но все вздохнули с облегчением.

Из школы Женька выбыл механически: восемь классов кое-как, с грехом пополам закончил, а в девятый явиться не сумел по известной всем уголовной причине.

Еще в колонии он твердо решил начать серьезную, прилежную и праведную жизнь и, когда пришел в школу за документами об окончании восьми классов, нисколько не обиделся на то, что с ним обошлись так предупредительно, торопливо и отчужденно: боялись, что он вдруг передумает и решит продолжать свое дальнейшее образование в поселковой десятилетке и тогда с ним вновь надо будет мытариться и отвечать за него.

И вот Женька устремился в поиски новой жизни и, промыкавшись в поисках ее пять дней кряду, с понедельника по пятницу, устал и отчаялся до того, что хоть под поезд ложись. Она была рядом, близко, всюду вокруг него, эта новая жизнь, руку только протяни, но, словно заколдованная, не давалась ему, да и все. Везде, куда бы он ни обращался, требовалась рабочая сила, он готов был взяться за любое дело, хоть посуду мыть или дрова колоть, но лишь только выяснялось, где он провел последние шесть месяцев, так оказывалось, что никто вовсе и не нуждается в его добрых услугах.

Тем временем пришел канун Нового года, последний декабрьский вечер. А человек остался один. В школе он был давно никому не нужен, в новой жизни, к которой стремился,— тоже. И дома в тот вечер никого не было: мать — повариха — до утра будет работать в своей столовой, сестра — отплясывать на фабричном новогоднем балу. Поначалу Женька не особенно тяготился этим одиночест-

вом, не придавал ему значения, протопил печь, поглядел телевизор, постоял, сунув руки в брюки, посвистывая, возле серванта, потрогал мягкие, словно тряпичные, полиэтиленовые колючки на елке и вдруг почувствовал какое-то смутное беспокойство, смятение. «Что такое?» — удивленно подумалось ему, а уж невыносимая, никогда еще не испытанная им тоска одиночества больно и жестко схватилась за его мальчишеское сердце.

В такую ночь, хоть кому приведись, будет горько и обидно оставаться наедине с самим собой в пустом, хоть шаром покати, пусть и теплом, и светлом, с елочкой, с телевизором, но в пустом — вот какая беда!—доме. И Женька, почувствовав эту горькую обиду, заметался по комнатам, но, нигде не найдя себе места, поспешно сунул руки в рукава своего легкомысленного в такие морозы, продувного демисезонного пальтеца, натянул на голову кепочку, погасил везде свет, запер дом и очутился на улице.

А выбежав за калитку, оторопело остановился. Идти ему было некуда. Никто его никуда не звал и нигде никто не ждал.

А на улице вовсю чувствовалось приближение новогоднего празднества. В окнах многих домов горели яркие огни, в чистом темном небе мигало множество звезд, а людей нигде не было видно, даже на самой главной поселковой Почтовой улице, упиравшейся в железнодорожный переезд возле станционной платформы. Это значило, что все уже разобрались по местам, по компаниям и ждут урочного знаменательного мгновения, чтобы стрелять в потолки шампанскими пробками, поздравлять друг друга со счастьем и от души веселиться.

В клубе машиностроителей, к которому от нечего делать, не зная куда деваться, приблизился Женька, под колоннами, ярко освещенными прожекторами и гирляндами разноцветных лампочек, гудела музыка, у парадного входа стояли билетерши, одетые снегурочками, и проверяли у гостей билеты.

Женька определился в сторонке, так, чтобы не мешать людям, идущим в клуб, и не особенно маячить, выделяться на свету. Время шло, он озяб, а никому до него не было дела, никто даже внимания не обратил на него, притопывающего по морозцу невдалеке от клубных колонн. Быть может, думали, что он поставлен тут для порядка? А может, вовсе никто ничего и не подумал, равнодушно скользнув по нему взглядом счастливого, довольного жизнью и

предвкушающего веселье человека? Так ли было, не так ли — кто знает?! Женька не задумывался над этим вопросом, стоя при парадном подъезде, поскольку ему страсть как хотелось самому пройти в клуб и хоть какой-нибудь часик, отогревшись, почувствовав себя человеком, потолкаться средь нарядной шумной толпы.

Наконец он понял, что ему и туда дороги нет, что вот промчатся мимо него последние запыхавшиеся, припоздившиеся гости, билетерши-снегурочки запрут двери — и на улице, кроме него, никого, быть может, на все Подмосковье не останется. Понял это, но от отчаяния, огорчения, охвативших его, не мог стронуться с места, все стоял, бодро притопывая на морозе, словно хоккейный болельщик.

И вдруг в награду за это его долгое терпение судьба смилостивилась над ним и вывела из клуба самое Валюшу в распахнутой меховой шубке, с кружевным оренбургским платком, легко, небрежно накинутым на русые волосы, широкими шикарными волнами уложенные в парикмахерской. Как она была сейчас нарядна и красива!

— Ты что тут делаешь? — по обычаю властно и громко спросила она.— Свиблов, я к тебе обращаюсь!

— Я, Валентина Прокофьевна...— сказал Женька, нерешительно, боязливо приближаясь к ней.

— Почему ты тут мерзнешь? Сейчас же иди в клуб!

— У меня же билета нет, кто же пустит...

Он с застенчивой улыбкой глядел на нее.

— Иди, иди,— с ласковой грубостью сказала она.— Ты как раз мне и нужен.— И пошла под колонны, обернулась в дверях, крикнула: — Иди же!

Снегурочки-билетерши вежливо расступились перед Женькой, и он — слава судьбе! — очутился в теплом вестибюле.

— Разденешься и придешь ко мне в кабинет,— распорядилась Валюша.

Женька кинулся к вешалке, расторопно стянул с плеч пальтишко, сунул в рукав кепочку, торопливо пригладил волосы, одернул пиджачок и уже собрался было постучаться в дверь директорского кабинета, чтобы получить у Валюши дальнейшие указания, как услышал за той неплотно прикрытой дверью ее властный голос:

— Ну и что?

— Так он же был осужден за воровство,— вкрадчиво возражал ей кто-то.— Вы знаете об этом?

— Знаю. Дальше что?

— И вы впустили его в клуб. Больше того, вы сами пригласили его сюда, Валентина Прокофьевна.
— Пригласила. Еще что?
— В такой знаменательный, торжественный день.
— Вот именно.
— Не понимаю я вас, Валентина Прокофьевна.
— Что не понимаешь?
— Вашего отношения к преступному миру.
— Ладно говорить, чего не следует. Давай с тобой логически разбираться. Ты хоть знаешь, что значит оставить за дверями человека в такой торжественный день один на один с самим собой? Знаешь или нет, что такое одиночество? Когда голову готов разбить себе о стену, лишь бы люди были около тебя? Знаешь?
— Но он же преступник.
— Он дурачок, а не преступник. Вот если мы в такую минуту бросим его на произвол судьбы, тогда мы ему поможем стать преступником. Это я гарантирую.
— А чем вы гарантированы от того, что он не стащит из гардероба чье-нибудь пальто, пока хозяин этого пальто пьет шампанское или танцует?
— Вот что, Котик. Иди и готовься к своим ариям. А я тут сама как-нибудь разберусь. Логически. И не вздумай совать в это дело свой нос. Я тебя знаю — пойдешь сейчас дружинников настраивать. Попробуй только испортить настроение этому мальчишке. Я не посмотрю, что ты у нас соло поешь. Я тебя не уговариваю. Я тебя прошу подружески и предупреждаю, что можешь сегодня считать его моим гостем. Понял?
— Я-то понял, Валентина Прокофьевна, только как бы это ваше гостеприимство не обернулось другой стороной.
— Ну давай снова разбираться с тобой логически. Ты хорошо знаешь его судьбу? Что мать с сестрой давно махнули на него рукой, терпят его потому, что он родственник, что деваться ему некуда? Что в школе от него с радостью отделались, потому что он неудобный для них, трудный человек?
Женька замер. Он даже не подозревал ничего подобного ни за матерью, ни за школой, ни за сестрой. Он полагал, что все идет правильно, своим чередом, и если он, непутевый, сам с собой не может сладить, приносит окружающим одни только неудобства, кто же в этом, кроме него, может быть виноват?

— Ты пойми, дурья твоя башка, что он не куда-нибудь, а к нам пришел,— слышался за дверью непреклонный голос Валюши.— В клуб! Стоит и весь дрожит от холода, как описано в старинном рождественском стихе. Девчонки-билетерши увидели, прибегают ко мне, всполошились: Женька Свиблов возле клуба топчется! Вот и давай с тобой логически разбираться что к чему.

— Это ваша воля, только я думаю, что в таких случаях не особенно стоит играть на чувствах сострадания.

Женьке невмоготу стало слышать их голоса. Все стало обидным и горьким, так что в горле прихватило. И все вдруг померкло и притушилось вкруг него: музыка, неистово гремевшая в зале, шум, смех двигавшейся мимо него нарядной толпы, ряженые, бегущий, мерцающий свет гирлянд... Все, все, еще какое-нибудь мгновение назад так остро, радостно и взволнованно воспринимавшееся разумом и душою его, все пропало, сгинуло, и он вновь будто бы остался один средь людей. Он уже ничего не видел, не слышал, не ощущал и, попятясь от двери, понуро побрел к вешалке. Одно ему было сейчас очень определенно ясно: что самое лучшее — уйти отсюда и не портить своим присутствием праздника людям, тому же солисту хора Котику, который так встревожился, узнав, что Валентина Прокофьевна впустила Женьку в клуб.

Он натянул на себя пальтишко, накинул на голову кепочку и уж направился к двери, как знакомый и властный голос остановил его. Тот самый грубый, бесцеремонный, громкий голос, от которого разом приходили в чувство самые бесшабашные поселковые гуляки и которым могла объясняться с людьми лишь одна Валентина Прокофьевна.

— Свиблов!

— Я! — исполнительно и тоскливо вскричал Женька.

— Ну ты смотри! Он еще и не разделся!

Валентина Прокофьевна в белом с серебряными блестками платье, даже еще более нарядная и красивая, чем в шубке, стояла посреди вестибюля, лихо, воинственно подбоченясь.

— Я его жду, а он у вешалки прохлаждается! Раздевайся живее!

И тут Женька как бы очнулся. Вновь перед ним, перед глазами его замерцала иллюминация, вкруг него возникли нарядные веселые люди, а в ушах его опять загремела бравурная музыка, и говор раздался, и смех, и уж это

веселье не прекращалось в нем, в ликующем сердце его, перед широко распахнутыми мальчишескими глазами его всю ночь напролет, пока не закончилась встреча Нового года. Потом, дома, выспавшись, он с удовольствием вспоминал эту ночь, как все было хорошо и как Валентина Прокофьевна даже угостила его шампанским и пирожным «наполеон».

— Выпей, Женька, за Новый год и за новое счастье,— сказала она и, чокнувшись с ним, тоже выпила полный бокал, даже не задохнувшись.

После этого он, помнится, так старался, что готов был в доску расшибиться, а выполнить ее распоряжения, словно угорелый, задыхаясь от усердия, носился по всем этажам и комнатам, разыскивал то завхоза, то киномеханика, то еще кого-нибудь, а когда Валентина Прокофьевна выходила из кабинета, преданно дежурил возле телефона, отвечая на звонки, как она велела ему: «Дежурный по клубу Свиблов слушает». Один раз, было это часа в три, позвонил участковый Карпов, нисколько не удивился, что Женька выполняет такое ответственное поручение, и лишь строго спросил:

— Как там у вас дела, Свиблов?

— Все в порядке, товарищ начальник.

— Никаких инцидентов не было?

— Не было, товарищ капитан.

— Поздравляю тебя с Новым годом, передай мои поздравления Валентине Прокофьевне, а если в случае чего, звони мне домой. Бывай здоров, Свиблов, смотри за порядком.

— Будет сделано, товарищ капитан.

А в половине пятого осторожно приволокли в кабинет вовсе осовевшего солиста Котика, уложили на диван, и Женька по распоряжению Валентины Прокофьевны без злорадства, но с удовольствием вылил ему на кудри целый стакан воды. Котик потряс головой, фыркнул, с умилением поглядел на Женьку и запел:

— «Я встретил вас, и все былое...»

Женька засмеялся и сказал:

— С Новым годом, Котик.

А о чем они с Валюшей говорили в ту ночь? Вообще-то ни о чем. Она спросила:

— Из школы ушел?

— Не вернулся,— сказал Женька.

— Правильно сделал. Работать надо.

— Не берут.

— И это знаю. Дураки. Во вторник придешь, я тебя устрою к нам на машиностроительный. И вот еще что: одежда у тебя больно хиленькая. Пальтишко вовсе не по росту. Мини-юбка, а не пальто.

— Другого нет.

— Тоже знаю. В первую же получку купишь себе пальто. Если денег не хватит, я тебе одолжу. Понял?

Возражать ей было бессмысленно. Она, казалось, всегда и раньше, и лучше других угадывала, что и как должно случиться. Иные, конечно, пытались вступать с нею в пререкания, но никогда ничего путного из этих пререканий не получалось. Особенно когда она говорила: «Дурья твоя башка» или «Ну, давай разберемся с тобой логически». Тут уж явно значило, что собеседник ее попал в полный просак, так сказать, по уши влип, как она решила, так и правильно, так и будет.

И все получилось как надо. Только в жизни ее было много неправильного, печального, несправедливого и жестокого, чего, впрочем, общавшиеся с ней люди не замечали, думая, что если она всегда такая деятельная, жизнерадостная, властная, то и горевать ей решительно не о чем, дай бог, чтоб и всем было так счастливо на земле.

А она была одинока. Ах, если бы кто-нибудь узнал по-настоящему, как она одинока, то, наверное, ни за что и не поверил бы. Жизнь ее уже катилась, летела сломя голову к закату, а она была все одна, одна. Как встала на собственные ноги, пошла работать на фабрику, потом в пионервожатые, потом в РК ВЛКСМ, в исполком депутатов трудящихся, теперь вот десятый год директорствует в клубе; как закрутилась в этом веселом и радостном круговороте общественной деятельности, всевозможных массовых мероприятиях, так и крутится безостановочно день за днем до сих пор. Было, конечно, все: и ухажеры, и вздыхатели, даже возлюбленный, а остались одни только воспоминания. Возлюбленный не вернулся с войны, а ухажеры со вздыхателями все куда-то поразбрелись, где-то позатерялись из-за ее строптивости, разборчивости и несговорчивости. И надо было ей, наверное, вести себя попроще, пообщительнее, поуступчивей, тогда, глядишь, и не пришлось бы кусать в тоске подушку по ночам, пить капли доктора Зеленина, чтобы заглушить или хотя бы унять сердечную боль.

Никто, конечно, об этих болях не догадывался, посколь-

ку она всем своим видом, всеми своими поступками старалась (и небезуспешно) доказать совсем иное, противоположное, будто ей как раз по нраву такое одинокое житье на свете.

— Да чтоб я ему носки стирала, пуговицы к штанам пришивала,— громко, решительно, по обыкновению, говорила она.— Да пошел он к чертовой матери с таким семейным счастьем!

И все принимали эти слова за чистую монету.

— Я живу и горя не знаю. Сама себе хозяйка. Куда ушла, во сколько пришла — ни перед кем не обязана отчитываться.

А в действительности ей так не хватало этой домостроевской подотчетности, так порою бывало горько и обидно оттого, что некому даже майку постирать, паршивую пуговицу к брюкам пришить. И не любила долго задерживаться дома еще потому, что в квартире жила дружная, счастливая, многодетная, весело-крикливая семья, а она ютилась возле той семьи в тесной комнате, где с трудом умещались диван-кровать, шифоньер да столик со стульями.

С утра до полуночи занималась она клубными делами. Чего только в клубе у нее не было: кружки, киносеансы, балы, собрания, лекции-беседы, концерты, даже выставки цветов и овощей, взращенных поселковыми садоводами-огородниками, даже секция борьбы самбо и три футбольные команды, игравшие на первенство района. Работы хватало: денежные отчеты, телефонные переговоры, поездки в кинопрокат, на районные совещания работников культуры, в Мосэстраду, так что передохнуть иной раз было некогда. Но если выпадало свободное время, она лихо играла на бильярде, по-мужски задирая ногу, и очень гневалась, когда проигрывала. Штатный персонал обыгрывать ее не осмеливался, так как можно было свободно на целый день испортить настроение не только директорше, но и всем сослуживцам.

При клубе был актив общественности, в котором состояли не только уважаемые машиностроители, но и подростки, вертевшиеся по вечерам у входа, возле кассы, под колоннами и готовые выполнить любое Валюшино указание. Среди таких старателей после новогоднего вечера очутился и Женька Свиблов. Хотя он и ходил еще в своем стареньком поддергайчике, но перемены, происшедшие с ним в новом году, были значительны: Женьку устроили

на машиностроительный, и он успешно копил деньги на новое пальто. Хранение этих сбережений было поручено Валентине Прокофьевне.

И вот однажды в мартовскую субботу Свиблов забрал у Валюши деньги и отправился в город делать первую самостоятельную большую покупку. И так ему повезло, такое пальтецо он себе отхватил, что когда явился вечером в клуб, то даже Валентина Прокофьевна всплеснула руками и восхищенно воскликнула:

— Ах, какая обновка! Поролоновое, самое модное! Где ты его достал?

— Да в Орликовом переулке.

— И сидит, как на тебя сшито, Женя. Ты такой в нем солидный и исключительно нарядный! Повернись-ка!

Он обрадованно и смущенно поворачивался перед ней, еще не ведая о том, какая огромная беда вот-вот должна случиться с ним. Откуда ему было знать, что дружинник, дежуривший возле клуба, уже сообщил по телефону-автомату в отделение милиции о том, что в клубе машиностроителей появился ранее судимый за кражу Свиблов Евгений в новом пальто. Поролоновом, коричневого цвета, с трикотажным воротником, с поясом. Участковый милиционер, воскликнув: «Ах, вот как!» — велел не спускать с этого жулика глаз, а сам поспешил в клуб, чтобы принять личное, непосредственное участие в задержании преступного элемента. Конечно, если бы это был капитан Карпов, тот наверняка несколько иначе взглянул бы на дело, подумал, прикинул и, вероятно, усомнился бы в целесообразности и необходимости немедленного задержания Женьки Свиблова. Но Карпов, как назло, уже находился в отставке, на пенсии, а новый участковый, молодой, ловкий, энергичный, образованный, даже рассвирепел, узнав, что Свиблов, имевший судимость за кражу, так свободно и нагло разгуливает у всех на глазах в новом коричневом поролоновом пальто.

Когда участковый подошел к клубу, на улице уже вовсе смерклось. У входа прогуливались два дружинника и незаметно, старательно в четыре глаза следили за тем, чтобы Свиблов не вздумал улизнуть из клуба. Участковый поманил их в сторону и таинственно спросил:

— Здесь?

— Здесь,— еще таинственнее прошептали дружинники.

— Будем брать на улице, чтобы меньше шума. Один

из вас пойдет и вызовет его сюда, за угол. Мы тут его и задержим. Ясно?

Женька, как известно, ничего об этом не знал и упоенно разгуливал по клубному вестибюлю, красуясь на виду у всех знакомых в новом пальто. И вот к нему подходит дружинник и вежливо, беспристрастно говорит:

— Выйдем, Свиблов, на минутку. Дело есть.

— Пожалуйста,— великодушно говорит Женька и следует за дружинником под колонны и дальше за угол, где его поджидают участковый милиционер и второй общественник.

— Свиблов? — строго спросил милицейский офицер.

— Свиблов,— ответил Женька, холодея и меняясь лицом от страха.

И по тому, как плотно окружили его трое, и по жесткому, непреклонному, ничего хорошего не сулившему голосу участкового он почувствовал, что сейчас с ним должно случиться что-то невероятно страшное.

— Где взял пальто?

— Купил.

— Врешь.

— Не вру, товарищ лейтенант.

— Пошли со мной.

— Куда?

— Там увидишь. Пошли.

— Не пойду. Никуда с вами не пойду.

— Пойдешь. Какой размер пальто? Быстро!

— Сорок восьмой.

— Рост?

— Второй.

— Цена?

— Семьдесят шесть рублей восемьдесят пять копеек.

— Все правильно. Ловко заучил. Пошли. И не думай бежать, Свиблов.

— Не пойду!

— Взять! — скомандовал участковый.

Дружинники схватили Женьку за руки и уже скрутили их было за спину, как он извернулся и упал в мокрый снег, увлекая за собой помощников участкового. Одно он только понял в тот миг — что его арестовывают и что, если он поддастся, не миновать ему вновь колонии. Когда капитан Карпов первый раз арестовывал его, Женька даже не пытался сопротивляться: виноват — значит, туда и дорога. Но сейчас была совсем другая ситуация. Он не знал

за собой никакой вины и, крутясь, изворачиваясь под навалившимися на него, сопящими от усердия дружинниками, завопил истошным, плачущим голосом:

— Позовите Валюшу! Скорее позовите Валюшу!

Все случилось в мгновение ока. Кто-то из мальчишек, глазевших на возню, кинулся в клуб — и вот она уже стоит рядом с участковым и властно приказывает:

— Прекратить! Сейчас же прекратить издевательство!

И, как только раздался ее окрик, возня на снегу разом стихла.

— Встать! — кричала Валентина Прокофьевна.

Дружинники поспешно исполнили ее распоряжение.

— Вставай, Женя,— передохнув, ласково проговорила она.— За что они тебя?

Женька отряхнулся от снега, подобрал из-под ног участкового кепочку.

— Не знаю. Честное слово, не знаю, Валентина Прокофьевна.

— Пойдемте ко мне,— жестко сказала Валентина Прокофьевна милицейскому офицеру,— и разберемся во всем логически.

Все гурьбою тронулись следом за ней в клуб и вошли в кабинет.

— Вы что же тут хулиганите? — спросила она у милицейского офицера, садясь за стол.

— Вот что, уважаемый директор клуба,— с достоинством, хмурясь, сказал милиционер,— я выполняю возложенные на меня законом обязанности и прошу вас не вмешиваться в мои действия.

— Вот еще чего выдумал! — изумилась Валентина Прокофьевна.— Человека валяют в снегу, крутят ему руки...

— Он преступник,— прервал ее офицер.— Пальто, которое на нем, принадлежит совершенно другому лицу. Чтобы вам было известно, вчера это пальто носил не Свиблов, а другой гражданин, с которого оно было снято на углу Почтовой и Авиамоторной улиц. Вам теперь ясно, почему крутили руки?

— А вам будет ясно, если я скажу вам, дорогой мой лейтенант, что это пальто я сама вместе с ним выбирала сегодня в магазине в Орликовом переулке? Выйдите! — приказала она дружинникам.— А вы, лейтенант, и ты, Женя, садитесь. В ногах, как говорится, правды нет.

И все послушно и торопливо исполнили ее распоряжение: Женька с милицейским лейтенантом сели на диван, а дружинники, подталкивая друг друга, скрылись за дверью.

Валентина Прокофьевна тем временем уже соединилась по телефону с начальником районного отделения милиции.

— Слушай, майор, здравствуй. Это тебя беспокоит Гаранина. Тут один твой подчиненный пришел ко мне в клуб и давай дрова ломать. Это что еще за новости? Какое он имеет право арестовывать людей за здорово живешь? Что значит — не горячись?.. Выкручивают человеку руки, валяют в снегу — и не горячись! Я за этого человека головой отвечаю... Да ты погоди, сперва выслушай меня: в покупке этого пальто я сама лично принимала участие. Тебе этого доказательства достаточно? Вот и хорошо. А ты сам это ему и скажи.— Она протянула трубку участковому: — Говорите с вашим майором.

Лейтенант с огорченным вниманием выслушал своего начальника, сказал:

— Слушаюсь! — и, молча кивнув на прощание Валентине Прокофьевне, даже не удостоив Женьку взглядом, удалился.

— Зачем же вы так, Валентина Прокофьевна? — спросил Женька.

— Как?

— А так, словно ездили со мной в магазин.

— Мало ли что не ездила. Некогда было, а тебе верю. Значит, считай, как бы я все равно ездила с тобой, дурья твоя башка. А на дружинников и этого лейтенанта не обижайся, всякие бывают ошибки.

Вот какие примерно истории случались с Женькой Свибловым, пока он выправлялся, подрастал, набирался сил, ума и обучался потом в вечерней школе рабочей молодежи, которую окончил как раз накануне призыва в армию.

Конечно, кроме него были и другие ребята, пригревшиеся возле клубного очага, за ними тоже нужен был глаз да глаз, так что, когда Женька стал солдатом, дела все равно катились своим чередом, а Валентина Прокофьевна продолжала пребывать в одиночестве, которое становилось час от часу не легче, все сильнее и настойчивее давало о себе знать.

«Вот прошла, пролетела жизнь, а ничего хорошего в

той жизни не получилось,— иногда думалось ей.— У других семья, дети, даже внуки, а у тебя нет никого. Ладно, если бы совершила что-нибудь выдающееся, а и этого нет. Помрешь — помянуть некому и нечем».

Меж тем машиностроители освоили в поселке еще один пятиэтажный дом, и Валентине Прокофьевне наконец была предоставлена отдельная квартира. И в завкоме, и в парткоме решительно все сочли, что она давно и вполне заслуживает улучшения жилплощади.

Было это весной, накануне первомайского праздника. Погода стояла чудесная. На березах по всему поселку трещали, свистели, скрипели и щелкали скворцы, небо с утра до вечера озарялось большим, теплым, безмятежным солнышком, земля быстро подсыхала, и по обочинам дорог, по кюветам, вдоль тропинок и заборов то тут, то там зажелтели одуванчики. В один из таких пригожих предпраздничных дней Валентина Прокофьевна собралась переселяться на новое местожительство, уложила чемоданы, увязала узлы, и вдруг ей опять так больно стало на сердце, оттого что и тут все одна и одна, некому даже стол разобрать, шурупы у шифоньера развинтить. Села на стул посреди комнаты, как была — в легонькой стеганой синтетической курточке, в косыночке газовой,— и уж готова была зареветь от отчаяния, уж слезы проглянули на глазах, как кто-то постучался в дверь.

Она быстро совладала с собой, со своим настроением и обычным властным и грубым голосом сказала:

— Ну кто еще там? Входи.

На пороге стоял парнишка из тех активистов, что исполняли в клубе все ее распоряжения, и протягивал ей конверт.

— Письмо вам, Валентина Прокофьевна, в клуб пришло, так я захватил по пути, может, что важное в нем.

— Спасибо,— хмуро проговорила она, забрав конверт и сунув его в карман курточки.

— Что еще? — спросила она.— Что топчешься? Натворили что-нибудь? Говори!

— Так переезжать-то будете?

— Ну и что?

— Так вот,— сказал парнишка, кивнув в сторону окна.— Пришли.

— Кто пришел?

— Мы пришли.

Под окном стояла толпа мальчишек, выжидательно за-

драв головы, и, как только она распахнула створки рамы, толпа зашумела наперебой:

— Валентина Прокофьевна! Переезжаем! Перевозим! С новосельем, Валюша!

— Вот я вам дам — Валюша. Подружку какую нашли,— сказала она, погрозив пальцем и засмеявшись от охватившего ее вдруг бесподобного счастливого чувства.

И началась суматоха. Распахнулись двери, и пошла по поселку веселая процессия с узлами на горбах, чемоданами на плечах, вмиг разобранными на дольки шифоньером, диваном-кроватью... Никого еще, наверное, в жизни не перетаскивали из квартиры в квартиру так бестолково и стремительно. Не прошло и двух часов, а все уже было водворено в ее новое жилище и расставлено по местам. Когда мальчишки, исполнившие свой долг, удалились, она вспомнила про письмо, так и пролежавшее все это время нераспечатанным в кармане ее курточки.

«Уважаемая Валентина Прокофьевна! — прочла она.— Пишет Вам командир воинской части, в которой служит отличник боевой и политической подготовки известный вам солдат Евгений Захарович Свиблов. Отличного воина и вообще человека воспитали Вы, дорогая Валентина Прокофьевна. Пишу Вам это письмо по желанию и просьбе самого Евгения, поскольку на мой вопрос, кого нам благодарить — завод, школу, родителей,— он ответил: поблагодарите Валентину Прокофьевну Гаранину, директора клуба, и дал нам Ваш адрес. Большое Вам воинское спасибо...»

— Так,— в задумчивости сказала она, прочитав письмо.— Что же это такое получается, гражданка Гаранина? Чудеса, да и только. Давай разбираться с тобой логически: Женька Свиблов стал отличным солдатом, а ты тут при чем? Ну и Свиблов! Ах, этот Женька! Ну и Женька! Обязательно что-нибудь отчудит...

1971

О ПРОЗЕ БОРИСА ЗУБАВИНА

«Жизнь свою я обычно делю на два периода: довоенный и послевоенный». Так говорит о себе писатель Борис Зубавин.

Сколько таких биографий, как бы расколотых надвое: до войны и после войны,— обыкновенных судеб необыкновенного времени. И как это, в сущности, важно, чтобы судьба была «как у всех», чтобы была у писателя биография достойного человека.

Борис Михайлович Зубавин родился в Москве в 1915 году. Мальчишкой пришел на завод, стал рабочим, учился, потом был призван в Красную Армию. После службы в армии работал в редакции заводской многотиражки.

Писать он начал рано — в 1928 году в «Пионерской правде» были напечатаны его стихи, а в 1932 — журнал «Юный пролетарий» опубликовал его небольшие рассказы. Но не эти ранние публикации считает писатель своим вступлением в литературу.

К подлинной литературе пришлось идти через войну. И войну он, как говорится, прошел «от звонка до звонка», участвовал в разгроме Восточно-Прусской группировки немецко-фашистских войск, штурмовал Кенигсберг, был ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу». Многое довелось ему увидеть и пережить за эти тяжкие четыре года...

В 1944 году в журнале «Знамя» были напечатаны его рассказы, присланные с фронта. Их прочел и тепло о них отозвался Николай Тихонов. «Эта похвала,— с благодарностью вспоминает Зубавин,— меня окрылила».

Дело было даже не в добром отзыве старшего товарища, не в том, что эти фронтовые рассказы были удачнее, совершеннее прежних. Удача может быть случайной. В судьбе случайностей не

бывает. Жизнь подарила молодому писателю строгий, серьезный опыт; там, на фронте, он по-новому оценил и понял людей, его, как и многих будущих писателей военного поколения, вела в литературу неповторимость прожитого, острая необходимость рассказать людям все, как было, особое чувство правды, обретенное на войне.

Зубавин не стал писателем военной темы. Но все увиденное, пережитое, понятое им на фронте стало как бы вторым планом его «мирных» повестей и рассказов.

Зубавинская проза естественна и проста. Его взгляд на мир отчетлив и незамутнен: он твердо уверен, что мир изначально прекрасен, что жизнь каждого человека должна быть счастливой и доброй, ибо это есть великий дар, достойный самого бережного и любовного отношения. Доброта, готовность помочь, чувство человеческой общности — самая высшая и спасительная сила в жизни.

Рассказ «Трудный старик» (1957) на первый взгляд традиционен. К хирургу Лебедеву на операционный стол попадает старик Мусин. Лебедев спасает ему жизнь. Это все, что происходит в рассказе. За этим традиционным сюжетом стоит довольно сложный второй план, глубина человеческих характеров, которая, собственно, и интересна писателю.

Хирург Лебедев — пожилой, желчный человек. С ним трудно работать. Его замечания кажутся ненужными и раздражают многих, не умеющих отличить рабочую, необходимую строгость мастера, высокую требовательность врача от мелочных придирок.

Мусин — старик не симпатичный: вздорный, брюзгливый, скупой. Жене и детям от него житья нет. Когда же оказался он на смертном пороге, жене, которая раньше думала, что его смерть будет облегчением для всех, стало так жаль мужа, «что ноги у нее подкосились от горя и она едва дотащилась до больницы». И сидит старуха в приемном покое, и плачет, и счастлива, что вредный Мусин не оставил ее сиротой.

Горько стариковское сиротство, так горько, что любая живая душа рядом — великое счастье. Пусть хоть жадный, ворчливый, скандальный, хоть какой-никакой, а все живой человек дышит рядом, и уже в доме тепло и есть для кого жить.

А спасенный от смерти Мусин «утром, открыв глаза, пощупав слабой, неверной, костлявой рукой щетину на подбородке, спросил у соседа, когда придет парикмахер и даром бреет он или за деньги».

Был человек на шаг от смерти — и вот уже живет, и желает побриться, да не как-нибудь, а задаром. Пустяк, а как много им сказано. Поживет еще старик Мусин. Это главное. Жизнь ценна

сама по себе, кому бы она ни досталась: прекрасному человеку, хирургу Лебедеву или такому, казалось бы, «никчемному» Мусину. Да и что значит «никчемный»? Мусин-то ведь не зря на свете жил: и война у него, наверное, не одна за плечами, и на заводе он «с молодых ногтей» «вкалывал», да и старуха по нему не зря же плачет...

Жизнь украшают и делают ее осмысленной поступки, совершаемые нами. Рассказ «В половодье» (1955) написан именно об этом.

Герой рассказа, механик Виктор Баскаков, человек тихий, неразговорчивый, как бы отъединенный от всего и от всех. Воспитывался он «в семье, где боялись смелых поступков, громких слов, резких движений, даже когда передвигали мебель, то старались сделать так, чтобы она не очень гремела, так как соседи могли подумать что-нибудь плохое». Виктор так рос и так жил, в страхе, «как бы кто чего не подумал». Но в его жизнь вошла любовь. Воспитанный в тихости, в привычке к покою, осторожности, не склонный к смелым поступкам, думает он про себя: «Неужели нельзя любить так, чтобы это давало лишь радость и не сопрягалось с переживаниями, неудобствами, страданиями?»

Нельзя, отвечает писатель. И Виктор, преодолевая себя, начинает бороться за любовь. Жизнь награждает его за смелость, за его преодоление привычки к незаметности, покою и замкнутости.

В молодом человеке все гибко, характер его еще не сформировался. И если он по неопытности совершил ошибку, у него есть возможность ее исправить. Главное — не ставить крест на человеке. Это истина, понятая Зубавиным на опыте собственной, далеко не простой жизни.

Эпиграфом к автобиографической повести «За Рогожской заставой» (1957) писатель взял строки Ярослава Смелякова:

...Книжку ударника
я между папок нашел.
Книжка ударника,
красный ударный билет
давнего времени,
незабываемых лет!

Почти в каждой семье есть такая папка со старыми документами: пригласительным билетом на открытие первой линии Московского метро или на давний парад на Красной площади, книжкой ударника... Перебирая бумаги, люди вспоминают не только свою молодость, они вспоминают товарищей, которых нет уже в живых, первые пятилетки, войну... историю страны.

В повести «За Рогожской заставой» ощутима эта причастность к истории. И главное — сложный путь в большую жизнь

подростка Виктора Трофимова, парня с рабочей окраины, по молодости совершившего много глупых поступков.

Витя Трофимов — обыкновенный мальчишка. Он наивен и доверчив. В нем то проявит себя непомерное честолюбие, то детское упрямство... Ошибка за ошибкой приводят Виктора Трофимова к тому, что он остается один, отрывается от коллектива, но рабочие люди, ребята с Рогожской заставы, с родного завода не дают ему пропасть. Виктор Трофимов возвращается на завод. И счастлив, ибо чувствует, что нет большей радости, чем быть вместе с людьми. А потом, через десять — пятнадцать лет, уходит вместе с ними на фронт, к главному испытанию жизни...

Зубавин — добрый писатель, но умеет быть беспощадным. В повести «Радость» (1962) есть некто Иван Иванович Брызгалов. «Человек дела» — так называет его автор. По сути же, Брызгалов — делец, хозяйчик и хищник, из тех, кто человеческое доверие, человеческую слабость использует как материал, из которого можно жать копейку. Для него нет добра и зла, существует одна только прибыль. Брызгалов — человек дела, и все вокруг должны работать на него: за каждый кусок хлеба, за крышу над головой, которую он предоставил. Так понимается лозунг: «Кто не работает, тот не ест». Властный и последовательный в достижении собственной цели, Брызгалов готов на все, вплоть до преступления. Медленно, неуклонно он отравляет жизнь своему пасынку, отнимая у него любовь матери, дом, память об отце-фронтовике. Но вокруг живут люди. Юноше Грише Вострикову они помогают не только выжить, но и победить в тяжелой, истинно — не на жизнь, а на смерть, борьбе с «брызгаловщиной».

Повесть Зубавина «Радость» имеет те же биографические корни, что и повесть «За Рогожской заставой». В трудной и все же счастливой судьбе Гриши Вострикова все перекликается с судьбой Вити Трофимова. В их жизни тот же рубеж, что и в жизни автора — до войны и после войны. Прошло время, а люди рабочих окраин, тесных и шумных коммунальных квартир, где по праздникам пахнет горячими пирогами, где вся жизнь на виду, остались прежними и, как прежде, готовы приютить, накормить, помочь человеку.

«Радость» — не только название повести. Радость — камертон всего творчества Бориса Зубавина.

Писатель не склонен к дидактическим нравоучениям, но некоторые его рассказы звучат как притчи.

Таков рассказ «Долгие годы» (1955) — о безграничной материнской любви, о том, что нет тяжелее и горше позднего раскаяния, когда уже ничего изменить нельзя. Умерла мать, ушла из жизни незаметно и тихо, вспомнив перед смертью всех детей сво-

их... Приезжают дети на похороны. Все собрались. Нет одного — Александра. А он, получив телеграмму: «Умерла Петровна. Приезжай», никак не может вспомнить, кто такая Петровна. Забыл занятой человек отчество своей матери. И только потом ударило: «Да ведь это же моя мать — Петровна!» И спешит взрослый сын на похороны так, как должен был бы спешить к живой матери. Запоздала эта спешка; и нет ничего страшнее греха сыновней неблагодарности. Но писатель все-таки дарит сыну последнюю, пусть горькую, радость свидания с матерью.

Судьба многих героев Зубавина складывается счастливо. Это закон его творчества. Писатель будто спорит со случаем, с неудачей. Неудача для него преодолима, она не должна нарушать общей гармонии жизни. Счастье — основа, на которой держится мир, оно нерушимо и вечно.

Есть неоспоримый закон искусства, по которому каждый писатель, музыкант, художник, каждый творческий человек обязан внести в этот вечно меняющийся и вечно создаваемый мир нечто свое. И тогда это «свое», если возникло оно из полного напряжения души и мысли, будет жить как общее, всечеловеческое. Это тоже счастье, говорит Зубавин, и оно не возникнет само по себе, оно требует напряженного поиска и самоотдачи, а главное — уверенности в том, что твое участие в общем строительстве мира совершенно необходимо.

Со счастливым чувством уверенности в своей необходимости людям живет герой повести «Кольцо, или Пять историй про нашего друга А. Березина, его знакомых и близких» (1957—1964).

Эти истории рассказывают нам о некоем Саше Березине, симпатичном и очень обыкновенном молодом человеке шестидесятых годов. Если бы Саша Березин писал автобиографию, она уложилась бы всего в три слова: жил, учился, работал... В школе он был хорошим, немного озорным учеником. Отличало его одно: совсем не умел лгать, всегда говорил то, что думал, и искренне удивлялся, когда при нем говорили неправду. Для учительницы Майи Васильевны он становится «трудным мальчиком», от которого она ждет одних неприятностей. А он об этом не думает. Он занят своей, мальчишечьей, шумной, веселой, деятельной жизнью.

Так же просто и честно ведет он себя на заводе, думая только о справедливости и о пользе. Саша Березин удивился бы невероятно, если бы ему сказали, что он «борец за справедливость». Он же не борется, он просто так живет, по правде и справедливости.

Все его желания, стремления естественны, как движение вперед, всем своим существом юноша жаждет перемен. Уезжает в далекую Сибирь строить ГЭС. Делает это потому, что веление долга и его собственные желания совпадают,

Он все в своей жизни решает сам, осуществляя на деле неотъемлемое право каждого человека — право на собственный выбор. Так Саша Березин выбирает свою линию в жизни.

Все в рассказах и повестях Зубавина разрешается благополучно, и это лишнее доказательство твердой уверенности писателя в том, что мир справедлив и совершенен.

Даже такой печальный рассказ, как «Часы» (1954), по сути своей о счастье.

Сын прислал матери письмо, в котором так, между прочим, рассказал ей забавную историю, как ее подарок — часы — раздавил верблюд Федька, «высокомерное, надменное и презрительное животное».

И любящая мать берет деньги, накопленные на покупку осеннего пальто, и покупает сыну новые часы. В посылочку она вкладывает записку о том, что у нее все хорошо и что жена Вера его очень любит. Сыну часы не нужны. Он просто так написал о них матери, думая ее посмешить, а заодно — оправдаться в том, что часы он сменял на другие. «Он представил себе мать, маленькую, кроткую, рано состарившуюся и поседевшую, и ему стало невыносимо стыдно оттого, что он был так небрежен и невнимателен к ней, думая только о себе...»

Рассказ этот не о сыновней невнимательности, не о юношеском эгоизме. Рассказ — о маленькой записке, в которой добрая, чуткая, все слышащая и все знающая мать пишет о девушке Вере, которую любит ее сын. Это характерная черта прозы Зубавина: в сюжете, который кажется очевидным и ясным, есть всегда маленькая, еле заметная деталь, которую обнаружит внимательный глаз... В ней-то и секрет писательского мастерства, секрет его человечности.

В «Избранное» включены произведения, рассказывающие о военной молодости писателя. Тем, кто прочтет этот сборник рассказов и повестей, наверное, покажется, что главная книга о войне еще не написана Борисом Зубавиным, что ему есть что рассказать о своих товарищах, о тех, кто не дожил до Победы. Великое уважение к жизни человеческой, великая память о том, кто «в списках не значится» и кому мы вечно благодарны, отчетливо звучат в маленькой повести Зубавина «Гарнизон «Уголка» (1970).

Повесть начинается фразой: «Он еще не знал, что видит командира батальона в первый и последний раз». Эта фраза станет как бы лейтмотивом: лейтенант Василий Павлович Ревуцкий, выживший, выстоявший вместе с гарнизоном «Уголка», оборонявшим всего-навсего угловой дом, который «держит улицу», вспомнит потом о людях, которых ему суждено было увидеть мельком, «в первый и последний раз». Он не узнает их имен, фамилий и званий,

он не запомнит их лица, запомнит лишь голос одного из них, «хриплый, простуженный, жесткий», а потом на всю жизнь останется в нем ощущение потери, невосполнимой и горькой: «Василий Павлович живо представил себе хриплый, надсадный голос ротного, как он пошутил, сказав про Василия Павловича: «Ах, какой отчаянный, бравый офицер». Представил все это, и ему до боли стало жаль чего-то утерянного, навсегда утраченного им в этот день и в то же время радостно и счастливо оттого, что остался он жив-здоров и теперь вот вышел из боя и будет, наверное, несколько дней отдыхать». Сюжет повести прост: гарнизон численностью в десять человек отстоял угловой дом, отбился, выжил.

«На войне сюжета нет», как писал А. Твардовский. И в этом великая истина, она выше всяких законов сюжета, потому что главное дело человека на войне — выстоять и победить. А уж если тебе повезло и остался ты жив-здоров, то лучше и быть не может.

Борис Михайлович Зубавин пишет о любви и уважении к человеческой жизни, утверждает значительность и неповторимость каждого человека на свете, любит людей справедливой любовью. Он не судит своих героев, но знает о них все. Поэтому читатель, внимательный и зоркий, сумеет понять писателя и взять у него главное — доброту и простой, честный взгляд на каждого человека. И уроками доброты и счастья можно было бы назвать все творчество Бориса Зубавина.

В. Юсова

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Зубавин Б.
З-91 Избранное: Повести; Рассказы. /Послесл. В. Юсовой.— М.: Худож. лит., 1981.—543 с.

В «Избранное» вошли лучшие повести и рассказы, написанные Б. Зубавиным в 1955—1970-х годах, посвященные Великой Отечественной войне, участником которой он был («Гарнизон «Уголка», «От рассвета до полудня»), и теме подрастающего поколения («За Рогожской заставой», «Кольцо...» и др.).

З $\frac{70302\text{-}209}{028(01)\text{-}81}$ 55-81 4702010200 Р2

Борис Михайлович Зубавин

ИЗБРАННОЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Редактор Н. Новикова

Художественный редактор Ю. Боярский

Технический редактор Л. Синицына

Корректоры
М. Миримская и Т. Максимова

ИБ № 2189

Сдано в набор 11.11.80. Подписано к печати А 08566 от 06.08.81. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типограф. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 28,56+вкл.=28,61 усл. печ. л. 28,61 усл. кр.-отт. 31,32+вкл.=31,37 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-68. Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109